ЛЕВ КОПЕЛЕВ

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

...эти слова были напечатаны на папках следственных дел по статье 58 УК РСФСР – 1923 г. ("Государственные преступления").

Это – история одного "дела" (1945-1947 гг.) и вместе с тем – попытка исповеди.

ardis / ann arbor

Издание второе, исправленное, 1978

Лев Копелев. *Хранить вечно*

Printed in the United States of America.

ISBN: 0-99233-200-7.

Эта книга посвящается:

Надежде Колчинской – моей первой жене и неизменному другу,

Софии Борисовне† и Зиновию Яковлевичу Копелевым† – моим родителям,

Майе и Лене – моим старшим дочерям,

Елене Арлюк, Берте Корфини, Инне Левидовой, Марии Левиной (Зингер)†, Галине Хромушиной†, Михаилу Аршанскому, Абраму Белкину†, Арнольду Гольдштейну, Борису Изакову, Александру Исбаху, Михаилу Кочеряну†, Михаилу Кручинскому, Валентину Левину†, Юрию Маслову, Владиславу Микеша, Ивану Рожанскому, Виктору Розенцвейгу, Борису Сучкову†, Николаю Тельянц – с некоторыми из них нас разделила дальнейшая жизнь, однако без них всех, – родных, товарищей, приятелей, друзей, – я просто не мог бы выжить;

Раисе Копелевой (Орловой) –
жене и другу;
только благодаря ей была написана эта книга.

...История дает нам готовые мысли, роман – готовые чувства. Но текст, который передает нам только материал, требует от нас, чтобы мы сами его переработали, требует самостоятельной деятельности.

Гете

...Но строк печальных не смываю.

Пушкин

Для них я сотку поминальный покров
Из бедных, от них же услышанных слов.

Анна Ахматова

События, о которых здесь рассказывается, действительно происходили. Имена и фамилии некоторых людей изменены: однако те, кому не могут повредить хорошее отношение к автору и его благодарность, и, напротив, те, кого он считает отпетыми негодяями, — названы.

Первая часть

ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЧНОСТИ

Первая глава

АРЕСТ

5 апреля 1945 года. Ясный солнечный день. Такой, когда уже с утра очевидно, что жизнь прекрасна и все должно быть хорошо. Госпиталь размещен в немецкой деревне к юго-востоку от Данцига в просторных кирпичных домах. Меньше болит спина, зашибленная бревном от взорвавшейся баррикады в Грауденце, слабее головные боли. Прошло больше двух недель с тех пор, как меня исключили из партии и отчислили из Политуправления 2-го Белорусского фронта с должности „старшего инструктора по работе среди войск и населения противника". Меня отправили в госпиталь с температурой, слепила жгучая боль, я еле ходил, согнувшись крючком, кряхтел, сдерживая стоны.

Но в это утро я был почти здоров...

Пришел комиссар госпиталя, худой, широколицый майор. Мы были давно знакомы, его жена работала у нас в канцелярии. Он и раньше несколько раз заходил, сочувственно выслушивал рассказ о том, как меня исключали за „притупление бдительности, выразившейся в проявлении жалости к немцам и настроений буржуазного гуманизма". Он обещал эвакуировать меня в Москву: „Там и медицина основательней починит, и с партийными делами разберутся."

И в это утро он пришел, как всегда, спокойно приветливый, немногословный. Позднее вспомнилось, что он смотрел как-то в сторону и спешил.

— Вот что, мы, значит, перебазируемся. Есть приказ, чтоб всех, кто ходячие, выписать: кого в тыл, кого, чтоб догоняли на попутных. Так вот ты, значит, отправляйся пока в резерв, я тебе машину дам, а потом уже с ними, с резервом значит, догонишь нас на новом месте и там долечим, а, может, все же, удастся, в Москву отправим.

Я переоделся, получил свой чемодан, пистолет, шинель и

"личное дело" – большой пакет за пятью сургучными печатями.

– Полежи пока на моей койке, пока, значит, машина освободится... Вот приемник, трофейные газеты...

Комната была солнечная. Из открытой форточки дышало теплом–влажным, пахнущим землей. В немецких газетах панические сводки: "жестокие... оборонительные бои... противнику удалось продвинуться", отчаянные призывы и нелепые в своем постоянстве рекламные объявления; я настроил приемник, слушал музыку...

Без стука вошли двое: капитан и старший лейтенант. Вежливо козырнули.

– Простите, это вы, товарищ майор Копелев?

– Да.

– Наш генерал просит вас зайти к нему насчет работы.

– Из какого вы отдела?

В штабе фронта в каждом отделе и управлении – авиации, артиллерии, саперном, танковом – были свои разведотделы, везде нужны были офицеры, владевшие немецким. Меня знали многие штабисты,и я не удивился, что вот пришли, даже не дождавшись, пока доберусь до резерва. Капитан ухмыльнулся.

– Да ведь нашему брату все равно, где служить.

И это не удивило. Разведчики любят напускать таинственность.

–Что ж, пошли... Это недалеко? Можно шинель внакидку? Как тут у вас комендант, не цепляется?

–Два дома отсюда... Комендантских не встретим.

Широкая улица. Каменные дома с палисадниками, большими дворами. На дороге подсыхающая разъезженная глина. Проезжают грузовики, „виллисы", снуют солдаты. Вошли через двор в один из домов.

Большая комната: обычная сутолока штабной канцелярии. Кто-то сказал: –Генерал просит подождать несколько минут... Прошли в другую комнату, большой стол посередине, стоят и сидят несколько офицеров и солдат. Старший лейтенант, молодой, круглолицый, добродушный, спросил бесхитростно:

–Что это у вас за пистолет, товарищ майор?.. Кабур какой-то чудной.

–Бельгийский браунинг. Первый номер.

–Четырнадцатизарядный?.. Можно поглядеть?

Мне не впервой было встречать любопытный и даже

завистливый интерес к большому, тяжеловатому, но очень приладистому и надежному "бельгийцу". Достал, протянул. И в то же мгновение с другой стороны капитан, который привел меня, с ухмылочкой, и уже совершенно другим казенным голосом:

– А теперь прочитайте вот это.

Куцая бумажка–печатный бланк "Ордер на арест".

Первое ощущение–удар по голове, по сердцу... Потом недоумение и злая обида.

–Зачем же вы пистолет так выпрашивали? Неужели боялись, что я стрелять стану.

–Ну ладно, ладно. Сдайте документы, снимите орденские знаки. Вынимайте все из карманов... Вот ваши вещи, обыскиваем при вас...

Солдат внес мой чемодан. Раскрыл:белье, письма, рукописи, книги, табак – все вывалили на стол.

Мысли заметались беспорядочно. Заставил себя думать спокойнее... Разумеется, это устроил Забаштанский. Но что он мог придумать такого, чтоб добиться ареста? Что произошло, пока я был в госпитале?

Я спросил, на каком основании арестовывают, в чем обвиняют. Капитан, ставший теперь сумрачным и раздраженно торопливым, отвечал сухо.

–Мы не знаем. Мы выполняем приказ. Арест санкционирован командующим фронтом. О причинах узнаете на следствии. Без причин у нас не арестовывают.

Рылись в книгах. Там были "Майн кампф" Гитлера, сборники статей Геббельса, Лея, Розенберга, несколько журналов СС... Но это никого не заинтересовало, просто отбросили. Просматривали тетради, дневники, рукописи, письма. Особенно тщательно рукописи, перепечатанные на машинке. Большая часть заготовки книги, которую тогда задумал–"Четверть века лжи"–о методике и формах нацистской пропаганды. Дневники за 1943-1944 годы. Я испугался, что они могут пропасть... Стал объяснять, что это имеет значение не только личное, но и для истории.

–Все будет цело! Все запишем в протокол.

(Все пропало, и потом я тщетно пытался разыскать следы).

Письма дочек лежали отдельно. Капитан проглядел небре-

жно.

— А, это детские… — и начал рвать.

Я заорал:

— Не сметь… не позволю…

Кажется, ругался, голова горела от прилива крови. Было несколько мгновений того исступленного, ничего не сознающего бешенства, когда можно ударить, чем попадется, наговорить и натворить такого, о чем потом будешь жалеть. Кинулся к столу. Сразу схватили сзади несколько человек. Капитан струхнул.

— Чего это вы?! Что тут такого? Старые бумаги. Не забывайте, что вы арестованный. Ишь, раскричался!

— Должно быть у вас нет детей, если вы спрашиваете: "Что тут такого".

Письма не порвали и по моему требованию занесли в протокол "столько-то писем разных". Они очень торопились — капитан, старший лейтенант и еще какие-то двое. Я стал настаивать, чтоб записали тетради и рукописи. Они отмахивались —не пропадет…

Уже тогда, в первый час, еще сам не сознавая, я ощутил то непроницаемое равнодушие, которое едва скрывают слова, произносимые потому, что "так положено", — равнодушие, даже не холодное, а просто бестемпературное, бесцветное и бессмысленное. Оно делает обыкновенных людей способными на соучастие в любом деле, но чаще злом, чем добром, скорее в преступлении, чем в подвиге… Хотя и в любых массовых подвигах — в воинских штабах, в осажденных городах, в собраниях, принимающих отважные решения — тоже неизбежно присутствуют и что-то делают и кому-то оказываются нужными такие безмятежно равнодушные исполнители… Может быть, где-то у себя дома или среди близких людей они могут радоваться, огорчаться, мечтать и страдать… Но там, где они "служат", где они "занимают посты", "исполняют приказы", там, где у них не имена, а должности и звания, они чаще всего становятся жестокой силой, неудержимой, расплывающейся, как грязевой поток.

Тогда, в солнечное апрельское утро, я впервые ощутил холодное прикосновение этой силы. Ощутил то, что потом с каждым годом становилось все более явственным — захлебываюсь, барахтаюсь в непролазно грязном болоте, цепляюсь за каждую кочку, иногда кажется, вот-вот уже твердая земля, еще не-

много и выберусь, выкарабкаюсь... легче дышать. Но нет, снова трясина, снова затягивает, душит неотступная, липкая, холодная грязь.

Обыск продолжался недолго. Потом составляли протокол. Пока я сам отвинчивал ордена, лейтенант спокойно, будто обстругивал кору с дерева, перочинным ножом срезал погоны. И деловито спросил у капитана:

— А петлицы на шинели как?..

— Ладно, пускай остаются.

Портсигар и спички сунули в чемодан и капитан заметил:

— Курить арестованному не положено...

После крика из-за писем он стал еще более сумрачный, говорил, брезгливо морщась.

Тогда впервые во мне пробудились инстинкты арестанта. Подойдя к столу, чтобы подписать протокол обыска, я стал незаметно выщипывать из лежавшей там пачки табак и ссыпал его просто в карманы.

Меня отвели в другую комнату, совершенно пустую—стояли только две табуретки. На одной сидел молодой матрос, жевавший кусок хлеба. Мой первый товарищ по заключению.

Назвался он Петей, сказал, что драпанул с тыла на фронт, надоело "припухать в береговых экипажах", а его арестовали как дезертира.

Из соседней комнаты послышался голос все того же капитана. Он говорил по телефону:

— Соедините с Забаштанским. Говорит Королев. Взяли мы вашего туза. Нет, не сопротивлялся... — Потом он просил прислать машину доставить арестованных в Тухель.

Когда мы с Петей и двумя конвоирами ехали в крытом студебеккере по шоссе, уже начало темнеть.

О чем я думал тогда, в этот первый день? Прошло много лет и трудно вспомнить все... Пытался представить себе, в чем собираются обвинить. С самого начала войны я оставлял себе копии протоколов допроса военнопленных и копии некоторых своих донесений, которые формально полагалось числить секретными. Могли придраться к этому. Все карты считались секретными. Но, посылая немцев-антифашистов через фронт, мы давали им карты, которые затем "актировали" как уничтоженные. Некоторые из антифашистов возвращались, и тогда карты

иногда действительно уничтожали, иногда передавали другим или оставляли себе для поездок. Если приложить такую уцелевшую карту к акту о ее мнимом уничтожении, можно обвинить в подлоге.

Во время обыска о картах не спрашивали. На тексты протоколов и докладных как-будто не обратили внимания. Но может быть это нарочно, прием? Искали рукописи... После исключения из партии я послал подробное письмо в Москву старому другу Юре М. Он работал в Главном Политуправлении Вооруженных Сил; когда он узнает, что меня арестовали, то, конечно, доложит об этом письме начальству. Не может быть, чтобы такой примитивный лжец, как Забаштанский, мог утопить меня, да еще теперь, после Грауденца, где мы впервые добились такого явного и значительного успеха. Пропагандистской группе, которой я командовал, удалось вызвать мятеж в немецком полку, потом капитулировал гарнизон крепости... А если все-таки осудят, — ведь не расстрел же? Может быть,это судьба — а то мог бы погибнуть перед самым концом войны, — так стало мерещиться в последние дни в госпитале... Если ссылка, лагерь, узнаю еще и эту жизнь. И буду учиться, буду писать. Ведь иначе не пришлось бы. Нужно многое передумать. Что же это произошло в Восточной Пруссии? Неужели действительно было необходимо и неизбежно такое озверение наших людей — насилия, грабежи? Зачем нужно, чтобы мы и Польша захватили Пруссию, Померанию, Силезию? Ведь Ленин отвергал Версальский мир, а это—куда хуже Версаля... Мы писали, кричали о священной мести. Но кто были мстители,и кому мы мстили? Почему среди наших солдат оказалось столько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек, распластанных на снегу, в подворотнях, убивали безоружных, крушили все, что не могли унести, гадили, жгли. И разрушали бессмысленно, лишь бы разрушить. Как все это стало возможным?

Вторая глава

ПОЛЕВАЯ ТЮРЬМА

Часа через три мы въехали в небольшой затемненный город и, поколесив по узким улицам, остановились. Старший конвоир долго препирался с дежурным по тюрьме, не хватало каких-то бумаг. Это относилось к моряку, его не хотели принимать. Потом меня провели через узкую калитку в железных воротах... Трехэтажное кирпичное здание. Узкий темный двор. На втором этаже в конце полутемного коридора—стол,освещенный карбидным фонарем; вокруг сидели и стояли несколько солдат. Дежурный по тюрьме—старшина, молодой, худощавый, рябоватый, внимательно посмотрел на меня и заговорил приветливо с легким татарским акцентом:

—А вы, кажется, знакомый, фамилия как?.. Звание майор? Помните в Валдае пункт сбора военнопленных? Вы приходили допрашивать, я там в охране служил. Вот, а теперь вы сами пленные.

— От тюрьмы, как от сумы, — заметил кто-то из солдат.

Старшина так же приветливо, и даже извинившись, — знаете, ведь так положено, — ловко и быстро ощупал меня:

Ножика в кармане нет. Оружия нет... Ну, мы вам, конечно верим. Дайте майору закурить.

Кто-то протянул кусок газеты с щедрой щепотью махорки. Я свернул, дали огня,—в камеру спички нельзя брать. —Старшина говорил все так же дружелюбно:

—Теперь пойдете в карантинную камеру, а завтра будет начальник, он разместит.

Солдат повел меня вниз, в полуподвал, в дальний конец почти совсем темного коридора, вдоль которого неспешно расхаживал часовой с тесаком. Железная дверь, круглый "глазок". Прощелкал ключ, скрежетнул засов.

Я вошел и дверь за спиной глухо топнула. Скрежет, щелчок... щелчок...

В камере темень. На противоположном конце еле-еле сереет, скорее угадывается окно. Воздух спертый, в первое

мгновение показалось—нестерпимо смрадный. И к тому же, запах какой-то неприятно знакомый... Кисловато-затхлое зловоние, напоминающее о мокрой шерсти, о засохшей ваксе, холодной табачной золе, о грязном потном белье, загаженном клозете. И к тому же, именно такое зловоние, которым отличались немецкие жилые блиндажи и скопления военнопленных немцев. В наших землянках все забивал терпкий махорочный чад и хлебный дух.

Я не сделал и двух шагов, как наступил на человека.

— Wer ist da?

— Was ist los? Verdammte Scheisse!

— Vorsicht! Wer trampelt hier herum?

Не могло быть сомнений. Камера набита немцами.

Рванулся обратно к двери. Застучал кулаком, сапогами. Заорал:

— Часовой! Куда ты меня сунул? Ведь здесь же фрицы! Я советский офицер! Не смейте издеваться...

Кричал я громко, яростно матерился.

В камере началась возня. Немцы тревожно переговаривались. Я слышал, как один объяснял:

— Это русский офицер, не хочет быть с нами.

Часовой подходил неспеша.

— Чего орешь?

Я объяснил все сначала, требовал вызвать дежурного по тюрьме старшину.

— Стану я за дежурным бегать. Ни хрена. Просидишь ночь. Завтра придет начальник.

— Я буду стучать и протестовать.

— Ну и стучи. Дверь железная, не сломаешь.

— Я объявлю голодовку.

— Ну и голодай.

Слышно было, как он так же медленно пошел в другой конец коридора.

Я грохнул еще несколько раз каблуком в дверь и заорал исступленно. Потом услышал из противоположного конца камеры громкий мальчишеский голос:

— Эй, браток, дядя, не стучи... Здесь русские тоже есть... Иди сюда.

Двинулся на голос, шагая по ногам и животам, сквозь ругань и сонное кряхтенье. Добрался к самому окну.

— Сколько вас тут?

— Двое.

— Кто такие?

— Мы ленинградские.

Мальчишкам было по шестнадцать лет. Их угнали еще двенадцатилетними откуда-то из-под Луги из пионерлагеря Они голодали, работали в Германии. Потом завербовались в шпионскую школу и, перейдя фронт, сдались первому же встречному патрулю.

— Как думаешь, отпустят или засудят?

Я утешал их, уверял, что конечно отпустят, я и сам так думал. Но позднее убедился, что подобных "шпионов" судили не менее беспощадно, чем всамделишних. Мальчики рассказали, что в камере семнадцать немецких жандармов. И тогда вся эта сопящая, бормочущая, зловонная темнота стала еще более отвратительной. Казалось, вот-вот задохнусь. Цигарка, подаренная дежурным, погасла. Но у одного из ребят нашлись спички.

Мы закурили. Один из жандармов стал просить:

— Пан, пан, проше, битте табак.

Делаю вид, что не понимаю по-немецки.

— Никс табак, фашист...

Постелив шинель в углу, я, не снимая сапог, растянулся и мгновенно заснул.

Снова погожее утро. Только теперь на синем небе черная решетка. Окно без стекол, иногда сочится прохладой. Жандармы сидят вдоль камеры, подобрав ноги. Посередине узкий проход. Они без погон, но я слышу — величают друг друга капитаном, обер-лейтенантом, вахмистром... Один, рыжеватый, быстроглазый, пытается со мной разговаривать на ломаном польском: "пан кто есть, капитан... поручник?" Мне противно смотреть на жандармские коричневые нашивки на рукавах и воротниках кителей, угрюмо матерюсь в ответ. Он поясняет своим: "Не хочет разговаривать с нами. И у них есть чувство чести", и снова продолжает спрашивать: "Цо, война есть конец?" Я огрызаюсь: "Гитлер капут и вся Германия капут" и т.д. Жандармы обсуждают свою судьбу. Наперебой доказывают друг другу, что ничего дурного не делали, только приказы выполняли—ведь и русские выполняют приказы. Кто-то ругает Гитлера, называя его "дер Адольф", кто-то из рядовых возражает: "Фю-

рер хотел как лучше, а все напакостили "бонзы" и "генералы".

Прощелкал замок – "выходи оправляться". Двое часовых выводят нас во двор. В углу, рядом с кучей разбитых ящиков и бумажного мусора, вырыт ровик – уборная. Заявляю, что не пойду вместе с немцами. Молодые солдаты-часовые смеются: "А, это ты ночью орал, ну, иди в другой угол".

Возвращаемся в камеру. После нескольких минут, проведенных во дворе, здесь мрачно и душно, а когда проснулся, было так светло, даже свежо в углу под окном.

Приносят хлеб и кипяток в латунных консервных банках из-под немецкой тушонки. Отказываюсь принимать: "Я объявил голодовку". Ребята недовольны: "А ты бы, дядя, лучше нам отдал, мы здесь уже третий день, знаешь, как жрать охота".

Снова открывается дверь, новый дежурный проводит "поверку" – подсчитывает арестантов. Старшина громко, суетливо и бестолково распоряжается, немцы его не понимают, он хочет, чтобы они построились по два. Я опять заявляю протест. Старшина отмахивается: "Вы же видите–поверка, потом разберемся". Он груб, но не злобно, а равнодушно и озабоченно – занят своими делами.

Потом он возвращается, приказывает сдать одежду в дезинфекцию, "в прожарку". Он орет на жандармов, и чтоб пояснить, что именно ему нужно, начинает стаскивать с одного китель. Тот бледнеет, дрожит, испуганно скулит. Наконец, с помощью рыжего говоруна ему удается объясниться.

Я отказываюсь раздеваться и остаюсь в шинели и шапке один среди голых, зябко жмущихся людей. На мгновение это уже не тюрьма, а предбанник. Тощие мальчишки гогочут, глядя на толстяка с обвислым брюхом и женской грудью.

Наконец приходит начальник тюрьмы, старший лейтенант в новеньких золотых погонах. Чернявый, остролицый, он все время хмурится, очень старательно, даже лоб морщит, должно быть, чтобы казаться старше и значительней.

– Вы что разоряетесь? Здесь тюрьма, не к теще на блины пришли.

(Почему-то именно тещины блины полагают основным антитезисом к тюрьме, казарме, передовой. Но на фронте все такие поговорки разве что смешили, а в тюрьме обретали неожиданную и всегда недобрую значительность).

Начинаю толковать ему, что я офицер, четвертый год на

войне и не хочу сидеть вместе с немцами.

–У меня тут все равны, все заключенные, не могу делать различий, здесь полевая тюрьма.

Стараюсь говорить спокойно, даже заискивающе, – внутри тошнотный холод, ужас, – а что, если придется еще сколько-то дней и ночей быть вместе с жандармами... Начальник отвечает все более решительно и высокомерно. Тогда я внезапно начинаю кричать и непроизвольно кричу с актерским придыханием, этаким каратыгинским патетическим басом:

–Послушайте, старший лейтенант, если вы уважаете мундир, который носите, ваши офицерские погоны, вы не можете этого допустить. Ведь на мне тот же мундир, что и на вас. Я не осужден, не разжалован, я офицер той же армии, что и вы. Как вы смеете осквернять честь нашей армии, помещая меня к фашистким жандармам...

Орал я недолго, но сам себя до того растрогал, что, кажется, готов был разреветься. Однако и начальника проняло. Он смотрел на меня удивленно, внимательно, даже с некоторым уважением. И так же решительно, как только что отказывал, распорядился:

– Отведите его в восьмую. Имейте в виду: это лучшая камера. Но там всякие сидят. Особых помещений у меня нет. Поймите, здесь полевая походная фронтовая тюрьма. – Он говорил под конец почти извиняющимся тоном. – Забирайте свой хлеб и идите наверх. Мы что – мы тоже солдаты, выполняем приказы. А что, как – уже следствие разберется. Вас посадили, мы охраняем...

Уходя, я испытал искреннюю симпатию к сговорчивому начальнику тюрьмы, но внезапно подумал, как похожи его рассуждения на те, которые я только что слышал от немецких жандармов.

Восьмая камера на втором этаже показалась более просторной и светлой. У боковых стен на полу сидели человек пятнадцать. Едва я вошел, навстречу шагнул невысокий, лысый, поджарый старик с пристальными светлыми глазами, в сером, хорошего сукна пиджаке.

– Ну, что ж, новенький, представляйтесь. Как звать, величать?

– Так-то.

– Офицер?

– Да.

– Звание?

– Майор.

– А какой армии?

– Разумеется,красной.

– Очень приятно, господин майор. А я староста камеры, полковник белой армии Петр Викентьевич Беруля. Вот наш офицерский угол – полковник югославской армии Иван Иванович Кивелюк, майор югославской армии Лев Николаевич Николаевич, поручик югославской армии Борис Петрович Климов, подпоручик польской армии Тадеуш Ружаньский... капитана немецкой армии герра Кенига мы, как противника, посадили в другой угол к параше. Вот эти двое – власовцы, это – латыши-диверсанты, это – эстонец, обвиняется в шпионаже, двое немцев: обер-ефрейтор и рядовой со своим капитаном, ваша армия до сих пор была представлена вот... двумя бандитами.

Растерянно озираюсь. Любопытно. И все-таки это лучше, чем жандармы. Даже ухмыляюсь.

– Семейка невеличка, але честна...

– Курить у вас есть?

Достаю из кармана горсть табака. По камере восторженные охи.

– Мы уже третий день без курева, – говорит Беруля, – а вы богач. Но будем экономны. Вот что, господа, офицеры курят одну на двоих, остальные одну на троих; господин майор, разумеется, без ограничений.

Закуриваем. Начинаю осторожно расспрашивать. Когда слышу, что кто-то сидит уже шесть недель, с холодным склизким страхом думаю, что я этого не вынесу, сойду с ума, или доконают болезни, едва-едва подлеченные.

Замечаю, что немецкий капитан из противоположного угла, где несколько белых глиняных цилиндрических горшков служат "парашей", пристально разглядывает меня и перешептывается с двумя немецкими солдатами. Он в лиловатом кителе летчика; смуглый, темноволосый с каштановой бородкой, похож на итальянца или испанца.

Теперь можно говорить и по-немецки.

– Что вы так смотрите на меня, капитан?

– Простите, кажется я вас узнал. Ведь вы были русским парламентером в крепости Корбьер у Грауденца?

– Да.

Вот и встретились недавние противники. Еще и месяца не прошло.

Капитан курил, жадно затягиваясь, и размышлял вслух:

– Все родственники, все друзья считают меня счастливчиком. Моя семья богата: отец – директор банка, я никогда не знал ни нужды, ни горя; все родные живы и благополучны; учился я хорошо, и всегда и во всем мне везло – и в любви, и в спорте, – на лыжах, на регате, в фехтовании. И все мои желания исполнялись. Хотел стать летчиком, и стал. Участвовал в жарких делах, летал на Лондон, на Мальту, на Ленинград... остался цел. Награжден рыцарским крестом. Полюбил чудесную девушку и женился на ней. Был ранен–легко, пока лечился, погибла вся наша эскадрилья. Сунули меня в штаб дивизии спешенных летчиков, попал в это пекло в Грауденце, и опять цел и невредим... И я сам всегда считал себя счастливым. Но только сейчас знаю, что такое настоящее счастье. Вот эта затяжка после стольких дней впервые. Да, да, вот эта сигаретка, одна на троих, и есть блаженство.

Капитана арестовали потому, что он был в течение нескольких недель начальником 1 С штаба дивизии Германа Геринга. Туда его пристроили доброхоты, чтобы уберечь от фронта. 1 С –отдел разведки, контрразведки и пропаганды: наши "смершевцы" видели в его сотрудниках своих коллег и соперников, арестовывали их и загоняли в лагеря. Кенинг рассказал, что не успел еще толком познакомиться с делами, как дивизия оказалась в осаде. Все же он опросил несколько десятков наших пленных и двух или трех перебежчиков. Он не мог понять, почему они перебегали к окруженному противнику. Оказалось, что молодые, недавно призванные парни из Молдавии, вообще не верили своим командирам, не верили, что немцы окружены, и не хотели умирать. Я знал, что с нашими пленными в Грауденце обращались прилично. Но немецкого фельдфебеля, которого мы забросили туда агитировать за капитуляцию, повесили. Капитан сказал, что он не был к этому причастен, фельдфебеля судил гарнизонный трибунал, охраняла полевая жандармерия. Но потом заметил: – "А как бы вы поступили с вашим солдатом в подобном случае?"...

Третья глава

ЖИВОЙ БЕЛОГВАРДЕЕЦ

Петр Викентьевич Беруля был кадровым офицером. К 1914 году он дослужился до штабс-капитана. Воевал добросовестно, ладил и с подчиненными и с начальством. В конце войны был подполковником. Гражданскую войну воспринимал как необходимое продолжение службы. Командовал полком у Деникина, потом у Врангеля, был несколько раз ранен. Всякий раз снова возвращался в строй. Одинокий служака, рано осиротевший, не успев до войны жениться, он не знал ничего, кроме армии–казарма, офицерское собрание, случайные постои, походы, привалы, окопы, лазареты–несколько приятелей-однокашников, нечастые пьяные досуги. После разгрома он оказался в Польше; там, наконец, женился на энергичной, властной и состоятельной женщине. Она получила в наследство ателье дамской одежды в Быдгоще, командовала портнихами и мужем, который выполнял обязанности интеллигентного швейцара; встречал заказчиц, вел с ними светские беседы. Были у них и дети, но они росли сами по себе с гувернантками, потом в гимназиях, отца почти не замечали–всем в доме управляла "пани матуся". Политикой он не интересовался, выписывал только одну эмигрантскую газету–вестник воинского союза, из которого узнавал о смертях, юбилеях, годовщинах памятных дат, о том, что где-то еще живут люди, которых он когда-то знал, встречал... Время от времени он платил взносы во всеобщий воинский союз–выпрашивал у скуповатой жены. Но ни разу не бывал ни на каких съездах и встречах. Жена не позволила бы, если бы он даже захотел. Да его и не влекло никуда; от воспоминаний о гражданской войне оставался горький мутный осадок:–напрасные усилия, напрасные жертвы, напрасные жестокости и разрушения. Необъяснимо было, как и почему оказалось безвозвратно утерянным все, чем жили до войны. В молодости он не задумывался над понятиями: отечество, государство, армия, царский дом... Они существовали всегда, – незыблемые, священные и не требующие объяснений, так же как Бог и ежедневная молитва. Где-то, в другом мире копошились враги церкви и государства, столь же мерзкие, как убийцы

или воры, и столь же непостижимо чуждые. Однако, и те, кто по любому поводу распинался в своих верноподданнических чувствах, кричал о патриотизме, о благочестии, были ему неприятны,—походили на торгашей, которые божились и крестились ради копеечной выгоды, или на дурно воспитанных людей, которые публично и напыщено изъясняются в любви, горланят о чувствах, требующих безмолвия, либо немногословного шепота, как на исповеди.

К старости он чаще думал о том, чем была и чем стала Россия. Большевиков он просто не понимал, правда, уже не верил, что все они евреи, латыши, или китайцы, не считал их существами чужой, недоброй породы.

В 1939 г. началась война, он видел страшное "кровавое воскресенье Быдгоща", когда гитлеровцы убивали поляков на улицах, вешали на фонарных столбах и на балконах, когда хулиганы из "фольксдойчей", улюлюкая, гнали толпы женщин, детей и стариков, выселяемых из города, ставшего частью "райха". В ту пору Гитлер вдруг подружился со Сталиным и в Быдгоще появились беженцы из Львова и Белостока. Жена и дети Петра Викентьевича проклинали москалей, не хотели слушать его возражений, что русский народ не может отвечать за большевистскую власть, что Сталин грузин, а не москаль

Потом наступил 1941 год. Уже летом появились первые советские военнопленные. Он был уверен, что немцы скоро займут Москву, что большевикам не удержать победителей Франции, завоевателей Норвегии и Крита, полновластных хозяев Европы... Но с каждой неделей, с каждым месяцем в нем крепло новое, казалось, уже давно забытое чувство гордости за "своих". Это было сродни тому, что испытал в кадетском корпусе на выпуске, когда получал первые офицерские погоны, а потом всего лишь несколько раз в торжественные дни праздников и когда взяли Перемышль и когда Брусилов прорвал фронт в 1916 году...

В Быдгощские госпитали из России прибывали тысячи немецких солдат, раненых, обмороженных, калек... В мастерской теперь шили белье, пижамы и халаты для раненых. Впрочем, наиболее доходными оставались все же заказы немецких дам – жен и дочерей новой знати, военных и штатских чиновников, офицеров СС и жандармерии. Официальной владелицей ателье числилась одна из приятельниц жены – местная нем-

ка. Пани матуся не захотела записываться в "фольксдойчи". Как ни скупа была, а все же она не поступилась именем польки. И для него с каждым месяцем, с каждой неделей многое изменялось. Из России, из его России должно было прийти спасение. Оно приближалось...

Вступление наших войск в Быдгощ он встретил восторженно, даже всплакнул, когда обнимал, целовал первых русских солдат и офицеров, приглашал их к себе, угощал. Теперь и жена и дети смотрели на него почтительно. Он был сопричастен этой огромной победоносной силе, сокрушившей вермахт, изгнавшей немцев... Но общительность и приветливость бывшего полковника белой гвардии оказались для него роковыми. Уже месяц спустя, после того, как он, утирая счастливые слезы, встречал долгожданных земляков, следователь контрразведки бил его по щекам кожаным планшетом, приговаривая: "Ты гад... твою мать! Признавайся, сколько наших повесил... признавайся, какое задание получил от немцев!!!"

Берулю несколько раз били на допросах. Он возвращался тогда постаревший, смятый, очень жалкий. Старался не подавать виду, глотая слезы, болтал какую-нибудь чепуху, трудно было сидеть, и он укладывался, свернувшись комочком — днем лежать не полагалось, но так как сидели все на полу, то он мог укрыться в нашем "офицерском" углу. Впрочем, вызывал он не только жалость — этот маленький ссохшийся старик, с обвисающей тонкой кожей и все же подтянутый, даже молодцеватый. Он был по-настоящему мужественным и жизнестойким. Бывало, после допроса, в глазах, светлых, водянистых, еще проглядывал даже не испуг, а скорее печальное недоумение, — он уже хлопотал по камере, раздавал консервные банки с баландой, распределял цигарки. Мне позволили забрать весь табак, оставшийся в чемодане, я отдал его Петру Викентьевичу, — он установил табачный "паек" и строго соблюдал сроки и нормы выдачи. Если в это время его вызывали на допрос, он не забывал передать надлежащие порции особо назначенному "заместителю".

В мае нашего старосту фронтовой трибунал осудил на восемь лет. Он показал это число пальцами, когда его вели мимо нашей камеры.

Он был для меня первым "живым белогвардейцем", увиденным так близко. Я не пытался сопротивляться чувству

симпатии, которое внушал приветливый, неглупый и добродушный человек. Однако, я был убежден, что это – чувства субъективные, и потому не могут быть критерием, когда речь идет о человеке из лагеря классовых врагов. Я верил, что настоящая, революционная, социалистическая этика предписывает исходить из "объективной исторической необходимости" и нелицеприятно судить о любом человеке, заботясь прежде всего об интересах государства, партии, или трудового коллектива. Высшая необходимость может повелеть жестоко унизить или даже убить того, кто тебе лично симпатичен или кровно близок.

Такие взгляды рождала причудливая мешанина из мальчишеских представлений о Марате, Робеспьере, Нечаеве и народовольцах, из всего прочитанного и услышанного о Дзержинском, Павлике Морозове, из беллетристики и собственного жизненного опыта. Нас учили, что гражданский и комсомольский долг велит предавать друзей и родных, не иметь никаких тайн от партии. Я никогда не верил, что Бухарин и Троцкий были агентами гестапо, что они хотели убить Ленина, был уверен, что и Сталин это знает. Но я считал, что в процессах 1937-38 гг. проявилась его дальновидная политическая тактика, и в "конечном счете" он был прав, решив так страшно, раз и навсегда, дискредитировать все виды оппозиции. Ведь мы осажденная крепость, мы должны быть сплочены, не знать ни колебаний, ни сомнений. Что значат все теоретические разногласия для десятков миллионов людей, для "широкой массы?" Большинство просто не может понять, в чем именно расхождения между левыми и правыми; и те, и другие ссылаются на Ленина, клянутся в верности Октябрю, рабочему классу. Значит, нужно было представить всех уклонистов, всех политически неустойчивых маловеров такими негодяями, чтобы народ их возненавидел.

Оказавшись сам в числе тех, против кого должны были обратиться проклятия и ненависть, я не изменил этих взглядов, и очень заботился о том, чтобы не утратить способность "объективно" судить об истории и современности. В тюрьме я стал гораздо более последовательным сталинцем, чем когда-либо раньше. Пуще всего я боялся, чтобы моя боль, моя обида не застили глаза, не помешали видеть самое главное, самое существенное в жизни страны и мира. В этом был необходимый источник душевных сил, убежденность, что причастен к вели-

кому единству. Только так жизнь не утрачивала смысла, – вся жизнь прошлая и будущая. Ее смысл и цель определялись по сути религиозным, – якобы рациональным, а в действительности почти мистическим, – сознанием, основанном на вере в сверхчеловеческие силы единственно правильных идей, единственно праведной Партии. Но в этом сознании таилось еще и вполне индивидуалистическое самоутверждение. – Пусть мне худо, пусть я незаслуженно мучаюсь; но я не поддамся, и все равно есмь и буду честнее, разумнее, по всякому лучше тех, кто меня обвиняет, судит, сторожит...

В то же время я верил, что и генералы, и рядовые чекисты, судьи и вертухаи, – со мной одного роду-племени , что все мы бойцы одной армии, винтики одной машины, "щепки" одного леса. Только одни умнее, добросовестнее, меньше подвержены "родимым пятнам" капитализма, а другие поглупее, похуже. Я помнил рассказы людей, которые были арестованы в 1937 году и освобождены в 1938-39 г.г. И на фронте и раньше знал некоторых работников "органов", знал, что среди них немало карьеристов, невежд, завистливых, нечестных, мелочно самолюбивых, озабоченных честью мундира . Понимал, что все эти их пороки становились губительны для многих невинных людей. Но я был убежден, что, если даже большинство работников НКВД, прокуроров и судей плохи, по-человечески ничтожны, все же, в конечном счете, и причины, и цели их общей суммарной деятельности справедливы, исторически необходимы. И поэтому верил, что все ошибки, просчеты и самые гнусные несправедливости, сколько бы их ни совершалось, не могут изменить целого, не могут остановить развитие социализма.

А про тех, кто были со мной вместе в камерах, на этапах, в лагерях я думал, что многие, вероятно, настоящие враги, которым здесь и надлежит быть. Но и тем, кто случайно оступился или невольно навлек на себя подозрение, кто стал так же, как я, жертвой клеветы и обстоятельств, придется еще какое-то время нести на себе тяготы заключения и до полного торжества "исторической необходимости" оставаться его бесправными невольниками. Тот, кто этого не понимает и озлобляется, становится врагом. А тот, кто понимает, обретает внутреннюю свободу, "познанную необходимость", и высшая награда ему – собственное сознание, что и в беде и в унижениях он остался верен великим идеалам, верен себе.

Петр Викентьевич Беруля был в прошлом открытым врагом Советской власти – белогвардейцем. Значит, его арест и осуждение были вполне оправданы. Я видел, что вражда бывшего полковника к Советской власти давно уступила место иным чувствам, видел, что он хороший,мужественный человек и, жалея его, не испытывал угрызений партийной совести. Но, сознавая противоречивость своих мыслей и чувств, я утешался тем, что, вот это, мол, и есть диалектика. Великое дело – слова, удобные, многозначные, а если надо, и вовсе ничего не значащие, но все объясняющие слова.

Четвертая глава

ЗАДЕРЖАННЫЕ ЮГОСЛАВЫ

Полковник королевской югославской армии Иван Иванович числился не арестованным, а задержанным, так же как еще шестнадцать югославских офицеров русского происхождения. Задержанные,в отличие от арестованных,получали по две банки баланды, хлеба – не 400 грамм, как все, а 500 грамм, а сахара – не 9, а 12 грамм. Кроме того, их выводили на получасовую прогулку.

Когда наши части пришли в немецкий лагерь для военнопленных югославских офицеров, эти семнадцать назвали себя русскими, а некоторые даже просили, чтобы их приняли на службу в советские войска, хотели участвовать в боях. В том же лагере было еще немало русских, бывших белых офицеров или их сыновей. Но большинство не доверяли "советам", не откровенничали и для наших властей остались югославскими военнослужащими, их вместе со всеми остальными переправили в Югославию. А семнадцать, назвавших себя русскими, задержали по подозрению "в шпионаже и измене родине". На их счастье,об этом узнали в Югославии, посыпались официальные дипломатические запросы – и это их спасло, уже через два-три месяца.

Среди них был один священник. В плену его называли „красным попом". Когда он узнал в 1942 году, что советское правительство признало всех бывших эмигрантов, готовых поддержать СССР в войне, гражданами новой России, он заявил, что желает немедленно принять советское гражданство и требует, чтобы его перевели в лагерь для советских военнопленных. К счастью,немецкий комендант, старик из офицеров запаса, не дал хода этому заявлению и посоветовал приятелям "слишком торопливого кандидата в святые" образумить его. В лагерях советских военнопленных в это время снова усилился голод, ожесточился и без того свирепый режим. "Красного попа" с трудом уговорили отказаться от самоубийственного намерения. Но зато следователь нашей контрразведки усмотрел в этом явное доказательство шпионского хитроумия – он, гад, хотел еще там в плену подольститься к нашим...

Всем "задержанным" грозили судом. Ивана Ивановича это поражало и угнетало больше, чем других, потому что он был юристом, председателем главного военного суда Югославии.

Большой, грузный, богатырского склада, с широким открытым, очень славянским лицом, – немного вздернутый крепкий нос, густая темнорусая шевелюра с проседью, широко расставленные светлосерые, добрые глаза, – он говорил по-русски совершенно свободно, но с заметным западно-украинским акцентом и, время от времени, вставлял сербские или польские слова.

У него были наивно-формалистические представления о законности, о праве – он был убежден, что следователям необходимо знать, насколько возможны те преступления, в которых они подозревают подследственных. Именно за это его несколько раз ударил помощник начальника следственной части подполковник Баринов.

– Ну, объяснить мени, господин... простите, товарищу майор, ну, как же это все-таки може быть? Ну, где ж тут, я вже не буду говорить за право, а за юридичну сторону, навить за ваш уголовный кодекс, – верьте я его доскональв вивчав, – но где же тут сама напростейша, элементарна льогика!.. Следователь говорит – мы вас можем привлечь за измену родине... Якой родине? Я есть урожденный подданный австро- угорьской империи, хочь и руського происхождения. Правда, есть у меня родичи, кажуть "мы не руськи, мы – украинцы". Хай буде так. Я тоже, больше од всих поэтов люблю Шевченко... Но для меня всегда было, что украинец, что руський – одно. Когда началась та война, я был фенрих, то есть прапорщик цисарьской, – то есть австрийськой армии. Не хотел воювать за цисаря Франца-Йозифа против славянських братьев. Как только прибув на позиции, того же дня перейшов до руських окопув. Але ж меня до руськой армии не взяли и я через Мурманск, Англию, Францию, Италию переихав до Сербии стал воювать за сырбского краля. Так что был я в России, може двадцать, може двадцать один день. А как стал сырбский поручик, так и остался потом югославский подданный. По войне женился на местной руськой. Поступил до Белградского университету, но все был кадровый офицер. Кончил юридический факультет и як абзольвент был направлен на службу до армейского суда.

Когда немцы пришли до Београду, то они, кого брали в плен, а кого залишали на воли. Брали в плен и увозили до Германии всих, кто были левые, или либеральные или русофилы, всих, кто не давали подписку, таку "лоялитетс-эрклерунг"... Так от и меня взяли, и Льва Николаевича и Бориса Петровича и всих наших, яки тут теперь в вашей руськой тюрьме сидять. Якой же я родине изменял? Ну где же тут элементарна льогика?

...И еще не можу понять, ну, совершенно не можу... Этот пудполковник, такой элеганцкий и вроде интеллигентный офицер, вдруг ударил меня по плечах гумою, кричить, простите, мать твою так и сяк, лается хуже, знаете, пьяного вугляра,— як у нас кажут... Но я же старше его и по годах и по рангу, и я же не арештованный даже, он сам говорил... И така лайка, такие прокляття, знаете на мать. Меня ж это не может унизить , образить,—то есть, оскорбить. Я ж, свою мать знаю и шаную , а така грязная, гадкая лайка она и только его самого унижает и оближает его мундир офицерский, его ранг. Ну, как это понять? И как таких людей терпят на такой должности?

И еще не можу понять... Следователь говорит—признавайтесь, сколько вы коммунистов повесили... я ему отвечаю, что не могло же этого быть, ну просто не могло. Мне же такие дела не подсудны, а он кричать "нам все известно, признавайтесь лучше сами, а то расстреляем". Тогда же этот пудполковник и гумкою благословив... Ну, как же так получается—у меня все мои офицеры повини были знать кодексы всих армий Европы и карные кодексы и процессуальные и всю юриспруденцию у всяки рази европейских армий, ну и таких як японьска, американьска. Так мы же точно знаем, что и какой суд или трибунал, например у вас, может судить, а что не может, где компетенция вашей милиции, а где ГПУ, или как вы теперь говорите, контрразведка—смерш... Так почему же ваши офицеры таких рангив не знають, что в Югославии военным судам подсудны только воинские преступления — дезертирство, кража в армии, нарушение по службе, нарушения уставов, а все политические дела и всех шпионув судив Королевский трибунал. А я же был председателем главного военного суда, то значит контрольного кассационного органа. Я же вообще никого по первому разу не судив, а только рассматривал кассации, протесты на приговора окружных судов. Это же должен знать всякий студент старшего курсу юридического факультету.

Я пытался отвечать на вопросы Ивана Ивановича, толкуя о нехватке квалифицированных кадров, об особых принципах революционного права и, разумеется, все о той же диалектике... Он слушал вежливо, но, видимо, не очень мне доверял, вернее, доверял все меньше и меньше. Становился осторожней, предпочитал говорить о литературе, об учебных программах школ и институтов. Однажды только у него прорвалось.

– Моя старшая дочка очень любит руськую литературу и язык хорошо знает, лучше, чем я... Была у меня думка – вот кончится война, теперь мы союзники, наш Тито и ваш Сталин – друзья, пошлю дочку учиться в Киев. Мои батьки когда-то мечтали, чтоб я в Киеве учился... Но теперь боюсь, что не пошлю ...Нет, не пойму я, что у вас тут робиться.

Майор Лев Николаевич был главным дирижером югославской армии. Он родился в России, и насколько можно было судить по внешности и чуть напевным интонациям, видимо, в еврейской семье. Учился он в Петербургской консерватории у Римского-Корсакова, кончил за несколько лет до войны, гастролировал за границей. Война настигла его в Австрии и его интернировали где-то в Хорватии, там ему помогали местные музыканты. На дочери одного из них он женился. После войны он стал гражданином Югославии, приобрел известность как композитор, автор нескольких симфоний, ораторий и многих инструментальных пьес, маршей, песен, романсов. Лев Николаевич казался самым старым в камере и несомненно был самым дряхлым, самым больным. Он часами лежал, – ему это разрешалось, – в полузабытьи или тихо жужжал под нос какие-то мелодии. Лохматый, седой, сутулый, с крупными бугристыми, сероватыми, бледными чертами лица и тоскливо отвисшим большим носом, он подслеповато щурился, глаза были почти незаметны в складчатых веках. Он редко участвовал в наших разговорах, был застенчив, деликатен, его мучили постоянные поносы; он имел "персональную" парашу, которую сам выносил, и по-детски стыдился и страдал, что беспокоил нас по ночам, а днем не мог дождаться времени, когда всю камеру выведут во двор. Он оживлялся только, когда речь заходила о музыке, восторженно говорил о своем учителе Римском-Корсакове, о Мусоргском, напевал целые отрывки из *Шехерезады*

и *Картинок с выставки*, из *Хованщины*, которую все обещал "воспроизвести" полностью, как только выздоровеет. Однажды мы с ним "вдвоем" написали песню. Он сочинил простой и печальный мотив и долго втолковывал мне, какими должны быть строфы, размер и лад текста и припева. Это первое мое „законченное" тюремное стихотворение я начисто забыл. Хотя несколько раз мы пели вполголоса втроем – Лев Николаевич, Борис Петрович и я.

Бориса Петровича Климова десятилетним увезла в Югославию мать – вдова офицера, сестра милосердия белой армии. В Югославии он закончил гимназию и строительный институт, женился на хорватке, которая вскоре научилась говорить по-русски – благо, дружила со свекровью; сына и дочь они старались воспитывать русскими. Борис Петрович едва помнил Россию, но издали полюбил и благоговейно почитал далекую родину. Он знал нашу литературу, музыку, фильмы, читал московские газеты и журналы, слушал московское радио, помнил имена всех дикторов. Мне бывало неловко, когда оказывалось, что он лучше меня знает множество фактов и статистических данных об итогах пятилеток, о строительстве в Сибири и на Дальнем Востоке, о новых железнодорожных линиях. Он жадно расспрашивал о Москве, о метро, о внешнем виде московских улиц, о том, как мы живем в будни и в праздники. Ему хотелось знать подробно, что такое дом отдыха и как выглядит студенческое общежитие, как у нас танцуют, какие обычаи существуют в отношениях между юношами и девушками, как защищают диссертации... Снова и снова расспрашивал он о войне, об эвакуации промышленности, о блокаде Ленинграда, о комитете "Свободная Германия", о поведении немецких военнопленных, о разрушениях Киева, о наших генералах и, конечно, о Сталине, и опять о Сталине, о котором говорил почтительно и восхищенно. Мы разговаривали все дни напролет, а иногда еще после отбоя. Он сразу же с первого знакомства располагал к себе. Приветливый внимательный взгляд серо-голубых, юношески быстрых глаз, легко переходящих от печали к усмешке. Удлиненное светлое лицо и прямые русые волосы, – такие чаще встречаются в Прибалтике: крепкий хрящеватый череп северного воина, резкие очертания, особенно приметны в профиль – и славянская мягкость в складке губ и линиях щек. (Борис Климов был первым, кто сообщил семье

обо мне еще летом 1945 года, проезжая через Москву, он послал записку моей жене...)

8 июня всех "югославов" освободили. Много лет спустя я узнал, что они еще несколько месяцев мыкались по всяким пересыльным лагерям, правда, уже как свободные репатриируемые .*

---

*В 1960 г. В. П. Климов пришел ко мне в Москве; он работал в Лейпциге преподавателем технического вуза. Из Югославии его выслали в 1948 г. как советского гражданина и "сторонника Коминформа". Мы потом еще несколько раз виделись в Москве и в ГДР. Он умер в Лейпциге в 1965 году.

Пятая глава

ПОДПОРУЧИК ТАДЕУШ

Тадеуш Ружаньский, подпоручик Армии Краевой, заканчивал гимназию уже в оккупированной Варшаве. Гимназия была подпольной, и почти все гимназисты-старшеклассники стали бойцами Сопротивления. Тадеуш командовал взводом в дни Варшавского восстания осенью 1944 года. Он рассказывал, — и слезы дрожали в голосе, — как в первый день они собрались во дворах, в квартирах, на пустырях, за стенами разрушенных домов, — все до одного, никто не опоздал! — и точно в назначенный час вышли на улицу и запели "Молитву Тобрука", только вместо "Тобрука" пели "Варшава".

О пан-Буг, ктуры есть на небе,
Выцьонгни справедливон длонь,
Волам з Варшавы дзись до цебе,
О польскон вольносць, польскон бронь!

О пан-Буг, скруш тэн меч, цо сек наш край,
До вольной Польски нам повруцичь дай!

Отряд, в котором дрались остатки его взвода, отступал уже в самые последние дни по канализационным трубам. Там, под землей, их настиг приказ генерала Бур-Комаровского о капитуляции. С ними был немец-перебежчик Ганс — "Ганс з Берлину". Он пришел к ним в конце второй недели восстания и сказал, что он сын коммуниста, казненного гитлеровцами, что сам был "юнгкоммунистом" и хочет воевать против фашизма.

...Разумеется, мы не могли ему поверить, мы смотрели на него и видели проклятый немецкий мундир, слышали проклятую швабскую речь. Он понял и сказал: "Я вижу, что вы не можете мне поверить, и это справедливо. Так вы проверьте меня. А для этого незачем давать мне оружие. Вам очень вредят "голиафы" (самоходные мины), вы не умеете от них отбиваться, они разрушают баррикады и дома. Я покажу вам, как можно остановить голиаф и потом захватить его. Для этого мне нужны клещи-острогубцы или саперный топорик, а ваши парни пусть держат меня на мушке..."

Мы согласились, и в тот же день, когда на нашем участке

против большой баррикады услышали, как опять урчит проклятый голиаф, двое наших со "стэнами" (автоматами) и Ганс с тесаком и клещами пошли ему навстречу, вдоль стен домов, перебегая от дерева к дереву, – там улица была очень красивая, тенистая в каштанах. Голиаф с виду, как танкетка, маленькая, низкая, без башни, просто железный ящик на гусеницах; ползет, урчит, упрется в мишень – в ДОТ или в заграждение и как ахнет полтонны взрывчатки – целый дом в кучу кирпича. А Ганс выскочил на него сзади и сразу тесаком обрубил провод. Немцы их, оказывается, как собак, на поводке пускали. И все управление, и взрыв производили электрически по проводу. Как только Ганс его обрубил, голиаф остановился и замолк. А наши все, кто на баррикаде и в домах были, стали кричать "ура", "виват" и такой огонь открыли, что мы немцев на целый квартал отбросили. Потом Ганс показал, как разоружать голиаф и как из той же взрывчатки мины и гранаты делать... Тогда мы ему поверили, приняли, как брата, только он не хотел носить значок белого орла, а носил бело-красную ленту – и польская, и все-таки красный цвет есть. Кто-то достал ему красноармейскую звездочку, он был очень рад. Он захватил еще дюжины полторы голиафов, а наши хлопцы научились не хуже. Так вот, когда пришел приказ о капитуляции, он был с нами. Приказ нам принес польский офицер, а его сопровождали немцы. Мы очень измучены были, много раненых, все голодные, в вонючей грязи, простуженные, хриплые, злые от бессонницы, одуревшие... Но мы стали говорить, а как же с Гансом, ведь нельзя ему в плен с нами, его замучат, а мы не можем предавать такого товарища. Он догадался, что о нем разговор, он к тому времени уже понимал по-польски, правда, немного, но тут и без того догадался и сказал: "Камрады, я понимаю, вы про меня думаете, это хорошо, вы хорошие камрады, но я вам помогу". Мы не успели сообразить, что он хочет делать, а он взял две немецкие ручные гранаты, – знаете, такие с длинными ручками и взрывателями на шнурках, – зубами потянул за шнурки, зажал их себе крепко подмышки, отбежал подальше в угол и лег. До нас даже и осколочка не долетело, все ему в грудь. Мы потом в плену хотели вспомнить, как его фамилия была, никто не знал. Просто Ганс з Берлину... Из Берлина, а какой геройский хлопец.

Варшавским повстанцам в немецком плену пришлось тяж-

ко. С ними обращались не лучше, чем с нашими пленными в самую трудную пору, а, пожалуй, даже хуже. Первые четыре дня вообще не давали ни есть, ни пить, раненых пристреливали, избивали всех. Их конвоировали и стерегли немецкие и украинские СС-овцы из дивизии "Волынь", которая понесла большие потери в боях на улицах Варшавы.

У Тадеуша сохранились явственные "памятки" об этом времени. У него были выбиты все передние зубы, на голове и на теле остались шрамы от ударов прикладами и коваными сапогами. Поэтому такой необычной показалась мне сперва его внешность — очень молодые, почти ребячьи серые глаза, юношески чистый лоб и стариковское лицо, с дряблой кожей, запавшим беззубым ртом и поседевшими ломкими волосами.

После месяца голода, побоев, издевательств, когда ежедневно умирали десятки людей, обессиленных уже в последние дни восстания, а охранники не позволяли выносить трупы – "пусть больше наберется" – в лагере вдруг появилась комиссия – немецкие и польские врачи. Отбирали наиболее здоровых, таких, что еще самостоятельно ходили. И в тот же день перевели их в другой лагерь, в чистые бараки, с хорошо оборудованной санитарной частью и начали кормить, – да не просто сытно, а усиленно, вкусно, давали шоколад, вино. Когда все достаточно окрепли,–Тадеушу там даже изготовили вставные челюсти, – начались военные занятия. Обучали свои же офицеры в старых польских мундирах. Да и всем "курсантам" выдали польскую форму, только сапоги были немецкие... Учили тактике партизанских боевых действий. Учителя гордо рассказывали о том, как они нападали на немцев, как они организовывали и вооружали отряды АК, создавали склады оружия, налаживали нелегальную связь. Иногда на занятиях присутствовали немецкие офицеры. Слушали с интересом, вежливо козыряли, здороваясь и прощаясь. Сначала никто ничего не понимал, радовались сытной пище, радовались, что опять в руках оружие, хоть и учебное–винтовки с присверленными стволами и без затворов. Наступила зима 1945 года. Выдали отличное теплое обмундирование. И в январе начали быстро формировать отряды. Тадеуша зачислили в отряд из 30 человек, командиром которого был майор–кадровый польский офицер, попавший в плен еще в сентябре 1939 года. Их выстроили и немецкий подполковник с широкими лампасами генерального штаба произнес речь.

„ – Господа, до сих пор мы были противниками. Но германская армия умеет ценить воинскую доблесть своих противников. Мы уважаем вас за ваш патриотизм, за вашу отвагу, испытанную в самых трудных условиях. Германская армия вынуждена отступать и оставляет территорию вашего отечества. Мы знаем, что многие из вас имеют причины быть недовольными нами и всем, что они испытали во время оккупации. Но, господа, вы же солдаты, и незачем вам объяснять, что это война, вообще небывалая по размаху, по ожесточенности. После победы германской империи во всей Европе воцарится новый, разумный и справедливый порядок, достойный традиции нашей общей европейской культуры. Ведь сколько бы мы не воевали друг с другом, мы все–европейцы. А сейчас с востока движутся азиатские орды. На вашу родину наступают те варвары, которые убивали ваших товарищей в Катыни, кто сгноили сотни тысяч поляков в Сибири, те, кто предали вас, когда вы дрались в Варшаве, сюда идут банды жидов и монголов, полчища грубых, жестоких москалей, которые полтора столетия угнетали ваш народ. Вчера еще мы были врагами. Но сегодня сама история решила по-другому. Волею истории, в интересах всех народов Европы, в интересах нашей и вашей родины мы становимся союзниками. Поэтому мы даем вам самое лучшее оружие, самое лучшее снаряжение, продукты и боеприпасы и предоставляем вам возможность с такой же отвагой и упорством, с каким вы сражались против нас, защищать теперь многострадальную Польшу от нашествия советов."

После этого мы спели молитву и "Еще Польска", и нас погрузили на три мощных грузовика. На всякий случай предусмотрительные немцы везли в одной машине нас безоружных, а в другой–сложили оружие: автоматы, пистолеты, пулеметы, фаустпатроны, три миномета, гранаты, очень много взрывчатки, всяческие боеприпасы, две рации, медикаменты, палатки, химические грелки и даже ящики с коньяком.

Отряд поляков сопровождал немецкий лейтенант с фельдфебелем и двумя солдатами, шоферы тоже были немецкие солдаты из тылового автобатальона. Приехали вечером в лес в стороне от шоссе, где-то к западу от Быдгоща. С востока явственно доносилась артиллерийская стрельба. Уже в пути поляки договорились о том, что будут делать, и едва началась выгрузка и они взяли в руки автоматы, как все немцы были схвачены :

они и не пытались сопротивляться. Отряд укрепился в лесу, выслали разведку, хотели разведать немецкие коммуникации или тылы, чтобы напасть на них... Но уже к утру убедились, что немцы отступили, по шоссе шли советские танки. Весь отряд строем с песнями вышел к ним навстречу. Первые советские бойцы и офицеры, с которыми они встречались, приняли их по-братски, вместе распивали немецкий коньяк, обменивались на память пистолетами. Но потом их разоружили, сперва интернировали, а затем объявили арестованными и подследственными, как "изменников родине". Наивный правовед Иван Иванович поражался и возмущался, как это возможно. Мы все советовали Тадеушу, что именно он должен говорить... Но следователь возражал ему: "Советская армия – союзник Польши, а немцы наши общие враги, вы взяли в руки немецкое оружие, чтобы напасть на советские войска, значит, вы изменили своей родине... Вы говорите, что подсудны польским судам, но мы – союзники Польши и должны судить вас, как ее изменников, а уж суд разберет, кто заслуживает помилования или оправдания".

Споря о правомочности следствия и суда, мы единодушно утешали Тадеуша и двух немцев-шоферов, – это были те солдаты, которые сидели у параши с капитаном, – что все окончится благополучно. Один из них рядовой – гамбуржец с бледным интеллигентным лицом, обросшим ровной полукруглой темно-русой бородкой, был коммунистом. Его долго не брали в армию как политически неблагонадежного, а потом зачислили в тыловой батальон. Он рассуждал обо всем, что с ним произошло с поразительной объективностью и почти бесстрастно. Он не сердился и не жаловался на тех, кто его арестовал и допрашивал. Говорил, что понимает недоверие и ожесточенность русских геноссен. Он думал, что его осудят на принудительные работы. Жалел, что именно таким путем попадет в Россию, о которой давно мечтал. Но все же хорошо, что попадет и будет участвовать в строительстве социализма. Он рассуждал именно так, как многие из тех немецких коммунистов, которых я знал, – последовательно логически выводя одно умозаключение из другого. Это была добросовестная, педантичная последовательность отвлеченных суждений: гитлеровские армии причинили вашему народу много страданий, обычные люди не могут в своих представлениях отделять армию от народа, к тому же,

немецкий народ долго терпел гитлеровский режим, – поэтому советские люди не доверяют всем немцам, и тем более немцам, носящим военный мундир, – следовательно, и я стал объектом недоверия и ненависти советских людей. Иначе и не может быть. Поскольку я не могу этому никак препятствовать, но в то же время был и остаюсь коммунистом, я обязан возможно лучше работать на пользу советской страны, ибо это значит и на пользу мирового, а следовательно и немецкого пролетариата...

В начале мая был суд. Тадеуша осудили на восемь лет, его товарищей на разные сроки от восьми до пятнадцати лет, всех немцев, в том числе и ефрейтора-коммуниста приговорили к расстрелу.

Шестая глава

ХИВИ

Из обитателей восьмой камеры запомнились еще двое.

Они были в немецких мундирах, но в наших пилотках и в наших разбитых ботинках – им уже успели "сменять" сапоги. Один постарше и побойчее, с медно-рыжей проволочной бородкой и ярко-синими быстрыми переменчивыми глазами, другой был тощий, молчаливый и тусклый.

Рыжего допрашивали чаще всех в камере; несколько раз он возвращался избитым, тяжело дышал, глухо постанывал, смотрел затравленно, с тоскливым отчаянием. Их называли власовцами. Эта кличка и вид немецких кителей вызывали во мне брезгливую неприязнь. Они были изменниками, – и уж неважно, от вражды к государству или из трусости, но именно изменниками, – служили гитлеровцам! Что могло быть отвратительней. Позднее я узнал, что они не власовцы, а "хиви",– т.е. "хильфывиллиге"–"согласившиеся помогать" или "добровольная прислуга". Так немцы обозначили особый разряд военнослужащих, введенный новыми полевыми уставами вермахта в 1942 году. Тогда в каждой пехотной роте, артиллерийской батарее и соответствующем танковом подразделении немецкой армии часть нестроевиков, – обозных конюхов, кухонных мужиков, санитаров, ездовых, мастеровых-ремонтников и т.п., – заменяли такими добровольцами из военнопленных; они получали немецкое обмундирование, но без погон, немецкий солдатский паек, несколько меньшее денежное жалование и, как правило, не получали оружия. В тыловых, строительных, транспортных и т.п. частях их было значительно больше чем во фронтовых.

Впервые я увидел "хиви" летом 1944 года в Белоруссии – иногда с ними самочинно расправлялись на месте захватившие их солдаты: –"а, землячки, изменники... вашу мать, власовцы, шкуры!" Хорошо, если просто расстреливали или вешали, случалось, что подолгу избивали, затаптывали насмерть.

Я знал, что "хиви"– не власовцы, и полагал, что убивать их не нужно. Знал, впрочем, что и с настоящими власовцами не так просто было, – большинство "записались" только, чтобы

спастись от голода, а иные и вовсе для того, чтобы, получив оружие, перебежать к партизанам. Но и,те и другие представлялись мне если не врагами, подлежащими истреблению, то уж во всяком случае существами низшего порядка,презренными, жалкими, которые сами повинны в том, что их будут встречать с недоверием, отвращением, и никогда не простят их все, кто честно воевал, хоронил погибших в боях друзей и товарищей, все солдатские вдовы, все искалеченные и обездоленные той войной, в которой они помогали врагу, служили ему, пусть даже подневольно, но ели его хлеб, носили его форму...

Так я думал, так чувствовал не только в первые дни и месяцы заключения, но и позднее. И когда уже начал понимать ограниченность, несправедливость таких решительных и жестоких обобщений, когда, узнав много пленнических судеб, услышав множество рассказов, – очень разных, но в главном похожих, – стал думать о них объективнее,разумнее и добрее, все же еще долго оставалось инстинктивное чувство недоверчивой и по сути неприязненной, хотя и жалостливой отстраненности и конечно сознание превосходства. Оставалось такое же, вероятно, чувство, как то которое все еще иногда возбуждают негры, евреи, цыгане и вообще инородцы, либо "простонародье" у тех, кто лишь рассудком, логикой преодолел расистские, антисемитские, шовинистические или сословные предрассудки. Логические представления одолеваются разумом. Но подсознательные чувства, эмоциональное, почти безотчетное восприятие сохраняются надолго – если не навсегда.

Мне понадобились годы, чтоб по настоящему избавиться от живучего яда, скрытого в таких военно-патриотических представлениях и восприятиях. И двое "хиви", с которыми я провел вместе первые недели в камере полевой тюрьмы, слушая их рассказы, споря с ними и о них, были первыми, кто начали помогать мне в этом.

"Хиви" набирались только из военнопленных красноармейцев. Солдаты всех других армий, воевавших против Германии, в том числе и польской, бельгийской, голландской, датской, норвежской, – т.е. таких, которых уже вовсе не существовало, могли, хоть и невесело, но все же как-то жить в обычных лагерях для военнопленных. Они и в плену оставались гражданами своих стран, даже если это были только жалкие огрызки государства, как "Польское генерал-губернаторство". Они по-

лучали посылки от родных, от Красного креста, переписывались с близкими, твердо знали, что вернутся домой после войны, как бы она ни кончилась. А нашим бойцам еще в казармах в мирное время втолковывали, что "плен — это измена родине". Многим было достаточно хорошо известно о том, что происходило в 1937-38 годах. Многие знали о непререкаемых законах бдительности, которые требовали подозрительного недоверия ко всем, кто хоть как-то соприкоснулся с "врагом" и вообще с иностранцами, знали, что никто из тех, кто побывал в плену у финнов и японцев, не вернулся домой. Все это существенно облегчало деятельность немецких пропагандистов и их помощников, которые доказывали, что советским гражданам, попавшим в плен, нельзя рассчитывать на снисходительность своего государства, что Сталин их всех "списал", что именно поэтому они не получают ни писем, ни посылок, что советское государство, единственное в мире, не признает Гаагской конвенции о военнопленных, и всех попавших в плен считает изменниками и т.д. и т.п. Мне часто приходилось слышать и от немцев, и от поляков, с которыми встречался в тюрьмах и лагерях, насмешливые издевательские упреки: почему, дескать, ни одна из покоренных гитлеровцами буржуазных стран не смогла поставить Гитлеру больше одного батальона солдат, между тем, как сотни тысяч, почти миллион советских бойцов и офицеров — граждане наиболее успешно воевавшей социалистической державы—служили во власовских и казачьих частях и всевозможных легионах: "волжском", т.е. татаро-чувашском, "кавказском", "туркестанском", – в дивизиях СС "Галиция" и "Волынь" и непосредственно в немецких войсках, как "хиви".

Что можно было возразить на это?

Конечно же, ни в одной другой стране не было и столько героев-мучеников, которые вопреки всему оставались верны "жестокой матери своей", кто в лагерях смерти и в казармах власовцев создавали подпольные боевые организации, гордо шли на пытки, на смерть...

Но и тех, кто не стал героями, кого сломила самая долгая пытка, которой подвергали только советских военнопленных, — медленное умирание от голода, — тех могли так судить и карать лишь тупоравнодушные, раболепные чиновники смерти: следователи, прокуроры и судьи, у которых все человеческие ощущения заменяла профессиональная бюрократическая бес-

страстная жестокость. В их сознании все представления о правде, о законе, о здравом смысле, даже об интересах государства, которому они служили, отступали перед очередной "установкой", перед постоянным неуклонным стремлением действовать только так "как положено", чтобы не вызывать недовольства вышестоящих инстанций .

Именно это стремление было началом и концом, основой и сутью деятельности всех звеньев той огромной, многосуставной и многоэтажной, ненасытно прожорливой машины-людоеда, отдельные "агрегаты" которой назывались "органами госбезопасности", "прокуратурой", "судами", "военными трибуналами", "гулагом" и т.д.

Эта, словно придуманная Кафкой, грубо примитивная, топорно-механическая, но в то же время необычайно сложная машина, составленная из уродливо человекообразных звеньев,— незрячая, глухая, но тысячеглазая и тысячеухая, — бдительная машина бедствий и смертей всасывала сотни тысяч жизней, уцелевших от войны, от немецких лагерей, от гестапо, и беспощадно их пережевывала, перемалывала...

И таково уж было чудовищно-абсурдное устройство этой машины, что она одинаково штамповала "изменниками родины" (статья 58—пункт 1-ый) и тех, кто действительно служил гитлеровцам, кто был полицаем, карателем, доносчиком, и тех, кого тяжкая военная судьба и жестокое равнодушие сталинского государства загнали в "хиви", и простых работяг, мыкавших горе в лагерях, батрачивших на бауэров, незадачливых "шпионов", вроде мальчишек-ленинградцев в моей первой камере, и настоящих героев, организаторов Сопротивления в лагерях смерти и во всевозможных "восточных" формированиях, таких как защитники Бреста, как Муса Джалиль и Гиль-Родионов, как Николай Бушманов и Андрей Рыбальченко — создатели "Берлинского Комитета ВКП(б)".

Всем им, всем, без исключения, кто побывал в плену, следователь задавал одни и те же вопросы:

— Почему не застрелился, вместо того, чтобы сдаться?

— Почему не погиб в лагере для военнопленных?

— Какие гостайны выдавал немцам?

— Какие задания получал от гестапо и абвера?

Дополнительные вопросы задавались тем, кого освободили англичане или американцы:

– Какое задание получил от англо-американской разведки?

Один бывший пленный говорил:

– Если б немцы сразу же сказали: "Иди служить к нам, или расстреляем", то, пожалуй, большинство из нас, не задумываясь, отвечали бы: "Ну, и расстреливайте, гады, а мы изменниками не будем." Но когда голодаешь, неделю за неделей, месяц за месяцем, когда уже ни о чем, кроме еды, и думать не можешь, когда жрешь траву, жуешь старый ремень, и за сырой брюквой, за куском дохлятины бросаешься, не глядя, не боясь, что тебе вдогонку стреляет конвой, что рядом уже кто-то упал... вот тогда тебя уже не угрозами, не палкой, а просто миской баланды или куском хлеба легко заманивают и во власовцы, и в хиви, сам не знаешь как. Голод страшнее смерти. От голода и мозги и характер и совесть ссыхаются, испаряются, перестаешь быть человеком, ничего не соображаешь... Кто устоял против голода – такого голода – тот действительно герой, сверхчеловек, по-старому – святой...

Такие соображения мне пришлось слышать не раз. Чем больше голодал сам, тем лучше понимал их. Тем больше восхищался людьми, которых голод не лишил совести и мужества. Но следователи и прокуроры, не знавшие ни голода, ни совести, не могли, да, впрочем, и не хотели их понимать.

Глава седьмая

ВЫ ОБВИНЯЕТЕСЬ ПО 58-ой СТАТЬЕ

Первый допрос состоялся вскоре после ареста, в том же тюремном здании, в большой, почти пустой,замусоренной комнате. У стен валялись кучи бумаги, деревянные обломки; в углу у окна за небольшим столом сидел молодой капитан.

– Садитесь, – стул вплотную у стола. – Я ваш следователь, капитан Пошехонов. – Он говорил спокойно, вежливо и смотрел разве что с некоторым любопытством.

– Прежде всего, я решительно протестую против ареста, против того, что меня, советского офицера-фронтовика, в первую же ночь поместили к немецким жандармам. Это ничем не может быть оправдано...

Капитан улыбнулся.

– Вам сейчас не о протестах нужно думать, а о своем деле. Вы арестованы и обвиняетесь по очень серьезным статьям уголовного кодекса... 58-10 часть вторая и 193-2г., и по той и по другой вам грозит расстрел.

От слова „расстрел" где-то в животе стало холодно. Сразу подумал: конечно, пугает, это ведь привычный прием. Главное, – не подавать вида, что страшно, не теряться, думать, думать, думать и не спешить говорить...

– Что означают эти статьи, я не юрист.

Он протянул небольшую книгу "Уголовный кодекс РСФСР", я нашел: 58-10 "антисоветская агитация и пропаганда... хранение и распространение... клевета со злонамеренными целями." 2-я часть – все то же в военное время в условиях чрезвычайного положения действительно "вплоть до высшей меры..." Статья 193-2 "невыполнение приказа на поле боя, подстрекательство к невыполнению... тоже высшая мера."

Холодок внутри густел. Но мысли ясны и подвижны.

– Ко мне это не может иметь никакого отношения. Преданность родине я не раз доказал за четыре года войны. Не было ни одного случая, чтобы я не выполнил боевой приказ...

Всего месяц тому назад меня представил к награде генерал-майор Рахимов – командир 37-й гвардейской дивизии, и это было на поле боя, перед строем, в присутствии множества людей, и награждать он хотел не по чьим-то рекомендациям, не по бумажкам, а за дела, которые сам видел и другие командиры видели в Грауденце. Вам легко проверить…

– Мы все проверим, что надо. Но, как говорится, за хорошее вам спасибо, а за плохое извольте отвечать.

– Я не делал ничего плохого…

– Вот в этом мы и должны разобраться. Что у вас произошло в Восточной Пруссии? За что вас исключили из партии?

– И за это я арестован? Да ведь это же все клевета и притом бессмысленная клевета…

– Мы не верим словам, мы верим фактам…

Началась обычная вступительная процедура допроса. Где родился, кто родители, есть ли родственники за границей?.. репрессированные… где учился, где работал… И наконец:„А теперь я могу вам сказать : вы обвиняетесь в том, что в момент решительных боев, когда наши войска вступали на территорию Германии, вы занялись пропагандой буржуазного гуманизма, жалости к противнику, что, получив боевое задание провести разведку морально-политической обстановки в Восточной Пруссии, изучив возможную деятельность фашистского подполья, вы взамен этого занялись спасением немцев, ослабляли моральный уровень наших войск, агитировали против мести и ненависти, – священной ненависти к врагу. И все это было у вас не случайными ошибками, что видно из фактов, ранее имевших место… Вы позволяли себе на собраниях и в разговорах с товарищами в недопустимой форме критиковать командование, нашу печать, статьи товарища Эренбурга, выражали недоверие к союзникам, вы допускали такие высказывания, которые в условиях войны, фронта, нужно расценивать как деморализующие, подрывающие боевой дух…"

– Полностью отвергаю все эти обвинения. Теперь, наконец, понимаю, почему арестован… Не предполагал, что это возможно. Нелепая клевета дезориентировала партийное собрание, потому что там никто не мог проверить, там отсутствовали товарищи, которые легко опровергли бы. Но как же этой клевете поверили у нас в контрразведке? Ведь вы можете легко установить правду, ведь вы же должны…

— Мы сами знаем, что мы должны... Сейчас мы должны провести следствие. Если оно установит, что вы невиновны, вас освободят. Если следствие не даст окончательных результатов, разберется трибунал. У нас никого не осуждают без вины...

Эти слова меня сразу успокоили и возбудили почти радостные мысли. Пожалуй, так даже к лучшему. Забаштанский явно переборщил, добившись моего ареста по тем же обвинениям, по которым исключали из партии. Теперь факты будут установлены, теперь выяснится то, что труднее всего бывает доказать на собраниях, да еще имея дело с такими благосклонными к подхалимам сановниками, как генерал Окороков, теперь окончательно выяснится, какой бесстыдный лжец Забаштанский, какое трусливое ничтожество Беляев... Теперь все это будет доказано, и следствие избавит меня от необходимости в одиночку разгребать всю грязь, обличать мелочную пакостную сущность этих людишек. Почему им понадобилось расправиться со мной? Видимо, они полагают, что я должен обязательно действовать против них. А действовать по-ихнему, значит: жаловаться, доносить, подсиживать, оспаривать ордена и посты. Между тем, я никогда не собирался ничего предпринимать против них. Тогда мне казалось, что я рассуждаю здраво и принципиально, ведь главное дело — война; для меня должно быть важнее всего то, что я делаю и могу еще сделать для того, чтобы ослабить врага, ускорить победу. В сравнении с этим любые несогласия со "своими" — мелочны, а склоки, которые лишь могут отвлечь от настоящего главного дела — недопустимы.

Прошло много лет, пока я стал понимать, что в этом частном случае, в моем бестолковом плутании между неразрешимыми, — а ведь мне казалось, уже окончательно решенными, — противоречиями "большего и меньшего зла", "объективной и субъективной правды", непосредственно отразилось и главное противоречие всей нашей жизни, воплощенное в судьбе нескольких поколений. Да, именно не одного, а нескольких поколений. Ведь тысячи старых большевиков, тех самых, кто были героями на баррикадах, на каторге, на фронтах гражданской войны, потом через десять-пятнадцать лет лгали, раболепствовали, подличали, славили, славили великого вождя , "отца народов", трусливо предавали друзей и оплевывали самих себя. И поступали так не только, — а многие и вовсе не из страха или своекорыстных расчетов, а потому что верили, что это необходимо

для главного дела, для безопасности Советской страны, для борьбы против фашизма. И мои сверстники и младшие современники уже после всего, что мы видели и испытали в 30-м, в 33-м, в 37-м, в 39-м годах, после голодовок, после "ежовщины", после дружбы с Гитлером и раздела Польши – шли добровольцами в Финскую кампанию, в 41-45 годах отважно дрались на фронтах, и в партизанских отрядах, самоотверженно сопротивлялись в немецких лагерях смерти. Вероятно, еще и в 1953 году, начнись тогда война, шли бы мы добровольцами и кричали бы "За родину, за Сталина." И если бы тогда состоялось уже задуманное переселение евреев в социалистическое гетто на Дальнем Востоке, и там бы нашлись еще тысячи мальчишек всех возрастов, которые из приамурских бараков рвались бы в Корею, во Вьетнам, на Кубу, на Тайвань, на любые фронты для того, чтобы доказать, что они "свои", а прежде всего потому, что именно это считали главным, великим делом...

Тогда я был уверен: ц е л ь о п р а в д ы в а е т с р е д с т в а. Наша великая цель – всемирное торжество коммунизма – и ради нее можно и нужно идти на все – лгать, грабить, уничтожать сотни тысяч, даже миллионы людей, – всех, кто мешает или могут помешать, всех, кто оказывается на пути. Чтобы спасти полк, бывает необходимо пожертвовать взводом, а чтоб спасти армию – полком... Трудно понять это тем, кто погибает. Но любые колебания и сомнения в подобных случаях только от "интеллигентской мнительности", от либерального скудоумия тех, кто за деревьями не видит леса.

Так рассуждал я и все подобные мне. Даже тогда, когда я сомневался, когда верил Троцкому и Бухарину, когда видел, как проводили "сплошную коллективизацию", как "окулачивали" и "раскулачивали", как беспощадно обирали крестьян зимой 1932-1933 гг., ведь и сам участвовал в этом, ходил, рыскал, искал спрятанный хлеб, железным "щупом" тыкал в землю – где "рушеная", где яма с хлебом, – и выворачивал дедовские скрыни и старался не слушать, как воют бабы, как визжат малыши... Тогда я был убежден, что вершу великую необходимость социалистического преобразования деревни, что им же потом лучше будет, что их горе, их страдания от их же собственной несознательности или от происков классового врага, что те, кто меня послали, – а с ними и я, – лучше самих крестьян знаем, как им нужно жить, что сеять и когда пахать...

И в страшную весну 1933 года, когда я видел умиравших от голода, видел женщин и детей, опухших, посиневших, еще дышавших, но уже с погасшими, мертвенно равнодушными глазами, и трупы, десятки трупов в серяках, в драных кожухах, в стоптанных валенках и постолах... трупы в хатах – на печках, на полу – во дворах на тающем снегу в старой Водолаге, под мостами в Харькове... Видел и все-таки не сошел с ума, не покончил с собой, не проклял тех, кто обрек на гибель "несознательных" крестьян, не отрекся от тех, кто зимой посылал меня отнимать у них хлеб, а весной уговаривать еле двигающихся, скелетно худых или отечных людей идти в поле, "по-ударному выполнять планы большевистской посевной..."

Нет, не сошел с ума, не убил себя, не проклял и не отрекся... А по-прежнему верил, потому что хотел верить, как издревле верили все, кто были одержимы стремлением служить сверхчеловеческим, надчеловеческим силам и святыням: богам, императорам, государствам, идеалам Добродетели, Свободы, Нации, Расы, Класса, Партии...

Когда их пытаются осуществлять, требуют человеческих жертвоприношений. И фанатические приверженцы самых благородных идеалов, суля вечное счастье потомкам, безжалостно губят современников, даруя райское блаженство мертвым, истребляют, увечат живых, становятся неумолимыми палачами и бессовестными лжецами. А при этом сами себя считают добродетельными и честнейшими подвижниками и убеждены, что злодействуют во имя будущего добра, и лгут ради вечных истин.

Und willst du nicht mein Bruder sein,
So schlag ich dir den Schädel ein... *

– поется в ландскнехтских куплетах...

Точь-в-точь так же думали и поступали мы – фанатичные послушники всеспасительных идеалов коммунизма. И когда мы видели, что во имя наших высоких добрых идей совершаются низменные жестокие дела, и когда сами в них участвовали, то больше всего боялись растеряться, впасть в сомнение, в ересь, боялись утратить безоглядную веру.

---

*И если ты не хочешь стать братом моим,
Башку тебе размозжим.

В 1930 и в 1933 и, тем паче, в 1937-38 гг., мне бывало жутко, наваливалась злая тоска. Но я убеждал себя, как привык и приучился раньше: ”ошиблись, перегнули, не учли” … „логика классовой борьбы”, ”объективная историческая необходимость”, ”варварские средства борьбы против варварства”…

Понятия добра и зла, человечности и бесчеловечности представлялись нам пустыми абстракциями. И я не задумывался, почему это *человечность* – абстрактна, а *историческая необходимость* или *классовое сознание* – конкретны. Понятия совести, честности, гуманности мы считали идеалистическими предрассудками, интеллигентскими или буржуазными и, тем самым,порочными.

Все это я стал сознавать по-настоящему значительно позже, много лет спустя. Но уже в последние месяцы войны, я ощущал это, как неотвратимо нараставшую угрозу. И тогда же впервые начал задумываться и решил, что нам недостает абсолютных, догматически прочных нравственных норм. Релятивистская мораль, – дескать, все относительно; все, что полезно нам, хорошо, а все, что полезно врагу, плохо, которую мы исповедуем, называя диалектикой, – в конце концов вредит нам же, вредит социализму, воспитывает безнравственных ремесленников смерти. Сегодня они резво убивают врагов, – настоящих или мнимых, воображаемых; – завтра так же легко будут убивать своих… Когда я говорил об этом, когда спорил, стараясь убедить – нельзя, чтобы наши солдаты убивали и мучили пленных, нельзя грабить польских и немецких крестьян, – я был озабочен прежде всего, – если не только, – мыслями о нашей стране, о нашем общественном строе. Какими станут потом, после войны, эти пареньки, пришедшие на фронт из школы и ничему не учившиеся, кроме как стрелять, окапываться, перебегать и переползать, швырять гранаты. Они привыкли видеть смерть, кровь, жестокость и ежедневно убеждались в том, что газеты, радио, их собственные командиры на митингах рассказывают о войне совсем не то, что они сами видят и испытывают.

Привычка к насилию и ко лжи, недоверие к слову, исходящему ”сверху”, должны были обратиться против нас… Как избежать этого?

Меня исключили из партии и арестовали именно за такие мысли, высказанные вслух; в этом усмотрели ”пропаганду

буржуазного гуманизма и жалости к врагу". А я злился и недоумевал, почему так неправильно понят, ведь жалею не врагов, а своих. Снова и снова думал об этом в госпитале и в тюрьме... И в тот первый день заключения в кузове машины, мчавшейся к тюрьме, глядя на звездное небо, полукругом обрезанное брезентовым верхом, на силуэты двух конвоиров, я думал все о том же, но уж как о новой жизненной задаче. Нужно разработать систему настоящей марксисткой этики. До сих пор было не до этого. – Революция. – Строительство. – Война... Однако после войны, нравственное воспитание станет насущной необходимостью. Миллионы людей озверели, развращены и гитлеровщиной, и самой войной и нашей собственной пропагандой, воинственной, националистической, лживой. Такая пропаганда была необходима накануне и, тем более, во время войны, в этом я тогда не сомневался, но понимал, что она принесет отравленные плоды...

Вторая часть

ВНАЧАЛЕ БЫЛО. . .

Восьмая глава

МИЛЯ ЗАБАШТАНСКИЙ

С Забаштанским, начальником 7-го отделения Политотдела 50-й армии, я познакомился в мае 1944 года в Рославле – там находился штаб новоформируемого 2-го Белорусского фронта. Мне он с первого же взгляда понравился. Невысокий, коренастый (потом он все жирел и стал туго мятым, почти кубическим толстяком), круглая, крепкая голова на короткой шее, смуглое, широкое лицо, по-ребячьи припухлые щеки, глаза – темные шарики – иногда тусклые, сонные, а иногда блестящие, хитроватые. Говорил он с мягким полтавским акцентом, шутил, играя простачка, но чувствовалось: смекалист, энергичен, упрям. Рассказывая на совещании о своем отделении, он толково, доброжелательно говорил о работниках; не хвастался, но ясно было, что уверен в себе, знает дело и знает, что недаром ест армейский хлеб... В первый же вечер я привел его ночевать в домишко, где жил. До утра мы разговаривали. (Потом на партсобрании и на допросах я услышал некоторые свои рассказы необычайно преображенными.)

– Зови меня "Миля" – поп окрестил Минеем, ну, придумал же имячко, видно, со зла на батька. Полностью я Миней Демьянович... тут без поллитры не выговоришь... А с детства все зовут Миля... Батько был хлебороб, самый простой бедняк, но у нас на Полтавщине, знаешь, бедняки в общем не голодували, жили не хуже, чем "крепкие середняки" где-нибудь в Средней России. – В детстве он пас свиней, но школу все же кончил. Был одним из первых комсомольцев. Стал секретарем сельской ячейки. – А потом уж так и пошло. Сначала инструктор райкома, потом зав. отделом, одним, другим, а потом и в секретари... В 37 году, знаешь, как кадры менялись. – Стал первым секретарем райкома комсомола, а там членом обкома... С 39-го был секретарем Львовского горкома партии, первым секретарем. Там и войну начинал.

В ту ночь мы быстро подружились. Лежали в темноте,

курили, говорили о войне, о прошлой жизни, о своих семьях. Он рассказывал.

— Долго я жил, можно сказать, без всякой личной жизни. Райком, разъезды по селам, пленумы, конференции. Стал секретарем. Значит, положено и квартиру и всякое хозяйство, а кто этим будет заниматься? Ну, и хоть работал, бывало, так, что неделями спал, не раздеваясь, только что не сидя за столом, а все ж таки парень молодой. Вокруг девки. Знают, что секретарь холостой, так и липнут. А блядовать мне нельзя — весь на виду. Районный город, знаешь ведь, — каждый про каждого все знает. Вот назначили меня в новый район первым секретарем, приехал я — стоит целый особняк, и с мебелью, а кормись в столовке и спи один. Так это обрыдло. Решил — женюсь. А как женишься? Мне ж нет времени залицятись... ухаживать. Да и на ком попало нельзя, бдительность должна быть. А больше не хочется жить по-собачьи, всухомятку. Вот я и решил, — в первый же вечер, как приехал, — остался в райкоме и просмотрел личные дела всех комсомолок города, — з села брать неудобно, скажут, секретарь свою жинку в город притащил. Ну, в личных делах есть фотокарточки, знаешь, так что не вслепую выбирал . Скоро надыбал одну — работает в промкооперации, техсекретарь, машинистка, член бюро ячейки... анкета подходящая, родители из бедняков, вся семья без пятнышка; характеристика хорошая, на личность приятная. На следующий день вызываю ее. Приходит и, вижу, трусится — с чего это первый секретарь лично вызывает, одну... А я ей сразу все начистоту,—вот, так и так, нужно мне жениться, про тебя я узнал объективные данные, а сейчас и сам вижу, что ты мне подходящая. Мне, знаешь, нет времени и никакой возможности на любовь и на всякие романы. Я тебя, конечно, не принуждаю, а по-товарищески предлагаю. Ты пойди, обдумай, а я буду ждать до сегодняшнего вечера. Останусь тут в райкоме один до девяти, если согласна, приходи. Пока я это говорю, рассматриваю, она мне и вправду нравится, такая чернявая, быстроглазая, фигурка и вообще все как следует. И вижу, самостоятельная; смущается, конечно, девка все-таки. Я ее спросил: у тебя есть кто, может, уже гуляешь? Она головой мотает — "Нет". И еще говорю: — если что раньше было, это меня не касается, мы же не мещане. Ушла она тихо так. Я весь день работаю, провел бюро, народ принимаю, с областью телефоню, а все на сердце вроде как щемит — придет

или не придет? Уже день кончился, я всех з райкома поразгонял, сижу один в кабинете и ничего ни читать, ни делать не могу, все в окно поглядываю, окно як раз на улицу... Потом уже темно стало, ну, думаю, не придет, надо какую другую по личным карточкам пошукать. И даже вроде обидно... Вдруг замечаю, идет. Здалека ее увидел. Идет, и как бы ноги у нее заплетаются; постоит, подумает, опять идет. Я смотрю, штору з окна пошире открыл, чтоб видела, что светится и даже вспотел, так переживаю. Зашла она в двери и еще до кабинета долго шла, чи може мне так показалось. Хотел все выскочить навстречу, и не позволяю себе, нельзя, должен и перед женой быть авторитет. Потом она так тихенько постукала... Я почекав, а у самого сердце, як телячий хвист... Потом спокойно так, солидно – "Да-а!.." Она входит, вся бледная,и вижу слезки. Тут же я встал, вышел к ней из-за стола и, ничего не говоря, как обнял, аж ребра хрустнули и в самые губы изо всех сил поцилував, она чуть и не сомлела... А на другой день она ко мне переехала: записались, все, как положено, но никаких свадьб не праздновали, я этого галасу не люблю... И вот не поверишь, а она честная оказалась, хоть и горячая девка была, и уже за двадцать, и такая на вид вполне подходящая, а честная. Может, это, конечно, предрассудки или пережитки, но все-таки мне приятно было. Так с тех пор мы и жили. Очень хорошо жили. Работать она бросила, ведь хозяйство, и потом у нас двое сынов, но я следил, чтоб культурно и политически не отставала – приносил ей газеты, книжки, она на собрания и на политзанятия ходила. Теперь вот в эвакуации обратно работает, в партию приняли, а то уже переросток была...

Рассказывал он все это с плохо скрываемой гордостью, – мол, вот, брат, как у настоящих людей складывается личная жизнь.

Мне все это показалось чужим и даже чем-то "неаппетитным", но не хотелось плохо думать о таком парне. Он не похож на меня и на моих друзей, но от этого он не хуже, чем мы.

Первое столкновение произошло у нас из-за Дитера

Дитер, летчик, попал в плен в самом начале войны. Его самолет, – он был пилотом дальней авиаразведки, – сбили над Ленинградом,и он опустился на парашюте прямо в

Летний сад. В лагере он стал антифашистом, закончил центральную (Красногорскую) школу. Молодой, длинноголовый, светлорусый парень с живыми умными глазами, и правильными чертами лица, был добродушен, старателен и наивно самоуверен. Он легко сочетал прусскую офицерскую выучку, требовавшую четкости в словах и в действиях, "быстрой решимости" и "радостного приятия ответственности" с прилежно школярски усвоенными основами коммунизма, был по-настоящему храбр, очень любознателен, остроумен, и в меру, – вполне по-офицерски, – тщеславен. При женщинах он сразу менялся – становился мягок, нежен, – впрочем, без слащавости, – мечтательно и многозначительно таращился в пространство, и в голосе появлялись какие-то особенные переливы, – мы говорили "затоковал".

К нам он был прислан как уполномоченный "Национального комитета Свободная Германия". Работе этого комитета и его уполномоченных в Москве придавали большое значение. Мануильский говорил: "будем разлагать немцев руками самих немцев." В комитете видели зародыш будущего антифашистского народного фронта. Необходимо было, чтобы деятельность комитета, его издания, его представители завоевали доверие немецких солдат. Нам приказывали неукоснительно следить за тем, чтобы все тексты, издававшиеся на фронте от имени национального комитета, составлялись и редактировались только немцами, чтобы все звукопередачи вели они сами. В пропаганде от имени Национального комитета, выступавшего под черно-бело-красным знаменем кайзеровской Германии, нельзя было допускать и тени иностранного акцента.

Поэтому листовки, составлявшиеся уполномоченными, можно было сокращать, но не редактировать. Когда Дитер впервые приехал в 50-ю армию в отделение Забаштанского, тот был как раз увлечен очередной установкой, полученной из Политуправления. Требовалась "конкретная пропаганда" – то есть, обращенная к конкретным частям и лицам, основанная на конкретных событиях. Узнав от очередного "языка" некоторые подробности о личной жизни и служебных взаимоотношениях офицеров немецкого полка, Забаштанский придумал "хитрую листовку". Он приказал Дитеру написать ее, как "личное письмо-инструкцию" и, называя поименно офицеров, извещать их о получении их "отчетов", спрашивать о "выпол-

нении прежних указаний", и в заключение приказать "перейти к борьбе в открытую". Такая листовка должна была, по уверениям Забаштанского, дискредитировать немецких офицеров, – командиров рот, батальонов и т.п., так как несколько фактов придадут ей необходимое правдоподобие.

– Хай гестапо возьмет их на прицел, так мы ослабим их кадры. – (Наивная уверенность, что гестапо работает с такой же прицельностью, как наши "органы", не раз была причиной неудач в других случаях и при более серьезных и более умно задуманных операциях нашей диверсионной пропаганды.)

Дитер отказался писать листовку, которая не могла бы повредить никому из адресатов, но зато безнадежно дискредитировала бы идею "Национального комитета". Забаштанский озлился, сам написал текст и велел перевести его своей переводчице, молоденькой еврейской девушке из Белоруссии. Она была убеждена, что еврейский и немецкий языки по сути тождественны, отличаются только произношением и деталями грамматики. Листовку она перевела на еврейский с некоторыми поправками на воспоминания о немецкой грамматике, добросовестно усвоенной в объеме средней школы. Дитер отказался подписывать. Забаштанский требовал и приказывал. Дитер возразил, что он ему не подчиняется. Забаштанский обозвал его фашистом и... арестовал. Меня послали улаживать конфликт. Дитера отправили обратно к нам, а Забаштанскому я высказал все, что думал по этому поводу не слишком парламентарно. Он почти не возражал по существу, но обижался, как это я принимаю сторону буржуйского сынка, фашиста против советского офицера, партийца и своего друга. Он скорбно и многозначительно говорил, что мы не должны от общения с немцами – "так называемыми антифашистами" – терять бдительность, забывать, кто свой. Все его демагогические ухищрения я объяснил себе тем, что он боится как бы не возникло"персональное дело", и поспешил успокоить его, дал понять, что считаю инцидент исчерпанным, но чтоб на будущее знал...

После этого мы по-прежнему оставались приятелями. Он представлялся мне настоящим "сыном народа", "солдатом партии, выросшим в офицера." Мы все помнили сталинские рассуждения об "офицерских и унтерофицерских кадрах партии." Иногда я внезапно ощущал неприязнь, слушая, как

он говорит убогими казенными словами, как привычными, нарочито патетическими вибрациями произносит: "Партия", "Родина", "большевистская партийность", "народ", "социализм". Мне казалось, что у него эти слова звучат поло, бескровно, мертво. И тогда проскальзывала мысль, – а не притворяется ли он, не просто ли он хитрый, хамоватый карьерист.

Но всякий раз, ловя себя на таком недоверии, я подавлял его как всплеск интеллигентского скепсиса, порицал свою проклятую склонность к рефлексии, к усложнениям простых вещей – все от недостатка "здорового классового инстинкта" и "партийности". Умение относиться ко всему на свете – к теориям и делам, к истории и к современности, ко всем людям и к самому себе именно так, как в данное мгновение нужно партии, и умение в любых обстоятельствах думать и действовать только в интересах партии назывались *большевистской партийностью.*

Это было едва ли не мистическое свойство, неопределимое никакими конкретными представлениями, но всеобъемлющее, универсальное. Раньше считалось, что возникает оно, главным образом, на основе пролетарского классового инстинкта. Но потом эти взгляды устарели и мы верили, что настоящая партийность вырастает прежде всего из практического опыта внутрипартийной жизни и из безупречной идейно-политической подготовки. Для этого требовалось изучить все виды уклонов, примеры вреда от притупления бдительности, приемы вражеской идеологической контрабанды и т.п. Неоходимыми условиями партийности были железная дисциплина и религиозное почитание всех ритуалов партийного бытия. Уже к концу 30-х годов установился своеобразный культ партийных документов; отделы учета превратились в святая святых; утеря партбилета приравнивалась к смертному греху. И все это мне казалось разумным, необходимым...

Забаштанский был олицетворением настоящей партийности. Несколько раз он, как бы невзначай, замечал, что, вот, есть люди, которые, конечно, образованные, ученые, знают иностранные языки, историю, литературу и даже Маркса больше читали, чем он, потому что они с детства учились, только и знали, что учились, штаны на партах протирали, благо и те штаны, и хлеб, и даже булку с маслом, не сами зарабатывали. А вот он с детства своим горбом жил, а потом служил партии: раскулачивание, колхозы, пятилетки, борьба с врагами... И

поэтому он не завидует самым ученым интеллигентам, у него за плечами такие партийные университеты, а може даже академии, – каких ни за какою красивою партою не получишь...

Всякий раз я не удерживался и "принимал подачу", рассказывал, что вот и я, хоть учился, но все же не только в батьковых штанах, и тоже поработал и на коллективизацию, и на пятилетки. Но возражал я больше для самоутверждения, а в то же время убеждал себя, и сокровенно гордился своей объективностью и "диалектизмом" (может быть, это и я уже приближаюсь к настоящей партийности), что конечно же, он обладает неоценимыми преимуществами, и те его качества, которые меня раздражают, неотделимы от его цельности, народности. Ведь он и впрямь был отличный политработник, толковый, целеустремленный, и значит достойный уважения и доверия, а все его недостатки от естественных противоречий характера, и не так уж важны.

Однажды он приехал к нам в отдел. Мы пошли обедать, кухня располагалась в овраге. Мы сидели на откосе, хлебали из котелков, разговаривали. Я рассказал что-то о Дитере, и Забаштанский вдруг озлился, глаза сузились, потемнели, все круглое румяное пухловатое лицо затвердело, заострилось...

– Ты мне не доказывай, он – гад, фашист! Он–враг, сын буржуя и сам буржуй, да еще немецкий. Использовать мы его должны, а потом лучше всего в расход...

Только я собрался возражать, как откуда ни возьмись, подошел Дитер, веселый, хохочущий, довольный всем окружающим и самим собой.

Забаштанский, увидя его, – едва ли не в то же мгновение, когда еще говорил "гад, фашист... в расход..." и даже не заикнувшись, – переключился.

– А, Дитер... здорово! Гутен таг, либер геноссе, как живешь? Ви гейтс?.. Когда к нам опять приедешь?..

Широким взмахом протянул Дитеру руку и приветливо улыбнулся.

Дитер был обрадован и польщен любезностью майора, который совсем недавно приказал его арестовать, значит, признает, что был неправ, вот именно так, без лишних слов, не роняя своего начальнического достоинства.

Когда Дитер отошел, я заметил: – Ну, и артист же ты, Миля, прямо художественный театр.

Он поглядел внимательно: – А что ж, с ними так и надо. Враг коварен, нельзя ему показывать, что ты раскусил его, хай надеется, что мы дурни, головотяпы, – скорее поймается...

И я подумал: вот это и есть народная мудрость и выдержка настоящего большевика, опытного, бдительного, свободного от моралистических предрассудков.

Потом было еще несколько эпизодов, которые тогда показались совсем незначительными, но в тюрьме припомнились, и стало понятно, что все они – звенья одной цепи, узелки одной паутины, в которой я запутывался, сам того не замечая...

Летом, когда началось окружение немецких армий в Белоруссии, меня прикомандировали к отделению Забаштанского и назначили командиром большой группы, вооруженной двумя звуковыми машинами (МГУ–мощные говорящие установки).

С нами ездили два уполномоченных Национального комитета "Свободная Германия" – Дитер и Ганс Р. Каждого сопровождал прикрепленный офицер, Дитера – работник нашего отдела капитан Д., а Ганса – сотрудник армейского отделения, он же командовал второй звуковой машиной.

Несколько дней и ночей мы ездили по дорогам и проселкам, останавливались и, направив рупора машин в лес, приглашали немецких солдат сдаваться в плен. Выходили они в одиночку или небольшими группами, и мы отправляли их в тыл без конвоя, с запиской "следует на сборный пункт столько-то перебежчиков". Потом мы узнавали, что к ним по дороге приставали другие, и на сборном пункте наши записки исправляли, иногда почти удваивая число.

Но в некоторых местах у немцев были очаги сопротивления с танками и тяжелой артиллерией. На такой очаг мы нарвались в лесу за деревней Драчевка севернее минского шоссе. Мы провели несколько передач – звучала печальная музыка. Говорили и Дитер, и Ганс, и недавно сдавшиеся в плен солдаты. Но перебежчиков не было. Зато время от времени из леса стреляли пушки и минометы.

К вечеру, после довольно сильного огневого налета, капитан К. сказал, что его машина вышла из строя. Нет, попаданий не было, просто испортилась аппаратура. Мне еще раньше пока-

залось, что капитан слишком настойчиво и несколько суетливо заботится о безопасности машины, старается располагать ее подальше от якобы опасных мест и поскорей отводить назад. Но в технике я ничего не смыслил и проверить не мог.

На ночь мы заехали в деревню, очень усталые, едва поев, свалились на пол в большой хате, устланной соломой, и заснули.

Перед рассветом меня разбудил майор Ш. и Дитер, оба крепко трясли, а Ш. кричал: "немцы в деревне... Наши машины уезжают!"

Мы уже на улице догнали звуковой автобус только потому, что он не сразу развернулся... Вдоль неширокой сельской улицы бежали толпами солдаты, вскачь неслись обозные телеги, катили автомашины... Из-за домов и огородов гулко хлопали разрывы ручных гранат, частили автоматы...

Дитер подобрал брошенный автомат, лег на крыло нашей машины и стрелял в ту сторону, откуда слышалась пальба.

Мы невредимыми выбрались за деревню, на опушке ближнего леса уже возникла оборона, которой командовал подполковник – "катюшечник". Вторая машина с капитаном К. мчалась впереди и, не задерживаясь, укатила дальше, к шоссе. Мы с майором Ш., еще один офицер из отделения Забаштанского и несколько солдат-добровольцев пошли обратно к деревне в разведку.

...На дороге все тихо, ни выстрела. То и дело натыкаемся на следы паники: валяются сумки, мешки, опрокинутая повозка, сбитые в комья шинели, несколько брошенных винтовок. В деревне пусто и тихо. Идем осторожно, пригибаясь, жмемся к домам... Внезапю замечаю: у большого сарая расхаживает часовой, пожилой часовой с махорочно рыжеватыми усами, в бесформенной, сплюснутой почти как ермолка пилотке и в короткой не по росту шинели с бахромчатыми полами. Но автомат новенький, ухоженный.

– Что тут у вас? Кто поставил?

– Как хто, командир дивизиона.

— А где командир?

— Тама на краю, на огневых.

— Издалека драпанули?

— А мы не драпали… — и с гордостью: — Мы ж артиллеристы, мы тут как стояли, так и стоим.

Я почувствовал, что багрово краснею. Солдат говорил явно без умысла, не упрекал нас и не срамил. Но мы-то еще несколько минут тому назад удирали отсюда сломя голову.

— А где же немцы?

— Хрен их знает. Туда кудысь подались, — махнул рукой. — Они сунулись, дорогу шукали, видно. Ну, тут пехота и тылы какие были, в панику, драпать. А наши артиллеристы развернулись вон тама и тама… дали им прикурить, пожгли одного тигра и еще машины; они и отчалили.

Мы дошли до противоположного края деревни. Все оказалось именно так. Один артдивизион отбросил сводную колонну немцев. Они с танками и бронетранспортерами пытались, обойдя позиции, с которых мы накануне вели передачи, прорваться на минское шоссе. Пленные рассказывали, что у них никто не знал, что в Минске уже русские, приказано было добраться именно туда.

Только через полтора-два часа я собрал всю группу. Не было одного капитана Д.; командиры машин, капитан К. и все, кто удрали, оставив Ш., Дитера и меня спящими, оправдывались, говоря: — Капитан выскочил, кричит: "Сматывайся! Окружили!" Мы думали, это приказ, а вы уже вперед убежали, не понадеялись, что машины развернуться в узком дворе (ночью они с трудом въезжали).

Выяснилось, что капитан Д. удрал раньше всех, впопыхах даже надев чужие сапоги. Он не пытался ни дожидаться, ни разыскивать нас, на попутных добрался до управления и там жаловался, что мы его в панике бросили.

Через день мы вернулись в штаб армии, я рассказал Забаштанскому обо всех этих происшествиях. Нелестно отозвался я и о слишком осторожном капитане К. и просил проверить исправность звуковой машины, которая так внезапно и таинственно вышла из строя. Забаштанский обиделся, — и мне понравилось, что он так горячо защищает своего подчиненного от моих подозрений.

— Ну, это ты неправ. Он всю войну под пулями ходит. Ну и что ж, что осторожный. Вот на тебя, наоборот, люди жалуются, что лезешь, не спросясь, куда попало, форсишь, чтоб поближе к противнику... Это, знаешь, старая мода. Так в гражданскую войну еще можно было, да и то с партизанщиной боролись. А сейчас ты и сам не должен лоб подставлять, и технику беречь надо. У меня в отделении одна только машина и есть, а ты ее впереди передовой ставил. К. правильно действовал, он имеет чувство ответственности. Никакая это не трусость...

Эти аргументы показались мне убедительными. А собственное поведение вызвало тем больше сомнений, что я-то ведь знал, как мне страшно бывает всякий раз, когда приближаюсь к передовой, когда слышу, как над головой зловеще курлыкает или ноет с присвистом или шипит, будто раздирают полотно, когда пулеметные очереди, чем ближе, тем злее хлещут, когда яростно топают разрывы и земля испуганно вздрагивает, и когда надрывно истошно воет, визжит бомба, несущаяся с самолета, конечно, прямо на тебя...

Все это было страшно и противно, и, чтобы скрыть от других и от себя унизительный страх, нужно было позабористее ругаться, говорить побольше бессмысленных грязных слов, делая вид, что все нипочем, рассказывать идиотские анекдоты, зубоскалить, стараться думать о другом, а лучше всего делать что-либо очень конкретное, четко определенное, и так, чтобы целиком сосредоточиться — добежать или дойти вон до того дерева, канавы, землянки, прочистить трубку, перемотать портянку, подобрать в нужном порядке пластинки для передачи. Если вели передачу, и огонь был только артиллерийский и минометный, можно было продолжать говорить, по нескольку раз повторяя каждую фразу. Еще на северо-западном у меня создалась репутация "храброго". Нужно было ее поддерживать. Поэтому не раз, бывало, я забирался вперед дальше, чем было принято; убеждая себя и других, что так нужно, что только так может быть по-настоящему действенной "звуко-передача", шел именно туда, куда больше всего боялся идти. Потом бывало приятно — все-таки заставил себя, не сдрейфил, — и совестно: ведь мальчишество, ведь, в конечном счете, что бы там ни говорили добрые друзья, но это — искусственная отвага труса, индивидуалистическое самовоспитание, а не настоящее

мужество, как у настоящих вояк – спокойное, без колебаний, когда ум холоден и ясен, и каждое действие рассчитано, уверенно и целесообразно.

Помня все это и, молча согласившись с Забаштанским, я не возвращался больше к этому разговору. Но трусость капитана Д., была очевидна. Мы говорили, что его нужно выгнать из партии и из отдела; по закону он заслуживает трибунала, – ведь он отвечал за Дитера, который ни при каких обстоятельствах не должен попасть в плен, – но трибунал все же слишком, нужно просто выгнать и написать в характеристике, что от страха он покинул товарищей и забыл о воинском долге, о прямых обязанностях. Я сказал, что на серьезное и опасное задание, например, в тыл к немцам, я охотно соглашусь пойти с Дитером, – он в который раз уж показал, чего стоит, – и никогда не соглашусь пойти с Д.

– Ну, как ты можешь так говорить, нет, я этого просто слышать не могу, ты сравниваешь советского офицера-коммуниста с немцем, буржуем, с фашистом, и как сравниваешь!.. Ну, как у тебя язык только поворачивается. – Он не спорил по существу. Он понимал, что я прав, поведение его подчиненных – К. и экипажа машины было весьма сомнительным. Он только уговаривал, дружески переубеждал. – Ну, что ж это получается, Д., выходит, плохой, видите ли, а Дитер хороший... Наш офицер – трус, а этот поганый фриц храбрый. Ну, подумай сам, что же это получается. Разве это наша постановка вопроса?

Когда я вернулся в отдел, там уже было известно мое "политически ошибочное высказывание". Парторгом отдела был старый капитан К-кий, гордившийся очень долгим партстажем, но боявшийся любого начальства. Он смертельно напугался из-за своего польского происхождения в 37-м году. Добродушный, не умный, болезненный и обидчивый, он всегда старался сглаживать "острые углы", примирять, успокаивать, заискивать и перед старшими, и перед младшими. Числясь инструктором "по польским вопросам", он тогда не был перегружен работой, по старости и болезненности его не донимали поручениями, и жил он в общем вполне благополучно. "Персональных дел" у нас не бывало, партийная группа подолгу не собиралась, так как большинство из нас почти всегда было в частях.

И вот наш добрейший и тишайший парторг, которого мы боялись обидеть, – он и слезу мог пустить, – стал меня воспитывать, то горестно патетически хватаясь за голову, то с грозной многозначительностью подпуская металла в хриплый тенорок.

– Как же это ты в такое время, после всего, что было, можешь позволить такие непростительные, возмутительные, объективно антипартийные слова, сравнивать советского человека с немцем, предпочесть фашиста коммунисту.

Он повторял почти то же самое, что говорил Забаштанский. Я отругивался. Пытался что-то доказывать. Но К-кий и начальник отдела подполковник Р. убеждали меня, что я неправ, что, каким бы ни был Д., но он советский офицер, коммунист и т.д., а Дитер – каким бы он ни был, все же не наш, другого мира. Я должен понять, я должен признать... Они оба не хотели "поднимать вопрос", они даже не требовали письменных объяснений, просто я должен признать, что неправильно выразился. Признать это перед ними... Вся эта нудная болтовня продолжалась день или два. Между тем поступали все новые пленные, среди них и генералы, фронт перевалил через старую границу. Главное дело было там, в наступающих частях, на опросах пленных, в огромных ворохах трофейных документов. Я признал, что погорячился и сказал, не подумав, что по форме получилось плохо, хотя по сути... Признался кое-как, лишь бы отвязаться. Ничего особенного не произошло, но Д. остался безнаказанным. К-кий объяснял – если сейчас начинать разбирательство, ему, конечно, достанется, хотя ведь вы там все драпанули, кто раньше, кто позже... Откуда известно, что он надел сапоги того другого офицера, а не наоборот. Д. говорит, что вы все его бросили... Сейчас наступление, что ж мы людей будем отрывать на следствие. И к тому же, если все серьезно расследовать, то нельзя умолчать о твоем недопустимом высказывании. И тогда за тебя возьмутся уж не твои друзья, – ведь мы тебя знаем и любим, – а другие, могут подойти формально. У тебя и так взыскание еще не снято.

Д. просто откомандировали из отдела в армию. Я оправдывал свое признание ошибки все тем же – главным делом. Но к тому же я не хотел в который раз оказываться ответчиком на собрании. Сколько раз уж это было. Когда исключали из комсомола как двоюродного брата "неразоружившегося троцкиста" в Харькове, в университете в феврале

35-го... Потом второй раз в Москве в институте, в сентябре 36-го, а потом еще всякий раз в райкомах, на бюро обкома!.. И на фронте, когда летом 42-го не приняли в партию — начальник жаловался, что я недисциплинирован, морально неустойчив, — живу с переводчицей, — а главное позволяю себе критиковать командование... И совсем недавно, весной 44 года, когда вынесли выговор за "притупление бдительности", выразившееся в "недопустимых дружеских отношениях с попами"...

Нет, легче неделю под огнем, легче самые жестокие артналеты — пронесло и все, — чем вот так стой и доказывай, что ты любишь родину, что верен партии Ленина-Сталина, что, конечно, признаешь ошибки и готов вскрыть корни, но просишь поверить, что всеми силами, до последней капли крови... И отвечать на ехидные и идиотские вопросы и слушать, как перевирают, извращают все, что только что говорил, как сочиняют про тебя заведомые нелепости и призывают не верить тебе, и поносят тебя с лживым пафосом, снова и снова впустую, всуе, кощунственно поминают то, что для тебя главное в жизни, самое святое...

Нет, только бы не повторять этого! Неприятно, стыдно признаваться в этом сегодня. Но кроме бескорыстной заботы о главном деле, еще и этот поганенький страх побуждал меня и потом, в феврале и марте 1945 года, так самоубийственно пассивно обороняться от Забаштанского, и от Беляева, и от Мулина. Им, в общем, не стоило большого труда загнать меня в тюрьму.

Девятая глава

ЗАБАШТАНСКИЙ НАЧАЛЬНИКОМ

К концу лета Забаштанский стал начальником отдела и не без моего участия. Начальник Политуправления фронта генерал Окороков вызвал меня для "доверительной беседы". Генерал был недоволен нашим тогдашним нач.отдела подполковником Р.

– Серый он какой-то; безынициативный, пресный сухарь. Я уже говорил с Москвой, а мне там заявляют – у них никого нет, чтоб я сам выдвигал кадры...

Подполковник Р. был из преподавателей истории или политэкономии. Невысокий, плоский, весь как-то вывихнутый; лоснящийся большой лысиной шишковатый череп, оттопыренные уши, светлые блеклые глаза. Он никогда не повышал голоса, говорил тихо и нудно. Был не глуп и честен, очень добросовестен. Говорил и делал только то, что действительно считал правильным. Перед начальством он робел до заикания, но никогда не подхалимничал, не лгал и не льстил. Он любил пофилософствовать и старался говорить книжно, гладко; был медлителен, осторожен и недоверчиво относился ко всему новому, непривычному, непредусмотренному. Генерал не ошибался, говоря о нем "безынициативен и ограничен".

Однако сам генерал, все более вспухавший от сознания своего сановного величия, – его как раз в те дни произвели в генерал-лейтенанты, – злился на Р. прежде всего потому, что тот не умел прислуживаться, заискивать, не умел и не хотел врать, пускать пыль в глаза, симулировать необычайную активность и изобретательность, словом во что бы то ни стало "поддерживать честь нашего фронта".

Р. я, правда, защищал, но без особого энтузиазма, а просто потому, что естественно защищать того, кто вызвал гнев пристрастного начальства. А на прямой вопрос о том, как я все же думаю, кто бы мог заменить Р., я, недолго думая, первым кандидатом назвал Забаштанского. И я казался себе тогда очень хитрым; я думал, он дельный мужик, по-насто-

ящему партийный, к тому же, мой приятель и будет меня слушать. Но и независимо от этого, он и впрямь казался тогда лучшим из многих и едва ли не лучшим из возможных начальников.

Новое столкновение произошло у нас вскоре после его назначения.

Я написал несколько листовок, обращенных к гражданскому населению Восточной Пруссии, к фолькштурму, молодежи и женщинам, которые копали траншеи и противотанковые рвы. С некоторых наших НП в стереотрубу можно было видеть, как они там копошились. Летчики рассказывали, как десятки тысяч гражданских работают в разных местах вдоль границы.

Листовок не напечатали. Забаштанский сказал уверенно и решительно:

– Это ты брось. Восточная Пруссия отходит к Польше и к нам, никаких векселей мы им давать не будем. И к населению обращаться не будем. Наше дело – фронт, а не тылы. Тем бабам, пацанам, фолькштурмам и так будет страшно... И не доказывай. Это дело, знаешь, дипломатическое. Мы напишем, слово не воробей, и окажется политический ляп... Нет, никаких векселей не будет.

Тщетно я уговаривал его, доказывая, напоминая, что и в 1918г. революция началась в Берлине, в городах глубокого тыла, тогда как во многих воинских частях еще долго сохранялась непоколебимая дисциплина – что ничего обещать не нужно, кроме мира и обычных формул – сохранить жизнь... Забаштанский не поддавался и закончил разговор категорично и многозначительно: все это, мол, не нашего ума дело, есть установка сверху и точка... Пришлось уходить.

Однако, недели через две, вернувшись после очередной поездки, я узнал, что из Главпура прибыла сердитая телеграмма. Забаштанского распекали за отсутствие пропаганды на Восточную Пруссию и прислали тексты листовок – обращений к населению. Как многие главпуровские издания, они были многословны, наполнены казенно-пропагандистской риторикой. На совещании в отделе говорили об этом и я сказал, что нужны и другие тексты, живее, конкретнее, что у нас есть та-

кие.

Забаштанский вдруг оборвал меня тихим, но злым голосом:

— Вы, конечно, опять злорадствуете, что наш отдел получил прочухана... А нужно не злорадствовать, а работать.

— Какое злорадство? Что вы придумываете? Я говорю о настоящей работе.

— Это я вам говорю о работе. И я не придумываю, я даю указание, как начальник, раз уже партия и командование доверили мне здесь быть начальником... Так уж вы потерпите и не митингуйте, и не доказывайте, что вы самый умный. А ваших веселых листовок все равно печатать не будем, нам тех фрицев и фрицых не развлекать надо, не утешать. Есть проверенные тексты из Москвы, их и дадим. И больше разговаривать не будем.

Словно повернул выключатель, заговорил о другом. Через несколько минут, и уже по другому поводу, обратился приветливо, на "ты", сказал что-то лестное о моей работе в недавней командировке.

Вскоре после этого мы вместе с ним ездили в 48-ю армию. Там я заболел. Двойную порцию аспирина запил стаканом водки с перцем и солью, лежал укрытый кожухом, в душном полузабытьи, голова тяжело и жарко вдавливалась в подушку. В той же комнате Забаштанский ужинал с начальником армейского отделения. Несколько раз они окликали меня — "Может, еще выпьешь?". Раз, другой я сказал "нет", потом не отвечал вовсе. "Спит" — заметил наш хозяин, и Забаштанский сразу же заговорил, словно поверив, что сплю.

— ...Вот он, трудный парень, самолюбивый, с такими, знаешь, интеллигентскими анархистскими выбрыками. И меня не любит. Я это, ох, как чую — не доверяет и не любит. А я его люблю... Вот, веришь, вижу все его недостатки, вижу, что он меня в ложке борща утопил бы. А я его не только ценю по работе, — он в нашей работе, конечно, первый класс, — горячий, правда, с перегибами, заносит его. Но дело понимает, образованный, имеет опыт, и с душой, старается. Но я его не только за это, понимаешь, а как друга люблю и уважаю. А он меня не любит и не уважает.

Чего он хотел? Чтоб я откликнулся, возражал?

Тогда сквозь жар, я подумал досадливо, какие примитив-

ные уловки. Нет, выяснять отношения с ним не хотелось. Зла я ему не желал и по-прежнему считал, что он в должности начальника – наименьшее зло. Но дружить уже не мог, тем более не мог лицемерить, симулировать дружелюбие и не мог высказывать даже того хорошего, что еще о нем думал, ведь в новых условиях это было бы заискиванием, подхалимством.

Забаштанский несколько раз заговаривал, что ему подозрительно, почему Дитер так хорошо знает расположение командных пунктов некоторых наших дивизий, имена генералов. Когда он ездил с Дитером в армию, тот даже указывал дорогу. – Еще радуется передо мной, гад, какой он знаток – а дорт стоят катюши, а дорт, видишь ли, командопункт генерала такого-то.

– А что ж в этом удивительного, если он подолгу бывал в этих дивизиях, если эти генералы приглашали его, поили водкой, любопытно ведь: фриц, а работает у нас...

– Что ж,ты можешь поручиться, что он не шпионит, не собирает сведения, можешь поручиться, что не продаст нас...

– За будущее Дитера ручаться не стану, но сейчас он никакой не шпион и не может им быть. Это абсурд. Уже потому, что он не скрывает своей осведомленности, а даже хвастается ею. Ведь это лишь доказывает, что у него нет злого умысла...

– Вот-вот, для того, чтоб ты так думал, он и трепется, он хитрее тебя... А Ганс, так это же крупнейший фашист, он же по их номенклатуре политический генерал... Он же нас, как дураков окручивает.

– В чем окручивает? Ну, приведи хоть один пример?

– А вот уж тем, что мы ему верим, что мы забыли, кто он. Доверяете ему в школе всем распоряжаться. Он с Дитером по частям ездют, изучают расположение.

– Во первых, Ганс уже давно никуда не ездит.

– А Дитер, думаешь, ему не сообщает? Тот главный, а этот его порученец.

– Это все твои фантазии. Нет никаких оснований так воображать. А кто такой Ганс, я не забываю и не очень ему верю. В школе он ничем не распоряжается. На всех занятиях, которые он проводит, присутствует Рожанский, и мы с Рожанским

составляем для него программы и планы.

– Тебя не переговоришь. Тебе одно слово, а ты десять. Но вот руку дам отрубить, одуривают нас эти фашисты и еще с нас смеются.

– Так давай отправим их обратно в Москву.

– Что ж, и отправим. Я спишусь, чтоб замену дали и отправим.

Ганс Р., которого Забаштанский, хотя и величал "фашистским генералом", но все же не так ненавидел, как Дитера, был действительно крупным нацистским аппаратчиком – "гаупропагандайлейтером" (т.е., говоря по-нашему, зав краевым отделом пропаганды) Вюртемберга, так сказать,"краевым Геббельсом". Инженер-химик, зять владельца небольшого химического завода, он был членом нацистской партии с 1930 года. Он объяснял, что в партию его привели ненависть к Версалю, обида на конкурентов тестя, – среди которых были евреи, романтика – мечта о героических подвигах во славу Германии, а более всего, красноречие и ум Геббельса; о нем он продолжал говорить с явным уважением, хотя и добавлял время от времени что-нибудь о его "демагогии", "дьявольском коварстве" и т.п. На фронт Р. пошел добровольцем, чтоб воинским служением подтвердить верность идеалам национал-социализма. Стал лейтенантом, командиром роты. Попал в плен в бою у Ржева в начале 1942 года. Пришлось ему поначалу солоно. Он рассказал, как на допросе его били поленом по животу, выгоняли разутым на снег... Все это его не удивило, ничего лучшего он и не ждал. Зато очень поразило, что все же не убили и отправили в тыл, в лагерь, где пленных офицеров не заставляли работать и кормили. Это сделало его восприимчивым к пропаганде антифашистов. Он поступил в лагерную школу, изучал марксизм; убедился, что Германия должна проиграть войну и примкнул к Национальному комитету "Свободная Германия". Он был прямой противоположностью веселому, порывистому, говорливому, тщеславному Дитеру – был сдержан, немногословен, меланхоличен и задумчив. Несколько раз я подолгу разговаривал с ним – именно разговаривал, а не расспрашивал, очень хотелось внушить ему полное доверие, чтоб заглянуть поглубже в душу настоящего наци. Он был довольно умен, – вер-

нее, здравомыслящ, – рассудителен, все же ему трудно было достаточно убедительно декорировать причины своего духовного перерождения в антифашиста. Он не хотел отказываться от претензий на "романтический идеализм" – это облагораживало его нацистское прошлое, – но в то же время старался подкрепить их марксистскими понятиями общественно-исторических закономерностей, классовых противоречий и т.п – понятиями, которые изучал усердно и добросовестно. Мне нравилось, что он не спешит оплевывать все, чему раньше верил и служил, не предается горестным покаяниям и самобичеваниям, не славословит без нужды новых богов, не обнаруживает той нарочитой, предупредительной, назойливой активности ренегата, которая всегда кажется искусственной и вызывает чувство брезгливого недоверия.

Невысокий, сутуловатый, с круглым, очень моложавым лицом, тихим голосом, вежливый без заискивания, исполнительный, спокойный, в минуты откровенности, говоря о жене и дочери, он бывал наивно и как-то беспомощно сентиментален. Иногда прорывались у него нотки, звучавшие фальшивой патетикой, – я знаю, что в новой Германии для меня не будет места, разве что в тюрьме, но я буду делать все, что необходимо для этой новой Германии, для счастья моих детей...

На заседании партгруппы отдела Забаштанский сказал, что считает осведомленность Ганса Р. и Дитера опасной, вредной и хочет услышать мнения всех товарищей. Мулин, разумеется, сразу же задекламировал о нашей ответственности перед армией, родиной, и, глядя на меня, упомянул о некоторых работниках, которые так увлекаются общением с фрицами, что у них притупляется партийное чутье, слабеет революционная бдительность. Что-то в том же духе, но косноязычно, путаясь, прокулдыкал наш новый парторг Клюев, путаясь в бесчисленных "так сказать", "значит", "конечно", "вообще". Нина Михайловна, испуганно и зло тараща глаза, захлебываясь от патриотического волнения, вспомнила о еще каких-то признаках подозрительности этих, "так называемых антифашистов". Когда я поднял руку, Мулин внятно прошептал "слово предоставляется адвокату". Но я чувствовал себя тогда проницательным, здраво оценивающим обстановку хитрецом и сказал, что, по-

жалуй, не может быть разногласий по такому вопросу, – сейчас, накануне наступления, нежелательно пребывание на фронте немцев, – пусть даже антифашистов, – которые слишком хорошо осведомлены о том, что не должно быть известно не только что противнику, но и нашим людям, непричастным к данным боевым участкам. Поэтому предлагаю откомандировать Дитером и Ганса Р. в распоряжение Москвы, попросить взамен других антифашистов и содержать их у нас в таких условиях, чтоб они, ни на миг не чувствуя недоверия, в то же время не могли бы узнавать ничего такого, чего им знать не нужно.

Спор не состоялся. А на следующий день Дитера и Ганса Р. отправили в тыл, и Забаштанский, словно между делом, показал мне "сопроводиловку" – там за его подписью черным по белому значилось: "есть основания предполагать, что занимались сбором шпионских данных".

Тут уж я забыл про выдержку и дипломатию. Это была не просто злая ложь, – такая бумажка грозила смертью. Я сказал Забаштанскому, что он не имеет никаких оснований для таких обвинений, что это гнусность, а не бдительность, что он должен указывать только на факты, на то, что они слишком много знают и объяснить, что считает такую осведомленность в условиях фронта недопустимой и поэтому откомандировывает их. Если же он будет настаивать и отправит эту клеветническую бумажку, то я считаю своим долгом коммуниста дезавуировать его и напишу рапорты Мануильскому, Бурцеву и письмо Вайнерту в Национальный комитет "Свободная Германия". Эти угрозы подействовали, он не стал ссориться, уступил неожиданно быстро, и мне же поручил составить новую "сопроводиловку". На всякий случай я все же дал Дитеру отдельно личные письма к Вайнерту и Юре М., в которых подробно рассказал о том, как хорошо и смело вел себя Дитер в трудных условиях, как добросовестно работали он и Ганс Р.

Прошло больше месяца. Забаштанский ездил на всеармейское совещание в Москву, вернулся в очень хорошем настроении. У меня с ним в то время отношения были только служебные. О разрыве, который произошел из-за Любы, – дальше расскажу о нем подробнее, – я никому не говорил, старался поменьше бывать в отделе. При встречах он был спокойно при-

ветлив, даже предупредителен, – олицетворение великодушия и партийной принципиальности.

На первом совещании отдела после его приезда он подробно говорил о том, что мы в Главпуре на хорошем счету, что там хвалят наши листовки и потом, как бы вскользь, упомянул: "Да, отметили также нашу бдительность... Дитер арестован как шпион, а Ганса Р. пока не изобличили, но выгнали из Национального комитета и отправили в штрафной лагерь..."

Возгласы Нины и Мулина... бормотанье... Смотрят на меня. Я уверен, что он врет. Но как сказать об этом сейчас. Молчу. Кто-то спрашивает: – Это что ж, у нас на фронте выяснилось?

Забаштанский отвечал многозначительно и туманно. Мол, не все еще известно. – Мы, хотя и не совсем были шляпами, вовремя их откомандировали, но все же имело место притупление.

Прошло несколько недель. Приехал к нам из Главпура начальник 7-го управления генерал-майор Бурцев.* От его адъютанта я узнал, что все рассказанное Забаштанским, чистая брехня:

---

*Забаштанский явно не хотел, чтобы я попадался на глаза генералу. Пытливо поглядывая, спрашивал: "Вы уже беседовали с генералом?" Но я тоже избегал встречи с высоким начальством потому, что не хотел доверительных разговоров, не хотел ни хвалить, ни бранить Забаштанского и всего менее хотел возбуждать его подозрения, что "действую за спиной". Поэтому я отвечал безоговорочно правдиво:

– Он меня не вызывал, а я не просил о приеме. У меня к нему вопросов нет.

За две недели пребывания у нас, генерал Бурцев встречался только с главным начальством из Политуправления и, конечно, с Забаштанским и с Мулиным. Все остальное время он беспробудно пил и по вечерам охотился на виллисе с особо яркими фарами на зайцев. (Зайцы шалели от света и их расстреливали из автоматов.)

В декабре 1943 в санатории "Архангельское" он угощал меня коньяком и отечески уговаривал перейти к нему в Политуправление.

– Я бы мог вас просто перевести приказом. Но я знаю вашего брата, насильно работать не умеете, хочу, чтобы сами поняли, где вы нужнее...

А летом 1946, отвечая на запрос следователя, Бурцев писал обо мне: "всегда был недисциплинирован, морально неустойчив и везде считался оппозиционером."

Дитер работал в редакции газеты Национального комитета, а Ганс Р. – уполномоченным комитета в офицерском лагере.

При следующей встрече с Забаштанским, в присутствии нескольких людей, я тоже, как бы вскользь, заметил: –Товарищ полковник, вас неправильно информировали насчет Дитера и Ганса Р., вот майор, адъютант Бурцева, рассказал совсем другое.

– Это его неправильно информировали, а может, он по другим причинам не говорит того, что не положено сообщать.

– Он говорил о конкретных фактах их работы сейчас... Зачем ему врать нам, зачем и кому это могло понадобиться хвалить перед нами уже арестованных шпионов.

У Забаштанского сузились глаза и затвердели скулы, в тихом, как обычно голосе злая хриповатость.

– А вы все хочете защитить своих дружков-фрицев и хочете показывать себя умнее всех... Давайте кончать эти разговорчики. Я сказал, что мне точно известно и не вам меня проверять. Такого задания вам не давали и не дадут.

– Я никого не защищаю, кроме правды; дружков фрицев у меня не было... и проверять вас я не собираюсь.

– Кажется, я ведь ясно сказал, кончим эти разговорчики. Есть у вас воинский порядок или нет? Кончим – значит кончим...

Забаштанский больше не упоминал о Дитере вплоть до того партийного собрания, когда меня исключали. Там он повторил все то же с усиленными вариациями: Дитера арестовали как шпиона, а Копелев, вот, заступился. Чуть в драку со мной не полез при всем отделе, доказывал, что я их, бедненьких, обижаю... На следствии, однако, Забаштанский уже говорил об этом иначе: утверждал, что я дружил с Дитером и Гансом Р., всеннопленными, которые хотя работали у нас – знаете, ведь на войне использовать надо всяких, – но явные, конечно, буржуи, в глубине души фашисты.

На очной ставке, когда я напомнил ему рассказ об аресте Дитера , оказавшийся ложью, он презрительно пожал плечами... выдумывает, мол, чепуху, чтоб отбрехаться, замазать настоящую вину.

Десятая глава

ЛЮБА

В самой первой беседе с Забаштанским – начальником отдела, когда он после официальной части перешел к "дружескому" разговору, я сказал, что считаю нужным поставить его в известность и как начальника, и как товарища, что старший лейтенант Люба Н., инструктор нашего отдела – моя жена. Правда, у меня есть семья, которую я не собираюсь покидать, и Люба это отлично знает, и у нее есть муж, к которому она вернется после войны, но сейчас мы любим друг друга, и я хочу, чтоб он это знал и прошу учитывать при формировании боевых групп, направлении в командировки, распределении по квартирам. Он посмотрел искоса.

– Ты же сам говоришь, что главное это польза дела?

– Говорю и думаю. Но мы с Любой отлично работаем вместе.

– Ладно, буду иметь в виду, хоть я и не люблю этих военных семейств. Но для тебя, конечно, можно сделать исключение. Главное только, чтоб не вредило боевой работе...

Мы с Любой были вместе уже больше года. Еще с Северо-Западного. Она кончила институт перед самой войной. Ушла в ополчение, была пулеметчицей; когда девушек перевели в сандружинницы, она сперва плакала, скандалила, потом смирилась, вытащила несколько десятков раненых из-под огня. Както обнаружилось, что она знает немецкий. Сделали ее диктором на звуковке. В феврале 1943 года ее назначили инструктором в армейское 7-е отделение. Вначале упиралась, не хотела "в тыл", но соблазнилась званием офицера. Она была умной, храброй, очень самолюбивой, почти по-ребячьи тщеславной. Могла расплакаться потому, что ее наградили "Красной звездой", а не "Отечественной войной", как ожидала. Она любила командовать, старалась выглядеть серьезным, знающим и многоопытным фронтовиком, а была маленькой, с веснушками и девчоночьими косичками, которые упрямо вылезали из всевозможных причесок, подгонявшихся к пилотке. Стричься не

хотела, знала, что не к лицу. Среди своих, когда не нужно было "держать себя, как следует", самозабвенно плясала, смеялась до упаду, заливчато, как ребенок. Но бывала и рассудительной, и расчетливой, умела кротко моляще глядеть серыми глазами в пушистых ресничках на суровых интендантов и генералов-матерщинников, добывая бензин, дополнительные партии валенок, полушубки или водку, уговаривая отпустить или назначить нужного нам человека.

Начальник армейского отделения, где она служила в феврале 1943 г., застрелился. Говорили, что у них был роман, что он ревновал ее к политотдельским сановникам. Люба несколько дней ходила, как тяжело больная, почти не разговаривала, не ела. Ее отозвали во фронтовое управление. Там прикомандировали ко мне. Первый месяц я старался отвлекать ее работой, избегал напоминать о том, что произошло. Сведения были противоречивые и хоть я жалел ее, но относился скорее неприязненно: о ней плохо говорили некоторые хорошие парни из армии. Но потом она сама стала рассказывать, уверяла, что с начальником они были только друзьями, показывала письма его жены к ней и письма своего мужа с приветами ему. Вскоре мы сблизились. На первых порах о любви и речи не было. Я говорил, раз уж нам приходится работать вместе и днями и ночами, все равно не миновать и спать вместе, и не стоит откладывать, может быть, и помрем вместе от одного снаряда.

К тому времени, – весна 43 года, – такие вопросы на фронте решались просто. Еще за год до этого фронтовые романы считались грехом – за них наказывали, виновных разлучали неукоснительно, появилось бранное словечко "ППЖ" – полевая походная жена (по аналогии с названием автоматов ППД и ППШ)... Но в конце 42 года прошел слух, – не знаю, были ли на эту тему официальные "установки", но слух стремительно проник во все части, что Сталин сказал: "Не понимаю, почему наказывают боевых командиров за то, что они спят с женщинами. Ведь это же вполне естественно, когда мужчина спит с женщиной. Вот, если мужчина спит с мужчиной, тогда это неестественно, и тогда нужно наказывать. А так зачем же?"

И тогда "естественные" отношения действительно перестали преследоваться. У многих, относительно самостоятель-

ных командиров появились постоянные "боевые подруги" (этот вежливый термин противопоставлялся грубому ППЖ). Некоторые генералы считали связисток, официанток, медсестер, вольнонаемных машинисток своей заповедной дичью. Возник и особый тип смазливой нагловатой девицы в тщательно подогнанной гимнастерке "по бюсту", хромовых сапожках, завитой, подкрашенной, в кокетливой пилотке или кубанке и немыслимо белом полушубке "в талию". Солдаты глядели на таких с веселой злостью, иногда с отвращением – "кому война мачеха, а кому и мать родная", а чаще всего с завистью к тем, кого эта краля согревает...

Рождался особый фольклор – медаль "За боевые заслуги" называли "за бытовые услуги", и фронтовики считали оскорбительным получать ее в награду...

Думаю, что гнусный закон о браке,* принятый в 1944 году, был отчасти непосредственным следствием тех отношений, которые возникли тогда. Страшно бедовали и непосильно трудились женщины в тылах. Война разрушила или надолго нарушила едва ли не все прежние связи между людьми и создавала новые скоропреходящие отношения, возникавшие в частях, в госпиталях, эвакопунктах, на коротких привалах, на бесчисленных кочевьях страны – воюющей, отступающей, наступающей, эвакуируемой и реэвакуируемой, голодной, смятенной, мечущейся между отчаянием и надеждами, между ложью и правдой, между подвигами и злодействами... Сколько справедливой и несправедливой злости накипело тогда в людях. А какою считать ту злость, что одолевала женщин, измученных работой, недоеданием, заботами, повсечасным страхом – давно нет писем, – до времени стареющих, когда им рассказывали, многократно приукрашивая, о беззаботной жизни фронтовых девушек-разлучниц, молодых, дерзких, не знающих ни карточек, ни очередей, ни похоронок, ни жуткого бабьего одиночества – сегодня одного убили, завтра другой есть. Новый закон дол-

---

* Тогда были не только восстановлены, но еще более ужесточены отмененные революцией законы о семье. Признавались только зарегистрированные браки. „Внебрачные дети" лишались прав на алименты, на отцовское наследство, даже права на фамилию отца. В их метриках полагалось отмечать отсутствие отца. Матери внебрачных детей считались бесправными „сожительницами", даже если фактический брак продолжался много лет. Развод был чрезвычайно затруднен: при обоюдном согласии сторон требовалось решение двух судебных инстанций, предварительное объявление в газете – крайне медленные и дорого оплачивавшиеся процедуры. Сопротивление одной стороны могло привести к длительной тяжбе во многих инстанциях.

жен был бодрить лихих фронтовых и прифронтовых кавалеров, чтоб не остерегались, плодились и размножались, благо после войны потребуется восполнять утраты в населении. В накладке были только искренние, любящие, доверчивые,или вышибленные из привычного быта войной, тянущиеся просто к радости, – пусть мимолетной, – или даже только по-бабьи добрые, жалеющие, – может, он завтра и погибнет, так и неприласканный, – или запуганные, голодные, задаривающие собой начальство... Лишь они, да их будущие дети, миллионы незаконнорожденных "полтинников", "безотцовых". Впрочем, были и настоящие фронтовые браки, немало я видел примеров настоящей светлой любви, особенно радостной от того, что постоянно рядом со смертью.

...На октябрьские праздники все собрались в отделе. Я вернулся из дивизии. На общем партийном собрании Управления, не помню уже по какому поводу, генерал Окороков в речи упомянул меня, сказал, что я хорошо работал и пора снимать выговор, вынесенный весной за "связь с попами". А потом добавил: "Тут у нас кое-кто ведет разговоры о том, что у него двоюродный брат – троцкист,и он с ним был связан в 29-м году. Так я хочу сказать, что Политуправлению это давно известно и было известно, когда мы принимали его в кандидаты партии. Он ничего не скрывал. А знаем мы его с начала войны по боевой и политической работе и знаем его недостатки. Есть у него по части дисциплины несдержанность, однако, его политическое лицо нам известно. Считаем, что все разговоры о его двоюродном брате совершенно неправильны. Это надо оставить, товарищи."

Я сидел на скамье впереди Забаштанского, мы иногда переговаривались. Я сказал: „И какая же это блядь старается...Вот узнать бы и набить морду..." Он ничего не ответил, только отмахнулся, мол, слушай докладчика...

Вечером праздновали в отделе – пили, пели, плясали... Потом Забаштанский стал настаивать, чтоб ехали праздновать в Управление в другую деревню, километров за пять. Но в Управление приглашали только часть старших "заслуженных" офицеров. Нелепым и произвольным было само выделение по прихоти начальника – "этот заслужил, а этот нет", и уже вовсе от-

вратительно в день Октябрьской революции подчеркнуто отделяться от младших и от рядовых . Что-то в этом роде я и сказал: — выпил в тот день немало и, вероятно, не очень выбирал слова.

Забаштанский нахмурился:

— Ты всегда что-нибудь придумаешь и всегда против руководства. Все-таки есть в тебе мелкобуржуазный анархизм.

Возник спор, вмешалась Люба, оттянула меня, пыталась уговорить, доказывала, что не надо устраивать из всего проблем, потом она уехала в машине Забаштанского. Оставшиеся продолжали праздновать.

Часа через два вернулся Забаштанский и те, кто ездил с ним. Любы не было. Забаштанский сказал мне сочувственно:

— Ну вот, видишь, ты не поехал, а твоя там осталась, ее полковник С. к себе увел. Теперь уж, наверное, до утра... Да, брат, бабы знают, как отомстить.

Меня и сквозь хмель прошибло злой обидой. Гвардии полковник был заместителем начальника Политуправления — холеный, великолепно скроенный, — грудь колесом, талия в рюмку, — напомаженный, наваксенный, благоухающий одеколоном, самодовольный, волоокий болван... Я обозлился, стал пить еще и еще. Плясал гопака, лявониху, пел с Забаштанским *Ой на гори* и *Хмеля*, целовался с ним и проклинал баб.

Потом неожиданно скоро пришла, вернее прибежала Люба без шинели, один погон на гимнастерке полуоторван, задыхалась: — бежала все пять километров... Лесом по грязи... Темно, боязно, хоть пистолет с собой. Почему же вы не дождались меня, товарищ подполковник?

Забаштанский ухмыльнулся: — А вы мне не сказали, что поедете обратно.

Увидя Любу, я еще больше обозлился. Еще пил, еще плясал. Потом ушел, она догнала уже на улице. Пыталась заговорить, вырвался, кажется, даже обругал.

На следующий день избегал ее, готовился к новому отъезду, но Люба заставила выслушать ее. Оказалось, Забаштанский усадил ее рядом с полковником С. Когда они уже собирались уезжать, С. вышел с ними, стал приглашать всех зайти к нему послушать пластинки. Она отказывалась, но Забаштанс-

кий говорил: – Ну, чего же это вы? Полковник приглашает, чего же вы так невежливо?

Шли все вместе, но у дверей полковничьего дома Забаштанский и Мулин, вдруг не попрощавшись, повернули: – Ну, мы вас довели. – Полковник пытался втащить ее, стянул шинель, надетую внакидку, она вырвалась, удрала...

Я чувствовал себя негодяем, клял и себя и Забаштанского, но и на нее орал, почему все же поехала. Она просила не устраивать скандалов, оказывается, на утро С. привез шинель и просил у нее прощения по ее требованию в присутствии Забаштанского, Мулина и Клюева; тот, как парторг , счел нужным рассказать и мне об этом. Впрочем, побуждала его, вероятно, не столько забота о "нормальных отношениях между товарищами", сколько воздействие машинистки Тони, его фронтовой жены и Любиной приятельницы.

Клюев уговаривал меня "проявить выдержку", "не позволять, чтобы личные дела отражались на работе", говорил долго, невнятно, скучно полоскал рот булькающим, еле теплым варевом однообразных водянистых словосочетаний.

После этой беседы я должен был зайти к Забаштанскому доложить об "отбытии в командировку". Он смотрел настороженно, выслушал рапорт, усмехаясь.

– Да, ладно уж... Садись, поговорим.

И тогда, холодея от сдерживаемой ярости, я произнес заранее приготовленную декларацию: – Товарищ подполковник, вы начальник, а я подчиненный. Извольте обращаться ко мне только по служебным делам. Никаких личных отношений между нами больше не может быть, так как я считаю вас подлецом.

Он посмотрел с любопытством и кроткой печалью.

– Это что же, объявление войны? Склоку затеваете?

– Никакой склоки. Войну мы все знаем одну – Отечественную. Можете не беспокоиться, работать буду не хуже, чем раньше. Вести разговоры по своим личным делам ни с кем не собираюсь и надеюсь, что вы не станете этого требовать. Конечно, лучше всего было бы, если бы, откомандировали меня из отдела, куда угодно, в любую армию, в резерв.

– От меня так просто не уходят. От меня вылетают с треском и без партийного билета, – он говорил тихо, даже вкрадчиво, но глаза сузились, поблескивали зло.

— Угроз ничьих не боялся и бояться не собираюсь. Партийный билет не вы мне давали.

— Ладно. Прекратим разговорчики. — Насупился. В интонациях странная смесь ребячливой обиженности и начальственной суровости. — Задача командировки вам ясна? Можете идти.

После этого мы встречались редко. Вернувшись недели через три, я узнал, что Любу откомандировали в Москвуна курсы подготовки будущих работников Оккупационного управления. Рапорт Забаштанскому я передал письменный и поспешил отправиться в другую деревню, где была антифашистская школа. Там отводил душу с Иваном Рожанским и вместе с ним готовил новый выпуск для предстоящего наступления.

Встречали Новый 45-ый год.

Всех нас вызвали из частей, чтобы праздновать.

В деревне Бялая нашелся большой дом, кажется, школа или клуб. Там устроили банкетный зал. Для начальства поставили стол на эстраде. Мне вспоминалась заключительная сцена мейерхольдовского спектакля "Горе уму". Генерал и заведующие отделами сидели наверху с женами и боевыми подругами. Забаштанский скромно, с достоинством примостился с краю. Внизу стояли длинные столы, на них миски с картошкой, капустой, огурцами, тарелки с салом и тушонкой, много бутылок. Пили водку из эмалированных кружек. Генерал произносил нескончаемый тост за мудрейшего из мудрых, гениальнейшего из гениальных, за величайшего полководца, за корифея всех наук... Он повторялся, вспоминая все новые подвиги и всемирно-исторические достижения, — разгромы оппозиций, колхозное счастье, разоблачение врагов народа, покорение полюса, создание могучей армии, создание промышленности, создание всего, что есть... И снова нагнетал превосходные степени, — самый великий из величайших, самый любимый из любимейших... самый проницательный, самый храбрый из храбрейших...

Мы старались не глядеть друг на друга, переминались, стоя с кружками в руках.

Наконец, облегчающее "ура". С Новым годом — годом окончательной победы!.. Загудели, загорланили все вокруг. Пошли самостоятельные тосты. Кто кого переорет: За доблест-

ный фронт, за тыл, за все роды оружия, за нашего генерала... Забаштанский сошел с эстрады, ходил между столами с кружкой, добрался до меня. Глядел с умильной открытостью.

— Давай помиримся. Разве можно боевым товарищам из-за бабы ссориться. Давай як в песне — мени с жинкой не возиться... И будем друзьями, как были...

У меня в голове шумело. Пил много, закусывать не успевал. И, правда, стоит ли ссориться? Такая война, такие бои скоро начнутся, а тут мелкая склока. Люба в Москве, наверное, уже завела другого или к мужу вернулась.

Мы чокнулись, выпили, обнялись и расцеловались и пили вместе. Потом я побежал слушать послание Гитлера. У немцев Новый год наступал на два часа позднее. За мной пришел Беляев и какие-то девицы.

Мы все уехали в деревню, где был Иван; я пил с ним, жаловался на себя и на начальство. Как всегда, после разговора с Иваном, стало спокойнее, легче. Он знал стихи Тютчева, Рильке, Пастернака, знал музыку, живопись, историю. Знал и любил все, что любил я, и знал еще многое, что я еще только хотел узнать. Он показывал мне созвездия, толковал о теории относительности и принципе неопределенности. Он говорил неторопливо, то и дело запинаясь, насупившись, подбирая слова, понятные непосвященному.

Иногда он казался мне бесстрастным и мудрым созерцателем, но чем ближе мы знакомились, тем явственнее я ощущал в нем живую, горячую душу, застенчиво доброго человека, страстно влюбленного в поэзию слова и мысли. Скрытный от застенчивости, от умного скептицизма, от неумения и нежелания приспосабливаться, проницательно и свободно мыслящий, отлично владеющий собой, он был во многом противоположностью мне — порывистому, непоследовательному, поверхностному и несдержанному. Барахтаясь в пестром хаосе разрозненных знаний, я понимал, что они скудны и непрочны. Упрямо цепляясь за противоречивые и взаимоисключающие святыни — за народнические и комсомольские идеалы, за марксистскую философию и сталинский солдатский прагматизм, пытаясь быть просто честным и в то же время приблизиться к совершенствам партийности, я то и дело убеждался в невозможности совместить все это, становился раздражителен до истеричности, злился на себя, придумывал все новые и новые диалектические

пируэты и радовался, когда мог отдохнуть от них мыслями и душой. Наилучший отдых был рядом с Иваном – тогда как-то естественно, само собой становилось очевидно, что по-настоящему важны, по-настоящему бессмертны, стихи, книги, симфонии, споры философов, открытия физиков... И в сравнении с этим ничтожны все генералы и маршалы, и приказы Сталина, и речи Гитлера, и дела всех Забаштанских, и все, что им кажется великим, необходимым...

Одиннадцатая глава

В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Наступление началось. Немецкий фронт на левом берегу Нарева, был прорван в первые часы. Сорок восьмая армия круто свернула на север-северо-запад и через Млаву и Дзялдово шла на Восточную Пруссию.

Нужно было поспевать за событиями и усиленно пополнять фронтовую антифашистскую школу. Мы придумали новое амплуа для наших учеников — "комиссары паники". Они должны были изображать отставших от частей или выходящих из окружения солдат, распространять слухи о приближении фронта и в удобных случаях просто кричать "Русские прорвались!", "Танки у нас в тылу!" и т.п.

Несколько дней я провел у наступавших танкистов, подбирая свежих пленных. Главное было заполучить их нестриженными. На пунктах сбора в армейских тылах пленных сразу же наголо стригли. А теперь уже не было времени ждать, пока отрастут обычные немецкие прически... Удалось набрать довольно большую группу.

Вместе с кандидатами в антифашисты везли мы еще и троих раненых, чтобы сдать по пути в госпиталь. Ехали ночью; госпитали, на которые я рассчитывал, уже снялись с прежних мест и двигались за наступающими частями; искать другие не было времени. Я повез их в школу с тем, чтобы на следующий день о раненых позаботились бойцы из охраны.

Добрались под утро. Беляев спросонья недовольно ворчал, я разозлился. Прошло всего несколько часов, как видел бой, был среди тех, кто уже почти неделю наступал, без сна, без роздыха, наспех ели и пили, наспех хоронили товарищей и снова спешили вперед, усталые, заросшие, немытые, в хмельном азарте — вперед, вперед. И хотя наступать веселей, чем сидеть в обороне, но зато и хлопотнее, труднее, тревожнее. Чаще приходится ползти или бежать под огнем навстречу смерти, рядом и наперегонки со смертью. И в наступлении всегда больше убитых, раненых, искалеченных... А тут даже выстрелов не слыхать — безопасное, сонное спокойствие.

Тогда, кажется, впервые мы с Беляевым поругались, раньше он бывал только приветлив, дружелюбен, предупредителен. Эту перебранку я, разумеется, не воспринимал серьезно. Очень хотелось спать. На утро опять нужно было торопиться.

В тюрьме, на очной ставке с Беляевым, я узнал, что в тот день после моего отъезда он расстрелял троих раненых. Следователю он сказал: "Это были фашисты, антисоветски настроенные."

Беляев, тыловой чиновник, всю войну просидевший в тылах в политотделах, – летом 1944 года стал начальником фронтовой антифашистской школы. Не зная ни одного слова по-немецки, он полностью доверил всю учебную и воспитательную работу Ивану и мне, избавляя нас от административных и хозяйственных хлопот.

Фронт двигался значительно быстрее, чем предполагалось. Когда я охотился на "нестриженых фрицев", наши ударные группы – танки и мотопехота, уже сминали немецкое сопротивление на границах Восточной Пруссии.

Севернее Цеханува плавно-холмистые равнины, пологие склоны; под тонким снежным слоем бугрились клочья ржавой травы; поля иссечены ровными темными дорогами. То и дело хутора или маленькие городки; мутно-красные или желтоватые черепичные крыши в серой пряже голых садов. По всем дорогам, вдоль и поперек, шли войска: танки, автомашины, пушки, пехота, конные обозы. А навстречу плелись толпами пленные. Среди грязно-лиловатых войсковых шинелей все чаще виднелись темные мундиры железнодорожников, сиренево-голубые – зенитчиков, серые – трудовой повинности и разношерстная гражданская одежда фольксштурмовцев.

Когда я доложил Забаштанскому о возвращении из командировки, он сказал: только что получено сообщение – казачьи дивизии из корпуса Осликовского с юга вошли в Восточную Пруссию; наступают успешно. Я попросил немедленно командировать туда и Любу. Уговаривал, доказывал, едва ли не заискивал. Он был очень любезен, но таинственно многозначителен: начальство считает, что женщин пока нельзя туда посылать. Езжайте вдвоем с Беляевым, вы же друзья.

Поехали на грузовом форде. В трехместной кабине – мы с Беляевым и шофер из новеньких, немолодой, подобостраст-

ный и суетливый, с ухватками бывалого левака. В кузове — прикомандированный ко мне сибиряк Сидорыч, сорокалетний колхозник из-под Тюмени, коротконогий, плечистый, почти квадратный, серовато-русый, узкоглазый. Молчалив, послушен; по всей повадке-надежный бывалый солдат. Прикомандировали его ко мне совсем недавно. Он числился ординарцем, а фактически был охранником при новых уполномоченных Национального комитета "Свободная Германия" майоре Бехлере и лейтенанте графе Эйнзиделе.

Мы въехали в Восточную Пруссию днем. На дороге только редкие одиночные машины. У самой границы, которая проходила по мостику и заснеженному оврагу, увидели всадника. Солдат из обоза на плешивой кляче трусил, подогнув крючками тощие длинные ноги, в неловко расслоившихся обмотках, топыря огромные, заляпанные глиной ботинки. Впереди седла чемодан, плотно набитый, лопнувший, перетянутый веревкой и ремнями; сзади приторочен большой мешок с торчащими кусками пестрых тканей, а поверх пук сена, завернутый в плащпалатку. Мятая, грязная, землистая шинель. Серая свалявшаяся ушанка. Самый что ни на есть заурядный обозник. Едет спокойно, не спеша, ничему не удивляясь. Едет по Восточной Пруссии. Рязанский или орловский, или подмосковный "приписник", едет по Германии, как будто и не было 41 года, немецких окопов у ленинградских застав и танков у Химок, не было Сталинграда и флага со свастикой на Эльбрусе...

Не было? Нет, было, все было. Но вот он едет по Германии — не апокалиптический всадник, не витязь чудо-богатырь, не Чапаев в черной бурке, а рядовой обозник с трофейным барахлом, едет, как ни в чем не бывало.

Все это я пытался высказать Беляеву, умиленный, растроганный так внятно ощутившейся реальностью, осязаемостью нашей победы. И настроение было торжественно-веселое, но с напряженно тревожным любопытством — что же будет теперь?

Еще раньше договорились: как только пересечем грани-

цу, отметим это надлежащим образом. Установив точно по карте линию, я скомандовал: "Вот здесь Германия, выходи все оправиться!.." Нам казалось остроумным, именно так, встав рядом у кювета, ознаменовать первое вступление на вражескую землю.

Беляев таращился, будто сдерживая волнение, говорил с придыханием – этакая застенчивая, не умеющая себя выразить мужская нежность: "Знаешь, я очень рад... очень... что вот сейчас... в такой день... Такое событие... именно с тобой, с другом, что вместе..." Мы обнялись.

Наш форд катил по немецкому шоссе, обсаженному ровными рядами деревьев. Под разъезженным снежком – гладкий асфальт.

Вскоре мы подобрали пятерых солдат – "отставших от части": молодые парни, один постарше – москвич с быстрыми, воровскими глазами, Беляев заметил: "Пусть будут пока с нами, все-таки здесь Германия, а у нас, кроме твоего Сидорыча, никаких вооруженных сил."

Первые прусские деревни Гросс-Козлау и Кляйн-Козлау горели. Шофер должен был держаться середины улицы: с обеих сторон жарко полыхали дома под черепичными крышами... Тлело и дымилось высокое дерево перед горящей церковью. Людей не видно. Несколько минут мы ехали сквозь огненный туннель по узкой кривой улице. Было удушливо жарко и страшновато: сыпались искры, летели головешки. Беляев орал то: "Газуй, газуй... твою бога мать, загоримся!", то "Давай, поворачивай, пропадем!"

Выехали на площадь. У армейской повозки покуривали несколько обозников. Мы остановились.

– Тут что, сильный бой был?

– Какой там бой, они тикают, не догнать... И вольных ни одного не осталось.

– Значит, заминировали, подожгли?

– Кто? Немцы? Нет... Никаких мин не было, а пожгли наши.

– Зачем?

– А хрен их знает, так, сдуру.

Усатый,насупленный солдат с ленивой злостью:

– Сказано: Германия. Значит, бей, пали, чтоб месть была. А где нам самим потом ночевать, где раненых класть?

Второй печально глядел на пожар:

– Сколько добра пропадает. У нас все голые и босые, а тут жгем без толку.

Беляев нравоучительно:

– Награбили фрицы во всем мире, вот у них и много добра. Они у нас все жгли, а теперь мы у них. Жалеть нечего.

Я подумал, что это просто неумная, неуклюжая попытка объяснить солдатам необъяснимую дикость. Такое "просветительство"свысока, фальшивая, утешительная болтовня "для народа", были мне всегда противны. Зачем говорить то, во что сам не веришь и знаешь, что слушатели не поверят? Возразил ему, впрочем, без ожесточенности.

– Не их – себя жалеть надо Бессмысленные разрушения нам вредны, а не им.

Проехали еще одну горящую деревню, нагнали на шоссе коровье стадо. В те дни по всем дорогам Восточной Пруссии бродили стада черно-белых коров, без пастухов, некормленные, недоенные.

Мучило и бесило сознание: там, у нас, в сожженных опустошенных деревнях, эти породистые гладкие прусские коровы были бы сказочным сокровищем. Где-то, на самом дне, щемила жалость к прусским крестьянам, оставшимся не то что без коров, но и без родины – ведь уже тогда знали, что все забирает Польша и мы. Однако эта жалость была куда глуше, отдаленнее, чем тоскливая злость от чудовищного бессмысленного расточительства здесь, когда такая страшная нищета там, на пепелищах приильменских, новгородских, смоленских, белорусских, украинских сел, везде, где огнем прошла война. Да и там, где не прошла, а, незримая, издалека высосала и кровь и хлеб, где женщины пахали, впрягаясь в плуги, как бурлаки, где кусок сахара был дивным лакомством, и дети, глазастые, бледные до синевы, давясь, жевали землисто-черный, кисло-горький, черт знает из чего склеенный хлеб...

Об этом говорили мы тогда, в первые часы на прусских дорогах. Беляев поддакивал, но вдруг, заметив впереди черно-белую корову, азартно взвизгнул: "А ну, дави ее, дави!"

Тупое рыло форда с ходу ударило в коровий бок. Но, видно, шофер все же был добрее начальника – притормозил. Корова только пошатнулась, ревнула и неуклюже, на трех ногах,

отковыляла через неглубокий кювет в сторону, на поле. Беляев, выпучив глаза, отпихивал меня, вылезая из кабины, орал: "Эй, давай... Стреляй!.. Огонь!.. Жаркое будет!"

Из кузова выскакивали наши пассажиры, неспешно выбрался Сидорыч. Началась пальба. Черная корова на белом снегу в 40-50 шагах – мишень легкая. Но свалилась она не сразу. И упав на бок, еще поднимала голову. Добивали выстрелом в упор. Потом долго, споря, свежевали тушу. Сидорыч и быстроглазый, мордатый москвич оказались специалистами: поправляя друг друга, работали истово, сосредоточенно.

И смешно и противно. Добрались до вражьей земли, чтобы охотиться на корову. Но Беляев только отмахивался. У него появились, – и как я раньше этого не замечал, – начальственные интонации: ты, мол, чудак, интеллигент, а я практически, реально мыслящий человек, понимаю то, чего ты понять не можешь...

К вечеру въехали в Найденбург. В городе было светло от пожаров: горели целые кварталы. И здесь поджигали наши. Городок небольшой. Тротуары обсажены ветвистыми деревьями. На одной из боковых улиц, под узорной оградой палисадника, лежал труп старой женщины: разорванное платье, между тощими ногами – обыкновенный городской телефон. Трубку пытались воткнуть в промежность.

Солдаты кучками и по одиночке не спеша ходили из дома в дом, некоторые тащили узлы или чемоданы. Один словоохотливо объяснил, что это немка – шпионка, ее застукали у телефона, ну, и не стали долго чикаться.

Беляев становился все энергичней, все деятельней. Его влекло в дома, которые выглядели побогаче. Он распоряжался увлеченно, даже бесстрашно. В горевшем доме едва не угодил под обвалившиеся балки, когда тащил огромный гобелен с пастушками Ватто. В другом приказал взять часы "в полтора роста", – огромный футляр красного дерева в виде башни; в третьем – пианино; везде брал тюками постельное белье, одежду...

Возражать против этого я и не пытался – дома были пус-

тые, многие уже основательно разорены. Мы ходили по битой посуде и грудам всяческой рухляди. Меня привлекали книжные шкафы и письменные столы. В доме окружного судьи обнаружил великолепную библиотеку. Огромные шкафы до потолка: один — философия, другой — история, третий — право; отдельные шкафы: "Наполеоника", "Россика"; сотни книг русских писателей на немецком языке от Ломоносова до Шолохова; был шкаф — "немецкая эмигрантская литература": издания Томаса и Генриха Манна, Фейхтвангера, Леонгарда Франка и др. Большой стеллаж — фонотека: классическая музыка и записи речей — кайзера Вильгельма, Эберта, Гинденбурга, Гитлера. В столе у судьи я нашел аккуратно подшитые в папках письма сына из английского плена, из Канады.

Все это нужно было увезти. Но Беляев заставлял нашу "команду" носить пианино и барахло, а я один не мог управиться. Все же наконец уговорил, уругал его, и часть библиотеки погрузили в кузов.

Задача нашей поездки в командировочном предписании была определена так: "Проведение политической разведки, изучение политико-морального настроения населения противника, выяснение деятельности фашистского подполья". Значит, нужно было прежде всего говорить с людьми, с "населением противника". Первый день в Пруссии был на исходе, а я видел только несколько трупов.

Посреди улицы группа солдат обступила старуху в длинной плюшевой потертой шубейке, с облезлой горжеткой и в шляпке, обмотанной шалью, как башлыком. Я выскочил из кабины, подошел. Солдаты настроены благодушно.

— Блажная, лопочет чего-то: "зольдат, зольдат, гут, гут"

Я заговорил с ней. Она смотрела испуганно, растерянно, недоверчиво. Отвечала невнятно, прерывисто:

— Я ищу дочку... моя дочка с маленькими детьми, а все карточки у меня... Они голодные.

Потом более связно объяснила: она и дочь — вдовы, муж дочери погиб в Африке. — Мы очень бедные.

— Где ваш дом? Идемте, я отведу вас.

Пошла торопливо, но неуверенно, испуганно оглядываясь.

– Мы бедные... У нас ничего нет. Дочка больная...

– Мы ничего дурного вам не сделаем, я хочу отвести вас домой, нельзя вам быть сейчас на улице...

Старуха ковыляет быстро, путаясь в длинной широкой юбке, прижимая к груди сумочку, я рядом. Машина едет сзади. Беляев, высунувшись из кабины, нудит:

– Ну чего ты за ней увязался? Наверное, сумасшедшая .

– Да ведь это же первый житель Восточной Пруссии!

Старуха успокаивается, говорит все более связно: – Никто не ждал русских так скоро. Господа начальники сказали – фронт далеко. Потом господа вдруг стали удирать. А зачем бедным удирать?

Свернула в одну улицу, потом в другую. Меньше горящих домов, гуще темень. Беляев злится:

– Она еще куда-нибудь заведет. Пристрели ее, наверное, подосланная.

Отвечаю матом.

Наконец подошли. С одной стороны дома с садами, с другой поле или пустырь – в темноте не различить.

У ворот стоят машины, несколько солдат, у калитки – часовой.

– Вот здесь живет моя дочь.

Часовой говорит, что никого из населения ни в этом доме, ни поблизости нет.

– Если бы хоть одна баба оставалась, мы бы уж знали.

Старуха долго не может понять и поверить, что дочери здесь нет, просит, чтоб ее впустили. Объясняю, что это невозможно: здесь теперь штаб. Вернемся в город, может быть, ее дочь ушла к знакомым. Предлагаю взобраться в машину.

Старуха снова лопочет бессвязно о дочери, о карточках, о детях... Но идет в сторону города. Машина разворачивается, застревает в сугробе. Беляев выскочил, за ним наши "пассажиры". Выталкивают машину, потом догоняют нас со старухой. Беляев зло и решительно:

– Путает она нарочно. Шпионка. Ты у нее документы проверил?

И вдруг выхватил сумочку. Старуха испуганно взвизгнула. Он присветил фонариком, вытряхнул из сумочки какой-то мусор, нитки, карточки.

— Meine Brotkarten!!...!! — взахлеб, с плачем.

Беляев решительно:

— Шпионка! Расстрелять... бога мать!

Вытаскивает пистолет.

— Ты что, очумел? Взбесился?

Хватаю его за руку. Убеждаю. Ругаюсь. Сзади возня. Оглядываюсь. Младший из солдат оттолкнул старуху с дороги в снег, и выстрелил почти в упор из карабина. — Она завизжала слабо, по-заячьи. Он стреляет еще и еще раз. На снегу темный комок, неподвижный... Мальчишка-солдат нагибается, ищет что-то, кажется, подбирает горжетку.

Ору уже бессмысленно:

— Ты что делаешь, мерзавец?

Оборачиваюсь к Беляеву. Что теперь? Ударить в оловянные глаза? В эту минуту я даже не возмущен, а омерзительно растерян. Подлое чувство бессилья и снующие мыслишки: чем тут поможешь? Все равно старуха погибла бы — не завтра, так послезавтра, и, может быть, еще мучительнее, и успела бы узнать о дочке страшное...

На Беляева впервые смотрю с отвращением и ужасом. Вот, значит, на что ты способен.

А он уже совсем ласково:

— Ну, чего ты, чего ты? Неужели из-за поганой немки на своих бросаться будешь? Дружбу ломать? Брось! Хрен с ней. — И, словно отвечая на мои непроизнесенные вопросы: — Ей ведь все одно хана! Не тот, так другой прикончил бы!

Жестокие трусы — очень страшная порода. Трусость рождает множество пороков. Но добрый трус не бывает хотя бы зачинщиком подлостей, не набивается в палачи. Добрый трус боится смерти и боли не только для себя, но и для других. А трус жестокий обязательно подл, он мстит за свой страх, едва лишь убеждается, что может безнаказанно мучить, унижать, убивать...

Инстинкты, которые побуждают мальчишек драться, истязать животных, — жестокие инстинкты, присущие детенышам мужского пола чаще, чем маленьким женщинам, — мы наследуем от дочеловеческих животных и от самых древних первобытных отношений с миром. Сильнее всего эти инстинкты проявляются в жестоких трусах. Но особенно гнусно, когда их принаряжают идеологическим покровом. Тогда трусливые убийцы и сладострастные палачи орудуют, не таясь и не стыдясь, а даже

гордятся, хвастают, уверяют, что их жестокость необходима государству, отечеству, закону, истинной вере или Революции... Беляев оказался именно таким.

Едем по ночным улицам в трепыхающихся отсветах пожаров; мутно-багровый, недобрый, лихорадочный свет.

Встречных солдат расспрашиваем, где комендант, где население.

В комендатуре нам дали адрес, "там еще живут немцы".

На набережной озера одноэтажный дом с палисадником за кирпичной оградой. Вход через дворик. В снегу тропинка, дверь прикрыта, окна целы. Вошли втроем – Беляев, Сидорыч и я. Темно. В прихожей услышали то ли храп, то ли стон. Беляев испуганно шарахнулся назад. Я тоже струхнул, погасил фонарик и заорал: „Выходи с поднятыми руками!" Вытащил пистолет. Сидорыч спокойно остановился рядом, клацнул затвором автомата. Тишина, и опять негромкий хриплый стон. Мне стало стыдно. Должно быть где-то раненый. Беляев, сзади, даже не пытаясь скрыть испуг, сипло шептал:

– Стой! Не ходи, там засада...

Но я – уже назло ему – выругался, зажег фонарик, открыл ближайшую дверь. Кухня. Пусто. Стон из соседней комнаты. Сидорыч шел за мной, молча, легко ступая. В комнате стол, беспорядочно уставленный посудой, в нише – большая кровать: стоны – оттуда. Осветил. Женщина в меховой шапке, укрытая ворохом перин и одеял. Лицо бледное, глаза закрыты. Прерывисто, хрипло стонет.

Окликаю, – так же стонет. Не слышит. Поднял перину. Темная верхняя одежда, кажется, пальто: на простынях кровь. Лежит навзничь. Присматриваюсь – нахожу короткий кинжал с пестрой плексигласовой рукояткой – такие у нас делали умельцы, обдирая плексиглас с подбитых самолетов. Кровь натекла несколькими лужами: исколоты грудь и живот.

Беляев пришел вслед за нами. Он уже осмелел, обошел смежные комнаты. Везде следы торопливого, небрежного грабежа. Вороха белья, старой одежды, посуда; книг немного – библия, календари, псалмы.

– Пошли, здесь ничего стоящего.

– Нельзя же ее так оставить.

– А что с ней делать? Все равно подохнет. Тоже, наверное, шпионка.

Опять постыдная растерянность. Нет, так нельзя: ведь мучается, и никто не поможет. Вспомнилось: Бабель – "Замостье". – Опять чужие книжные мысли.

– Сидорыч, пристрели! – это сказал я. Приказал от жалости и трусливого бессилия... Начинать перевязывать, искать санитаров? Найдешь ли? Да и кто согласится; крови натекло с полведра...

Приказал и ушел. Беляев за мной.

– Вот-вот, это ты правильно. Все-таки человек...

Сзади коротко рокотнула очередь. Мы во дворе закурили. Сидорыч все не шел. Беляев опять забеспокоился: "Что это с ним?" Закричал: "Сидорыч!" Тот вышел с узелком.

– Чего там возился?

– Да вот ботинки бабе приглядел. Правда, ношенные, но справные.

На ночь мы остановились в двухэтажном доме с большим гаражем и просторным двором – на главной улице, по которой то и дело проходили автоколонны.

Во дворе несколько армейских машин. Нам хотелось, чтоб поближе к своим. Ведь вокруг вражеский город, вражеская земля.

Дом занимали саперы и трофейная команда. Ужинаем с тремя молодыми офицерами. Трофейные харчи. Трофейное питье – французский коньяк, восточно-прусская медовая водка "Бэрэнфанг" (т.е. "Медведелов")

И сразу же вскипел спор. Капитан-трофейщик на газетном жаргоне доказывал, что все происходит как следует. "Наша священная месть... А они что у нас делали? Правильно Эренбург писал: дрожи, страна-душегубка!.."

Беляев помалкивал. Ел, пил, изредка поддакивал капитану. Старший лейтенант-сапер и я возражали, говорили, что мстить надо тому, кто заслужил месть, что не все немцы – фашисты, что нельзя мстить женщинам, детям, старикам... А главное – мародерство разлагает нашу армию.

Больше всех горячился второй сапер, тоже старший лейте-

нант. Очень молодой: темнорусый ежик, ясные серые глаза. В угловатом, лобастом, резко очерченном лице еще сохранилась ребячья мягкость. Один из тех мальчиков, быстро взрослевших и мужавших на войне, которые у меня всегда возбуждали щемящее чувство приязни и тревоги, восхищения и жалости. У таких мальчишечья нарочитая серьезность, насупленность вдруг прорывались мечтательной болтовней или озорной проделкой. Но это не мешало им быть настоящими, опытными вояками, без форсу, деловито храбрыми. Больше всего я встречал таких в артиллерии, у минометчиков, у саперов. Особенно в артиллерии. На НП лейтенанты называли друг друга Петя, Валя, Сева, Миша, играли в шахматы и в "морской бой", спорили о фильмах, о футболе, о Маяковском, о любви... И тут же умело и азартно управляли огнем батарей. На огневых они действовали стремительно и без суеты. Привыкнув к солдатам, которые чаще всего были много старше, они командовали уверенно, требовательно и спокойно; даже очень сердясь, не орали, не хамили. Перед начальством лихо тянулись; кадровых командиров, уставших от множества неуклюжих косноязычных запасников, они пленяли безукоризненной выправкой и четкостью рапортов. Немыслимыми выдумками и беспардонной лестью умели разжалобить самых прижимистых интендантов. Штабы дивизионов, в 3-4 километрах от передовой, казались им глубоким тылом. Выпив на досуге, они печально распевали пионерские песни, "Дан приказ ему на Запад", "Синий платочек", "Землянку". Когда хоронили товарищей, угрюмо сердито молчали, старались не плакать; иной, невольно всхлипнув, яростно матерился...

В пехоте такие встречались реже. Там люди были пестрее, потери больше, чаще сменялись и бойцы и командиры, не успевало окрепнуть настоящее, корневое товарищество. А такие мальчики почти немыслимы в одиночку, они всегда "братва", содружество, бригада, класс, экипаж, однокашники,землячество внутри дивизиона или полка. К тому же в пехоте служба погрязнее, нравы похуже, и молодые офицеры быстро грубели, ожесточались.

Командир саперной группы в Найденбурге был одним из настоящих "строгих юношей" великой войны. Он сцепился с капитаном-трофейщиком и спорил пылко, гневно, с неподдельно страстной убежденностью. И книжные, газетные слова звучали

у него первозданно свежо:

– Ведь мы же социалистическая армия. Ведь мы интернационалисты. Как же можно говорить о мести немцам? Это не наша идеология – мстить народу. Что сказал товарищ Сталин: "Гитлеры приходят и уходят..." Вы мне не тычьте Эренбурга: он не марксист, а я с пионеров учил: все трудящиеся всех стран – братья. Маркс и Энгельс были немцы, и Либкнехт и Тельман... И сейчас есть немцы-коммунисты и просто честные люди. Не может быть, чтоб целый народ был фашистским. Так могут рассуждать только сами фашисты...

Он вскочил, расхаживал по комнате, хлестал себя по голенищам стэком. Ему не нравилось, как возражали трофейщику мы с его товарищем.

– Вы примиренчески относитесь. Это политически неверно. Не в том дело, что мародерство для нас вредно. Мародерство, насилие – это вообще гнусность, подлость... Нужно расстреливать на месте. А допускать шовинизм – политически неверно! Да-да, грубо неверно...

Мы легли спать на составленных стульях, жарко натопив брикетами кафельную печку.

Проснулся я от холода и от того, что Беляев тряс меня.

– Стреляют! Стреляют!

Не слышу никаких выстрелов. В окнах все то же розоватое небо, зыбкое, как студень. Где-то гудят машины, будничные голоса.

– Тебе померещилось!

– Не подходи к окну, стреляли в окна. Ты что, не видишь?

В стеклах обоих окон зияло несколько дыр с лучистыми трещинами; на одной линии – автоматная очередь. Но с улицы доносилось мирное гудение автомашин. Видимо, какого-то проезжего мстителя оскорбил вид целых стекол.

Весь следующий день провели в Найденбурге. Беляев рыскал за трофеями, а я искал "население".

В одном из уцелевших домов обосновались контрразведчики. Когда я пришел к ним и спросил, не сталкивались ли они с "вервольфами", с немецким подпольем, мне сказали, что задержан пока только один "гражданский" немец из местных: "выдает себя за коммуниста".

Коренастый, плечистый крепыш, рыжий с проседью, водянисто-голубые, удивленно испуганные глаза, красноватое, словно слегка воспаленное лицо, большие коротколапые руки в рыжем пуху. Куртка и свитер, – ни пальто ни шапки. Но в кармане пачка документов. Справка из концлагеря – освобожден в 1938 году. Ремесленное свидетельство – пекарь; брачное свидетельство, нотариальные акты о вводе во владение булочной, унаследованной от тестя, военный билет с пометкой "Wehrdienstunwürdig– недостоин служить в войсках (как политически неблагонадежный, отбывший заключение), квитанция об уплате налогов. И отдельно, в пожелтевшем конверте, слежавшийся членский билет КПГ, взносы уплачены до мая 1933 года, книжечка МОПРа, значок с красным кулаком.

Но без всего этого, нескольких вопросов достаточно, чтобы убедиться – он действительно был коммунистом: он знал такие детали организационных будней и пропагандистского быта и говорил о них такими словами, которые нельзя было заучить, усвоить извне. Но, может быть, он перебежал к нацистам, изменил, капитулировал? Живой язык, непринужденная разговорная речь труднее всего поддаются фальсификации и таят в себе на первый взгляд незначительные, однако на самом деле очень существенные надежные критерии. Гитлеровщина выработала свою систему понятий, которую усвоили, как разговорный язык, не только сами нацисты и все, воспитанные нацизмом, но и те, кто, смирившись, сжились с ним. Они привыкли говорить "дер фюрер" вместо "Гитлер", и „райхсмаршал" вместо "Геринг"; гитлеровский переворот называли "Махтюбернаме" (взятие власти); период Веймарской республики презрительно величали "Сюстемцайт" (т.е. время "Версальской системы"), нападение на Польшу именовалось "Поленфельдцуг" (польский поход), всерьез говорили о социалистических или "социальных" фабриках, заводах, учреждениях. Характерно было и само отождествление этих понятий, когда речь шла о заводских столовых, клубах, поликлиниках, яслях, об озеленении цехов и тому подобных проявлениях "национального социализма". К специфически нацистской лексике (немецкий филолог Клемперер назвал ее LTI – lingua tertii Imperii*) –отно-

*Язык Третьей Империи.

сились и словечки: "Орден крови" (блюторден) · — значок участников Мюнхенского путча 1923 года, — „гефольгшафт" — (буквально "свита", "дружина" в применении к коллективу рабочих и служащих) ; "зиппе" — "род"; "фольксгемайншафт" — "народное сообщество"; интонации, с которыми произносились слова "райх", "вермахт", "люфтваффе" и т.п.

Найденбургский пекарь говорил другим языком. Он, разумеется, не был интеллигентом, не был и речистым острословом, каких немало в немецких городах среди торговцев, ремесленников и иных людей "среднего сословия". Он говорил неловко, нескладно, почти не заботясь о правильности речи, не скрывал жесткий восточно-прусский диалект. Но я слышал неподдельный язык немецкого коммуниста, который все 12 лет не только хранил свой "партбух", но верил и ждал. Он не пытался представляться героем. Сказал, что после концлагеря уже никаких связей с партией не было. Не с кем было связываться. Переехал в Найденбург, принял в наследство булочную, каждый месяц ходил отмечаться в гестапо. Не решался заводить новых друзей: ведь мог только подвести других.

Когда, поверив, что он говорит правду, я подал ему руку, назвал "геноссе" и перешел на "ты", глаза его покраснели, набежали слезинки, голос стал подрагивать. Я делал вид, что не замечаю этого, совал сигареты и мучительно изворачивался, старался правдоподобно врать, отвечая на его вопросы.

— Объясни, геноссе, почему меня держат арестованным? Когда тут началась паника, эвакуация, мы с женой заперли дом и булочную, спрятались в погребе. Когда услышали: стрельба стихла, идут танки,— я открыл булочную, вышел с документами и с подносом свежих булок. А меня солдаты взяли и увезли вот как был, даже пальто не успел надеть... Товарищи комиссары и переводчик говорили: проверим, выясним, а держат вторые сутки. Я прошу, чтоб жене сказали. Она ведь беспокоится. И чтоб пальто принесли. Ты пойми, я не жалуюсь. Знаю: война, недоверие — может фашисты подослали... Нужно проверить. Нет, я не жалуюсь, я понимаю, и есть мне дают, и курить... И обращение...в общем хорошее. Ну, правда, ударил один... но он не понимал меня, и, наверное, фашисты ему много зла сделали; он ожесточился. Но ведь я же семь лет здесь живу, меня все знают, и мою

булочную, и семью. И что я в лагере был, и как живу. Это ведь легко проверить. А жена, наверное, очень беспокоится. У нее сердце плохое... Сына забрали в солдаты, совсем мальчик еще, 18-ти нет. И уже месяц никаких известий. Дочка с детьми в Берлине, их дом разбомбили, живут где-то в бараках. Зять пропал без вести в Сталинграде... Жена, ведь, знаешь... материнское сердце... Очень прошу, зайди к ней, пусть не беспокоится, и пусть принесет мне пальто, шапку, подушку и сапоги, и пусть напишет, как управляется одна, где достает муку...

– Зайду к жене, зайду. Но, боюсь, не эвакуировали ли ее, тут ведь бои шли и еще могут быть. Всех оставшихся гражданских эвакуировали. Видишь, город в огне.

– Не пойму, как это получилось. Наци удирали, сломя голову. Фолькштурм разбежался. Тут почти не стреляли.,

– Да видишь ли, это войска, которые вырвались из окружения из Иоганнесбурга, из Лыка, и среди них СС-овцы...

Я врал, внутренне цепенея от стыда, от злого стыда за все вокруг и за свою беспомощность, и за брехню; но врал, кажется, убедительно. Правда была такой чудовищной и нелепой, что любая ложь оказывалась более правдоподобной.

Сунул ему сигарет, табаку, каких-то консервов. Потом поговорил с контрразведчиками. Молодой старший лейтенант сочувственно хмыкал...

– Значит, думаете, он все-таки коммунист... Да какие у них коммунисты, Гитлера терпели. Ну, конечно, все-таки он, значит не фашист. Что с его домом? Да нет уж там ничего. Я посылал смотреть... Сгорела булочная и весь дом. А с бабой его сами знаете что... Вряд ли живая. Куда б она делась. (Я подумал: может быть, это она была той женщиной, которую накануне по моему приказу пристрелил Сидорыч) . – Ну, что ж, ладно, скажем ему, что ее эвакуировали в тыл. Скоро и его отправим. На сборный пункт; в Дзялдово, что ли собирают гражданских. Там разберутся. Одежу ему?.. Ладно. Эй, сержант, а ну, пройди по квартирам, которые целые, подбери фрицу пальто или шубу, вот майор авторитетно говорит, что фриц неплохой, похоже, что коммунист...

Переводчик – хорошенький, тонколицый мальчишка-лейтенант, высокомерно и презрительно криво улыбался. Он плохо знал немецкий язык и, как это часто бывало, возмещал непонимание тем большей неприязнью.

— Все они будут кричать теперь, что коммунисты... Одевать его... Может, еще и перинку ему, и водочки? А что они у нас делали?..

Я сдержался. Хватило ума сообразить, что, если наору, потом это отольется бедняге-пекарю. Старался говорить обстоятельно, спокойно, так, чтобы уравновесить, с одной стороны, авторитетность, уверенность, а с другой — осторожность, уговаривание. Не задеть бы этого сопливого франта и в то же время не впасть в просительный тон, не набить ему цены.

Ушел, трусливо избежав новой встречи с пекарем, — перепоручив весь запас утешительных врак контрразведчикам.

Солдаты привели высокого сутулого старика в длинном черном двубортном пальто и круглой черной шляпе. Он шел, тяжело, неуверенно ступая, и уже по тому, как постукивал большой суковатой палкой, было явственно: идет слепой.

Серебристо-седой угловатый череп, светлое широкое лицо, чисто бритое, промыта каждая из множества неглубоких, но резко прочерченных морщин; тускло отсвечивающие серобелесые неподвижные глаза; тяжелые, узловатые руки и покатые плечи много работавшего человека. Он говорит медленно, негромко, стараясь выговаривать по-книжному. Но с первых же слов слышалась протяжная речь восточно-прусской деревни.

— Я родился, когда с французами была война. Отца убили тогда у Седана, он солдат был, а раньше ландарбайтер — батрак. И мать тоже работала в коровнике у барона, и я, и братья, и сестры — все работали у юнкеров и гроссбауэров. И жена у меня была батрачка. Своей земли никогда не было. Дети вот в город ушли. Один сын в Америку уехал, давно, после войны, когда инфляция была. Другой сын в солдатах, у него уже у самого сыновья, тоже солдаты. Но они жили не здесь, а в городе, далеко на Рейне. А я никогда солдатом не был. И в ту войну не был — у меня рука была сломана, и вот пальцев на правой не хватает; и видел плохо, один глаз ослеп — еще молодой был, а вот уже десять лет совсем не вижу. Жена умерла еще до этой войны. Мне община пенсию платит. Я при церкви жил, при кладбище. Цветы я нюхом и так, пальцами, разбираю. Помогал сторожу... Когда стали все удирать — говорят, русские идут, — я не побежал. Чего мне бояться. Я помню, как здесь русские в ту войну

были. Казаки были и просто солдаты. Такие же люди, как мы. Чего же бояться. Говорили, большевики всех немцев убивают, кто за фюрера. Но я политикой никогда не занимался. Я набожный христианин. Работал, ходил в церковь. Какая мне политика нужна? Кого мне бояться? Кто обидит слепого старика? ... Где живу? Раньше в доме у церкви. Там квартира пастора, и причетник жил, и у меня комната. Дом сгорел. Ничего я не вынес. Все мое сгорело. Не знаю теперь, что делать? Я все равно не вижу. Вчера ночевал в пустом доме. Солдаты были добрые: суп дали, хлеба. Но очень пожаров много. Я чувствую дым, жар. Весь город горит. Ничего не понимаю. Умереть бы мне надо...

Я дал ему буханку хлеба, консервов. Пересказал солдатам из комендатуры то, что услышал от старика.

– Ладно, пусть тут притулится где-нибудь.

Беляев сидел рядом, скучающий, нетерпеливый. Он решил вывезти машину трофеев в ближайший польский город – там устроим временный склад и вернемся опять в Пруссию.

К вечеру приехали в Цеханув. Беляев нашел подходящее помещение – парикмахерскую. Туда поставил пианино, гобелен и часы, свалили коровью тушу, и множество тюков и чемоданов. Книги я с помощью польских милиционеров снес в помещение магистрата. За несколько дней польские власти уже освоились, но майорские погоны действовали гипнотически. Мне отвели под книги и папки целую комнату. Потом я добавил книги и документы, собранные в Алленштайне. (Два года спустя я узнал, что городские власти несколько месяцев терпеливо ждали, когда пан майор приедет за своей библиотекой. Только осенью 1945 года забрала ее МаргаритаИвановна Рудомино, директор ЦБИЛ; тогда она стала подполковником и руководила "демонтажем" трофейных библиотек).

Ночевали мы у гостеприимного владельца парикмахерской; оплачивали постой водкой, консервами, табаком. Пили с какими-то бойкими паненками и проезжими офицерами. На утро поехали той же дорогой через дотлевавшие деревни и все еще горевший Найденбург, через сравнительно целый тихий Хохенштейн.

Вблизи этого города была могила Гинденбурга – мавзо-

лей внутри сооружения в виде средневековой крепости, памятник немецкой победы в августе 1914 года. Его построили на том холме, где был командный пункт Гинденбурга в дни решающих боев против армии Самсонова. Еще до начала наступления я решил, что должен взорвать этот немецкий прыщ, воплотивший чванство прусской военщины. Но когда наш форд свернул с шоссе на прямую, как по линейке, дорогу между двумя шеренгами высоких, прямых, великолепной выправки деревьев, нам стало не по себе. На асфальте, запорошенном свежим снегом, едва угадывался одинокий шинный след. Беляев и не пытался скрывать, что боится: "тут-то обязательно заминировали".

Мысль о минах всегда внушала мне почтительное отвращение. Доводы Беляева показались убедительными. До крепости-могильника не доехали, издали увидели, что она уже взорвана, – часть стен и башен громоздились кучей кирпича. (Когда осенью 1947 года в подмосковной спецтюрьме, – так называемой "шарашке" – я познакомился с А.Солженицыным,он рассказал, что был там едва ли не в тот же день.)

Мы свернули обратно на шоссе...

В Алленштайн приехали вечером. Город был взят почти без боя. Настолько неожиданно, что уже после того, как казаки генерала Осликовского заняли вокзал, туда еще в течение полутора-двух часов продолжали прибывать составы из Кенигсберга, Иоганнесбурга, Лыка – воинские эшелоны, товарные и товаро-пассажирские, с эвакуированными жителями. Наш офицер сидел в диспетчерской, положив автомат на стол, курил, стараясь не заснуть от усталости; немецкий диспетчер, полумертвый от ужаса и стыда, произносил заученные привычные формулы...

Из-за высоких окон с аккуратными шторами из плотной черной бумаги – "гардины затемнения" – доносились то испуганные, то настойчиво требовательные гудки паровозов, рокот колес, шипение пара, тормозов. Хлопали одиночные выстрелы, короткими очередями потрескивали автоматы... Крики... торопливый топот... Тревожный гомон поспешно волокущейся толпы, внезапно надрывный, захлебывающийся женский вопль. Визг ребенка, плач, снова топот, выстрелы, разноголосая немец-

кая речь, перекличка солдат, сгонявших приезжих, крики, выстрелы, плач, мат, и снова гудки паровозов и шипение пара...

Город почти не пострадал от бомбежек и обстрелов. Но уже в первую ночь начались пожары. На одной из центральных площадей ярко, чадко горел четырехэтажный торговый дом, в котором было несколько разных магазинов: галантерейный, мебельный, продуктовый... Его не успели ни эвакуировать, ни разграбить. За большими витринами пылали диваны, кресла, шкафы. Огонь метался шумный, пестрый, то и дело что-то взрывалось, лопалось... По тротуару несколько ручьев синеватого пламени стекали в узкий кирпичный кювет. Удушливо пахло жженным сахаром.

— Сколько добра пропадает, — угрюмо повторял пожилой солдат.

Другой злобно матерился: "Сволочи, ни себе, ни другим!.."

При виде горевшего магазина, взволновался и Беляев, заговорил сердито о бессмысленных разрушениях, об опасностях для воинской дисциплины.

На улице, неподалеку от площади, женщина и двое мужчин тащили большие узлы, шли торопливо, прижимаясь к стенам.

— Стой! Хальт!

Женщина отвечала по-русски:

—...Мы свои, свои... мы туточки у бауэров работали. Герман удрал з дому... Мы свои, руськие, савецкие. А вы, солдацики, вон в ту улицу идзите, там ба-альшой дом, ба-агатеющий. Там фройлены, паненки. Там часов, барахла!.. И еще никто не успев тронуть.

Наша машина свернула в узкую улицу, скупо освещенную пожаром. С одной стороны — высокие глухие стены каких-то фабричных и складских зданий, с другой — длинный пятиэтажный дом. Вдоль тротуара несколько немецких грузовых и легковых машин, запорошенных снегом, две или три наши — крытые студебеккеры, грузовые форды. Втиснулись между ними... Вошли во двор. Здания, выходившие на улицу, глядели совсем безжизненно. А во двор вела тропинка, натоптанная на свежем снегу...

Открытые двери. Темная лестница. Беляев, как всегда, позади. Меня обогнали наши "попутчики" — их осталось только трое и верховодом стал высокий смуглый, цыгановатый сер-

жант. Он был вежлив, услужлив, неразговорчив, но по каким-то почти неопределимым внешним признакам – по нарочито простодушной улыбочке, по тому, как вытягивал шею и склонял чуть набок голову, обращаясь к товарищам майорам, и как ходил: мягко, легко, вразвалочку, круто сгибая колени, словно приседая, – чувствовалось: жулик первостатейный.

Откуда-то со второго этажа приглушенный шум, возня и стонущий задыхающийся женский голос: "Пан... пан... пан..."

Один из наших громко:

– Кто там? Стой!

Клацнул затвором винтовки... Наверху испуганный вскрик, топот ног... Мы следом... На площадке открытая дверь в квартиру...Вошли... Вбежали... Пустая передняя... Дальше голоса... В большой комнате – спальне, множество людей: женщины, дети, два старика. Сидят вдоль стен на двух широченных кроватях, на стульях, на чемоданах. Горят несколько коптилок. Ближе к двери капитан-танкист, коротыш с пухлыми румяными щечками и испуганно бегающими глазами. Усадил на стол маленькую девочку и сует ей шоколад.

– Что вы здесь делаете, капитан?

– Зашел предупредить, что дом горит. Вот ребенок. Очень люблю детей.

– Это вы сейчас были на лестнице?

– Где? Что вы, я уже здесь полчаса. Хочу объяснить, что дом горит...

Пока говорим с капитаном, вокруг испуганная тишина. Замечаю: несколько женщин, старики и даже дети подняли руки – сдаются.

Только когда заговорили по-немецки: "Успокойтесь, вам ничего дурного не сделают", – услышал, что дышат. Кто-то всхлипнул.

Один из стариков, сидевший в дальнем, темном углу, громко, быстро:

– Пан комиссар, мы поляци, проше пана, мы не ест немцы, мы поляци.

Спрашиваю по-польски. Он продолжает свое, видимо, плохо понимает. Испуган. Пытается делать вид, что плохо слышит. Одна из женщин истерично вторит:

– Мы поляци...

– Успокойтесь! Не надо притворяться поляками. Зачем говорить неправду? И не надо бояться. Мы воюем не с немецким народом, а с гитлеровцами, фашистами. Мы не воюем с гражданскими. Не бойтесь. Мародеров и насильников мы наказываем. Этот человек обидел кого-нибудь?

– Нет… нет…

И тогда заговорили сразу несколько.

– Правда, что наш дом горит? Он говорит, что дом горит.

Детский крик:

– Мама, я не хочу гореть!

Капитан, видимо, понимает немного по-немецки: "Да, да, бреннт, бреннт!.."

Беляев: "Надо проверить. А ну, давай!.."

Черномазый сержант и шофер, который тоже пошел за нами, уходят.

Меня окружают… Теперь уже говорят все. Подходит женщина, не старая, в пестром платке чалмой, у нее подкрашенные губы, заискивающий взгляд. Хватает мою руку.

– Спасите нас. Вы культурный, благородный. Мы ненавидим Гитлера, у нас дети…

Девочка лет 15-16 – белобрысая длинноножка из первых учениц, – может быть, вожатая БДМ,* – говорит, ломая язык, – так в немецких детских книжках разговаривают негры и иностранцы.

– Sie gut deutsche sprechen? Вы хорошо говорит немецки. Вы нас спасать от огня… Мы вас очень спасибо говорить…

Несколько женщин подводят молодую, полную, красивую, тоже в тюрбане, с грудным на руках.

– Смотрите, ей только тридцать лет, у нее уже десять детей… у нее материнский крест…

Восхищаюсь, поздравляю… Малышка, с которой возился капитан, очень белокурая, светлоглазая и приветливая, оказывается дочерью этой многодетной матери. Ее зовут Уршель, ей четыре года. Доверчиво тянется ко мне: "Дядя, у тебя есть дети?" – Да, и тоже дочки – восемь и пять лет. – Показываю снимки. Все толпятся, стараются быть ближе. Восторженные возгласы. Необычайная заинтересованность. Много фальши, и вместе с тем, разрядка, ослабление напряженного страха.

Вернулся сержант.

– Горит с того конца. По крыше идет огонь. Через час, по-

* БДМ – „Бунд дойчер мэдель" – гитлеровская молодежная организация для девушек Существовала параллельно с „Гитлерюгенд" – организацией для мальчиков

жалуй, сюда дойдет.

Капитан-танкист говорит, что знает, где сборный пункт для беженцев и погорельцев.

Объясняю. Опять крики... "Мама, не хочу гореть!.."

Решено отвезти всех на сборный пункт. Пусть забирают самое необходимое. Суматоха. Плач. Кто-то говорит: "А навéрху еще люди... Шульце... Они коммунисты..."

"Первая ученица" распоряжается звонким уверенным голосом – конечно же была БДМ-фюрерин. Ее родители: отец – тот, который кричал, что он поляк, – подобострастно представляются. Они чувствуют, что их дочь завоевала доверие. А она берет меня под руку. "Идемте к Шульце, майор". – Уже знает, что я не комиссар, и говорит, не ломая язык.

Идем по темной лестнице на четвертый этаж. Она доверчиво держит меня за руку, на минуту вдруг показалось, что жмет несколько сильнее. Но ведь темно. Лестничная клетка совсем без света. Мой фонарик еле-еле теплится. Стучим. Открывает худой, высокий, большелобый, большеносый старик.

– Герр Шульце, наш дом горит. Вот советский майор. Там еще красные солдаты. Все очень милые, очень хорошие. Они отвезут нас в безопасное место.

– Добро пожаловать, геноссе. – Старик тянется ко мне, пожимаю руку. Он, видно, хочет и не решается обнять. Идем в комнату. У печки, в которой тлеют торфяные брикеты, двое: очень толстая женщина, закутанная в шали, и другой старик.

– Моя жена, геноссе, тоже геноссен. Она очень больна. Сердце отказывает. Я был три года в тюрьме, потом три – в лагере. Все время под наблюдением. Сын погиб...

Жена пытается встать.

– Геноссе, геноссе, наконец-то!

Плачет.

– А это мой друг, тоже геноссе, но его не поймали, он уехал из своих мест, помогал нам... Он старый профсоюзник, замечательный столяр. Мастер, каких теперь почти нет.

Невысокий плечистый старик, коротко стриженная седая щетина, густые усы под комкастым носом, отвислые щеки. Крепкое, долгое рукопожатие.

Тороплю их собираться. Муж пытается показать мне свои реликвии.

– Сколько лет прятал значок "Рот фронт", портреты Ле-

нина, Либкнехта, Маркса.

– Дорогой товарищ, ведь пожар. Нужно спешить, спасти людей, а нам еще и воевать нужно.

Хаотическая мешанина мыслей и ощущений. Все горькие, злые, стыдные. Вот еще одна встреча с немецкими коммунистами. А вокруг пожары, грабеж, насилие. Может, и они не коммунисты? Проверить не успею. Или малодушные: примирились с гитлеровщиной, отсиживались в норах. Но разве за это убивают? Разве это может оправдывать нас? Не погибать же им теперь. А что будет там, в квартире внизу и по пути оттуда до машины? Ведь там и наши "пассажиры", и бойкий капитан. Что, если под шумок грабят, волокут в темноте перепуганных женщин... Беляев не станет мешать. Тороплю Шульце, стараясь не быть грубым, а он все норовит рассказывать. Его жена еле двигается. Плачет...

Наконец, выбрались из дома. Грузим всех в кузов. Подсаживаем старух. Кто-то со слезами настойчиво спрашивает о своем чемодане. Моя помощница покрикивает, у нее в голосе привычные командные нотки.

– Да перестаньте же вы!.. Надо жизнь спасать, детей, а вы о чемодане плачете.

Многодетная мать маленькой Уршель оставила в бомбоубежище детскую коляску. Беляев уходит с ней. Наш шофер зло ворчит: "Сколько еще тут ждать?" Он уже где-то успел хлебнуть, и покрикивает на солдат, которые помогают носить вещи. Маленькая Уршель потеряла перчатки. Отдаю ей свои. Она в необычайном восторге, всем показывает: "Дядя русский подарил". Держу ее на руках, цепляюсь за это маленькое, живое, такое непричастное ко всему. Пощипывает за веками.

Приходит Беляев и мать Уршель. Коляски не нашли. У женщины ладони в крови. Беляев суетится, избегает смотреть на меня. Спрашиваю у нее, что случилось.

От злости, от растерянности, от стыда, спрашиваю громко, резко. Она – быстро, искусственно бодро: "Ничего, ничего. Я упала, там темно, битое стекло. Немного порезалась, сейчас перевяжу..."

Наклонясь к ней, говорю тише: "Вас обидели?" Краем глаза вижу испуганный, настороженный взгляд Беляева.

– Нет, нет. Никто не обижал. Господин офицер так любезен... Помог мне... Нет, нет. Не думайте ничего.

Улыбается. В глазах тоскливый страх, руки с окровавленными ладонями подняты, и в них тоска и страх.

Наконец погрузились, всего 28 человек. Больше половины – дети. В кузове громко распоряжается "первая ученица". Несколько минут тому назад я шутя назвал ее помощником коменданта. Она серьезно приняла это. Покрикивает, усаживает, размещает. И уже слышно: кто-то заискивает перед ней, что-то шепотом просит или спрашивает. А она громко, на слушателей:

– Можете не беспокоиться, фрау... Вы же видите: русские офицеры такие милые...

Беляев рядом со мной. Говорит с придыханием: "Знаешь, по-моему, сейчас... я так чувствую, мы сделали самое хорошее дело за все эти дни... Дети ведь такие же, как у нас".

Я передаю Уршель в кузов. Она звонко чмокает меня на прощанье в скулу. Беляев продолжает что-то говорить о благородстве, человечности.

Неделю спустя он написал заявление в партком о том, что я "занимался спасением немцев и их имущества и проповедовал жалость к немцам, несмотря на возмущение наших солдат и офицеров". Это же он повторял потом, на партсобрании, и у следователя, и на суде. Забаштанский ссылался на него. Слова о "спасении немцев и их имущества" стали формулой, которая вошла в текст решения партсобрания, когда меня исключили, и в тексты всех обвинительных документов во время следствия и суда.

В кузов забрались сержант и его дружки. Шофер уже в кабине. Рывком запустил мотор. Подает назад и железным тылом прижимает нас с Беляевым к стоящему сзади немецкому грузовику. К счастью тот не на тормозах: подался. Мы оба орем матом.

Наконец, забираемся в кабину. Шофер совершенно пьян. "Возимся тут с фрицами... Душить их всех. Пусть бы горели... бога мать..."

У капитана-танкиста оказывается виллис и двое солдат. Он выезжает вперед, будет показывать дорогу на сборный пункт.

Сыплет редкий снежок. Некоторые кварталы освещены пожарами.

Сборный пункт – пакгаузы у вокзала. Ухожу вперед вы-

яснить, кто начальник, куда сгружать...

Старший лейтенант, в мятой шинели, небритый, с красными, то ли от усталости, то ли от водки глазами: "Пусть идут вон туда, в тот конец... Там тоже с детьми... А тут такое делается!.."

В пакгаузе – огромном бараке с деревянными колоннами – полумрак. Множество людей на полу, на скамьях, на столах, на грудах узлов и чемоданов. У дверей несколько солдат. С улицы слышны крики, гармоника, пьяная песня.

Наша машина остановилась шагах в пятидесяти от входа: дальше проезда нет. Все забито. Ящиками. Машинами. Стоят два танка. Старший лейтенант предупреждает: "У вас бойцы есть? Пусть следят. А то тут танкисты и черт-те кто балуются... грабят, баб мнут, убить могут".

Зову Беляева, сержанта. Все еще бойко распоряжается помощница. То и дело появляются из темноты пошатывающиеся солдаты.

– Эй, фрау, ком... Давай ур!..

Отгоняем их руганью. Беляев тоже старается. Шульце и его друг ведут стонущую старуху... Кто-то кричит, что украли чемодан.

В это время сзади неистовый женский вопль... В тот же пакгауз, куда сгружаемся мы, вбегает девушка: большая светло-русая коса растрепана, платье разорвано на груди. Кричит пронзительно: "Я полька... Я полька, Иезус Мария... Я полька!"

За ней гонятся два танкиста. Оба в ребристых черных шлемах. Один – широконосый, скуластый, губатый – злобно пьян. Хрипит руганью. Куртка распахнута, бренчат медали, звезда ордена "Славы". Второй спокойнее, незаметнее, цепляется за товарища.

Становлюсь перед ними.

– А ну, успокойтесь, товарищи танкисты!

Рядом со мной старший лейтенант, размахивая пистолетом, лениво, привычно:

– Отойди. Приказ командования: за насилие стрелять на месте.

За ним двое или трое солдат преграждают дорогу к двери. Но другие солдаты вокруг смеются, и явно над нами. Подбегают еще несколько танкистов. Достаю пистолет и чувствую,

как пустею от ужаса: неужели придется стрелять в своих, вот в этого геройского парня, одуревшего от водки. А он лезет прямо на меня, хрипит, брызгая слюной:

– Ахвицеры, вашу мать... На наших хребтах воюете... Где ты был... твою мать, когда я горел? Где ты был... мать... мать, перемать, когда я "Тигра" пожег?..

Стараюсь орать еще громче:

– Не позорь себя, не позорь свою славу! Не сметь трогать девку! Она полька... У тебя есть мать, сестра, невеста, жена? Про них подумал?!

– А немцы что думали? Пусти... твою мать! Хочу бабу. Я кровь проливал!

Другие танкисты оттягивают его, но глядят на меня и на старшего лейтенанта неприязненно. Из темноты голоса:

–...Вот они, командиры, за немку своего убить хочет!..

Старший лейтенант продолжает монотонно:

– Отойди, приказ командования.

Отводим польку в соседний барак, откуда она прибежала. Там собраны "гражданские, которые не немцы". Такой же полумрак, такая же теснота, только больше мужчин, меньше чемоданов. Слышна русская, польская, украинская, чешская, французская речь. Что-то веселое наигрывает губная гармошка. Итальянец поет очень высоким, чуть сипловатым тенором, протяжную песню, сладкую, как цветная тянучка...

Возвращаюсь в немецкий барак. Привезенных нами погорельцев уже разместили где-то в глубине.

Беляев торопит: – Поехали, поехали. Надо еще искать, где заночуем. – Но я хочу "беседовать с населением".

В мутном тускло-оранжевом свете нескольких фонарей и коптилок и в багровых отсветах железных печек люди сидят, лежат, теснятся нерасчленимыми кучками. Большинство женщины, дети, старики. Высокий, в кожаном пальто, называет себя железнодорожником, другой – врач. Один помоложе – сухощавый, безногий, судя по выправке, офицер. Женщины старые и молодые – в шляпках, в платках тюрбаном и просто навесом, как у наших баб, в нарядных пальто с меховыми воротниками, и в трепаной, непонятного покроя одежде, укутанные в одеяла... И очень много детей, – подростки, и совсем крохотные. Несколько очень ухоженных, в нарядных шубках. Но остальные такие же, как на любом московском вокзале. Отовсю-

ду пристальные, испуганные и просто любопытные, удивленные ребячьи взгляды. Некоторые спят на тюках, на материнских коленях. Их не разбудил ни истошный крик польки, ни ругань и галдеж за дверьми. Детские лица, светлые, теплые, сонные. И над ними глаза матерей: затравленные, ждущие в ужасе, заискивающие, льстиво улыбающиеся, остекленевшие от горького непонимания, от страха, отчаяния...

Едва я заговорил по-немецки, сразу же со всех сторон голоса, вопросы – громкие, настойчивые и вполголоса, робкие, недоумевающие, вежливые, раздраженные...

– Что с нами будет?

– Чем кормить детей завтра?

– Нас пошлют в Сибирь?

– Нас выгнали из дома солдаты. Там остались продукты. Можно пойти взять?

– Куда нас увезут отсюда? Когда?

– Что с нами будет? Мы ведь не хотели войны... Мы маленькие люди.

– Неужели нас в Сибирь?

Беляев торопит. Он уже перестал умиляться нашему благородству. И ему не терпится уйти.

Отвечаю короткой речью. Стараюсь для правдоподобия говорить спокойно, бесстрастно, отрывисто. Вдруг ловлю себя на том, что впадаю в этакий прусский казарменно лающий тон. Все слушают напряженно, некоторые молча, благоговейно, другие откликаются, то ли искренне, то ли нарочито подобострастно.

– ...Сейчас в районе города еще идут бои... В пожарах и разрушениях повинны СС и вервольфы... Слыхали про таких? – (Женский голос: "Проклятые... Им все еще не досыта!"Сочувственные возгласы.) – Безобразничают некоторые наши солдаты. У нас в армии 20 миллионов бойцов. - („О, готт, о, готт!.. Да, это сила!") – Понятно, что среди них есть и какое-то число негодяев... К тому же, многие наши люди очень ожесточены... Мы шли сюда от Москвы, от Ленинграда, от Сталинграда по сожженной земле, по развалинам... пепелищам... У нас в каждой семье жертвы... Мы не хотели этой войны. – (Голоса: "Мы тоже не хотели!.. Это все Гитлер и генералы... Мы тоже страдаем..") – Верно, что многие из вас не хотели этого. Но Гитлер и его разбойничья армия пришли от вас... Мне жаль

вас... очень жаль детей... Они-то, конечно, уж ни в чем не повинны. – Сразу много голосов: („Да, да, дети... о, Боже, за что страдают дети... Господин комиссар, пощадите детей... Слушайте! Не мешайте говорить господину офицеру...") – Но за все ваши беды, страдания, лишения можете благодарить своего фюрера и больших господ. – („Да-да... фюрер, будь он проклят! Будь прокляты все "Золотые фазаны"*. – Громкий густой старческий голос из темноты: "Господь осудил нас, да свершится воля его, будем молиться о господней милости..." Много женских голосов: "Да... да... Господи! О Боже... молиться... остается молиться.") – Сейчас в вашем городе передовые части... Для них главное – бой. В ближайшее время, не знаю точно, может быть, через несколько часов начнут действовать администрации, советская военная и польская гражданская... – ("О, поляки... Они будут мстить").

– Не говорите глупостей, поляки тоже люди, это нацисты вас стравливали... От вас требуется сейчас только спокойствие, дисциплина. Соблюдайте порядок, помогайте слабым, детям, больным, неимущим... Терпение и надежда!.. До свидания! – („До свиданья, до свиданья... Спасибо!.. Какой любезный господин... Я же говорила вам, что это передовые части. А потом будет порядок...")

Беляев тянет меня к выходу. "Идем, наконец, а то шофер пьян, свалится, заснет – не уедем."

Нам загораживает дорогу женщина, простоволосая, темнорусые, длинные волосы, почти до плеч... Большие, очень блестящие глаза и отдельно от глаз неровная улыбка вялых, тонких, едва разжимающихся губ. Говорит шепотом.

– Господин комендант... Вас обманули, сказав, что я не могу рожать. Это неправда! Я могу иметь детей. Понимаете, я могу рожать детей...

– Простите, что вам угодно?

– Ведь у вас много солдат. А я еще молода... Я согласна, я хочу... мне нужен мужчина... я могу иметь детей... прикажите вашим солдатам.

Беляев: – Что она говорит?

---

*Так называли руководящих чиновников партийного аппарата и штурмовых отрядов.

С трудом высвобождаюсь. Худые пальцы очень цепко держат рукав шинели... Она уже прижимается грудью, животом. Прошу женщин отвести ее. Они уговаривают:

— Оставь господина офицера... Ты же порядочная девушка. Идем, идем, там есть кавалеры...

Одна из них объясняет:

— Ее стерилизовали... Она слабоумная наследственно. А после стерилизации и вовсе сошла с ума. Пристает к мужчинам. Вы уж простите, пожалуйста.

Ночевали мы в большом особняке, где расположился "корпункт" — журналисты, кинооператоры.

Много пили, ели трофейную снедь.

Помню: молоденький, черноглазый, румяный капитан, корреспондент одной из центральных газет, говорил завистливо:

— Вам хорошо: языком владеете. Можете потребовать именно то, что вам нужно, или спросить, где взять. Да они вам на радостях, что по-ихнему умеете и сами отдадут. А я вот знаю только "ур" и "фрау, ком"... А вот как сказать, например, "золото", "серебро", "шелк"?..

— Вы, значит, считаете, что знание языков полезнее всего для мародерства?

Недоумевающий взгляд, смущенная улыбка. Не поймет, шучу или всерьез.

— Вам не стыдно заниматься грабежом? Да еще рассуждать, вроде так и нужно?

Краснеет, растерян. Бормочет: — Да нет... почему же... ведь я шутя...

Вмешивается корреспондент "Правды", длиннолицый П., самоуверенный пролаза и всезнайка. Он пьян и говорит циничней, чем обычно.

— Чего ты разводишь мораль? И не надоело тебе еще фрицев жалеть? Это ж война... Понимаешь ты, филолог в погонах: Это война, а не лекция в ИФЛИ. Чего ж тут чикаться. Вот пьем их коньяк, хаваем их ветчину. Вот так же, даешь их часы, их чемоданы, их баб... Это война, понимаешь, усатая детка?

— А тебе не кажется, что ты рассуждаешь, как фашист?
— Иди ты к ... матери! Тоже мне гуманист-гавнист, либерал за-

сраный...

– Сволочь ты вонючая, мародер...

Нас растащили. Потом мы помирились. Пили за победу. Пели „Землянку", „Огонек", „Давай закурим".

На следующий день ломило голову... Опохмелялся с отвращением. Спали мы вповалку на кроватях, диванах, грудах перин и ковров... Зловоние от блевотины, от грязных, потных тел, остывшей табачной золы – противнее всего сигарная.

А Беляев бодр и весел:

– Вчера я тебя во всем слушался. И не жалею. Мы хорошее дело сделали. А сегодня давай уж я буду распоряжаться. Мародерствовать не допущу. Грабить людей никому не позволю. Но, видишь, сколько добра пропадает... Магазины, склады, пустые квартиры. Ведь все сгорит, растащат поляки. Что ж, наши семьи хуже? А зачем разрешили посылки?.. Командование ведь понимает, что делает...

Мне нечего было возразить.

Да, посылки действительно разрешили. Незадолго до начала зимнего наступления. Каждому солдату предоставлялось право посылать одну или две восьмикилограммовые посылки в месяц. Офицерам вдвое больше и тяжелее.

Это было прямое и недвусмысленное поощрение будущих мародеров, науськивание на грабежи. Что иного мог послать солдат домой? Старые портянки? Остатки пайка?

Вскоре после того, как был оглашен этот приказ, мне растолковал его Забаштанский. Он говорил доверительно, душевно – мол, мы свои люди, умные, знающие, нам нечего таиться друг от друга.

– Ты ж, понимаешь, все мы устали воювать. Обрыдла эта война проклятая всем нам, а солдатам, что под пулями ходят, больше всех... Ну, пока у нас на земле воевали, все было просто – за свои хаты бились, чтоб отогнать, отбить, освободить... Сам понимаешь... А теперь вот мы с тобой знаем, что Гитлера, гадюку, окончательно снистожить надо, под корень. А солдат, который уже четвертый год под пулями и ранетый, может, уже не раз, знает, что хата его оно-но-о где... И жинка, и дети голод-

ные... А ему все воевать, и теперь уже не в обороне, а давай, давай вперед! Мы ж материалисты, мы должны понимать. Значит, что нужно? Чтоб солдат, во-первых, ненавидел врага, чтоб мстить хотел, да не как-нибудь, а так, чтоб хотел все истребить до корня... И еще нужно, чтоб он имел интерес воевать, чтоб ему знать, для чего вылазить з окопа на пулемет, на мины. И вот ему теперь ясно-понятно: придет в Германию, а там все его – и барахло, и бабы, и делай, что хочешь! Бей вщент! Так, чтоб ихние внуки и правнуки боялись!..

– Что ж, значит, и женщин, и детей убивать?

– Ну, чего ты з детями лезешь, чудак. Это крайность. Не всякий станет детей убивать... Мы ж с тобой не станем. А по правде, если хочешь знать, так те, кто станут, пусть сгоряча убивают хоть маленьких фриценят, аж пока им самим не надоест... Читал "Гайдамаков" Шевченко? Ведь Гонта своих, – понимаешь, своих власных, – сынов зарезал? Это война, брат, а не философия, не литература. То в книгах, конечно, есть: мораль, гуманизьм, интернационализьм. Это все хорошо, теоретически правильно. Вот пустим Германию дымом, тогда опять будем правильные, хорошие книжки писать за гуманизьм, интернационализьм... А сейчас надо, чтоб солдат еще воювать хотел, чтоб в бой шел... Это главное звено!

Тогда я возражал ему, однако сдерживался. Считал весь этот спор умозрительным. К тому же нравственный облик Мили Забаштанского не внушал мне сомнений. Но я не хотел опять ссориться. Не хотел вполне сознательно, не видел смысла. Ведь и в гражданскую войну были такие же. Без этого не обходится ни одна революция... Наготове было столько удобных формул: родовые муки истории; за коммунизм сражаются не одни лишь благородные герои, а миллионы разных, в том числе и несознательных и порочных людей. Великая цель оправдывает все.

Рассуждения Забаштанского были мерзки, но ведь так рассуждал не он один. Подлая ложь таких материалистических, прагматических умозаключений должна была обосновать и оправдать будущие грабежи. Но я и не пытался противодействовать этому отечественному фашизму по-настоящему, открыто. Вспоминать об этом больно, стыдно. И все же необходимо.

Так это было. И на следующий день в Алленштайне я, почти не возражая, следовал за Беляевым. Сперва отправились на

вокзал собирать "трофеи", потом на почтамт, где огромный зал был наполовину забит грудой посылок, потом по нескольким пустым особнякам, обставленным дорогой мебелью... Я помогал таскать чемоданы, ящики с посылками и всерьез обсуждал с ним, что привезти в подарок нашему генералу – начальнику политуправления. Мы решили: охотничье ружье с тремя стволами и огромный альбом гравюр Дюрера в резном деревянном переплете – тираж 300 экземпляров.

Во фляге у меня не переводился французский коньяк "братьев Оже", в сумке – сигары; в кузове машины стояло несколько ящиков с коньяком и гаванскими сигарами. Я привык курить самые крепкие. Немцы удивлялись, глядя, как мы затягивались терпким сигарным дымом, объясняли, что полагается только рот полоскать. Но мы тянули длинные крепчайшие сигары, как обычные махорочные самокрутки. Сначала кружилась голова, поташнивало, но скоро привыкли. Хмель от всевозможных коньяков, шнапсов, настоек, – а пили мы непрестанно и помногу, – и едучий сигарный дым, казалось, помогали находить равновесие чувств и сознания, – зыбкое, неустойчивое, но все же какое-то равновесие. Конец войны был явственнен, близок, и чаще стали набегать мысли о смерти, раньше обузданные рассудком, заглушенные привычкой.

...На вокзале длинная полоса перрона – метров двести – была сплошь завалена свиными боковинами, пластами сала. По ним ходили как по шпалам. Состав открытых платформ: – автомашины, грузовые, легковые. Платформы с пушками, с танками. Крытые вагоны с ящиками: воинское имущество, личные вещи. Два вагона, груженные радиоприемниками: несколько больших куч радиоприемников громоздились на земле вдоль пути.

...У пассажирского вагона труп маленькой женщины. Лицо укрыто завернувшимся пальто, ноги, круто согнутые в коленях, распахнуты. Тонкий слой снега и какая-то тряпка едва укрывали застывшее испоганенное тело. Видимо, насиловали скопом и тут же убили, или сама умерла и застыла в последней судороге. Еще несколько трупов,– женских и мужских в штат-

ском — у вагонов, на платформах.

Ряд открытых платформ, уставленных большими ящиками. Беляев, шофер, сержант и его спутники раздобыли топоры и ломы. Мы взламываем ящики – а в них главным образом домашний скарб — перины, тюфяки, подушки, одеяла, пальто.

С соседней платформы тихий старушечий голос:

— Зольдат, зольдат!

Между ящиками разной величины гнездо из тюфяков, одеял. В нем старушка, закутанная шарфами, платками, в большом темном капоре, припорошенном снегом. Треугольник бледного сморщенного лица. Большие светлые глаза. Смотрят очень спокойно, разумно и едва ли не приветливо.

— Как вы сюда попали, бабушка?

Даже не удивилась немецкой речи.

— Солдат, пожалуйста застрели меня. Пожалуйста, будь так добр.

— Что вы, бабушка! Не бойтесь. С вами ничего дурного не будет.

В который раз повторяю эту стандартную брехню. Ничего хорошего с ней не будет.

— Куда вы ехали? У вас здесь родственники?

— Никого у меня нет. Дочь и внуков вчера убили ваши солдаты. Сына убили на войне раньше. И зятя, наверно, убили. Все убиты. Я не должна жить, я не могу жить...

Говорит совершенно спокойно и просто. Никакой фальши. Ни слез, ни волнения. Только грусть и обреченность. Должно быть от этого такое спокойствие. А, может быть, от смирения или от сознания человеческого достоинства.

— Пожалуйста, солдат, застрели меня. Ведь у тебя есть ружье. Ты хороший. Ты меня сразу застрелишь. Я уже нескольких просила, — смеются, не понимают. А ты понимаешь. Я старая, больная, я не могу даже встать... Пожалуйста, застрели меня.

Бормочу что-то утешительное... "Погодите, погодите... вас отвезут к людям, в тепло..."

Соскакиваю с платформы. Спешу уйти от тихой старушечьей мольбы, от ее глаз.

Беляев и его команда обнаружили вагон с чемоданами. Спорят: вскрывать ли и выбирать, что получше, или тащить, не вскрывая "кота в мешке".

На всех путях по вагонам рыщут в одиночку и группами такие же, как мы, охотники за трофеями. У кучи приемников сияют красные лампасы – генерал, а с ним офицер-адъютант и двое солдат, волокущих чемоданы и тюки. Генерал распоряжается, тычет в воздух палочкой с серебряным набалдашником.

Иду, чтобы поискать кого-нибудь из комендатуры. Беляев окликает: "Не уходи далеко. Потом не найдемся". Говорю ему о старухе. Нетерпеливо отмахивается: "Опять за свое. Плюнь. Ведь все равно подохнет. Вон их сколько валяется". Напротив у пассажирского вагона несколько едва присыпанных снегом трупов.

В конце платформы кирпичная будка с большими окнами. Какой-то железнодорожный пост. Внутри, в квадратной светлой комнате, стол с телефоном, печка и широкие скамьи. У погасшей печки сидит, сгорбившись, старик в куртке железнодорожника. Седые усы до челюстей, как у Гинденбурга. Второй лежит на скамье, отвернувшись, укрытый шинелью. Заговариваю. Сидящий отвечает односложно, бесстрастно. Видно, что смертельно устал и застыл, оцепенел от такого ужаса, что ничем уже больше не испугаешь.

Говорю ему про старуху. Говорю все тем же казарменным приказным тоном: – "Снять с платформы, отвести на сборный пункт".

Смотрит, не понимая. В глазах брезжит что-то вроде удивления... Старуха? На платформе?

Лежащий поворачивается. Он моложе, темное от грязи или болезни, небритое, худое лицо. Говорит хрипло, не поднимая головы.

– Лучше ей умереть скорее... Всем нам лучше умереть бы скорее.

Сидящий слабо машет ему – замолчи. Опускает голову, ждет удара или выстрела.

Нарочито бодро, все тем же казарменным тоном:

– Не болтайте чепухи. Все еще наладится. Отведите старуху, понятно?

Беляев зовет.

– Где ты там пропал? Двигаемся дальше!

Откликаюсь. Ухожу. Сделал, что мог. Пойдут ли они за старухой? Лучше ли ей будет от этого?.. Запрещаю себе думать

о них, обо всем: что я, в общем, тоже трус и подлец.

Улица перед почтамтом, широкая, с обеих сторон деревья, прямые и ровные; кирпичные тротуары, чугунные ограды; дома с крытыми крышами. Тихо. Редкие машины проезжают неспеша, немногим быстрее обозных телег. Солдаты разглядывают дома — куда бы пристать.

Посреди мостовой идут двое: женщина с узелком и сумкой, и девочка, вцепившаяся ей в руку. У женщины голова поперек лба перевязана, как бинтом, окровавленным платком. Волосы растрепаны. Девочка лет 13-14, белобрысые косички, заплаканная. Короткое пальтишко; длинные, как у стригунка ноги, на светлых чулках — кровь. С тротуара их весело окликают солдаты, хохочут. Они обе идут быстро, но то и дело оглядываются, останавливаются. Женщина пытается вернуться, девочка цепляется за нее, тянет в другую сторону.

Подхожу, спрашиваю. Женщина бросается ко мне с плачем.

— О, господин офицер, господин комиссар! Пожалуйста, ради Бога... Мой мальчик остался дома, он совсем маленький, ему только одиннадцать лет. А солдаты прогнали нас, не пускают, били, изнасиловали... И дочку, ей только 13. Ее — двое, такое несчастье. А меня очень много. Такое несчастье. Нас били, и мальчика били, ради Бога, помогите... Нас прогнали, он там лежит, в доме, он еще живой... Вот она боится... Нас прогнали. Хотели стрелять. Она не хочет идти за братом...

Девочка, всхлипывая: "Мама, он все равно уже мертвый".

К нам подходит несколько солдат.

— Чего это они?

Коротко объясняю. Один, постарше, сумрачный, с автоматом:

— Сволочи, бандиты, что делают!

Другой помоложе:

— А они что делали?

Отвечаю резко:

— На то они и фашисты, немцы, а мы русские, советские.

Старший:

– Не бабы же делали, не дети.

Солдат в замасленной телогрейке, видимо, шофер, сплевывая, материт неизвестно кого и отходит. Двое других глядят молча, курят сигареты.

Спрашиваю у женщин адрес. Обещаю пойти узнать о сыне. Говорю, чтоб она шла на сборный пункт: вокзал недалеко.

Она снова и снова повторяет название улицы, номер дома, квартиры. Мальчика зовут Вольфганг, в синем костюмчике.

Говорю солдату постарше, который ругал бандитов, чтобы провел их до сборного.

– Так у меня ж тут фурманка и напарник.

Прошу, – приказывать здесь бессмысленно, – ведь к ним по дороге опять могут пристать. Угощаю сигарами. Он соглашается. Солдат со стороны, то ли сочувственно, то ли насмешливо: "Вот-вот, конвоируй, чтоб опять не угребли где-нибудь в подворотне".

Но он уже закидывает автомат за спину: "Ну, давай, фрау, пошли, ком."

Женщина бледнеет, в ужасе сжимается. Объясняю, что он ее проводит, будет охранять. Глядит недоверчиво, умоляюще. Снова и снова повторяет: "Вольфганг, белокурый, сероглазый, синий костюм... Улица, номер... Вольфганг..." Девочка прижалась к ней, уже не плачет, судорожно икает.

Идут по середине мостовой. Впереди грузно шагает солдат в жеваной рыжей шинели, за плечом автомат стволом вниз.

Проглянуло солнце. Пустая длинная улица. Жидкие снежные полоски на асфальте. Красные, серые, черепичные кровли. Чугунные узоры оград. Пруссия.

Женщина в окровавленной белой повязке, девочка на тонких дрожащих ногах... И наши солдаты, те, кто надругался над ними, и те, кто жалеет, – вон ведь топочет, охраняет, вместо того, чтоб грузить на фурманку трофеи, – и те, кто равнодушно смотрит со стороны...

Где-то, не очень далеко, знакомый рокот. Пушки. За городом идет бой. А мы собираем трофеи. Беляев и я вместе с ним и с жуликоватым сержантом и с другими мародерами. Мы все вместе. И генерал на вокзале, командующий собиранием чемоданов, и лейтенант-сапер, который верит в интернационализм, и танкист, гнавшийся за полькой, и все, кто сейчас там перебегают, ползут по снегу в черных плешинах разрывов, и те,

кто штурмуют Кенигсберг, стреляют, умирают, истекают кровью, и те, кто в безопасных армейских тылах пьют, куражатся, тискают баб... Мы все вместе. Честные и подлые, храбрые и трусливые, добрые и жестокие... Мы все вместе, и от этого не уйти никуда и никогда. И славу не отделить от позора...

Другая улица. Длинная каменная ограда; через верх топорщатся ветви. На противоположной стороне несколько маленьких домиков, низкие штакетные заборчики палисадников, огородов.

На тротуаре две женщины. Замысловатые шляпки, у одной даже с вуалью. Добротные пальто и сами гладкие, холеные. Идут не спеша, переговариваются. По мостовой молодой солдат ведет на поводу хромающую лошадь. Навстречу ему двое катят тележку, груженную чемоданами и узлами.

Женщины смотрят на них с брезгливым любопытством, но без страха. Подхожу вплотную. Так же смотрят на меня.

– Почему вы на улице? Куда вы идете? Разве вы не знаете, что это опасно?

Обе рассматривают меня испытующе, недоверчиво и, право же свысока. Долговязый, черный, лохматый, торчащие усы, трехсуточная щетина, шинель измята, расстегнута,–уже пригревает, – увешан, как верблюд: полевая сумка, планшет, фляга, бинокль, сумка с автоматными обоймами, тяжелый пистолет и длинный кинжал из немецкого штыка с разноцветной плексигласовой ручкой... Та, что постарше, лет сорока, поджимает губы кисловато-вежливой улыбкой. Говорит с берлинским акцентом:

– О, наконец-то, господин офицер, с которым можно говорить. На нашей улице все продуктовые магазины закрыты или разбиты. Мы должны купить продукты, у нас есть карточки.

Вторая помоложе. Тот же говор.

– Да, да, у нас семьи, дети, второй день нет хлеба, нет масла.

– Сейчас вы ничего не достанете, в городе идут еще бои (вру, чтобы припугнуть) – и к тому же здесь передовые части, есть разные солдаты, многие уже годами без женщин, с вами могут обойтись очень плохо... Возвращайтесь домой.

Старшая, с той же кисловатой улыбкой, тем же тоном:

– Но почему же, ведь мы не военные.

Младшая, хихикнув: – "Нет, нет, мы не военные, мы только хотим купить продуктов, у нас карточки."

Гляжу на этих больших куриц. Они, видимо, даже не подозревают, не могут вообразить, что им грозит.

– Кто вы такие?

– Мы эвакуированные из Берлина.

– Где ваши мужья?

Несколько оживились. Начинается светская беседа.

– Мой в армии, лейтенант, славу Богу, ранен, в госпитале.

– А мой имеет броню, инженер. Где-то в Померании, на военном заводе. Скажите, а когда можно будет их навестить?

Беляев подходит.

– Ишь, какие индюшки. Сами вышли мужиков ловить.

– Они ищут продуктовый магазин.

– А ты и поверил. Гляди, какие грудастые. Перестоялись без мужиков. Ну, их наши утешат.

Женщины перешептываются.

– Говорю вам очень серьезно, сейчас же возвращайтесь домой. Через день-два в городе установится порядок. А сейчас, поймите, вас могут убить, изнасиловать.

Старшая насупилась, поджала губы:

– Но это же невозможно! Это же не допустимо!..

Младшая испуганно моргает:

– За что? За что?

– Да ни за что, а потому что среди солдат есть много ожесточенных, жаждущих мести... Немецкие солдаты у нас грабили, убивали, насиловали.

Старшая сердито: "Этого не может быть. Никогда не поверю."

Младшая всхлипывает:

– Но чем же мы виноваты?

У меня нет времени на беседу. Резко, жестко, снова казарменным тоном: "Немедленно возвращайтесь домой! Ваш дом далеко?"

Старшая оскорбленно молчит. Младшая робко: "Здесь, за углом, два квартала."

– Немедленно домой! Живо! Потом еще будете благодарить меня.

Нерешительно поворачиваются, уходят. Обиженные, недо-

верчивые, презрительные.

Солдаты с тележкой и солдат с конем остановились, наблюдают за нами. Смеются.

— Вот бы такую гладкую... А майор здорово чешет по-их-нему.

Ругаются беззлобно.

Проезжаем еще несколько улиц. На тротуаре мужской труп в темном длинном пальто. Такие носят пасторы. Из разбитых дверей балкона третьего этажа торчит рояль. Видно, тщетно пытались вытолкнуть... Летает пух.

— Здесь все больше на перинах спят, — объясняет шофер.

В штабе корпуса обычная деловая суета. Немецкие части, — еще не выяснено, какие и сколько, но танки и самоходки у них есть, — пытаются прорваться с востока, обтекают город вдоль северной окраины. В штабе свои заботы. Нужно воевать, город разлагает солдат: трофеи, бабы, пьянство.

Рассказывают, что командир дивизии полковник Смирнов сам пристрелил лейтенанта, который в подворотне устанавливал очередь к распластанной на земле немке.

...Несколько русских девушек,угнанных на работу в Германию, стали официантками в штабной столовой. Обмундирования им не полагалось, как вольнонаемным, зато щедро снабдили трофейными тряпками. Одна из них, — рассказчик говорил тоскливо подробно, — такая красивая, молодая, веселая, волосы — чистое золото, и на спину локонами спущены, знаете, как у полек и у немок... Шли какие-то солдаты, пьяные что ли... — Гля, фрицыха, сука... и шарах с автомата поперек спины. И часа не прожила. Все плакала: за что? Ведь уже маме написала, что скоро приедет.

В штабе читали вслух приказ командующего фронтом Рокоссовского. За мародерство, насилия, грабеж, убийства гражданских лиц — трибунал; в необходимых случаях — расстрел на месте. Беляев сидел, уставившись в пол, но то и дело кивал одобрительно. Потом он сказал мне: "Ну, видишь, командование разобралось, порядок будет, а ты нервничал."

Смотрел пытливо и напряженно ухмылялся.

— Выпьем за здоровье маршала, правильные приказы дает.

Мы уезжали из Восточной Пруссии, обгоняя толпы штатских с ручными тележками, санками, "вьючными" велосипедами. Слышалась русская, польская, украинская, итальянская, голландская, французская речь.

Некоторые гнали с собой коров. Один раз увидели коровью упряжку: высокую телегу тянули черно-белые коровы, а вокруг шла гурьба веселых девушек, русских и полек, и несколько парней в беретах и каскетках с трехцветными французскими флажками.

На перекрестке воинский грузовик, вокруг толпа. Громкие сердитые голоса, женские крики, брань. Несколько солдат, судя по обмундированию из тыловых, отнимают чемоданы у плачущих девушек, – те кричат по-русски и по-украински, – отпихивают прикладами их спутников, парней с французскими и итальянскими флажками. Франтоватый старшина в фуражке с черным околышем орет:

– Немецкие овчарки, бляди, изменницы!

У молодого француза лицо разбито в кровь. Товарищи удерживают его, он лезет в драку. Мы с Беляевым подходим вплотную. Старшина объясняет:

– Вот гад фриц, лопочет: камрад, камрад...

– Отставить грабеж! – Кричу яростно: – Кого бьете, болваны! Он не фриц, а француз, союзник. Верните девчатам барахло! Их освободили из фашистского рабства, а вы грабите.

– Рабство? Гляди, какие рожи понаедали, суки! А французы тоже толстомордые камрады... в бога мать!

Девчата и их друзья почувствовали нашу поддержку, начинают вырывать свои чемоданы. Старшина изумленно глядит на нас. Я ругаюсь, Беляев вторит и вытаскивает пистолет.

– Приказ маршала Рокоссовского – стрелять мародеров на месте... Вот шлепнем сейчас гада, чтоб другим пример был...

Старшина побледнел, прыгает в кабину. Их студебеккер стартует рывком. Солдаты на ходу переваливаются в кузов.

Мы едем в противоположную сторону.

Догорающие дома в Найденбурге... Чадные, тлеющие пепелища в Гросс-Козляу...

Едем молча. Курю до тошноты. Беляев пытается заговаривать... Что поделаешь? Война. Люди звереют...

Не выдерживаю. Начинаю отвечать. Вполголоса, чтоб не слышал шофер. Впрочем, он опять пьян и поет какую-то похабщину.

– Не ожидал я, Саша, от тебя, что поддашься такому. Зачем было старуху убивать... и все это... Брось, не отвечай, не выкручивайся... Подло это было. И я подлец, что допустил... Разве мы о такой победе мечтали? Разве это Красная Армия? Это ж махновщина... При чем тут война? Вот у меня в сумке немецкая книжка, издана в Кенигсберге двадцать лет назад, "Русские войска в Восточной Пруссии". Это про август 1914 года. Писал немецкий историк – чиновник, националист. Старательно выискивал все, что мог найти плохого про русских. И что же? Два случая изнасилования, – виновные казаки расстреляны. Несколько случаев ограбления, побоев, один или два случая убийства. И всякий раз русские офицеры вмешивались, прекращали, наказывали. Немецкий автор перечисляет всех зарезанных кур, все сломанные фруктовые деревья, все оплеухи... Где только может, говорит о некультурности, о варварстве, выхваливает своих бургомистров, которые, мол, защищали население... Сегодня читать все это страшно. Понимаешь, страшно и позорно. Ведь то были царские войска. А мы? Насколько мы хуже, безобразнее. И весь позор на нас, именно на нас, офицерах, политработниках. Если бы все такие, как тот лейтенант-сапер...

– Что ж, по-твоему, командование не знает? Ведь сначала посылки разрешили. А теперь, когда нужно, – приказ маршала. Это же политика. Товарищ Сталин знает...

– Брось все валить на Сталина, он главнокомандующий, у него десятки фронтов и весь тыл и международная политика. А здесь мы сами власть на местах; мы все – генералы и офицеры – поклонники Эренбурга. Какой мести научили: немкам юбки задирать, грузить чемоданы, добро растаскивать. У того полковника, который сукиного сына пристрелил, порядок был до всех приказов Рокоссовского. И в роте того сапера уж, наверное, мародеров нет... Ведь еще месяц-другой и мы встретимся с англичанами, с американцами. Ведь немцы от нас к ним побегут. Это же будет позор на весь мир. Да что позор – подумай, что выйдет потом из этих солдат, – из этих, которые десятками в очередь на одну немку, девочек насиловали, старух убивали?.. Они же вернутся в наши города, к нашим девуш-

кам. Это похуже всякого позора. Это же сотни и тысячи готовых преступников, жестоких и наглых, вдвойне опасных, потому что с репутацией героев...

Я говорил с трудом, перехватывало горло. Он слушал, не прерывая, изредка бормотал сочувственно: "...Да-да, конечно... но ведь еще, может, наладится..."

А неделю спустя Беляев писал в заявлении, адресованном генералу:

> "Когда мы ехали обратно, он плакал от жалости к немцам, говорил, что тов. Сталин ничего не знает о положении, так как занят международными делами, называл нашу армию махновщиной, непечатно ругал командование, политработников и тов. Эренбурга."

Двенадцатая глава

ДЕЛО ЗАВЕДЕНО

Когда мы вернулись из Восточной Пруссии, то нашли политуправление уже западнее Цеханува в маленьком местечке.

Забаштанского не было на месте. Он уехал тоже в Пруссию и взял с собой Любу переводчицей.

Беляев сгружал трофеи. Женщины – сотрудницы отдела, азартно хлопотали, делили барахло на всех, в том числе и на отсутствующих. Меня вызвал генерал. Но старшим по поездке числился Беляев. Идти без него было бы не по уставу; к тому же он испугается: –ведь если я буду рассказывать всю правду, теперь после приказа командующего это могло быть опасным для него. Поэтому я позвал его – идем вместе. И он умильно благодарил: – Ты настоящий друг, я всегда знал, что ты настоящий друг.

У генерала сидел полковник из Москвы, из управления кадров. Они с нескрываемым любопытством расспрашивали, как там, что там делается?

Беляев молчал: рассказывал я. Старался, чтоб получилось бесстрастно, конкретно, сухо. Но говорил, разумеется, о грабежах, насилиях, бессмысленных разрушениях. Генерал и его гость перебивали редко. Их замечания были чаще всего не слишком вразумительны... – Да, наши умеют... Нет, дома жечь нельзя допускать... Дорвались, значит, братья-славяне... В трофейных командах растяпы...

Генерал закончил разговор. – Жалеть немцев нечего. Пусть им будет уроком. Разрушать, конечно, не следует: все это теперь будет наше или польское... Ну, да, где пьют, там и бьют. Еще лучше отстроим.

Наши подарки генерал принял равнодушно, и едва ли не разочарованно, словно ждал большего. На роскошного Дюрера даже не поглядел.*

---

*Осенью 1956 года восстанавливали в партии моих друзей и меня; был вызван и отставной генерал Окороков, поблекший, сникший. Тогда

...В большой комнате-канцелярии отдела Нина и другие женщины раскладывали одежду, мануфактуру, постельное белье, столовые приборы, ахали, спорили, перекладывали из кучки в кучку. – Это, вот, нужно такому-то, у него дети, а вот это лучше этакому для жены. – Нина говорила громче и больше всех, так, что уже с улицы было слышно, как она заботится о товарищах, не думая о себе. В тот же вечер вернулась и Люба. Она рассказывала о своих впечатлениях в Восточной Пруссии, возбужденно и, как всегда, с этакой щеголеватой деловитостью. Помнила все части, в расположении которых была, точно называя время, – столько-то ноль-ноль, – не склоняла названий местностей, как положено в оперативных сводках. Они с Забаштанским тоже побывали в Алленштайне, заходили в дома. Люба рассказывала, что жители все еще сидят перепуганные в квартирах или в бомбоубежищах. Стоит войти нашему военнослужащему, все поднимают руки вверх, даже дети. Насилия над женщинами реже. Она говорила бойко, непринужденно, так же, как о любой иной интересной поездке или боевом эпизоде. Когда я сказал ей об этом – она замолчала, сердито насупилась.

Уйдя в другую комнату, я начал писать рапорт: – "Прошу отчислить меня из отдела, из управления, либо даже вовсе из рядов армии. Война уже кончается, а у меня здоровье все хуже. К тому же очевидная невозможность работать с непосредственным начальством в условиях предстоящей оккупации".

Подошел Беляев, заглянул через плечо. Пусть читает, ведь это и из-за него тоже. Он внезапно схватил недописанный листок, скомкал, бросил в печку.

– Ты что, очумел? Понимаешь, что за это может быть? Из партии выгонят. Забаштанский и так на тебя зуб имеет. Не будь сам себе врагом. Вот и Любку обидел ни за что. Идем, у нас французский коньяк, сардины...

Мы пили вчетвером. Беляевская жена была киевлянкой, как-то разговорившись, мы вспомнили друг друга, учились в одной школе. В детстве она была хорошенькой маленькой

на заседании выяснилось, что в 1950 году он получил строгий выговор за мародерство, – он вывозил вагонами дорогую мебель, картины, музейные предметы из немецких городов, отходивших к Польше.

франтихой. Я с трудом узнал ее обрыхлевшую, потускневшую. В тот вечер она патетически таращила томные глаза, уговаривала:

— Саша твой лучший друг. Сколько бы вы не ссорились. У каждого свои недостатки. Но на подлость он не способен, я не могла бы иначе его любить.

Не рассказывать же ей о старухе в Найденбурге, об окровавленных ладонях той бледной матери в Алленштейне.

Ладно, выпьем, чтоб не последнюю. Так и легли спать вчетвером, на сдвинутых вплотную широченных деревянных кроватях, устланных пуховиками. Каждый вздох — рядом. Каждый толчок отдается. Люба выпила больше обычного, сначала смеялась невпопад, потом срывающимся голосом говорила:

— Мне страшно было видеть немецких женщин и детей, понимаешь, страшно...

Вскоре я уехал в новую командировку. С Забаштанским виделся мельком, на ходу, почти не говорили. Теперь уже я назначен старшим группы, в которую входили граф Эйнзидель — уполномоченный НК, техник со звуковкой и трое антифашистов — выпускники нашей школы. Направление — на Торунь, Быдгощ.

В эти дни везде были в ходу рассказы о том, как наш солдат зашел в немецкую квартиру, попросил напиться, а немка, едва его завидела, легла на диван и сняла трико... Рассказывали о покорности, раболепстве, заискивании немцев; вот, мол, они какие, за буханку хлеба и жен и дочерей продают.

Наша группа работала со звуковкой у города Ярослав, потом у Торуня. У сахарных заводов за Ярославом нарвались на контрудар. Малиново розовым утром наш студебеккер катил в колонне грузовиков, пушек и "катюш" по дороге, густо обсаженной деревьями. Немецкие танки были в километре, на другой такой же дороге, идущей под углом справа. Они стреляли по нашей колонне. С гнусаво зудящим воем летели раскаленные "болванки". Такими снарядами пробивали — прожигали танковую броню. Пехоту они только пугали, в худшем случае могли зашибить кого-нибудь насмерть. Гулко грохали нечастые разрывы, верещали пулеметные очереди. По нашей кабинке хрустя постукивали сбитые пулями ветки. Вдоль придорож-

ной канавы, по серому полю, в одиночку и группами бежали наши солдаты. Густая колонна машин двигалась медленней, чем они. Сзади догоняла громкая пальба – совсем близко стреляла наша артиллерия. И спереди издалека доносилось рокотание пушек. Тревожные мысли метались: – неужели отрежут? окружат? А если подобьют нашу машину? В закрытом кузове – антифашисты в немецком обмундировании и касках. Их увидят – начнется паника. Наши же будут палить в нас. Но, что делать? ... Только терпеливо ждать, оставаясь безответной мишенью. Подбадривать водителя нарочито беззаботной болтовней. Курить. Сосать из фляги поганый шнапс, воняющий резиной и столярным клеем...

На мгновение подумалось: а, ведь, и вся моя судьба такая же. – Сам не стреляю; машину не веду. Удрать – и не хочу и не могу – некуда. Знаю, что под огнем, но укрыться нельзя. И ничего толкового не сделать. Остается только надеяться – может уже скоро, может уже там, за поворотом станет легче. Может, потом и я окажусь на что-нибудь полезен.

Потом был Торунь. Немцы отступили без боя. Впервые за многие месяцы мы увидели неразрушенный город. До этого все время шли по развалинам и пепелищам. В средневековом центре теснились узкие улочки, крутокрышие дома, старинный костел с могилой Коперника, – все, как на картинках в старых немецких книжках. А на окраинах – светлые просторные проспекты – бетон, стекло, сталь. Нас встречали неподдельно радостно, совсем не так, как в Белостоке или в Гродно, где еще не забыли ни 39-ый, ни 41-й год. Там замечал нередко в глазах страх и недоверие, учтивое гостеприимство. А бывало по ночам и подстреливали.

В Торуне мы помогали учредить местное самоуправление, вооружали польскую милицию. Много пили и пели. Нашли нетронутые архивы гестапо; большие склады всяческих продуктов, консервов, вина, коньяка. То и дело стихийно возникали митинги. На площади у темнобронзового Коперника с огромным глобусом, на улицах, у подъездов комендатуры, у здания гестапо и тюрьмы. Я говорил до хрипоты. На ораторские подвиги особенно вдохновляли взгляды и улыбки паненок – ласковые или нарочито восторженные. И темы и слова речей повторялись: – За вашу и нашу свободу... воскресает дух Грюнвальда... Навеки сломим хищных тевтонов, смертельных вра-

гов славянства. Кровью героев скреплено русско-польское братство... Вперед на Берлин.

Внезапно радиограмма — вызов: срочно в управление. Приехали поздно вечером. Я раздавал гостинцы — коньяк, вино, сигареты, консервы. Опять собрались вчетвером. Беляев мялся, глядел в сторону. Потом отозвал меня.

— Надо поговорить. Тут такое вышло... Я рассказывал Забаштанскому, как мы ездили, а он приказал мне... понимаешь, приказал, заставил написать про тебя заявление.

— Какое? О чем?

— Ну, про Восточную Пруссию, про твой рапорт... И он мое заявление передал генералу. Тот разозлился, порвал рекомендацию, которую написал тебе. Поэтому тебя и вызвали. Я вот и хотел предупредить, как друг. Ты пойми — он меня заставил. Ведь у меня теперь из-за брата, сам знаешь, как получается, положение не того...

Из-за брата... Еще осенью Беляев рассказал мне, — дай слово, что никому не проговоришься, — что его брат, которого он считал погибшим, — и не раз говорил мне: мы с тобой побратимы, и у тебя и у меня единственный брат погиб, — оказалось, жив, был в плену, а теперь арестован, "проходит проверку". Он спросил: как думаешь, признаваться или молчать? Я сказал: что ты, Саша, с партией не хитрят. Тебе же совестно будет. И еще хуже, если узнают со стороны. Я, разумеется, слово держать буду, но ты сам должен сказать. И опасаться нечего, тебя ведь все знают. Такую войну провоевали, теперь уж, конечно, не станут изменять отношение к боевому офицеру и коммунисту из-за того, что у его родственника беда или вина.

Но Беляевым все же владели страхи, его пугало мое непонятное поведение, которое он, видимо, считал то ли ханжеством, то ли глупым донкихотством, но в любом случае — угрожающим, опасным, особенно после приказа Рокоссовского. А Забаштанский действовал понятно. Он покупал его. Плата была: покровительство начальника, ордена, звания.

В тот вечер я не сообразил, к чему вело предательство Беляева. Он был противен и жалок. Но ведь я уже видел его там, в Пруссии, отвратительным, страшным.

— Эх ты, говнюк, ну что же ты написал?

— Да все... Как спорили... Я не думал, что Забаштанский так серьезно отнесется...

— Но ведь ты же сам говорил, что он зуб на меня имеет.

Утром я зашел к Забаштанскому, доложил о возвращении и, как бы мимоходом, заметил:

— Беляев сказал, что написал на меня какое-то заявление.

Забаштанский вздрогнул. Посмотрел настороженно в упор.

— Он сам тебе сказал? Какое заявление?

— Да что-то вроде жалобы на меня, за нашу поездку в Восточную Пруссию.

Рассказывать всего о Беляеве я не собирался. Он на меня, я на него, — склока без конца и краю. Нет, не буду унижаться, не буду таким, как они. К тому же бесполезно: в любой склоке Забаштанский переиграет. И я хотел, чтоб он понял, что я не намерен против них "бороться", и оставил меня в покое.

Забаштанский настороженно:

— Значит было на что жаловаться?

— Не представляю себе. По-моему не было и не могло быть.

— Так шо ж, он, значит, выдумав, набрехав?

— Не знаю и, — пойми меня, пожалуйста, — не хочу лезть в это. Не знаю, сознательно он наврал, или вообразил что-нибудь. Дружбе и так и так конец, но в дерьмо не хочу лезть... Поверь: — ты же меня вроде знаешь, — и ссорились и мирились, — не нужны мне ни чины, ни звания, ни ордена. Важнее дело и совесть... Войне скоро конец, сейчас наша работа с каждым днем важнее. Вот я и хочу работать на полную мощность, и чтоб не мешали. Не надо ни похвал, ни ласки, но не надо и цуканья, дерганья, склок.

— А ты гордый.

— Гордый? Что ж, можешь называть и так. У каждого своя гордость. Одному для гордости необходимы почет, блеск, чтоб в газетах портреты...

— А ты с этого смеешься?

— Нет, не смеюсь. Какая же тогда солдатская слава. Нет, и такую гордость я понимаю, уважаю. Но для меня главное — самому быть уверенным, что приношу пользу, что действительно, как говорится, служу Советскому Союзу. И я надеюсь, что ты меня понимаешь.

— Ты меня не агитируй. Я вже давно сагитированный.

Я ушел, провожаемый его пристальным взглядом. Мне

казалось, что я все-таки поразил его такой бескорыстной скромностью.

Генерал встретил холодно. Заговорил на "вы" – признак недовольства.

– Вот на *вас* заявление поступило. От Беляева – он ведь *ваш* лучший друг, так ведь кажется? В первую минуту я был так возмущен, что решил сразу же ставить вопрос на ближайшем партийном собрании и порвал мою рекомендацию *вам* в члены партии. Но все же хочу сначала послушать *ваши* объяснения.

Он протянул мне два листа, аккуратно исписанные:"Считаю своим долгом, партийным и офицерским, поставить в известность... И раньше допускал разговоры, в которых высказывал жалость к немцам, недовольство политикой командования по отношению к немцам... Я считал эти разговоры просто несерьезными. Однако, в Восточной Пруссии..." – и дальше все, что уже приводилось: "защищал и спасал немцев... вызвал недовольство наших бойцов и офицеров..." и т.д.

Читая, я видел перед собой тусклые блудливые глаза, слышал нарочито металлический голос: "шпионка. Расстрелять", видел окровавленные руки бледной женщины, чувствовал: задыхаюсь от ярости и отвращения, и только что вслух не приказывал себе – держись, держись, не зарывайся.

– Это все неправда.

– То есть, как неправда?

– И просто неправда, и чудовищно, нелепо вывернутые наизнанку факты.

– А зачем ему писать на *вас* неправду?

– Этого я не знаю. А то, что предполагаю – дело чисто личное. Говорить об этом не хочу. Но тут написана чистая неправда. Вы меня знаете, товарищ генерал, врал я когда-нибудь?

– Нет, *вы* не врун, это я знаю.

В кабинете генерала был полковник из Москвы и пока я читал, вошел Забаштанский.

– Но этому заявлению я поверил. Тоже потому, что знаю тебя... *вас, вы* парень неплохой, грамотный работник и вояка хороший. Но ведь все знают – добренький слишком... Есть у *вас* эта интеллигентская мягкотелость. Об этом уже не раз говорилось. Почему ты... *вы* один беспокоился, чтоб пленных не обижали?

– Я беспокоюсь, прежде всего, о нашей армии, о ее морали, и, значит, о боеспособности.

– Ладно, ладно, не *вы* один об этом беспокоитесь, а вот о пленных *вы* один.

– Тоже не я один.

– Ну, так ты больше всех. Да и еще скажите, *вы* детство где провели?

– Детство? В Киеве, совсем малым, до пяти лет – в деревне Бородянка под Киевом.

– Так, так, а в какой семье, у кого воспитывались?

– Семья? Отец агроном, мать была домашней хозяйкой, потом служащей.

– Да я не про *вашу* семью. А вот у какого немецкого помещика ты воспитывался?

Вопрос настолько нелепый, что я не могу даже понять его, переспрашиваю.

– Что за бред? Ну, это вовсе идиотская выдумка, и проверить легче легкого. Мои родители в Москве, есть десятки людей, которые знают меня с детства.

Генерал покосился на Забаштанского, тот молчит и пристально смотрит на меня.

Я начинаю чувствовать себя увереннее.

– Товарищ генерал, и ту и другую ложь можно легко проверить. В Восточной Пруссии мы были все время на людях, в штабе корпуса... А вот эта брехня про помещиков и вовсе анекдот... Догадываюсь теперь откуда. Когда мне было лет 10-11, отец работал агрономом в совхозе, а директором там был немец. Мы к отцу приезжали на лето. Об этом я не раз рассказывал, вот и товарищу Забаштанскому рассказывал.

Нет, мне не показалось, Забаштанский краснеет. Бурячиный темный румянец проступил на затвердевших скулах, но заговорил обычным тихим голосом:

– А все-таки непонятно, зачем ваш лучший друг Беляев на вас должен врать?

– Значит не друг, если врет, а почему врет, не знаю и узнавать не хочу. Если начну расследовать – выйдет склока и это будет мешать работать.

Генерал обращается к полковнику, тон несколько меняется.

– Путает он тут что-то – что не знаю. Но врать он дейст-

вительно не любит, скорее не умеет. Наоборот. Сколько раз сам себе вредил, в пререкания лез. И со мной пререкался. Настоящий Дон Кихот, или Гамлет... Только уездный, как там, помнишь, Щигровского уезда. Вот-вот – это про тебя – Гамлет Щигровского уезда...* Добренький ты слишком... Но ведь ты же еврей. Как ты можешь так любить немцев? Разве ты не знаешь, что они с евреями делают?

– Что значит любить? Я ненавижу фашистов, но не как еврей, – мне об этом не так часто приходилось вспоминать, – а как советский человек... Как киевлянин и москвич, а прежде всего как коммунист. И значит, моя ненависть не может выражаться в насилии над женщинами, в мародерстве.

– Ну, вот-вот, Гамлет Щигровского уезда... Да кто их насилует? Сами ведь лезут, а ты их жалеешь.

– Не их жалею, а нас, – нашу мораль, дисциплину, нашу славу.

– Ну, ладно. Партия и командование как-нибудь и без майора Копелева знают, что такое мораль и дисциплина... Вот я что скажу тебе... Дела мы поднимать не будем, ведь, если поставить на собрании, тебя выгонят из партии. Подумай сам, как это выглядит со стороны. То он с попами водку пил и в церковь ходил... а ведь еврей все-таки... то ему немцев жалко... Мы тебя знаем... Это гамлетство от недостатка партийности... Стержня у тебя все еще нет... Голова неплохая, а вот партийный позвоночник слаб и сердце слишком мягкое, - неустойчивое. Жалеть врага, значит, предавать своих. Ты не перебивай. Так вот, вопрос поднимать не будем. Рекомендацию я тебе воздержусь давать. А товарищу Забаштанскому запрещаю пока командировать тебя на территорию Германии... Ты ведь по-польски тоже мовишь... Нам еще и в Польше воевать надо. Вот тебе поляки покажут, как немцев любить. Наградной лист на тебя я тоже пока отложу... Поработай, покажи себя на деле.

Мы ушли вдвоем с Забаштанским. Говорили о разном. О том, какие листовки я буду писать, как устроить очередной выпуск школы, чем именно я должен помочь Рожанскому и новому уполномоченному Национального Комитета Бехлеру. Гово-

---

*Рассказ И.Тургенева.

рили деловито и спокойно.

Через два или три дня поступило срочное задание перевести на немецкий и издать большим тиражом Приказ Государственного Комитета Обороны о трудовой мобилизации всех немцев – мужчин от 18 до 60 лет.

Переводили Гольдштейн и я. Макет приказа принесли Забаштанскому. У него были Мулин и Клюев.

Забаштанский спросил: а как вы думаете, что с этими гражданскими фрицами делать будут?

– Работать будут.

– Погонят к нам и в Польшу разрушенные города строить.

– Конечно, работать.

Он заговорил вполголоса, многозначительно, с интонациями сокровенного доверия: – мол, я посвящен в государственные тайны, недоступные простым смертным и могу сообщить вам кое-что, но сами понимаете...

– Так вот, мне, между прочим, известно, что их всех погонят до нас на Восток. И не близко. Как вы думаете, что это значит? – смотрит на меня в упор.

– Ну что ж, будут работать, и воспитывать будут их, так же, наверное, как военнопленных.

– Однако известно, что на них всех, – сколько там их миллионов наберется, – направляют что-то сорок или сорок два политработника. Это еле хватит на политработу с охраной... Так что едут они на каторгу, на вечную каторгу...

Ложь очевидная, дикая... Он был не только хитрее меня, но и умнее, понимал, что на тонкую, расчетливую провокацию я могу и не поддаться, к тому же на сложный теоретический спор у него самого не хватит знаний, и потому действовал нарочито грубо, топорно, зато почти наверняка.

Я возразил спокойно, уверенный в абсолютной правоте.

– Ну, это, пожалуй, очень неточная информация... С чего бы это мы с гражданскими начали хуже обращаться, чем с военными? У тех библиотеки, клубы, стенгазеты, кружки...

– Может, и санатории, и дома отдыха...

– Зачем же крайности? Но, ведь и лагеря военнопленных – не каторга. Они работают, получают паек... Могут выработать до килограмма хлеба.

– Что-о-о? Вы слышите, до чего он договорился? Кило

хлеба? Значит, наши люди, труженики, вот моя жена – получают 400 или 500, а фрицам кило…

– Так не все же получают. Паек у них 400 грамм. Кто перевыполняет норму вдвое, может заработать кило… Да ведь это все знают.

Мулин и Клюев молчали. Гольдштейн попытался что-то сказать, но Забаштанский не слушал, набычился, уставился на меня.

– Вот-вот, это опять ваши штучки… фрицам кило хлеба…

– Это не я придумал. Нормы устанавливало правительство, а товарищ Сталин знает, что делает.

Он побагровел, губы дрожали, говорил же почти шепотом:

– Не смейте поганить имя вождя своей трепней… Я не позволю…

– Это вы не смейте оскорблять меня. Что значит поганить? Ложь поганит. Вы лжете, а я говорю правду.

Он вскочил и крикнул хрипло: – Прекратить разговор!.. Я приказываю.

Все встали. Мулин, Клюев и Гольдштейн обступили меня.

– Что ты… Брось… Ну, зачем горячиться?.. Товарищи, что же это такое…

Забаштанский неожиданно мягким и жалобным голосом:

– Не могу я спокойно говорить за такие вещи… Эта война, будь она проклята… Не хочу, понимаешь, не хочу, чтоб и моим сынам еще раз воевать…

– Правильно. Никто не хочет… значит, необходимо так действовать, чтоб не было почвы для новой войны… А вы говорите "на каторгу… без политработы…" Это же как раз наоборот.

– Ладно, хватит… Мы же все знаем, что тебя не переговоришь. Давайте, печатайте.

Прошло еще два дня. Мы срочно готовили в школе очередную группу антифашистов для заброски в немецкий тыл. Меня вызвал секретарь парторганизации политуправления Антоненко.

Когда-то он, видимо, был первым парнем в ячейке, – запевала и заводила, чубатый, кареглазый любимец девчат. В армии постепенно обстругивался и обкатывался. Однажды, разго-

ворившись с ним, я узнал, что мы служили в 1934 году в одной части в Мариуполе в 337 стрелковом полку, 80-й дивизии Донбасса. Он был политруком кадровой роты, а я рядовым студенческого батальона.

– Да, а теперь, видишь, оба майоры.

В "подголосье" прозвучала на миг та неприязнь, которую испытывали многие кадровые политработники в первые дни войны к "запасникам". Тогда и кадровые бойцы часто плохо относились к новобранцам. В августе 41-го танкисты у Новгорода с ненавистью говорили: – У, Микита-приписник... Иисусово войско... Через них мы и Порхов и Дно отдали... и наши машины пожгли... Мы вперед, немец тикает, а Микита-приписник лежит жопой кверху, в травку носом и хоть стреляй его... А как немцы нажмут, у нас ни горючего, ни боеприпасов. И пехоты нет... Жгем машины, аж плачем, а жгем... Идем назад, отбиваемся. А они как встанут лапы кверху. И в плен подаются. Через них и Новгород отдали.

Потом эти противоречия быстро сгладились. Уже к концу первой военной осени кадровые и запасники были неразличимы. Строевые командиры воевали всерьез, об их достоинствах и недостатках судили по боевым делам. Но тыловые политработники – и чем дальше в тыл, тем явственнее – еще долго косились на вчерашних, неисправимых гражданских, которые не умели ни ступить, ни козырять "как следует", не желали признавать никакого превосходства кадровых, были не способны блюсти субординацию , но зато оказывались более образованными, более подвижными, легко получали звания, которых те дожидались годами...

Антоненко сказал с неприязненной вежливостью:

– Тут на вас поступил материал. Серьезное политическое обвинение. Обратно заступаетесь за немцев. Позволяете себе недопустимо говорить про командование, про нашу печать, про товарища Эренбурга. Недопустимо и антипартийно. Так вот, вы напишите рапорт, то есть, объяснительную записку в партбюро. Что там у вас было в Восточной Пруссии? С чего это вы вздумали спасать немцев, жалеть врага и агитировать за гуманизьм? И какие разговорчики вели в отделе против мероприятий Комитета Обороны и Верховного командования? Лично я такого от вас не ожидал. Это уже за всякие рамки.

– Но это ложь. Ничего подобного не было.

Я слышал свой голос, натужно сдавленный, чужой.

— А теперь вы еще отрицать хочете. У нас есть авторитетное заявление подполковника Забаштанского. Какая тут может быть ложь? Он коммунист, чистый, как стеклышко. Всю жизнь, можно сказать, на партийной работе. А вас мы тоже знаем достаточно. В партии без году неделя, а уже взыскание получали. И сколько раз пререкания. И в моральном смысле допускали. И про ваши нездоровые настроения были сигналы еще на Северо-Западном фронте, что много себе позволяете.

— При чем здесь взыскания, пререкания? Ведь это политическое обвинение и чистая клевета. Мы спорили с Забаштанским, но против командования, против Комитета обороны я ничего не говорил, и не мог говорить. Да, ведь там еще были Клюев, Гольдштейн, Мулин. Они присутствовали тогда при разговоре.

Антоненко сказал, что потребует от них объяснительные записки.

От него я сразу пошел к Забаштанскому. Назвал его клеветником, лжецом. Он стоял бурачно-красный, сузив глаза в щелки, упираясь в стол кулаками, и говорил свирепо тихо:

— Уходьте с моего кабинету, сейчас же уходьте. Я патруль позову. За все отвечать будете. Вы ще пожалеете за эти слова. Сейчас же уходьте.

Я вышел, ругаясь, начал искать свидетелей. Клюев бормотал косноязычнее и еще менее вразумительно, чем обычно:

— Ты не того... Не пори горячку... Разберутся. Надо понимать. Партия разберется. Политических ошибок нельзя допускать... Но, конечно, разберутся.

Мулин, блудливо пряча глаза, говорил, что не помнит, чтобы я критиковал Комитет обороны.

— Однако, ведь у тебя и раньше были неправильные высказывания. Надо уметь признавать ошибки. Забаштанский, может, и погорячился, но он глубоко партийный человек, и прежде всего, начальник. Ты все время забываешь, что мы в армии. Партийная работа на фронте имеет свою специфику.

Гольдштейн возмутился так, что прорвало его обычную флегму.

— Так это же просто склока, такая подлая склока, ты же ничего подобного не говорил. Это же абсурд. Ну, конечно, я напишу в партбюро, я же все помню, весь этот спор про кило хле-

ба пленным. Вот негодяй! Он стал что-то сильно зарываться, товарищ подполковник Забаштанский. Но ведь такому же никто не может поверить.

Гольдштейн действительно написал правду. Клюев и Мулин написали, что ушли до всякого спора и ничего не слышали, ничего не знают. Мулин уговаривал меня подать рапорт, попросить извинения за то, что я оскорбил начальника, за то, что ругал его, "кричал при исполнении служебных обязанностей". И чтоб в объяснительной записке изменил формулировку. Не писал бы ничего о лжи и клевете, а просто "недоразумение", не так поняли. Не то получится склока. А мы, ведь, политработники, все дела и все отношения у нас политические. Напиши просто, что тебя неправильно поняли, а ты допустил резкость, недисциплинированность.

Мулин приходил несколько раз, был умилен до подобострастия, особенно напирал на то, что идет наступление, что нужно уезжать в войска, а не заниматься дрязгами, персональными делами. Он клялся в дружеских чувствах и всем видом показывал, что он парламентер Забаштанского, но, вместе с тем, заботится обо мне и о нашем общем деле. Война идет к концу, у нас теперь столько работы, как никогда, скоро в Берлине будем, зачем же из-за чепухи боевым товарищам ссориться... И он уговорил меня.

Тринадцатая глава

ГРАУДЕНЦ. ПОСЛЕДНИЕ БОИ

Больше всего хотелось скорее уехать, и я написал объяснительную записку однозначную по сути – ничего такого не говорил и не думал, – но сдержанную по тону: "был неправильно понят", признавал свою недисциплинированность, – грубо разговаривал с начальником, – и подал рапорт, в котором приносил извинения. Сразу же после этого меня включили в группу, опять под начальством Беляева вместе с Галей Храмушиной и майором Непочиловичем, инструктором по работе с польским населением. Мы отправились вслед за наступающими частями Второй ударной армии. Политотдел армии дал нам большую звуковую машину, и мы взяли несколько выпускников антифашистской школы для заброски.

Мы ехали вдвоем в кабине с Беляевым, но почти не разговаривали. Проезжали аккуратные городки и деревни, снег еще лежал на крышах и пятнами в лесах между деревьями. Но дороги были уже темные, укатанные, и даже вечерний ветер дышал по-весеннему мягкой влажной свежестью. Хотелось думать о хорошем – о скором конце войны, о том, как мы будем входить в Берлин, где именно встретим англичан и американцев; надо всерьез подзаняться английским, их ведь тоже еще придется агитировать.

В теплой темноте я задремал. Проснулся от испуганного крика Беляева:

– Стой!.. Твою мать! Стреляют, разворачивай!

Наш грузовой форд быстро развернулся и катил куда-то в сторону. Мы стояли у поворота обсаженной деревьями дороги. Справа, в отдалении, и слева, совсем близко, темнели какие-то здания и развалины. Впереди, сквозь деревья, виднелось открытое пространство – поле или пустыри. Там расплывались бледно-зеленые и мутно-розовые пятна ракет, не дальше, чем в в километре от нас. Оттуда татакнули автоматы.

– Так мы же на передовую заехали, – сердился водитель. – Хорошо еще, он ракеты бросает, очередь пустил трассирую-

щую, а то бы прямо к фрицам на ужин поспели. Или на мину и к Богу в рай. И чего вы, товарищ майор, в карту смотрели, дали бы лучше кому другому!

Растерянный Беляев не хотел зажигать фонарик, чтоб посмотреть на карту. Две другие машины отстали. Мы издалека увидели их фары. Беляев заохал: что они делают, что они делают... С перепугу он забыл о своем старшинстве и безропотно подчинился, когда я стал распоряжаться. Я забрал у него большой фонарик с трехцветными стеклами, дал его водителю и приказал, мигая красным, бежать навстречу подъезжающим машинам.

Из-за деревьев подошел солдат. Он шагал неторопливо, шинель внакидку, дымя цигаркой. И неторопливо стал объяснять:

– Здеся у нас передовая. А тама через луг его оборона. Но только у нас тихо. Немец тут окруженный: стреляют когда-никогда. Но так не лезет. А тама командир, в землянке, старшина-взводный. Ротный тот подальше, правее, тама в доме, где сад. Тут до немца километра, пожалуй не будет. Може метров семьсот, може восемьсот, где как.

Беляев, ободренный спокойной разговорчивостью немолодого солдата, стал его распекать:

– Что же это "здеся" и "тама" у вас за порядки... вашу мать. Передовая, а никакой охраны, никакой бдительности: дорога открыта, гуляй, кто хочешь. Мы тут едем прямо к немцам, и никто не видит, никто не остановит. Трибунал за это. Почему на дороге никаких знаков?

– А какие вам знаки на передовой нужны, товарищ офицер. – Извиняюсь, темно и не разберу вашего звания. – Здеся передовая, это каждый знает, кому надо. А я вот как раз до вас шел. Мы, как увидели, что машина газует со светом, подумали, може, уже немец ушел или замирился, а то какой же хрен так поедет. Только видим, он обратно ракеты вешает и огоньку дает, ну, я и побег упредить, посмотреть, кто такие.

– Побег... А почему ты на передовой без оружия?

Отставить курение, когда докладываете!

Но я прервал расхрабрившегося Беляева. Хотя и нелепо, случайно, однако, мы попали, видимо, на очень подходящее место. Здесь можно было забросить антифашистов. Если по нашим фарам дали только одну очередь, значит участок тихий.

Беляев согласился.

В землянку комвзвода пришел командир роты, старший лейтенант. Мы быстро договорились с ними. Звуковую машину откатили в сторону от шоссе, под прикрытие каменного сарая или гаража. Четверым антифашистам приказали перебежками перебираться через луг, поросший кустарником и, добравшись до немецких окопов, говорить, что удрали из плена и ночами шли по нашим тылам. Для пущей достоверности мы будем светить ракетами и стрелять вдогонку. Двое солдат провели антифашистов через заминированный участок. Беляев ушел в ДЗОТ к пулеметчикам. Он потом с гордостью рассказывал, как стрелял из пулемета по немецким ракетам. Галина и я вели передачу. Призывали сдаваться, грозили беспощадным уничтожением упорствующих, сулили благополучное возвращение из плена после окончания войны, которое уже приближается. "Война дав - но проиграна. Гитлер оттягивает неизбежный конец,чтобы продлить остаток своей поганой жизни, неужели вы хотите погибнуть ради того, чтобы на несколько дней или недель отсрочить гибель Гитлера? И ради этого ваши жены должны стать вдовами, а ваши дети сиротами? Одумайтесь, пока не поздно!"

Сначала нас, видимо, слушали. Только ракеты взлетали все чаще и чаще. Минутами полнеба было светлозеленым. Потом внезапно началась пальба. Но стреляли не по нас, а где-то в стороне. Вскоре все затихло. Мы еще продолжали некоторое время "вещать", пока прямо к машине не вышли двое из наших антифашистов – грязные, бледные; один зябко подрагивал от страха и боли, – он был ранен в плечо. Они рассказали, что старший из четверки – фельдфебель, опередивший их шагов на сто, был ранен уже почти у самых окопов. Оттуда начали стрелять, едва он крикнул: "Камрады, не стреляйте!" Потом они слышали, как фельдфебель выкрикивал: "Не стреляйте, не стреляйте, мы свои. Камрады, вы меня ранили, помогите!" Видимо его подобрали. Тогда они тоже стали кричать: "Камрады, не стреляйте!", но по ним открыли огонь из винтовок и пулемета, стреляли непрерывно, так что они едва уползли обратно. А четвертый, должно быть, убит.

Беляев опять испугался. Двое попались, их там прижмут, они все расскажут: какая здесь липовая передовая и что тут офицеры из политуправления и звуковая машина. Немцы, ко-

нечно, захотят нас взять живьем или уничтожить. Нам нельзя оставаться.

Он шептал, часто-часто, брызгал слюной, ворочал мутнобелесыми выпученными глазами. Он опять вспомнил, что он — старший.

— Я приказываю, понимаешь, я отвечаю за машину, за людей, я приказываю немедленно уезжать. Нам нужно искать штаб дивизии. Мы же командированы в дивизию.— И тут же, заискивающе улыбаясь, протянул карту.

— А поведешь колонну ты. Ты все-таки лучше понимаешь в дорогах. Давай, давай, поехали, пока не рассвело.

К утру мы были в штабе 16-го полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии, который размещался в конторе и в цехах кондитерской фабрики на юго-восточной окраине города Грауденц. Тут же, в фабричных дворах, стояли полковые пушки и минометы.

Немцы огрызались угрюмо нечастыми, но довольно густыми артналетами. Попадало и фабричному двору и поселку. Беляев после первого же налета уехал и за старшего остался я. Через неделю на несколько часов приехал Забаштанский. К концу осады, когда шли уже уличные бои, Забаштанский приезжал еще раз часа на два, но уже не "спустился" ниже штаба дивизии, который обитал в нескольких километрах от города на укрепленной горе.

В первые дни, пока шли главным образом огневые бои, на окраинах города, мы с наступлением темноты и до рассвета вели звуковые передачи из поселка или из дворов железнодорожного депо, которое было напротив завода. Днем мы допрашивали пленных и перебежчиков, наспех наставляли тех из них, которые казались подходящими для заброски, втолковывали, как они должны агитировать своих товарищей, чтобы те сдавались.Забираясь на наблюдательные пункты артиллеристов или авиационного наведения, мы рассматривали город и немецкие позиции, прикидывая, куда запускать этих ускоренно ".перевоспитанных" новоявленных антифашистов, и потом отправляли их ночью. Для этого обычно требовалась помощь разведчиков.

В первый же день, когда был занят поселок, а немцы укрепились за пустырем и началась обычная перестрелка, штаб поселка приказал эвакуировать население подальше в тыл, за черту города. Большинство жителей ушли в темноте; брели толпой, пугливо, приглушенно переговариваясь, — часть дороги простреливалась, — тащили детские коляски, тачки, велосипеды, груженные вещами, шепотом погоняли упиравшихся коз, шарахаясь от ближних выстрелов. Однако несколько семей упрямо оставались. Младшие офицеры, командовавшие минометчиками и стрелками, которые занимали поселок, не слишком настаивали. И они и солдаты сочувствовали женщинам, не хотевшим покидать свои дома и погреба с продуктами.

Возникло своеобразное, очень дружное общежитие людей разных судеб, говоривших на разных языках. Женщины кормили малышей в тесной, жарко натопленной комнате, забитой всяким скарбом, а в нескольких шагах за окнами, заткнутыми перинами и подушками, звучали отрывистые команды, гулко рявкали минометы. Солдаты, жившие в других комнатах, приходили с огневых и вместе с "цивильными" соседями обедали в тесных кухнях. Там были и нежно влюбленные пары и бурные пылкие романы и случайные торопливые ласки в темных убежищах. Но была и просто добрая дружба с женщинами, которые готовили солдатам харчи, стирали, штопали. И конечно, с детьми, которые играли с гильзами.

23 февраля, в день Красной Армии, мы поставили машину у разбитого дома напротив завода. Там был НП артиллерийской дивизии. Галя и я провели несколько передач на немецком языке; Непочилович говорил по-польски; а потом мы устроили концерт для своих. Артиллеристам понравилось, они угощали нас французским коньяком и внезапно решили дать праздничный салют огневым налетом. По телефонам передали — слушать команду голосом из громкоговорителей. И я, шалея от восторга, орал в микрофон патетические команды. Это нравилось нашим хмельным хозяевам, и они требовали: а ну давай еще, давай еще.

— За чистые слезы наших матерей, за наших жен и невест, за наши разрушенные города и разоренные поля... четыре беглым. Огонь! — За наших друзей и товарищей, погибших в боях, за их вечную память, вечную славу... Огонь!..

Гремели пушки, и совсем рядом, и подальше, сзади, сле-

ва, ревели, раскатисто грохали и отрывисто, то глухо, тяжело, то звонко, словно огромным молотом по камню. Небо над нами стонало, выло, улюлюкало. С немецкой стороны ракеты всех оттенков догоняли друг дружку – почти не гас бледный зыбкий свет. Немецкие минометы рявкали зло, но куда реже. От завода полоснули частые-частые красные трассы. Наши рупоры гудели на полную мощность:

Идет война народная,
Священная война...

Мы с артиллеристами чокались тут же у кабины. Галя озабоченно прошлась по двору, забралась на стену. Она по праву чувствовала себя единственно трезвым и здравомыслящим человеком среди нас, и потребовала, чтоб машину сдвинули вглубь двора – ее можно увидеть с немецкой баррикады, до которой меньше 500 метров и, если там найдется хоть один стрелок, даже не очень хороший, – он испортит весь концерт.

Мы плечами откатывали поющую машину, чтобы не включать мотор, не мешать песне. Хмель и торжественная музыка, хорал о "священной войне", и холодок опасности, хотя на баррикаде у немцев было тихо, но сейчас мы так нашумели... – возбуждали все больше. – Жизнь была прекрасна. Победа близка. Вокруг отличные, боевые ребята. Галина храбрая и умница, пусть покомандует. И я делаю все, как надо, и хотя войне скоро конец, но вот не боюсь, не думаю о дурном, ни о баррикаде, ни о Забаштанском, черт с ними, со всеми, а я прав, и, значит, все будет прекрасно. Пусть чинуши в Политуправлении получают ордена, а мне всего дороже эта ночь...

– Идет война народная, священная война...

Песня затихла, и старший из артиллеристов закричал:

– А ну, майор, еще разок для праздника – четыре беглым!

И я, задыхаясь от радости, орал в микрофон:

– За нашу родину! За нашу Москву! За нашего великого Сталина! За наши тихие реки и бескрайние степи! За наши березы! За наших детей! Четыре беглым. Огонь!

И опять ревели пушки.

Под утро началось наступление. Мы перебрались в другой полк (6-й), который вел бой уже на улицах.

...Мы давали "агитконцерты" на широкой Адольф Гит-

лерштрассе, на набережной канала Тринке. Расстояние до слушателей было, как правило, не более, чем ширина улицы или протяженность одного-двух кварталов. Машину загоняли в подворотню, рупор выносили на балкон или подвешивали на карниз. Мешало только то, что в городе почти не было темных кварталов. Горели дома, которые никто не тушил, все вокруг освещало трепыхающееся красноватое зарево. Мы старались пробираться там, где дым стлался пониже, либо зажигали трофейные дымовые шашки и закрывали густым черным дымом простреливаемые участки, по которым наша клубная полуторка добиралась до места передач.

Ночью мы вели непрерывные передачи, а днем допрашивали новых пленных и перебежчиков. Прибавились еще и другие заботы. Стали набегать мародеры: отдыхающие разведчики из штрафников, обозники, шоферы и всякая тыловая шушера. Прошел слух, что Грауденц уже взят, и охотники за трофеями спешили поживиться.

Большинство жителей центральных улиц с начала осады переселились в "пивницы", – подвалы, оборудованные как бомбоубежища. Трофейщики вламывались в пустые квартиры и там хозяйничали примерно так же, как в Восточной Пруссии. Но иные, более ретивые искатели "ур" и чего позанятнее – забирались и в подвалы.

– Проверка документов. Где тут прячутся фрицы? – и, тыча автоматами, требовали часы, кольца, выволакивали женщин...

Раз, другой мы шуганули таких гостей, пытавшихся проверить документы в подвале нашего дома. И слух о советских офицерах, которые защищают "цивильных", быстро проник в другие дома и даже на соседние улицы. За нами стали прибегать плачущие женщины, реже мужчины – „грабуйон", „гвалтуйон", "панове, ратуйце". И мы спешили на выручку...

Когда на крепостную гору приехал Забаштанский, он приказал отправить звуковую машину в корпус. Взамен нам дали дивизионную клубную полуторку. Репродуктор кинопередвижки можно было использовать для передач, ведь на улицах приходилось вещать на малые расстояния. Забаштанский говорил по телефону с Непочиловичем.

– Что это вы тут в милицию перешли служить?.. Мешаете воевать, отвлекаете солдат на милицейскую службу и сами от-

влекаетесь от своих боевых задач. Тут командование выражает недовольство. Это не ваше дело мародеров ловить и голос поднимать, если где какой солдат немку сгреб... Или хоть польку, это не имеет значения... И вы, товарищ майор, со мной не пререкайтесь, а примите приказание, и передайте майору Копелеву приказание, поскольку он ответственный за операцию — выполнять боевое задание, разлагать немецко-фашистского противника, не отвлекаясь на посторонние дела, на всякий там гуманизьм... Направляю к вам уполномоченного комитета "Свободная Германия" майора Бехлера,* используйте его на сто процентов, но чтоб беречь и не забывать за бдительность. Понятно?

После визита Забаштанского начальник политотдела корпуса полковник Смирнов стал требовать, чтобы я ежедневно докладывал ему „о проделанной работе и дальнейших планах", представлял тексты передач. По нескольку раз в сутки прибегали посыльные из штаба полка звать „на провод". Я избегал этих вызовов, — мол, веду передачу, допрашиваю, нет на месте, — зато исправно отписывал четкие рапорты-телефонограммы: столько-то передач, столько-то опрошено пленных, назавтра намечаю продолжать передачи на таком-то перекрестке и т.п.

Второго или третьего марта начался новый штурм: мы двигались вместе с батальоном шестого полка. Командовал им коренастый подполковник с аккуратными усиками, спокойный, деловитый, решительный.

Полк в первую же ночь рванул через канал Тринке по взорванным мостам.

В здании гимназии у немцев был госпиталь. Мы подошли к нему со стороны большого сада. Улица перед садом еще простреливалась, однако, на ограде, на железных прутах с узорными бронзовыми наконечниками, висело несколько белых флагов с красными крестами.

Начальник госпиталя оберштабсарцт в белом халате поверх шинели говорил по-русски совершенно чисто, с петебургской мягкостью.

---

*В нескольких исторических сочинениях, изданных в ГДР, руководителем называет себя майор Бехлер — он был начальником отдела в штабе Паулюса, затем уполномоченным Национального комитета "Свободная Германия", а после войны стал генерал-майором народной полиции ГДР; он действительно хорошо работал в нашей группе, однако, руководить в ту пору ничем не мог, а напротив, очень щепетильно соблюдал субординацию, и если поблизости не оказывалось меня, то ничего не делал без разрешения Галины.

– Я учился в Ленинграде – тогда еще Петрограде в гимназии, мой отец тоже был врачом, мы жили на Литейном проспекте... Мы сдаемся без сопротивления. Мы поверили вашим рупорам, мы верим в великодушие победоносной русской армии. Здесь в подвалах двести сорок шесть раненых, есть тяжелые. Мы надеемся на благородство и милосердие. Немецкое командование решило не вести боевых действий за госпиталь. Пожалуйста, очень прошу вас, не использовать госпиталь как позицию, как укрепление...

В сад просачивались все новые группы солдат. А на улице, на которую выходил фасад, были еще немцы. Несколько пожаров справа и слева освещали широкие прямые кварталы, а прямо перед парадным входом гимназии поднималась вверх узкая улочка, ущелье между высокими темными домами, – Берггассе. Ближайший более пологий отрезок упирался в кирпичную баррикаду; дальше улочка задиралась круче к темному холму , на откосе виднелись насыпи окопов, за ними кирпичные стены – форт.

По зданию гимназии-госпиталя немцы действительно не стреляли. Несколько наших солдат вышли из освещенного заревом подъезда. По обе стороны тянулись аккуратные, прямоугольные подстриженные кусты – живая ограда узких палисадников. Солдаты заметили на противоположной стороне, на углу вывеску пивного бара, и двое сразу же припустили туда. Справа и слева рокотнули автоматы, хлестнули одиночные выстрелы.

Командир роты, коренастый лейтенант в кубанке и кожаной куртке немецкого летчика, матерился хриплым тенорком:

– Куда без приказа... сукины дети... назад!..

Другие солдаты залегли за кустами палисадника. По вестибюлю уже катили пулемет. Оберштабсарцт кричал испуганно:

– Господин офицер! Прошу вас, умоляю... ведь здесь госпиталь...

Лейтенант матюгнул и его, но вопросительно посмотрев на двух гостей-майоров, тут же, не ожидая, скомандовал:

– Отставить огонь! Занять оборону на всех этажах! Без приказа не стрелять!

Он пытался вернуть перебежавших на ту сторону. Но там уже надрывно дребезжала разбитая витрина, и мальчишеской голос кричал:

– Товарищ лейтенант! Обратно нельзя, стреляют гады! Мы тут охранение будем!

Ухари из дивизионной разведки успели расстрелять одного из раненых офицеров. „Это потому, что у него морда эсэсовская". Разведчики кричали, что хотят отомстить за убитого товарища. Другой свидетель уверял, что немец заговорил по-русски, да еще матом, и тогда разведчики сказали: „Ага, власовец," – и сразу повели во двор, стрелять.

До рассвета мы успели навести порядок в госпитале. Действуя по принципу "кто палку взял, тот и капрал", я назначил Галину начальником госпиталя. Комбат, успевший перебросить в здание гимназии свой КП, дал ей для охраны несколько наших легко раненых... Они быстро очистили подвалы от посторонних. В дальней комнате стонали тяжело раненые, один с забинтованной головой метался, хрипло бредил: "Volle Deckung! Feuer!.." – и нечленораздельно выл.

А по соседству легко раненые уже мирно толковали с нашими солдатами, пили с ними из кружек и котелков нечто спиртное и галдели "война шайзе!.. война капут... русс карош... русс зольдат карош..."

Галина и Непочилович проверили продуктовые склады, наставляли поваров и раненые получили такой завтрак, какого, как некоторые уверяли, не едали с начала войны.

Мы с Бехлером наскоро опрашивали легко раненых, подбирали подходящих для заброски. Очень скоро нашлись добровольцы – мы выбрали двух молодых парней, обер-ефрейторов– одного, раненого в руку, другого с легким ранением плеча...

Бехлер и я дали им записки к коменданту форта, предлагая сдаться, обещая почетные условия плена и т.п. Кроме того, напихали им в карманы листовок "Национального комитета".

Как только рассвело, они вышли из парадного с госпитальным флагом – белый с красным крестом – и двинулись прямо вверх по Берггассе. Никто по ним не стрелял, хотя справа и слева в смежных кварталах шла частая пальба, и гулко хлопали разрывы гранат. Наше "боевое охранение" у бара, – к утру там оказалось не двое, а добрая дюжина солдат приветствовало их хмельными, но дружелюбными криками.

Лейтенант в кубанке выскочил из подъезда и хрипел:

– Не замайте их!.. вашу мать! Пропустите парламентеров!

Мы с Непочиловичем тоже горланили: "Пропустите парламентеров!" Над кирпичной баррикадой в глубине улицы торчали головы в касках. На холме перед фортом показались солдаты в длинных серых шинелях.

Из нескольких окон на Берггассе высовывались головы в касках. Что-то вопросительно кричали. Наши посланцы им отвечали. Вдруг сверху на тротуар брякнул ручной пулемет. Из подъезда вышли два солдата, подошли к парламентерам, потом еще один и еще – посредине улицы столпилась группа немецких солдат без оружия; другие шли вслед за парламентерами.

Мы с Непочиловичем и Бехлером побежали на ту сторону, опасаясь, чтобы наше хмельное "охранение" не открыло боевых действий. Справа, вдоль поперечной улицы, когда мы перебегали, хлестнули одиночные выстрелы, проскрежетала короткая автоматная очередь. Но спереди не стреляли.

Сзади нас, у входа в гимназию, вразнобой закричали: – "Ура-а".

Лейтенант старался перекричать: "Отставить ура, не стрелять!" У немцев на улице мгновенное замешательство... Кто-то шарахнулся к домам. Мы размахивали шапками, "камрады, не бойтесь".

Непочилович кричал нашим: "Товарищи, соблюдайте порядок... Они же сдаются. Не стреляйте... Не пугайте... Принимайте достойно... Тогда все сдадутся".

Бехлер и я кричали немцам:

– Камрады, пропустите парламентеров. Подойдите к нам!

Сверху из окон выглядывали солдаты. Один спросил:

– Wer seid ihr?

Впервые я говорил с вооруженными немецкими солдатами не по "звуковке", а непосредственно, лицом к лицу.

– Мы – офицеры Красной Армии и от имени нашего командования обещаем вам сохранение жизни. А это майор Бехлер из Национального комитета.

Бехлер кричал резко, командно:

– Всем слушать меня! Немедленно сдать оружие! Сойти вниз!

Парламентеры уже скрылись за баррикадой. Мы продолжали идти вверх то по мостовой, то по тротуару, переговариваясь с выходившими из домов солдатами. Непочилович присоединился к нам. Он не говорил по-немецки, но тем более выразительно выкрикивал слова, которые запомнил: камрад, комм комм! Гефангенгерретет... криг-шайзе!.. камрад комм!..

Непочилович – рослый плечистый белорусс с доверчивы-

ми светло серыми глазами – располагал к себе широчайшей добродушной улыбкой, которая слегка сворачивала на сторону большой розоватый нос и очень украшала длинное скуластое лицо. Его спокойствие и приветливость ощущали и немецкие солдаты. Он весело разговаривал с ними на немецко-польском волапюке.

Из подворотни взвился ликующий мальчишеский голос:

– Русеки пшишли! Русеки пшишли!

Теперь уже Непочилович был в своей стихии. Он затрубил:

– Нех жие вольна Польска! Нех жие радецко-польска пшиязнь!

На мне повисла глазастая паненка, еще одна, подпрыгнув, целовала в щеку, седоусый пан тряс руку, в другую вцепился паренек, оравший неумолчно "Русеки пшишли! Советы пшишли", еще кто-то совал в карман шинели бутылку водки. Непочиловича и вовсе не было видно в толпе восторженно галдящих женщин и ребят.

В это время сверху, с форта ревнул пулемет. Очередь вспорола воздух, тарарахнула по стенам. Брызнули окна.

Все шарахнулись к стенам, подъездам. На мостовой лежали трое убитых немецких солдат.

Наши пулеметчики из подворотни поближе к баррикаде дали длинную очередь. Лейтенант в кубанке, уже перегнавший нас, приказывал занять огневые точки на крышах и в окнах.

Бехлер торопливо сказал: – Нужно их собрать во дворе. Назначить старшего.

Я орал немецкие команды.

В длинном узком коленчатом дворе мы выстроили колонну – семьдесят два человека. Два тяжело раненых лежали тут же на досках, кое-как перевязанные своими товарищами. Их и нескольких легкораненых отправили в госпиталь. Бехлер и я наскоро опрашивали. Все это были солдаты 250-й дивизии генерал-майора Фрике, – он же комендант крепости Грауденц, – то есть начальник всего гарнизона.

Непочилович мобилизовал нескольких польских парней, велел им вооружиться немецкими автоматами и карабинами и охранять пленных. Начальником охраны лейтенант назначил сержанта, которого только что ранило в руку.

Пока мы опрашивали пленных, разговаривали с жильца-

ми, выходившими из подвалов, на Берггассе перебрался штаб полка и расположился в квартире первого этажа одного из первых домов. Хозяева квартиры – пожилой пан адвокат, его жена и их дочь, жена польского офицера, принимали нас очень радушно. По всем комнатам разливался аромат жареного мяса, теплого теста и пряностей.

Подполковник и замполит были очень довольны – боевую задачу дня полк перевыполнил. Эти кварталы предполагалось штурмовать ночью, когда подтянут артиллерию. Соседний батальон тоже выдвинулся на завтрашний рубеж – там немцы просто ушли, когда увидели, что мы здесь гуляем.

С улицы закричали: "Идут!.. Идут!"

Вернулись парламентеры. Они принесли записку коменданта форта, командира батальона капитана Финдайзена: "Прошу г-на немецкого майора придти для переговоров, прошу на это время прекратить огонь".

Наши посланцы были возбуждены, говорили наперебой: – "Солдатам все осточертело... Им война уже из глотки вон лезет... Все нас расспрашивали... Нет, нет, никто не ругал, никто не грозил. Спрашивали, какие русские... не очень ли разъяренные?"

Мы с Бехлером сразу же отправили их с новыми записками. Я написал: "Капитан Финдайзен! Переговоры могут вестись только в расположении советских войск. Ваше положение безнадежно. Продолжая сопротивляться, вы будете виноваты в бессмысленном кровопролитии, в бессмысленной гибели своих солдат. Наши условия неизменны. Всем сдавшимся гарантируется жизнь и возвращение на родину. Все сопротивляющиеся будут беспощадно уничтожены". Бехлер написал, что советует капитану "внять голосу разума, понять, что долг и честь офицера велят ему думать о судьбе солдат и мирного населения".

Огня вдоль Берггассе больше никто не вел. Форт затих. На холме не было видно ни души. Наблюдатели уверяли, что немцы очистили все окопы на склоне. Оба парламентера ушли с записками и новыми пачками листовок. Наши солдаты в открытую расхаживали по улице. Тела трех убитых немцев оттащили в сторону и положили вдоль тротуара. Стрельба слышалась только из дальних кварталов.

За углом веселые крики: ”Идут!.. Идут!”

Шли четверо. Впереди оба парламентера все с тем же госпитальным флагом, а за ними офицер в каске, в длинной шинели, обмотанной белыми бинтами. Бинты охватывали и каску и грудь крест-накрест, опоясывали и болтались вдоль пол шинели. С ним шел солдат, тоже обмотанный бинтами.

Мы вышли навстречу толстому, багроволицему капитану. Всю группу немедленно окружили наши солдаты. Он козырнул и, таращась то ли испуганно, то ли удивленно, спросил у меня:

– Вы майор Бехлер?

– Нет, я русский майор. Но кто вы? Извольте представиться.

Он снова козырнул и пошатнулся. Он был пьян.

– Капитан Финдайзен, командир батальона, комендант форта. Я хочу говорить с немецким майором из Комитета ”Свободная Германия”. Я прошу перемирия и времени на размышления.

– Вот майор Бехлер.

Майор Бехлер кивнул сухо, а капитан, приложив ладонь к каске, почти минуту не отрывал и таращился на Бехлера, пока я говорил:

– Все переговоры будем вести в штабе. Вы пойдете с нами к подполковнику, старшему офицеру, командующему этим участком.

Мы двинулись вниз по Берггассе. Солдаты гурьбой повалили за нами. Из подворотен выскакивали мальчишки, выглядывали цивильные. Проходя мимо трупов немецких солдат, Финдайзен козырял каждому.

Наши сзади переговаривались.

– Гляди, как своего солдата уважает... Так у них положено, мертвому почет, а живому в морду.

Бехлер, шедший рядом с капитаном, сказал:

– Эти немецкие солдаты убиты немецкими пулями... час тому назад... Из вашего форта обстреляли колонну пленных...

– Ужасно!.. Шреклих!.. Шреклих!.. Я не хотел этого. Я не давал таких приказаний.

– Но стреляли ваши солдаты. Немцы стреляли в немцев. Вы видите сами, к чему вы пришли. Национальный комитет ”Свободная Германия” предостерегал.

Подполковник вышел к нам навстречу. Он успел надеть китель с золочеными погонами – значит, и в боях во-

зил с собой, – и выглядел очень важно.

Я выскочил вперед, щелкнул каблуками, вытянулся изо всех сил и отрапортовал зычно, чтобы слышали все наши и поляки, какое торжественное событие происходит:

"Товарищ подполковник, комендант форта капитан Финдайзен просит разрешения доложить вам свою просьбу!"

Финдайзен сопел, выпятив грудь, рука у каски ладонью наружу.

Подполковник помедлил, а потом, пожав мне руку, словно мы только сейчас увиделись, подмигнул и шепнул: – А как, ему-то руку подать?

Я тоже шепотом: – "Пока нет. Зовите в дом."

Он сказал громко: "Прошу господина капитана пройти ко мне".

Мы чинно вошли в подъезд; на лестнице густо толпились жильцы, женщины шикали на мальчишек, свисавших с перил.

В гостиной адвоката полевые телефоны стояли рядом с подносом, на котором пани хозяйка успела приготовить кофе и вазочку с "тястечками". Все расселись. Финдайзен сел, не снимая и не расстегивая шинели, и заговорил торопливо, по красным скулам текли тоненькие слезинки.

– Немецкий офицер... присяга... Железная заповедь долга... Честь офицерского сословия... приказ важнее жизни, но военное счастье изменчиво... речь не обо мне... Понимаю... верю в великодушие русского командования... Великодушие украшает победителя... Я не смею капитулировать без разрешения старшего начальника, генерал-майора Фрике... Он командир дивизии и комендант всей крепости Грауденц... Я испросил разрешения... По радио мне запрещено... Прошу перемирия. Пока я разъясню генералу обстановку. Я надеюсь убедить. Прошу двенадцать часов на размышления.

Переводя, я от себя добавил скороговоркой: – "Не поддавайтесь... раз сам пришел, значит готов... Дайте не больше часа."

Подполковник слушал, прихлебывая кофе. Он держался вежливо, сдержанно, и явно был очень доволен происходящим. Он впервые принимал вражеского парламентера. Да еще такого здоровенного, мордатого и... плачущего.

– Скажите ему, что я не могу согласиться на долгую отсрочку. Он как боевой офицер должен сам понимать... У меня

тоже приказ. Наши войска наступают по всему фронту. Не могу же я остановить одну свою часть.

Финдайзен, уже не скрываясь, хлюпал носом, утирался перчаткой, концом бинта.

— Я очень прошу... я умоляю... хотя бы до вечера... только до вечера... я взываю к великодушию... Я объясню генералу безнадежность положения.

— Спросите его, а если генерал не примет его объяснений и прикажет продолжать сопротивление, что он тогда будет делать?

— Тогда я капитулирую. Я разъясню генералу. Сначала попрошу разрешения, потом доложу, что не могу иначе и капитулирую.

— Зачем вам столько времени на уговоры? Ваш генерал в казармах, в полукилометре от вас. У вас же прямая связь.

— Он может приказать мне придти, доложить ему лично...

Переводя, я добавил: — Не уступайте. Если так, то генерал скорее всего арестует его за трусость и назначит взамен другого.

Подполковник медленно поднялся, мы все вскочили. Он картинно выпрямился и сказал:

— Даю два часа отсрочки на размышление. Сверим часы: по московскому времени шестнадцать часов тридцать минут, значит, по ихнему — четырнадцать часов тридцать. Буду ждать до восемнадцати тридцати по московскому. А потом открываем огонь всех систем на уничтожение. Штурм и никакой пощады.

Я переводил, стараясь произносить каждое слово возможно более грозно, чтобы оно дошло до пьяного. Он стоял навытяжку, пошатываясь, козырял и плакал:

— Так точно! Яволь!

Бехлер, молчавший все время, заговорил негромко, но очень твердо.

— Оба парламентера пойдут с вами, капитан, и вы отвечаете за их безопасность жизнью и честью.

— Яволь!

В заключение я спросил:

— Итак, вы даете слово офицера, что будете соблюдать наше соглашение?

— Яволь! Слово!

Тогда я протянул ему руку. Подполковник, замполит и Бехлер тоже пожали ему руку. Он каждый раз щелкал каблуками, отрывисто кланялся и продолжал плакать, не утирая слез.

Мы с Бехлером, комбат, в распоряжение которого мы теперь перешли, его адьютант и несколько солдат проводили Финдайзена, его ординарца и обоих парламентеров с госпитальным флагом до баррикады.

Подполковник, в ответ на упрек, что он дал Финдайзену много времени, весело отмахнулся:

– Так у меня же ни одной пушки нет. Еще только полковые минометы начали подтягивать, ведь настоящих мостов через канал нет. Грожусь: беспощадный огонь из всех систем, а где мои системы? Славны бубны за горами. Вот часа через два подтянут самоходки – мне генерал твердо пообещал, две батареи, тогда разговор будет другой, тогда, пожалуйста, даю десять минут на размышление, а потом, четыре сбоку – ваших нет.

Мы навестили Галину в госпитале. Там был полный порядок. Непочилович за это время успел созвать нечто вроде совещания польских политических деятелей. В этом районе он обнаружил двух или трех членов ППС и еще нескольких "очень антифашистски настроенных интеллигентов". С их помощью он подбирал рекрутов для милиции, вооружал их немецкими винтовками. В соседней квартире срочно шили белокрасные нарукавные повязки, мне казалось, что их должно хватить на целый город.

Командир полка пригласил нас к обеду. Непочилович привел немолодого пана, остроносого, с седыми тонкими усиками. На бледной лысине тщательно начесанные тонкие волосы поблескивали черненым серебром. Непочилович торжественно представил его как стойкого антифашиста, лидера ППС северной Польши.

Командир полка и замполит держались несколько чопорно, стесненные сложностью дипломатической миссии. Как следует обращаться с представителем союзной страны, если он в то же время лидер чужой партии, о которой с детства известно, что она национал-фашистская?... Непочилович ораторствовал по-русски и по-польски. Я ему кое-как вторил. Наш гость старался незаметно разглаживать морщинистые складки на черном сюртуке

должно быть, некогда парадном. Он был, видимо, очень голоден, судорожно глотал, однако сдерживался, – ел неторопливо, пил, осторожно прихлебывая. За весь обед выпил рюмки две коньяка, но все же раскраснелся, вспотел мелкой-мелкой росой, стал улыбаться и разговорился:

– Грауденц был всегда польский город. Фольксдойчей у нас всегда было меньше, чем в Торуне или Быдгоще... Военный был город. Еще за кайзеровскую Германию тут гарнизон был большой. Кавалерия, артиллерия, саперы. Форты, крепость Корбьер от города два километры еще Фридрих Прусский строил. Потом за Вильгельма ее модернизировали. И за Пилсудского еще модернизировали... Грауденц и в Польше военный город был: уланы, школа войскова, аэродром войсковы. Тут шутковали: четверть жителей города солдатские дети, еще четверть – офицерские, четверть – их мамы, а последняя четверть – деды, бабы и обманутые мужья. Гитлеровцы тут очень жестокий режим сделали. Много заложников постреляли и повесили. Гаулейтер Кох сюда самых диких эсэсов назначил. И нынешний крайслейтер – фанатик. То через него немцы так упрямо обороняются. Тот генерал Фрике боится крайслейтера и еще боится своего начальника штаба по крепости, – тут у них отдельный штаб для крепости, – полковник Франсуа! Так-так, у него еще прапрадеды с Франции эмигранты. Весь род, – может уже двести лет, – офицеры и генералы. Папа этого пулковника в ту войну у Людендорфа правая рука был. А этот младший сын еще прошлым летом был лейтенантом, командовал, даже не ротой – взводом. Но когда в июле генералы повстанцы схотели Гитлера убить и начали в Берлине переворот, тот Франсуа помогал арестовывать повстанцев. За одну ночь с лейтенанта стал майором, и уже за полгода полковником. Тоже фанатик и, говорят – храбрый. Только беспощадный до всех и до своих немцев тоже. Генерал его боится, а крайслейтер с ним первый камрад.

В передней громкие голоса, веселый крик:

– Немцы сдаваться идут... Целая колонна.

Прошло не больше часа после ухода Финдайзена, но вниз по Берггассе с большим белым флагом-простыней по четыре в ряд двигалась серая колонна, а перед ней трепыхался маленький флажок с красным крестом. Впереди шли оба парламентера и офицер в кожаной куртке и пилотке – молодой оберлейте-

нант.

— Гарнизон форта: семь офицеров, сто двадцать шесть солдат и унтерофицеров капитулируют. Я — исполняющий обязанности коменданта обер-лейтенант такой-то...

— А где капитан Финдайзен?

— Он ушел к командиру дивизии. Офицеры нашего гарнизона считают поведение капитана недостойным немецкого офицера. Он дал вам слово и не хотел сдержать его, колебался даже — не попытаться ли внезапным ударом прорваться к северу. Но все офицеры форта отказались подчиниться... к тому же он был свински пьян. Солдаты не могли его уважать, не могли верить.

Офицеров мы отвели в госпиталь к Галине — они хотели проведать своих раненых, убедиться, что с ними действительно гуманно обращаются. Всю колонну отправили в тыл под конвоем двух наших солдат и нескольких польских милиционеров.

Командир полка осмотрел форт, убедился, что прилегающие кварталы заняты его батальонами и вернулся в штаб очень довольный.

— Весь этот район по приказу должны были занять только послезавтра, а мы заняли еще и улицу справа — полосу наступления соседей. Здорово перевыполняем план. По-ударному. Я уже докладывал генералу Рахимову, он велел поблагодарить всех вас, и просил, чтоб сказали, как наградить парламентеров.*

Пока что мы набили им карманы сигаретами, шоколадом, и они плотно поужинали. Повар подполковника устроил в соседней квартире целую фабрику-кухню, назначил техноруком пани адвокатову, а ей ассистировали другие дамы.

Мы с Бехлером составили послание — обращение к полковнику Шайбле — коменданту укрепленного района казарм.

---

*Уже после того, как было написано все это, я прочел воспоминания Бехлера; там названы оба парня: обер-ефрейтор Эрих Конрад из Бернбурга на Заале, год рождения 1912, и обер-ефрейтор Вольфганг Махацек из Аренсбурга, год рождения 1923.

Под его начальством оборонялся один полк 250-й дивизии и два батальона фольксштурмовцев. Другие полки, остатки дивизии имени Германа Геринга и фольксштурмовцы из штурмовиков занимали северный край города, к северо-востоку от казарм и северные пригороды, включая крепость Корбьер.

Новые послания подписали втроем: подполковник, "командир соединения советских войск", я "по поручению высшего командования советских войск" и майор Бехлер как представитель "Свободной Германии".

Парламентеры ушли снова. Мы проводили их уже в темноте; некоторые улицы освещались пожарами, в других был мрак непроглядный. Где проходил новый передний край – никто не знал толком. Раза два нас обстреляли из домов, мы шарахались в переулки, во дворы. Один раз оказалось, что стреляли свои солдаты другого батальона, не ведавшие ничего о парламентерах.

Мы распрощались с ними на перекрестке. Налево улица уходила в темно-серый туман к берегу Вислы, справа неподалеку горели дома. Оранжево-багровое пульсирующее зарево заливало широкую улицу. Неподалеку часто-часто трещали наши пулеметы и завывали немецкие, рокотали автоматные очереди, раскатисто ухали взрывы фауст-патронов, отрывисто – гранаты.

Мы убедились, что парламентеры благополучно перебежали через перекресток, оставили группу разведчиков ждать их, а сами ушли обратно в штаб; приезжал связист, – звонили с "горы". Срочно вызывают. Полковник Смирнов двумя днями раньше телефонограммой распорядился, чтобы мы передали агит-полуторку другой дивизии, которая подступала к городу с севера. Распоряжение было невыполнимо, никто не знал, где искать эту дивизию на марше, куда ехать. К тому же иссяк бензин. Полк наступал и некому было заботиться о том, чтобы снабжать нас горючим. Мосты через канал были взорваны. Мы оставили машину во дворе на Цветочной улице, приказав старшему технику добывать бензин, где удастся, доложить "на гору" обстановку, а затем, либо двигаться к новым распорядителям, либо догонять нас по наведенным мостам.

Смирнов звонил взбешенный – его приказание не выполнено, машина не прибыла в другую дивизию и никто не передает текст ультиматума, утвержденный политотделом корпу-

са.

Я стал докладывать о капитуляции форта, уже более двух сотен немцев сдались добровольно, благодаря этому полк вышел на рубеж, намеченный только на послезавтра, мы уже послали ультиматум в казармы. Он не слушал и орал:

– Я знаю, вы там пьянствуете в подвалах с польскими блядями, вы просто трусите, оставили машину и ссылаетесь, что нет бензина. Под трибунал за невыполнение приказа, за трусость!..

Мне показалось, что он пьян, голос в трубке был по-хмельному гундос, речь дико бессмысленна. Я пытался возражать вразумительно, потом разозлился, сказал, что он не вправе разговаривать так грубо, он – не мое непосредственное начальство, я выполняю самостоятельную операцию по заданию "верха".

Тогда он заорал уже истерично:

– Теперь я вижу, что ваше начальство справедливо давало вам характеристику. Вы только и можете что клеветать на наших солдат и офицеров. Нам все известно! Чего еще ждать, если нет ни совести, ни чести!

Я ответил, что обращусь в офицерский суд чести, что он не имеет права оскорблять... Мы тут работаем лицом к лицу с противником, автомашины по воздуху не летают, а он кричит из безопасного тыла, ни хрена не видит, только дергает и оскорбляет.

Тогда он словно бы несколько успокоился и сказал:

– Отставить пререкания. Кто кому начальник вам еще объяснят, а сейчас выполняйте приказание. Мосты уже есть. Присылайте ко мне человека за бензином и за текстом ультиматума, и чтоб еще до утра передавался во все узлы сопротивления. Понятно? Выполняйте.

Понятно было, что за всем этим криком ухмыляется Миля Забаштанский, понятно было, что пьяному горлохвату нельзя втолковать, что динамик нашей передвижки, дающий звук от силы на 250-300 метров, не может вещать "на все узлы сопротивления", растянутые на десять-двенадцать километров.

На какое-то время я растерялся. Слишком резок был контраст: такой замечательный день, колонны пленных, веселая гордость – это мы их обезоружили, это мы помогли полку, – мы все: Галина, Бехлер, Непочилович, наши парламентеры и я,

– да еще как помогли... И тут же после этого начальственно хамское пьяное орание.

Подполковник смотрел сочувственно:

– Значит, и вам достается, как нашему брату...

– А чей же я брат... ваш, конечно.

Выручила Галина. Она взяла в провожатые медсестру – местную жительницу, и одного солдата и пошла с ними по горящему городу. Она шла, встречая самоходки и орудия, которые уже двигались через новые мосты. По ним стреляли из северной, более высокой части города. Я увидел в той стороне, куда ушла Галина, багрово-черные смерчи разрывов – била тяжелая крепостная артиллерия – разрывы взметывали лилово-оранжевые тучи дыма над пожарами.

На мгновение я подумал: если Галку убьют или изувечат теперь, перед самым концом войны, то это будет моя вина, моя и этого крикуна, и Забаштанского. И тогда я должен был бы пристрелить их и застрелиться сам. Но тут же я разозлился на себя – ведь этим я не помог бы никому, опять был бы только вред и только горе, – вред всему делу и горе невинным: моей семье, их семьям...

Еще перед уходом Галки, она и Бехлер убедили двух легко раненых офицеров и того обер-лейтенанта, который привел гарнизон форта, что именно офицеры должны взять на себя функции парламентеров, на них больше ответственности, они сделают все лучше молодых солдат.

Меж тем парламентеры вернулись очень взволнованные: в казармах некоторые офицеры накричали на них, один обер-лейтенант вырвал флаг и хотел их застрелить, орал –"предатели", "наемники"... Другие оттащили его, говоря, что нельзя посягать на белый флаг с красным крестом. Полковник Штайбле подробно их расспрашивал, видно было, что он растерян; он ушел совещаться со своими в штаб, и слышно было, как там кричали, ссорились. Потом он объявил, что никакого письменного ответа не будет. Он выполняет приказ, пусть русское командование обращается к самому генералу Фрике, старшему начальнику.

На обратном пути во дворе казармы они говорили с солдатами, которые их провожали: те хотят сдаваться и злятся на офицеров.

Некоторые солдаты говорили: пусть русские придут, мы

и пальцем не шевельнем, омерзело все это дерьмо до блевания.

— Мы по пути придумали такой план: от калитки, через которую нас впускали и выпускали, до входа в подвал, где штаб, шагов сто, не больше, и препятствий никаких... У самой наружной стены окопчики — там пулеметы и отдельные стрелки, но вблизи их немного и так устроены, чтоб стрелять наружу. Дайте нам оружие, гранаты, мы подберем еще одного-двух камрадов в госпитале, — шесть-семь человек достаточно, больше даже нельзя. Мы пойдем опять с белым флагом, захватим штаб, и тогда гарнизон сдастся, солдаты не станут сопротивляться...

Этот план показался нам очень соблазнительным, командиру полка — тоже. Но мы понимали, что нельзя вооружать парламентеров и превращать их в ударную группу под белым флагом. После недолгого обсуждения решили по-другому: парламентеры пойдут опять безоружными, но вслед за ними двинется отряд разведчиков и автоматчиков — человек в пятьдесят. К казармам вела улица — лощина между двумя откосами, еще покрытыми снегом. На левом, более высоком и крутом, стояли казармы. К воротам поднимался пологий раздвоенный въезд, а к калитке в стене, — метрах в пятидесяти от ворот, — лестница прямо по откосу. На противоположной стороне улицы, более пологой, чуть подальше от гребня темнели какие-то строения — склады или гаражи. Там горело одно здание, но солдат уже не было видно. Парламентерам приказали пойти впятером — к ним присоединились трое их приятелей из форта — с тремя белыми флагами, и передать полковнику новое письмо ультиматум, обращенное уже и к генералу и к нему. Двоим пойти в штаб, а троим оставаться во дворе казармы — агитировать солдат, подготовить их к тому, что в случае нового отказа русские ударят немедленно и сокрушительно.

Если полковник согласится капитулировать, все пятеро должны выйти, размахивая белыми флагами и светя карманными фонарями, которые мы им дали. Если он опять откажется, то пусть выйдут только двое с одним флагом. А оставшиеся пусть стараются отвлечь солдат, которые могут оказаться на пути от калитки до штаба. Головная группа отряда бросится по лестнице, ворвется в калитку и захватит штаб. Вторая группа будет наблюдать из кювета на противоположной стороне и через несколько минут последует за первой.

Нашим солдатам объяснили, что до прорыва к зданию шта-

ба нельзя ни стрелять, ни швырять гранаты. А там уж действовать по обстановке. Договорились: белая ракета означает капитуляцию, а красная – вызов огня.

К тому времени подошли уже тяжелые самоходки и в ближних кварталах басовито откашливались наши полковые минометы. Ударная группа должна была выдвинуться скрытно. Поэтому польские милиционеры, знавшие город, "как свои карманы", повели всех нас и парламентеров переулками, дворами и подземными ходами, соединявшими подвалы-убежища; эти ходы были расширены и значительно удлиннены во время осады.

Мы тянулись вереницей – впереди милиционеры, за ними головное охранение, потом лейтенант – командир группы, мы с Непочиловичем и парламентеры, за нами – сорок ударников. Они были в куртках, а не в шинелях, некоторые – в маскировочных немецких белых накидках, вооруженные автоматами, тесаками, ножами, обвешанные сумками и гранатами.

В иных подвалах впервые увидели советских солдат и польских милиционеров. – Иезус Мария, поляци!.. Русеки!..

Но здесь, в душной полутьме, едва прерываемой тусклыми светильниками, уже не было таких восторженныых встреч, как утром на улицах. Большинство людей, измученных осадой, спали. Некоторые просыпались, разбуженные нами, пугались, ничего не понимая. От вопросов мы отмахивались, шипели: "Тихо, сидите тихо, чекайте, скоро конец войне, скоро немцам капут". Из подвала в подвал проходили сквозь узкие проломы в фундаментах, а через улицы перебегали по одному, по два.

У начала той улицы, которая вела к казарме, ширилась пустынная, частью заснеженная площадь. Было темно и только вдали – впереди и справа – красно-оранжевые лохмотья пожаров швыряли искры и розовый дым в низкие, серо-лиловые облака. Сзади нас мутное зарево охватило две трети неба, вспыхивая ярче в одних местах, а в других, затухая, темнея. Частая пальба нарастала справа. Через нас, посвистывая и улюлюкая, летели наши снаряды, работали самоходки. Но в казармах разрывов не было видно.

Парламентеры зашагали быстрее, высоко поднимая флаги. Оставшиеся ждали. Слева, там, где темнели казармы, взлетела одна, потом вторая ракета. При бледно-зеленом свете пять теней. Но ни выстрела. Когда они прошли в казарменную ули-

цу, стало опять темно и через несколько минут двинулись цепочками одна за другой обе группы.

...Парламентеры не возвращались примерно полчаса. Наши "ударники" мерзли в кюветах, где под тонким ледком хлюпала холодная жижа. Из казарм донесся шум множества голосов, окрики вроде команд. На откосе показалось несколько человек, они махали белыми флагами и светили фонариками. За воротами слышалось грохотанье, стук, скрежет – раскидывали завал, открывали тяжелые створы. Вывалилась колонна с белым флагом. Впереди шагали наши парламентеры.

Их второй приход вызвал в гарнизоне настоящий бунт. Первый бунт в частях вермахта! Солдаты уходили с позиций, требовали капитуляции. Офицеры, отчаявшись, ушли из казармы в крепость. Им никто не мешал. А парламентеры вместе с двумя фельдфебелями, построили солдат – набралось больше трехсот – и повели их сдаваться. Почти все топали с тяжело набитыми ранцами.

Лейтенант запустил белую ракету – одну-вторую и послал нескольких солдат предупредить, чтобы ненароком нас не встретили огнем. Пошли строем, открыто по улицам, пятнисто освещенным заревом. Наши солдаты весело перекрикивались с пленными. "Война шайзе... русс гут... Гитлер капут..."

Немцы запели, строй подтянулся, двигался ровнее, ритмичнее. Песня – заунывная, протяжная, звучала невеселой надеждой.

На родине, на родине
Мы встретимся опять.

На перекрестке двух больших улиц стояла самоходка, несколько солдат внимательно глядели на шествие. Пожилой сержант сказал задумчиво:

– От герман, у плен идзет и пеет... учара он табе биу, биу не жалеу, а тепер пеет штоб мы яво жалели.

На Берггассе нас встретила Галка с клубной машиной. Полковник Смирнов сначала ругался и грозил, потом она его все же переубедила. Он даже признал, что, пожалуй, погорячился, дал несколько канистр бензина, отправил ее на своем виллисе, но требовал, чтоб обязательно передавали ультиматум, который он составил.

В ту ночь спать не пришлось. Я перевел ультиматум, Бехлер аккуратно переписал; два экземпляра ультиматума понес-

ли две группы: солдатская и офицерская. Командир батальона – капитан с обветренным, словно закопченным лицом, был спокойно приветлив и деловит, напоминал хорошего мастера цеха. Он приказал разведчикам проводить парламентеров и, раскинув большой план города, стал с нами выбирать позицию для звуковки.

Противник занимал еще только узкую полосу – северный край города. Там были и жилые дома и промышленные здания, а на северо-востоке лес или парк, тянувшийся до Вислы и охватывавший крепость подковой. Между линией немецкой обороны и зданиями, которые занимали его роты, пролегало шоссе. Пожалуй, только в одном месте, – и как раз ближайшем к лесу, – расстояние между позициями не превышало трехсот метров, т.е. можно было рассчитывать, что нас услышат. Нужно было спешить, пока не начало светать. Мы подогнали машину к небольшому домику с садом, въехали сзади со двора, и оттуда, ломая ограду, вкатили ее в сад. На немецкой стороне было тихо и темно. Когда мы заговорили в "полный голос", поднялись две-три ракеты. Значит, услышали. Но не стреляли. Приглушенная далекая трескотня доносилась откуда-то с севера. Это шла новая наша дивизия. Но ведь ей следовало находиться уж куда ближе. Еще три дня назад от нас требовали передать им агитмашину.*

Передачу мы вели из сада. Рупор подвесили к дереву и поворачивали в разные стороны. Мы читали текст ультиматума; новый диктор, – немецкий солдат из студентов, – рассказывал, как сдавались форт и казармы. Галина и я импровизировали, – я главным образом честил Финдайзена за трусость и обман, за то, что он не сдержал слова.**

---

*Позднее мы узнали, что это была перестрелка в тылу: – полковник Франсуа вместе с крайслейтером, группой нацистских чиновников, гестаповцев и сотни три солдат из дивизии Геринга вышли из крепости, чтобы прорваться на север. Им удалось незаметно просочиться через боевые порядки наших войск, В тылах они осмелели, попытались захватить автомашины, ворвались в медсанбат... Однако тыловики, несмотря на внезапность нападения, дрались храбро и умело, подоспела помощь и к утру отряд Франсуа был полностью разгромлен.

**В воспоминаниях Бехлера, на которые я уже ссылался выше, о Финдайзене говорится одобрительно; видимо, Бехлер позднее узнал

Очень хотелось спать. К рассвету задул холодный, сырой ветер, пахнувший гарью. Мы с Галиной топтались у машины, – зябли ноги, – диктор и шофер заснули в кузове. Технику я велел запускать пластинки, чередуя музыку с текстами, – у нас были пластинки, наговоренные в Москве. Небо серело. Отзвучала грустная немецкая песенка. Пауза. Из машины ни звука. Я хотел узнать из-за чего задержка, но Галина взяла меня за рукав и, странно улыбаясь, приложила палец к губам "молчи". А потом внезапно громко рассмеялась.

– Ты что?

– А ты ничего не замечаешь?.. Ведь тихо! Совсем тихо! Мне сейчас было как-то не по себе. Я не понимала, в чем дело. И не сразу сообразила. Сколько мы здесь? Больше двух недель. А еще ни разу не было такого часа. Ведь уже целый час не слышно выстрелов...

Наш репродуктор зашипел. Раздался мягкий баритон Вайнерта: он читал стихи о немецких детях, тщетно ожидающих отцов-солдат.

Прибежал связной: вас зовут, опять немцы пришли.

На дороге у леса стояло несколько человек. Капитан сказал, что противник покинул лес и последние дома города, наши стрелки уже выдвинулись к лесным завалам. Саперы снимают мины. От немцев ни выстрела. Прямо по дороге пришли из крепости несколько перебежчиков. Только что заявился тот мордатый капитан, что вчера из форта приходил, опять хмельной, лопотал "официр, официр"; его отправили в штаб полка.

Торопливо подошли Бехлер и Непочилович. Они встретили капитана Финдайзена; из его пьяных излияний Бехлер понял, что сам генерал Фрике велел ему идти к русским – выполнять свое обещание, ведь уже "по радио" говорят, будто Финдайзен – трус и обманщик, а для немецкого офицера лучше смерть, чем такой позор. Финдайзен просил, чтобы его расстреляли либо

его ближе и лучше. (Bernhard Bechler, "Die Lehren von Graudenz", in *Zur Geschichte der Deutschen Antifaschistischen Widerstandsbewegung, 1933-1945,* Berlin, 1958, s. 306-309.

тут же объявили честным офицером. Бехлер рассказывал, я переводил, все смеялись. Со стороны леса веселый крик.

– Товарищ капитан, тут фрицы с белым флагом... дальше не идут, просят старшего командира.

На дороге у жиденького завала из нескольких бревен горел костер. Благоухало жареное мясо. Солдаты у костра спокойно поглядывали на группу немцев. Капитан кивнул.

– Посмотрите, как братья-славяне привыкли. Боевое охранение называется, а под носом у немцев костры жгут. На белый флаг ноль внимания. Вроде война уже кончилась.

По ту сторону завала стояли все парламентеры, направленные нами, а рядом с ними офицер в темной фуражке, в белой маскировочной куртке с нарукавной повязкой красного креста, и высокий солдат с госпитальным флагом. Еще несколько солдат в касках с тяжелыми ранцами на плечах держались поодаль.

Когда мы подошли, рыжий оберлейтенант шагнул вперед, козырнул и так же негромко, как накануне докладывал о капитуляции форта, сказал:

– Генерал-майор Фрике не дал нам письменного ответа. Он посылает для переговоров господина оберштабсарцта и просит советских офицеров и майора Бехлера пожаловать в крепость.

– Значит ли это, что он капитулирует?

Оберштабсарцт очень бледный с красными веками, говорил устало, печально и медленно, словно припоминая каждое слово:

– Генерал Фрике просит русское командование о великодушии. В крепости две с половиной тысячи раненых. Большинство находится в помещениях, недостаточно укрытых. Генерал просит прекратить артиллерийский обстрел и бомбардировки с воздуха. Мы больше не в состоянии сопротивляться.

– Значит, вы капитулируете?

– Я не уполномочен говорить о капитуляции. Я врач. Я думаю прежде всего о раненых. Я тоже прошу о великодушии, о сострадании. Генерал Фрике разрешил мне сказать, что крепость не будет вести огня. Не может вести. У нас иссякли снаряды. Но я не вправе говорить о капитуляции. Я только прошу о милосердии. Я передаю слова генерала: он приглашает советских офицеров и немецкого майора.

Когда я перевел капитану, тот пожал плечами.

– Ну, что ж. Если так, то пошли. Связисты! Тяни провод за мной.

Галине я сказал, чтоб отвела парламентеров и их спутников в штаб. Выяснилось, что солдаты в касках были просто перебежчиками. Оберштабсарцт отказался идти с ними вместе: – это дезертиры. – Я уже стал отдавать Галине планшет с документами, – ведь как-никак собрался в "логово зверя". Но она густо покраснела, глаза угрожающе порозовели и увлажнились.

– Почему я опять в тыл? Он же с переводчиком. И майору Непочиловичу нужно вернуться в город, он может проводить их.

– Ты женщина! Как же ты не понимаешь, тебе нельзя идти к фрицам, которые еще не сдались.

– Почему нельзя? Почему? Ты же знаешь, что я умею с ними разговаривать.

Нельзя было продолжать спор на людях. Я отдал планшет Непочиловичу. Галина, чуть не приплясывая, повесила ему через плечо свой, и убеждала его, обиженно ссупившегося.

– Вы ведь знаете, я могу быть и переводчиком, – там же переговоры будут.

Она едва сдерживала ликование и поэтому старалась быть сугубо деловой.

– А партбилет с собой?

– Оставить! Все – как в разведку, никаких документов.

Капитан кричал в телефонную трубку.

– Скажи третьему, пусть срочно передаст, чтоб в крепость ничего не бросали. И летунам пусть поскорее скажет. Понимаешь? Я иду в крепость на переговоры, я и те гости, которые сверху. Фрицевский генерал сам позвал. Понял? Повтори! Точно! В крепость ничего не бросать, противник сдается.

На прощанье я спросил оберштабсарца, отмечены ли проходы через минное поле.

– Идите прямо по дороге и только по дороге.

Мы пошли.

Впереди шагал ординарец комбата, подняв все тот же госпитальный флаг. Позади нас двое связистов с катушками и телефонами тянули нитку.

Мы шагали по лесной дороге, по тонкому слою рыхлого снега. Переходили через завалы, перескакивали окопы: они бы-

ли пусты, валялись патронные ящики, каски, какая-то рухлядь; в одном месте сиротливо торчал скособоченный пулемет. Видимо, начали снимать, потом передумали. Бехлер сказал:

— Вот оно, разложение... Так отходить — хотя и без боя. Кончена немецкая армия.

Прямо на дороге лежали каски, противогазы, фаустпатроны.

Высокие серо-тяжелые стены крепости. Вал в заснеженном кустарнике. Через ров — кирпичный мост с чугунными перилами, когда-то был наверное подьемным. Огромные железные ворота. Нигде ни души. В тишине внятны птичьи пересвисты и чириканье.

Едва мы приблизились к воротам, открылась калитка. Вышли два офицера без шинелей. Один взял под козырек, другой вскинул вытянутую руку по-фашистски, но, спохватившись, приложил ладонь к фуражке.

Я тоже козырнул и сказал, стараясь, чтобы было возможно спокойнее, будничнее.

— Генерал Фрике пригласил русских офицеров и уполномоченного комитета "Свободная Германия".

Старший из офицеров щелкнул каблуками.

— Генерал просит пожаловать.

— Я вас провожу, — начальник отдела, подполковник...

Я представил всех нас. Комбат держался так, будто ничего особенного не происходит. Галина супилась, чтобы казаться старше и суровее. Бехлер, бесстрастный, как всегда, щурился иронически. Подполковник представил капитана из штаба крепости. Очень худой и смуглый капитан посмотрел внимательно на нас. На френче железный крест, серебряная пряжка "за участие в атаках", золоченый овал, — больше трех ранений, — свастика в золоченых лучах, "германский крест 1-ой степени"... Бывалый вояка. Мы вошли в длинную подворотню. Знаменосец и связисты несколько отстали. Капитан вполголоса:

— Подтянуться.

Румяный парень с катушкой рванулся так порывисто, что оттолкнул немецкого капитана, но тут же громко выдохнул "паррдон". Из подворотни вышли еще на один мост, который вел через канаву, отделявшую от второй, не менее мощной стены. Снова ворота, офицеры безмолвно козыряют и пропускают нас в калитку. В большом неровном угловатом дворе с обе-

их сторон стояли колонны солдат, у всех ранцы на спинах, некоторые еще и с мешками, чемоданчиками. Крякающие команды:

– Ахтунг! Штильгштандн! Линкс ум! Ауген рехьц!

Отрывистое шарканье, треск сдвигаемых каблуков.

Мы шли вдоль строя. Я на мгновение растерялся. Отдавать честь? Но иначе нельзя. Старался только не очень тщательно, не напрягаясь, не задирая локтя, а так, небрежно, словно отмахиваясь. Капитан подмигнул:

– Принимаем парад.

Из первого длинного двора прошли в коленчатый переулок, там тоже тянулись шеренги солдат. Потом во второй, еще более длинный двор. И там полно солдат, и там по команде равнялись, шаркали, таращились. Мы шагали, козыряя. Внезапно сзади нарастающее рычание моторов и вокруг истошные крики: "Флигер! Флигер!.. фолле декунг!"

Сотни солдат ринулись к стенам зданий, к штабелям каких-то ящиков, падали ничком, прижимались к земле, вжимались в ниши, в стены, кучами валились у дверей.

Мы шагали длинной шеренгой. Немецкий подполковник, комбат, Галина, я, Бехлер и капитан. Сзади топали наши связисты и знаменосец.

Подполковник, бледно улыбаясь, спросил:

– Вы не известили ваших летчиков?

Я старался не обнаружить, как мне страшно: леденящий ужас – погибнуть от собственных бомб! Именно сейчас, в самом конце!

– Разумеется, известили. Но кто знает, дошло ли вовремя извещение?

Нельзя было ни бежать, ни падать. Почему? Почему надо форсить перед побежденным противником? Мы не сговаривались, но и Галина, и комбат, и Бехлер, и солдаты, и я шли, не сгибаясь, ни на шаг не отступая в сторону... Оба провожающих офицера не отставали.

Два ИЛа, оглушительно яростно рыча, пронеслись над самыми крышами. Я почувствовал: подворотничок липнет к мокрой коже, глаза жжет от пота. Вокруг, во дворе перекликались, Галина раскраснелась, весело подмигнула – "до феньки". Темное лицо капитана вроде посветлело, он улыбнулся – "пронесло".

Но через несколько секунд опять, уже спереди, грохочущее раскатистое рычание, давящее к земле, рвущее за сердце. Связист ругнулся: На второй заход пошли...

И опять отовсюду истошные крики: "флигер... флигер..."

И опять мы не упали, не побежали, только шагали чуть быстрее одеревеневшими ногами. И опять черные тени пронеслись грохоча, рванув за собой уплотненный воздух. Но ни бомбы, ни выстрелов. Когда они уже ревели сзади, я на мгновение ощутил острую боль в затылке: в реве моторов померещилась пулеметная очередь... И опять почувствовал, как заливает потом глаза, шею, спину.

Впереди виднелся проем – переход под домом. Там кишело серое крошево сбившихся в кучу солдат. – Где же наконец, вход к этому проклятому генералу? Слева, у локтя плечо Галины, сквозь шинель ощущаю, как напряжены мышцы. Но улыбается она так же нарочито весело "до феньки". За ней капитан, посматривает вверх, прислушивается, будто ему просто любопытно. Немецкий подполковник шагает по-гусиному, бледен, губы стиснуты, косится на нас не то сердито, не то испуганно. Справа Бехлер, глядит под ноги скучающе – фаталист. Тонконогий капитан форсит, улыбается, наклонился к нему, что-то говорит. Сзади сопит молодой связист. – Пошли на третий заход... пугают!

Наш знаменосец отбежал к середине двора – машет белым флагом. Совсем молодой парень, должно быть недавно солдат, видел только наступления, победы. Вот он стоит посреди вражеской крепости в зеленой телогрейке, свалявшейся шапке, с белым красно-крестным флагом. Ему никто не приказывал, он сам вышел сигналить своим летчикам, чтоб не мешали.

Он стоит. Не может быть, чтоб ему не было страшно, но он залихватски машет флагом, задрав голову, широко расставив тонкие ноги в больших трофейных сапогах, а вокруг, вдоль стен, лежат вповалку вражеские солдаты, жмутся к штабелям каких-то ящиков.

Капитан сказал:

– Храбрый парень, ваш солдат. Сразу видно, еще не устал от войны, – нох нихт кригсмюде...

Мы шагаем мимо солдат, лежащих, полулежащих, скрючившихся, словно ввинчивающихся в кирпичные стены... Голо-

са едва различимы, будто в ушах ватные пробки, но рокотание моторов сзади уже издалека всверливается в череп, как бормашина в больной зуб. Оглядываться нельзя. Неужели на третьем заходе станут бомбить? Все мышцы одеревенели, нестерпимо болит затылок, рубашка промокла насквозь, ревущий грохот надвигался, оглушая и слепя, волосы мокры, точно голову мыл. Но опять пронесло.

— Прошу сюда.

Подполковник распахнул двери многоэтажного кирпичного здания. Спускаемся вниз в подвал. Стены обиты деревом. Светлый коридор, устланный линолеумом, ковровые дорожки.

— Прошу сюда.

Дверь темно-вишневая. Большая комната. Мягкий свет плафонов и яркая настольная лампа в углу, против входа. Там широкий письменный стол. Телефоны. Бронзовый прибор. Изза стола поднимается невысокий, белобрысый, гладко причесанный, с треугольно узким лицом человек. На френче красные с золотом генеральские петлицы. Стоит, упираясь руками в стол. У стены справа несколько старших офицеров встали с деревянного дивана.

—Господин генерал-майор, имею честь представить вам русских парламентеров. Господин майор… Господин капитан, фрейляйн оберлейтенант гвардии и немецкий майор господин Бехлер. — Прошу садиться, господа! Коньяк! Сигары! Может быть, кофе?

— Спасибо, господин генерал. Но мы пришли говорить об условиях капитуляции.

— Господа, я уже передал через оберштабсарцта, я не вправе капитулировать. У меня есть приказ, строжайше запрещающий капитулировать. Приказ высшего командования. Приказ — это святыня для офицера.

— Значит, вы намерены продолжать бессмысленное кровопролитие? Зачем же вы нас приглашали?

— Господа, поймите меня, я не могу капитулировать, но я не могу и сопротивляться… Здесь раненые без укрытий — две с половиной тысячи… Иссякли боеприпасы.

— Значит, вы сдаетесь?

— Я взываю к великодушию победителя, я полагаюсь на прославленное великодушие и благородство русского офицерства… Я прошу прекратить артиллерийский обстрел и бомбар-

дировки с воздуха.

— Что это значит? Вы не хотите сдаваться, но просите, чтобы не стреляли. Господин генерал, мы четыре года ведем войну — беспощадную войну, а вы вдруг предлагаете какую-то странную военную игру.

Бехлер выступил на шаг вперед.

Пока он уговаривал генерала, я переводил капитану. Тот слушал, усмехаясь.

— Ладно, дьявол с ним. Пусть формулирует, как хочет. Но ты потребуй, чтоб ответил ясно: или-или. Будут они сопротивляться, когда наши части войдут в крепость или нет? Нам нужно знать сейчас, а то уж на той стороне Вислы вышла на позиции артдивизия. Они долго ждать не станут.

Генерал слушал, потупившись, оглядел своих офицеров, они стояли молча, смотрели на нас с вежливым любопытством. За второй дверью кабинета слышались голоса, выкликавшие монотонно отдельные слова: там был узел связи — интонации телефонистов похожи на всех языках.

Генерал заговорил утомленно, страдальчески.

— Я могу только повторить, я выполняю приказ и поэтому не могу подписывать никаких соглашений, не могу обсуждать никаких условий. Я полагаюсь на великодушие, благородство победителей. У меня больше нет сил, чтоб сражаться.

Капитан выслушал перевод и кивнул удовлетворенно.

— Ну, что ж, коли так, значит, вроде, ясно. Дай-ка мне кинжал.

Он подошел к столу и двумя короткими ударами немецкого штыка с рукояткой из плексигласа перерубил телефонные провода.

Генерал театрально схватился за лоб и тяжело опустился в кресло.

Бехлер заговорил с офицерами. Наши связисты уже устанавливали свое хозяйство на генеральском столе, и капитан кричал в трубку: — "Скажи третьему: порядок! Я уже в крепости. Давай сюда роту автоматчиков... Да поживей... Скоростным броском. Охранять склады, трофеи. Давай, давай!.."

Не прошло и получаса, как по двору крепости уже сновали наши солдаты. Едва не началась драка между солдатами 38-й гвардейской дивизии и новоприбывшей 290-й, которая по плану должна была занять крепость и северную окраину... Нако-

нец стали выводить гарнизон. Пункт сбора военнопленных был устроен в противоположной части города, в зданиях других казарм. Головной колонной в том строю, который встречал нас у входа, были врачи, санитары, цивильные медсестры. Их поставили первыми, чтобы знаками красного креста смягчить сердца победителей. Поэтому их первыми и повели, а две тысячи раненых остались без присмотра – молодой врач с фельдфебельскими погонами прибежал, чуть не плача.

В крепостном дворе, у входа в склад, откуда наши солдаты уже тащили ящики с повидлом, стоял привязанный к столбу оседланный конь. Я крикнул раз, другой: ”Чей конь?” и, не получив ответа, взобрался на него, припустил галопом, догнал колонну медиков и повернул ее кругом марш. Конвоиры обрадовались: они не успели как следует запастись трофеями. Наши разведчики – их отличали маскировочные зелено-пятнистые шаровары, куртки вместо шинелей, кинжалы у пояса, ходили вдоль колонны, покрикивая: ”Эй, ты, фриц, гиб ур, давай-давай”, а кое-где потрошили ранцы.

Наезжая на них конем, как милиционер у стадиона, я орал:

– Отставить мародерство! Приказ маршала Рокоссовского за мародерство – расстрел! Эти фрицы сдались добровольно. Командование обещало им неприкосновенность! Не позорьте командование и самих себя!

Галина, Бехлер и я повезли генерала Фрике и двух старших офицеров его штаба в дивизию к генералу Рахимову. Он выслушал мой рапорт, оглядев их без особого любопытства, вежливо кивнул:

– Ну и хорошо, что сдались. За это их солдаты должны им спасибо сказать... И солдатские дети и жены спасибо скажут. А мы за то скажем спасибо вам, дорогие товарищи, – он пожал нам руки – очень хорошо поработали товарищи. А теперь везите их в корпус, там знаете, сосед обижается, что мы вперед залезли, его трофеи забираем... Вот и отдайте им главный трофей.

Потом было два дня отдыха. Мы ели до отвала, пили трофейные вина и коньяки, подолгу спали. На второй день генерал Рахимов перед строем торжественно благодарил своих офицеров – командиров полков, батальонов и рот, а в заключение

благодарил нас за то, что очень помогли дивизии, так быстро, так успешно и малой кровью выполнить боевое задание. Начальник штаба прочитал приказ о награждениях и представлениях к наградам. Среди представленных были и мы: Галина и Непочилович к ордену "Отечественной войны" 2-ой степени, я – к "Отечественной войне" 1-ой степени, Бехлер – к "Красной Звезде".

Четырнадцатая глава

МАРТОВСКИЕ ИДЫ

Мы шли по мирной улице. Гражданских было уже больше, чем военных; много детей. Впереди внезапно взорвалась баррикада. Грохот. Дребезг стекол. Крики. Тонкая деревянная балка падала, жужжа, как огромный шмель, разбила балкон дома, к стене которого я припал скорчившись. Ударил в асфальт кирпич. Сзади гулкий шлепок, вскрик – и твердый удар клюнул меня в поясницу, распластав, как лягушку, на мокром тротуаре. Солдат, скрючившийся вплотную сзади, стонал – ему раздробило плечо.

Несколько секунд я боялся шевельнуть ногами – вдруг перебит позвоночник и значит, паралич до конца жизни. Когда почувствовал, что ноги движутся, встал сперва на четвереньки, потом и вовсе поднялся. Солдата унесли, а я побрел сам, блаженно ухмыляясь: – цел! Даже боль в спине показалась терпимой...

Еще несколько дней прошли как в полусне, в пестром тумане, зыбком, хмельном, горячечном. Из Грауденца Галину и меня увезли кинооператоры Влад Микоша и Миша Кочерян. Я глотал какие-то немецкие анальгетики, много пил и ходил, с трудом распрямляясь. На трое суток мы застряли в Торуне.

Мы с кинооператорами остановились в квартире их приятельницы, пожилой, печально красивой вдовы польского офицера, расстрелянного немцами в 41 году. Ее дочь и сын закончили нелегальную польскую гимназию. Вся семья и соседи принимали нас, как очень близких друзей. К нам присоединились еще трое летчиков-штурмовиков, молодой капитан, герой Советского Союза и два лейтенанта. Все эти дни и ночи мы пировали, пели, танцевали. Один из соседей, старый врач объяснил мне что контуженной спине необходимо движение.

– Пусть пан майор себя не жалеет, тогда пан Бог его пожалеет.

Это поучение мне часто вспоминалось и право же помогало еще много лет спустя.

Капитан с золотой звездочкой был веселым, артельным, парнем. Он смешно, упрямо требовал,чтобы никто не говорил о войне.

– Говори, что угодно, хоть сказки рассказывай, но давай забудем о войне.

За любое упоминание о войне, о боях полагался штраф – большой бокал коньяка без закуски. Он учил нас пить на "метры", – ставить в ряд выпитые бокалы, у кого ряд длиннее, – тот победитель.

На вторую ночь коньяк начал иссякать, хотя мы привезли ящика два. Тогда один из молодых собутыльников вспомнил, что его дядя – "пся крев, спекулянт", – натаскал из немецких складов тысячи бутылок и продает по страшным ценам. Но он знает, как проникнуть в старый гараж, где спрятаны запасы, уже не раз таскал оттуда бутылки... И если мы поможем, чтобы патрули не помешали, то взять можно, сколько захотим.

У нас не возникло сомнений. Изъять у мародера спекулянта трофейный коньяк никому не казалось греховным. Отправились на "боевую операцию" двое молодых поляков, капитан, кто-то еще из наших и я. Идти нужно было несколько кварталов, но мы не надевали шинелей, чтоб в случае встречи с патрулем убедить, что гуляем неподалеку от дома. Два ящика французского коньяка "Аквавита" мы вынесли без затруднений. По дороге встретили патруль – четырех солдат, сунули по бутылке каждому, они проводили нас и только просили не горланить... В эту развеселую ночь мою контузию усугубила еще и простуда, обострился гайморит.

После обильных хмельных застолий все засыпали, едва добравшись до постелей, иногда я не поспевал стянуть сапоги. Даже в сильном хмелю мы не позволяли себе ни вольных шуток, ни крепких выражений, ни слишком откровенных ухаживаний. Не позволили бы ни Галина, ни пани хозяйка. Она была неизменно приветлива, но иногда поглядывала строго и мы ее побаивались. И все же возникали пары, постоянно соседствовавшие за столом, постоянно танцевавшие друг с другом, иногда уходившие погулять.

На третью или на четвертую ночь у меня был жар, – не мог поднять головы, бредил. Не помню даже, как Галина и Непочи-

лович доставили меня в деревню, где находилась антифашистская школа. Там вскоре жар спал и я даже проводил занятия.

В Грауденце я в последний раз был в бою, а это был последний день в школе. Разумеется, я не думал, что он последний. Наши успехи, такие однозначные и бесспорные, казалось, должны перевесить все обвинения. Один эпизод этого дня запомнился внятно. Старостой выпуска был молодой ветеринарный врач, служивший в тыловых частях; он попал в плен совсем недавно, очень старался нравиться советским офицерам. На каждом занятии он спешил высказаться; говорил подолгу, патетично, книжно, газетными многосуставными фразами, уснащая их латинскими словечками и свежеусвоенными оборотами, вроде "неизбежная победа пролетарской революции", "гениальное руководство великого полководца генералиссимуса Сталина", "победоносные советские войска, несущие свободу Европе и Германии" и т.п.

В этот день я рассказывал об особенностях нацистской пропаганды, потом о положении на фронтах. Когда я, как обычно, закончил лекцию предложением задавать вопросы, он стал говорить, что не хочет оставаться немцем, что теперь стыдно быть немцем после всего, что немецкие солдаты наделали... Надо уезжать за океан, в Америку, в Австралию и там приобретать новую национальность... Этот простодушный, не очень умный, но довольно образованный парень говорил, возбуждаясь, в голосе подрагивали слезы. Его товарищи хмуро смотрели на него, некоторые потупились. Это были немецкие солдаты марта 45 года. Все они еще помнили фанфарные сигналы победных сообщений, читали исступленно хвастливые речи Гитлера, Геббельса, Геринга, еще недавно верили в неотвратимое торжество Великой Германии. А теперь они слышали призыв – отказаться от своей национальности.

Я вежливо прервал его речь, напомнил слова Сталина "Гитлеры приходят и уходят...", и стал объяснять, как мы – коммунисты, марксисты, понимаем свой национальный долг, – Ленин в первую мировую войну был пораженцем, хотел поражения царских армий, но он писал о национальной гордости вели-

коросcов.

...На меня смотрели сосредеточенно пристальные глаза. Скоро партбюро будет разбирать мое "дело" – обвинение в жалости к немцам. Но был же Грауденц, и нельзя из страха перед злой брехней, перед мелкой склокой отречься от правды. И эти ошарашенные войной немецкие парни должны завтра стать нашими товарищами.

– Конечно, у вас в Германии много фашистов, – в партии три миллиона. – Но ведь и среди них настоящих фанатиков значительно меньше. Как вы думаете?

– Да, да, меньше, конечно, меньше, несколько десятков тысяч было, а теперь еще меньше.

– Зато гораздо больше таких, кто были пособниками, попутчиками по глупости, из трусости, или из корысти. Но ведь огромное большинство народа, десятки миллионов немцев сами оказались жертвами гитлеровского режима, жертвами войны...

– Да, да, именно так, очень правильно... Большинство народа обмануто и обосрано... Что могут маленькие люди перед такой силой?!

– Нельзя отречься от своей нации, как нельзя отречься от себя, выпрыгнуть из себя... Такой порыв понятен. Вероятно, многие немцы испытывают нестерпимый стыд, отчаяние. И теперь с каждым днем таких немцев будет больше. Это можно понять, но этого нельзя одобрить... Когда раньше, два-три года тому назад иные немецкие антифашисты в эмиграции и на родине хотели отречься от Германии, это было в дни побед вермахта, когда флаги со свастикой торчали и на берегах Волги, за Полярным кругом и в Сахаре, когда Гитлер и Геббельс возвещали скорую победу Германии... Тогда такие порывы могли вызвать только восхищение, – их искренность подтверждалась кровью, жизнью. Немцы, которые не хотели оставаться немцами в годы побед нацизма, были героями. Но отрекаться от своей нации в годы бедствий, унижений, бесславия – это уже скорее признак малодушия. Подобных бедствий ваша родина не знала со времен Тридцатилетней войны, подобных унижений не испытывала со времен наполеоновских завоеваний. Сейчас Германии, как никогда раньше, нужны честные и сильные люди.

На несколько минут я услышал себя, ощутил, что слова,

которые произношу, начинают жить независимо, отдельно от меня. Их слушали солдаты в чужих мундирах, бывалые фронтовики, – у них жестко отвердевшие серо-темные лица, пригашенные взгляды, – и молодые новобранцы – у них лица мягче, светлее и смотрят открытее. Они – военнопленные, одни вовсе не знают, что с их родными, близкими; другие уже знают, что погибли под бомбами. Они мучительно гадают: что дома, что ждет их и их родных, их страну. Другие вообще ни о чем не думают, просто довольны, что сейчас вдали от опасностей, от смерти, не голодают, есть курево – знай только, слушай "пропаганду", пусть и чужую, обратную привычной. Солдатское правило: "живи из руки в рот", не думая о завтрашнем дне, – неизвестно ведь, доживешь ли: – не заботясь ни о чем недостижимом, чего нельзя получить, а только об этой реальной минуте: сейчас поесть до отвала, прижать ладную бабу, покурить, сменить вшивое белье, поспать, выпить сколько удастся, – а потом терпеливо жди и надейся. Может, еще раз удастся. И помни: "Die Hälfte seines Lebens wartet der Soldat vergebens" – (Максима немецких казарм: "полжизни всечасно солдат ждет напрасно".)

А я говорил им, что настоящее величие Германии никогда не создавалось оружием, не добывалось военными победами; наоборот, войны приносили немцам только бедствия и унижения, крестовые походы и религиозные междуусобицы, тридцатилетняя война и семилетняя, и наполеоновские... – Вас учили, что прусские, бисмарковские победы создали Германскую империю, могучую и процветающую, но это была мнимая мощь и тлетворное цветение... После Седана не прошло и полустолетия, а уже был Верден, крушение империи, Версальский мир. А теперь уже ясно, что новый мир будет похуже версальского... Но есть иное, настоящее величие Германии, – это величие немецкого духа, немецкого труда и немецкого разума. Вам есть чем гордиться. Немец Гутенберг изобрел книгопечатание, вот он действительно завоевал весь мир. Немцы Дюрер, Кранах и Гольбейн создавали живопись, которая столетиями радует людей разных стран и народов. Немец Мартин Лютер разбил оковы средневекового догматического мышления, обогатил ваш язык, вашу поэзию. Немцы Лейбниц, Кант, Фейербах учили мыслить все человечество. Немцы Лессинг, Гете, Шиллер,

Гельдерлин, Гейне создали всемирную славу немецкой литературе. И теперь есть прекрасные писатели, которых от вас скрывают, братья Томас Манн и Генрих Манн, Иоганнес Бехер, Берт Брехт, Анна Зегерс, Эрих Вайнерт... Немцы Бах, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Вагнер, тоже завоевали мир прекрасной музыкой... Немцы Гельмгольц, Геккель, Рентген, Фабер, Эйнштейн, – хотя нацисты изгнали его как еврея, – он такой же немец как Дизель или Цеппелин, немецкие ученые и немецкие инженеры, немецкие рабочие и немецкие крестьяне, заслужили уважение и симпатию во всех странах земли. – Потом я говорил им о тех, кого называл истинными немецкими героями – выстроил длинный ряд: Ульрих фон Гуттен, Томас Мюнцер, Флориан Гейер, немецкие якобинцы Клооц и Форстер, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, революционеры сорок восьмого года, Август Бебель, Вильгельм и Карл Либкнехты, спартаковцы, красногвардейцы двадцатых годов, Эрнст Тельман, Ион Шеер, Эдгар Андре, немецкие бойцы Интернациональных бригад в Испании, немецкие антифашисты в подполье, в советских войсках, в партизанских отрядах... Я доказывал, что все, кто видел достоинства Германии, главным образом в императорской власти, в количестве пушек, в казарменном "порядке" и в захватнических походах, кто считал главными достоинствами немецкого национального характера безропотное, "трупное" послушание, бездумную самоотверженность, были злейшими врагами немецкой культуры. И поэтому периоды наивысшего расцвета немецкого духа и немецкой культуры не случайно совпадали с временами административно-политического и военного ослабления. На рубеже 18 и 19 веков столицей немецкого духа был маленький Веймар, а международное культурное значение Берлин приобрел после поражения империи, после Версаля. Значит, и сейчас немецкие патриоты не должны отчаиваться: военное поражение гитлеровской империи не может и не должно означать поражение немецкого духа, немецкой мысли... Напротив, только теперь освободятся все ее плодотворные силы.

Снова и снова повторял я, что нельзя отрекаться от своего народа, сказал, что, если бы я был немцем, то именно теперь с особой настойчивостью утверждал бы причастность к трагической судьбе родины...

Они слушали внимательно и мне показалось, что слушают не меня, а слова, живущие сами по себе в неожиданных, непривычных сочетаниях. Давно им знакомые понятия: немецкий дух, родина, национальная честь, слава предков — звучали вперемешку с вовсе незнакомыми словами или такими, которые вчера были еще враждебны: пролетарская революция... великая правда марксизма... научный коммунизм, рожденный в Германии... гуманистическая русская культура. Они слушали так напряженно, что тишина, казалось, становилась осязаемой. Потом начали спрашивать.

— Какие территории отнимут у Германии?

— Правда ли, что всю Германию хотят сделать сплошным картофельным полем?

— А не можем ли мы присоединиться к Советскому Союзу, как одна или несколько республик, — Пруссия, Бавария, Вюртемберг?

— Ведь Англия и Америка — капиталистические страны — не начнут ли они теперь воевать с Советским Союзом?

Я отвечал, как мог, иногда отшучивался. Минуты патетической напряженности сменились обычной беседой.

...Во время следствия я все ждал, когда меня спросят об этом последнем уроке в антифашистской школе. Ведь его легко можно было истолковать, как подтверждение доносов Забаштанского и Беляева, как "прославление немецкой буржуазной культуры" и т.п. и т.д. И среди моих слушателей были же, конечно "информаторы". (СМЕРШевцы периодически навещали школу, они называли иногда Беляеву завербованных курсантов, настаивали, чтобы мы оставляли их "при школе" и во всяком случае не отправляли в части без согласования.)

Прошло несколько дней после возвращения из Грауденца. Боль в спине то отступала на час-другой, то снова нарастала. И временами наплывала тоска, безотчетная, густая, темная. Я не мог понять из-за чего, почему. В горле торчала, не проглатывалась какая-то вязкая пакость, тошнотно давило под ребрами слева.

Семнадцатого марта меня вызвали на заседание партбюро. Забаштанский говорил вяло, словно бы примирительно.

— Конечно были допущены политически неправильные

высказывания, но в последнее время товарищ майор, похоже, что осознал, в Грауденце работал хорошо.

Беляев был немногословен и признавал какие-то свои ошибки.

Я воспринял это как предложение компромисса и тоже говорил мирно, мол, товарищи неправильно поняли, я не хотел и не мог сказать ничего такого, что им показалось. Но я признавал, что бывал несдержан, недисциплинирован, нарушал субординацию.

Кроме Антоненко, среди членов бюро был только один бывший северо-западник — подполковник Голубев. Он настойчиво спрашивал, все ли я сказал, что думаю, не считаю ли я, что есть и другие причины, почему товарищи меня неправильно понимали, мол, ему кажется, что я говорю не все. О Голубеве я знал: умен, хитер, уверенно делает карьеру, постоянно спорит с Забаштанским; я подумал, что он хочет привлечь меня как союзника в склоке, а потом, разумеется, предать. И я упрямо повторял, что ничего больше сказать не могу, любое взыскание приму, как положено, буду работать и верю, что взыскание скоро снимут.

Клюева, Мулина и Гольдштейна не было — Забаштанский накануне услал их в командировки. Парторганизация нашего отдела была представлена Забаштанским, Беляевым и заместителем парторга Виктором Сборщиковым. Виктор тоже раньше был на Северо-Западном, называл себя моим другом и даже воспитанником. Кадровый связист, он в 1941 году работал техником звукозаписывающей машины, отлично знал свое дело, был всегда подтянут, неутомимо прилежен, аккуратен, добросовестно исполнял приказы и просьбы. Мне нравился его суховатый юмор. С начальством он разговаривал "по-воински" вежливо, без подобострастия и не боялся отстаивать свое мнение. Я помогал ему учить немецкий язык, настойчиво добивался, чтобы его повышали в званиях и должностях, писал наградные листы. Нас вместе приняли в кандидаты партии в начале 1943 года, но к 1945 году он уже был членом, а я все еще оставался кандидатом. Увидев его на заседании партбюро, я воспринял это как добрый знак. Виктор заменял уехавшего в командировку парторга Клюева, который во всем подчинялся Забаштанскому.

Однако именно Сборщиков спокойно и деловито сказал: "Предлагаю исключить из кандидатов партии". Это было жестокой неожиданностью. Не первой и не последней.

Уже на следующий день, – 18 марта было общее собрание. Меня с утра знобило, измерил температуру – 39, с трудом ходил.

Когда вызвали "объяснить партийному собранию", я говорил довольно бессвязно, повторял то же, что говорил накануне: "Меня неправильно поняли. Почему? Не знаю, не могу представить. Признаю, допускал ошибки, был несдержан, недисциплинирован, недостаточно четко выражался... Но не было у меня сомнения в линии партии и верховного командования. И не жалел я немцев, а тревожился за мораль и дисциплину нашей армии. Объективно я, может быть, ошибался, но субъективно хотел как лучше".

Забаштанский и Беляев, напротив, говорили по-другому, решительно и совсем безоговорочно. Забаштанский, скорбно придыхая, рассказывал. Сказал, что я „дружил со шпионами Дитером В. и Гансом Р.", и когда их отсылали в Москву, вступил в пререкания и написал им такие хорошие характеристики – „хоть ордена и медали давай". А теперь их, конечно, арестовали с его характеристиками.

Я крикнул с места:

– Это неправда!

На меня зашикали, а генерал Окороков сказал: "Вот он, правдолюбец, видите, какую правду ему надо, шпионов защищать".

Забаштанский снова и снова призывал "вскрыть корни", "разоблачить идеологически враждебную почву", "он же всю жизнь учился, когда мы боролись и работали, а у кого учился? Чему научился?"

Беляев каялся, что допустил "притупление", ведь я сам, мол, ему признавался, что у меня дома очень много немецких книг, журналов и газет еще с давних пор, – там "Роте фане" и другие, а он, Беляев, увы, "недопонимал, что это есть явные свидетельства идеологического разложения, связей с чуждой, враждебной, мелкобуржуазной, или даже имен-

но буржуазной немецкой идеологией".

Потом говорил председатель парткомиссии. Он долго, скрипуче и заунывно читал вслух целые страницы из Ленина и Сталина. И толковал о моих демагогических уловках насчет противопоставления "объективно" и "субъективно", возводя эти уловки, кажется, к Бухарину и Троцкому.

Я соображал все хуже. Участники собрания почти никого не слушали, тихо переговаривались, выходили покурить. Председательствующий несколько раз призывал к порядку. Последним говорил генерал Окороков: "Мы с ним долго возились еще на Северо-Западном... Он там заимел репутацию этакого, знаете ли, чудаковатого храбреца-молодца, Дон Кихота, что ли. И хотя дисциплина была неважная, но зато считалось, что всем правду матку режет, никакого начальства не признает. Как же, он, видите ли, ученый, кандидат наук, на разных языках говорит, профессор у этих – как их – антифашистов; немцы его слушаются. Но теперь приходится серьезно задуматься, каких он там антифашистов наготовил... Чему их учил?.. Если сам оказался со шпионами друг-приятель... Мы с ним за эти годы возились, воспитывали, выговор дали, потом сняли. Мы надеялись, что можно перевоспитать, пересилить эту его мелкобуржуазную сердцевину, родимые пятна буржуазно интеллигентского сознания. Ведь все эти вихляния отчего? Оттого, что нет пролетарской закалки, нет партийного стержня. Отсюда я его Гамлетом Щигровского уезда называл... Но теперь все ясно. Это не просто вихляния-колебания, не случайные заскоки или остатки чуждых идеологий, – нет, это система! Да, да, именно система взглядов, то, что называется мировоззрением. Мировоззрение глубоко нам чуждое, даже враждебное. Тут говорили „субъективно-объективно". Я это понимаю так – субъективно он может воображать себя героем, ученым, профессором для антифашистов... Но объективно он, конечно, никакой не коммунист, и даже не советский офицер, не русский и не еврей, а немецкий агент в нашей среде... Вот это и есть реальная объективность..."

Генерал кончил и стал ковырять в своей трубочке. Вокруг меня люди в таких же мундирах, как и на мне. Кое-кто поглядывал с жалостливым любопытством, другие – презрительно, враждебно. Большинство же просто скучало, тя-

готилось. Было поздно, душно в тесном помещении – кажется, школьный класс, – ораторы говорили подолгу и нудно.

Слова Окорокова ударили тяжело, но как-то глухо, будто через толстое ватное одеяло. Боль сверлила поясницу. Болела голова, глаза, скулы, удушливый жар перехватывал гортань, а в носу – гнилостное зловоние – гайморит...

В эти минуты я больше всего боялся упасть, застонать. Подумают: симулирует, на жалость берет. Понимал только одно – сопротивляться невозможно, бесполезно. Генерал за что-то рассердился, видно, Забаштанский опять накрутил какие-то пакости, чтобы спровоцировать, рассчитывая вызвать меня на отчаянную резкость... Когда председательствующий спросил: "Имеете ли что сказать?", я ответил – "нет". А потом, стараясь, чтоб получилось спокойно, выдавил: "Прошу разрешения уйти с собрания, я болен". Как разрешили, – кажется, даже голосовали, – не помню, уходил, думая только о том, чтоб не гнуться, не крючиться от боли, не свалиться. Когда вышел на улицу споткнулся в темноте, надевая шинель, Несколько минут лежал в кювете щекой к холодной, влажной и жесткой прошлогодней траве. Не хотелось вставать. Медленно добрел до дома, где ночевал. Не помню никого рядом. Казалось, там все были чужие; принял огромное количество порошков, ночью потел, метался. На утро жар спал, но боли в спине не отставали и я шатался от слабости. Днем вызвали на парткомиссию. Там все прошло быстро. Я отдал кандидатскую карточку. Написал в парткомиссию Главного Политуправления. Просил не исключать, – Не могу жить без партии, – отрицал все обвинения, доказывал их абсурдность, взывал к фактам, – ведь там в Главпуре знали, что ни Дитер В., ни Ганс Р. не шпионы, не арестованы – уже одна эта ложь должна открыть глаза на лживость моих обличителей, – взывал к здравому смыслу...

К вечеру опять начался жар. Меня отправили в госпиталь, в канцелярии дали большой засургученный пакет – личное дело; после госпиталя отправитесь в отдел резерва. Это значило, что я снят с работы.

Пятнадцатая глава

БДИТЕЛЬНЫЙ МУЛИН

Летом 1944 года в Политуправление 2-го Белорусского фронта на должность начальника РИО (т.е. редакционно-издательского отделения "Отдела по работе среди войск противника") прислали из Москвы старшего лейтенанта административной службы Владимира Мулина. В начале войны он работал в отделе на Калининском фронте. Но оттуда его отчислили с выговором. Об этом он говорил печально и туманно. – „Были допущены некоторые ошибки... Правда, я сам отчасти сигнализировал. Но все же несу ответственность, как коммунист... Хотя и в меньшей мере, чем другие..."

Он как-то заслужил особую снисходительность: – после отчисления с выговором его все же назначили одним из редакторов немецкого радиовещания в Москве.

Начальник Политуправления генерал-лейтенант Окороков был весьма недоволен, что в его аппарат, на такую ответственную должность прислали всего лишь старшего лейтенанта, да еще "с узкими погонами". В этом он усмотрел недостаточное уважение к себе. Он вызвал меня:

– Хочу назначить тебя на РИО; сам добьюсь в Главпуре, чтоб утвердили. Ты наш кадр. Мы тебя вырастили.

К тому временя я уже достаточно хорошо знал, что это значит – начальничать в РИО: – все время торчать в Управлении на глазах у генерала, его замов и помов. Бежать, сломя голову, по вызовам то к нему, то в Военный совет, то в штаб фронта, докладывать, выслушивать бесполезные, – хорошо, если только глупые, – приказания, "установки", разносы; каждый день согласовывать, "подрабатывать" и утверждать вороха пустопорожней писанины –планы, отчеты, обзоры, тексты листовок, звукопередач и т.п. И все время упорно, терпеливо, – и, как правило, тщетно–доказывать самоуверенным невеждам, что дважды два – четыре, что мы должны агитировать немцев, а не развлекать фронтовое и московское начальство... К тому же необходимо

было возиться с ведомостями, сметами, аттестатами, разбирать склоки, налаживать отношения с интендантами, техниками, помнить о Главном Управлении в Москве... Как отвратительны были иные зажиревшие, чванные деляги фронтовых и армейских тыловых управлений. Они не знали ни опасностей, ни сложных трудных забот настоящего фронта, не знали бедствий, лишений и тяжкой исступленной работы гражданского тыла. Для них война была "не мачеха, а родная мамаша". Они числились фронтовиками, получали "доппайки" и "полевые", очень быстро, — куда быстрее, чем иные многажды раненные боевые командиры, — продвигались в званиях. К каждому празднику, после каждого наступления они получали орден или медаль. Побывав в командировке на КП армии, где слышна артиллерия, они потом еще долго, кстати и некстати, вспоминали, сурово хмурясь: — "когда я давеча был на передовой..."

Но всего этого не скажешь генералу. И нельзя же признаться, что мне противно такое почетное и лестное предложение. Поэтому "делаю голубые глаза".

— Простите, товарищ генерал, но это невозможно... Ведь я только кандидат, к тому же передержанный, с выговором. Вы же сами знаете...

— Ну, это моя забота. Выговор пора снять. За неделю оформим. А через месяц будешь членом. Я тебе рекомендацию дам.

— Благодарю. Буду очень рад... Но с должностью начальника РИО я все равно не справлюсь. У меня нет организаторских способностей.

— Врешь! Весной почти месяц всем отделом заворачивал, и ничего, справлялся.

— Так ведь это же было в резерве, какая там работа. А на фронте я зашьюсь. Я умею работать на конкретном участке, — в дивизии, со звуковкой, в боевой группе. Ну, там провести занятия в антифашистской школе, обработать одного-нескольких фрицев, написать листовку, организовать разведпоиск... Это, скажу без ложной скромности, умею и люблю. Но никакой административной работы и не умею и не люблю. Значит, и не осилю.

— Ты коммунист. Что партия приказывает — свято. Куда назначат, там и давай жизни. Может, я тоже предпочи-

таю командовать полком, а не портить тут с вами нервы.

Как бы не улыбнуться, представив себе нашего генерала, подслеповатого, с брюшком, отвисшим от сидения во всяческих президиумах, говорливого и трусоватого, лихим командиром полка.

– Все понимаю, товарищ генерал. Но ведь партии не выгодно назначать сапожника пирожником, а пирожника сапожником. Я так и докладываю вам, потому что думаю об интересах партии и фронта. Говорю чистосердечно, по совести: – не могу справиться с этой должностью.

– А этот лейтенант административный может?

– Не знаю. Я его только один раз видел, едва с ним говорил. Надо спросить его самого, а еще лучше тех, кто с ним раньше работал.

– Нет у нас времени на расспросы. Наступление идет. Значит, не хочешь?

– Не хочу, потому что не могу.

– Подумай еще – даю сутки на размышление. Завтра вызову.

Назавтра генерал меня не вызвал. Я отправился в очередную поездку, а когда вернулся недели через две, Мулин был уже начальником РИО и вскоре щеголял в широких капитанских погонах.

Я бесстыдно соврал, когда сказал генералу, что не знаю, годится ли Мулин для этой должности. Соврал из чистейшего эгоизма, чтобы избавиться от лишних разговоров и хлопот. Хоть тогда старался думать, что поступаю так в интересах дела. В действительности я с первого же дня испытывал к нему острую неприязнь.

Он был долговяз, длиннолиц, хрящеватый нос чуть свернут, – объяснял,что увлекался боксом. Ходил, пригибаясь, правым плечом вперед, носками внутрь, – видимо, тоже по-боксерски. Тусклые глаза норовили смотреть проникновенно, открыто, "душа нараспашку". Обо всем говорил уверенно и многозначительно: он посвященный, либо злился и старался изобличить несогласного в политической ошибке...

Мы сцепились в первый раз, когда он уж очень хвастливо рассказывал о своей работе на радио. Я заметил, что немецкое радиовещание из Москвы велось бездарно, особенно

в начале войны. Тогда передавали главным образом плохо переведенные тексты из наших газет, фантастические сводки об уничтожении немецких дивизий и полков, – даже таких, которые еще не успели дойти до фронта, – и топорные переводы фельетонов Эренбурга. К тому же, некоторые дикторы говорили с ярко выраженным еврейским акцентом.

Мулин возражал обиженно, и с многозначительным угрожающим недоумением.

– Я вас не понимаю. Что же это, по-вашему, выходит, наши газеты, наше информбюро давали неверные сообщения? Или вы хотите, чтобы мы ориентировались на фрицевскую идеологию? И, может быть, надо подбирать кадры по арийским признакам?

– А вы кого же хотите агитировать и пропагандировать – фрицев или свое начальство?.. За что, вы думаете, нам здесь народные деньги платят? За что нас фронтовыми пайками кормят, одевают, от снарядов берегут? Только, чтобы мы себе душу отводили и тешили начальство бойкими отчетами? Мы должны разлагать немецкую армию, понимаете? Разлагать, а это значит, убеждать фрицев, привлекать их внимание, завоевывать их доверие...

– Устрашать мы их должны и бороться за наши идеи.

– Бороться за идеи, значит, внушать их другим, тем, кто их не разделяет или не знает. А вы агитируете только тех, кто уже давно сагитирован, и, может быть, получше нас... А чтобы устрашать, надо, чтобы те, кого вы хотите пугать, не сомневались в серьезности угроз. Но ваше радио может только смешить, а не устрашать. Оно не пугает немцев, а злит или возбуждает презрение. И к тому же устрашать надо тоже с толком, а то можно так их напугать, что они станут драться до последнего. А мы хотим, чтобы они в плен сдавались.

– Уничтожать их нужно. Товарищ Сталин сказал: "Уничтожить немецких оккупантов всех до единого". Я их ненавижу, как все советские патриоты и не желаю к ним приспосабливаться.

– Так какого же хрена вы агитацией занимаетесь? Идите в разведку, в пехоту, в артиллерию и там уничтожайте на здоровье. Правда, они, гады, не хотят уничтожаться безропотно, можно и сдачи получить. Видно поэтому ваша ненависть остается теоретической и перекидывается на про-

паганду. Но так вы только своим вредите. Такие агитаторы лишь озлобляют фрицев и, значит, укрепляют их политико-моральное состояние. Понимаете – укрепляет! Ваше радио по сути больше на Геббельса работало, чем на нас.

– Это злостная демагогия. Это политическое обвинение!.. Вы понимаете, что говорите?..

Такими перепалками началось наше знакомство. Мулин слыхал, что меня прочили на его место. Не верил, разумеется, что я искренне отказывался и мою неприязнь объяснял по-своему – завидует, подсиживает, дискредитирует соперника. Позднее он, вероятно, все же сообразил, что это не так. Убедившись, что почти все работники отдела связаны между собой давним товариществом, он стал к нам применяться. Приходил и ко мне громогласно "просить помощи", "советоваться". На собрании партгруппы, когда у меня снимали выговор , он с восторженным придыханием говорил о моих заслугах и достоинствах. Тем более убедительно должны были прозвучать при этом дружелюбно-озабоченные, укоризненные замечания о "недостатке внутренней дисциплины", "излишней самоуверенности", "либеральном отношении к пленным", элементах "партизанщины и панибратства с подчиненными"...

В следственном деле показаний Мулина не было, во всяком случае в "открытой части", которую я смотрел. "Закрытого" приложения – то есть материалы стукачей, на которые иногда ссылался следователь, – мне, разумеется, не показали.

В 1955 году, когда, отбыв срок, я вышел на свободу и в Москве хлопотал о реабилитации, мне в очередной раз отказали. Прокуратура МВО ссылалась все на тот же разговор с Забаштанским, на мои "прямые антисоветские высказывания". Тогда я позвонил Мулину. Он поздоровался нарочито приветливо: – А, жив-здоров, очень рад! Где собираешься работать?

Я сказал, что мне нужно его правдивое свидетельство о разговоре с Забаштанским, письменное или устное. Ведь

он знает, что я ничего подобного не говорил и не мог говорить.

– Какой разговор? Не помню что-то. Разве я тогда присутствовал?

– Да, и ты, и Гольдштейн и Клюев. Гольдштейн это подтверждал еще в объяснительной записке парткому. Не верю, что ты мог забыть. Крик был сверх необычайный и ведь из партии меня выгнали именно за этот разговор и посадили за него же.

– Ты не нервничай, не нервничай. Я вспомню, подумаю, позвони мне завтра в это же время...

Ни завтра, ни послезавтра он к телефону не подходил. Но потом я все же застиг его у трубки. Голос был другой, сухой, напряженный.

– Ах, это ты? Да, да, я вспомнил, подумал... Вот что я тебе скажу открыто, по-партийному. Ты знаешь, что я никогда не одобрял твоего поведения, твоих высказываний. Ну, тогда, там, конечно, перегнули. Но ведь сейчас ты уже на свободе. А я не считаю возможным выступать в твою защиту...

– А я у тебя просил не защиты, а только правдивого свидетельства. Но так пожалуй лучше. Даже просто хорошо. Было бы просто очень неприятно хоть чем-нибудь быть тебе обязанным.

При создании моего дела Мулин действовал, видимо, как главный помощник Забаштанского, но действовал трусливо, скрытно. В другом деле, которое развернулось почти одновременно с моим, он чувствовал себя более уверенно и выступал откровенно.

С весны 1944 года у нас работал художник Вадим. Талантливый рисовальщик, уже немолодой, несколько чудаковатый. Был он сдержан и независим, не лез на глаза начальству, иронически относился к "игре в солдатики" – козырянию, щелканью каблуками. Должно быть, отчасти и поэтому он, хотя и был на фронте с самого начала войны, на четвертом году стал только старшиной. Там, где он служил раньше, вольномыслия не поощряли. У нас на Северо-Западном установились иные нравы. Мы называли друг друга по имени или по имени-отчеству; споря и даже ругаясь всерьез, никогда не вспоминали о преимуществах чинов и

званий. И все северо-западники — майоры, капитаны, старшие лейтенанты приняли старшину Вадима как товарища.

А Мулин возненавидел его. Возненавидел за талант, интеллигентность и независимость, за явное пренебрежение к должностям, чинам, наградам, к благосклонности начальства, — ко всему, что он сам чтил страстно и подобострастно. Мулин чувствовал, как Вадим его презирает. Мулина презирали почти все наши "старики". Но другие были офицерами, членами или кандидатами партии, фронтовиками, то и дело выезжали на передовую; а Вадим — беспартийный старшина, был так же, как и Мулин привязан к штабным тылам и для кадровых политработников, составлявших большинство во всех отделах управления, Вадим был человеком чужого, "богемного" — непонятного и, значит, враждебного, — мира. Зная это, Мулин постоянно придирался к нему, злобно кричал: "Почему не встаете, когда входит офицер? Распустились... Кто вам разрешил сесть?"

Он орал на него и в редакции, когда просматривал его эскизы листовок, браковал их, нелепо, грубо, ничего не объясняя. Попытки возразить обрывал криком: "Не разговаривать... Вам приказано... Здесь не московское кафе, не клуб художников".

Он был достаточно хитер, и разыгрывал подобные сцены только при таких свидетелях, которые не могли помешать. Мне он жаловался на Вадима.

— Этот старшина — типичная богема. Распущенность, никакой дисциплины! Ну и что, что талант? Значит, тем более, вредны его фокусы, формализм и анархия... Ты не заступайся за него, а лучше постарайся повлиять. Он, кажется, с тобой считается. Объясни, что такое армейский порядок, он старшина и не смеет вести себя так перед офицерами. Ему хуже будет, если кто со стороны заметит... Если ты к нему хорошо относишься, ты должен предостеречь...

Я говорил об этом Вадиму, тот соглашался, что лучше с говном не связываться, обещал сдерживаться.

Но Мулин преследовал его, кроме всего прочего еще и "в назидание" своим непосредственным подчиненным: инструкторам-литераторам, канцеляристам и типографщикам.

Инструкторов-литераторов было двое. Майор Гольдштейн — угольно-смуглый, флегматичный, всегда будто сонный.

Он отлично владел немецким языком, особенно хорошо речью газет и армейских канцелярий, работал безотказно, любил выпить и неспеша пофилософствовать "об жизни и мировой истории". Капитан Михаил К. – ленинградский учитель – высокий, тонкий с юношеским румянцем, очень вежливый, деликатный, очень добросовестный, однако настолько застенчивый, что казался иногда неуверенным в себе. Они оба дружили с Вадимом.

Мулин ощущал их неприязнь и неуважение и хотел подавить, переломить. Чем увереннее он чувствовал себя в отделе, чем ближе сходился с начальством, тем наглее действовал.

В феврале 1945 года он вошел в комнату, где жили Гольдштейн и Вадим и застал веселое общество. Несколько гостей офицеров из армий и других отделов распивали трофейный коньяк.

Мулин заорал на Вадима – "Встать!" Тот поглядел на него и молча отвернулся. Он уже порядком выпил. Все присутствовавшие дружно загалдели:

– Иди, иди, Мулин. Чего ты прицепился, хочешь выпить, пей, а нет, иди на фиг.

Мулин стал кричать, что нарушение воинской дисциплины за рубежами родины двойное преступление. – Я приказываю... Невыполнение приказа на фронте – расстрел...

Хмельные гости не принимали всерьез. Одни смеялись: "Во–дает жизни капитан... Не сердись, печенка лопнет. На похмелись. Иди проветрись, проспись..." Другие сердито отмахивались: "Заткнись, горлохват... Иди, не ной, вино скисает... Катись к ... матери, трепач..." Миролюбивые уговаривали: "Да брось ты, ну, никто никого не трогает, ну, выпьем еще немного и разойдемся... А Вадим свой парень и сейчас не служебное время..."

Но Мулин только распалялся и лез к Вадиму.

– Встать! Я приказываю встать, как положено...

Вадим, не обращая на него внимания, продолжал разговаривать с соседом. Тогда Мулин, побагровевший от ярости, бросился к нему, схватил за ворот, за грудь, попытался вытащить из-за стола. Вадим оттолкнул его. Он заорал:

– Он ударил меня! Он ударил офицера! Арестовать!

Несколько человек вскочили и оттеснили его к двери.

Кто сердито, кто насмешливо, кто с пьяным дружелюбием уговаривали не устраивать скандалов. Он побледнел, схватился за кобуру.

– Ах так, ах так... Ну, ладно...

Через полчаса комендантский патруль арестовал Вадима и через несколько дней его судил трибунал. Свидетелем был Мулин и еще кто-то из предложенных им "очевидцев". Вадима осудили и отправили в штрафную роту. Он был на фронте с октября 1941 года и погиб в последние недели войны. Мулин остался цел, его награждали, повышали в званиях. Позже его демобилизовали. А в 1952 году его уволили из какой-то московской редакции, как еврея. И позднее он числился "пострадавшим от культа". В 1955 году он стал заведующим отдела в "Учительской газете". Именно туда я звонил, тщетно пытаясь получить от него правдивое свидетельство. Там он "боролся" против ревизионистов, абстрактных гуманистов, "твистунов", поклонников Евтушенко и Аксенова, "тунеядцев", абстракционистов и т.д., так же назойливо и так же бездарно, как прежде обличал врагов народа, космополитов-низкопоклонников и т.д.

Мулин олицетворяет очень характерный тип "шибко идейного" деятеля, способного, но не умного, сообразительного, но бездарного и тем более самодовольного и самоуверенного. Такие, как правило, занимают полуруководящие должности, состоят при ком-то. Настоящие начальники "высокой номенклатуры" обычно не так суетливы, хамят более уверенно, а мулины уже только подражают. Этот Мулин к тому же принадлежал к особому еврейскому подтипу этого типа. Иные мальчики из еврейских семей или даже "бывшие вундеркинды", с пионерских лет старались особой активностью загладить недостатки социального происхождения и, поработав с годик токарями или слесарями, – "поварившись в рабочем котле", вступали на путь общественно-политической карьеры...

Впрочем, бывали среди них и сыновья рабочих и крестьян, скромных интеллигентов или старых большевиков,

либо воспитанники детдомов. Но чаще всего это были именно ревностные перебежчики, выходцы из буржуазных, дворянских или полбуржуазных квази-интеллигентных, консервативно мещанских семейств.

В двадцатые годы мулины щеголяли клешами, кожаными куртками и жаргоном братишек, издевались над гнилой интеллигенцией, над мещанскими предрассудками единобрачия и чистоплотности, обличали "академизм" студентов, которые учились всерьез, преследовали пижонов, осмелившихся носить галстуки и гладить брюки.

Случалось, что иные из мулиных ошибались и, поспешая за руководящим авторитетом, оказывались среди так называемых троцкистов или бухаринцев. Но, разумеется, только на первых порах; они никогда не оставались с теми, кто проигрывал.

В начале тридцатых годов мулины рядились в юнгштурмовки и гимнастерки, "болели душой" за пятилетку, охотились на классово чуждых, на вредителей, подкулачников, предельщиков, на троцкистскую контрабанду. Позднее они яростно разоблачали врагов народа и всех повинных "в связях" или "притуплении бдительности".

Разумеется, бывали жертвы и среди них. Сталинские опричники в 1937-39гг. и 1949-52гг. крушили все вокруг так неистово, что иногда, невольно превращались в орудия слепой Фемиды. Тогда и многих мулиных затягивало в кровавые омуты вслед за Ягодой и Ежовым, вслед за позавчерашними палачами, которых шлепали вчерашние, а потом сами подставляли затылки наганам очередной смены. (Некоторых представителей еврейского подвида помяло в сухих погромах последних сталинских лет. Но живучие курилки быстро отряхивались и становились наиболее ретивыми из присяжных лжесвидетелей, убеждая доверчивых иностранцев, что никакого антисемитизма у нас нет, не было и не может быть.)

Всякий раз, когда Жданов, Александров, Ильичев и другие учиняли охоту с гончими на "идеологических диверсантов", на "иностранщину", на абстракционизм и ревизио-

низм и, трубя в газетные рога, вопили: "ату, низкопоклонников, у-лю-лю, антипатриотов, хватай буржуазных гуманистов!", то в первых рядах доезжачих и загонщиков, в сворах самых натасканных борзых и лягавых до хрипу заливались и надрывались разномастные мулины. Они выкладывались, не щадя сил, побаиваясь, как бы их самих не задрали взбесившиеся собратья, что, впрочем, бывало. Но иногда они и впрямь искренне верили в необходимость очередной травли. Потому что привыкли всегда безоговорочно доверять всему нисходящему "сверху", из "директивных инстанций" и мазохистски наслаждались поучительными пинками начальственных сапог, отеческими шлепками руководящих нагаек. Потому что для мулиных главное – чтоб было начальство, чтоб были нормы, уставы, догматы. Пусть их формы и содержания меняются. Вчера кричали о сталинских, сегодня говорят о ленинских нормах. Некогда толковали о революционной пролетарской морали, потом о морали народной, истинно русской, позднее о моральном кодексе коммунизма... Все может изменяться. Важно только, чтобы любые перемены были "спущены сверху", стали "четкой установкой". А главное, разумеется, чтобы мулиным жилось хорошо, чтоб они пристраивались возможно ближе к управляющим верхам и могли приказывать, наставлять, разоблачать, "прорабатывать", "песочить", "вкладывать ума", "подтягивать" и т.п., и заслуженно радоваться жизни.

Третья часть

СЛЕДСТВИЕ ИДЕТ

Шестнадцатая глава

ВСКРЫВАЕМ КОРНИ

В Тухельской тюрьме пробыл я не больше двух недель. За это время капитан Пошехонов вызывал меня два раза. Второй раз только чтоб подписать протокол. На вопрос, сколько придется ждать, заметил приветливо, – едва ли не подмигнув, – что ж, может на первое мая и выпьем вместе.

Вначале я не мог есть баланду, которую давали два раза в день в консервных банках – жидкое пшенное пойло, вонявшее машинным маслом. Ел только хлеб и сахар. Наступило девятое апреля, мой день рождения. Накануне я сказал об этом Борису Петровичу – вот они 33 года, возраст распятого Христа. Очень тоскливо было.

Утром Петр Викентьевич поднес мне подарок от камеры – фунтик сахара. Одиннадцать порций... Это была первая радость в тюрьме, внезапное ощущение душевной теплоты, исходившей от людей, которым и самим-то невесело, тревожно, голодно, а вот они подумали о другом, чтобы как-то согреть и осветить ему особенно сумрачный день. После завтрака дежурный по тюрьме разрешил мне взять из чемодана табак и консервы – там было несколько банок. Мы устроили общекамерное пиршество...

Но дней через десять я уже с аппетитом уплетал баланду и чтобы выгребать все зернышки, обзавелся, как все, широкой щепкой, обстругав ее куском стекла.

Прошло недели две. Приказ всем выходить с вещами. Тюрьма двигалась вслед за фронтом "вперед на запад". Нас сажали в открытый грузовик.

– Раскорячь ноги!... Садись следующий, жмись к заднему. Раскорячь... следующий, жмись.

По два конвоира с автоматами на бортах, двое с собакой на скамеечках сзади.

– Не разговаривать! Не вертеться, попытка встать считается побег, конвой стреляет без предупреждения!

Ехали долго. Солнце пригревало уже по-настоящему. Мне удавалось, вытягивая голову, увидеть молодую зелень

на полях, на придорожных деревьях. Иногда теплый ветер приносил запахи еще сырой, зябкой, но уже нагревающейся земли.

На дороге было шумно, нас то и дело обгоняли машины, целые колонны машин с солдатами, или мы обгоняли скрежещущие, воющие, чадящие танки, артиллерию, топочущие колонны пехоты.

Иногда слышались крики:

– Власовцев везете? Чего их возить... Дайте нам. Шпионы. Гады... вашу мать, вешать всех!..

Первые ощущения от поездки, от солнца, ветра, от дорожного гомона были такими ласковыми, так безобидно радовали, что я пытался не думать о том, что вот этот автомат в руках очень молодого курносого паренька с тремя полосами за ранение, "Красной звездой" и несколькими медалями, направлен в меня и что еду вслед за фронтом, затиснутый в одну кучу с власовцами, шпионами, фашистами. Как назло, большинство моих приятелей из 8-й камеры были в другой машине, зато в моей оказалось несколько жандармов.

Проезжали немецкие городки. Конвоиры читали названия: Шнайдемюль... Едем по Померании... И любопытно и горько. Наконец въехал в немецкие края. Но как? Стараюсь глядеть по сторонам. Конвоиры, разомлев от солнца, уже не придираются. К тому же слышали, что кто-то из нашей камеры назвал меня "майор"... Спросили, откуда?.. За что? В плену не был... с начальством поругался?.. Наши "хиви" тоже разговорились с ними, выпросили махорки...

В немецких городках все меньше разрушений, видим "гражданских" мужчин и женщин, спокойно идущих по улицам. Несколько раз проехали мимо бронзовых или чугунных памятников – некоторые еще стояли – другие валялись, беспомощно топорщась копытами и хвостами – все они были похожи друг на друга (так же, как на них всех похож Юрий Долгорукий, воздвигнутый на Советской площади в Москве). Иногда удавалось заметить – каска и густые усы – Бисмарк; каска и бакенбарды – Вильгельм Первый... У одного такого темно-бронзового конника в Вильгельмсбурге или Фридрихсбурге сворачиваем с шоссе, едем узкой дорогой-аллеей, вкатываемся в густой лесок, высокая ограда, кирпично-чугунная, двор, усадьба, парк... Здесь выгружаемся.

Длинное двухэтажное здание, белое с темной металлической крышей, с башенками и пристройками. Над входом разбитый мраморный щит – герб.

Нас загоняют в большое полуподвальное помещение. Садись!.. Садимся на пол. Начинается перекличка. У стола тюремные чины и стопа бумаг.

Всем распоряжается начальник тюрьмы, старший лейтенант Н. Впервые наблюдаю то, что потом повторится множество десятков раз. Выкликают фамилию; отвечая, нужно назвать имя, отчество, статью, срок или "следственный".

Начальник тюрьмы слушает перекличку, сидя верхом на стуле с папиросой в зубах. При каждом ответе коротко разъясняет смысл статьи, то ли обучает своих подчиненных, то ли сам упражняется для "повышения квалификации".

– 58 пункт 1 бэ, следственный.

– Изменник родины, военный.

– 58 пункт шесть, десять лет...

– Шпион.

– 136, следственный.

– Убийца.

– 193 пункт один, восемь лет.

– Дезертир...

– 58, пункт три... следственный.

– Пособник врага.

– 58 пункт четыре, следственный.

– Пособник мировой буржуазии.

– 162, один год.

– Вор...

– 58 один пункт а, следственный,

– Изменник родины; гражданский.

И снова 58 один бэ, и снова, и снова... следственный, десять лет – восемь лет – следственный...

Подходит моя очередь.

– 58 пункт 10, следственный,

Начальник тюрьмы так же уверенно и поучительно. – Антисоветчик.

– Неправда! Меня оклеветали и следствие должно все выяснить.

Он приподнялся на стуле, вглядывается:

– Ага, это вы... Знакомый... Значит, все доказываете?

– И докажу.

– Ну, ладно... Только без разговорчиков...

Потом разводят по камерам. Входим через главный подъезд. Полукруглый зал, как театральное фойе, на стенах рога оленей, кабаньи морды... Чучело медведя свалено в углу. На белом фронтоне, над входом во внутренние помещения, в коридор и к широкой лестнице на второй этаж – большими, черными с золотом, готическими буквами, длинная цитата из Арндта – что-то о благородном назначении прусского дворянина.

Наша камера – первая комната по коридору справа. Два больших окна без стекол забиты снаружи толстыми досками, только на самом верху оставлен просвет, форточка, затянутая колючей проволокой. На белой крашеной двери снаружи набит засов с висячим замком и прорублено неровное отверстие "глазок", прикрытый куском фанеры. В комнате пусто, ни скамьи, ни соломы. В углу железный бак из-под бензина с выбитым дном, оправленный грубыми деревянными скобами, чтобы носить – параша. Поверху одной стены чернозолотая надпись о прусских доблестях.

Из прежней камеры со мной оказались только Тадеуш, староста Петр Викентьевич и блатной Мишка Залкинд из Ростова. Его привели к нам накануне отправки. Толстомордый, прыщавый, с маленькими быстрыми глазками, тесно жмущимися к мясистому носу, он вошел в камеру, заломив кубанку на затылок, пританцовывая, и гнусаво напевая:

Разменяйте мине десять миллионов
И купите билет на Ростов...

Сказал, что разведчик; бесстыдно врал о своих воинских подвигах, а посадили его якобы за то, что он по пьянке ударил начальника. На перекличке он назвал 175-ю статью, т.е. бандитизм. Он хорошо знал многие тюрьмы и лагеря Союза.

В камере было все время полутемно и прохладно, к утру тянуло сырым сквозняком. Все лежали на полу на шинелях, на куртках. Мы с Тадеушем подстелили его польско-немецкую шинель и укрылись моей.

На второй день опять мою голову сжимало будто раскаленным обручем. Возобновился гайморит, вывезенный

еще из старорусских болот, гнойный насморк. Утром на поверке я сказал дежурному, что болен. Через несколько часов пришел фельдшер, — плечистый лейтенант, флегматичный, рассеянный, измерил температуру: больше 38 — дал таблеток. Выпить нужно было при нем. В тюрьме не положено оставлять лекарство на руках у заключенного. — Компресс? — Вряд ли стоит. — Здесь сквозит, спите на полу. После компресса еще хуже простынете. Лучше просто не снимайте шапки...

На некоторое время боль ослабела. Потом к ночи опять усилилась и жар, видимо, нарастал. Тадеуш наутро рассказывал, что я бредил, кричал, ругался по-русски и по-немецки. На следующий день повторилось то же. Днем — 38,5-38,6. Фельдшер принес таблетки. Облегчение. К ночи опять боль, словно выдавливают глаза из орбит. Жар. Тошнота.

В эту ночь вызвали на допрос. Привели на второй этаж по узкому коридору, заставленному шкафами. Квадратная полутемная комната, столик с лампочкой, в стороне диван. Лампа ярко светит, но в сторону от стола, не видно, кто за ним сидит. Подхожу ближе. Резкий, скрипучий, незнакомый голос.

— Не подходите. Садитесь вон там.

У стены, шагах в десяти от стола, между дверью и печкой ярко освещенный стул. Сажусь.

— Вы что, не проснулись... Почему не снимаете шапку?

— Я болен. У меня жар, гнойное воспаление гайморовых полостей.

— Здесь не больница, а следственная тюрьма. Вы должны уважать. Снимите шапку.

— Я не приговорен к смерти и не хочу кончать самоубийством. У меня жар и воспаление. Голова должна быть в тепле. Здесь не при чем уважение.

Он помолчал.

— Ладно. Следствие по вашему делу продолжается. Я ваш следователь, майор Виноградов.

Говорит монотонно, бесстрастно.

— Имею вам заявить, что вы напрасно пытаетесь ввести в заблуждение следственные органы, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Нам все известно. Только чисто-

сердечное признание может спасти вас, облегчить вашу участь. Вы грамотный и должны знать слова великого советского писателя Максима Горького: если враг не сдается — его уничтожают. Понятно?

Очень болит голова, глаза. Тошнит. Что это значит? Обычный прием? Или решительная перемена — ухудшение? Чего они теперь хотят?

— Нет, непонятно. Ничего непонятно. Я никакой преступной деятельностью не занимался.

— Вы продолжаете упорствовать. Вы уже дали неправильные показания. Как я убедился, вы пытались ввести следствие в заблуждение, тогда как нам известно, что вы защищали немцев и стали на путь антисоветской клеветы. И только если вы искренне признаете свою вину и поможете следствию вскрыть идейные корни и причины вашей пропаганды буржуазного гуманизма...

Значит, все о том же...

— Это неправда. Меня оклеветали... Моя пропаганда — это пропаганда социалистического гуманизма, а не буржуазного, я не немцев защищал, а социалистическую мораль нашей армии. Все это я уже объяснил капитану Пошехонову, он записал в протоколе... Больше ничего сообщить не могу... У вас ведь есть тот протокол.

— Что у нас есть, вас не касается... Следствие начинаем сначала... С самого начала... Будем расследовать идеологические корни.

Боль усиливалась, злее, нестерпимее. Сперва от яркого света, согревшего лоб и скулы, стало чуть легче, но потом еще хуже. От боли, от жара, от запаха гноя, приступы дурноты и страх — вот-вот потеряю сознание. Наушники шапки опущены, я нагнулся вперед к столу, чтоб разглядеть, чтоб лучше слышать, не заметил, что кто-то вошел. Вдруг справа голос. Оглядываюсь. Высокий, в сияющих сапогах в "тыловой" фуражке. Подполковник. Светлые перчатки. В правой руке длинный кусок резинового шланга, похлопывает по левой. Говорит громким, барственно сытым, брезгливым голосом:

— Не хочет сознаваться? Уж лучше признавайся добровольно, а не то найдем другие средства!..

Внутри все пусто. Был жар. Стало холодно и пусто.

Только голова – стиснутый ком боли и тошноты. Значит, опять как в ежовские времена в 37 году? будут пытать? Заставят признаться, оговаривать. И тогда все равно помру, только подло, медленно. Вижу над собой белое, холеное лицо, презрительно оттянутые книзу губы, подбритые бачки, золотые погоны, черный резиновый шланг на белой перчатке…

Рывком вскакиваю. Спиной к печке – теплая – хватаю стул за спинку, поднимаю перед собой. Шинель внакидку мешает... Мгновение острой радости, – вижу, как он испуганно шарахается, закрывается рукой. Ору. Хрипло, визгливо. Слышу себя, но уже не могу остановиться...

– Значит, бить?.. Меня бить?.. Хочешь бить... твою мать... Так бей сразу насмерть... гад... тыловая крыса... Бей насмерть, бей не резиной хреновой, а пулей, не то я хоть стулом, а сдачи дам, в твою бритую морду... бога душу мать... Резиной пугать... я немецких снарядов не боялся... Убивай, гад... Но советская власть тебе заплатит за меня...

Ору. – Чувствую, деревенеет затылок, шея. Вот-вот упаду. Только бы не выпустить стула.

По коридору топот. Вбегает несколько человек. Зажигают лампу у потолка. Толстый полковник с красным, жирным оплывшим лицом тянет ко мне стакан воды.

– Да, брось, брось... На, выпей... Никто тебя не собирается бить... Брось, успокойся... На, выпей... На, закури... Ну чего ты, Баринов, что за глупые шутки. Это же наш парень... Боевой... Фронтовик... Ну, оступился... Перегнул... Мы поправим, поможем... Никто тебя не собирается ни бить, ни убивать... Садись, успокойся, кури.

...Сажусь, но теперь уже сам ставлю стул в угол у печки. Могу опираться на него боком. Пью, закуриваю длинную толстую цигарку из сладко-душистого трубочного табака, насыпанного полковником. Боль и тошнота, скрывшаяся было на несколько мгновений, опять подступают и, вот еще новое. Со стыдом чувствую, что реву – текут слезы, которых не могу удержать. Начальник следственной части полковник Российский успокаивает меня, уговаривает, ходит по комнате, размахивает короткими руками-ластами, трясет большим рыхлым брюхом, переваливающимся через ремень.

Он хвастается: я старый чекист, я ветеран, я еще с Феликсом работал, я и с эсерами дело имел, и с троцкистами, и с бухаринцами, я убийцу Кирова допрашивал. Меня, брат, не проведешь.

Вперемежку с этими сообщениями о себе, он говорит:

– Раскалывайся, брат, раскалывайся. Мы тебя знаем. Мы тебя лучше знаем, чем ты сам себя знаешь. Но нам что интересно. Чтоб ты показал свою искренность, чтоб идейно разоружился.

На все мои возражения он отвечает так:

– Брось, брось. Ты ж мне не докажешь, что эта печка черная, раз я вижу, что она белая... Нет, брат, нет, на хренах не пашут... Лучше раскалывайся, тюрьмы не пересидишь...

О белой печке, о невозможности пахать так оригинально и о том, что тюрьмы не пересидишь я слышал от него еще множество раз. Он потом и в другие дни захаживал на допросы... Разумеется, цитировал и Горького, только менее точно.

– Знаешь, как сам Горький говорил, – сам Горький, личный друг Ленина и Сталина, – он как говорил, – если не признаешься... нет, если не сдаешься, уничтожим...

Но в эту первую ночь Российский был преимущественно ласков:

– Мы ж к тебе хорошо относимся, тебе же добра желаем, твои ошибки хотим исправить. Мы не против тебя, а за тебя боремся. Вот и следователя тебе назначили самого достойного. Майор Виноградов, старый член партии, зав.кафедрой марксизма-ленинизма в Ярославском пединституте, кандидат философских наук... Мы ж понимаем...

Успокоившись, я стал говорить. Российский и Баринов сидели на диване. Виноградов у столика, и слушали, не прерывая. А я говорил, боясь, что одолеет боль и тошнота, – рассказывал о Восточной Пруссии, о моих отношениях с Забаштанским, о том, как явно и грубо меня оклеветали, как ловко "заманеврировали" к партсобранию. Они слушали заинтересованно и мне стало казаться, даже сочувственно. Когда я докурил цигарку, Баринов протянул мне папиросу. И я говорил сквозь боль и гнойную муть и мне казалось, что говорю убедительно. Среди ночи начал спадать жар и я

говорил, все более воодушевляясь их безмолвным и словно бы участливым вниманием.

Когда я кончил, Российский крякнул и сказал:

– Ну что ж, разберемся. Может, ты и прав. Разберемся честь по чести. Но ты сам должен нам помочь. Дело твое ведь не уголовное, а партийное, идеологическое. Ты должен показать, что решительно осудил все ошибки, которые допускал в молодости, сам знаешь, там насчет троцкизма... Тут не может быть никакой недоговоренности... Чем решительнее ты осудишь прошлые грехи, тем больше тебе доверия в настоящем... Ну, давай, Виноградов, закругляйся, а то он, видишь, не здоров. Надо отдохнуть... Ну, пока! На, возьми еще табаку.

Они с Бариновым ушли. А Виноградов прочитал мне вопрос, который затем стал роковым для всего дела.

– Скажите, когда именно вы встали на путь борьбы против партии и советской власти?

– Что это значит? Я на такой путь не становился.

– Я имею в виду ваше троцкистское прошлое. Либо вы действительно осуждаете и, значит, даете ему политическую оценку, вскрываете корни, либо вы такой оценки не даете и, значит, идейно не разоружились перед партией.

Этой софистикой он переиграл меня. Я вдруг ощутил и словно бы понял, что возразить ничего не могу: да, действительно, либо-либо... И, право же, не только болезнь и вся эта ночь, внезапный допрос, сначала угрозы, а потом дружелюбное внимание, – хотя и все это, как я сообразил уже много позже, были обычные приемы "раскалывания" подследственного, – но прежде всего именно такая примитивная, давно усвоенная логика побудила меня тогда ответить просто:

– В феврале 1929 года.

Семнадцатая глава

ЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА

....Февраль 1929 года. Харьков. За всю зиму биржа труда подростков только один раз дала мне направление на временную работу – грузчиком на расчистке продуктовых складов. Свободного времени было много; целыми днями я читал. Иногда садился и за учебники – собирался осенью поступать, еще не решил куда – в электротехнический или на исторический... Читал беллетристику и стенограммы партийных съездов, книги и брошюры: Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, Каутского, Бухарина, Троцкого, Луначарского, Зиновьева, Сталина, Преображенского, мемуары Клемансо, Носке, Деникина – все это тогда издавалось у нас – журналы "Былое", "Каторга и ссылка"... В ту пору я был беспартийным и "неорганизованным". В 1927 вскоре после окончания школы-семилетки меня исключили из пионеров "за бытовое разложение" – за то, что я был застигнут курящим, изобличен в том, что пил водку и "гулял с буржуазными мещанскими девицами", которые красили губы, носили туфли "на рюмочках" и тоже курили. Незадолго до этого меня было передали в кандидаты комсомола , но вскоре ячейка электротехнической профшколы, куда я поступил, отвергла меня, как уже исключенного из пионеров за достаточно серьезные грехи и к тому же отягчившего их новыми проступками – участием в массовой драке и тем, что на собрании ячейки после доклада о международном положении выступил против линии Коминтерна в Китае – осуждал союз с Гоминданом. После Октябрьских праздников меня исключили из профшколы за повторение все той же злополучной драки. Подчистив в справке год рождения (сменив 1912 на 1911), я на правах шестнадцатилетнего встал на учет на бирже труда подростков. В 1927-28 гг. работу получал иногда на неделю, иногда на месяц – то чернорабочим на частных стройках – тогда еще строились на окраинах домики нэпманов, преуспевающих кустарей – то грузчиком, рассыльным, агентом по распростра-

нению подписки и т.п. Заработки старался утаивать от мамы, тратил на папиросы, кино, пиво. По вечерам ходил в дом писателей им. Блакитного слушать поэтов, критические дискуссии. Там же еженедельно собиралось наше "литературное содружество". Сперва оно именовалось "Юнь", потом "Большая медведица", –пока нас было всего семеро,– наконец "Порыв"; насмешники дразнили: "прорыв"... "надрыв"... "разрыв"... "нарыв". Из наших нестройных рядов вышли: Лидия Некрасова, Иван Каляник, Андрей Белецкий, Сергей Борзенко, Александр Хазин, Иван Нехода, Валентин Бычко, Николай Нагнибеда, Роман Самарин, которые впоследствии стали именитыми не только на Украине. Мы читали друг другу главным образом стихи, чаще всего плохие, изредка печатали их в многотиражках и на литературной странице "Харьковского пролетария".

В 1929 году в "Порыве" наметился раскол и разброд. По уставу все члены бюро председательствовали по очереди и каждый очередной председатель обладал диктаторскими полномочиями. Сережа Борзенко, став диктатором, исключил Л.Некрасову, А.Белецкого и Р.Самарина из "Прорыва", заявив, что они "антисоветские элементы"; я протестовал и получил от него же строгий выговор "за примиренчество".

...Февральским утром пришел мой двоюродный брат Марк Поляк – пришел таинственно, – сказал, что ждал на улице, пока мои родители уйдут на работу, а брат в школу; он вытащил из портфеля два больших пакета, обернутые газетами, перевязанные шпагатом – "Спрячь и получше. У меня может быть обыск. И никому ни слова..."

Марк или Мара, как его называли дома, был старше меня лет на семь, его родители и все родственники считали его гением. Он закончил биологический факультет, опубликовал брошюру "Сон и смерть" – родственники говорили: "он уже издает свои книги", –читал лекции в клубах: "Что такое жизнь?", "Происхождение человека"; я его чтил, как великого ученого и обладателя огромной библиотеки – половина книжного шкафа–(вторую половину занимали медицинские книги его старшего брата – врача) и стол были завалены разнокалиберными томами и тончайшими брошюрками: философия, биология, история, политграмота – никакой беллетристики. Над моими литературными претен-

зиями и стихотворными упражнениями он снисходительно посмеивался: "читай Канта и Гегеля, Плеханова, Ленина, Фрейда, а стишки – романтическая блажь, девятнадцатый век; девчонкам в альбомы писать. Но хорошая современная девушка тоже должна предпочитать науку, философию и серьезную политлитературу... А тратить время на вертихвосток, блаженных дурочек с альбомами еще глупее, чем писать стишки. Неужели тебя может привлечь даже очень хорошенькая барышня, если с ней не о чем говорить, а только: "скажите, вы верите в любовь? Кого вы больше любите – Пушкина или Надсона? Ах, Лермонтов это так прелестно!!!" – Нет, тогда уж лучше занимайся онанизмом, это менее вредно, чем такое времяпровождение".

Он всегда подсмеивался надо мной, не обижался, когда я, огрызаясь, обзывал его сухарем, книжным червем, головастиком, лапутанцем – он только напускал таинственную многозначительность, а, главное, давал мне читать замечательные книги. Но у нас он бывал редко. В то утро он объяснил мне доверительно, что участвует в работе подпольного центра „большевиков-ленинцев", – т.е. оппозиционеров, которых бюрократы-аппаратчики, сталинцы, облыжно прозвали троцкистами, зиновьевцами или сапроновцами. Он давал читать мне листовки о высылке Троцкого, текст „Платформы 83-х" (объединенной ленинской оппозиции 1927 года), "Записи беседы Бухарина с Каменевым в августе 1928 года", и т.п. И раньше я внимательно читал стенограммы 14-го и 15-го партсъездов, партконференций, пленума Исполкома Коминтерна, "Дискуссионные листки "Правды". И нередко читал, испытывая раздражающее недоумение. Речи и статьи оппозиционеров привлекали революционной логикой и пылом: они ратовали против нэпманов, кулаков, бюрократов-перерожденцев, против сделок с иностранной буржуазией, за мировую пролетарскую революцию, против уступок Чемберлену... Но с другой стороны ведь большинство партии их отвергло, а воля большинства для коммунистов-большевиков – высший закон и нельзя же допускать раскола, когда наша страна – осажденная крепость...

Мара возражал мне серьезно, как равному, ссылался на пример Ленина – он же выступал против большинства, если речь шла о принципах, основах, о судьбах революции,

когда спорили о Брестском мире, о введении НЭПа, а тогда положение было потруднее, чем теперь. Он познакомил меня со "связным Центра" – "товарищем Володей" – то был Эма Казакевич, будущий писатель, сталинский лауреат. Эта часть его биографии, насколько я знаю, до его смерти была известна только нескольким самым близким людям. Один раз Мара брал меня "на дело" – мы привезли на извозчике тяжеленный чемодан – ручную печатную машину "Американка", и я ее по частям перепрятывал у нескольких моих приятелей.

В начале марта Мару арестовали; оба пакета, о которых он многозначительно сказал "часть архива Центра, особо конспиративная", я дал перепрятать Ивану Калянику – его отец, директор завода был непоколебимым сталинцем, а Ваня сочувствовал оппозиции, хотя больше интересовался стихами – мы считали его лучшим поэтом "Порыва", – девчатами и доброй выпивкой. Но именно к нему-то и пришли с обыском. Никого из других моих друзей, хранивших части "Американки" и кое-какую литературу, не тронули. Видимо, на Ивана донес наш тогдашний общий приятель. Ваня держался великолепно, не назвал ни одного имени ни обыскивавшим, ни отцу. Тот был потрясен, когда в его квартире в проеме между верхом печи-голландки и потолком обнаружили пакеты, в которых оказались протоколы и резолюции подпольного центра оппозиции, тексты листовок, проекты воззваний, шифры, списки арестованных и т.п. Ваня говорил чистую правду, утверждая, что не знает содержимого пакетов, не знал этого и я. Но он так же упрямо твердил, что не знает, как страшные пакеты попали на его печку, и на все наводящие вопросы, отвечал, что никого не подозревает, не помнит, кто именно к нему приходил в последние дни и вообще всю неделю был пьян. К чести его отца Ивана-старшего надо сказать, что он тоже не стал помогать оперативникам, сославшись на то, что мало бывает дома – его завод находился в другом городе, и он действительно только наезжал в Харьков, но о наших настроениях знал достаточно, так как нередко выпивал с нами и спорил. Ивану велели на следующий день придти в ГПУ на допрос. Разумеется, я пошел с ним и признался, что это я спрятал пакеты без ведома хозяев квартиры, но что в них было – не знаю – честное слово! – и это была правда. – А кто просил меня прятать – не

скажу, так как обещал не говорить и нечего взывать к моему долгу. Хотя я не состою в комсомоле, но идейно считаю себя коммунистом-большевиком-ленинцем, и мой долг велит мне не откровенничать в данном случае, так как органы ГПУ ведут неправильную линию, преследуют настоящих ленинцев. Уходя с Ваней, я был уверен, что меня арестуют, простился с девочкой, в которую был тогда влюблен, запасся папиросами и написал письмо родителям. Его должна была передать та же девочка через общих знакомых. Следователь сперва грозил и насмешничал, – тоже мне конспираторы, вам еще в сыщиков-разбойников играть. Мы за вашим ученым братцем и за вами уже давно за каждым шагом следили. Мы про вас больше знаем, чем вы сами знаете. – Сколько раз потом слышал эту сакраментальную формулу и всегда убеждался в ее примитивной лживости. В тот раз они не нашли ничего из такого, что было спрятано у нескольких моих школьных товарищей.

Потом Ваню отпустили, и уже два следователя "воспитывали" меня, а я пытался их агитировать, и мне казалось даже, что "произвожу впечатление", цитируя наизусть Ленина и Троцкого, приводя неопровержимые факты, – в первом издании "Вопросов ленинизма" Сталин сам писал, что говорить о возможности построения социализма в одной стране, значит верить в утопию, глупую и притом вредную – национал-социалистическую... Но вечером они отпустили и меня, взяв подписку о невыезде. Я едва ли не огорчился: ведь уже состоялось такое волнующее прощание, она впервые поцеловала меня, потому что предстояла долгая разлука. – Я чувствовал себя доблестным революционером, наследником народовольцев и старых большевиков... А тут просто выставили за дверь, как нашкодившего мальчишку. Все же хватило ума сообразить, что за мной будут следить, и в последующие дни я так петлял между посещениями разных друзей, знакомых и незнакомых, что не "навел" ни на кого из тех, кто мог быть интересен оперативникам ГПУ. Мне повезло: именно тогда я на целую неделю получил работу – собирать подписку на газеты и журналы. Поэтому я мог законно бродить по учреждениям, заводам и "Жилкооперативам", всучивая рекламные проспекты и бланки для подписки (денег я не собирал, подписчики потом должны были сами платить

почте). К тому же я знал множество проходных дворов, лазов, щелей в заборах и т.п. Радуясь своему хитроумию, я занялся распространением листовки — протеста против арестов "большевиков-ленинцев", против "самоуправства сталинских жандармов". Два моих приятеля разбросали по десятку листовок на Электрозаводе и на заводе молотилок "Серп и молот", на их след так и не напали, так как они там часто бывали и до и после, как "производственные практиканты", а я рассовал дюжину на паровозном заводе, куда ходил в библиотеку с проспектами, две штуки даже наклеил на дверях завкома, и не удержался, похвастался тому же приятелю, который раньше знал про Ивана. На следующую ночь (29 марта) меня, наконец, арестовали...

Диковинно было вспоминать в „полевой тюрьме" и позднее в пересылках Бреста, Орла, Горького и даже в самой благоустроенной и благополучной из всех тюрем, в которых я побывал, в Бутырках, о десяти днях, проведенных во "внутреннем корпусе" Харьковского ДОПРа (Дом принудительных работ — слово "тюрьма"тогда считалось старорежимным, почти как "каторга")... Камера на троих, чистая, светлая; окно, разумеется, без "намордника"; через стену внутреннего двора корпус уголовников, откуда слышались блатные песни, громогласные переговоры или перебранка с этажа на этаж. Каждое утро через кормушку можно было купить — нам оставляли по несколько рублей наличными — газеты, журналы, а через день приходил "ларек", торговавший французскими булками, колбасой, сыром, конфетами. Библиотекарша тоже приходила через день, можно было даже заказать желаемую книгу. Кормили нас невкусно, но сытно. Обед всегда был мясным, а иногда и на завтрак и на ужин давали мясную лапшу или кашу с мясом. Надзиратели обращались к нам "товарищи". Перестукивались мы с соседними камерами беспрепятственно. С одной стороны сидел радикальный "децист", который обличал жалкое примиренчество зиновьевцев и пустое краснобайство Троцкого. Он говорил, что и зиновьевцы, и Троцкий по сути всегда подыгрывали Бухарину, а тем самым и Сталину. Он выстукивал, что нужно прекратить болтовню, а организовывать забастовки, демонстрации, захватывать "командные пункты" и, если потребуется, применять силу...

С другой стороны были девчата – работницы. Они меньше интересовались теоретическими проблемами, да и перестукивались плохо – а расспрашивали главным образом, кому сколько лет, как зовут, какого роста, цвет волос и глаз, женат или холост... В один из первых дней в корпусе была шумная "волынка" – орали из камер, стучали в двери табуретками, кружками, выбивали волчки – требовали открыть камеры, позволить выбрать старосту корпуса. За эту волынку я отсидел сутки в карцере – холодной полуподвальной камере, без постели – только голый топчан из железных полос, – но курить позволяли, правда, обеда не полагалось и хлеба давали меньше, впрочем, я "объявил голодовку". Допрашивали меня всего один раз и это был опять не столько допрос – ведь я "отказывался давать показания", сколько политический спор. Следователь – немолодой, болезненно тощий, усталый, сердито доказывал, что оппозиционеров приходится арестовывать и высылать потому, что они, – сколько бы они ни трепались о своей революционности и преданности заветам Ленина и советской власти вообще –на деле только вредят, подрывают авторитет партии, ослабляют государство... Он явно презирал, – хотя и словно бы жалел, – мальчишку, начитавшегося до "полной каши в голове", вообразившего себя невесть каким революционером. – Вам бы поработать, в рабочем котле повариться. Вы про жизнь только с чужих слов слыхали и, значит, ничего про настоящую жизнь не понимаете, а уже палки в колеса партии суёте.

Продержали меня в ДОПРе до 9-го апреля и именно в этот день – мой 17-ый день рождения – отпустили. В канцелярии тюрьмы объявили на поруки отца и опять взяли подписку о невыезде. Отцу помог его старый приятель Михаил Александрович Кручинский. В гражданскую войну он командовал Богунским полком, был заместителем Щорса, тогда же получил орден "Боевого Красного Знамени" – среди наших родных и знакомых он был единственным "орденоносцем", тогда это звучало еще очень гордо. Он дружил с генеральным прокурором Украины Михайликом и тот одним телефонным звонком "решил" мое дело.

Выйдя на свободу, я еще не был достаточно поколеблен в убеждениях, несколько раз встречался с подпольщи-

ками, читал и передавал другим листовки. Однако к маю уже явно наметился распад оппозиции, ускоренный разоблачением "правых" – Бухарина, Рыкова, Томского. В газетах все чаще появлялись письма "отходящих от оппозиции", особенно сильное впечатление произвело письмо Преображенского, Радека, Смилги – все трое были весьма уважаемые лидеры, давние друзья Троцкого. В начале июня за городом состоялось тайное собрание. Связные на платформе встречали участников и провожали их, минуя толпы воскресных гуляющих, в дальний укромный лесок. Приехавший из Москвы "товарищ Александр" делал доклад о "текущем моменте и задачах ленинской оппозиции". Он говорил, что ЦК фактически принял ту программу индустриализации, которую предлагали оппозиционеры, объяснял смысл дискуссии между "Экономической газетой" и "Торгово-промышленной", Эта дискуссия предшествовала окончательному грому "правых", которых еще раньше разоблачили „большевики-ленинцы". Теперь опасность нэповско-кулацкого перерождения можно считать устраненной. Сталин сам взорвал, так сказать, и социальную базу и теоретические опоры своей узурпаторской власти. Однако сохраняется еще бюрократический аппарат, система зажима и прижима. Сталин и Молотов бесстыдно присваивают мысли, теоретические концепции и конкретные предложения Преображенского, Пятакова, Зиновьева, Каменева, Раковского, Залуцкого и других ленинцев...

Докладчику задавали вопросы, которые превращались в реплики и дискуссионные выступления. Я оказался в числе нескольких запальчивых "оппозиционеров против оппозиции". Мы доказывали, что раз теперь начинается такое огромное строительство, "правые" разоблачены, и с НЭПом скоро покончат – значит, генеральная линия в основном правильна. Ради чего же вести подпольную работу, бороться против ЦК? Спорить о том, кто первый сказал, что кулак не может врастать в социализм, кто чьи мысли присвоил, – в сравнении с великими задачами это уже мелкие дрязги. Вопрос о возможности построения социализма в одной стране – конечно, принципиальный, но сегодня второстепенный, так же, как вопросы расширения внутрипартийной демократии. Сейчас главное строить заводы, электростанции, укреплять Крас-

ную армию. Троцкий за границей пусть заботится о мировой революции, пусть там проявляет свои таланты пропагандиста и полководца, и это приведет его обратно в Коминтерн... А мы должны работать со всей партией, со всем рабочим классом, а не углублять раскол, не подрывать авторитет ЦК и советской власти...

Вскоре после этого вернулся из Верхнеуральского политизолятора Мара. Он „отошел" по заявлению Ивана Никитича Смирнова. То было наиболее сдержанно сформулированное отречение от оппозиционной деятельности.

Некоторых из тех, кто „отходил", по заявлению Преображенского, Радека, Смилги и других радикальных "капитулянтов" восстанавливали в партии и комсомоле. Присоединившихся к Смирнову, – а были еще оттенки: – к первому или даже третьему варианту его письма, – просто отпускали из ссылки, из политизоляторов. Мара был беспартийным. Вернувшись он устроился на работу в какой-то методкабинет по подготовке технических кадров. Он очень гордился своим четырехмесячным тюремным опытом, участием в голодовках, волынках и т.п.

Меня переубеждали газеты, разговоры со вчерашними подпольщиками, а больше всего Надя, которую я очень полюбил–(год спустя весной 1930 года, едва мне исполнилось 18, мы "записались" в ЗАГСе и стали жить вместе) – и тем же летом я пошел в горком комсомола и подал заявление „об отходе от оппозиции."

Никто не встречал меня, ликуя и умиленно приветствуя возвращение блудного сына, хотя нечто подобное мерещилось, когда я сочинял длинное патетическое заявление. Председатель Контрольной Комиссии Волков – остролицый поджарый парень в темной косоворотке–говорил деловито, бесстрастно.

– Так. Осознал, значит, что бузу трут товарищи? Ну, что ж, лучше поздно, чем никогда. Так. И лучше сам, чем, когда уже за шкирку взяли. Так. А теперь вот тебе лист бумаги. Пиши всех, кого там знал – всех, кто троцкисты, децисты, зиновьевцы-ленинградцы и тэдэ. Если кого не помнишь фамилие, пиши имя или кличку, кто, откуда, где встречал. Так. Что значит зачем?! Ты разоружаешься перед партией и ленинским каэсэм или только тень на плетень наводишь?

Так. Значит, садись пиши. Я тебя погонять не буду – вспоминай.

И я сел за его стол и составил довольно длинный список. Я хотел быть честным, я был убежден, что от партии, от комсомола ничего нельзя скрывать... Но все же я утаил с десяток имен и лиц и не включил в список никого из тех, кто еще ни разу не был арестован, кто не был исключен, не "привлекался". О них я потом не говорил и самым близким друзьям, и себе самому запретил вспоминать.

Тогда в кабинете Волкова за столом, накрытым заляпанной чернилами пористой розовой бумагой, под портретами Ленина, Дзержинского, Чубаря, Петровского мне было неловко и потаенно стыдно, что я обманывал, скрывал. И все же я твердо решил не включать в список Таню А., Зину И., Киму Р., Зорю Б., Илью Б., Колю П. и других, всех, кого я сам же "сагитировал за оппозицию", и о ком знал, что теперь они думают по-иному, – так же, как я, – и не могут быть врагами партии; и, конечно же, никогда не станут вредить советской власти; я думал: если я назову хотя бы одно из этих имен, будет еще стыднее, будет нестерпимо... А если все же уличат, узнают, что скрыл? Тогда скажу, что забыл, что не придавал значения, – что-нибудь придумаю... Но сейчас не напишу.

Волков просмотрел список. Делал пометки. О ком-то спросил, где работает? Или учится?

– Так. Никого не забыл? Точно? Значит хорошо. Значит в открытую разоружаешься перед партией. Так. А ты сам чего делаешь, учишься? Работаешь? Ну, биржа подростков это не дело. Ты ж не с села парубок, чтоб куда пошлют, лишь бы гроши и харчи хороши. Такой грамотный, что уже с оппозицией путался. Значит, твоя грамотность была нам вредной. Так. А теперь должен постараться, чтобы на пользу. Сейчас вся страна за ликбез взялась. Соцстройкам нужны грамотные кадры. Ты иди на свою биржу, скажи, что хочешь по линии ликбеза работать. Так. Нет, мы тебе никаких направлений не дадим, ты ж неорганизованный элемент. А совет даю. Иди сам. Они тебя пошлют, где требуются грамотные. Так. Покажешь себя на работе и подавай в комсомол. Но главное – работа. А то слова – хоть с трибуны, хоть на бумаге, пусть самые красивые, самые революционные – все

равно только слова. Настоящая партийная, комсомольская проверка – дело. Так.

...С биржи направили меня на станцию Основа, в железнодорожное депо, и там я был назначен „заведующим вечерней рабочей школы второй ступени", т.е. для малограмотных. Год спустя, в 1930 г., я уже работал в городе на Паровозном заводе имени Коминтерна в редакции заводской многотиражки. За это время успел побывать в деревне в составе "выездной редакции" и агитбригады, помогал „социалистической перестройке сельского хозяйства". После неистового напора предписанной Сталиным сплошной коллективизации, он в нескольких статьях осудил "перегибщиков" и "шляп", свалил на низовых исполнителей ответственность за все расправы и насилия.

Этот циничный маневр многим из нас казался мудрой большевистской стратегией – ошибки исправляются, наказывают для примера "стрелочников", но авторитет партии остается незыблемым. Иначе и нельзя. Я подал заявление в комсомол и, разумеется, подробно рассказал о своих прошлых грехах – о "троцкистских связях". Эти грехи я не только не утаивал, а даже несколько преувеличивал – приятно в 18 лет считаться „человеком с прошлым". Был я недоучившимся электриком, плохоньким токарем, все еще писал стихи и по-русски и по-украински, но уже сознавал, что настоящим поэтом не бывать, не по силам, а от графоманского самоослепления, слава Богу, уберегло трезвое недоверие к себе. Едва начав работать заводским журналистом, я хотел казаться опытным политиком, преодолевшим серьезные колебания и сомнения и поэтому тем более основательно укрепившимся в убеждениях, тем более теоретически "подкованным".

Но мои признания возбудили не столько уважение, сколько любопытство – скорее отчужденное – и насмешливые укоры. Секретарем заводского комитета комсомола был Костя Трусов – высокий, тонкий, как жердь. Девчата считали его очень красивым. У него был глуховатый голос и переменчивый румянец чахоточного. Он говорил: „Ты здесь рассуждаешь так, что вроде даже мы должны держать тебя за очень заслуженного товарища, сколько ты книг и партийных документов проработал, и как ты здорово там дискус-

сии разводил с троцкистами... Может, ты думаешь, что мы тебе за это должны спасибо сказать и комсомольский билет поднести на подносе с музыкой туш? Не считаешь? Ну что ж, но мы и за это тебе спасибо говорить не будем. А я вот думаю, что ты еще не все до конца осознал. Например, не чувствую, не слышу в твоих разговорах, чтоб ты понимал причины, — вот именно главные причины, классовые корни всех тех твоих уклонов. Вот Пашка, он с твоего года, тоже семилетку кончил. Ты когда сочувствовал оппозиции, Пашка? Вот слышишь, нет. Или Никола, он, правда, фэзэу* кончал, но он даже постарше тебя будет, — ты ведь с одиннадцатого? Ну так ты, как на дискуссиях высказывался, за Троцкого или за Бухарина? Ага, ты больше за футбол интересовался... Ну вот, видишь... А ты, Аня? Ты всегда, как цека? Доверяешь, значит, нашим вождям. Ну вот, видишь — они рабочие ребята, с отцов-дедов пролетарская порода... Они только смеются со всех твоих колебаний-сомнений, уклонов-загибов. Понимаешь, какие пироги? Это называеся здоровое классовое нутро. Хоть, может быть, — или даже наверное, — ты Ленина больше читал, да вот видишь не только Ленина, а еще и разных уклонистов — мелкобуржуазных, меньшевицких, левых, правых, а одним словом сказать, не наших, не пролетарского корня трепачей... Понимаешь? Вот ты и подумай и поварись в рабочем котле, иди на производство, к станку, а в газету пиши как рабкор. Покажи ударную работу. И тогда, добро пожаловать в ряды комсомола."

Почти год я работал у станка и в редакции, днем работал токарем в ремонтном цеху, вечером и ночью писал заметки, редактировал, дежурил в типографии — мы все по очереди были и корректорами и выпускающими. Потом наша многотиражка стала ежедневной, спать приходилось не больше трех-четырех часов в сутки. Когда я стал действительным членом КСМ меня назначили редактором особой многотиражки танкового цеха, которая издавалась ввиду секретности производства отдельными листовками. Оставив станок — так выше четвертого разряда и не поднялся — я работал уже круглосуточно. Благо и типография была своя, там же,

---

* Фабрично-заводское училище — ФЗУ.

где и редакция — в бараке у цеха. Там мы спали на стопах бумажного "срыва". Домой я приходил хорошо если раза два в пятидневку. В наш редакционный "кабинет", огороженный фанерой от наборного и печатного "цехов" в редкие тихие вечера заходил уполномоченный ГПУ по заводу Александров — старый чекист, серьезный, но "свойский", казавшийся нам сурово-добродушным, настоящим большевиком.

Иногда он вызывал меня к себе в тихую длинную комнату в здании заводоуправления. Вызывал и еще нескольких из нашей „большой" редакции. Павел Воробьев (это его ставил мне в пример секретарь комитета) был неутомимый "заводила рабкоров", целыми днями пропадал в цехах, знал завод, как свою комнату, ненавидел трепачей, бездельников, как личных врагов, бывал беспощадно, зло насмешлив, любому начальнику "резал в глаза" самые нелестные суждения. Паша умер от туберкулеза легких в 1932 году, знал, что умирает, но так же жадно читал газеты, радовался, что тракторный вышел из прорыва. Перед смертью он впервые заговорил с друзьями о своей матери-вдове. — Вы ей когда-никогда помогите, хлопцы, и не обижайтесь, что она у меня дура, в Бога верует, икону снять не позволила. Пускай ее, уже не перевоспитаешь, но ведь всю жизнь работала... Только не давайте мне на могилу крест ставить, я сам уж ей объяснил. Я же коммунист".

Володя И., недавний сварщик и деятельный рабкор, был тугодум, не слишком грамотен, но добросовестен, исполнителен — „ты мне растолкуй, как следует, что, зачем, к чему"— и упрям до исступления.

Тигран М.—вспыльчивый,мечтательный,страстный почитатель женщин—понимаешь,всех люблю,никак не могу жениться,сегодня хочу эту, завтра ту — все прэлестны, одна тем, другая этим. Он был обидчивый, но добродушный. Он раньше был рабкором в сталелитейном, считался хорошим формовщиком. После тяжелой травмы перешел в редакцию, стал моим замом. Мы то по одному, то "всей шатией" ходили к Александрову. Он поручал нам изучать настроение в цехах, выявлять кулацкую пропаганду, троцкистские и бухаринские "отрыжки". Он очень одобрял мои статьи в заводской газете, когда я разоблачал троцкистскую "контрабанду"

в учебных программах ФЗУ, или высмеивал демагогические выступления бузотеров, сомневающихся во встречных планах, мешавших подписке на заем и т.д. Но иногда он советовал: ”ты все же таких статей своей фамилией не подписывай. У нас тут есть разные элементы. Некоторые могли бы попробовать с тобой связь установить, а ты их отпугиваешь”.

Несколько раз я писал ему обзоры наблюдений по заводу, а потом и по университету (в 1933-34 гг. я совмещал работу с занятиями на философском факультете). Иногда даже сам пытался обобщать факты. Я был убежден, что троцкистского подполья уже не существует, что остались только ”отдельные следы” настроений. Охотнее всего я рассказывал о тех бывших сторонниках разных оппозиций, а также бывших анархистах, махновцах и даже черносотенцах – членах ”Союза Михаила Архангела”, – были и такие у нас среди старых мастеров – которые стали искренними энтузиастами пятилетки. Это понятие тогда было ходовым. И примеров таких находилось немало. О тех бывших уклонистах, кто ”допускал рецидивы”, как, например, бригадир сборщиков дизелей, отказавшийся брать повышенное обязательство, высмеивавший призывы к соцсоревнованию или инженер-хохмач и ”предельщик”, потешавшийся над рабкорами, а так же о тех ”иноспецах” – техниках и инженерах из Германии, которые иногда по-хамски высокомерно отзывались о нашей жизни, о нашем стиле работы, я прежде всего говорил вслух на собраниях и в газете писал еще до того, как удавалось включить в обзор для Александрова. Так же поступали Пашка, Тигран и Володя и самый старший из нас Илья Фрид, бывший член партии с 1918 года, бывший оппозиционер. Серьезный, рассудительный и вместе с тем наивно добродушный, бескорыстный энтузиаст. Александров укорял нас:

– Неправильно вы действуете. Как в старину говорили: „не поглядевши в святцы, бух в колокола”. А теперь этот, которого вы продернули, перед вами будет скрытничать, на версту не подойдет. Нет, парни, надо вам изучать чекистскую тактику

Эти поучения нисколько не коробили ни меня, ни моих товарищей. Звание чекиста представлялось нам достойным высочайшего уважения, а функции секретного сотрудника, – сексота, были, конечно же, необходимы. Ковар-

ным врагам надо было противопоставлять свое умение хитрить, маневрировать, вести разведку и контрразведку. В этом не могло быть ничего зазорного. Но для меня это оказалось более чем трудным, так сказать, по складу характера: увлекающийся, несдержанный, вспыльчивый, неспособный притворяться, ни просто скрытничать перед друзьями, – а их было немало, – я им рассказывал о встречах с Александровым и его помощником Маевским. Тот был более грамотным, вкрадчивым и любезным. Он куда настойчивее пытался внушать необходимость секретной тактики. Заводские уполномоченные ГПУ действовали разными средствами, были у них и настоящие сексоты, с которыми они встречались потаенно на особых квартирах. Но немало было и таких, как мы, более или менее открытых партийных и комсомольских активистов.

Когда зимой 1932-33 года наша агитационно-редакционная бригада работала в подшефных районах, Миргородском и Староводолажском, на последних хлебозаготовках – тех самых, после которых начался голод, – с нами вместе жил, вместе ходил на собрания и на поиски закопанного хлеба, уполномоченный ГПУ при полном обмундировании, с маузером в деревянной кобуре. И мы видели в нем товарища, помогали ему писать рапортички, акты и донесения, из которых потом вырастали ордера на аресты "злостных несдатчиков", постановления об административных высылках...

Вскоре после убийства Кирова в феврале 1935 года арестовали Мару, и он уже не вернулся. Его доконали в лагерях несколько лет спустя. Мы с ним давно не виделись, каждый был занят. Но уже через неделю после его ареста меня исключили из комсомола и из университета "за связь с родственником-троцкистом". Тогда я пошел к Александрову и с его помощью получил на заводе справку-характеристику: "... не скрывал родственных связей и грубых политических ошибок, допущенных до вступления в комсомол... на заводе проявил себя ... активно боролся против троцкизма и других видов вражеской идеологии". Месяц спустя бюро обкома комсомола отменило исключение, но все же вынесло "выговор за притупление бдительности". Так уж было положено, ведь двоюродного брата как никак арестовали, а я даже не знал за что. В 1936 году в Москве меня опять

исключили из комсомола в Институте иностранных языков, и уже только через полтора года в ЦК ВЛКСМ вернули комсомольский билет. За это время меня несколько раз вызывали через спецчасть института или непосредственно в райком, а потом и в горком, и там, в дальних комнатах со мной разговаривали деловитые парни, прямо дававшие понять, что они работают не только в аппарате райкома или горкома, но причастны к более серьезным ведомствам. Они объясняли: классовая борьба сейчас обостряется как никогда. Разоблачено множество врагов народа, в самое сердце партии пролезли. И неизвестно сколько их еще затаилось, шпионят, вредительствуют, готовят диверсии. Сейчас бдительность необходима десятикратная. Доверять можно только с оглядкой, а проверять постоянно и строго.

Они давали мне "проверочные задания": я должен был ходить в комитет эсперантистов, – со школы я был членом союза эсперантистов, но потом остыл, а тут велели активизироваться, – установить, кто там бывает, какая получается иностранная почта. Иногда они требовали письменные характеристики некоторых преподавателей и студентов – иностранцев. В двух или трех случаях речь шла об уже арестованных. Писал я всегда объективно , все, что действительно знал. О Фрице Платтене, после того, что он уже был арестован, я писал только хорошее – внимательный, требовательный, но в то же время очень приветливый педагог, замечательный спортсмен; несколько раз увлекательно рассказывал, как ехал с Лениным из Швейцарии в пломбированном вагоне. О Ленине всегда говорил с необычайной нежностью и восхищением. И о Труде Рихтер, о которой в институте было сообщено "шпионка Гестапо", я мог написать только, что она была очень взыскательная и справедливая преподавательница стилистики, придирчивая, настойчивая, не спускавшая никому ошибок. Иногда очередной собеседник бывал недоволен: – Вам бы в адвокаты идти. Видно, слишком доверчивый. А, ведь, если окажется, что расхваливали врага, это и на вас может пятно положить. – Но я был уверен, что долг комсомольца-патриота во всех случаях – правда, только правда. Сегодня я знаю и понимаю: правдивый донос – это все же донос. Сегодня я не вижу существенных нравственных различий между "стукачом-фантастом" и "стукачом-реалистом". И му-

чительно стыдно вспоминать, все эти "проверочные задания" и мои самые сокровенные размышления о них тогда... "Но строк печальных не смываю..."

Ни райком, ни горком не подтверждали исключения, но и не восстанавливали. Дело кочевало из контрольных комиссий в канцелярии бюро, секретариаты, откладывалось, проверялось, переходило в следующую инстанцию. В начале 1938 года оно добралось до контрольной комиссии при ЦК ВЛКСМ, меня вызвали на заседание и докладчик прочитал все ту же "александровскую" справку. В этот раз восстановили даже без выговора. Когда на фронте я подал заявление в партию, я рассказал обо всех перепетиях моего политического "прошлого". И тогда тоже, видимо, что-то где-то проверяли. Подал заявление летом 42 года, а приняли меня только в феврале 43-го.

Обо всем этом я говорил следователю. Подробно. Обстоятельно. Благо, помнил почти все даты. В ЦК ВЛКСМ должна была сохраниться та харьковская справка.

Он слушал внимательно, записывал. Потом спросил:

— А все-таки, чем же вас привлекали троцкисты?

Отвечал я на это уже на следующем допросе. Опять ночью, опять с головной болью и тошнотой...

Я упорно цеплялся за слова, за формулировки, я настаивал, что сам хочу дать определение своему прошлому. Требовал включить в протокол мои показания о справке, подтверждающей, что я впоследствии боролся против троцкизма. Виноградов раздраженно отмахивался — об этом скажете на суде. Я упирался... Нет, я хочу сказать об этом следствию. Зная всю правду, вы должны будете освободить меня без суда.

Почти каждую ночь вызывали на допросы, а по вечерам на очные ставки: с Забаштанским, Беляевым, Клюевым и с Ниной Михайловной.

Допросы и очные ставки вел Виноградов: иногда заходил Российский — оживленный, болтливый, то кричал, стараясь, чтоб сердито, — но получалось нарочно и не страшно, — то отечески увещевал признаться. Хотя явно забывал каждый раз, в чем именно я должен признаться. Заходил и Баринов, уже без шланга, молча, презрительно и хмуро слушал. Раза два зашел прокурор Заболоцкий — невысокий, чернявый, супивший густые черные брови, глядевший ненавидяще, брезгливо. Скрывая картавый еврейский акцент, он старался говорить

отрывисто, хриповато грубо. Иногда он садился рядом с Виноградовым, глядел в его записи, шептал ему что-то, либо высылал меня из комнаты.

– Часовой! Постойте с арестованным в коридоре, пока позову.

Майор Виноградов был хитер, невежественен, желчен и трусоват. Глубоко запавшие глаза темнели под большим, но неумным тусклым лбом, ускользающим в залысины, в жидкие постные серые волосы. Лицо сужалось книзу, как унитаз, дряблые складки желтой кожи вдоль впалых щек обвисали. Тонкий рот, острая плоская челюсть. Ходил он с палочкой, хромал – тянул ногу, но значка за ранение не было, а в колодке только ленточки скудного тылового набора: "Боевые заслуги", "Знак почета", – видимо, увечие не фронтовое. Он старался говорить с претенциозной, газетно-канцелярской замысловатостью, которая должна была выражать образованность, но произносил "гуманизьм", "социализьм" и спрягал: "вы сообщил... вы мне говорил". Писал он крупным, четким, писарским почерком и подписывался замысловатыми завитушками, в которых сочилось воспаленное самолюбование.

Наедине он бывал вежлив, угощал папиросами, затевал непринужденные разговоры о немецкой пропаганде, о Гитлере, о книгах. Но при других становился груб. А на очных ставках у него даже голос менялся – звучал резче, пронзительнее, злее.

Впрочем, однажды и наедине, обозлившись на упорство, с которым я настаивал, что показания Забаштанского и Беляева – ложь, он крикнул:

– Это вы сам лжец...

В ту ночь я чувствовал себя лучше и увереннее. И уже знал его, и, хотя боялся, – может, ведь, навредить, – но еще больше презирал его трусливую, мелкозубую злость. И возразил спокойно, но резко:

– Вы не имеете права меня оскорблять. Ни права, ни основания. Вы ведете следствие, значит, должны выяснить истину, а вы с самого начала стали на сторону обвинителей.

Он тут же скис. И хотя глядел ненавидяще, но забормотал беспокойно:

–Я вас не оскорблял. Никак не оскорблял... Это вы назвали советского офицера лжецом. А я только сказал, что это он может считать вас лжецом...

Восемнадцатая глава

„ДУШЕЧКА" НОВОГО ПОКРОЯ

Нина Михайловна М. в первые месяцы войны была вольнонаемной машинисткой в редакции "Зольдатенфройнд" – немецкой газеты, издававшейся Политуправлением Северо-Западного фронта. А ее муж Серафим Георгиевич М. был рядовым красноармейцем и служил секретарем 7-го отдела Политуправления.

До войны они жили в Ленинграде и вместе работали. Он преподавал английский, она была секретарем деканата. Нина Михайловна бойко говорила по-французски, знала английский и скоро выучила немецкий. Уже на второй год войны она свободно болтала, переводила и даже сама писала заметки.

Нина Михайловна говорила кокетливо: "Я родилась в прошлом веке" и поясняла "в декабре 1899 года".

Мне она в начале казалась пожилой и вполне заурядной канцелярской стервой. Но, когда в 1942 году редакцию объединили с отделом, мы подружились.

Тогда она еще весьма чтила мужа и так же, как он, больше всего в людях ценила порядочность, интеллигентность и сурово отзывалась о нашем начальстве.

Ее постоянным любовником был один из наборщиков – хлипкий, всегда полупьяный. Однако, ей случалось переспать еще и с некоторыми сотрудниками редакции. Она сама рассказывала мне „как другу" – ей необходимо было с кем-то поделиться.

Начальником отдела до лета 1942 года был старший батальонный комиссар Б. Это был грузный крикун, который, стараясь басить, срывался на хриплый дискант. Он гордился большим партстажем; в 20-е годы работал политпросветчиком, помощником Крупской, потом был консулом в Монголии, хозяйственником, партийным аппаратчиком. Полуграмотный и самоуверенный, он был убежден, что военная служба требует, прежде всего, хамского помыкания подчиненными, но знал, что "специфика" его отдела требует еще и "выявления талантов, поощрения творческой инициативы".

Поэтому бывал попеременно то груб и придирчив, то широковещательно снисходителен, и тогда походил на разбитного местечкового балагулу, пил водку стаканами и похабничал.

Вскоре после того, как редакцию подчинили отделу, Нина Михайловна стала его любовницей.

– Пойми и прости – он заставил меня. Он обещает, что спасет мою дочь, что вывезет ее из Ленинграда. Она там умирает с голоду. А он устроит ей место в самолете, устроит в Москве... Я ненавижу его, но я должна спасти мою девочку... Серафиму я не могу признаться. Это не его дочь, она от второго мужа. Серафим так ревнив, так вспыльчив...

Став любовницей начальника, Нина уже не могла совмещать его с мужем. Старший батальонный комиссар требовал монополии. Да и она все больше убеждалась, что зычный самоуверенный начальник, – пусть он хам, но зато настоящий мужчина, – ей милее, чем ее скучный педант, к тому же рядовой, писарь.

Б. все настойчивее, все грубее старался выказать свое превосходство. По каждому поводу он орал на Серафима Георгиевича, убеждая всех, что тот – жалкий, ничтожный "человек в футляре", ежедневно распекал его за мнимые упущения, обвинял в потере документов и в невыполнении поручений, которых не давал.

Серафим Георгиевич терпеливо, упрямо и вежливо доказывал свою правоту, не обращая внимания на окрики "не сметь пререкаться". Однажды, разозленный таким упорством, Б. заорал: "Пошел вон, дурак!"

И тогда кроткий Серафим Георгиевич тоже закричал так громко, что хриплый дискант начальника не смог заглушить его тенорка.

– Вы не смеете ругаться! Мало вам того, что все время придираетесь, что жену отняли, вы еще оскорбляете... Не позволю!.. Пусть я рядовой, но я человек, я порядочный человек, а вы сами дурак...

И ушел, хлопнув дверью. Начальник хрипел от злости, но все же почуял, что этот "взбесившийся кролик" в чем-

то сильнее его, и сдержался. На следующий день Серафима отчислили из отдела, отправили в армию, которая перебрасывалась на другой фронт. А на его место секретарем отдела назначили Нину. Вскоре она стала военнослужащей с двумя кубиками в зеленых петлицах — техником-интендантом.

Меня она по-прежнему считала другом. Когда я возвращался из поездок и сдавал ей для представления по начальству рапорты-отчеты, тексты звукопередач, протоколы опроса пленных и т.п., мы подолгу разговаривали о больших и малых новостях, о войне, о судьбах России и Германии, о новых мерах добра и зла... Она тревожилась за дочь, вспоминала отца — военного врача, и мать-француженку, певицу из кафе-шантана. „Говорят, я похожа на нее внешностью и темпераментом".

Ее представления о политической действительности были несложными.

Сталин великий человек, это он сделал Россию опять великим государством. И он очень справедливый. Вообще, все теперь стало более справедливым. Раньше, например, у нас в Ленинграде местные власти были пристрастными, хорошо относились только к членам партии, к рабочим и к евреям... А вот после 1937-го года, когда разоблачили врагов народа, — а среди них ведь много было евреев и видных коммунистов, — с тех пор стало по-другому, и новая конституция очень справедливая...

Политические суждения Нины Михайловны вызывали у меня иногда насмешливую досаду. Я говорил ей, что она еще многого не понимает, потому что признала Советскую власть хотя и раньше США, но все же позже Франции...

К осени 1942-года полковника сняли с должности и отчислили из управления. Новым начальником стал батальонный комиссар Д-ий, тоже старый член партии, но человек несколько иного склада: не аппаратчик, а преподаватель политэкономии. Он был умен, хитер, довольно широко и разнообразно, хотя и несколько поверхностно образован. Крайне эгоцентричный, самодовольный неврастеник, он вместе с тем был не злопамятен, добродушен, мог всерьез увлечься делом и ценил в других те качества, которых

ему самому недоставало: правдивость, постоянство, бескорыстие и мужество. Он подбирал работников разумно и целесообразно, хвастался, что обьективно оценивает людей независимо от своих личных симпатий-антипатий, и это было, в общем, правдой.

О Нине он говорил: она, конечно, блядь, и к тому же блядь истерическая, с психоложеством. Но работать умеет на совесть, дело знает, голова у нее неплохая, и меня будет бояться... Меня она не соблазнит, а с другими пусть спит, сколько ей угодно. До тех пор, пока это не мешает работе, — не вызывает скандалов, пока не подцепила гонорею, — мне плевать.

Все это он сказал и ей в лицо. Но в то же время повысил ей звание и оклад, стал давать самостоятельные задания.

И она это оценила.

— Он ужасен! Он циничен, груб, но он откровенен и по-своему порядочен и по-своему справедлив. Он оскорбил меня гнусно... Я сказала, что не позволю. Он сказал, что не будет повторять... Я ненавижу его, но работать с ним можно, и я признаю, — с ним работать лучше, чем с Б.

Она по-прежнему жалела наборщика. В отделе рассказывали, что его иногда заменяет один из шоферов.

Наступила тяжелая осень 1942-го года, на юге немцы прорвались в Сталинград, на Северный Кавказ, снова по радио надрывались фанфары победных сводок — "флаг со свастикой на вершине Эльбруса"... На нашем участке они в конце сентября расширили "кишку", ведущую от Старой Руссы к Демьянску и за два дня продвинулись на 15-20 километров. Шли тяжелые бои у Ленинграда, пленные говорили, что к зиме фюрер введет новое тайное оружие и тогда все будет кончено.

Как-то вечером в отделе собралось несколько офицеров, приехавших из частей, слушали радиопередачи из Москвы, Берлина, Лондона; толковали о положении на фронтах, когда же, наконец, откроют второй фронт, что будет после войны...

Мы все и тогда не сомневались в победе, — правда, я боялся, что главными победителями могут оказаться американцы и станут давить на нас экономически, сломят монополию внешней торговли, навяжут концессии.

Нина Михайловна не видела в этом ничего дурного. – Ну, и что же, будем сытнее жить...

Снова, в который раз зашел разговор, что делать с Германией и, как всегда, мнения разделились.

Превратить в аграрную страну... Уничтожить промышленность... Разделить на несколько государств... Чтоб все взрослые немцы отработали на строительстве у нас, в Англии и в Польше.

Я был среди тех, кто решительно возражал против раздела, против уничтожения промышленности, против всякой "немарксистской, непролетарской" мести. Но фантазировал примерно так: выкорчевать все корешки гитлеровщины; чтоб решительно перестроить сознание людей, воспитанных фашистами, нужен, конечно, террор... Однако, террор справедливый, разумный и целесообразный. (Тогда я еще верил, что возможен такой "жареный лед".) Нужно расстрелять всех руководящих нацистов, всех СС-овцев, всех гестаповцев, всех, кто убивал, кто пытал, всех, кто подстрекал к убийствам и предательствам, всех летчиков, которые бомбили Амстердам, Ковентри, Москву, Ленинград и другие города, всех, кто вешал партизан...

– Сколько же ты хочешь расстрелять? – сердито вытаращилась Нина. – Неужели еще мало пролито крови?

– Ну что ж, расстрелять придется, может быть, миллион-полтора.

– Никогда не думала, что ты так жесток... Ты страшно жесток... – В ее голосе дрожали неподдельные слезы.

Но я уперся, доказывая, подсчитывая, убеждая, что еще столько же активных нацистов нужно будет осудить на долгие сроки лагерей. А всех солдат, участвовавших в боях или в оккупации, всех без исключения членов нацистской партии, всех штурмовиков, вожатых гитлерюгенда и т.п. обязать на три-четыре года работать – восстанавливать разрушения у нас и в других странах.

С этим Нина была еще согласна, но расстрелы... –Нет, все-таки ты жесток, а я считала тебя добрым. Это потому, что ты еврей, ты так ненавидишь всех немцев.

– Врешь, не немцев, а фашистов.

– Так только говорится.

Мы поссорились. Но ненадолго. Когда я вернулся из

очередной поездки, она встретила меня приветливо. — Я так волновалась. Кто-то сказал, что тебя тяжело ранили... Вот тут письма для тебя.

В декабре 1942 я был командирован в прифронтовой лагерь военнопленных, чтобы вербовать там добровольцев, которые, пройдя особую „антифашистскую школу", могли бы стать нашими пропагандистами и разведчиками на фронте или в немецких тылах. Заодно мы хотели собрать материал для новых листовок и звуковых передач: письма военнопленных, фотоснимки мирного лагерного быта; записать на пластинки речи, песни, празднование Рождества и Нового года. Ближайший прифронтовой „пересыльный" лагерь находился недалеко от Боровичей. Мы отправились туда целой экспедицией — автобус со звукозаписывающей машиной, автобус-фотолаборатория.

Нина впервые попала в лагерь. Ей все было в диковинку. Она работала неутомимо, перепечатывала на машинке тексты для лагерной стенгазеты, проекты воззваний, листовок, резолюций, записывала беседы, которые мы вели с пленными... В лагере "культполитработой" занимался уполномоченный Коминтерна, эмигрант-коммунист X., высокий, костлявый шваб, очень старательный, жаждущий деятельности и совершенно лишенный чувства юмора. Ему помогали обученные в Москве антифашисты из военнопленных — молодые голодные парни. Гимназист силезец Эберхарт Тильшер — пригожий, ясноглазый мальчик из интеллигентной семьи, любил стихи Шиллера и Гельдерлина , а рыжий остроносый саксонец Георг Кайзер, сын рабочего социал-демократа, считал себя "непреклонным коммунистом", таскал в карманах брошюры Сталина и цитировал классиков марксизма, даже рассуждая о дополнительной порции каши.

Этот "агиткульт-триумвират" должен был каждый свой шаг согласовывать с помощником начальника лагеря по культчасти, толстым, ленивым майором НКВД, который не понимал ни слова по-немецки, разрешал только то, что было предусмотрено инструкцией, никуда и никогда не торопился и подолгу "проверял" каждую заметку для стенгазеты, каждую книжонку для библиотеки. Следуя правилам и обычаям чекистской бдительности, он все время следил, — впрочем,

так же лениво, – за Х. и антифашистами с помощью оперуполномоченного и его "информаторов".

В должности лагерного уполномоченного состоял бывший ленинградский "исполнитель приговоров", – т.е. палач – капитан Морозов. Он, "культ-майор" и начальник лагеря – подполковник Рейберг, носивший значок "старого чекиста", встречали нас всегда подчеркнуто радушно, – товарищам фронтовикам почет и уважение! – но и настороженно: не задаемся ли, не смотрим ли свысока.

Переводчиком у них был полуграмотный паренек, едва разбиравший печатные тексты и с трудом понимавший пленных, – их ответы на элементарные вопросы. Поэтому основные кадры стукачей составляли перебежчики-поляки и говорившие по-польски силезцы, с которыми Морозов объяснялся без переводчиков. Они доносили ему, что Х. и антифашисты покрывают лодырей, тайных воров и гитлеровцев.

Едва мы пришли в лагерь, Х. и его активисты встретили нас жалобами: старосты избивают пленных, обманывают при раздаче пищи, мешают вести антифашистскую пропаганду, стенгазета не выходит неделями, начальство задерживает разрешения, в библиотеке мало книг...

Мне пришлось вести хитроумную дипломатию, чтобы, не озлобляя начальство, мягко, но решительно побудить его пойти на "реформы" – свести всех поляков и силезцев в отдельный барак-бригаду, а в немецких бараках назначить старост по рекомендации антифашистов и вообще внимательней к ним прислушиваться. Жили мы в деревне в 2-3 километрах от лагеря, возвращались поздно, смертельно усталые, и, наскоро поев, заваливались спать.

На третий день Морозов сказал мне:

– Слушай, майор, эта твоя секретарша, или как ее, лейтенантик-интендантик, с такой лохматой прической и глазами-фарами. Она, знаешь, того, по уголкам с немцами шушукается... Добро бы еще с этим Х., он коммунист, – а то я имею сигнал, – она и с пленными хихикает. Так ты присмотри. Я говорю по-дружески. Мы ведь свои люди. А то ведь знаешь, если еще будет сигнал, и еще, придется оформить оперативными документами. Только ты вот что поимей ввиду: я тебе ничего не говорил, ты ничего не слышал; сам наблюдай, сам действуй. И никому ни слова. Ведь я это по-дру-

жески, и только с тобой. Ты меня не подведи...

И я с искренней благодарностью принял дружескую услугу "исполнителя".

А на следующее утро меня пригласил начальник лагеря. Длиннолицый, с тонким большим носом и кривым, дергающимся от тика ртом, он ходил, покачивая длинное тело и широкий зад на коротких кривых ногах.

– Давайте условимся, что скажу, вы забудете через пять минут, ну десять, не больше. Но таки-да забудете. Делайте, что хочете, но забудьте, что я говорил. Понятно? Ну, так вот, я пока не имел директив, чтоб открывать для пленных бардак. Если такие инструкции будут, то я, конечно, с удовольствием приглашу эту дамочку в гимнастерке с кубиками. Но пока я таких указаний не имею, вы уж на меня не обижайтесь, но лучше вы сами ее успокойте, а я не могу единолично позволить ей разводить здесь бардак. Я имею сигналы и если пущу на серьезную проверку, так вы догадываетесь, что с этого может быть. Поэтому я предупреждаю – я хочу, чтоб у нас с вами было все по-товарищески. (Он произнес последнее слово с ударением на среднем слоге. Это была своеобразная "митинговая фонетика", одна из примет комсомольского жаргона 20-30 годов на юге и в Белоруссии. Даже те, кто дома говорили правильно, считали хорошим тоном , выступая публично, произносить "по-товари́щески", "наверное", "ква́ртал", "мо́лодежь", "по́ртфель", "доку́мент", "буржуа́зия", "отцы и матеря", а также сокращать и сливать слова: "соцударник", "пролетбоец", "компривет", "молдвижение", "культсвязь".)

И Морозова и Рейберга я просил ничего не предпринимать, твердо пообещал, что сам все прекращу решительно и без огласки. Придя в лагерь, я застал Нину в комнате антифашистов. Раскрасневшись, томно перекатывая глаза, она о чем-то шепталась с рыжим плечистым сапером-перебежчиком. Тот сопел и потел от смущения, в комнате было еще несколько активистов – клеили стенгазету. Я позвал Нину, мы вышли из барака.

– Вот что, дорогая. Ты совсем ошалела. Как ты ведешь себя с пленными?

– А что такое? Ну, неужели ты можешь подумать... или кто-нибудь сплетничал? И ты поверил? – в голосе дрожь

обиды сильнее, влажнее, вот-вот захлюпает.

— Сейчас же возьми себя в руки. Возвращайся, бери машинку и перепечатанные тексты. Скажи, что получила срочное задание. Уходи немедленно из зоны, иди в фотомашину (она стояла за проволокой у общежития охраны). Будешь работать там. Никому ни слова.

— Что же это такое?.. Но ведь это же неудобно. Что они подумают? Нет, я не могу!..

— Не будь идиоткой. Ты понимаешь, где мы находимся. Если ты немедленно не уйдешь из лагеря, тебя уже никто не сможет защитить. Здесь хозяева НКВД, и они тебя арестуют за братание с немцами. Ты представляешь себе, что это значит?..

— Боже мой... Но за что?.. Но как же?..

— Поговорим вечером и не здесь. Забирай машинку и чтоб духу твоего не было. И никаких слез, никакого вида не подавать. За тобой следят! Пропадешь!..

— Хорошо, хорошо!..

Подтянулась. Вошла обратно, как ни в чем не бывало. Только посерьезнела... Но это вполне соответствовало словам: ”Должна уходить. Срочное задание. Потом я вам все перепечатаю. Возьму с собой... До свидания”.

Вечером мы выпивали с лагерным начальством. Нина держалась скромно, несколько печальная, но вполне благонравная светская дама в гимнастерке. Не замечала полупохабных хохм Рейберга, чинно беседовала с женами помпокульта и опера о каких-то кулинарных и одежных проблемах.

Поздно ночью, возвращаясь в деревню, мы с ней отстали от остальных. Шли через открытое поле по узким обледенелым мосткам, дощатым ”рельсам”для автомашин, проложенным еще осенью по разъезженному проселку. Сильно мело, колючий снег хлестал, сек лицо, мороз просачивался в рукава и под полы шинели, до боли студил руки и колени.

Я стал объяснять ей,что она слишком непринужденно обращалась с пленными, даже кокетничала с ними. Это привлекло внимание местного начальства, и для них это преступление.

— Но клянусь тебе, клянусь жизнью дочки, ничего не

было... Ничего! Понимаешь? Ничего, ни с кем!.. Я только говорила с ними по-человечески, а они такие бедные. Они молодые и совсем не видят женщин. Они так истосковались по доброму женскому слову, взгляду, улыбке... Но ты ведь должен понимать, ведь ты же не из них...

– Понимаю все и понимаю даже больше, чем ты сама понимаешь. Ты слишком женщина. Прости меня, но ты уже даже не замечаешь, как то, что тебе кажется добрым словом, взглядом, улыбкой, другими воспринимается как готовность немедленно отдаться.

– Что ты говоришь!

– Правду говорю. И дело не в том, что так думают здешние начальники. Пусть они придирчивые чинуши, тыловые крысы, которым хочется поддеть фронтовиков... Но вот и я понимаю тебя и хорошо к тебе отношусь, но тоже возмущен. Такая война идет, немцы топчут нас, захватили столько нашей земли, наших городов, да ведь они вот сейчас обстреливают твой Ленинград, твою дочь... И ты можешь заигрывать, улыбаться немецким мундирам со свастикой?..

– Да... ты прав, ты прав... – Она цеплялась за меня, плакала, уткнувшись в рукав, и сквозь плач повторяла: – Я дура, я негодная дура... – Потом затихла. – Но ведь это все-таки антифашисты и Х. коммунист, ты же сам говорил, что он типичный немецкий коммунист.

– Не притворяйся, не с одним Х. хихикала. Да, если бы и с ним, то на глазах у других, изголодавшихся без женщин. А это уже не жалость, ты же всех не приласкаешь, тут и твоего темперамента не хватит.

– Ты оскорбляешь меня... Это неблагородно.

– Ты сама себя оскорбляешь... Разве это благородно вести себя так, чтобы несколько сот немцев могли потом хвастать, что даже в плену они были неотразимы для русских женщин, и некая фрау лейтенант так и млела, увидев дюжего немца.

– Я понимаю, понимаю... Клянусь тебе, этого больше не будет, клянусь жизнью дочки.

– Ладно! Но теперь уж я постараюсь, чтобы ты соблюдала клятву. С сегодняшнего дня не смей приближаться к пленным. Понимаешь? Запрещаю тебе это как старший и

как друг. Я поручился за тебя перед здешними, и они пообещали, что больше никому ничего не скажут, не дадут хода делу. О том, что здесь было, никто у нас не узнает, я никому ничего не скажу. Но если ты осмелишься еще хоть раз поехать сюда или приблизиться к пленным, пеняй на себя, я немедленно выскажу публично и официально все, что говорил тебе сейчас. Понятно? Ты знаешь меня достаточно. Дружба дружбой, а война есть война и служба у нас с тобой военная, понимаешь.

— Понимаю. Клянусь, клянусь жизнью дочери... Я буду все делать, как ты велишь.

Год спустя Нина вышла замуж за подполковника Георгия Г , лектора Политуправления. Терский казак, высокий, плечистый, с тонкой талией, в черных мелковолнистых густых кудрях — серебристая проседь. Тонкие брови вразлет, темно карие глаза, гордый орлиный нос, — ”от бабки черкешенки”. В осанке безыскусственное изящество, достоинство и сила. Но держался он скромно, даже застенчиво, улыбался ребячески доброй, белозубой улыбкой. До войны он преподавал историю, был добросовестным, неутомимым начетчиком. Глубоко религиозный сталинец, он каждую очередную партийную ”установку” спешил объяснить научно. Безупречно храбрый на передовой, он робел перед партийным начальством до заикания. Добрый и правдивый в ”личных” делах, он убежденно оправдывал все жестокие гнусности, которые когда-либо творились ради торжества революции, творились по указаниям партии, уверенно повторял каждую казенную брехню.

Нину он полюбил безоглядно, самозабвенно. Он добился, чтобы начальство признало их мужем и женой, они стали жить вместе. И он переезжал с места на место с нами, хотя служил в отделе пропаганды.

Забаштанский ездил для ”обмена опытом” на соседний фронт и, вернувшись, рассказывал о Майданеке, подробно описывал газовые камеры, крематорий, склад человеческих волос, горы обуви... Он говорил, как всегда, негромко, с нарочито насупленной страстью и внятно выделял необычные, недавно услышанные и ему самому еще любопытные словосочетания: ”фабрика смерти”, ”смертельная концентрация

газа", "тела застывали в чудовищных судорогах", "повышение пропускной способности крематория", "рациональная технология массового истребления человеческих существ"...

Потом он заговорил о том, что он сам думал и чувствовал, когда ходил по лагерю, ступая по золе от сожженных людей... Диапозон выразительных интонаций у него был небольшой и в его речи нелепо звучало что-то вроде грустной мечтательности.

— От стою я коло этих газовых камер, где столько миллионов людей, — и старые и малые, — позадыхались в тех чудовищных судорогах... Стою я и думаю, а кто же это крутил этот крантик, кто пускал газ и кто смотрел у то стеклышко, как там люди душатся и умирают. Кто ж там был — Гитлер, или может Геббельс? Или может, генерал или фабрикант? Не-е — думаю, то был обыкновенный рядовой фриц, простой немец, может даже з рабочих, з крестьян, и может у него дома есть жена, дети... А он этот крантик поворачивал и потом закуривал и шел обедать или письма писать домой до своей Гретхен... Вот я стою и думаю, чи можно такое забыть всем немцам? Чи можно прощать?

Говоря это, он то и дело посматривал на меня, — испытующе вопросительно... Я понимал, что он ждет возражений. Страшно было все, что он рассказывал; я уже читал об этом в газетах, знал, что это правда. И все же мерзки были его выводы, шовинистическая спекуляция на трупах, на человеческом пепле... Но как возражать против этого и, вместе с тем, не оказаться в роли защитника палачей?

Нина тоже смотрела на меня; она зло таращилась и заговорила с надрывным придыханием:

— А я вот, слушая вас, товарищ подполковник, ненавижу не только немцев, — всех, всех немцев, — но и наших добреньких гуманистов, которые за них заступаются...

Тут и я не выдержал.

— Чего ты на меня таращишься, Нина Михайловна? Это ты меня что ли ненавидишь вместе со всеми немцами? Со всеми, значит, и с Тельманом, и с Вайнертом, они ведь тоже немцы? Там в лагере смерти — палачи были, конечно, немцы, но и среди жертв были тоже немцы, коммунисты, антифашисты.

Забаштанский прервал:

– Не-не, неправда, в Майданеке немцев не было, там с Германии только евреев привозили.

– Ну, так в других лагерях были и есть. А среди палачей были не только немцы, но и полицаи из наших земляков. Ненавижу я немцев не меньше, чем ты, Нина Михайловна, и уж во всяком случае раньше, чем ты… два года назад ведь ты попрекала меня жестокостью.

В ее глазах промелькнул злой испуг.

– Этого не было... не могло быть... Я этого не помню...

Нет, было! Но я ненавижу немецких фашистов, – понимаешь, фашистов! – немецких оккупантов и всех, кто с ними. И ненавижу не только для митингов и статей. Ненавижу лично... В Бабьем Яру в Киеве расстреляны мои кровные, в Остре на улице повесили всех, у кого такая фамилия, как у меня. И мой единственный брат – хорошо, если погиб в бою, а ведь если в плен попал, так это его там в Майданеке газом душили... И, может, тот самый полицай, который его убивал, , теперь тоже кричит о ненависти ко всем немцам. Но я ненавижу всех фашистов и не могу ненавидеть весь народ. А с такой ненавистью, как твоя, не случайно еще в паре и ненависть к гуманистам... Кстати, у гитлеровцев это тоже ругательное слово... В одном доме в Белостоке я нашел значок черносотенного "Союза Михаила Архангела", надо бы тебе его подарить… Очень подходит к твоей ненависти…

– Ты!.. Что ты говоришь?.. Ты не смеешь... Ты называешь меня черной сотней! Ты оскорбляешь!.. Как тебе не стыдно! – Она вскочила и убежала в другую комнату.

Забаштанский был спокоен.

– Ну, чего ты в бутылку лезешь? Никто на тебя не думал. И ее зачем обижать. Женщина хлипкая. Интеллихентная, а ты ей какого-то Михаила Архангела. Ох, и горячий ты, слова вперед скачут, а уже только потом думаешь... Иди, успокой ее, а то теперь слезы ведрами таскать.

Я нашел ее в доме, где была канцелярия отдела. Она плакала, говорила, что никогда, никогда не забудет, что "между нами все кончено"... Сначала я прикрикнул, потом перешел на шутливый тон.

– Брось ломаться, лучше пошевели мозгами, сообра-

зи, что ты сама говорила, когда смотрела змеиными глазами, как заявила, что ненавидишь меня так же, как немцев... Это, что же, дружеские шуточки? Союз Михаила Архангела, ведь все же русские люди были, а не немцы. Так что ты меня хуже обидела...

Постепенно она успокоилась, даже вспомнила, что раньше думала иначе. Но разве можно попрекать человека его прошлыми заблуждениями?

– Да, можно, если новые заблуждения еще хуже...

Мы разговаривали уже настолько мирно, что в ее глазах начал мелькать знакомый томный блеск и дыхание участилось и она стала придвигаться, закидывая голову, цепляясь за мой рукав подрагивающими пальцами. Ее новый муж был в отъезде, ее комната здесь, за канцелярией. К счастью, кто-то вошел и я поспешил убраться...

На партсобрании, когда меня исключали, Забаштанский рассказал:

– Когда я после поездки в Майданек докладывал отделу о зверствах немцев, так он прямо выступил в защиту немцев. Так, знаете, защищал, что беспартийная женщина – старший лейтенант, даже возмутилась до слез, а он в ответ оскорбил ее, назвал черносотенкой...

То же самое он повторил и на следствии.

Это был, кажется, единственный случай, когда Нина Михайловна посовестилась. На очной ставке и в суде она решительно отказалась подтвердить показания Забаштанского, говорила, что ничего такого не слыхала. Тогда она была уверена, что этим совершает благодеяние и честно "рассчиталась" за прошлое.

Георгий был честным человеком. Он мог жить только при полном равновесии совести и убеждений. Поэтому он стремился теоретически, "марксистски научно" обосновать все, что его восхищало в статьях Эренбурга. Как и очень многие в ту пору, он был влюблен в его библейско-фельетонную риторику, восторгался его энциклопедической образованностью и патетической задушевностью. И я доказывал, что мы обязаны думать о послевоенных задачах, что нам еще придется идейно бороться против нынешних союзников. Ведь тот же Черчилль был, есть и всегда будет врагом советской власти, врагом коммунизма. После войны мы конечно же станем союзниками немецких рабочих и крестьян в борьбе против Черчилля и Рузвельта...

Вскоре после нового, 1945-го года, Георгий показал мне тезисы своей лекции о Версальском мире. Он утверждал, что этот мир был "слишком мягок", что империалисты Антанты были в сговоре с немецкими милитаристами и, приводя слова Ленина, весьма резко осуждавшего Версальский договор, пытался истолковать их по-своему: дескать, мало наказали Германию. Нетрудно было с помощью того же тома Ленина, откуда он выписывал цитаты, доказать, что основные положения его лекции были прямо противоположны всему, что действительно писал и говорил Ленин.

Нина злилась. Она была умнее своего красавца Жоржа и лучше понимала несостоятельность его аргументов. Но в отличие от него, ей были безразличны теории и цитаты. Она просто ненавидела всех, кто ему перечил, а немцев ненавидела тем более искренно, что еще недавно боялась их. В то же время эта ненависть поднимала, возвышала ее, – скромную канцеляристку "сомнительного" социального происхождения, и приобщала к великой державной мощи, к великой партии, к тем силам, которые превратили ее в офицера, в кандидата партии, в жену Георгия...

Видимо еще раньше она стала информатором контрразведки. Она должна была всегда верить в правильность всего, что делает. Раньше она верила, что должна спать с начальником, чтобы спасти дочку, а с наборщиком из жалости. Отдаваясь мгновенному позыву похоти – обостренной и сознанием возраста и всей атмосферой ближнего тыла – "хоть день, да мой", – она каждый раз верила, что это любовь, страсть, роковое предназначение.

А составляя очередную сводку для контрразведчиков, она должна была верить, что совершает нечто необходимое для партии и государства, и должна была ненавидеть всех, на кого доносила. Но когда она смотрела на меня с неподдельной ненавистью, я объяснял это нашими разногласиями.

Ревнивый Георгий, напротив, лучше всего относился именно к тем, кого она не жаловала. Мы с ним оставались приятелями и после самых жарких споров. Самолюбивый и ограниченный, он был вместе с тем великодушен, незло-

памятен, бескорыстно любознателен, глубоко чтил знание "первоисточников" и во мне видел такого же марксистского начетчика, каким был сам.

В январе 45 года он дал мне рекомендацию для перехода из кандидатов в члены партии. А позднее, на следствии я понял, что наши тогдашние споры служили Нине материалом для доносов.

Впрочем, ее вражда была такой же непостоянной, как любовь. Однажды, встретив меня, она вдруг подошла вплотную и зашептала:

– Прошу тебя, остерегайся. Забаштанский тебя ненавидит. Ты себе даже представить не можешь, как он тебя ненавидит... Он ненавидит всех интеллигентов и он антисемит... Поверь мне, я твой друг, я хочу тебе добра... Будь осторожен, не ссорься с ним, и не откровенничай, и не пей с ним, ты спьяну можешь такое наговорить...

В эту минуту она тоже была искренна. То ли оживали добрые воспоминания, то ли рудименты совести требовали уравновесить недавний, либо предстоящий донос.

Она же рассказала, как Беляев пришел в канцелярию и, хватаясь за голову, бормотал:

– Что я наделал!.. Я погубил друга... Что я наделал! Забаштанский заставил меня погубить друга!

Передразнивая, она почти задыхалась от гнева. – Это он все для нас старался, для меня, для Лены и Ани (машинисток). Он знает, что мы все к тебе хорошо относимся, что я и Георгий с тобой дружим, и он хотел, чтобы мы тебе рассказали, как он переживает...

Когда после исключения из партии, я, еле держась на ногах от болей и жара, стоял во дворе, ожидая машину, чтоб ехать в госпиталь, Нина подбежала проститься. Она плакала и шептала порывисто:

– Какое несчастье! Как мне жаль... Я так боюсь за тебя... тебе еще будет плохо... Самое ужасное, что в контрразведке теперь все новые люди и особенно этот Королев, они к тебе плохо относятся!.. Раньше были еще старые с северо-западного, они тебя уважали... Но ты только будь здоров. Дай, я тебя поцелую.

Стало очень грустно и грусть была доброй, даже нежной. Ведь нас связывали почти четыре года войны и, несмотря

на все приступы ее истерической враждебности и на мутные пятна в наших общих воспоминаниях, – были же и светлые живые нити. И расставались, может быть, навсегда. Поэтому не стоило вспоминать обиды, ссоры, грязь. Было очень грустно...

Уже в первый день в тюрьме я вспомнил, что она, прощаясь, назвала какого-то Королева. А ведь это был тот капитан, который арестовал меня, а потом звонил Забаштанскому. Почему она назвала именно его? Откуда знала? Тогда, в первые дни, я себя успокаивал так: вероятно, он бывал в отделе. Раньше ведь и я знал нескольких особистов-контрразведчиков, которые приходили к нам, интересовались нашими делами, иногда обменивались протоколами допросов военнопленных, либо "сигнализировали" о неблагонадежных антифашистах. Бывало, мы спорили, бывало, и ладили. В последний год войны я встречал их реже. Все переговоры с другими отделами и управлениями вел Беляев. Так что я мог и вовсе не знать новых контрразведчиков, которых знала Нина.

Но следователь задавал мне снова и снова такие вопросы, в которых явственно слышались отголоски наших споров с Георгием и Ниной. Он спрашивал о Эренбурге, о Версальском мире, об исконных правах Польши на Померанию и т.д.

И, наконец, мы встретились на очной ставке. В тот день Виноградов был особенно раздражителен. А я все еще болел. Нина растерялась, увидев меня, – обросшего густой черной бородой, с воспаленными от жара глазами, подрагивавшего в ознобе. Смотрела она расширенными от испуга и жалости глазами.

На стереотипный первый вопрос, какие у нас были отношения со свидетелем, я отвечал, что мне казалось дружеские, правда, мы спорили иногда, но во всяком случае, я считал себя ее другом. Она всхлипнула и сказала: – Мы спорили, да, но по-дружески, мы были друзьями.

Несколько раз, прерываемый окриками Виноградова,

я повторял – прошу тебя, говори всю правду, ты знаешь, что Забаштанский заставил Беляева написать на меня донос, ты знаешь, что Забаштанский ненавидит меня. Скажи правду.

Она смотрела умоляюще то на следователя, то на меня.

– Да, да, это правда... Полковник Забаштанский действительно плохо относился...

Следователь злобно прервал:

– Не оказывайте давления на свидетельницу, не терроризируйте ее. Вот отправитесь в лагерь, там вас научат.

– В лагерь? Значит, это уже не следствие, а суд? И вы меня уже приговорили? Вот это и есть давление, недопустимое давление на свидетельницу. Вы думаете, на вас нет управы?

Но он был достаточно опытен – понимал, что Нина ему не опасна. Нужно только напугать. Он застучал кулаком по столу, закричал:

– Опять ваша троцкистская демагогия! Кто вам сказал, что здесь суд? Но я, как коммунист, высказываю свое мнение, что ваше место в лагере. Вы не думайте, что вам здесь удастся действовать красивыми словами... Мы знаем цену вашим красивым словам...

Перед этим Нина сказала, что я хороший пропагандист, красиво говорю. Она стеснялась, не хотела только обвинять, пыталась высказать и что-то "положительное." Виноградов злился и, наконец, спросил ее прямо:

– Подтверждаете ли вы имеющиеся у следствия данные, что он вел разговоры в защиту немцев, критиковал советское командование, ругал советскую печать и писателя Эренбурга и осуждал действия советских войск на территории Восточной Пруссии?

Я сказал: – Нина, говори только правду, только правду...

Виноградов прошипел: – Я вас накажу...

Нина посмотрела на меня страдальчески и залепетала:

– Нет, нет, таких разговоров не было. Он ругал мародеров, нарушения дисциплины. Да, и статьи Эренбурга. Об этом были споры. Он горячий, увлекается. Я говорила ему, что некоторые товарищи могут истолковать это во вред ему, подумают, что он защищает немцев...

Виноградов слушал, кисло морщась, но писал, не отрывая ручки.

Потом он, как полагается, прочитал вслух протокол очной ставки. Прочел и этот свой вопрос, а затем ответ Нины, который в записи прозвучал так:

"Он вел вредные разговоры о том, что наши войска, якобы, занимаются мародерством, я и другие товарищи призывали его не защищать немцев и прекратить вредные разговоры".

Это было настолько нагло, что я вскочил с места и закричал:

– Но ведь это же неправда! Это же прямо наоборот. Как вам не стыдно!

Тогда он выхватил из ящика стола пистолет. У Нины глаза совсем вылезли из орбит.

Он визгливо закричал:

– Сесть! Немедленно сесть! На место!

Я сел и сказал:

– Можете не играть пистолетом. Ведь это вы только свидетельницу пугаете, а я протокола не подпишу. Это неправда.

Он положил пистолет, но продолжал кричать:

– Вот, вот, где она троцкистская демагогия! У вас все лжецы, один вы правдолюбец! Всех чернить, на всех клеветать, вот где настоящая троцкистская тактика. Но теперь ваша песенка спета!

Нина плакала почти в голос. Когда он сунул ей протокол для подписи, она начала было бормотать: – Но здесь... я... не совсем так...

Виноградов свистящим шепотом спросил: – Вы что же, солидаризируетесь с ним?

Она подписала.

Тогда Виногродов сказал мне уже совершенно миролюбиво и даже с улыбочкой: – Ну, что ж, эту страницу, с которой вы не согласны, можете не подписывать, но там, где возражений нет, вот, пожалуйста, прочтите сами и подписывайте.

В протоколах допросов подписывается каждая страница. Я прочел, решив, что добился своего и, пропустив одну "спорную" страницу, подписал все остальные. Следователь

был спокоен. Он-то знал, что никто не станет изучать все страницы.

В тюрьмах, в лагерях я часто вспоминал о Нине Михайловне, думал о ней, рассказывал наиболее близким друзьям. Она тоже приложила руку к моему "делу", исполняла в нем, хотя и второстепенную, но довольно существенную роль. Однако, даже в первые, самые трудные годы, я не мог на нее сердиться по-настоящему, не мог поставить ее в один ряд с Забаштанским, Беляевым и Мулиным. Потому что она все же из тех, кто почти не ведает, что творит. В ней были возможности для добра и для зла. Преобладание того или другого зависело от внешних обстоятельств.

Она – современная разновидность той "душечки", которую описал Чехов. Главное ее свойство – потребность верить, подчиняться, прилепляться и рассудком и сердцем. Она должна отдаваться всему, чему предан, чему служит ее муж, любовник или сын и внук.

При Серафиме Георгиевиче она хотела быть порядочной, интеллигентной, доброй, честной, человеколюбивой. При комиссаре Б. она пылко рассуждала о требованиях фронта, о воинском порядке и презирала хлюпиков-интеллигентов, утратив прежнюю щепетильность и брезгливость, восхищалась лихими вояками и теми, у кого "настоящая партийная хватка". Даже эти слова она произносила особенно значительно и весомо.

С Георгием она хотела быть романтической революционеркой, ученой марксисткой и одновременно русской патриоткой, а также "настоящим офицером" и, разумеется, уже сама обладать "настоящей партийной хваткой".

Характер душечки древен и каждая эпоха создает свои особые варианты. Чеховская героиня могла прилепиться и к слабому, несчастному, ее бабушка могла оказаться и женой декабриста. Старые душечки неспособны были предавать, обманывать.

Душечка Нина Михайловна была так же искренна, как они, так же растворялась в интересах и убеждениях своих избранников, но постепенно привыкала избирать только удачливых, благополучных, восхищаться теми, кому везет, ве-

рить лишь в те идеалы, которые торжествуют. И так уж совпали особенности ее природы, — похотливой, жалостливой и неустойчивой, — с особенностями господствующей "диалектической" морали, что она легко предавала друзей, — пожалев и всплакнув, но все же предавала, — легко изменяла мужьям и любовникам, всякий раз искренне веря в свою правоту и в греховность или человеческую несостоятельность тех, кого предала и обманула.

Она была хуже многих, но не самой худшей.

Девятнадцатая глава

МАЙОР ИЗ ПЛЕНА

Когда его привели к нам в камеру, на обычные вопросы – кто и откуда – он отвечал коротко, негромко. Майор. Кадровый. Пехота. Был в плену с августа 41 года...

Сперва он показался туповатым строевиком, одним из тех служак, которые добросовестно выполняют любой приказ, чтут любое начальство. Держался он неуверенно; замордованный пленом, обескураженный арестом и следствием, он и в камере смущался, робел перед каждым горлохватом, перед лихим "целошником" из шоферов, перед наглыми блатняками из штрафных.

Рассказывать о себе он стал только через несколько дней, пообвыкнув; говорил вполголоса, отрывочно, с длинными паузами и так, словно заполнял "опросный листок".

–...В армии с 25-го года. Начинал рядовым красноармейцем. Остался на сверхсрочную. Тогда еще безработица была. Отец – железнодорожник, служба пути. Семья большая. Четверо детей. Я старший, остальные, значит девочки. На слесаря учился при депо. Мечтал о флоте. Но взяли в стрелковую часть. Служил, так-ска-ать, хорошо. Имел, значит, только благодарности. Майором стал после финской. Служил в Москве в Пролетарской дивизии. Воевать я начал, так-ска-ать, на старой границе. Конечно, трудно было. Отступление. Но мой батальон ни разу не отходил, значт, без приказания. И всегда в полном порядке. Матчасть сохраняли, все, значт, как положено. Однако – превосходящие, так-ска-ать, силы противника. Окружение. Большие потери. Сам я был дважды ранен, контужен. В лесу потерял сознание. Очнулся уже в сарае, значт с пленными. Сразу же увезли в Германию. Работал в малых колоннах – у бауэров, и, так-ска-ать, на ремонте дорог в Померании...

Он сберег старый китель, бриджи и даже фуражку с красным околышем. Все поблекло, пообтрепалось, многажды чиненное, штопанное, подшитое. Но прежде, чем прислониться к стене, он осторожно оглядывался, когда раздевался, тщательно складывал и бережно разглаживал китель и бриджи; он спал,

в отличие от всех, в одном белье, кутаясь в драную шинель. Нетрудно было представить себе, как еще рядовым угождал он самым придирчивым старшинам.

Говорил он тоже осторожно, старательно подбирая слова. Его речь – и раньше, вероятно, не слишком богатая, – теперь от неуверенности звучала напряженно, вымученно, с постоянными "так-ска-ать", "значт", "вотыменно".

Подхорунжий Тадеуш учил меня польскому языку, а я его – русскому. Ни бумаги, ни карандашей у нас не было, мы заучивали все наизусть. И чтобы лучше запоминать слова, учили стихи и песни. Тадеуш научил меня "Молитве Тобрука", которая стала гимном варшавского восстания, и "Партизанскому танго". А я начал с песни "Огонек", которая в 1944 году была очень популярна у нас на фронте. ("На позицию девушка провожала бойца..."). Когда я впервые ее запел, разумеется, вполголоса, майор подсел к нам и слушал насупленно, серьезно. Глаза в рыжих ресничках повлажнели и покраснел нос, короткий, в мелких веснушках, светлых и опрятных, как отборное пшено.

– Очень, так-ска-ать, содержательная песня. Пожалуйста, нельзя ли еще раз прослушать... – Спасибо. Очень глубокое, значт, содержание. Патриотическое и волнующее, так-ска-ать, душевное.

Он отошел, притихший. Долго молчал, нахохлившись, в своем углу.

О жизни в плену он говорил неохотно и скупо. Подробнее и несколько живее рассказывал о том, как достал радиоприемник у немцев.

– Был там один, так-ска-ать, сочувствующий. Сельхозрабочий, или как у нас раньше, значт, говорили, батрак. Имел сознательность, так-ска-ать, классовое сознание. Он намекал нам, – и это возможно, даже правда, фактически так было, – что раньше, то есть, значт, до фашизма, он примыкал к компартии, вотыменно. Такой вид он перед нами делал и действительно приемник нам достал. Старого, такскать, образца, но, все же исправный. Москву мы слушали, значит, сводки, приказы. Очень глубоко переживали всенародные ликования после великих побед, вотыменно. Статьи и вообще материалы из газет, такскать, прорабатывали по мере возможности, значт. Ведь приходилось иметь, такскать, особую бдительность. В колонне кто? Военно-

пленные! Конечно, люди разные и разные у них, таксказать, калибры или масштабы ихней вины и разная, значт, сознательность. Но – сдача в плен, это всегда, значт, есть измена. Вотыменно. Один это, конечно, искренно признает, раскаивается, такска-ать, переживает, готов, значт, искупить кровью или трудом, или жизнью, вотыменно. А другой не допонимает, обижается, такска-ать, закоснел или же наоборот, заядлость имеет. И уже окончательно изменяет, значт, служит врагам, фашистам. Больше, конечно, за страх, такска-ать, а не за совесть, но все-таки старается и своих же соотечественников продает, значт, как типичный враг народа. Вот именно. Так что бдительность нужна была. Приемник этот мы строго засекретили, знали только некоторые товарищи, такие, как я, значт, тоже из командиров... Теперь я слыхал, принято говорить офицер... Точно? Ну, конечно, ведь и погоны тоже? Это очень, значт, существенный важный шаг по укреплению таскаать авторитета командных кадров. Вотименно. Ну, так, значт, у нас некоторые... Но все же поскольку это военнопленные, значт, неудобно все же сказать "офицеры", вотименно. Только некоторые, значт, лица имели доступ. А все сведения, – что мы, значт, слушали, мы передавали потом аккуратно, через доверенных и вроде как бы от немцев достоверно узнали. В общем, старались, такска-ать, поддерживать дух. В смысле веры в победу нашей родины, а также, значт, искупления тяжкой вины.

Когда я спросил: "Майор, вы член партии?" – он втянул голову в плечи и густо, малиново покраснел. Ответил не сразу, шепотом, сбивчиво и многословно. Шептал, что, конечно, был... В душе, в сердце, то есть, в сознании всегда... Однако, сам, понимаю, как, значт, допустивший тягчайшую вину измены, то есть плен, что, таксказать, равносильно измене, хотя лично не сдавался, был схвачен без чувств, контуженный, да еще истощенный, вотыменно, –в окружении голодали, да еще больной, от простуд и отравления... – ведь питались, что в лесу, что в полях... такска-ать, в точном смысле подножный корм, полное, значт, разрушение организма... Но главное, конечно, отсутствие боеприпасов. Не учел я, значт, не предвидел момента, не оставил последний патрон для себя, как положено, таксказать, на правильном, на высоком, значт, морально-политическом уровне. Однако, не буду ссылаться на объективные причины, значт, а наоборот, со всей искренностью признаю и

хочу искупить, таскскать, до последней капли... крови, куда, значт, пошлют, что прикажут... Что касается партии... это, такска-ать, есть святыня и тут уже, значт, кто не достоин, не смеет посягать, даже думать.

У него опять повлажнели глаза и часто моргали короткие ребяческие ресницы, такие странные на усталом обветренном лице, иссеченном тонкими морщинами. Его ровные рыжеватые волосы над небольшим бугристым лбом, разжиженные плешью и густая рыжая щетина на щеках, были уже порядком просолены сединой. А реснички и веснушки оставались мальчишескими.

Разговаривая со мной, он держался напряженно, никак не мог найти нужный тон. Я был такой же арестант и подследственный, но, ведь, я не побывал в плену. Мы были равны по званию, но я был моложе по возрасту, к тому же из запаса. Он выбыл из строя в начале войны, когда все это еще много значило для таких кадровых офицеров. Он обстоятельно расспрашивал, какие у меня ордена, медали, как продвигался в званиях, какую ставку получал. Несколько раз вспомнил о том, что, вот его однокашник Поплавский стал генералом, командует польской армией. Называл и других, о ком успел узнать, кто стал полковником, двое генералами.

Все недавние страдания в плену представлялись ему теперь едва ли не менее болезненными, чем такие тоскливые сравнения. Он и сам себе, вероятно, не признался бы, что завидует бывшим товарищам, их новым званиям, чинам и орденам. Все, что он терпел там, в Германии, уже прошло, и к тому же было платой за жизнь, и хоть как-то искупало его невольную, но мучительно сознаваемую вину. А здесь все еще только начиналось. Даже, надеясь на лучшее, – тогда и новые арестанты и следователи постоянно говорили о предстоящей амнистии, – он уже не мог надеяться наверстать упущенное, нагнать бывших сослуживцев. И в этом он, – кадровый строевик, армейская косточка, – всего отчетливее сознавал, всего острее чувствовал непоправимость своей судьбы. Он не умел скрывать этого, невольно выдавал себя тяжелыми вздохами. – Моей жене теперь стыдно как, ведь подруги-то, значт, полковничихи, генеральши. – Он внезапно сумрачно умолкал, вспомнив еще одного из таких счастливых приятелей или ревниво говорил: "Вы

только подумайте, он уже генерал-майор, а ведь был еще стар шиной, когда я уже ротой командовал".

Двадцатая глава

ПЕРВЫЙ БЛАТНЯК И ПЕРВЫЙ ПРОКУРОР...

Почти ежедневно приводили новых арестантов.

Несколько солдат были участниками насилий и кровопролитных драк. Двоих обвиняли в убийстве.

Особняком держались интендантские и военторговские ворюги. К ним льнули двое блатных – толстомордый Мишка и Васек Шкилет, щуплый, узкогрудый.

Мишка невзлюбил нас с Тадеушем за то, что мы не слушали, когда он, брызгая слюной, врал о своих фантастических подвигах лучшего разведчика дивизии и вагонного вора международного класса, а больше всего о своих любовных похождениях. Его рассказы были крайне однообразны и в жутких страстях и в склизкой похабщине и в надрывном пафосе блатной сентиментальщины. Героиней чаще всего бывала красючка – такая, аж больно смотреть, – докторша, артистка, жена доктора, завмага, генерала, прокурора, – ниже полковника он не опускался. Если дочь знатной особы, то, конечно же, такая честная, такая невинная, – бля буду, не разбирала мальчика от девочки. – Все они его обожали, страдали, мыли ноги, хотели отравиться или утопиться, были ненасытно чувственны, отдавали ему свои "брульянты", "шелковые вантажи", – по-вашему, шмутки, – и все готовы были идти с ним на блатную жизнь,

бросив мужей, отцов или должности, квартиры и дачи, – гад я буду, чтоб я так жил, век мне свободы не видать... Всех он любил в роскошных спальнях или номерах наилучших гостиниц, ото всех уходил благородно и печально, взяв на память одно колечко или брошку или "миндальончик", которые не продавал потом ни за какие тысячи, – сука буду, чтоб мне сгнить в тюрьме, – но потом терял при еще более романтических обстоятельствах, прыгая с вагона скорого поезда на товарный или в немецком штабе, или в объятиях новой еще более "интеллихентной" красавицы.

Разок-другой мы отшили Мишку. Тогда он пристал к Тадеушу, уродливо кривляясь и шепелявя: „Пшепрашу пане-пшепше, брезгуешь советским воином, фашист пилсудский".Тадеуш презрительно отмалчивался, а я заорал матом, задыхаясь от отвращения. Мишка визгливо "психанул".

– Ты сам пятьдесят восьмая, враг народа, фашист за фашиста заступается. Пусть я вор, но я советский вор, патриот родины, а фашистов вешать надо.

Шалея от злости, я стал разуваться. Сапоги – единственное оружие арестанта, ослабевшего на скудном пайке.

Майор растерянно уговаривал:

– Товарищи, так нельзя. Нужна же дисциплина, значт, порядок. Нужна сдержанность, нельзя так.

Дежурный открыл дверь:

– Прекратить шум! Не то всю камеру – на карцерный режим.

Большинство загудело, чтоб Мишка заткнулся. Ведь он начал. Драка не состоялась. Через минуту Мишка хихикал в своем углу с Шкилетом, а я умильно размышлял о том, что, вот, какой ни есть, а все же коллектив, и поэтому стихийно рождает справедливость, – количество переходит в качество. Пытался даже объяснить это Тадеушу. Он не столько возражал, сколько объяснял по-иному, по-своему: большинство людей душевно предрасположены к добру, это одно из основных положений христианской этики.

На следующий день Тадеуша увезли в трибунал – он получил восемь лет. А через два дня начальник фронтового СМЕРШа генерал-майор Едунов обходил камеры, спрашивая, есть ли жалобы.

Мишка захныкал, что пятьдесят восьмая дохнуть не дает,

вон этот распевает польские фашистские песни, с сапогами на людей бросается.

Все остальные молчали. Количество предрасположенных к добру душ перешло в какое-то иное качество. Я попросил бумагу для письменного заявления о голодовке.

Генерал-майор, ватно седой коротыш, круглоголовый, с быстрыми темными глазами, был еще и зам.председателя фронтового КПК. Пяти месяцев не прошло, как в декабре он приветливо улыбался, снимая с меня выговор, полученный весной сорок четвертого года. А всего месяц тому назад он же сухо подтвердил исключение из партии "за грубые политические ошибки, за проявление жалости к немцам, за буржуазный гуманизм и вредные высказывания по вопросам текущей политики".

Генерал смотрел на Мишку брезгливо, на меня внимательно, и едва ли не жалостливо. На мгновение я увидел себя его глазами: заросший черной щетиной, воспаленные глаза, – в тот день как раз опять повысилась температура, – вата в ноздрях и ушах, стоял напряженно, стараясь не гнуться от боли в спине.

– Бумагу получите. А голодовка – это ни к чему. Это не наши методы.

Через несколько минут принесли карандаш и листок. Я написал: прошу перевести в другую камеру. Я офицер Красной Армии, никем не лишенный званий, не хочу находиться вместе с бандитами, шпионами и т.д. Это оскорбляет не только меня лично, но и всю армию, чей мундир я ношу. Поэтому, если меня оставят в прежней камере, отказываюсь принимать пищу.

Через полчаса вызвали к начальнику тюрьмы. Насупленный старший лейтенант говорил скучающе:

– Ну, чего вы опять волыните? Я ж вам разъяснил, здесь полевая тюрьма. Мы не можем содержать каждого, как ему захочется. Ну, как я вас переведу?

– Прошу в такую камеру, где хотя бы не одни только бандиты и власовцы: в Тухеле я сидел с югославскими офицерами.

– Это с какими?

Я называю имена. Через час меня уводят "с вещами".

Прощаюсь только с майором. Он едва отвечает. Все понятно: я ухожу, а Мишка и Шкилет остаются.

Ведут по коридору первого этажа. Проходим пустые комнаты, в которых стоят вразброд кресла, стулья темного дерева с высокими спинками, разбитые буфеты. На стенах – оленьи рога, чучела кабаньих морд, по белой штукатурке – черно-золоченные или черно-красные буквы "шпрухов". Опять коридор, потом дверь в большую пустую кухню, а за ней маленькая комната, вроде кладовки, узкое оконце без стекла, кое-как, не сплошь забитое осколками досок. Виден сад, большой кусок неба. На полу – на ворохе чистой соломы вповалку лежали Борис Петрович, Иван Иванович и Лев Николаевич. Сперва – радость, объятия, расспросы, но вскоре тон начал спадать. Услышав про мое заявление, про угрозу голодовки и что мою просьбу так быстро выполнили, Иван Иванович явно заподозрил неладное, – не подсажен ли я к ним. Он стал говорить все меньше, все осторожнее. Лев Николаевич и вовсе притих. Борис оставался неизменным – то ли потому, что полагал более опасным выказывать недоверие, то ли не разделяя их подозрений. Он, как и раньше, подробно расспрашивал меня и сам много рассказывал о Югославии.

Заметив настороженность стариков, я понял, что невозможно что-либо изменить, не станешь ведь объяснять,–что вы, дорогие, я не наседка. Оставалось только ничего не спрашивать и самому говорить на посторонние темы – история, литература, военные воспоминания.

Но обида померкла перед неожиданной радостью. Югославам и в Тухеле полагалась прогулка, а теперь с ними повели и меня – вывели в сад, – не во двор, куда мы ходили два раза в сутки на оправку к вонючему ровику, а в настоящий сад, – молодая зелень кустов и дубков светились на темно-синеватой зелени елей. Высокое голубое небо. Редкие белые хлопья облаков... Ветер теплый, мягкий. Закружилась голова. Внезапная слабость. Я сел на траву. Кажется, впервые в жизни так необычайно внятно ощутил запах травы, влажной земли, теплоту весеннего ветра и подумал, что это: кусты, земля, трава – куда важнее всего, что сейчас заполняет мою жизнь: тюрьма, следствие, ожидание суда; протоколы, допросы, очные ставки, разговоры об амнистии, мелкая злость, мелкие радости, – все, что скручивает мысли в один тугой жгут, натянутый до боли.

Возвращаться в камеру после первой прогулки было очень трудно.

А вскоре досталась еще одна радость — книги. На допросы меня водили по ночам на второй этаж через большой зал и коридор, несколько раз круто поворачивавший. Вдоль коридора стояли шкафы, горки, этажерки, буфеты, вынесенные из разных комнат. Я приметил у одного из поворотов книжный шкаф с разбитой стеклянной дверью. Книги лежали навалом. Коридор освещал тусклый фонарь. Об этом шкафе я думал на протяжении всего допроса. Когда повели обратно, полусонный конвоир шел сзади. Подходя к заветному углу, я прибавал шагу, завернул, на ходу сунул руку в шкаф, выхватил сколько мог книжек, затолкал под гимнастерку за брюки, — шинель укрывала мою добычу. Конвоир все же что-то заметил, окрикнул: — „Куда бегите? По камере соскучился?" Я ответил правдоподобно: „Отлить надо".

Захваченные книги были: Сборник рассказов из рыцарской жизни, американский переводной приключенческий роман о ковбоях, бандитах и золотоискателях, школьная хрестоматия прошлого века с баснями Лессинга и балладами Шиллера и несколько разрозненных обрывков книг; какой-то светский роман с трогательной любовью, сказки. На следующую ночь конвоир был помоложе, победрее, заметил мой маневр и прикрикнул: "Положь назад". Я стал канючить: "Подтираться надо, а тут чего, ведь все равно по-немецки написано". Он заставил часть книг бросить, но все же я принес в камеру иллюстрированный родословник графов Кнебель-Дебериц, в чьем замке размещалась тюрьма, календари на 1902 и 1903 годы, статистические справочники.

Днем я мог читать. В дверях нашей импровизированной камеры не успели пробить "волчок", а пока щелкал ключ, снимался висячий амбарный замок и отодвигалась щеколда, я успевал зарыть книжку в соломе. Из-за книг и сокамерники опять ко мне стали доверчивее. Старики читать не могли, у них отобрали очки. Борис плохо знал немецкий. Я пересказывал им прочитанное. Наибольший успех имел американский роман.

Солнечным утром привели новенького. Он остановился у дверей, угрюмо оглядываясь. Кавалерийская шинель внакид-

ку, фуражка с синим околышем. Плечистый, грудастый, он стоял, не здороваясь. Светлорусый чуб мелкими кудряшками нависал на выцветшие белесые брови, на сердито притемненные, глубоко посаженные серо-голубые глаза. Розовое лицо было стянуто вперед, к концу носа, круглому, прочно, даже лихо закрученному; оливковая гимнастерка и синие бриджи отличного, не армейского сукна. Сияющие хромовые сапоги, явно ручной работы. На гимнастерке аккуратно обметанные дырочки от орденов.

Не отвечая на наши вопросы, он застучал в дверь. Часовой спросил сердито:

– Чего тебе?

– Откройте!

Просунув голову наружу, он забормотал шепотом, слышно было: просит свежей соломы, пробивались отдельные слова "прокуратура", "фронт", "армия". Дежурный принес охапку соломы, он свалил ее в противоположной части комнатенки, отделяясь от нас четверых. Мы засмеялись. Еще не прошел мой первый тюремный месяц. Я понял его. Трое в каких-то иностранных мундирах, а говорят по-русски, четвертый и вовсе с виду бандит.

Мы все же продолжали спрашивать и он отвечал, неприязненно насупясь.

– А вам не все равно, кто я такой?.. Зачем вам знать? Ну, а шо будет, если вы этого не узнаете?.. Что может делаться на фронте – война делается... Ну, а если я вам скажу, что я кавалерист, так вам будет легче?

Эти встречные вопросы, певучие интонации, мягкие "шь" и "жь" и другие достаточно внятные особенности речи не допускали сомнений.

– Вы одессит?

– Ну и шо, если одессит?

Однако постепенно он стал рассказывать о себе. Петр Александрович Б., бывший прокурор из Одессы, перед арестом был прокурором кавалерийской дивизии.

– Обвинений на мне, как мух на липучке. Написали "изнасилование", мало им, так еще "растление малолетней". В общем и целом, две польки на мне остались. А в доносах, так там больше ста немок и сколько-то еще полек, но осталось только две. А все это што? Подлость и личные счеты за мою

справедливость. Что я всегда за правду. Вот вы режьте меня, а я буду говорить правду. Но только я вам точно скажу, эта подлость юридически безграмотная. Они думают на маленького напали. Я сам юрист высшей квалификации. Изнасилование, статья 153 УК, а што она говорит? И обратно же есть особая статья УПК, – требуется жалоба потерпевшей или родителей, а где у них хоть одна потерпевшая? Не найдут они ни одной потерпевшей. Кто им будет искать по всей Пруссии и Польше? А есть у них два липовых свидетеля. Мой шофер и один поляк, у которого мы на квартире стояли. Обратно юридическая безграмотность. Этот шофер идет по делу еще и как истец, как потерпевший, что я оскорблял его личность словами и действием по морде. И он сам же признает, что был выпивши. Но это што значит? Что он имеет личные счеты со мной и значит как свидетель уже ничего не стоит, даю отвод, согласно УПК. И тот поляк, обратно же потерпевший, жалуется на оскорбление по морде. И еще он показывает, что немок мне приводил шофер. Значит шофер имеет соучастие. Свидетель на свидетеля, как говорится, минус на минус, дают мине плюс. Этот шофер такой сволочь, левак, вор, ну, типичный босяк, я его от передовой спасал, я его как родного сына держал. Поверьте, я очень добрый человек. Это все знают. Жена моя всегда говорит: "Петя, тебе за твою доброту одни несчастья, ты погибнешь через свою доброту". Вот она и права оказалась, моя Лидочка.

Минутное безмолвие. Взгляд в потолок. На белой шее выразительный кадык. Глотает. Глотает. Глотает. Руки сплетены на крутом колене. Побелели пальцы. Горюет сильный мужчина.

– Так это Васька-паразит накапал неразбери-бери-шо. В парткомиссии корпуса даже смеялись: "Ты, говорят, всех немок хотел переиметь". Там он написал сто двадцать чи сто тридцать. Это ж понимаете, никакая логика не примет, не то что юридическая. Там получается по несколько штук в день. Ну, я мужчина, как говорится, в полной силе, никакая дама не жаловалась, но ведь даже научно медицински чистый абсурд. Ну, они это тоже поняли. Но отмели, все-таки, только за недостатком улик. Понимаете, какая подлость? Им, видите ли, улик недостает! А хоть бы одна потерпевшая была. Где у них потерпевшие? Так нет, они все-таки оставляют двух и одну именно несовершеннолетнюю. А почему? Потому что это уже другая статья, это уже более серьезная статья, она при желании на

десять лет потянет, при отягчающих обстоятельствах можно даже на высшую меру. Но только это, конечно, для мирного времени... Вот где подлость и обратно же юридическая безграмотность. Они же сами понимают, должны понимать, что я не маленький, у меня юридический стаж пятнадцать лет. Восемь лет был следователем и семь прокурором. Так они клеют мне еще и служебные преступления: незаконные закрытия дел, злонамеренное уничтожение или же потерю материалов, включая вещдок, что значит халатность. Крутят, вроде я каких-то там АХО и с военторга, которые совершали хищения и растраты, отпустил, как говорится, за хабара. Так это тоже Васька-мерзавец дул и потом еще раньше был у меня следователь, шибздик, вроде из интеллигентных, такой, знаете, что ему больше всех надо, он самый большой католик, он бдительный, он сознательный... В глаза он вежливый, дисциплинка, культурка: "извините", "пожалуйста", "позвольте", "спасибо". А за глаза тихой сапой, нож в спину. Ненавижу таких гадов, прямо сам бы убивал. Такому людей не жалко, он только за бумажку болеет. Ничего в нем советского, типичный царский бюрократ, судейский крючок. Хоть он сам из молодых, кончал перед войной. Но тип, такой, знаете, прямо как у Гоголя: всюду ему нужно свой нос совать. А я всегда к людям с душой. Если я могу не посадить человека, чтоб он жил на воле при семье, при детях, так я лучше не посажу, чем посажу. Но правильно говорила моя Лидочка: "Петя, ты погибнешь через свою доброту". Я имел принцип, чтоб в нашей дивизии поменьше подсудных дел. Это же честь — воинская честь. А в кавалерии, знаете, какая честь. И командир дивизии — полковник, лихой вояка, вся грудь в орденах, — имел такой принцип, и комиссар, старый большевик, политически грамотный, еще в гражданку у Буденного был, он со мной как личный друг... Так этот шибздик стал капать в корпус, в армию. Ну, у меня там есть товарищи, сигналили, я его и пристопал. Он, сволочь, упустил подследственного дезертира, а потом незаконно закрыл дело. И вообще разгильдяйство обнаружилось, в делах шурум-бурум и сожительство с машинисткой в штабе. Ну, я его и отчислил. Так вот он стал мстить. Из другой армии, а все писал доносы.

На первых порах Б. говорил только о своем деле. Узнав, что Иван Иванович — юрист, он расспрашивал его, советовался, говорил с ним о разных конкретных случаях.

— А я вот знаю такое дело, тоже о должностном преступлении — или тоже об оскорблении личности.

Но когда он рассказывал, то становилось ясно, что речь идет еще об одном из обвинений против него.

На меня он смотрел сперва недоверчиво, думал, что я вру о своем деле, но потом поверил, стал относиться даже скорее приязненно, с любопытством, замешанном на презрительном недоумении: "малохольный, жить не умеет".

Восьмого мая тюрьму перевели в Штетин. Опять грузовик набили сидящими в раскорячку арестантами. Шесть автоматчиков по бортам. Овчарка. Было уже очень тепло. Мы проезжали деревни, городки, много уцелевших домов, красночерепичные крыши в густой зелени. Обгоняли машины и маршевые колонны. Опять слышали выкрики: "Чего их возить? Вешать гадов!"

Приехали в большой город. Вдоль улицы — остовы разбитых зданий. Закопченные пожарами стены... Зияния пустых окон и огромных брешей. Сиротливые зеленые ветки на обгорелых деревьях. На окраине больше неповрежденных домов и наконец высокая кирпичная стена. Стальные ворота. Тюремный двор.

Охрана тюрьмы встречала необычно приветливо. Многие охранники — солдаты с нашивками за ранения, с медалями. Пока выгружаемся, слышим: война кончилась... Война кончилась... Теперь все домой пойдете...

Мы идем через двор и внезапно я почти наступаю на картонную коробку с крупно нарезанным табаком. Хватаю пригоршнями и кричу: — "Здесь табак". Сразу же бросаются еще несколько арестантов. Конвоиры лениво окликают: давай, давай, становись! Понимаю, что этот табак — праздничный подарок нам от новых охранников. Б. рядом на корточках. Сует табак пригоршнями в карманы шинели и сердито шепчет:

— Ой, дурак, ой, жлоб, ну, чего ты кричал, теперь все расхватают, а так только бы нам достался.

У меня во всех карманах табак. Толпа арестантов и конвоиры вокруг нас весело гудят. Война кончильс. Небо синее, синее. Солнце припекает. Даже тюремная стена из светлого кир-

пича и ровные ряды маленьких решетчатых окон тоже, кажется, глядят приветливо. Не могу сердиться ни на кого и отругиваюсь беззлобно.

– Ну, и жадина же ты, прокурор, хочешь только себе. Мы вдвоем не унесли бы, а курить всем охота.

Он шипит мне в ухо.

– Не зови ты меня прокурором, ты что, псих?! Тут же урки, бандиты, поедем в этап, убьют. Табак прошляпили. Могли бы больше взять. ”Всем, всем”. За всех думать, без штанов ходить будешь. Ты и вправду жлоб, христосик, мешком прибитый.

Мы с ним оказались в одной камере. Югославов увели в другой двор. А к нам привели третьего. Худощавый, длиннолицый старший лейтенант Алексей Н. застрелил сержанта из другой части: тот материл его, угрожал, лез драться. Оба были пьяны.

Камера небольшая, светлая, пол деревянный, кафельная печь, роскошная параша: ведро с плотно прилегающей крышкой (входящей в специальный паз, который полагалось заливать водой), на металлической стойке, увенчанной деревянным отполированным кругом-стульчаком. На полу – три ватных тюфяка. В первый же вечер мы получили по две больших консервных банки замечательной картофельной баланды, такой густой, что стали просить щепки, чтобы выскабливать. А нам дали настоящие алюминиевые ложки. Добряк дежурный подарил целый коробок спичек. Мы курили, растянувшись на матрасах. Я доказывал, что в ближайшие дни будет амнистия. Сам я ждал, разумеется, полного прекращения дела. Амнистия меня ободряла постольку, поскольку теперь моим обвинителям-доносчикам не приходилось бояться, что их привлекут к суду за клевету. Так мне объяснял Б.; он был тоже настроен лучше обычного, обстоятельно рассуждал о том, какие статьи и сроки должны пойти по амнистии.

Двадцать первая глава

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Нас разбудила пальба. Стреляли и вдали, и где-то совсем близко – татакали автоматы, хлопали одиночные выстрелы, в окне медленно мигали то бледно-зеленые, то розовые отсветы ракет, стремительно проносились красные черточки пулевых трасс. Со двора слышались громкие голоса, хмельное пение...

Я не понимал, что происходит. Неужели напоследок еще бой? Или бомбежка?..

– Война кончилась, салютуют!

Б. стоял у окна темной широкой сутулой тенью.

Алексей лежал на матрасе и в голос плакал.

– Война кончилась. Победа! Всем радость какая. А я в тюрьме... За что? Ну, за что же такое несчастье?.. Так мечтал о победе... И в тюрьме.

Он плакал по-мальчишечьи сипло, колотил кулаками в матрас, в пол.

Б. через плечо материл его, но без злости. Утешая.

– Да не канючь ты, как баба... "Я в тюрьме, я в тюрьме". Ну и я тоже в тюрьме, а не больше тебя виноватый... И я тоже мечтал, и он мечтал...

И я стал утешать не столько их сколько себя.

– Ладно, товарищи, конечно, все мы не так хотели встретить победу... Конечно же, нам плохо, очень плохо. Но ведь победа. Войне конец. Это же радость всем, такая великая радость. И нам потом лучше будет... Давайте хоть на минуту забудем про наши личные несчастья, про тюрьму. Давайте просто порадуемся, как наши там дома радуются.

– Радуются, потому что про нас еще не знают... На, кури, чтоб дома не журились.

Б. свернул толстую цигарку. Он угрюмо кряхтел, дымил и тоскливо матерился, глядя в окно.

Алексей тоже закурил, притих, только изредка тяжело, сопливо вздыхая, приговаривал: "Так, вот значит, дождался... А дома ждут с победой... Лучше б меня убило... Лучше бы по-

калечило".

А оттуда, — с воли, — то затихая, то опять нарастая, доносилась пальба... Вспыхивали ракетные сполохи и решетки в окне становились еще темнее, совсем черными. Далеко-далеко звучал нечленораздельный, но веселый галдеж...

Через несколько дней Алексея увели в трибунал — осудили его на десять лет. Он оказался контрразведчиком; рассказал об этом Б., а меня боялся. — Ведь ты пятьдесят восьмая, значит, антисоветчик, еще придушишь как чекиста.

Мы остались вдвоем с прокурором. Нас ежедневно водили на прогулку во двор с большим газоном, усыпанным желтыми одуванчиками. Начали зацветать высокие кусты сирени. Б. истово маршировал.

— Давай-давай ходить, тренироваться надо. Вот погонят в этап, пропадешь, если ноги отвыкнут.

Когда возвращались в камеру, его раздражало безмолвие.

— Ну, чего ты все молчишь, давай поговорим за что-нибудь. За баб, за то, как жили до войны.

Но говорить с ним было трудно. Мои воспоминания об ИФЛИ, о московских театрах, о работе с немцами на фронте он слушал, нетерпеливо скучая, чаще всего недоверчиво.

— Может, ты сам думаешь, что это правда, но это потому, что ты жизни не знаешь. Ты не сердись, но ты йолоп, ты пойми, через это и сидишь теперь. Зачитался. Глаза спортил на книжках и мозги тоже. Ведь эти фрицы с тебя смеялись и со всех таких, как ты. Ну, ты мне не рассказывай, что ты знаешь. Это ты воображаешь, а не знаешь. Ведь это же логика; дважды-два. Ты кто для них? Красный, советский, комиссар, да еще еврей, — юде, они тебя в ложке воды утопить рады. Но раз они в плену, раз у тебя наган, а у них плен, они и представляются "геноссе, геноссе, Гитлер капут". А ты и веришь. Нет, ты мне не рассказывай, что ты знаешь, а я нет. Это понимать надо. А то, что я видел их меньше, чем ты, и с ними никогда не говорил, так я все

равно лучше понимаю. Они тебя охмуряли. Это тебе еще повезло, что только десятый пункт дали. Болтун и все. Больше пяти лет не потянет. А через твоих фрицев мог вполне заиметь или шпионаж или измену родине. А за это, между прочим, шлепают.

Переубедить его было невозможно. Он просто не слышал возражений, снисходительно ухмыляясь, заговаривал о другом. Подробно и смачно рассказывал о своих любовных и служебных успехах. Вспоминая о фронте, он многословно описывал романы с врачами, медсестрами, связистками, вспоминал, как отбил у начальника штаба дивизии редкостного повара и какие диковинные блюда готовил этот повар.

Иногда мы ссорились и я, обозлившись, начинал объяснять ему, что он был тыловым захребетником, что он из тех, кому война была родной мамой, а другим – злой мачехой, и советовал не развлекать фронтовиков сладкими воспоминаниями о бабах, сытых конях, о поваре, о портном и штабных склоках, а то еще хорошо, если насуют матюков, – более нервные могут и по зубам дать.

Он тогда свирепел, кричал, что теперь видит, что я не даром заимел десятый пункт, что у меня идеология такая вредная, что дальше некуда, что я демагог, рассуждаю, как анархист, что это партизанщина, уравниловка, незнание марксизма и жизни. Час-другой мы молчали, он угрюмо сидел в своем углу или на стульчаке, который служил нам креслом, насвистывал тоскливые мелодии и, наконец, величественно заговорил.

– Ну, чего ты скис як простокваша? Ну, я погорячился. Так ты же первый завел свою демагогию. Ты все по книжкам жить хочешь. Ах, идеалы, ах, благородные чуйства, – как в театре. Это все интеллигентские пережитки, а я из рабочей кости, имею такую пролетарскую закалку, такой партийный опыт и еще юридическое образование, – в таких котлах варился, что тебе и не снилось.

Он никогда не обижался надолго. То ли от неодолимой потребности иметь слушателя, то ли по расчету, – ведь мы могли еще долго оставаться вместе и вместе попасть в этап, – то ли от природного добродушия, но он очень быстро забывал обиды.

Под конец я просто перестал ему возражать, убедившись, что он безнадежен. И покорно слушал, лишь изредка огрызаясь, когда он слишком приставал.

– Ты шо отворотился? Я тебе свою душу выкладываю, а ты ноль внимания.

Он рассказывал, как в 1939 году бы мобилизован на "разгрузку тюрем". Его вызвали в Москву и включили в комиссию, которая "разгружала" Бутырки. "Мы тогда за месяц двадцать тысяч человек на волю отпустили". Но более подробно о том времени он явно не хотел говорить. Мрачнел, становился немногословен, сух.

– Тогда, в тридцать седьмом, при этом Ежове, допускали сильные перегибы. Я никогда НКВД не ведал, был особый прокурор при НКВД, он там и санкции давал и надзор осуществлял. Ну, правда, они там с ним не очень панькались: "Подписывай бумаги и молчи в тряпочку". Дела особой государственной важности! Допускали там всякое, вредительство и вообще, но тогда установка на бдительность была... Кто молодые, горячие, конечно, зарывались. Я вот еще в тридцать пятом написал в журнал "Советское право" заметку, предлагал, чтоб время заключения под следствием не учитывать в срок отбытия наказания. Молодой был энтузиаст. Так мне сам Вышинский отвечал. Он большую статью написал про все разные предложения молодых юристов и там про меня, что тов.Б.увлекается и готов нарушить элементарные нормы правопорядка. Вежливо написал, но с подковыркой. Ну вот, теперь я могу радоваться, что мое предложение не прошло. Мы с тобой уже второй месяц следственные, а срок идет.

Чаще всего и дольше всего он говорил о своем деле, о проклятых клеветниках, бездушных следователях и юридически неграмотном прокуроре, Несколько раз пускался в рассуждения о будущем.

– Нет, все, теперь с прокурорством концы. Ни за что, ни за какие гроши. Если даже оправдают вчистую. Ну, если осудят, а потом амнистия, так меня уже никто и не назначит прокурором. Какой же это прокурор, если имел судимость, это ж абсурд. Но я и сам не хочу. Нет, маком. Пойду в адвокатуру. Защитником. Образование имею. Опыт, дай Боже. А знаешь, как загребают адвокаты. Большие тысячи. И с моим добрым сердцем это куда легче защищать, чем обвинять.

Однако, многоопытный юрист Б. ничего не знал о существовании ОСО. Когда я рассказал, что трибунал фронта отклонил мое дело и следователь сказал, что меня могут передать на Особое Совещание, он уверенно заявил: "Это он тебя на понт берет, какое там совещание, это при Ежове тройки были. А теперь полная законность. Или трибунал, или подписывай двести четвертую, и прекращай дело. Нет, это он тебя на слабо покупает..."

Из соседней камеры нам стучали, но как-то бестолково. Однажды утром, когда нас, как обычно, вели "на оправку" и выливать парашу, я увидел соседей: двое хорошо одетых пожилых мужчин – явно иностранцы. Один – смуглый, седой, другой – бесцветный, сильно похудевший толстяк. У меня еще оставались украденные в Фридрихсдорфе книги, был и карандаш, я нарисовал тюремную квадратную азбуку латинскими литерами и, вскоре опять встретившись с соседями на лестнице, неприметно сунул одному из них в карман. В тот же день мы стали перестукиваться по-немецки. Один из них оказался испанским консулом в Данциге, второй – владельцем каких-то заводов тоже в Данциге. Перестукивался только консул. Я представился ему: советский офицер, обвиняемый в должностном проступке, сообщил все, что знал о безоговорочной капитуляции – один солдат дал нам на курево страницу газеты. Вскоре мы выстукивали целые дискуссии. Вежливый испанец не столько спорил, сколько спрашивал – как вы думаете, какова будет судьба Испании? Как скоро советизируют Польшу? Будет Россия воевать с Японией? Расстреляют ли нас?

Б. раздражало, что я часами, сидя у стены, которую закрывал от волчка выступ печки, перестукивался. Сперва он тоже заинтересовался: спрашивал, что он, а ты что? Но потом стал ворчать: – Да пошли ты его – фашиста... Да что ты ему доказываешь? Да, ну, что ты стучишь, как тот дятел? Вот услышит дежурный, пойдем в карцер. Ну, брось, ну хватит уже. Давай поговорим.

В иные минуты он бывал мне гадок, – влюбленный в себя, озабоченный своим "авторитетом", своим благополучием, своим телом, – чтоб мышцы не дрябли, чтоб ни кожа, ни ногти

не портились... А ведь скольких он сам загнал в тюрьму, давая санкции на аресты, скольким требовал долгие сроки, а то и смертные приговоры? И если он бил своего шофера, то как же он обращался с подследственными? Как избивал их, вот этими широкими, розовато-белыми руками с хорошо ухоженными ногтями? Он и в камере часами наводил маникюр щепочками, осколками стекла. И как он, должно быть, подличал, как изворачивался ради своего преуспеяния?

И все же по природе он был скорее добродушен. Он больше хотел нравиться, чем пугать. В молодости, вероятно, был заводилой, первым парнем в компаниях. Мог и увлечься книгой, фильмом, чужой судьбой. С годами такие увлечения становились короче, поверхностнее, их вытесняли и подавляли служба и "личные дела". В тюрьме он как бы вернулся, возможно только временно, к первоначальным основам своего мировосприятия. С него сходил всякий жир. Иногда он хотел поговорить — "за жизнь, за литературу и вообще". Рассказы о Короленко, о его защите невинно обвиненных мултанских крестьян, Бейлиса, о том, как он протестовал и против контрразведки и против Чека, он слушал особенно внимательно, неподдельно восхищался. — "Да, вот это человек был, это я понимаю, герой высшего класса. Хоть и без юридической подготовки и беспартийный. Ты точно знаешь, он в эсеры не вступал? Да, брат, душа у него была, как говорится, благородная. Ну да, я, конечно, материалист, истмат и диамат сдавал только на отлично. Но я понимаю, что есть и такой факт, как душа... Конечно, тут имеются разные факторы — экономический и политический, так сказать, морально-политический, — классовый базис и т.д. и т.п. Я все это понимаю насквозь и даже глубже. Но ты возьми обратно, товарищ Ленин кто был? Дворянин. А товарищи Маркс и Энгельс — они же из буржуазной, и отчасти даже из капиталистической интеллигенции. А что у нас в партии нет бывших даже князей или помещиков, тот же Андрей Януарьевич Вышинский, или, например, Чичерин. И ведь все пошли против своих экономических классовых интересов. А через почему, я спрашиваю вас? Вы скажете — сознательность. Конечно, сознательность играет решающее значение. Но, обратно же нам, марксистам, известно, что именно бытие определяет сознание, а не наоборот. А бытие у этих товарищей такое, что у других сродственников определяло совсем другое сознание — буржуазное или даже почище — аристократическое... В чем же

тут, как говорится по-народному, заковыка? Так я вам, товарищи, на это отвечу со всей ответственностью...

Увлекаясь, он всегда обращался ко множественному числу, глядя куда-то поверх меня, и говорил все громче с трибунными интонациями. – Тут мы имеем дело в фактом души, с фактом, который еще изучает наша марксистская наука в смысле психологии, юриспруденции и, возможно даже медицины, поскольку имеется категория душевных болезней.Однако, этот явный факт является также существенным фактором, поскольку зачастую играет большое значение в политической и гражданской жизни, а также в литературе и в криминалистике... Так что душа есть факт, а не реклама. А у этого Короленки была, я тебе скажу великая душа. И хоть, конечно, он допускал идеологические ошибки и не имел правильных понятий за пролетарскую революцию и основы марксизма-ленинизма, но с другой стороны, тут имелись смягчающие обстоятельства, поскольку воспитание, возраст, и вообще социально-историческая обстановка. А с другой стороны, я как хотишь, но по совести тебе скажу, такого человека я всегда уважать буду и даже любить сердечно и душевно, вот именно, душевно.

Б. вызвали в трибунал с прогулки. Он так встревожился, что и не попрощался. После суда, как положено, его отвели в другую камеру.

Недели через две во время одинокой прогулки я увидел его издали; нескольких арестантов вели из бани. Он дружелюбно закивал, поднял руку с растопыренными пальцами – пять лет.

В тот же день надзиратель принес мне горсть табаку и спички. – От того майора, что с вами сидел.

Этот подарок растрогал и снова напомнил Короленко: ”ищите человеческое в каждом человеке”.

Добрые позывы в душе бывшего прокурора бывали не слишком частыми, но неподдельными. А мою неприязнь к нему ослабляла еще и благодарность за дельные юридические советы. Это он объяснил мне, что я вправе настаивать, требовать, чтобы позволили писать показания собственноручно, а что при окончании следствия ”согласно 206-й статье УПК”, мне должны показать все следственное дело в присутствии прокурора, и я могу заявить ходатайства о вызове дополнительных свидетелей, о приобщении новых материалов.

Этими советами я воспользовался. Следователь Виноградов и прокурор Заболоцкий были неприятно удивлены, когда я вежливо, но решительно сказал: ”Ничего подписывать не буду, пока не ознакомлюсь со всем делом, как мне положено по закону и пока в протокол об окончании следствия не будут включены мои ходатайства...”

Прокурор злился:

– Вы что же, не доверяете следственным органам? Вы что, не понимаете, что вы так еще хуже показываете свое враждебное лицо?...

– Я доверяю советскому закону. И поэтому настаиваю на исполнении его. Вы спешите меня обвинить еще до окончания следствия и до суда. Это противоречит советскому закону Вы только что объявили, что исполняется двести шестая статья УПК, вот я и прошу, чтоб она исполнялась точно.

Виноградов шепнул ему: ”Он же сидит в одной камере с этим – Б.”

Заболоцкий глядел угрожающе:

– Кто это вас подучил разводить такую демагогию и формализм на следствии? Лучше скажите по-хорошему...

– Я не развожу демагогию и это не формализм, а дух и буква советского закона. Кто учил? И вы и следователь. Вы же не раз говорили, что надо строго соблюдать закон, что нельзя его нарушать. Вы арестовали меня и обвиняете, хотя я никаких законов не нарушал, а сейчас за то, что я настаиваю на соблюдении закона, вы же меня оскорбляете.

– Никто вас не оскорбляет. Очень много вы о себе понимаете. Дай ему, пускай читает.

Заболоцкий ушел, надувшись. Виноградов, оставшись наедине, стал вежлив, протянул папиросу.

– Только вы не копайтесь... Вы же все эти протоколы сами подписывали.

На мутнозеленой папке черный штамп: „Хранить вечно”.

Вечно!

Канцелярская чернильная тоска исписанной бумажной кучи. Кислая физиономия трусливого невежды в золоченных погонах. Тяжелые стены тюрьмы, за ними – развалины чужого города. Голод, мучительно сосущий в гортани и в животе. Слащавый дурман папиросы. Еще на две затяжки. – Хорошо бы попросить парочку.

И темно-серые прямые буквы в темно-серой рамке: "ВЕЧНО".

– Почему вечно?

– Так установлено по закону. Это нужно, значит, чтобы ни один враг, отбыв наказание, не мог впоследствии укрываться, замести следы, пролезать куда не положено. И вообще таков законный порядок на случай, если вдруг допущена ошибка. Чтоб можно было поправить... Наш закон гарантирует полный объективизьм... А вы недооцениваете...

Первая же страница дела оказалась неожиданной – это было письмо инструктора политотдела капитана Бориса Кубланова в редакцию "Красной Звезды", написанное еще осенью 1943-го года: "...в вашей газете появляются статьи, подписанные Копелевым. Он был в 1927-1929 годах одним из активных вожаков троцкистского подполья в Харькове, он пособник известных врагов народа..." Далее следовал список имен в большинстве мне вообще незнакомых или известных только по наслышке и совершенно фантастические "факты".

Бориса Кубланова я хорошо помнил, – самоуверенный горлан из мелких "вожаков комсомолии". В 1934-35 годах он был студентом и парторгом третьего курса философского факультета в Харькове. Я тогда перескочил с первого курса на третий. После летних "терсборов", после армейских харчей и очень плохой воды, – наш студенческий батальон отбывал сборы в степи за Мариуполем, – я долго болел и за это время догнал третьекурсников (законспектировал первый и второй тома "Капитала", курс истории философии от Фалеса до Канта, историю Европы, историю России и Украины, а историю партии я и раньше знал сверх программы).

Кубланов встретил меня с явной неприязнью. Ему не понравился уже скачок через курс, – сам-то он "тянул хвосты" из-за перегрузки общественной работой. Но меня он не мог упрекнуть в пассивности – я работал секретарем редакции университетской многотиражки и у себя на заводе продолжал бывать, вел занятия "по обмену опытом рабкоров". Тем более злило его, что на семинарах по истории ВКП(б) и по диамату, он – старый комсомолец и член партии – уступал выскочке, который и в комсомоле-то был едва три года, но позволял себе наглость уличать его – партийного руководителя курса в недостаточном знании работ Маркса и

Ленина, решений съездов и фактов истории.

Он возненавидел меня с неотвязным постоянством. В феврале 1935 года он требовал, чтобы меня исключили из комсомола и из университета как пособника троцкистов. И добился этого. Но при этом наврал столько абсурдных небылиц о моих "связях" с людьми, с которыми я никогда и не встречался, что в конце концов это даже помогло мне, когда дело перешло в обком комсомола. И хотя в комсомоле я был восстановлен, Кубланов убедил дирекцию не восстанавливать меня в университете, считать отчисленным ввиду "несдачи сессии". Полтора года спустя, когда я учился в Москве в Институте иностранных языков, он прислал туда длинное послание – все то же, что писал и говорил в Харькове, но с выразительной концовкой "он был восстановлен, благодаря покровительству ныне разоблаченных врагов народа". В 1943 году он увидел мою подпись под статьей в "Красной Звезде" и послал в редакцию все тот же, уже дважды опровергнутый донос. Из редакции его переслали в Главное Политуправление, оттуда в контрразведку. Это письмо Кубланова и открывало папку с моим "Делом", заклейменную штампом "Хранить вечно".

Недели две я оставался в камере один. И в соседней было пусто. По нескольку раз в день я делал зарядку, вспоминал стихи, песни, сочинял длиннейшую философскую моралистическую поэму о хладной вечности, которой противостоит бессмертие человеческого творчества и более короткие утешительные стишки. Одно даже выцарапал на двери – она открывалась внутрь камеры и поэтому надпись могла долго оставаться незамеченной входившими стражниками – пока они были в камере, дверь не закрывалась. – "Пускай клевещут, пусть клянут; Ведь ты был прав, и честен ты. Уверенно ступай в любой тернистый путь и помни: нет тюрьмы для мысли и мечты".

Стражниками в Штеттине были обычные солдаты, почти все фронтовики с нашивками "за ранение". Они относились ко мне скорее добродушно и когда я остался один, выпускали подолгу гулять на задний "хозяйственный" двор. Там не росло ни травинки, валялись какие-то котлы, трубы, железный и дере-

вянный мусор, но зато постоянно сновали заключенные "работяги" – некоторые осужденные, пока их не отправляли в этап, работали на кухне, убирали тюрьму, – и через этот двор не ходили следователи. Правда, через него водили в трибунал, но конвоировали подсудимых те же солдаты из охраны и девушки с узенькими погонами – секретарши трибунала. Поэтому я мог слоняться не обращая на себя особого внимания. Мог подбирать окурки, греться на солнце.

У ворот стояла маленькая белокурая девушка в опрятной гимнастерке с серебряными погончиками лейтенанта "админслужбы" и когда я проходил мимо, приветливо кивнула. Это было необычно: я запнулся и шепотом спросил:

– Вы меня знаете?

Она опять кивнула и улыбнулась.

– ...Простите, но спрошу о главном: вы и дело знаете?

– Да, да. Трибунал отклонил ваше дело. Нет состава... Это очень хорошо.

– Спасибо... огромное спасибо!.. Что же будет теперь?

– Могут продолжить следствие, но вряд ли смогут найти новые обвинения. Скорее всего закроют дело...

Разговор шел вполголоса и в несколько приемов – я продолжал гулять, но по очень коротким кругам поближе к воротам. Потом привели подсудимого, она ушла с ним и я даже не узнал, как зовут моего доброго ангела из трибунала.

В котельной в подвале тюрьмы я стирал свое заношенное белье, портянки и носовые платки, то и дело меняя в большом тазу быстро черневшую воду, и проклиная трофейное мыло, которое, казалось, больше пачкало, чем отмывало, и воняло падалью. И вдруг у топки в куче мусора заметил обрывки книги. Это был католический молитвенник – двуязычный, латинско-немецкий. В камере не было освещения, но в конце мая вечера светлые, фонари за окном ярчайшие. Перед сном я читал-перечитывал "Патер ностер", "Аве Мария", "Кредо"...

Слова, звучавшие уже почти два тысячелетия, звучавшие в римских катакомбах, в хижинах рабов, в монастырских кельях, в рыцарских замках, в тысячах соборов и часовен, от Южной Америки до моего Киева (какой экзотикой диковинной казалась любопытным мальчишкам служба в костеле), – слова, звучавшие в шатрах крестоносцев, и на кораблях конквистадоров, я произносил много веков спустя. Они раздава-

лись на всех континентах и вот в камере полевой тюрьмы, их читал атеист, большевик, сталинский офицер. Сознавать это было и странно и по новому привлекательно. Книгу я старательно обертывал листами найденной там же бумаги, на ночь клал под изголовье тюфяка, а днем носил в кармане и словно бы играл сам с собой в бережную почтительность... Возникла эта игра непроизвольно, но я объяснял себе, что уважаю те силы человеческих дарований, которые воплотились в молитвенных словах, таких прекрасно простых и так явственно бессмертных. И еще уважаю те человеческие надежды, мечты, радости, беды, страдания и утешения, которые столько веков изливались в этих словах. Я убеждал себя в безоговорочно рациональной посюсторонней природе своей новой и необычной привязанности к словам, которые ведь были давно знакомы: – Просто сейчас нет никакой другой книги, и влияет необычная обстановка – тюрьма, нелепое следствие, новые надежды... Но утром, проснувшись, я повторял наизусть ”Отче наш” по латыни, по-русски и по-немецки и если сбивался, забывал слова, был очень огорчен: объяснял себе, значит память слабеет. А если помнил все без запинки, радовался и снова и снова повторял: ”...не введи нас во искушение, но избави нас от зла”. По-русски надо было говорить ”от лукавого”, и я думал, почему латинское ”малюм” и немецкое „юбель”, т.е. зло, у нас передано понятием ”лукавства”, находил этому всяческие социально-исторические объяснения; прикидывал, какую книгу нужно было бы написать о своеобразии русского нравственно-философского развития. Из этих тюремных размышлений над католическим молитвенником много лет спустя выросло понимание – представление: в русской словесности, в русском искусстве совесть не только нравственная, но и собственно эстетическая категория. А позднее именно этим я объяснял органическую близость немецкого католика Генриха Белля нашим читателям, нашим традициям создания и восприятия литературы...

Неожиданно меня перевели в другую камеру, в другое крыло тюрьмы – более старое. Камера была меньше, темнее, зато с койкой. Широченная железная рама на цепях, откинутая от стены, занимала четыре пятых тесного пространства, оставляя узенький проход. На стене сохранились рисунки и надписи, едва приметные, только если взглянуть под углом со стороны окна. Пятиугольная звезда с молотом и серпом; кулак в

круге, а по окружности "Рот фронт!" и старательно выцарапанные маленькими четкими буковками два столбика – список пьес Шекспира (по-немецки)...

Вскоре привели второго жильца. Молодой с бледным нервно подвижным лицом, в офицерской гимнастерке – на груди пятна – следы многих орденов и медалей. Комбат, гвардии старший лейтенант Саша Николаев из Горького, был арестован за то, что застрелил сержанта – "кавалера ордена Славы", который пытался изнасиловать девочку-подростка. Сержант был пьян; когда Саша приказал ему оставить девочку и убираться, тот начал орать и куражиться: – Ты, сопляк, не нашей части, таких командиров две дюжины сушеных на фунт не потянут. – Полез драться. Саша выстрелил из пистолета – в воздух, раз, другой. Сержант схватился за автомат и тогда третьей пулей он убил его сразу наповал в сердце. Оказалось, что сержант считался лучшим разведчиком полка, был представлен ко второй "звезде Славы". Саша не раскаивался, снова и снова обсуждая со мной свое дело.

– Ну, конечно, если бы все по законам, по уставам, я должен был позвать своих солдат, обезоружить пьяного... Это следователь мне толкует: "Ты, г-рит, допустил превышение необходимой обороны плюс превышение власти и вообще, говорит, не должен был сразу обнажать огнестрельное оружие..." Этот следователь тоже старший лейтенант и тоже с моего года рождения, с 20-го. Но только он в аккуратненьком кителе с одной медалькой "За боевые"... У меня ее солдаты брать не хотели, говорили "за бытовые услуги". А я со взвода начал, трижды раненый – два раза тяжело! – и два раза контуженный, – раз тяжело и раз так себе. Я батальон принял в Польше. Как наступление, мы почти каждый день из боя в бой, всю Пруссию и пол-Польши прошли... Вот видишь! – Задирает рукав: свежий розовый шрам на предплечье. – Это как через Нарев атаковали, ручная граната в пяти шагах, как звезданет!!! – Я уже думал: амба, – и оглох и ослеп. – А потом оклемался, – ну не больше через четверть часа. – И только одна эта дырка, – даже кость цела, – я перевязался и дальше в бой. Мне тогда Александра Невского дали... Ну вот, скажи, как может этот следователь меня понимать? Он же за столом окопался, из чернильницы стреляет по открытым целям – по бумажкам. Я ему это объясняю, а он обижается. Он много о себе понимает: социалистическая закон-

ность, говорит, превышение необходимой. Это я, г-рит тебе из уважения к заслугам и к прежнему геройству, а если ты, говорит, следствие не уважаешь, – это чтоб я значит его бумажную душу уважал, – если ты упорствовать будешь, не признаешься, что допустил, так мы тебе, г-рит, дадим преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах и тогда загремишь на полную катушку...

Сашу редко вызывали на допросы, выяснялись на них главным образом подробности: – кто и где стоял, на каком расстоянии, сколько выстрелов было и в каком порядке – зловредный следователь пытался приписать Саше, что он сначала убил сержанта, а потом уже стрелял в воздух...

В камере с надписями мы пробыли недолго. Оказалось, что начальник тюрьмы старший лейтенант Иванов – земляк Саши, на одной улице жили. Он принес нам несколько пачек сигарет, табака, курительной бумаги, спичек. Саша получал все эти сокровища в коридоре и должен был держать в секрете от кого получил. Затем нас перевели в другой корпус, в другом дворе с небольшим садом посередине – кусты сирени, старые деревья, густая трава и даже цветы – настурции, анютины глазки, бархотки на заросших запущенных клумбах. Нас поместили в бывшую больничную камеру на первом этаже – просторную, светлую, два окна с негустыми решетками, окрашенными светлопесочной масляной краской. Четыре кровати, – обычные деревянные кровати с металлическими сетками; тюфяки мы притащили с собой, – стол и четыре тумбочки. Прямо напротив наших окон в углу двора под дощато-брезентовым навесом размещалась кухня и столовая охраны. Оттуда доносилось неизъяснимое благоухание. Туда приводили кормить и некоторых заключенных – я узнал моих югославских друзей, с ними были еще десятка полтора в таких же мундирах. На второй день удалось окликнуть Бориса и он передал нам через вахтера целую буханку чудесного свежего каштаново-коричневого хлеба.

Под самыми нашими окнами стояли бочки с серовато-желтой селедочной икрой. Несколько польских девушек утром приходили с большими тазами и ведрами, в которых промывали икру. Мы начали потихоньку переговариваться. Девушки были "лончнички" т.е. связные из Армии Краевой, не арестованные, а "задержанные". Ими верховодила черноглазая, чернокосая Ванда. Она все время напевала романсы, танго, блюзы,

польские солдатские и партизанские песни. И под этим шумовым прикрытием ее подруги разговаривали с нами. Саша тоже "мувил", он знал немного слов, но пользовался ими отважно и не стыдился повторяться.

— Слышь, паненка-беленькая — ты есть Бася? Ты бардзо пенькна Бася — разумеешь — ты бардзо пенькна, бардзо слична... я тебе кохаю, — ну пускай кохам, главное, что я тебе хочу кохать. А ты меня будешь кохать? А ты, Зося? Ты тоже пенькна, тоже слична, а Басю я кохам... Разумеешь, Бася?..

Рядом с ним я чувствовал себя стариком, но по-польски все же говорил несколько лучше, и расспрашивал девушек, откуда они, что знают о положении на фронтах и в Польше...

Из нескольких носовых платков и полотенца мы с Сашей связали "коня" и по сигналу Ванды опустили за окно, девушки подвязали сверток: пузыри с икрой. Они говорили настойчиво — только мойте обязательно! Долго-долго мойте, очень соленая...

В первый раз у нас не хватило терпения. Мы кое-как прополоскали в миске эрзац-кофе несколько горстей икры. Ужасало, что она сразу же расплывалась, трудно было отцеживать, и жаль сливать в парашное ведро драгоценную пищу. И мы стали жадно есть адски соленую, твердую мокрую крупу. А потом уже к середине ночи выпили весь кофе — большое ведро. Дежурный вахтер оказался угрюмым формалистом — не положено ночью, где я на вас возьму воды — мы едва дотерпели до утра, глотки стали шершавыми от жгучей жажды.

8 июня был день величайшего блаженства — нежданного и неповторимо прекрасного, поэтому запомнился навсегда. В этот день уезжали югославы. Борису удалось поговорить со мной в коридоре — он записал московский адрес моей семьи, что именно им сообщить, — мы обнялись, уверенные, что никогда не увидимся. (В 1960 году он пришел ко мне в Москве, мы встретились на лестнице и не сразу узнали друг друга. А в марте 1964 года Рая и я прожили два дня у него в Лейпциге, познакомились с его женой, сыном и невесткой. Он умер в 1966 году.) Мы видели, как во дворе югославы надевали погоны, ремни, портупеи — они уходили на свободу.

Мы с Сашей смотрели, не отрываясь, кричали "Счастливо!", махали вслед.

Потом на протяжении десяти лет я не раз видел, как соби-

рались на волю в лагере, на шарашке. Примечательно, что даже самые недобрые, самые ожесточенные, озлобленные арестанты никогда, во всяком случае открыто, не выражали зависти к уходящим. Воля освящала все, и даже чужой воле можно было только радоваться.

Они были первые, кого я провожал из тюрьмы на свободу.

К вечеру за нами пришел дежурный и повел нас под навес, где уже поужинали солдаты.

– Начальник велел. Которые отъехали, так на них довольствие до конца месяца уже выписано. Вот вы и питайтесь.

Повар, молодой, краснолицый солдат в мятом колпаке и грязном переднике поверх линялой гимнастерки, глядел сурово, но сочувственно.

– Давай, пока начальство доброе, навались товарищи-граждане!!!

Он поставил перед нами большую фаянсовую супницу, полную благоуханного густого варева – лапша, куски мяса, картошка, лук, – придвинул миску с хлебом. Мы ели, блаженно ухмыляясь друг дружке, хлеб на всякий случай рассовали по карманам... Повар заметил и сказал негромко:

– Да вы не сумлевайтесь, завтра свежий будет.

Мы очистили супницу, усталые, потные, рыгающие откинулись и начали курить.

– Погодите курить-то, еще второе есть...

Перед нами возникло блюдо с золотистым холмом жареной картошки, окруженным лоснисто коричневыми валами жареного мяса.

Саша даже всхлипнул: – Ой, что ж ты раньше не упредил, мы же по самые завязки полные... так лопнуть можно.

– А вы не спешите, куда спешить-то... Погуляйте малость, до отбоя еще цельный час с походом... Умнёте. А то ведь как оголодали...

Мы действительно умяли за час, хотя и не всю гору дивного харча. Животы у нас вздулись. Мы захмелели от пресыщения. Повар насыпал полгазеты махорки. –Берите, чистый самосад, не казенная, – домашняя...

Ночью мы оба не спали. Саша корчился от болей уже с вечера, меня забрало позже – к утру. К счастью, в эту ночь дежурили знакомые, жалостливые солдаты, они принесли ведро

кипятку и вторую грелку: – одной я запасся еще раньше – грел череп. Сашу рвало, у меня начался понос... На утро мы оба едва стояли на ногах. Но договорились не жаловаться, не признаваться в болезнях, только есть осторожней. У фельдшера я выпросил салола, танальбина и каких-то немецких желудочных таблеток... Дня два мы еще поболели, но не подавали виду. Впрочем, повар и сам сообризил:

– У вас, должно, с отвычки животы бунтуют. Это бывает. Надо горячего больше пить, чтоб кишки мыло... А есть не сумневайтесь – тут вся пища свежая. От нее только польза...

Мы так и поступали. Пили неимоверно много кофе , после еды лежали в камере с грелками. Через день-другой все наладилось, и мы уже привычно утром, в обед и вечером ждали пока поедят солдаты и садились за длинный стол; к нему был приставлен круглый красного дерева на гнутых ножках, почти примыкавший к дощатой загородке, за которой размещалась кухня – плита, сложенная из кирпичей нашими печниками, шкафы с посудой и т.д.

Кроме нас двоих в этой столовой, в которой благодаря обилию трофейных продуктов, харчи были неизмеримо разнообразней и жирней, чем полагалось по любым наивысшим войсковым нормам, кормились еще несколько привилегированных арестантов.

Два молчаливых парня из "стратегической аг-разведки" числились не арестованными, а задержанными, ожидали вызова из Москвы.

Немецкий генерал, приземистый, почти квадратный, казался очень старым, – жиденькие седые кудряшки, лилово-розовое бугристое, словно воспаленное лицо. Он постоянно ворчал, толковал подробно о своих болезнях, иногда бормотал едва разборчиво, фыркал, ругался.

– Я генерал-лейтенант, я требую обращения согласно рангу... пусть даже расстреливают, но как положено, соблюдая офицерскую честь... А тут я должен мочиться в грязное ведро и бриться холодным кофе... Это неслыханно... Есть же гаагская конвенция. Наци, конечно, свиньи, маршала фон Вицлебен повесили как дезертира, как мародера, а он был заслуженный немецкий офицер... конечно, он хотел путч устроить, захватить власть... Это преступление, но преступление военно-политическое, не лишающее чести и звания... Его полагалось расстрелять.

Но достойно, в мундире, с оказанием надлежащих почестей... И здесь – полнейшее безобразие; я не преступник, я – генерал-лейтенант, начальник тыла армейской группы Висла... Мне говорят следователи, вы подчиненный Гиммлера, а он главный злодей... Но я то при чем? Я выполнял свой долг, я с этим Гиммлером никаких иных отношений не имел. И не мог иметь. Я кадровый офицер, а он аптекарь, партийный бонза, полицейский, СС-фюрер. Настоящие кадровые офицеры всегда сторонились этих типов... Но если его назначили командующим, а меня начальником тыла, не мог же я дезертировать из-за этого. Я получал приказы, исполнял их. Я никого не убивал – мои задачи были снабжение, транспорт, склады, строительство оборонительных сооружений... Политикой я никогда не занимался... А меня арестовали, как бандита. Я старый человек, у меня больная печень, больной мочевой пузырь, я плохо вижу, а у меня отняли очки. Я вот вас различаю только издалека, а вблизи одни расплывчатые пятна... Я буду протестовать... В международный суд... в международный красный крест. Я генерал, я военнопленный, а не вор... почему я должен спать в одной комнате с человеком, который храпит оглушительно, как танковый мотор, почему я должен мочиться в грязное ведро. А без очков я читать не могу...

Неизменным спутником генерала был контр-адмирал фон-Бредов. – Это он храпел оглушительно. – Начальник береговой обороны Штеттина. Он всегда вежливо здоровался, на вопросы отвечал коротко, улыбался едва, но любезно, а когда генерал хрипло сердился и жаловался, он осторожно, мягкими движениями рук – поднимал к голове, потом к сердцу и разводил печально: – поймите, старик болен, плохо соображает...

Две недели мы с Сашей блаженствовали. Камеру иногда вовсе не запирали на день. Мы должны были уходить со двора – из сада только тогда, когда там кормили солдат и когда в обеденный перерыв или к концу рабочего дня проходили сотрудники СМЕРШ... Тогда мы возвращались в камеру и кейфовали или играли в карты. Саша раздобыл через того же благодетеля – повара две немецких колоды...

В довершение благополучия один из стражников шепнул мне, что в том же больничном доме, где на первом этаже была

наша камера, на третьем навалено книг — "сколько тыщ и не сосчитаешь... Но только там и начальство нет-нет и проходит по колидору, так что гляди!"

...В двух больших комнатах стеллажи тюремной библиотеки, груды книг просто свалены на пол. — У меня в руках дрожь и судороги — нельзя взять слишком много, нельзя выбирать долго, двери сорваны, в коридоре могут в любую минуту послышаться шаги...

Ищу, задыхаясь, сердце у самой глотки... Какое счастье — Гете, небольшие томики — хватаю несколько. И еще два тома книги Людвига о Гете и карманная Библия. По лестнице вниз иду торопливо, книги на животе под гимнастеркой, придерживаю руками, а локтями стараюсь прижать штаны, книги в карманах тянут книзу, ведь я без ремня, хорошо за эти дни отъелся, стал толще, а то штаны свалились бы... Саша сперва бескорыстно радуется вместе со мной, потом начинает киснуть, ему читать нечего, а я стал отлынивать от карт и даже от прогулок во дворе. В следующий раз мы с ним идем в библиотеку вдвоем, находим ему учебник немецкого языка для школьников, журналы с иллюстрациями...

Две недели блаженства: сытость, долгие часы в зелени, книги — я нашел место за кустами, где можно было читать и днем. По ночам я читал в луче фонаря, который высвечивал часть камеры. На допросы нас не вызывали, солдаты были приветливы, говорили, — скоро всех отпустят ради победы, обязательно должен такой указ быть. Сколько народу погибло, везде мужики нужны, чего их зря в тюрьмах кормить. Эти рассуждения казались неопровержимо убедительными. А тут еще и трибунал отклонил... Надежды все радужнее, все настойчивее. Гляжу в книгу и подолгу не читаю, а представляю себе, как это будет, как вызовут, вернут погоны, ордена, чемодан, как буду ехать в Москву... Раньше, о чем бы ни мечтал, всегда начинал представлять себе шипящую яичницу-глазунью и обязательно много жареной картошки — злился на себя, заставлял думать о другом, но снова и снова: вот вхожу домой... Надя, девочки, мама плачет и ставит на стол большую сковородку — тонко нарезанные ломтики картошки, золотисто-коричневые, пахучие, мягкие, с хрустящими краями... Но когда привыкли к сытости, представлялись уже встречи с друзьями и недругами, беседы в Политуправлении, и с Мануильским, и с Бурцевым... и

встречи с подругами... Уже хотелось поскорей бы. Польских девушек увезли тогда же, когда и югославов. Ну, а что, если завтра привезут других, таких же веселых, отчаянных в соседнюю камеру, теперь можем сговориться с солдатами, там есть еще пустые камеры... мы бы с Сашей выбрали себе по девице...

22 июня годовщина войны. И в этот день меня опять вызвали подписывать во второй раз 206-ую статью об окончании следствия. В первый раз, наученный Б., я предъявил множество требований. Часть из них была выполнена. Виноградов допросил Галину, Ивана, мне разрешили написать собственноручно о моем прошлом и об истории вражды с Забаштанским. Читая протоколы допросов Гали и Ивана я радовался – они молодцы, даже из унылых чернильных строк следовательского чистописания явственно видно, как они сопротивлялись его уловкам, как отстаивали правду. Но мои ходатайства о том, чтобы допросили Юрия Маслова – ему я подробно писал о том, как меня травит Забаштанский – и Арнольда Гольдштейна – он присутствовал при том разговоре, когда я, по утверждению Забаштанского, осуждал командование и правительство – не выполнены.

Я настаивал. Заболоцкий злился. Виноградов скучал. Уговаривая, что эти показания полностью опровергнут все, что облыжно утверждают обвинители, – я вновь записал в протокол ходатайства. Заболоцкий смотрел с брезгливой ненавистью.

– Уже из вашего поведения на следствии очевидно ваше антисоветское нутро...

Нет, не дам себя спровоцировать на скандал, на перебранку.

– Сегодня годовщина войны. Четыре года назад я в этот день в первый час подал добровольцем, хотя имел право на броню... И все эти годы был на фронтах. Все что я делал – на виду. Разве это не более показательно, чем несогласие со следствием, да еще когда меня несправедливо обвиняют?

– Ладно. Ладно! Как вы зубы заговаривать умеете, мы знаем. Вас арестовали не за то, что вы на виду делали, а за то, что тихомолком антисоветчину разводили. За ваши заслуги спасибо, а за преступления отвечать будете.

– Я не совершал никаких перступлений. Это видно даже из этого дела.

– Что из дела видно, не вам судить. Распустились тут. Уведите!

В тот же день нас после обеда не пустили в камеру – вахтер сказал: "давай, гуляйте", но сказал необычно сурово. А потом он пришел за нами и так же неприязненно: "давай, в камеру, нагулялись, а тут через вас тягают..."

Оказывается, у нас учинили внезапный обыск, и командовал самолично прокурор Заболоцкий. Он унес все книги – уцелела Библия, лежавшая между тюфяками и томик стихов Гете, который я взял с собой – они забрали посуду, бритвенный прибор, колоду карт, – одна осталась в кармане у Саши.

Камеру опять заперли. Но ужинать нас все же вывели. Повар навалил груду мяса

– Давай, что не умнете, забирайте с собой, а то завтра перебазируемся.

На следующий день нас повезли на вокзал.

Большой товарный вагон. Дверь изнутри завешена брезентом.

Другим широким куском брезента, – палаткой, растянутой в завесу – сбоку отделен узкий загончик для женщин. Днем завесу приподнимали. Девять молодых, пригожих женщин в мятых заграничных платьях, – разноцветных, нарядных; две с детьми, – девочка лет трех и грудной мальчик... У завесы женского сектора сидел вахтер на табуретке. На ночь посадили еще и второго вахтера. В основной части вагона вповалку несколько десятков арестантов, среди них – оба разведчика, генерал и адмирал, остальные – большинство из военнопленных, но есть и мародеры и дезертиры.

Ехали мы с частыми остановками. Арестантов из вагона не выпускали. Для мужчин в полу пробили дырку, женщинам поставили ведро – парашу...

Уже само движение возбуждало. И к тому же непрерывные разговоры о скорой амнистии. Тогда я еще не привык к неизбывному оптимизму тюремно-лагерных слухов – "параш". Но и позднее этот оптимизм пробивался и в сознание, и в подсознание даже после того, как много раз убеждался, что все надежды тщетны. И все же они возобновлялись снова и снова: "точно известно: амнистия будет!.." Одному сам следователь сказал, он сам видел напечатанный указ." "Вертухай на прогулке прямо намекнул, – все скоро домой пойдете"... "В бане

вольняга авторитетно говорил – уже списки на освобождение составляют...”

Мы ехали в поезде на восток и это казалось обнадеживающе знаменательным, бодрило, даже веселило... Саша, я и еще несколько переговаривались с женщинами. Мы с Сашей угощали из наших запасов маленькую беленькую девочку. Ребенок в арестантском вагоне! У всех светлели глаза, одни улыбались, мололи ласковую чушь, другие смутнели, отворачивались.

Минутами перехватывало дыхание, кружилась голова от сознания – рядом, в полуметре, за дощатой стенкой – свобода. Ни каменных стен, ни решеток, ни железных дверей. И внизу, совсем близко, там, где рокочут, перестукивая, колеса – земля, вольная земля!.. Шпалы, рельсы; шагай – кати, куда глаза глядят...

На ходу поезда вахтер чуть сдвигал двери вагона и в узкой щели сияние – деревья, лес, поле, крыши домов...

От близости недосягаемой свободы, от движения к востоку, – к востоку, к востоку, и, значит, все же ближе к дому, – настоящее опьянение. Мы стали петь. Вахтер, пожилой солдат, благосклонно прислушивался.

– Як хотите спевать, так только на ходу, а как поезд станет, – чтоб сразу тихо было.

Мы пели ”Ермака”, ”Байкал”, ”То не ветер...”, ”Огонек”, ”Прощай любимый город”. Когда запели ”Варяга”, неожиданно оживился немецкий адмирал, даже стал подпевать без слов. Потом он подсел ко мне.

– Простите, пожалуйста, но я приятно удивлен. Значит, и в вашей... в Красной армии еще поют эту прекрасную старую песню. Это очень хорошо, – традиции необходимы и песня хороша. А ведь я знал ее героев... Да-да, я тогда только начинал службу, был первый год лейтенантом на крейсере. Мы стояли на том же рейде в Чемульпо. Тогда Россия и Германия поддерживали традиционную дружбу. Ведь наш император Вильгельм и ваш царь Николай были родственниками, кузенами, на ”ты”... И между морскими офицерами, немецкими и русскими, была настоящая дружба, не только официальные любезности. И мы и ваши недолюбливали англичан. Тогда Англия поддерживала Японию – главного врага России; американцев еще никто всерьез не принимал. Над их военными моряками у нас подшучивали – плевательницы на голове, – знаете, у их

матросов такие своеобразные шапки... А "Варяг" был отличный корабль, хотя уже и для тогдашних условий недостаточно бронированный и недостаточно вооруженный... Когда английский адмирал, – он был старшим на рейде, потребовал, чтобы "Варяг" и "Кореец" уходили, или приняли режим интернирования, его поддержали американцы и, кажется, голландцы; французы колебались, только мы, немцы, были против. Мы хотели отвергнуть ультиматум японского адмирала и помочь русским кораблям, если японцы атакуют их в нейтральном порту. Но мы остались в меньшинстве... Я был среди тех немецких офицеров, которые последними пришли прощаться на борт "Варяга". Нас восхищали образцовый порядок и спокойная отвага русских моряков. Ведь им через несколько часов предстояло столкнуться с врагом, во много раз более сильным, беспощадным... Японские корабли были хорошо видны, – они дрейфовали вплотную у самой границы внутренних вод... А на следующий день мы наблюдали бой. Собственно, не бой, а бойню. Стая волков напала на благородного оленя. Дюжина вооруженных до верхушек мачт быстроходных кораблей против "Варяга", который не мог покинуть тихоходного "Корейца" – устаревшую канонерку. И храбро отбивался. Японцы стреляли из более дальнобойных орудий. Они, почти не рискуя, стреляли, как по мишеням. Это было ужасно. Многие из нас тогда плакали. Потом я видел ваших раненых матросов. Мы навещали их в береговых лазаретах. Отличные парни. Наши немецкие врачи очень к ним привязались... Да, а потом две таких страшных войны... В тридцать девятом году, когда был пакт с Россией, мы все очень обрадовались. Нет, этой войны не должно было быть... Пожалуйста, нельзя ли попросить, я хотел бы услышать еще раз песню про "Варяга"...

В дороге повар принес шесть котелков солдатского супа для своих подопечных. Мы с Сашей и один из разведчиков поделились с женщинами.

Самой общительной из них была и самая молодая – Надя из Борисова, черноглазая, круглые черные локоны на лбу, на щеках, пухленькая, детский персиковый пушок на круглых щеках с ямочками...

– Ну, неужели же меня засудят, ну скажите,ну правду, ну неужели?.. Я же была еще несовершеннолетняя... мне шестнадцать было, как война началась, я с 25-го года. Как немцы

пришли, так у нас в школе тот союз сделали, ну, такой, вроде пионеров или комсомола, только назывался антибольшевицкий. Ну, тоже сборы были, оркестр, танцы, песни, за город ходили, костры жгли. А потом, когда стали в Германию угонять на работу, мне один русский мальчик посоветовал, – мы с ним гуляли, – он у немцев хорошую службу имел, только секретную, – он и посоветовал, а ты подай заявление, что хотишь с большевизмом бороться, тебя обратно в школу возьмут и если заслужишь хорошо, так мы с тобой поедем в ту Германию не землю копать, а как самостоятельные пани и пан. У них там порядок и что обещают, все сполняют... Ну, я подала то заявление и училась в школе "А". Ну, это которая без радио, а так только карты понимать и какие пушки, какие танки, как писать тайно-секретно, чтоб не видно было... И я только один раз на задание ходила к советам, еще когда фронт был на Днепре и где Чаусы, я там в полевом госпитале сестрой-хозяйкой работала... Ну, так я ж ничего плохого не сделала. Тут советы наступать начали, а я только в Польше утекла, догнала своих, И все, что принесла, уже без всякой пользы... А после меня больше не посылали – зондерфюрер сказал – она – думмедхен – глупая – ну, еще я болела сильно по-женски, ну, и еще тот мальчик с другой гулять начал и я очень переживала – я потом уже только при кухне работала...

– Днем работала, а ночью зарабатывала. Тоже еще целку строит... – это сказала негромко высокая, с длинными светло-русыми распущенными волосами, мать девочки...

– Ну чего ты, Аня, ну чего ты так? Я ж тебя не трогаю, ну у тебя горе, ну зачем же ты выражаешься? Я ведь не такая, я всегда с одним мальчиком гуляла... А когда меня те эсэсы снасильничали, так их же трое было, ну, а я одна, я ж потом так плакала, так переживала, а ты говоришь... – В круглых черных глазах неподдельная печаль и большие слезы между мохнатыми девчоночьими ресничками... Шепотом: – Эта Анька с очень геройским парнем жила, всамделе взамужем, они в церкве венчались и девочка крещеная... А его убили – еще зимою; в Польше он убитый, ну, она все еще переживает и на всех сердитая. Ну, а я считаюсь еще как барышня, я взамужем не была, ну гуляла, конечно, потому что глупая, мальчикам верила – война все спишет... Я завсегда людям верю и следователю верила, все-все как есть про себя рассказала.

– Кабы только про себя, курва лупоглазая, а ведь всех заложила, кого и не знала. И все равно сама висеть будешь рядом с нами, ногами дрыгать.

– Ну, зачем же ты так, Аня?! Ну, ей-Богу же, это не я первая на тебя сказала, тот капитан сам же все как есть знал и приказал, чтоб я признавалась... Ну, зачем же ты говоришь, висеть?! Ну, это же не может быть, я же ж все честно, ну чисто все рассказала, и капитан и тот майор говорили, снисхождение будет, как я чистосердечно и как я несознательная была и несовершеннолетняя... А на суде – меня уже вчера судили – только еще не сказали тот, как его, приговор. Они советоваться пошли – сказали, потом зачитают. На суде там, правда, кричал прокурор чернявый – он, похоже, с жидов, букву рэ не говорит, ну, он сильно кричал, что я про заявление скрыла, а его другие нашли – ну, то заявление, что хочу с большевизмом бороться. Так я же его не сама писала, мне тот мальчик советовал и мне шестнадцать лет было...

На следующий вечер, уже затемно, мы прибыли в Быдгощ. Женщин выгрузили раньше. Когда грузовик, на котором везли нас с Сашей, вкатился в тесный тюремный двор – мы услышали надрывный женский вопль и неразборчивые причитания. Один из солдат объяснил: – Это Надька-шпиенка, ей тут приговор объявили –пятнадцать лет каторги.

Лев Копелев

Лев Копелев, август 1941

Беляев и Забаштанский

Юрий Маслов и Лев Копелев

Налево: Лев Копелев, направо: Галина Х.

Иван Рожанский

Второй ряд, пятый слева: Забаштанский. Сидящая, вторая справа: Нина Михайловна

Майор Лев Копелев и Генерал фон Сегдейц (Комитет 'Свободная Германия')

Копелев с немецкими генералами Траут и Хоффмейстер, 1944

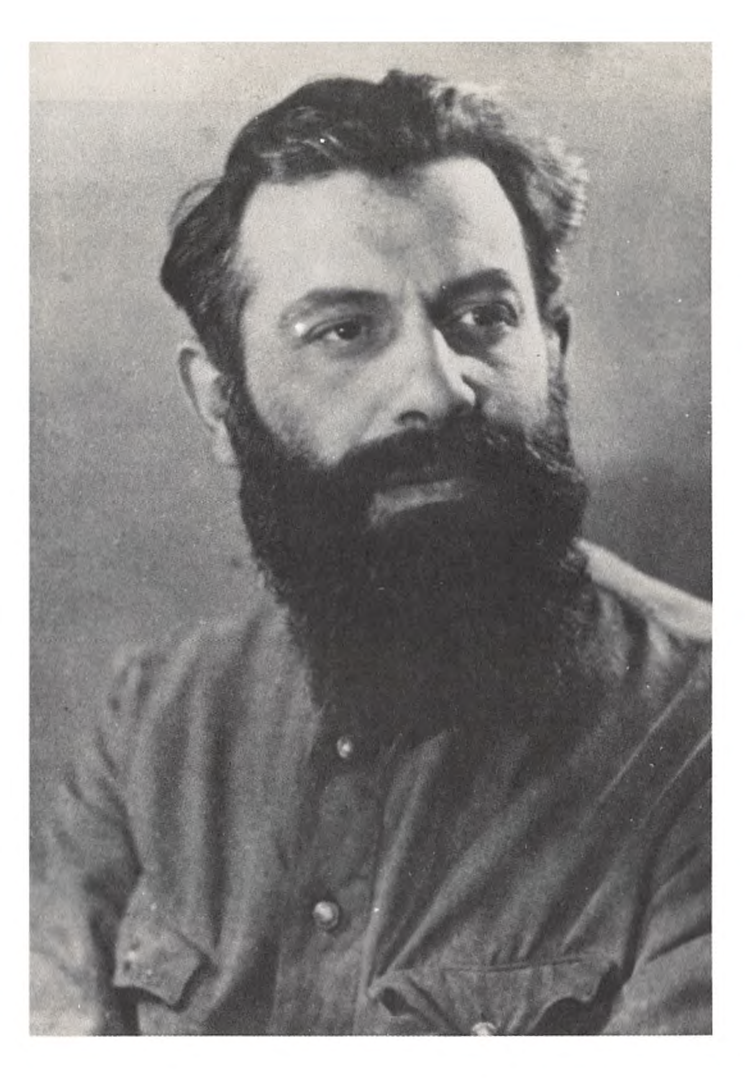
Жена Копелева – Надежда Колчинская – и его дочери – Майа и Лена
1947-48

Инна Левидова

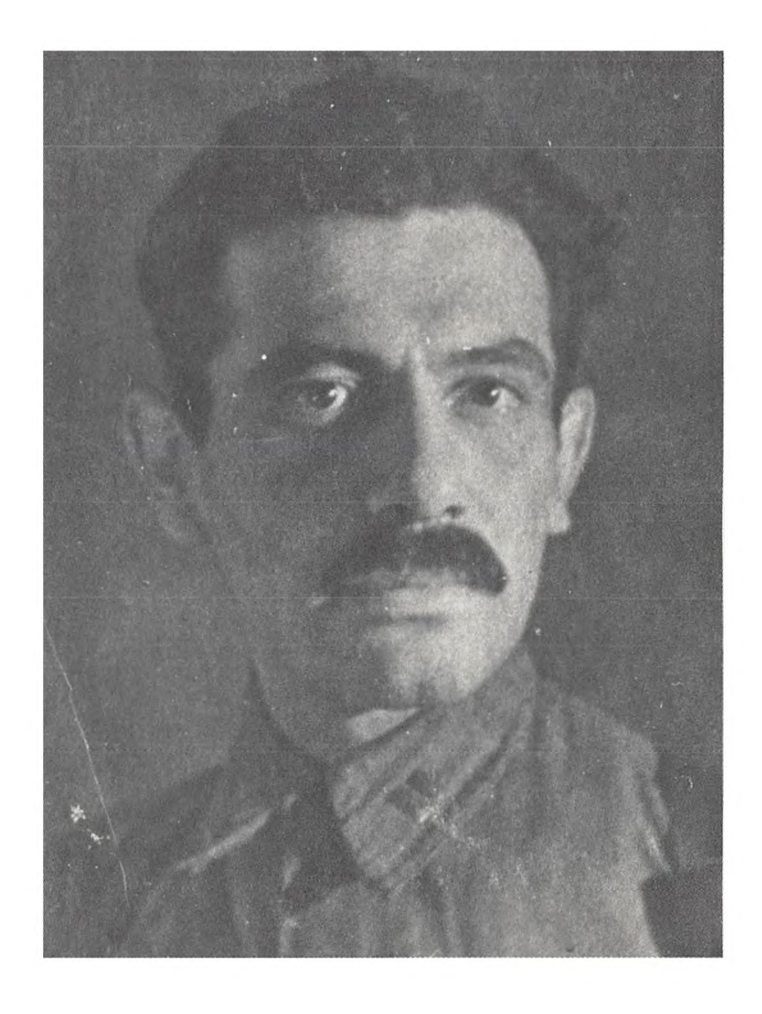
Михаил Аршанский

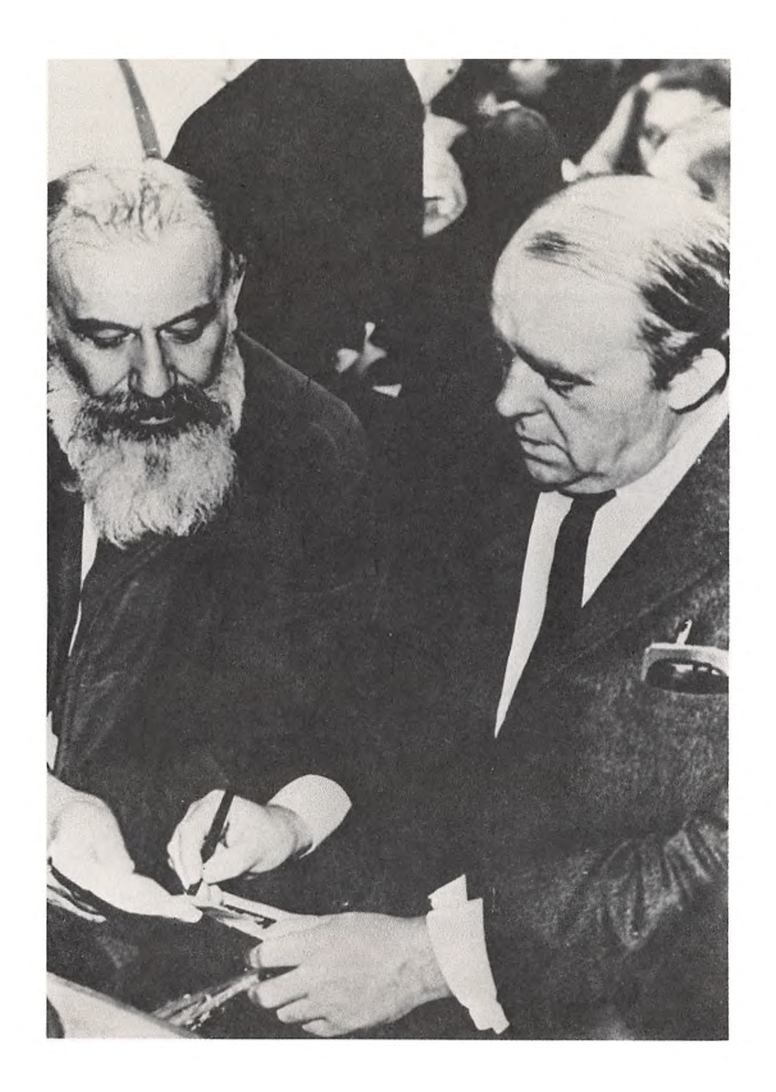
Копелев во время "Интермедии", 1947

Николай Тельяни



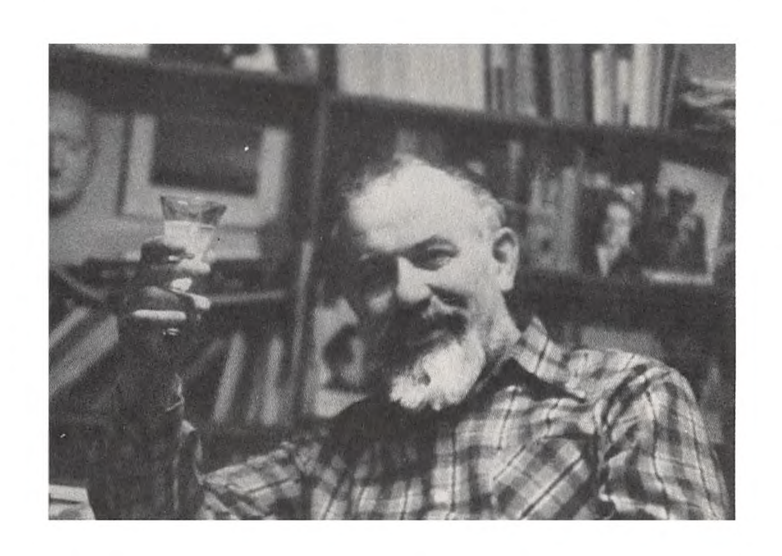
Копелев в "шарашке", 1949-50



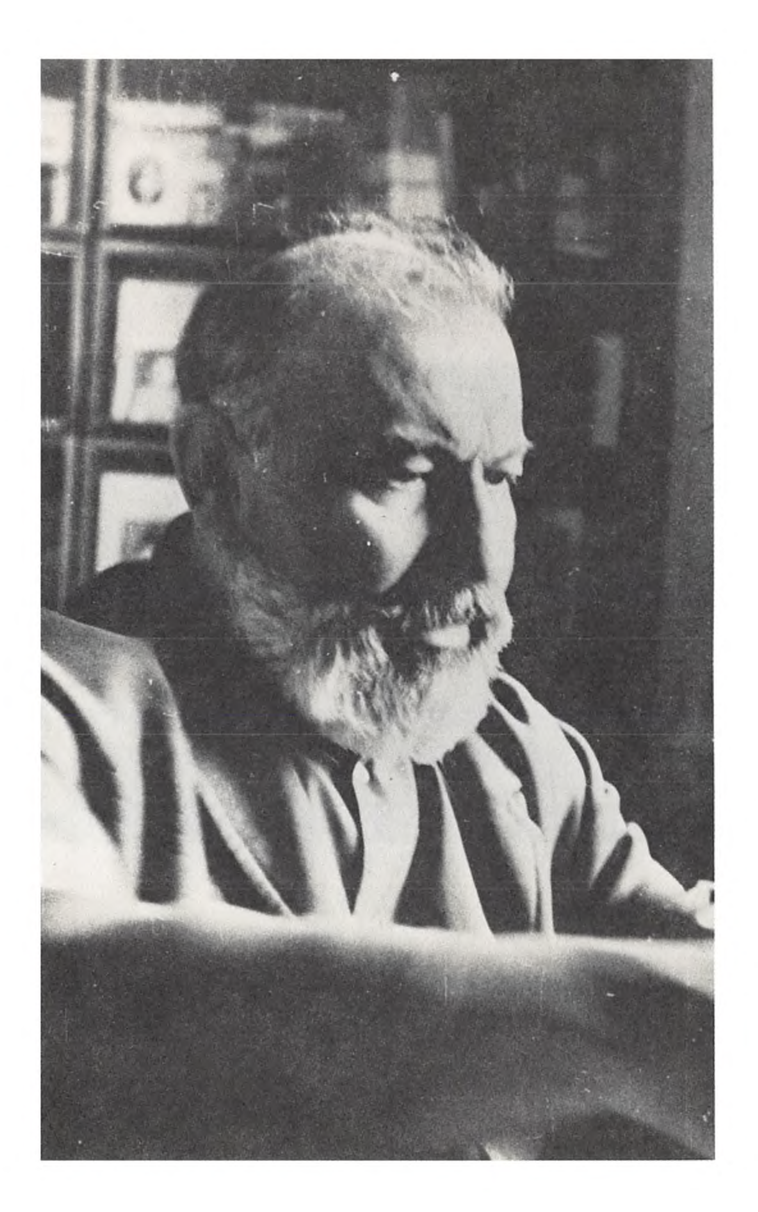


Копелев и Генрих Белль, Москва, 1969

В. Некрасов, Копелев
А. Сахаров и Елена Боннер



Копелев, 1973



Копелев в своем кабинете, 1970

Четвертая часть

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Двадцать вторая глава

ДЕЛО ЗА "ОСОБЫМ СОВЕЩАНИЕМ"

В Быдгоще, — бывшем Бромберге, — тюрьма была небольшая, старая; несколько светлосерых двух и трехэтажных зданий, маленькие внутренние дворы и внутренние переходы, узкие, коленчатые.

Нас с Сашей поместили в квадратную камеру в тупичке на втором этоже. Окно выходило на зеленый травянистый откос, из которого росла бурая кирпичная стена. Широкие деревянные нары, столик, привинченный к стенке, и параша почти не оставляли места, чтобы размяться, походить. Камера была единственная в выступе здания, справа и слева наружные стены. И под окном ни разу не прошел никто.

На второй день мы остались без курева, выгребли все крошки табака изо всех карманов. После сытых дней в Штеттине унылая пшенная баланда, крохотные порции мокрого сахаха и плесневелый хлеб вызывали приступы отчаяния. Саша то яростно матерился, то надолго застывал, укрывшись с головой шинелью.

Хлеба нам давали по весу больше, чем раньше — почти целую каштановую буханку немецкого армейского "коммисброт". Но это должно было возместить понижение качества — все буханки на добрую четверть, а то и треть, и корки и мякоти были пронизаны зеленой плесенью. Нам предоставлялось выскребывать. Саша в один из первых дней не выдержал этой ювелирной работы, — мы старались сохранить каждую крупинку здорового хлеба, и — проглотил неочищенный кусок; его потом вырвало и он заплакал от горя — ведь уже съел свою миску баланды и вот "не сохранил". Но зато это дало повод вызвать дежурного по тюрьме, — у капитана рвота, хлеб отравлен, дайте добавку баланды.

Дежурный оказался покладистым, мы получили добавку и даже еще полбуханки, менее траченную плесенью.

Табачный голод был почти столь же мучительным. Выхо-

дя на прогулку, мы смотрели только под ноги, след затоптанного окурка вызывал дрожь. Гуляли мы всегда вдвоем не дольше получаса, в маленьком дворе, по которому изредка проходили арестанты, работавшие при кухне, и надзиратели.

– Пожалуйста, покурить... Браток, хоть крошку табачку... Оставь сорок, дай губы обжечь, раз потянуть...

Прогулка, во время которой нам достались по два больших "бычка" махорки в подаяние, а потом Саша подобрал в пути еще один полузатоптанный, была великим событием. А одна счастливая прогулка вселила в нас бодрость и веселье на целые сутки. Кухонный работяга нес на спине в плащпалатке кучу буханок. Я разминулся с ним, стянул одну буханку и сунул под шинель – носил внакидку. Тот заметил но подмигнул еще и Саше и тот успел схватить вторую. Надзиратель, стоявший у дверей, то ли и впрямь ничего не заметил, то ли не хотел видеть. Ведь это все еще была полевая тюрьма и большинство надзирателей были солдаты, фронтовики, переведенные на тыловую службу после ранений. Одного из них я буду всегда благодарно помнить. Он водил нас на прогулку и сердито покрикивал, когда мы нагибались в поисках окурков:

– Ну, чего вы там загубили? Гроши? И не совестно ж вам: офицеры, а в грязь лезете... Там же наплевано, насмаркано...

Мы огрызались.

– А ты пробовал двое суток без курева? Да, офицеры, только пусть совестно будет тем, кто нас так держит. Мы за родину воевали, – Саша разгорячился и говорил патетически. – Мы всю войну на фронтах. Он – майор, ученый из Москвы, я капитан, потомственный пролетарий. Нас в тюрьму сунули за хреновину. Мы уже двое суток не курили... Уши пухнут... Достал бы лучше хоть бычка, чем попрекать...

–Не положено. Я ж часовой. Сами знаете...

Он замолчал угрюмо. Глаза совсем под лоб ушли. Но, впуская нас обратно в камеру, он сунул мне в карман щепоть махорки и прошептал в спину:

– Спички есть?

– Нет, кончились.

Он так же шепотом: – И у меня нет, тут дырка волчокглазок... Як бы не было в нему стекла, я бы дал вам прикурить... Я сейчас отойду, закурю у сержанта... А вы глядите, только, чтоб тихо...

Он отошел. А мы быстро сообразили и, обернув пальцы полой шинели, выдавили глазок. Осколки стекла тоненько задребезжали.

Несколько мгновений испуганного напряжения, – услышат? Потом еще несколько минут ожидания – Саша скручивал цигарки, – благо обрывки бумаги у нас были, – скручивал бережно, над нарами, над бумажкой, чтоб не потерять ни пылинки. Шаркающие ноги и в волчке сладостный дымок.

– Так вы не припалюйте... Берите, а то в запас будет.

Ночью мы познакомились шепотом через волчок. Антон Стецюк родился на Сумщине; семья перебралась в Сибирь, когда он еще был ребенком. Отец воевал в японскую войну, убит в ту германскую. Он сам с детства батрачил, потом работал и в колхозе, и лесорубом, и на стройках. В солдатах уже два года, три раза ранен и каждый раз тяжело, поэтому все больше по госпиталям. Поэтому и наград никаких.

Все это мы узнали за два или три ночных дежурства. Днем, когда он водил на прогулку, мы, разумеется, не разговаривали, а только после отбоя. Шаркая нарочно громко, чтобы мы услышали и не надо было окликать, он подходил к волчку, совал свернутую цигарку. Мы шепотом спрашивали:

– Как зовут? Откуда? Женат?

В первый раз он не ответил. "А на шо это вам?" – и ушел.

В следующий раз я опять спросил и добавил: надо знать, за кого Богу молиться.

– Так вы ж разве веруете?

– Не вси, кто молятся, веруют, и не вси, кто веруют, молятся.

Эта несложная диалектика и то, что я заговорил по-украински, назвал его земляком, видимо, произвели впечатление. Он несердито хмыкнул, ушел. Но час-полтора спустя опять из волчка потянуло дымком и он стал отвечать, коротко, тихо... Нас он ни о чем не спрашивал. Он был поразительно деликатен, этот угрюмый дядька... У него была жена, двое детей – сын и дочка. Сейчас ему должно быть больше семидесяти лет.

Все дни в быдгощской тюрьме мы с Сашей играли в подкидного. От наших штеттинских сокровищ осталась только одна колода карт и клочья бумаги для курения – страницы немецких книг.

Играли мы азартно, Саша вел строгий учет царапинами на беленой стене – в день играли не меньше 120-130 партий, рекордный день был 206 партий. Он выигрывал не менее семидесяти пяти-восьмидесяти процентов и были минуты, когда я огорчался из-за этого. Раз мы даже поругались из-за какой-то чепухи. Оба злились, целый час дулись, потом все же хватило ума рассмеяться над самими собой. Он говорил:

– Ты же старше меня по годам и по званию и по учености, ты должен быть умнее. А я ведь еще и псих контуженный... Ну и что, что я лучше в дурака играю, я ловчее, быстрее соображаю в картах, у меня опыт есть. Ты не должен обижаться. Я и батальоном могу лучше командовать. Ты когда командовал батальоном? Никогда? А я с Белостока уже на батальоне. А до того адъютантом старшим был и на роте полгода, пока на Курской дуге не долбануло... Значит, у меня опыт, а у тебя одна теория. Но ты наверное мог бы как-никак покомандовать, а я в твоих делах ни бум-бум... Так чего ж ты обижаешься? А в картах у меня опыт больше военного, еще со школы; и дома с ребятами резался. Я всю колоду в уме держу.Ты еще думаешь, а я уж угадал, какие у тебя на руках...

В Быдгоще следователь Виноградов вызвал меня только один раз, в самые первые дни. В маленькой комнате за пустым столом он сидел зеленовато-желтый, сутулился и морщился не то от боли, не то с похмелья. Но в голосе звучало победоносное злорадство.

– Имею объявить, что ваше новое ходатайство по 206-й статье прокурор и органы следствия отклоняют, как необоснованные. Следствие по вашему делу закончено и оно передается в судебные органы... Понятно?

Но я плохо слышал его. Он курил толстую папиросу. Он так небрежно держал измятый, изжеванный мундштук тощи-

ми, желтыми пальцами. К потолку тянулся синий дымок и я за несколько шагов вдыхал его благоухание. Это было еще до появления нашего благодетеля Стецюка и мы с Сашей изнемогали от голода и тоски по табаку.

– Дайте покурить! Пожалуйста. Давно не курил.

– Я вас спрашиваю – вам понятно?

– Понятно, понятно. Дайте хоть сорок, – ну докурить. Очень прошу. Вы же курящий...

Он смотрел на меня брезгливо и удовлетворенно. Ему должно быть даже облегчало хворь сознание превосходства над униженным попрошайкой. Он затянулся, сплюнул, положил на край стола изжеванную папиросу:

– Нате... Какой же вы... э... э...

Он так и не нашел слова. По интонации требовалось что-либо вроде "нахал", "поганец", "ничтожество". Но то ли по трусости, то ли все же от жалости, не сказал ничего.

Я оторвал часть мокрого мундштука и жадно тянул дым, сладковатый, слабенький, но голова закружилась... Я видел его торжествующее презрение. Но оставалась еще одна, едва ли две затяжки... И допросов больше не будет.

– Спасибо! Дайте пожалуйста еще хоть одну с собой.. Уже неделю без курева, с ума сойти можно...

Он смотрел победно и высокомерно, откинувшись на спинку стула.

– Я вас не обязан снабжать табаком. Идите!

Кружилась голова, тошнило. Не было сил даже на ненависть. Едва удержался, чтобы не попросить еще раз.

На обратном пути в камеру я подобрал большой махорочный бычок. Это утешило. У Саши оставались еще две спички. Мы бережно курили и я вслух мечтал, как встречу майора Виноградова когда-нибудь потом. Найду его в Ярославле. Нет, бить не буду, но уж напугаю... А то и наплюю в зеленоватое рыло. Буду курить и плевать в него огрызками папирос.

Двадцать третья глава

БЫДГОЩ – БРЕСТ

На рассвете вызвали меня одного с вещами – значит, в трибунал. Мы обнялись с Сашей, еще и еще раз повторяли адреса.

Внизу, в большой прихожей тюрьмы по стенам теснилась мятая шеренга в солдатской и "цивильной" одежде. Примерно полторы сотни заключенных. Несколько в стороне – женщины. Меня поставили отдельно от всех, поближе к группе штатских, в "заграничных"костюмах и обуви. Тогда это еще бывало очень заметно. Дежурный старшина, державший папку с большой пачкой бумаг, прочитал мне по маленькому листку, подколотому к нескольким другим побольше:

– Ваше дело передано в Особое совещание при Министерстве внутренних дел СССР.

Принесли мой чемодан, забрали завалявшиеся там книги, карандаши, но оставили трофейное армейское белье, стеганые манчжурские костюмы из эрзацшелка, – все это кормило потом в пути.

Длинной колонной заключенные топали вдоль утренней летней улицы Быдгоща – это был мой первый марш под конвоем, – раньше возили. С тротуаров смотрели женщины, дети, солдаты; смотрели с любопытством. Сочувствующих взглядов я не заметил, но и криков "повешать бы их" уже не слышал. У развалин работали женщины в косынках и шароварах, тянулись прямоугольные столбики сложенного кирпича. На уцелевших домах редкими пестрыми пятнами свежая краска вывесок.

Большой старый клен, полурасщепленный взрывом, одной половиной завалился на стену выжженного пустоглазого дома – но обе половины в густой листве, по-утреннему свежезеленой. Упрямо живому клену я обрадовался, как доброму предзнаменованию.

На вокзале нас погрузили в товарные вагоны. Сперва я

оказался в вагоне, в котором было несколько женщин, знакомых по прежней поездке. Черноглазая Надя похудела, посерела, но все еще была круглолица, с ямочками в детских припухлых щеках. Она уже не плакала, а только спрашивала, утешая себя: "Ну может еще и помилуют или срок уменьшат? Не может быть, чтоб меня пятнадцать лет держали. Ну, я ж тогда совсем старая выйду, – тридцать шесть лет, это ж подумать страшно..."

С первых же минут в вагоне самыми шумливыми и деятельными оказались блатные – маленький лысоватый рыжий Сашок, его кореш, долговязый, тощий, носатый Толик, и еще несколько воров. У них были настоящие карты и Надя стала гадать: воры слушали очень серьезно и доверчиво – про долгую трефовую дорогу, казенный дом, который держит, но скоро пустит в короткую червонную дорогу, про бубнового друга и трефового врага...

Но потом женщин из вагона увели, а добавили еще несколько арестантов – "вольных". Сразу же возник раздел: в одной части вагона пятьдесят восьмая статья, в другой – все прочие. Посредине пробили дырку в полу – уборная.

Моим соседом оказался и вскоре стал приятелем Кирилл Костюхин, волгарь из Тетюшей, высокий, темноглазый, плечистый и рукастый, в немецком штатском платье. Его арестовали в госпитале, где он провел две недели после концлагеря Штутгоф. В плен он попал еще в сорок втором в окружении у Изюма, трижды бежал и, наконец, отчаявшись, отправленный уже в Германию, поступил в немецкую разведшколу "Ц" (высшая ступень); там сговорился с будущим напарником собрать побольше сведений о работе школы, о ее выпускниках, с тем, чтобы сразу же как сбросят, явиться с повинной. Напарник донес. Кирилл прошел через страшные пытки в Кенигсбергском гестапо: от него добивались назвать, кто еще участвовал в сговоре. Убеждая напарника, он сделал вид, что действует не один, что у него есть связи. От смертной казни его спасли английские бомбы и добротный прусский бюрократизм. Во время налета британской авиации летом 1944-го года здание гестапо было уничтожено вместе со всеми следственными делами, а тюремные власти, подчинявшиеся министерству внутренних дел, считали невозможным выдавать заключенных на расправу без надлежащих бумаг. Был найден простейший выход: всех, кто чис-

лился за гестапо, перевели в лагерь смерти Штутгоф. Фронтовой трибунал не стал судить Кирилла, и его дело передали в ОСО.

Постепенно в вагоне образовался круг собеседников. Мы ехали уже несколько дней, успели узнать друг друга.

... Невысокий, но складный крепыш, в черной пилотке и черной куртке немецкого танкиста, самоуверенный и щеголеватый — капитан Вальдемар Зайферт-Кетлер — разведчик из абвера. Он родился в Харькове, там же окончил семилетнюю школу и только в тридцать третьем году уехал в Германию (родители были немецкими подданными).

Когда мы разговорились, я вспомнил, что уже раньше слышал о нем, "оберлейтенант Володька" начальствовал в школе диверсантов на Северо-Западе. Да и он слышал о "черном майоре".

... Темноусый, бледный, в старомодной широкополой шляпе и черном пальто с бархатным воротничком Николай Степанович Б. до войны был полковником, преподавал в Академии им.Фрунзе, в 1941 году был начальником штаба корпуса, попал в плен у Можайска, а в плену стал сперва начальником оперотдела РОА, — то есть власовской армии, потом начальником офицерской школы и одновременно секретарем подпольного „Берлинского Комитета ВКП(б)".

Кареглазый, скуластый Андрей Р., бывший старший политрук, а затем власовский офицер-пропагандист, был его заместителем по комитету.

С ними вместе держался Георгий Але - ксандрович Стацевич, рыжевато-русый, тонколицый, в некогда нарядном коричневом пальто и коричневом костюме, который мне показался роскошным.Разговорились. Он был киевлянином. Впервые меня семилетним записала в детскую библиотеку Стацевич — это была его мать. В 1919-м году его подростком увезли в эмиграцию, в Германии он стал инженером-трубопроводчиком. Долго работал на Ближнем Востоке — в Моссуле, Сирии, в Палестине; вернувшись в Берлин, стал председателем всегерманского комитета партии младороссов, т.е сторонников царя Кирилла, а вскоре и советским разведчиком. Он женился на немецкой барышне, сестра его жены была замужем за скучно педантичным фармацевтом Генрихом Гиммлером, который через несколько лет превратился в фюрера СС

и начальника гестапо... Эти родственные связи спасли Стацевича от смерти, когда гестапо накрыло его почти одновременно с "Берлинским комитетом ВКП(б)", с которым он установил связь. А провалился комитет после очень дерзкой и остроумно задуманной операции. Полковник Б., политрук Р. и их товарищи, решив нанести смертельный удар власовскому командованию, изготовили несколько протоколов мнимых тайных заседаний власовского штаба, на которых якобы обсуждались планы перехода на сторону англо-американских войск, едва те начнут высаживаться в Европе. (В это время из власовцев формировались гарнизоны нескольких укреп-районов на побережьи Франции, Голландии и Дании). Затем один из членов Комитета, притворившись пьяным, в обществе заведомого шпика, "проболтался" об этих планах. Он был схвачен, выдержал первую серию пыток и, лишь после самых жестоких, "сознался", рассказал, где хранятся тайные материалы. После чего и Власов и весь его штаб были арестованы гестапо (сам Власов, кажется, подвергся только домашнему аресту). Но с этого момента все расчеты Комитета перестали оправдываться. Их маневр был бы совершенно безошибочен в советских условиях, когда одного признания, да еще подкрепленного бумагами, было бы вполне достаточно, чтобы привести к гибели всех обвиненных, всех заподозренных и немалую толику прикосновенных. Но гестапо было недостаточно просто "оформить" дело, к тому же на Власова было уже затрачено много денег и пропагандистских усилий; гестаповцы должны были выяснить действительное положение вещей. Поэтому уже через несколько дней следствие установило, что хотя антинемецкие настроения в штабе РОА усилились, но заговор – вымысел. Более того, гестаповцы напали на след авторов мистификации, добрались до Берлинского комитета. Но дело велось ускоренно; внимание отвлекли события 20 июля 1944 года – покушение на Гитлера, попытка восстания в Берлине. Прямых улик не было, подозреваемые держались твердо. Все они были приговорены не к смертной казни, а к длительным срокам заключения, отправлены в концлагерь Саксенхаузен-Ораниенбург и оттуда непосредственно перешли в нашу полевую тюрьму. Их следственные дела тоже направлялись в ОСО, однако по более

высокому разряду, чем мое дело. Их и "Володьку" Зайферта-Кеттлера повезли непосредственно в Москву, а меня вместе с Кириллом Костюхиным и еще несколькими арестантами, тоже числившимися "подследственными за ОСО", оставили в пересыльной тюрьме в Бресте.

И с Николаем Б. и с Андреем Р. я встретился полтора десятка лет спустя.

Они были реабилитированы по суду, но в партии их не восстановили. Некоторое время мы пытались добиваться их партийной реабилитации; мы – это Юрий Корольков, бывший военный журналист, автор военно-детективных романов, и я, в ту пору еще состоявший членом партбюро секции критиков московской организации Союза писателей. Мы с Корольковым ходили в Комиссию партийного контроля, вели там длинные разговоры, – причем, Корольков даже значительно более резко и агрессивно, чем я, обличал сталинские методы и сталинскую психологию чиновников КПК. Все наши усилия остались тщетными. Только одного из членов Берлинского Комитета, летчика, который был в лагере вместе с Николаем и Андреем, и с их помощью бежал, захватив немецкий самолет, полностью реабилитировали по всем статьям и он уже в 62 года стал Героем Советского Союза. Все другие его товарищи остались "запятнаны позором плена".

В пути мы провели несколько дней, ночами стояли на станциях. В Польше было неспокойно; действовали отряды бандеровцев, аковцев.

Сашок "Марьинский" был неизменно весел, похохатывая, рассказывал о лагерях, в которых побывал; с гордостью говорил, что у него были четыре "открытых"судимости. И все – по одной статье 163-В – "вольная" кража; – Я не воробей какой, чтоб со статьи на статью прыгать. Воевал в штрафном, все грехи кровью искупил, орденов и медалей нахватал, хоть в банк неси...

С особым удовольствием он рассказывал о боевых похождениях; хвастался умеренно и вполне достоверно... – Задач-

ку нам объяснили просто и точно — взять вот ту высотку к семи ноль-ноль, кровь из носу, дым из глаз, хоть на своих голых кишках доползайте, а берите, и там, на высотке полное снятие всех судимостей, сколько бы ни было, ордена всем, кто живой и раненый, и даже тем, кто помрет, отечественная война не меньше второй степени, на добрую память маме-папе или дорогой супруге и деткам, чтоб, значит, вечная слава... Задачка ясная, только на той высотке минное поле, проволока в три ряда и еще по земле накручена эта самая спираль Бруно, и фрицы каждый метр пристреляли, как в тире. Ну, получили мы, значит, главный боевой заряд — положено по сто пятьдесят грамм, но комполка — тонкий мужик — понимает солдатскую психологию, от себя накинул, еще по сотне грамм трофейного шнапса для стимула патриотической мести. И пошло все точненько, как в аптеке. Бог войны — артиллерия, значит, — кинула сотню тяжелых дур, полковые минометы жах, жах, под конец Раиса — дочь Родины, та самая, которую зовут еще Катюшей, сыграла так, что и немцам и нам страшно, сплошной гром с молниями, ночь в Крыму, все в дыму, ничего не видно... Ну, и тогда уже, значит, "вставай, подымайся штрафной батальон"...

В Брест прибыли утром. Долго сидели в стороне от вокзала на путях. Именно сидели, стоять не разрешалось: конвоиры покрикивали: "не высовывайся... пригнись... сиди аккуратно..."

Этап был большой — несколько сот человек. Часть отправляли дальше. Солнце припекало, но мне посчастливилось: "пассажиров" нашего вагона разместили у кирпичной стены пакгауза в тени. В пути через конвоиров я сменял на хлеб и табак шелковистую манчжурскую куртку и такие же штаны и еще кое-что из трофейного белья. Одна лишь немецкая солдатская ночная сорочка ниже колен принесла шесть буханок белого хлеба и мешок домашнего табака. Мы с Кириллом чувствовали себя богачами.

Мы простились с Николаем Степановичем, Андреем, оберлейтенантом Володькой — их увели к другому поезду. А мы с Кириллом час спустя шагали в длинной колонне по улочкам Бреста — город показался неказистым, обшарпанным... У высокой красно-кирпичной тюремной стены — привал. Напротив

церковь и зелень сада. Солнце уже совсем высоко. Жара наплывает все гуще, суше, пыльней...

— Воды... воды.... пить... хоть глоток воды... ну, дайте же напиться, вы, что, не люди?

Голоса все громче. Конвоиры не кричат — уговаривают.

— Сейчас впускать будут... Потерпите еще минут десять... Скоро, скоро запустят, там — пей, до не схочу...

Внезапно зеленовато-грязно-бурая толпа сбившихся в узкой полосе тени арестантов — зашевелилась, говор стал громче, но явно звучал по доброму. Замелькали узкие, серо-белесые листки газеты — местной, маленькой. Несколько газет пустили по рукам конвоиры.

...Указ об амнистии. 8-го июля 1945 года. Значит, позавчера!... Передали и нам захватанный листок. Читаю вслух. Конвоиры глядят в сторону, словно не замечают сгрудившихся, перебегающих с места на место арестантов. А те слушают, просят прочесть еще и еще раз.

...Всем, кто до пяти лет — на волю...

— А 58-й тоже касается?

— Сказано же — к военным преступникам не применять.

— Так это же значит — к полицаям, кто в СД, в гестапо служил, но простого пленника должно касаться.

— А ну, читай еще... Как там сказано: сократить наполовину срок...

— По каким статьям?

Газета с указом отвлекает и самых жаждущих. Даже Кирилл, обычно угрюмый, всегда ожидающий худшего, повеселел.

— А хрен его знает, может и нас пожалеют... Ведь сколько нас было в плену — миллионы. Немцы писали — 10-12 миллионов, ну, пусть они вдвое соврали, так ведь тоже ж пять миллионов наберется и все мужики, в самом возрасте... В госпитале солдаты рассказывали и сестры: есть целые деревни, а то и районы, где одни бабы работают. Ну, еще старики и мальчишки, но и тех наперечет...

— Становись по четыре!.. Разберись по рядам и в затылок! Веселее! Там к ужину ждут.

Втягиваемся в тюремные дворы, первый широкий, жаркий, второй — узкий, длинный, весь в тени. Основное здание

тюрьмы большим "Т", черным снизу и красным сверху. Конструктивистская архитектура. Гладкие стены. Из некоторых окон наверху выглядывают стриженные головы.

– Пригнали вояк... – И так жрать нечего, а их гонят... – Эй, солдаты, когда амнистия будет?

– Уже есть. Позавчера была.

Из нашей толпы перекрикиваются с глядящими из окон. Тюремные охранники в гимнастерках с синими погонами орут угрожающе. Слышны западно-украинские интонации.

– Одийды, стрилять будемо!.. Гей, часовой... А ну, популяй в те викно... Нарушають бандиты!.. Одставить разговорчики... вашу мать, а то не доживэш до амнистии.

Из окон наверху кричат нечленораздельно или матерно.

Часовой на вышке стреляет, галдеж усиливается, потом стихает. Запускают внутрь тюрьмы. Нас долго пересчитывают, обыскивают, сверяют дела, только к ночи добираемся до камеры, на третьем этаже, 101-ая в тупиковом конце коридора, отделенном от остальной части большой тяжелой решеткой... В коридоре за тремя столиками вахтеры обыскивают, переписывают наши вещи, которые должны быть сданы.

– Роздягайся, ану, вывертай кешени... Все-все знимай... Одкрый рота... Волосья потруси... Ну и чубы в них, завтра познимають... Нахились... Та ни бийся, ни битиму... Тильки в жопу подывлюся, чи не заховав там грошей... А годинника нема? Ну, часив, значит? Часики? Ур? Понимаешь?

Обыскивающие фамильярно приветливы. Нас больше сотни, а их едва дюжина. Шмонают не слишком тщательно, ищут чем бы поживиться. Тут же, почти не таясь, заключают сделки. Воры и деятельнее всех криворотый Сашок, похохатывая, громким шепотом, торгуется с охранниками:

– Да чтоб мне сгнить в тюрьме, в рот меня долбать, если хоть слово сбрешу... Это же чистая шерсть, американский бостон. Ты только пощупай... Что-что? Сам знаешь, начальник: хлебушка. Табачку. Ну, витаминов це. Не знаешь каких? Маслице! Сальце! Яйце! Это и есть витамины це. Ну, хорошо бы молочка... того, от бешеной коровки. Тогда, видишь прохаря? Хромовые, польские! Гад я буду, век мне свободу не видать... Я тебе их с него живого или мертвого сниму.

Меня обыскали и "описали" два немолодых сонных охранника – они показались благодушными, даже уважительными и менее всего ревностными.

— Це у тебе шо за папир?.. Пишеш? Письменна людина, значит. Яка статья? Ну, значит, скоро на волю пойдете... Звидки сами будете?.. З Москвы, а по-украинськи чисто говорите... тильки по схидняцки... А це шо таке, невже шовкове?

У меня осталась еще одна пара серебристо серого стеганого японско-манчжурского исподнего.

— Може зминяетесь? На хлиб... чи на табак? До дому хочите везти? Ну и добре... А це шо таке? срибне? Наче с цвинтаря чи з церкви? Волося долгие, а пика чоловича... Так воно не срибне? (То был маленький стальной бюст Шиллера с латунным донцем-печатью. Подарок Любы.) — Навищо ж це у вас — савецького командира нимецький письменник?.. Ага, культура, значит? Вчена людына! А цю сорочку не зминяете на цукор чи на цибулю? Ну, от мы и все ваше переписали... Не берите до камеры ничого, бо тут шпана злодияки... вы и не помитыте, як вкрадуть... Ось квитанця, бачьте все записалы... Розпишиться... И знаете шо, не берите вы ту квитанцю, бо чи сами загубите, чи ктось украде, шоб покурыты... Я положу у ваш чемойданчик. Ось дивиться при ваших очав поклав. Вы тильки памятайте сегодни девяте липня — июль значит... и камера ваша буде сто первая, не забудьте... Як будете выходыть, скажите число, мисяць, камеру и вам оддадуть...

(Когда два месяца спустя меня увозили из брестской тюрьмы, я тщетно просил, требовал свой "чемойданчик". Сначала меня выслушивали, обещали пошукать... скоро, скоро найдуть, — а потом раздраженно отчитывали:

— А чего ж вы квитанцию не взяли? Тут же больше тысячи людей, как же вы, вроде образованный, можно сказать, такого не понимаете? А кто ж теперь вам обязанный верить за тот ваш чемодан, если нет документа?

Когда уже выводили на двор строить этап и я продолжал требовать начальника, хмурый захлопотанный дежурный по тюрьме сунул мне листок бумажки и карандаш — напишете заявление — точно когда, какого числа, какой из себя был тот, кто принимал. Найдем — пошлем за вами в лагерь... Нам ваше барахло не нужно, чтоб место занимало.

В заявлении я умолял разыскать хотя бы только печатку с бюстом великого поэта Шиллера и листки с моими записями в прозе и стихах, отказывался от вещей, от самого чемодана. Разумеется, я ничего не получил.)

”Карантинная” камера, просторная, квадратная, с двумя большими окнами, была совершенно пустой, только в углу у двери стояла ржавая железная бочка. Нас было сто шесть человек – многие были с мешками или просто с ворохами барахла, завернутыми в шинели, плащпалатки. Мы с Кириллом и еще несколько новых дорожных приятелей заняли угол у одного окна прямо напротив двери, у другого расположились воры. В углах было относительно просторно. Все остальные не столько лежали, сколько сидели на мешках, крючились на полу, наваливались друг на друга. Утром, проснувшись, я увидел, что мои ноги лежат поперек чьих-то ног, у Кирилла, спавшего ничком, на спине храпел кудрявый, лобастый парень.

На поверку строились в три колонны, в каждой – по три шеренги – две колонны по стенам, одна посередине.

Оправляться не выпустили:

– Вы – карантинная камера, ходите в парашу. Как полна будет – вынесете.

Дежурный приказал: выбирайте старосту, он будет раздавать харчи и хай назначает кому носить парашу. В нашем углу стали кричать: ”Майора старостой!” Воры поддержали.

Дежурный спросил меня: ”В какой армии майор?.. Ага, Красной. Ну, тогда командуйте, чтоб порядок был”.

Через час после подъема принесли баланду – серое пойло с очень редкими крупинками затхлой перловки, пахнущее грязной рогожей.

Неглубокие деревянные миски передавали из дверей – гэту налево, дальше давай, гэту направо... Давай, давай, не боись, всем фатит... – Ложек не полагалось. – Так хлебайте. Тут гущи не богато.

Наш угол и воры отказались от своих порций. У нас еще оставались хлеб и сухари.

Тюремного хлеба в то утро не дали. Раздатчики баланды сказали:

– Нема хлеба в тюрьме уже третий день. А на вас и не выписано. Говорят, завтра будет.

Оба окна были разбиты, ни стеклышка. Со двора слышались крики, сначала одиночные, потом хором.

– Хле-е-ба... хле-е-ба!..

И в ответ крики:

– Сойди с окна... Стрелять буду... Сойди с окна... Стреляю... Тебе говорят, сойди... твою Христа Бога мать...

Хлопнул одиночный автоматный выстрел, подальше – второй.

Один из воров полез на окно.

– Попка на вышке закрутился, как заводной... Давай хле-е-ба, суки!..

Снаружи яростный мальчишеский голос:

– Сойди с окна... Сойди, говорю... Всю камеру в карцер... Стрелять буду...

– А ну стрельни, хреносос... твою душу, твой рот, кровавые глазки...

Выстрел. Удар в стену. Шуршанье крошащейся осыпи. Крикун скатился с окна.

– Пугает сука. Но малолетка – сопли до пупа... может и гробануть с перепуга...

По камере испуганное гудение... Я вспоминаю, что выбран старостой.

– Никому не лазить на окна... Если и не убьет, могут всю камеру наказать. Переведут на карцерный паек. Вы же слышали, что хлеба и так нет. А когда привезут, им только выгодно будет нам карцерные пайки давать.

– Правильно! Правильно! Тоже дуроломы лезут, своей головы не жалко, через них всем страдать.

– Спокойствие, граждане, братцы, мужички, вояки, фраера и прочие крестьяне и рабочие...

Сашок развалился в углу на подстилке и выкрикивает пронзительно, подавляя общий шум... – Прав наш товарищ староста, заслуженный майор... Как он сказал, так и будет, но шуметь не надо... Мы все видим, что мы имеем на сегодняшний день? Нехватку хлеба и большое стеснение в нашем тяжелом жизненном положении... А так же нервных попок, вертухаев, которые пуляют куда попало... Это есть, однако, временные трудности на периферии, мелкие неполадки снабжения, которые надо пресечь в корне и дать по рукам... А пока в таком случае при имеющихся условиях ситуации прошу соблюдать спокойствие и беречь свои крепкие нервы, чтобы не подорвать молодое здоровье или как говорится по-научному, не сдохнуть

до срока... Потому что это будет расцениваться как чистый саботаж, раз тебе Родина дает законный срок заключения, ты обязан его тянуть от звонка до звонка, вкалывать по-ударному, упираться рогами для общей пользы социализьма... А кто не бережет свое личное народное здоровье и подыхает до срока, есть вредитель, враг народа и с ним надо по всей строгости...

Сашкина свита нарочито громко хохотала. Смеялись и в нашем углу.

Днем стало нестерпимо жарко и душно. Мы сидели в одних кальсонах. Горло стягивало жаждой. Редкие, слабые дуновения из окна – когда открывали дверь – казались живительной прохладой.

Но парашу выносить можно было только когда наполнится. Приходилось долго упрашивать коридорного. Зато назначить носильщиков оказалось просто. Нашлось множество охотников тащить зловонную бочку, – по пути они могли напиться из крана... Даже из числа воров объявились добровольцы. Сашок подмигнул – надо пустить. Это были посредники в обменных операциях.

На вторую ночь меня вызвали в коридор охранники. Дежурный старшина сказал: слухай, староста, нам звестно в вашей камере часики есть, кто-то пронес, по частям разобрал и пронес. Ты, давай, найди. Скажи, чтоб отдал а мы дадим хлиб, воды, табаку, а може и сала шматок.

Спросонья я не сразу понял, что он хотел. Стал объяснять, что я староста только с утра, никого не знаю. Попробую узнать, но ничего не обещаю. И попросил воды.

– Як ты ни хрена не знаешь, то и воды тебе ни хрена не буде.

Передо мной четверо молодых здоровых парней с синими погонами. У двоих – партизанские медали. Смотрят угрюмо, неумолимо. Я поплелся обратно в камеру и на несколько минут ощутил полное отчаяние, бессилие, безвыходность.

На утро в камере был один мертвец. Накануне я приметил у самой параши сидел тощий, бледный, рыжий с маленькой головой на тонкой шее в немецком солдатском кителе, босой. И совсем без вещей. Даже узелка не было. Двое молодых мародеров пытались отнять у него миску баланды. – У, гад, фашист, еще кормить его. Удавить надо. – Да он и так скоро подохнет. На хрена еще харчи на него переводить...

Он не пытался сопротивляться. а, когда я волею старосты вернул его миску, не благодарил. Некоторое время он держал ее на коленях и, казалось, не понимал, что делать; потом не поднял, а пригнулся и как-то по-собачьи начал лакать – не жадно, даже не торопливо, скорей флегматично.

Когда я спросил: кто, откуда? он долго не отвечал, смотрел невидяще. Я спрашивал все громче, – может, глухой.

– Да шо ты с ним говоришь, разве не видишь, он же псих, ненормальный.

–Придуривается, гитлер хитрожопый... Закатай ему в лоб по-советски... прочистит ухи.

– Как вас зовут? Вы солдат или унтер-офицер?

– Не солдат. Крестьянин.

Он назвал еще свою деревню, – какую-то та-та-та-дорф. Потом уже только повторял:

– Не солдат. Крестьянин. Кайн зольдат... бауэр. И дальше бормотал едва слышно и неразборчиво.

На утро он был мертв. Это заметили только, когда начали строиться на поверку.

И на второй день не было хлеба. И опять со двора доносились многоголосые выкрики "хлее-ба! хлееба!"

Когда второй раз носили баланду, все такую же мутно серую, вонявшую рогожей и тухлятиной, хлеба все не было.

В нашей углу возникла своя "брашка": молодой власовец, угрюмый, с большим тяжелым лбом, хромой дядя Яша, пожилой московский маляр, с прокуренными густыми соломенными усами. Рядовым ополченцем попал он в плен еще в октябре 41 года у Можайска, бежал, был у партизан в Белоруссии. Второй раз попал в плен с перебитой ногой, едва залечили, бежал опять. Немцы не думали, что хромой убежит, стерегли без особой оглядки. Он убежал в пути из станционной уборной, прятался у польских крестьян. Но для нашей контрразведки два побега – прямая улика. Раз не убили, позволили бежать, значит, завербованный, получил задание. – Признавайся лучше сам, какой дурак тебе поверит.

Инженер из Варшавы напряженно щурился, – он был очень близорук, а очки, разумеется, отняли, – и резко отличался ото всех нас неуловимо явственной благовоспитанностью

в движениях, в том, как сидел и как лежал, хотя был так же полугол и потен, как все. Он свободно говорил по-русски с певучими польскими интонациями. И со всеми был вежлив, невозмутимо спокоен.

Самый молодой из нас, – маленький большеголовый сержант-артиллерист был осужден за "самоволку с пьянкой и с паненками".

– Посчитали как дезертирство и впаяли восемь лет и еще три года поражения в правах. Не приняли во внимание, что ранетый дважды тяжело, а легко целых пять раз, и боевые награды имею, ордена и медали и благодарности лично от товарища Сталина. И на кажную благодарность удостоверение с его портретом, и за героическую победу на Курско-Орловской дуге и за взятие Минска и Варшавы.

Сержант должен был освободиться по амнистии. Он и верил и не верил, снова и снова спрашивал у всех и каждого:

– Так вы думаете, мне действительно на волю? А, может быть так, что тут в Бресте этом нет моего дела и никто не знает. В Москве – полная амнистия, а тут сиди без хлеба.

Кирилл, власовец и сержант на второй день стали есть баланду. Остальные не могли. За день жара и зловонная духота настолько подавляли голод, что мы только вечером начинали жевать. Все наши запасы лежали в одном мешке у меня в изголовьи и я раздавал бережно отмеренные куски быстро черствевших польских булок только в темноте. Ведь вокруг было столько голодных глаз. Когда пировали воры, люди угрюмо отворачивались или, напротив, жадно таращились, а те зычно обсуждали: "Ты сахарок то не жуй всухую, а то глотка залипнет. Положь, пока вода будет... Эх, вертух, ободрал гад на сменке, хлебушек-то черствый... А лепеху взял, сука, новенькую, полушерсть".

И на третье утро хлеба не было.

Вопли "хле-е-ба!" слышались теперь все чаще, все громче и протяжнее. И еще злее кричали с вышек часовые, иногда, впрочем, казалось, они кричат не со злостью, а с отчаянием. Чаще постукивали выстрелы...

В обед раздатчики баланды сказали: "Хлеба нет, потому что пекарня сгорела. Обещают с другой взять, но когда, неизвестно. Сегодня уже троих застрелил, кто с окон кричал. Двое малолеток насмерть, одного дядьку в больничку взяли, – в

грудь насквозь, но еще дышит."

В этот день уже и дядя Яша взял баланду. Инженер отхлебнул несколько глотков и отдал сержанту.

– Прошу, пожалуйста, не побрезговать, молодой человек.

– Да он скоро на воле жрать от пуза будет... Лучше б с кем другим поделились, пан инженер.

Лобастый власовец говорил тихо, но смотрел так бешено, что можно было представить: такой убьет, не моргнув.

– Это правда – он скоро уж выйдет, для того и должен иметь больше силы. А нам еще долго только лежать и ожидать..

Вечернюю поверку проводили в полутьме, светили большими фонарями, как у железнодорожников.

Ночью в окна бил слепящий, беднофиолетовый свет вертящихся прожекторов. Бил короткими ударами. В углах ближе к окнам оставались темные места, но стены и середина камеры то и дело освещались мертвенно-бледными полосами, в них громоздились темные угловатые кучи спящих людей, застывших или копошившихся в самых диковинных позах, скрюченных, будто сломанных. Одни спали тихо, другие сопели, кряхтели, храпели со свистом, стонали или бормотали во сне. Некоторые долго перешептывались или переругивались. Хриплое храпение вдруг прорывалось бредом – истошным криком, нечленораздельным воем, визгом, бранью или мольбами: "Ой, не буду! Ой, не убивайте!" "Стой, твою мать, стреляю!.." "Ма-а-а-ма!.."

В четвертую ночь я не мог уснуть из-за духоты, вони, удушливой жажды, – голода еще не испытывал, – из-за кислого, липкого пота, обжигавшего глаза, зудевшего по всему телу, из-за неотвязных мыслей: сколько это еще продлится? Неужели не выдержу, – заболею, умру?..

Ключ скрежетнул внезапно, как взрыв. Дверь приоткрылась. Полоска тусклого света.

– Старосту на двери! Получай хлеб!

Вся камера проснулась в одно мгновение. – Хлеб! хлеб! хлеб!

Галдеж нарастал веселый, нетерпеливый.

Из угла воров свист: – е-э хлебушек! – костылик!.. Па-

ечка кровная, законная... Давай, староста, давай, не чикайся! Бери помощников, чтоб скорее.

Иду к двери, шагая по мешкам, спинам, ногам. Позвал с собою Кирилла и сержанта, лобастый сам увязался за нами. Дядя Яша кричит вдогонку:

– Ты, гляди, майор, в камере темно, пайки воровать будут.

– Кто лишнюю пайку возьмет – смерть на месте, – это кричит Сашок. Другие воры подхватывают с надрывом: "За кровный костылик глотку вырвать... в параше топить". Их голоса все ближе к двери. Кто-то кричит: – Куда ступаешь, на живот?

– А ты подбери брюхо, падло, видишь – люди идут.

Кирилл шептал мне в затылок.

– Не подпускай шакалов к хлебу, не подпускай, Они наворуют, а тебя разорвут в клочья, слышишь, что делается.

Понимаю, что он прав, но что придумать? В камере уже не смолкает вой: "Давай, давай скорее..."

Вытискиваюсь сквозь узкую щель, дверь придерживают снаружи. Тяну за собой Кирилла, сержанта, лобастого... В коридоре четверо охранников и четверо раздатчиков хлеба. Две железные тележки вроде вокзальных багажных нагружены пайками до верха.

Чудесный кисловатый запах печеного хлеба. Прохладный железный пол под босыми ногами.

Старший охранник тычет мне две пайки.

– Ну, давай, начинай двумя руками, чтоб быстрее... и вы все... давай!

Там, в камере тьма, полосуемая лихорадочными ударами света. Но, если бы даже ясный день, – как уследить за передачей паек в толпе голодающих.

– Нет, не возьму. Так не возьму.

– Ты что, охреновел? Хлеба не возьмешь? Да я им скажу, они тебя самого враз схавают.

Из камеры вой, мат. Услышали нашу перебранку? Или уже дерутся за места поближе к двери?..

Я кричу во всю глотку.

– Хлеб возьму, но так, чтоб ни пайки не пропало. Вы слышите, что там делается? Вам, что мало одного мертвого? Хотите, чтоб тут завтра десяток трупов? Там же все голодные, одурели от голода, понимаете? Они поубивают друг друга.

Охранники растерянно переглядываются. Хорошо еще, что другим камерам уже роздали, но там везде поменьше народу, а наша карантинная, самая набитая. Кирилл и раздатчик поддерживают меня.

— Нельзя идти в толпу, во тьму с пайками.

— Так что ж делать? Если до утра ждать, они теперь еще хуже будут.

— Давайте так — выгоним всех из камеры, построим в коридоре. Будем впускать обратно и каждому давать его пайку. А мы все станем у тележек, отгородим.

Охранники шепчутся, потом старший говорит:

— Ну, гляди, староста, на твою голову!

Решение принято и сразу легче. Откатываем тележки. Кирилл, сержант и лобастый становятся впереди раздатчиков. Охранники уходят за решетку, замыкающую тупик, щелкает ключ — заперли; они боятся.

Я открываю двери и ору, сколько хватает крика: "Внимание!" Потом объясняю порядок раздачи хлеба. Большинство довольно. Сашок хвалит. "Молодчина наш староста майор", и воры вторят ему. Но слышны и недовольные голоса.

— А как же вещи? Мы пойдем, а вещи пропадут?

Ору матом:

— Выходи все, как есть, без всяких вещей... Кто останется в камере, будет без пайки!

— Тут больной старик, ходить не может... И тут больной.

В коридор вываливаются полуголые, босые, некоторые наспех натягивают одежонку, другие прижимают к голым телам сапоги, куртки. Мы с Кириллом выстраиваем их вдоль стены, у решетки, очередь загибается к противоположной стене. Охранники покрикивают:

— Не галди... не бегай... А то счас брантспоем охладим.

Я заглядываю в камеру: — Кто больной? Кто остался?

Два голоса, один старческий.

— Внимание! Сейчас начинаем раздачу. Первые пайки несу больным. Смотрите: беру две пайки.

...Молитвенная тишина. Даже воры молчат. Заношу пайки — одну к дальней стене, другую к середине камеры. Едва различаю лица и руки, хватающие хлеб. Возвращаюсь, а навстречу в темноте уже спотыкаются жующие, чавкающие, постанывающие...

В коридоре галдеж внезапно усилился. Новый шум, плеск, хлещет вода. Выталкиваюсь в дверь и сразу ступаю в прохладную лужу.

Угроза охранников надоумила одного из воров, — он заметил в стене пожарный кран и отвернул. Струя хлещет прямо на пол. Очередь сбилась, жажда сильнее голода. Все галдят весело, пьют из горстей, подставляют головы. Охранники ругаются, кричат: "закруты кран". Но и сами смеются. Полуголые мокрые люди скачут по лужам, молодой парень садится на мокрый пол, кричит весело, визгливо:

— Гаспа-а- да, пожалте в ванну! Морские купанья — польза для здоровья!

Некоторые выбегают обратно из камеры с кружками. Мы с Кириллом оттискиваем их к другой стене — пусть пройдет очередь с хлебом, потом будем запасаться водой.

Охранники зовут меня:

— Староста, закрывай кран. Кто открутил? Ты отвечать будешь!

Но ругаются и угрожают не сердито, для порядка. Они потешаются, глядя на диковинное зрелище, и довольны тем, что хлеб роздали быстрее, чем они рассчитывали. И теперь видно, что все же они крестьянские сыновья, — местные полещуки, — и уважают, даже чтут хлеб и знают, что такое голод, а сейчас поняли, увидели, что такое жажда.

Хлеб и вода — самые простые, незапамятно древние силы жизни. Хлеб и вода нам сейчас желаннее любых сокровищ. Это ночное празднество хлеба и воды осветило даже тусклые глаза тюремщиков. Хоть на полчаса, но осветило живым светом. И тупо равнодушные или грубые, злобные вертухаи на это время опять стали простыми хлопцами, способными пожалеть голодных и разделить чужую радость.

Двадцать четвертая глава

НЕМЕЦКИЙ КАЗАК ПЕТЯ-ВОЛОДЯ

В карантинной камере нас продержали неделю, потом развели небольшими группами по другим камерам.

Мы с Кириллом, дядя Яша, инженер и лобастый попали на первый этаж в следственно-пересылочную. Узкая длинная камера с одним окном; слева сплошные широкие нары; справа узкий стол, на нем тоже спят, когда не хватает нар. Над столом полки для мисок. После карантинной душегубки эта камера казалась нам чистой, просторной, тихой... Обитателей было десятка полтора, иногда немногим больше.

Несколько местных жителей — подследственные: угрюмые дядьки — то ли старосты, то ли полицаи, молодые парни — бендеровцы, обозный старшина, спьяну убивший пограничника; двое лейтенантов-отпускников, хулиганили на улице, избили патрульных; инженер-поляк числился "антисоветчиком". С нами вместе пришел один из блатных — тощий альбинос, безбровый, розовоглазый с туповато-удивленным взглядом, в мундире офицерского покроя, тонкого сукна, шитом по мерке, и в смушковой кубанке с голубым верхом и серебряным позументом. Надрывным тонким голосом он распевал блатные песни. От него я впервые услышал трогательную балладу о воре — сыне прокурора: "Бледной холодной луною был залит кладбищенский двор"... Он подробно рассказывал о том, как роскош-

но воровал в Венгрии, где был ординарцем у коменданта, и как завел себе там бабу шестидесяти лет.

– Она до миня, как до сынка родного, и кормила, и стирала, и давала, как молодая, а мине с ей интересней, чем с молодой, потому там все молодые с сифилисом...

Привели новых. Сутулый, длиннорукий, серо-белесый; мосластое лицо, выпученные глаза, настороженные, быстрые. Навязчиво разговорчив.

– Зовут счас Петей, но так в плену звали, а по-настоящему Володя... До войны работал в Астрахани в кооперации, заготовлял рыбу, а сам рожденный в деревне Отважное, тоже на Волге. Комсомолец был, член партии. В плен попал на Украине в мае 42-го, когда Тимошенко наступать задумал и две армии сразу накрылись. В плену стали отбирать по нациям. Ну, евреям, известно, сразу хана. Украинцам похоже, что льготы, берут в полицаи. Кавказским и другим нацменам тоже. Ходят ихние в немецких мундирах, отбирают. А русским, значит, припухай безо всего, ни хлеба, ни даже воды. Кто раненые, гнить начинают... Что будешь делать. Косить на украинца боюсь, хотя и фамилие мое Мордовченко, вроде украинское, но "балакать не можу", сам знаю, – пробовал, смеются. По-татарски только мат умею... Вдруг вижу: ходют в кубанках, мундиры немецкие, а лампасы красные и вызывают: "Казаки есть?" Тут я вспомнил, мой батя рассказывал, что он родом с кубанских казаков, я и вызвался. И станицу придумал какую сказать. Ездил в Краснодар в командировку и еще в Астрахани кореш был у меня кубанец, от него имел разные данные. А память у меня, дай Бог...

Петя-Володя стал немецким казаком. Он уверял, что ни в каких боях не участвовал, только "выучился на лейтенанта" и "стоял в гарнизонах" в Польше...

Говорил он подолгу, неумолчно. Больше всего рассказывал о пьянках, о драках, о паненках и о немках, с которыми спал, когда уже весной 45 года пристроился в обоз гвардейской дивизии.

–Не сказал я, что был в немецких казаках, косил на простого пленного. Мечтал так: будут заслуги, ордена, тогда и скажу. Но тут меня один гад признал и, значит, – пожалуйте брить-

ся. Ну, я не стал темнить, сразу раскололся и всех заложил, кого помнил. А я нарочно запоминал. Я всегда знал: есть вина перед родиной, надо будет искупать. Как патриот, ничего и никого не пожалею. Мне следователь-майор сказал: "раскалывайся, как говорится, до жопы, и родина будет иметь к тебе снисхождение". И я кололся на совесть. В полевой тюрьме сидел в Кюстрине, вижу, раз на дворе бабу – красючка! В лицо сразу признал, а кто такая не вспомню, но только знаю: в Германии видел... Ночь не сплю, переживаю, хочу вспомнить. Прошусь к следователю. Гражданин майор, так и так, видел во дворе, рассказываю, значит, какая личность, – помню, что-то при ней важное есть... Не помню, что и как, но только знаю, что важное; ну, вот сердцем, всеми потрохами знаю, что важное, мне бы только напомнить, как зовут или где видел.

Следователь-майор, голова-мужик, устраивает мне с ней встречу, вроде нечаянно, на дворе, воколе бани. Я сразу к ней с видом, что признал, но так втихаря: "Здравствуй, деточка, значит, и тебя замели". Она смотрит, бледнеет вся и прямо глазами дает. – Ты, говорит, не продавай меня, я здесь пишусь Нина. – А я все не вспомню, как же ее звать всамделе. Она говорит: – Я считаюсь остарбайтер, никто не знает. – Ишь, ты, японский бог, думаю, кто ж ты все-таки такая. Но смотрю нахально и с подвохом спрашиваю: – Ну, а как другие все и твой главный?.. Она шепотом: – Так они ж тогда еще подались в Баварию, к американцам, а Вася убитый... – Тут меня, как молонья по темени. Ведь это же Людка – жена Васьки оберлейтенанта из разведшколы типа "Ц" – высший класс. – И сама верняк, тоже классная шпиёнка. Наш эскадрон ихнюю школу охранял в Восточной Пруссии, там у них отделение было, а другое отделение, – и вроде как главное, – в Баварии. Тогда эта Людка фигуряла в шелках, в лакировочках на рюмочках... Наши казаки просто дохли за ней... Ну, а этот Вася, – она с нём как жена была, – у немцев оберлейтенанта имел, железный крест; говорили, аж в Москву с парашютом забрасывался и обратно через фронт переходил сколько раз.

Как я это вспомнил, сразу так обрадовался, аж смеяться хочется, держаться не могу, но стараюсь и спрашиваю: – А ты, что, значит, у американцев так и не была, тебя еще абвер послал? Она баба чуткая, видит, я вроде не в себе...

– Что ты, что ты, я же не такая, – и чуть не плачет, –

— не продавай меня, — просит, — я тебя как схочешь поблагодарю...

Ну, тут я уже напрямки; нет, говорю, это ты блядища родину продавала, и она тебя виселицей поблагодарит.

Так она, поверите, сразу другая, глаза, как у волчицы зыркают и матом, матом, и мне прямо в морду когтями... Кричит: ”Он меня снасильничать хочет”.

Только это уж бортиком. Мне сам следователь майор встречу устроил. Я ему тут же все доложил. Он дал бумагу ручку трофейную, пиши собственноручно, это как высшее доверие. Тебя родина оценит. Потом он еще посылал меня в командировку в фильтрационные лагеря. И там я признал кой-кого. И казачков, и власовцев, которых встречал раньше, и полицаев. И просто так, значит, слушал и смотрел, кто чем дышит. Обещали меня пустить сразу. Трибунал судить не стал, однако, вот передали на ОСО. Ну, как считаете, заслужил я перед родиной?

Рассказывая о ком-нибудь, он обязательно замечал — ”культурный” или ”не шибко культурный... культурки не хватает, говорит по-деревенски”. Петя-Володя был непоколебимо уверен в своей культурности, громко, решительно поправлял не только своих собеседников, но иногда и говоривших в другом углу камеры.

— Эх ты, деревня, ”з йим”!.. Так нельзя говорить. Некультурно. Неграмотно. Надо: ”с нём”... не ”ихие”, а ”ихние”, не ”ездют”, а ”ездиют”. Знать надо русский язык, если по-русски лопочешь. Кто сказал, что я неправ? А по-вашему как? Иначе надо?.. Ну, это уже интелихентские выдумки. Или, может, это у вас в вашем районе так говорят? Вы сами с Украины, у вас там своя наречия. А я лично с Волги, у нас русский язык самый что ни есть правильный. У меня сосед был, мы с нём в гражданке в Астрахани в одной квартере жили, по выходным дням на рыбалку вместе ездили. Он Саратовский университет кончил, философский диплом имел. Он все науки знал доскончательно, так он сколько раз авторитетно объяснял, а по радиво я сам лично слышал это у нас на Волге именно говорят на абсолютном русском языке. Нигде нет лучше... А разве у поляков свой язык? У них, как у хохлов, испорченный русский: пше-пши-пше-прошу пана. И музыки у них своей нет, а вроде русская или вроде немецкая... Нет у поляков ничего

своего...

Возражения он слушал недоверчиво, нарочито скучающе или презрительно смотрел в сторону.

— Так... Так, значит, по-вашему, по интелихентскому получается, что поляки лучше русских... Извиняюсь, майор, очень извиняюсь, но вы все-таки не русский человек и значит потому так рассуждаете. А мне лично говорил один доцент из Москвы — мы с нём вместе призывались и потом он в нашем полку переводчиком был — это во всем мире признают, что русский язык есть самый лучший, самый культурный и поэтому самый трудный для иностранцев. Мы ихние языки можем изучить вполне досконачательно, а они наш только с акцентом. Вот так оно и есть, а украинский, польский или там чешский это просто испорченный русский, их всех там немцы угнетали или турки, вот у них язык и портился...

Я, знаете, за свой патриотизм готов горло рвать. У нас в КПЗ в Кюстрине был один жлоб... капитан или вроде, и тоже из пленных. Стал мне доказывать, что у немцев обмундирование лучше нашего, такой ведь гад — говорит, у них суконное, а у нас — хабэ, у них на всех сапоги с кожи, а у нас кирза или даже обмотки... Я с нём спорил и так расстроился, чуть не плачу, слабый был, оголодал, но хоть пошкарябал ему поганую морду кохтями...

Приятель Пети-Володи чернявый Андрей, бывший парашютист-диверсант с первых дней войны был в плену в Румынии.

— Сбросили нас дуриком рвать мосты на Серете, а румыны нас, как тех курчат и побрали...

В плену он жил неплохо. Работал на фабриках, у бояр "по хозяйству" и в гаражах... "Я все могу и на поле и в майстерне, и столярить, и слесарить". Андрей рассказывал, что неплохо зарабатывал, был сыт, одет, пил вино и даже ходил в публичные дома. Охотнее всего рассказывал именно об этом, подробно, смачно... Петю-Володю он явно побаивался. Восторженно или почтительно слушая его рассуждения, он только приговаривал: "Ох, ты ж какой, ну канешно... И все он знает... Ото-такочки так..."

Однажды они поссорились. Андрей, багровый, скалился:

— Ты же ж Юда, ты , всих продавав... Ты ж твою Раси-ию,— издевательски врастяжку, — нимцям продавав, козак сра-

ный... А потом своих казаков смершу продавав... Ты ж всех продашь, ты отца-матерь продашь за баланду...

Петя-Володя побледнел, глаза стали еще круглее и выпученнее, он что-то шептал зло, скороговоркой, а потом заговорил громко:

– Не продавал, а долг, понимаешь, долг выполнял, долг советского гражданина, лейтенанта Красной Армии, вот придем мы с тобой, станем вот так рядком, – он зло вцепился в локоть Андрея левой рукой, а правую картинно поднял кверху, к воображаемой трибуне,– и все расскажем по совести, все как есть, разберитесь, граждане судьи, граждане чекисты. Как думаешь, кто будет прав, про кого скажут, продавал?..

Андрей скрежетнул зубами, вырвался. Но замолчал. А через час они опять мирно судачили в своем углу на нарах.

Неприятны были оба. Но Петя-Володя внушал мне еще и гадливый страх, как ядовитое насекомое. Вдруг донесет, – наврет чего-нибудь, а его дружки подтвердят, и тогда местные брестские власти, – о них мы в тюрьме узнали достаточно, – сразу "намотают" дело.

Вокруг него возникла "брашка": блатной франт и еще несколько молодых парней. Особенно выделялся один – светлое мальчишечье лицо затемнял тяжелый свинцовый взгляд. Он был молчалив и только один раз внезапно заговорил. Арестанты из местных получали передачи; половину от каждой отдавали для камеры; я был старостой и делил поровну между всеми, кто вообще не получал передач. Компания Пети-Володи требовала делить всю передачу так, чтобы сам получатель имел только чуть большую долю. И делить не поровну, а чтоб "своим" побольше. Когда я с идиотическим упорством начал толковать про справедливость и человечность, молчаливый красавчик вдруг вскочил, мертвые глаза оживились ненавистью:

– Шо ты их жалеишь, майор, шо ты жалеишь? Они тебя не пожалеют. Они нас, знаешь, как жалели. Пулями жалели... иху мать! Прикладами жалели... иху мать! Собаками жалели... Плетками жалели... иху бога мать... Ты их не жалей!

Петя-Володя немедленно поддержал его:

– Вот-вот, и я вам то же говорил... Надо понимать, кто человек, кто советский русский человек, может и виноватый, но свой, а кто гад, враг народа, фашист и с нём нам не жить и правов не качать, а давить его надо... вот, майор, хоть вы и офицер,

а у народа вам еще надо учиться...

Чувствуя поддержку, он становился наглым – два или три раза его вызывали из камеры, он возвращался через час-полтора с цигаркой в зубах горстью махорки в кармане.

– Опер вызывал по моему делу... все запросы идуть... давай, дополнительно объясняй...

Все знали, что в пересыльных тюрьмах никакого следственного отдела не может быть, что ходил он стучать. Значительно позднее, уже в лагере, я узнал, что самое правильное обращение со стукачом – это публичный разрыв, чтобы видели и знали все, в том числе и другие стукачи. Только это могло ослабить и даже вовсе обесценить силу его показаний против "личного врага". Но тогда я только мучительно размышлял, не зная, как быть, как себя вести. Я старался избегать разговоров с ним. Но это было не просто в тесной камере: 16 шагов вдоль и 1,5 шага поперек, от стола до нар. А сутки, часы и минуты тянулись нестерпимо, до отчаяния медленно. Утром: подъем, поверка, вынос параши, получение кипятка и пайки, днем – баланда, вечером – кипяток, вынос параши, поверка, отбой; ночью изнуряюще тяжелое засыпание в зловонной клопиной духоте, потно влажной, кишащей хрипами, храпами, стонами, сонным бормотанием, всяческими шепотами – шепотом перебранок, шепотом молитв, приглушенным похабным похохатыванием, и взрывающейся внезапными воплями кошмаров.

Разнообразие вносили только еженедельная баня с прожаркой и "клопиные авралы", изредка передачи и появление новеньких. Чаще всего это были бендеровцы и мелкое жулье.

Я старался держаться подальше от Пети-Володи, холодел от омерзения, когда он приближался и вмешивался в разговор. Старался отвечать ему покороче, но не обрывал, не ссорился. А когда он великолепным жестом протягивал щепоть махорки: "На, майор, закуривай", я принимал. Никогда ничего не просил у него, но не отказывался, – и не только потому, что мучительно хотелось курить, – но и потому, что боялся обидеть, разозлить.

Однажды все-таки не выдержал. Посреди какого-то пустяшного спора, – видимо, именно потому, что повод был какой-то ничтожнейший, идиотский, я ударил его, а потом сам свалился в нервном припадке. Произошло это уже в другой

камере. Шел второй месяц тоскливого удушливого голодания в грязной, смрадной тюрьме. Снаружи Брестская тюрьма выглядела нарядно, полированные красно-черные стены. Внутри коридоры с прозрачными крышами, просторные, светлые, как на корабле, надраенные до блеска железные перильца узких галерей и лестниц, и голубоватые проволочные сетки между этажами, одуряюще аппетитно пахло то прелой перловой, то прокисшей пшенной баландой. А в камерах стоял неослабно парашный аммиачно-хлорный смрад, вонь от клопов и грязного пота. И это был не текучий рабочий пот, а тухлые испарения бездельных, голодных тел... Когда нас вызвали "с вещами"мы шли весело — надеялись в этап, в лагерь. Оказалось, в другую камеру. Чуть просторнее, на втором этаже... Снова разочарование, и тем более жестокое, что все понимали — значит еще долго оставаться, ведь не будут переводить в новую камеру ни на день ни на неделю. Несколько дней почти не было курева. Новые сокамерники уже почти израсходовали или крепко "зажали" остатки последних передач...

Из-за всего этого я и потерял на мгновение власть над собой, сорвал засов, которым запер себя с первых дней. Ослепленный внезапной багровой яростью, я ударил Петю-Володю в рыбьи злые глаза. Нас растащили, и я сразу же смертельно испугался — вот теперь он настучит, напридумает; а здесь вокруг ни друзей, ни знакомых, Значит, новое следствие и верное осуждение. Одеревянел затылок, глотку перехватило судорогой — вот, вот зареву, не удержу постыдных слез отчаяния, страха, злой жалости к себе...

Припадок был наполовину настоящий, наполовину симулированный, — я бился головой и плечами о грязный асфальтный пол, колотил приближавшихся руками и ногами. Пусть думают, что псих, пусть видят, что на всех бросаюсь. Бил и себя с настоящей злостью. Не удержался, идиот!

На следующий день меня перевели в слабосилку — в камеру, где кроме обычной баланды, в обед полагалось еще "второе" — ложка каши, с утра выдавали по 9 грамм сахара и хлеба на 100 грамм больше, т.е. 500. И к тому же водили на прогулку на 20 минут. (В прежних камерах сахара вовсе не полагалось, а гулять выводили только раз в неделю.) Первые дни я был сыт.

А через несколько дней туда же привели Петю-Володю.

Он поздоровался как ни в чем не бывало. После этого я уже не сомневался, что его ко мне приставили, и решил симулировать полную меланхолию, молчал, не вступал ни с кем в разговоры: лежал на нарах, укрывшись с головой. Так прошел день-другой, потом я попросился к врачу.

В санчасти принимала толстая смуглая молодая врачиха. На груди "Красная звезда" и партизанская медаль... Она рассматривала меня с брезгливым недоверчивым любопытством, а я упрашивал ее отправить меня работать – говорят, при тюрьме есть подсобное хозяйство.

– Там положено работать только осужденным, а вы следст венный, подождите, скоро этапируют в лагерь.

– Но в камере я сойду с ума, у меня уже кошмары, переведите меня обратно в общую...

Перевели... На прощанье Петя-Володя, который и в этой камере обзавелся дружками, догадываясь, что я боюсь его, стал уговаривать меня "подарить"ему шинель. Я отпихнул его, вроде нечаянно, но чтоб "почувствовал".Он сказал вдогонку: "Ладно... еще увидимся"...

Через два дня был этап в лагерь. И снова я встретился с ним, сперва в этапной камере, а потом в столыпинском вагоне.

Двадцать пятая глава

В ЭТАПЕ

Несколько сот заключенных погрузили в полдюжины "вагонзаков" или "столыпинских" вагонов. Столыпинский вагон переоборудован из обычного пассажирского. Окна оставлены только с одной стороны и затянуты железной сеткой поверх грязно-матовых стекол. По другую сторону узкого прохода купе-камеры вовсе без окон, забраны до самого верху решеткой из толстых стальных прутьев. В такой камере внизу две скамьи, во втором ярусе – нары с проемом-лазом, а на третьем еще две полки. Всего семь-восемь лежачих мест. В Бресте погрузили по десять -двенадцать человек в одну камеру. До Орла мы ехали сутки. По городу шли пешком, длинной грязносерой толпой. Улицы тянулись между развалинами, пепелищами, рыже-бурыми, кое-где поросшими жидкой пыльной зеленью; остовы домов торчали пустоглазые, закопченные.

В тюремном дворе было тоже много разрушенных зданий, но уже бодро краснели новые кирпичные стены и топорщились желтые доски строительных лесов. Пересыльные камеры прославленного орловского централа – старинные, темные, с деревянными полами и печами; прогулочный дворик – тесный дощатый загон. Кормили нас жидкой баландой из старой капусты со слабыми следами нечищенной картошки... Так прошло десять дней. Потом опять зеленый подслеповатый вагон. В купе сначала теснились десять-двенадцать человек, но по дороге подсаживали все новых. Часто и подолгу стояли; вагон то отцепляли, то опять прицепляли, перекатывали с путей на путь.

В Орле выдали дорожный паек на трое суток: хлеб и гороховый концентрат насыпью – сухая зеленая, плотно слежавшаяся мука, остро пахучая, соленая с перцем. Рот и гортань стягивало наждачной сухостью. Воду выдавали только два раза

в сутки. Часовой подносил ведро.

— Черпай, у кого чем есть... Хоть консервной банкой, хоть пилоткой.

Удушливая теснота. Удушливая жажда. Удушливая вонь. Все время слышны униженные мольбы:

— Начальничек, водички... Гражданин боец, дорогой, ну, пожалуйста, глотка спеклась... Во-о-дички!

В уборную выводили два раза в сутки. С разных сторон слышалось: — Начальник, оправиться... Пустите, ради Бога, оправиться... Миленький гражданин конвой, пусти отлить, невтерпеж!.. Эй, начальник, пусти в туалет, а то в коридор напущу...

После Орла в нашем купе на втором и третьем этажах разместились четверо: капитан Петр Д., неотвязный Петя-Володя, учитель из Бреста Герман Иванович и я; а внизу сидели несколько "западников", т.е. украинцы и поляки. По пути к нам втиснули четырех соотечественников — блатных. Старший, Федя Нос, лет под сорок — сразу же залез к нам наверх. Трое остались внизу: молчаливый, угрюмый Алик, двадцатилетний паренек, он мог бы казаться ребячески-миловидным, если бы не тусклые холодные глаза. Его "кореш" Коля был разговорчивее и суетливее; мальчишеское лицо все из грязных складок. Четвертого называли "малолеткой" или "шкетом"; прыщавый, грязный, не старше двенадцати-тринадцати лет; он забрался под нижнюю лавку.

Федя был приветлив, общителен, держал себя с нами как старый знакомый, угощал махоркой и в первый же час начал рассказывать, как "отрывался" из дальневосточных лагерей в 1937 году, когда "от пятьдесят восьмой уже бараки пухли". Он с двумя партнерами шел по тайге почти три недели.

— Оголодали, встретили корейчонка, годов двенадцати, вот как наш малолетка. Зарезали. Зажарили. Ничего, хавать можно. Тощой только. Но от пуза похавали. Правда, один из нас потом приболел малость. Блевал. Но это потому, что не стерпел, еще сырого начал рубать.

Алик и Коля внизу вполголоса зубрили анкету. Алик ехал "подменой". Сам он был осужден на год, но когда вызывали в этап, обменялся именем с другим вором, осужденным на десять лет. Он должен был сохранить его имя до конца сво-

его собственного настоящего срока, и приз – наваться, когда сменщик с его именем уйдет на волю. За это ему грозил в худшем случае еще год, как соучастнику мошенничества. Но анкета ему досталась трудная, не менее полдюжины фамилий: ”Петров он же Семихин, он же Артеменко, он же Николаев, он же Хромченко, он же Абдулаев” и т.д. И год рождения был явно не по возрасту – старше лет на десять.

Федя объяснил нам, что такое воровской закон и как надо уметь жить в лагерях. Он уверял, что, как честный вор, уважает нас, вояк. Он с особым удовольствием величал нас ”капитан”, ”лейтенант”, ”майор”, участливо расспрашивал о делах.

Капитана Д. в начале 1944 года с большой группой парашютистов-диверсантов и разведчиков забросили в Восточную Пруссию. То ли штурман случайно ошибся, то ли в месте заброса неожиданно оказались немецкие солдаты, но приземлившихся парашютистов сразу же обстреляли. Ему и еще двоим удалось скрыться в лесу и унести с собой одну рацию. Они установили связи с фронтовой разведкой, передали несколько донесений (что высмотрели на дорогах). Рация оставалась без питания, все запасы были брошены в первую ночь. Они радировали, настойчиво просили, штаб обещал, но не присылал. Пришлось выходить на большую дорогу, охотиться на одиночные машины, добывать аккумуляторы. Тогда и за ними стали охотиться. Он был ранен легко, в мякоть бедра, но рана загноилась. Лихорадило. Его оставили в домике у старого лесника, которому сказали, что они бежали из лагеря военнопленных и пригрозили, если выдаст больного товарища, то скоро придут наши, страшно отомстят. Лесник божился, что будет молчать. Но жандармы, видимо, сами напали на след, знали, кого ищут. Некоторые из группы, захваченные при посадке, уже раскололись. Они же опознали своего командира.

Капитан уверял, будто ему присвоили звание Героя Советского Союза, считая, что посмертно и что ему об этом сказал следователь. Позднее, уже в лагере, его скоро освободили – применили амнистию. Я получил от него открытку из Алма-Аты: „Сообщаю, что вернулся к прежней жизни и прежней работе”.

Петя-Володя сразу же начал подлаживаться к блатным, ”косил на полуцвет”. Однако, старался дружить и с капитаном

и со мной. В этапе я уже меньше боялся его – кому он мог настучать?

Моим ближайшим приятелем еще в Бресте стал Герман Иванович – тихий, бледный, с трудом ходивший из-за ревматизма. В брестской русской гимназии он преподавал русскую словесность и историю польской литературы. Арестовали его за то, что, когда гимназию закрыли, он работал при немцах в городской больнице статистиком и переводчиком. Он иногда рассказывал нам сочиненные им романы из заграничной жизни. Вполголоса, монотонно и неутомимо повествовал он о любовных похождениях бедных, но благородных немецких или французских юношей, чаще всего они кончались печально: самоубийством, кончиной от чахотки или героической смертью при спасении погибающих в океане, либо на пожаре...

Под нами сидели, теснились на скамьях, крючились на полу "западники", тоже ехавшие из Бреста. Угрюмый плечистый старик Герасим – бывший царский "фитьфебель", при немцах был сельским старостой. Трое жителей из одного местечка – механик Ивацук, учитель Петро Семенович, плотник Иван были арестованы как члены подпольной бендеровской организации "Союз волков". Такой организации никогда не существовало. По их словам, все придумал бывший гимназист Стась. Он тоже ехал с нами. Ивацук и Петро Семенович рассказывали, – Иван только поддакивал, – этот Стась был в местечке полицаем, "застрелив двух евреев и одного русского пленного... через это боявся шибеницы* и чтоб заробить себе ласку от НКВД, придумав той союз волков и нас, своих суседов, загнал в Сибирь, пся крев, ошуканец проклятый". Когда Стася привели в пересыльную камеру, они набросились на него, ругали, досталось ему и несколько плюх... Широколицый, с тонким длинным носом и глубоко посаженными глазами, он жалостно хныкал, божился, что никого не убивал, ничего не придумывал.

–...То пан следователь мне бил, так бил, просто в тваж, и палкой по глове, по плечах, по ренках и в бжухо копав чоботьми. –Так больно бил, что Стась только "плакав и все подписав"...

---

*шибеница – виселица.

Стась и в камере жил под нарами и в вагоне залез под лавку. Полицая и предателя презирали все. А он подобострастно уступал всем, особенно своим "однодельцам". Но когда в камере делили хлеб и раздавали баланду, он перерождался, смотрел напряженно, краснел, потел, глаза темнели от сдерживаемой злой жадности. Иногда он взрывался.

– Для чего тому пану так генсто, а мне одна юшка. Я теж глодный.

Однажды ему показалось, что у него пропала сорочка.

– Нова кошуля, зовсим нова кошуля. Матуся прислала.

Он по крысиному щерил мелкие, острые зубы, повторяя визгливо: "нова кошуля". На миг стало очевидно – хоть сейчас убьет или предаст на смерть.

Но каждый вечер перед сном, и в камере и в вагоне, он становился на колени, закрывал глаза и начинал молиться... Молился шепотом, всхлипывая, с неподдельным самозабвением. Молился подолгу, сжимая руки перед грудью так, что белели косточки. А лицо как бы разжималось, розовело, становилось по-детски беззащитным, доверчивым, даже красивым. После молитвы он уже ни с кем не разговаривал, заползал в свою щель. По ночам иногда кричал во сне пронзительно: "ой, не буду, не буду! Ой, не убивайте, паночку, ой, не убивайте!"

Алик и Коля вскоре начали "проверять" вещи своих соседей. И тогда широкий, как медведь, Герасим, хваставший, что имел трех Георгиев, как самый геройский пластун-разведчик, Иващук – задира и матершинник, уверявший, что "ничого и никого не боявси", жадный Стась, бережно паковавший любую тряпку, подбиравший все крошки, и спокойный задумчивый Петро Семенович, и плечистый Иван и двое долговязых полещуков – настоящих бендеровцев, и молчаливый высокомерный инженер из Варшавы – все покорились безропотно двум мальчишкам, которые их начали "курочить" – грабить. Впрочем, у инженера нечего было взять, он так же, как и мы, вояки, путешествовал без багажа.

Иващук поначалу попытался было возразить: "это же мой мешок... чего ты до него лезешь... ты туда ничего не клав".

Алик коротко ткнул его в кадык: – Не дыши, падло.

И пока тот прокашливался, утирая слезы, Алик и мало-

летка деловито потрошили другие мешки и чемоданы, а Коля почти ласково объяснял:

– Вы, мужики, имейте понятие. Нам же это положено... А вы зато вместе с людями покушаете и покурите. Это ж только, кто падло, кто гад ползучий, зажимает такие вантажи, ну, то есть, кустюмы, рубашечки-бобочки, когда за их можно иметь и хлебушка, и табачку. Ну, на што тебе в лагере эта лепеха, то есть пиджак. Все равно ж отнимуть. А ты еще с голоду поплывешь доходягой, а тут пульнешь лепеху за костылик, за хлебушко. И жить можно. А там начальничек и оденет и обует. Святая правда, в лагере голый не будешь.

Когда я сверху услышал возню и спросил, что там происходит, Федя-Нос доверительно улыбнулся:

– Это их личные дела. Вы не мешайтесь, майор. Верьте мне, не надо. Я уж двадцать лет по тюрьмам и лагерям... Хотите живым быть, так думайте только за себя, ну, там еще за партнера, за кореша можно. А эти сидорполикарпычи вам кто? Они б вас самого без соли схавали. Я этих гадов знаю. За тряпку убьют человека, за кусок сала душу вытянут. Вот вы, фронтовики, вояки, а разве они вас жалели, что вы голодаете и ничего кроме шинелек не имеете?

Капитан и Петя-Володя поддержали.

– Правильно, что ты их жалеть будешь, кулаков, буржуев. Ты, майор, не лезь. Вот мы солдаты, ну еще Герман Иванович, как хороший русский человек, и твой кореш – мы одна компания. А эти же вправду волки. Ты смотри, какие у них сидоры, полные, сухари и сало, так они разве когда поделились. А это свои ребята, они по-советски, по-честному все поделят.

– Вот это правильно, точно. – Федя-Нос еще долго объяснял, как благородны и бескорыстны воровские нравы. – Мы не зажимаем, не заначиваем харчей, если рядом голодный. Пока есть – рубай-хавай. А завтра – даст Бог день, даст и пищу. И барахла не жалеем, как барыги Хоть какой там костюм – бостон или пальто-коверкот, пойдет за буханку хлеба, за жменю махорки.

Герман Иванович, получая в Бресте передачи, всегда угощал нас. Теперь он шептал мне:

– А знаете, ведь это даже справедливо. Эти бендеровцы и полицаи нас с вами зарезали бы, если бы только могли. А уж поделиться с голодным – никогда. Я их знаю, всю жизнь про-

жил рядом. Они – страшная публика. Жадные, скупые, русских и поляков ненавидят, а уж про евреев и говорить нечего, они их убивали и продавали – первые помощники немцам были. И советская власть им, как черту ладан...

Снизу доносились подавленные вздохи и слезливый шепот:

– Ой, Алик, миленький, Коля, послухайте, это ж последняя пара кальсон, они латаные... Ой, не забирайте хоть этот кусочек. Мне ж дохтур велел, я без сала помру...

Петя-Володя и Федя-Нос лежали, свесив головы в проем нар. Федя изредка командовал, а Володька торжествующе хихикал и оглашал "сводки с комментариями".

– Сала два, нет, три куска – кил на шесть потянет... От, Герасим, хрен восемь на семь... Сухарики белые!.. Это хорошо в зубах поковырять сухариком... Ах ты, бендера сучья, жалился, ему пайки мало, а какие сухари зажал... прохаря хромовые! Ах ты, полицейская морда, в лагерь, как на парад ехает... Сахарок, сахарок!.. Кила два будет... Ай да пан Иващук, а еще косил на доходягу!..

Алик и Коля передавали наверх трофеи. Федя-Нос этаким хлебосольным барином одаривал нас всех, быстро кромсал сало, отсыпал сахар – и мы ели. Было стыдно до тошноты. Но разве лучше, если все сожрут сами блатняки? А те чего прятали? Зачем скулили, прибеднялись? И как за них заступаться, если они трусливо, безропотно уступают? Голод, ослабленный было духотой, жаждой, подавляемый сознанием, – до завтра, до новой пайки ждать нечего, – при виде розоватого сала и рыжих пшеничных сухарей начинал больно саднить в животе, душить, сжимать гортань, рот...

И я впивался в кусок сала, подаренный вором, впивался зубами, губами, языком. Приказывал себе не спешить, откусывать мельче, длить блаженство. И сухарь сначала облизывал, обсасывал, пока не станет мягче и обгрызал осторожно, чтоб не терять крошек.

Снизу в проеме широкое, плоское лицо Герасима, мокрое от пота и слез, грязно седая щетина побелела.

– Люди добрые, дайте ж и мне хоть кусочек сала покуштовать.

Петя-Володя насмешливо поучал.

– Что ж ты, георгиевский кавалер, фитьфебель такое

ховал. Вот сам от себя и сховал.

Это страшно трудно – оторвать кусок от чужого ворованного сала и бросить владельцу. Страшно трудно. Но отрываю и даю. И Герман Иванович отрывает и дает. Герасим бормочет – спасибоньки, спасибоньки и смотрит на нас колюче ненавидяще. А на Федю-Носа, который только щелкает его не сильно по низкому лбу под седым ежиком, таращится подобострастно. Федя командует:

– Исчезни сидор-поликарпович. Не порть людям аппетит. А ты, майор, понимай: хай он подохнет сегодня, а мы завтра. Вот это значит жизнь.

До Горького мы ехали почти неделю. Подолгу стояли где-то возле Москвы и в самой Москве.

Наверху мы впятером жили просторно. Герман Иванович прилежно "тискал" сентиментальные романы. Иногда я сменял его, рассказывая эпизоды из русской истории или приключения Шерлока Холмса и патера Брауна.

Внизу на скамьях и под скамьями теснились человек десять, а то и двенадцать. Количество менялось. Одних уводили, других приводили. Конвоиры иногда пересаживали арестантов в другие камеры. Выводили на оправку, а потом по ошибке загоняли к соседям, либо вдруг "жалели" – вот ты и ты, давай, выходи, подыши. Делалось это для того, чтобы Алик, Коля и малолетка и их коллеги в других купе могли спокойно "проверять" вещи. Когда они просили: "начальничек, оправиться", их пускали вне всякой очереди и они забирали с собой добытые из чужих чемоданов брюки, пиджаки, белье и возвращались с хлебом, воблой, махоркой. Объясняли: – вот конвоиры по-человечески пожалели и выменяли на станции. Но хлеб был точно такой же, как те пайки, которые мы получали по утрам, не взвешенные, разнокалиберные. И вобла была такая же, как нам выдавали после Москвы.

Начальник конвоя, румяный розовомордый лейтенант в скрипучих сапогах, похаживал по коридору. Он распоряжался уверенным баском и время от времени приговаривал, наслаждаясь своим голосом и остроумием: "я научу вас свободу любить!".

В одном или двух купе ехали женщины. Когда "воровай-

ки” начали ”проверять” и ”курочить” спутниц, среди них нашлись голосистые бабы, материвщиеся пронзительными базарными голосами:

– Грабют... конвой, гады, чего смотрите? Мы жалиться будем. Грабют, сучки. Ты не лезь мне в глаза – это мои сухари, тебе не дам. Убью суку, а не дам ни крохи...

Коля яростно честил гадюк, фашисток, зажимал. Он и еще несколько таких же горластых из соседних камер заступались за своих подруг.

Конвоиры, гремя ключами, вытаскивали кого-то сначала из одного купе, потом из другого.

Женский голос умоляюще визгливо:

– Ой, начальничек, ой, миленький, то не я, ей-Богу, не я, чтоб мне деток моих не видеть... Ой, не бейте.

Жирный голос лейтенанта: ”я научу вас свободу любить”.

В другом конце скулил гнусавый мальчишка: – за что меня, за что меня? Гражданин начальник, я ж ничего не брал Гражданин начальник... ой, не бейте, ой, не буду... ой, ребра сломал... Ой, ой, ой! – Крик взвивался, захлебывался...

Голос лейтенанта лениво, привычно.

– Не нравится, падло? Я научу вас свободу любить.

Из всех купе разноголосо кричали:

– Не бейте мальчишку, гады. Пожалейте баб, палачи. Это беззаконие... Жандармы долбаные... Так его, паршивца, дай ему жизни, начальничек!.. Под охраной грабют. Нажрали морды, паразиты!.. Не смейте бить, мерзавцы... Сталину писать будем... Отбей-ка ему потроха, чтоб не воровал больше.

Орали и в нашем купе. Громче всех Алик и Колька, исступленно матерясь. Но тут и я был с ними солидарен, конвойные избивали беззащитных. Кричал что-то вроде: – Вы кто, советские люди или жандармы? Вы позорите свои мундиры! Не смейте бить!

Конвойные бегали по проходу, колотя ключами по решеткам камер.

– Тихо!..Молчать!.. свяжем... никого в уборную не пустим... Кто орет – в наручники... Вашу мать!.. мать!..мать!..

Лейтенант прохаживался неторопливо. Поезд шел полным ходом. Крики его не пугали:

– Кто еще голос подаст – в наручники. И до конца без туалета. Делай под себя и пусть другие радуются. Я научу вас

свободу любить...

Наконец приехали.

— Давай выходи, пулей вылетай! Не копаться! Шаг в сторону — считаю побег. — Огонь без предупреждения. — Выходи и садись! Не разговаривай! Сразу садись! Не оборачивайся! Не зыркай по сторонам! Гляди под ноги!..

Выходим из вагона и тут же, между рельсами, садимся плотной кучей прямо на землю.

Мы у самого вокзала. В нескольких шагах перрон. Там — свободные люди. Слышны голоса, — женские, детские, — смех. Вольные люди смеются. Они приезжают, уезжают. Идут и едут, куда хотят.

— Не сидеть на мешках! Не торчи! Садись рядом! Не гляди! Жмись до кучи!

Это негромко покрикивают наши вагонные конвоиры. Новые тюремные еще только принимают этап. Они стоят в стороне, тыловые солдаты в мятых, второго срока гимнастерках, в пыльных кирзовых сапогах. Нас привезли франты, которые поглядывают на них свысока.

Несколько овчарок нервно зевают. Солдаты курят, равнодушно разглядывая нас.

После всех из вагона выводят троих штрафных... Среди них Алик. Его накануне перевели в другую камеру. Герман слышал ночью, что ему конвоиры даже водку дали в обмен на роскошные сапоги. Но утром, на перекличке, перед прибытием поезда он забыл свою новую анкету.

Федя-Нос объяснял: "Это значит, конвою плюс, что расколол. А тюремным вертухам, которые выпустили, обратно минус. Если тот сменщик уже на волю или в другой лагерь, а там его, как малосрочного расконвоировали и он когти оторвал, им срока дать могут..."

Алика провели в наручниках. На щеке плохо замытые ссадины, рубашка разорвана: глаза такие же пустые. Его и еще двоих в наручниках сажают отдельно, поближе к собакам.

Начальник нового конвоя, плюгавый, чернявый лейтенант. Китель, перетянутый ремнем, топорщится, как балетная пачка. Он и его старшина, тоже низенький, квадратный с рыже-серенькими усиками под глянцевым облупленным

розовым носом – пересчитывали нас и перекладывали папки наших "дел" в брезентовые мешки.

В десяти шагах поднимается высокий перрон. Мутно-красная кирпичная стенка. Сверху щербатый, серый асфальт. Бегают мальчики в трусах и грязных рубашках. Двое пьяных – один постарше в солдатской гимнастерке, другой, помоложе, в синей майке, – смотрят на нас. Белобрысый в майке запевает: "Далеко, в стране сибирской..."

Один из конвоиров забирается на перрон. Покрикивает на него. – Гражданин, пройдите. – Тот куражится.

– А ты кто? Я вольный гражданин. Я за родину воевал. Я тебя в рот долбал...

В нашей куче довольные смешки.

На перроне подальше сидят несколько темнолицых баб в серо-белых пыльных платках. У них такие же голодные, тусклые глаза, как у всех, кто рядом со мной.

Подковылял на костылях одноногий, тощий, обглоданный, в куцей шинели нараспах, гимнастерка засалена, поблескивают медали. Смотрит на нас со злым любопытством:

– Власовцы? Мы кровь проливали, а вы, гады... вашу мать, фрицам служили... Вешать всех!

Конвоир к нему: "Пройдите, гражданин. Не положено."

Две молодых женщины. Одна высокая голенастая в пестром платке до глаз. Серая холщевая куртка широка, с чужого плеча. Чулки винтом. Разбитые мужские башмаки. Вторая поменьше, простоволосая, светлорусая, блузку распирают большие груди, на загорелых ногах голубые носки и детские синие тапочки.

Высокая крикнула:

– Мальчики, а фронтовики тут есть?

– Есть, есть, – отозвалось несколько голосов. Громче всех мы с капитаном. Мы и приметнее других – офицерские шинели, оба высокие и, даже сидя, торчим выше общей кучи.

Теперь на перроне уже двое конвоиров. Они наступают на женщин, впрочем, без особого рвения. "Проходите, гражданочки. Проходите. Не положено".

Те уходят, но через несколько минут возвращаются. У каждой в руках кульки. Огурцы. Лук. Сайки.

— Эй, мальчики, фронтовики, держите! Ты, длинный, черномазенький, лови! А это тебе, хорошенький, беленький. Кушайте, мальчики...

Они бросают метко, прямо в руки капитану и мне. Конвоиры кричат уже громче, тревожнее.

— Отойди, не положено! Отойди, не кидать!

Сзади вонючий голос вагонного лейтенанта:

— Эта-а что такое? За это — под суд, за это стрелять можно. Я научу вас свободу любить!

Новый лейтенант кричит хлипким, мокрым дискантом:

— Ка-анвой! Оружие к бою. Очистить от посторонних! Кто брал передачу — отдать.

Женщины бросают сразу все, что у них осталось, в общую кучу.

На перроне смеются. Долговязая кричит гулко, низким голосом:

— Чего собачитесь, товарищи офицеры? Что вам жалко, что голодным кусок хлеба подают? Вам с этого не убудет. Не от вас брали!

Вторая раскраснелась, выкрикивает со слезой:

— Они с фронту. А вы тут с кем воевали? Морды наели! Вот сами попадете в тюрьму, наплачетесь!

Оба пьяных и одноногий, только что материвший "власовцев", сочувствуют:

— Кого стрелять хотишь? Баб стрелять? За милостыню стрелять? Как немцы делали! А ну, стрельни, гад! Я тебя костылем долбану, автомат не поможет! Я Варшаву брал... твою мать!

На крик сбегаются мальчишки. Подходят еще и еще люди. Впереди двое: он — высокий, плечистый, в офицерском кителе без погон, сверкают ордена и медали, надраены сапоги. Она — пониже, розовая, с пунцовыми губками, белокурые волосы до плеч, цветастое платье, тонкие белые ноги и туфли на копытах. Он глядит на нас брезгливо, она — удивленно, испуганно.

На перрон взобрались еще несколько конвоиров, теснят внезапно возникшую толчею: — "Граждане, пройдите, граждане, воспрещено".

Свистки. Лают собаки. Оба конвойных лейтенанта переругиваются между собой. Оказывается, наш вагон подали не-

правильно. Не на тот путь. Они озабочены этим больше, чем нами.

Торопливо жую огурец и липкую, сладковатую сайку. Как прекрасны эти женщины. Только бы не забыть их. В горле застревает не то ком теста, не то слезное умиление.

Сердито лают собаки. Орет пьяный. Гудят голоса. Ближние конвоиры командуют хрипло: – "Не выглядывай! Прижмись в кучу! Не разговаривать!"

Наверху, под темным перекрытием перрона, стальная ферма – пологий сегмент. Синевато-серый переплет в рыжих пятнах ржавчины: посредине, у самой вершины, венок из пожухлых еловых веток вокруг черно-белого портрета – видны усы, погоны, звезды, ордена. Ниже – полоса выцветшего розового кумача. Белесые буквы: "Спасибо великому Сталину за нашу счастливую жизнь!"

Пятая часть

ГДЕ ВЕЧНО ПЛЯШУТ И ПОЮТ

Двадцать шестая глава

СУХОБЕЗВОДНАЯ. УНЖЛАГ

"Где вечно пляшут и поют"... Так бывалые воры говорили о лагерях. После долгих месяцев тюрем, теплушек и столыпинских вагонов лагерь представлялся обетованной землей.

Еще в Бресте стало известно: этап направляют на станцию Сухобезводная Горьковской области в Унжлаг. В бане медсестра, заключенная, щекастая, с перманентом, из "приблатненных" бытовичек, говорила доверительно:

– Это тебе повезло. Старый лагерь. Значит, порядок. Голода не будет. А там еще и посылочки и ларек... Кто с головой – как на курорте жить может.

Были дни и часы, когда о лагере я мечтал неотступно, почти так же напряженно, как на фронте мечтал о победе, о мире.

В Горьком нас вели с вокзала в тюрьму пешим строем. Теплый сентябрьский день. Ободренный добрыми женщинами на вокзале, их вкуснейшим подаянием, шагая в строю грязных, мятых шинелей, истертых пальто, ватников и всяческой рвани, я шел почти что весело, радуясь воздуху, солнцу, движению.

Вышли к реке: большой мост – Ока. Слева – огромный светлый простор Волги. Я узнавал места, знакомые только по книгам. Шепот рядом и сзади: – мимо Кремля пойдем... Тут в Горьком тоже Кремль зовется...

Тоскливая горечь: вот как довелось увидеть впервые... И все-таки, любопытно. И все-таки прекрасна Волга. И хорошо, что иду легко, – не разучился. – И вроде здоров. И уже скоро – лагерь.

Зеленый откос, зубчатая кирпичная стена. Крутая улица – ущелье. Полязгивая, постанывая, нас обгоняет трамвай. Где-то совсем близко девичий смех, – заливчатый, счастливый. Голоса детей. В окнах домов занавески, вазоны с цветами. Вот она, свобода, близехонько. До воли – четыре шага. Но еще

ближе – угрюмый молодой конвоир с автоматом на весу и рыже-черный пес. В нескольких шагах – другой конвоир и другой пес.

С тротуаров глядели вольные люди – большинство безразлично, равнодушно, едва любопытствуя, реже – сочувственно, еще реже – враждебно... Мальчишка, шагавший в шеренге передо мной метнул письмо – бумажный треугольник в кучу парней, стоявших на перекрестке. Я заметил, как один из них наступил на письмо.

Конвоиры заорали: "Кто бросил? Кто поднял? Отдавай, твою мать..." Лейтенант бежал, размахивая пистолетом к тротуару.

(Мальчишку заметили. Потом в тюрьме его уволокли в карцер. Слышны были истошные вопли. Кто-то сказал: "горьковские вертухаи – волки, умеют калечить".

Но записку не нашли. Парни на тротуаре сгрудились, смеялись.

Конвоиры спешили, погоняли нас вполголоса: "давай,давай, а то всех на карцерный режим!.."

Еще несколько записок выпорхнуло на тротуар. Одну подобрал конвоир. Другие "улетели".

Потом в тюрьме, в "вокзальной" камере искали бросивших. Но расследование вели без рвения. Конвой уже сдал этап. А тюремные стражники были другого ведомства.

Через две недели, мы второй раз также прошли через весь город. Шли из мрачной, грязной тюрьмы. И опять был теплый день и я старался наглядеться на улицы, на Кремль, на Волгу и Оку...

Потом ехали недолго – часа три-четыре. Выгрузились прямо у лесной дороги. Нас было шестьдесят зэков: повели всего три конвоира в затрушенных шинельках. Старший сказал совсем по-домашнему:

– Вот шо... порядок известный – шаг вправо, шаг влево – конвой применяет, и такидалее. Пошли неспеша. Пупов не надорвете, тут километра четыре будет... Только не отставать. Дыхайте: воздух лесной. И чтоб порядок.

Передовой конвоир взял винтовку на локоть и поплелся вразвалку по колеям влажной грязи, обходя длинные черные лужи. Недавно был дождь. Сзади кто-то уже острословил: "Это никакая не Сухобезводная, а Мокрополноводная".

В детстве рождается беспокойно радостное любопытство к новым пространствам, к новым дорогам, селам, к незнакомым улицам, к жилищам, в которые входишь впервые. Кто не изведал магнитное притяжение вокзалов, паровозных гудков, перестука вагонных колес и напряженное ожидание невиданных мест, новых надежд, нечаянных встреч... Это сродни тому, что испытываешь над первой страницей книги, еще не читанной, давно желанной, или в театре, когда вот-вот поднимется занавес. Вероятно, подобные же чувства звали в дорогу всех неуемных бродяг-мореплавателей и землепроходцев, побуждали странствовать Колумба, Дежнева, мальчишек, удиравших в Америку, вдохновляли прозу Джека Лондона, стихи Киплинга и Гумилева.

Во мне эта мальчишеская "охота к перемене мест" никогда не остывала. И теперь, на седьмом десятке, еще то и дело тревожит, будоражит, зовет. И так же как в юности приятно бывает снова и снова представлять себе города и горы, села и реки, виданные хоть недолго, радовавшие первой встречей... Когда мы с женой начинаем вспоминать давние и недавние путешествия, места, где находили кров, иногда бывает грустно. Но это светлая грусть, неотделимая от радости и она всегда рождает новое любопытство, новые надежды.

В детстве впервые увиденные места окрашены изумительно ярко, свежо, будто промытые дождем и освещенные солнцем. Таким я в пять лет увидел весенний Киев – утренний, сияюще многоцветный. Менее красочным, менее нарядным открылся мне, тринадцатилетнему, зимний Харьков – мутно-белесый, серый, кирпично-тускло-красный, с негустыми пестрыми пятнами, шумевший и пахнувший совсем по-иному, чем Киев, и все же привлекавший загадочной силой первой встречи, ожиданием невиданного и неведомого... Двадцатилетним я приехал в Москву и та первая встреча – долгожданная и полная неожиданностей – накрепко вросла ощущением необозримого неохватного, но приветливого величия. Глаза и уши заполнил разноголосый и разноцветный хаос, громоздящий, перемешивающий краски и очертания, шумы и звоны, улицы, здания, вывески, трамваи, автобусы, клокочущую толчею тротуаров. Тогда и возникла любовь с первого взгляда.

Потом все годы я ревниво наблюдал, как Москва строи-

лась и перестраивалась. Жаль было Садовых, когда живую зелень старых деревьев, кустов, газонов заменял темно-серый неживой асфальт. Но прекрасны были новые мосты и не терпелось увидеть, когда наконец уберут неказистые дома, закрывавшие вид на Василия Блаженного с Москворецкого моста...

И теперь в угловатой унылой стереометрии новых улиц, в кубических и скелетных нагромождениях тусклых коробок и прямолинейно исчерченных плоскостей –(они только по ночам бывают хороши: густые сетки искристых огней с яркими цветными прожилками) – я пытаюсь узнавать живые приметы моей Москвы. Нет, не приметы величия – некогда порфироносного, златоглавого, белокаменного, – и не приметы исконного московского радушия, щедро хлебосольного, зычно голосистого, румяного, хмельного, – а хотя бы только ошметки той затрапезной, буднично суматошной, недосыпавшей, недоедавшей, ворчливой, толкающейся, сердито отругивающейся, но, вопреки всему, неизбывно душевной и уже через миг – даже самый злой миг – снова доброй Москвы.

Такой она представлялась мне и на фронте и в тюрьме, бессонными ночами и в снах наяву, когда рассказывал о ней, вспоминая вслух...

А неостывавшее с детства, с юности любопытство помогало в арестантских странствиях.

Тухель – замок в Померании, – Штеттин, – Быдгощ, – Брест, – Орел – Горький – Сухобезводная – леса на Унже. Эти места я впервые увидел из колонны зеков, или из грузовика, начиненного арестантами. Было и горестно, и унизительно, но все же старался вглядываться, глазел, озирался, хотел побольше увидеть, приметить, запомнить.

Четвертый – "приемный" или комендантский – лагпункт Унжлага в нескольких километрах от станции с трех сторон обступил густой лес. Сосны стеной уже в нескольких сотнях метров от вышек и проволочных оград. Напротив был поселок охраны, а за ним – поля: картошка, капуста, морковь, свекла. Внутри зоны, поближе к воротам маленькие домишки канцелярии и большой барак при -

дурков. Дальше – дюжина жилых бараков, кухня, столовая, санчасть, баня, каптерка, мастерские.

Всего в Унжлаге тогда было 27 или 28 лагпунктов, в том числе три больницы, два деревообделочных завода и две швейных фабрики. Внутрилагерная ж.д. ветка тянулась на 150 километров. Общее число заключенных достигало 24-25 тысяч. Их охраняло несколько тысяч конвойных надзирателей, ими распоряжались сотни начальников, с ними работали тысячи две вольнонаемых служащих. Вперемежку с лагпунктами деревни, совхозы и колхозы, и лагеря иного рода – один военнопленных и две "колонны" трудмобилизованных волжских немок.

Лесной край за Волгой, некогда укрывавший старообрядческие скиты, описанный Мельниковым-Печерским ("В лесах") и Леоновым ("Сотъ") – был густо начинен разноплеменным, разноязычным, разношерстным населением. На больших прогалинах и просеках теснились прямоугольные серые бараки, огороженные двойными заборами из колючей проволоки, торчали бревенчатые дощатые сторожевые вышки. Ночами темноту расчерчивали бледно-лиловые лучи прожекторов. По лагерной ветке днем и ночью сновали поезда. Отсюда катили платформы, груженные бревнами, досками, вагоны, забитые штабелями винтовочных и автоматных лож, простой и "стильной" мебелью, разнообразными столярными поделками и деревянными игрушками, тюками ватников, бушлатов, стеганых телогреек, штанов, войлочных бахил, рабочих роб из чертовой кожи, комбинезонов, халатов...

А сюда шел главным образом порожняк, реже – платформы и вагоны со станками и ежедневно везли арестантов – в столыпинских вагонах и в "краснушках". С 4-го "комендантского" лагпункта их развозила по всем другим "кукушка" – внутрилагерный поезд.

Начальник комендантского лагпункта, старший лейтенант Нечволодов носил гимнастерку с зелеными полевыми погонами, двумя золочеными нашивками за тяжелое ранение и трехрядным набором орденских ленточек. Он был невысок, ладно скроен и пригож. Редкая улыбка едва-едва оживляла глаза, а губы кривила скорее брезгливо. Вне зоны он обычно гарце-

вал на тонконогой каурой кобыле. Когда спешивался, чтобы пройти к картофельным буртам или на делянки лесоповала, она брела за ним, либо спокойно ждала.

Ходил он, помахивая стеком – трофейным, с замысловатой бронзовой ручкой – когда сердился, яростно хлестал себя по сапогам, надраенным до блеска, но словно бы нарочно заляпанным грязью.

Встретив наш этап, он спросил: "Фронтовики есть? Такие, что в плену не были?" Нас оказалось двое. Капитана, осужденного за убийство любовницы он тут же назначил начальником карцера, – его предшественника накануне сместили за пьянку с бесконвойными и жестокую драку. А меня на следующий день – бригадиром новосозданной бригады по уборке картошки.

Мы вышли за зону с пасмурным рассветом. Дождь серенький, редкий сеялся лениво, еле-еле, и затихал то на полчаса, то на час, не позволяя уходить из черной, липкой грязи.

Нашим непосредственным начальством был старший агроном лагпункта, заключенный. В первых же словах я различил милую слуху "надднипрянску говирку" – с детства знакомую: так говорили почти все агрономы , товарищи и приятели отца, и сам он, когда толковал с ними в поле о делах, или ходил на охоту, сидел за картами или за выпивкой.

Агроном был озабочен, чтобы картошка не сгнила под дождем, чтобы на другом участке успели убрать капусту и буряки. К сантиментам он, видимо, и раньше не был склонен, а восемь лет лагеря менее всего могли приучить к чувствительности. Но, узнав, что мы земляки, и что я – сын агронома, он стал разговорчивей и приветливей, подробней и снисходительнее обьяснял, что и как нам делать.

–Хто послабще нехай собирають в бороздах, – что там осталось, – в мешки... Только глядите, чтоб сырую не ели... А то поносом ляжуть. Других, хто слабые, давайте на переборку. От такую мелкую мокрую сюды, такую до отдельной кучи – это свиням пойдет и вообще скотине, а такую – вот, видите, – больше и почище сначала на весы, пометьте вес, – до тех ящиков, – то на кухню – людям уже теперь есть. А вот такую – крупную и посуше надо тоже на весы в хранилище, от туда, там бригадир примет... Это на зиму в харчи, а частично мы на посев отберем. Носить назначайте, кто поздоровше, покрепче. И

меняйте, а то носилки тяжелуваты да еще и намокли. Поделить на звенья, так, чтоб четыре з носилками, двое носять, двое отбирають и накладають, потом меняются через три-четыре, а то и пять носок. Через одну хуже, надо ж привыкнуть, приладиться. И к такой четверке столько-то слабых, чтоб только разбирали по кучкам.

Утоптанная площадка в конце поля, шагах в ста от хранилища была основным рабочим местом. По окружности — кучи мокрой грязной картошки, звенья я разделил секторами... Весы стояли на дороге к хранилищам, вблизи от ящиков для кухни.

В моей бригаде оказался Петя-Володя. Он стал бесстыдно угодлив; то и дело орал на кого-нибудь. — ...Эй, ты, сучье падло, слушай, что бригадир говорит... Наш бригадир — отец родной. Ты, майор, сам не должон работать. Ты командир — организатор. Ты обеспечь расстановку, кому копать, кому носить, и главное, не пускай слабины. А то эти поносники ни тебе, ни себе пайки не заработают. Эй, вы, в рот долбаные, слушайте бригадира, как Бога. Он сам руки пачкать не будет, у него кореши есть. Кто станет сачковать, так мы полжизни отнимем.

Первые два дня, несмотря на дождь, все работали старательно, даже азартно. Радовались, что на воздухе и что работа на себя, — ведь сами же будем есть эту картошку. И ели. Пекли тут же. Часовые зоны оцепления приказывали раскладывать костры для них. Прикрикнув раз-другой, они не мешали нам раскладывать костры и для себя. И во всех кострах пекли картошку, ели и часовые и работяги. Я следил только, чтобы мои бригадники не сбивались у костра в кучи, чтобы не спешили набрасываться все сразу, чтоб не жевали полусырую, постанывая от ожогов. И чтобы носилки не валялись на земле.

Я вел сдаточный учет на длинных дощечка-бирках; карандашные записи расплывались. Приемного контрольного учета по сути не было. Бригадир овощехранилища, старик, зека с 1937 года объяснил:

— Вы только не очень прибавляйте и показывайте свои записи мне. Чтоб если спросят, у нас не слишком расходилось; а перевешивать не будем.

Весовщик, нагловатый молодой парень в кубанке, поучал:

— Ты бригадир, значит, не упирайся рогами — взял досточку и чиркай, на хрена ты за носилками тянешься? Твое главное дело, чтоб бригада выполнила-перевыполнила на какой небольшой про́цент... Большой не натягивай, а то сразу будет видно — туфта. Я на тебя дуть на стану. И бригадир на хранилище приличный мужик. Но, если слишком большой про́цент, так не поверят ни бухгалтер, ни начальник. И тогда тебя по жопе, а бригаде хрен сосать... Ты действуй с умом, и все сытые будете. Я ж имею понятие — люди с этапа, доходяги. А сам не лезь вкалывать. Раз ты бригадир, значит, должон во-первых иметь авторитет, а во-вторых — головой работать. И вообще помни: день кантовки — месяц жизни.

Агроном, бригадир хранилища и весовщик согласно объяснили еще и какой нужен подход к начальнику. — Не показывай,что дрейфишь, а то сразу сочтет — жулик, туфтила или враг народа. Всегда смотри ему в глаза и говори вежливо, но твердо, — кто жопу лижет, он тоже не любит. С ним надо с опаской, он в голову контуженный, вроде псих, кто его знает, чего сделает, если психанет, но так он не вредный, даже вроде справедливый, особенно уважает вояк, кто с фронта... Но и к другим без дела не пригребывается. Только оттягивать любит... По-моряцки во все завертки. И по злобе и так, для смеху.

Начальник действительно матерился многословно, изощренно и не по-блатному, а как старый матрос — в гробовые доски, через надгробные рыдания, сквозь три палубы и черные котлы, в кровавые глазки, и святые причастия, в Бога, Приснодеву Богородицу, всех святых угодников...

В поле начальник верхом был виден издалека и часовые предупреждали:

— Эй, вы, работяги-доходяги, ударники не бей лежачего, начальник едет. Шевели руками, не зубами.

Подойдя, он оглядывал нас, облепленных мокрой грязью, зябко сутулившихся над грудами картошки, простуженно сопящих, таскавших тяжелые носилки, и несколько минут замысловато матерился. Мы слушали, кто испуганно, кто заинтересованно, и — убеждаясь, что брань не угрожающая, — даже восхищенно.

Он спрашивал: "Бригадир, докладывай, сколько эти по-

носники, – мать их так перетак, – наработали?"

Отвечая, я деловито заглядывал в дощечки и старался, чтоб получалось по-воински лихо и четко.

– Высшего сорта в хранилище сдано столько-то носилок, общим весом столько-то килограмм, значит, в итоге столько-то центнеров; второго сорта – столько-то; третий сорт определяю по объему отсортированного, – не меньше, чем столько-то.

Он кривил губы, сдвигая мятую папиросу из одного угла рта в другой.

– Уже научился – туда-сюда перетуда – туфту закладывать?

– Данные вполне точные, можно проверить.

Он отвечал немыслимо взвинченным фейерверком цветистого мата; можно было только понять, что на проверку ушло бы не меньше сил и времени, чем на уборку. Именно потому он и поручил работу офицеру-фронтовику, что надеется, а то ведь тут шобла, доходяги, темная шпана – всех их в кровавые глазки, через ухи насквозь и т.д. и т.п.

На следующий день после работы на совещании бригадиров и техсостава он материл всех, то витиевато, то по-простецки, и чаще всего не лично, "безадресно", материл и, разнося, укоряя, и, ободряя, похваливая; почти ни одной фразы не произносил без похабной брани. Иные загибы вызывали восторженный хохот, другие воспринимались, как обычная речь.

Неожиданно в двери задымленной канцелярии, где шло совещание, просунулся худой глазастый мальчонка лет семи-восьми, в офицерской фуражке, сползавшей на оттопыренные уши. Он выкрикивал звонким голоском:

– П-а-ап... А п-а-ап... Мамка зовет кушать... П-а-ап! А паап!

Начальник поглядел на него, ухмыльнулся ласково и, не меняя тона, – он кончил распекать кого-то из бригадиров, – сказал:

– А ты, сынок, скажи ей, дуре-курве, чтоб не пригребывалась, пусть лучше сама жрет свой долбаный ужин. Папка работает. Должна сама понимать, если у нее голова, а не жопа с ушами... Мать ее в святые праздники, через райские врата, сквозь кулацкий саботаж с духовым оркестром по самое донышко...

Сидевшие и стоявшие у стен бушлатники густо дымили: всхлестнулось несколько угодливых хохотков. Они только сгустили чадное молчание.

Мальчик тянул на той же ноте.

– Папка, не ругайся, мамка зовет, мы без тебя кушать не будем.

А начальник отвечал так же ласково:

– Иди, иди, сынок, скажи ей... Так переэтак сквозь все кастрюли-чашки-блюдечки, – хрен с ней, скоро приду.

После совещания уже за дверью зав.мастерской, высокий в очках, в "вольном"полупальто, прикуривая на ветру цыгарку от моей трубки, сказал:

– Здорово я начинаю исправляться. – И объяснил: его осудили недавно в Горьком за хулиганство на год. Молодой холостой инженер, с получки выпил, малость перебрал и пошел с приятелем в кино. – Там какой-то мордастый в шляпе лез в кассу без очереди. Ну я и завелся. Не дрался, ни-ни, я себя помнил, а приятель был почти вовсе трезвый, держал крепко. Ну, только пустил матерком не так, чтоб густо, но в полный голос. А мордатый оказался районным прокурором. Меня тут же загребли в милицию. И через неделю за нарушение порядка, за оскорбление личности – за непечатные выражения в общественном месте, – тяп-ляп повенчали: год исправительных лагерей. Вот теперь исправляюсь.

Двадцать седьмая глава

ПО "ОСИ"

Первые дни лагерь казался блаженным краем. Вокруг лес, прозрачный воздух – густой настой хвои, грибов, моха, смолистых бревен... В зоне разрешалось до отбоя ходить по всему двору, в ларьке можно было купить махорку, мыло, хлеб. Я продал шинель и сразу же съел почти килограмм. А потом на эти деньги мы с Кириллом в течение недели ежедневно съедали по полкило сверх пайки. Нам объявили, что можно писать домой, получать письма, бандероли, посылки. Был клуб, газеты... Были женщины. Старожилы объяснили, что лагерные "браки", правда, преследуются, но кто смел, да хитер...

В эти первые дни я словно из могилы выбрался, так благодушествовал, что не мог ни злиться, ни тосковать. Старался не замечать конвоиров, которые орали, грозили автоматами. Ведь кроме них были и обыкновенные солдаты, такие, кто мог сочувственно ухмыльнуться, спросить "где воевал"?

Но очень скоро блаженная одурь прошла. Стали раскрываться будни лагеря – тусклые, голодные, страшные именно обыденностью, бессмысленностью и безвыходностью рабского существования. Все вокруг было враждебно. В лесу огромные сосны туго сопротивлялись пиле, топору и надсадно болящим мышцам. На дорогах сама земля – вязкая грязь, издеваясь, хватала за ноги и за лопаты, заползала в едва отрытую канавку, тяготила дощатые носилки, тянула на отрыв руки, выламывала позвоночник... Все, все было враждебным и внутри во мне – мысли, хвори, воспоминания.

Иным удавалось получить работу полегче, стать придурком, в бухгалтерии, в бане, в столовой, в санчасти. Но тот, кто думал не только о себе, не только о завтрашнем корме, кто не продал совести куму, т.е. оперуполномоченному, – не становился наседкой – стукачем, не довольствовался тем, что сам благополучно кантуется, тот, кто способен был еще думать о других людях рядом и вдали, кто пристально глядел вокруг, тот должен был свято верить в высшие силы, – в Бога или в коммунизм, в вечную Россию или в вечную Польшу, – не

то он сошел бы с ума, повесился бы, бросился на проволоку, либо просто "задумался и поплыл", как говорили блатные, — то есть умер от безнадежной тоски, от медленно убивающего отчаяния. Я твердо верил в грядущий коммунизм и в вечную Россию.

Моя "картофельная бригада" просуществовала всего несколько дней. Уже на следующие сутки начались поносы. В последний день на работу вышла едва половина бригады, но работали одновременно не больше трети из тех, кто добрел до поля; остальные либо сидели, печально кряхтя"орлами", либо возились у костров; больные продолжали есть еще исступленней.

Когда бригаду расформировали, меня послали на лесоповал в звено Ивана, одного из "волков", которые ехали с нами из Бреста. Он в тюрьме и в этапе был робким, неуклюжим и только застенчиво улыбался, когда блатные отнимали у него сухари и вещи, даже не пытался возражать. Но в лесу он преобразился. Глядел уверенно и весело. Обойдя разок-другой вокруг сосны, щурясь, осматривал ее сверху донизу, оглядывался вокруг и, пошептав, словно колдун, сильно хлопал ладонью по стволу.

— Ось тут... звидсиля рубаем.

Топор он держал будто вовсе без усилий за самый кончик топорища и несколькими ударами вырубал щербину в треть ствола. Потом командовал:

— Давай кий.

Одну или две жерди он упирал в ствол недорубленной сосны. Шел еще к одной, примеривался взглядом, также надрубал.

Иногда, почесав за ухом, лихо выкрикивал:

— Ну, поциляемо ще в одну... Хай дывляться москали, як у нас на Полиссі роблять...

И подрубал третью сосну на одной линии с первыми двумя.

Пилы он сам точил и направлял, бережно и серьезно, прикусив верхнюю губу, ни на миг не отводя в сторону сосредоточенный взгяд. Пильщиков отбирал придирчиво. Меня забраковал.

— Ни, не годытся. Вы, пане, неривно тягнете, то закрутко, то задлуго. Так ще можно дрова пиляти, мертве дерево, а живе — ни... Бо тоди воно может упасты не туды.

Поэтому мне он поручал обрубать сучья или вдвоем с

кем-нибудь распиливать сваленные стволы – ”тебе, себе, начальнику”.

Он внимательно следил за пильщиками, нажимал то на одну, то на другую жердь, зычно покрикивал:

– Гээй, там не ходить! Валымо! Ува-а-га – сюды не ходить!

Опережая и провожая треск пошатнувшейся, падающей сосны, он пронзительно и звонко орал: ”Г-ээй, го-го-го!” и словно направляемый криком и толчками, огромный ствол падал с раскатистым трескучим грохотом, с грозово свистящим шумом, падал, сваливая еще одну, а то и третью сосну. Земля вздрагивала от тяжелых ударов, гудела гитарно. Иван оглядывался, с гордой хмельной улыбкой. – Ось, як полищуки валят.

Будучи бригадиром, я не успел пройти настоящей ”комиссовки” в санчасти.

Измученный поносом и густеющими нарывами, я приходил к фельдшеру Коле, долговязому, белокурому, скучающему ”красюку”. Он давал салол с белладонной, с танальбином, мазал чирьи цинковой мазью и утешал:

– Это у всех так по началу. Главное – питание! Загоняй барахло, ничего не жалей, ешь сколько достанешь. Хрен с ней, с диетой. Нажимай на витамины, на жиры. Пей хвойный навар. А то у тебя уже признаки цынги. А диета тут какая?! Тут же не санаторий! Ну хлеб суши, и не глотай, как чайка, а жуй. Тут у нас колиты-гастриты как насморк. Главная угроза – дистрофия, сосаловка. Значит, первое дело – питание.

Заведовала санчастью молодая женщина-врач, заключенная Нина Т-зе. Под белой косынкой черные густые брови, большие темно-синие глаза и очень светлое лицо, – бледное, но не болезненное, а прохладно светлое, сильное, крепко вырубленное; твердый, неулыбчивый, красиво большой рот. Она казалась мне величественной красавицей. Уже на первых разводах мы приметили, как она уверенно распоряжалась, выводила из строя больных, истощенных, и будто не слыша, не замечая замысловатой брани начальника, спокойно возражала:

– Таких пускать на работу не положено. Я действую по инструкции.

Мы с Кириллом прозвали ее царицей Тамарой. И я ни за

что не хотел показываться ей, жаловаться, говорить о поносе, о нарывах, которые особенно досаждали на срамных местах. Но фельдшер вскоре убедился, что сам не может управиться; и наступил мучительно постыдный миг. Перед гордой красавицей я горбился в уродливой наготе, дрябло тощий, грязный,—в этот день мы копали канавы на залитой дождем дороге, – весь в гнойниках, с которых сползали зловонные повязки и наклейки. Веки стали свинцово тяжелыми, трудно – казалось невозможно – посмотреть на нее. Но она глядела спокойно, без тени отвращения, и негромко приказывала:

– Подними руки! Повернись! Нагнись!..

Сердито зашептала фельдшеру.

—Ты видишь впадины? Полное истощение. Почему не отметил в карточке? Ну и что, что бригадир? Вчера бригадир, а сегодня работяга. В карточке должно быть точно –ЛТЗ–легкий труд в зоне... Давай стрептоцидную мазь и Вишневского. Туда можно ихтиол. Но сначала промой борной. Клей аккуратно... Ну и фельдшер у меня. Морда красивая, душа добрая, и голова как будто ничего, а руки – обе левые. Ладно, ладно, не обижайся, красна девица... А ты кто по специальности? Ах, вот как... А где вы работали до войны? на какую тему писали диссертацию? На фронте были? Звание? В плену не были?.. Да вы не жмитесь, нечего стесняться, я и не такое видела. Одевайтесь. Я военврач третьего ранга. С первых дней на фронте. А в плен попала на Изюм-Барвенковском, когда Тимошенко две армии погубил, тысяч сто, не меньше. Я была ранена, но удачно, в мякоть бедра навылет, даже не хромаю. И в лагере врачом работала. В Днепропетровске, потом возле Киева. Мы там побег устроили, к партизанам ушли, вскоре с армией соединились, но мне досталось все как положено. Один "б" и десять лет. Сперва от обиды повеситься хотела, но теперь вроде привыкла: врачи везде нужны. Вот филологу в лагере труднее. Да еще в таком состоянии. К тебе сейчас любая болезнь легко прилипнет. Минимальное сопротивление организма. Ладно, подлечим, а для начала устроим придурком. Не хмурься, не хмурься, майор, такое уж слово; – это блатные придумали для тех, кто не работает физически. Вот и мы с лепилой Колей – тоже придурки. Сейчас даю освобождение на три дня. – Коля, запиши в карточку: температура 38, – запомни, сегодня было 38! Идите в барак, отдыхай-

те. Начальнику столовой я скажу, вы к нему только обращайтесь "товарищ капитан" – да-да, товарищ, он тоже зека, бытовой из моряков, убил кого-то. Но и здесь фасон давит. "Капитан". Скажешь ему: доктор Нина велела кормить из фонда санчасти.

В этот вечер я сидел в столовой за особой перегородкой "для рекордистов", ел порошковый омлет, тушеную картошку, куски жирной селедки. За перегородкой толпились доходяги в грязно-серых бушлатах, смотрели неотрывно, одни потухшими, пустыми глазами, у других хищно проблескивала злая, жадная зависть. Дневальные, – такие же доходяги, – отгоняли их бранью и пинками. Я старался не глядеть в ту сторогу, не слушать.

Великолепная, давно не виданная пища! Когда увидел, почуял запах, даже дыхание перехватило от блаженной радости. Но глотать было трудно и с отвычки, и от боли в горле, в скулах и от хриплых вздохов за спиной.

– Дай миску помыть, слышь, дядя... браток... папаша... Дай хоть понюхать...

На второй день ко мне в барак пришел фельдшер и с ним невысокий, чернявый в армейском ватнике, суконном берете, с забинтованным горлом. Он говорил сиплым шепотом:

– Я Збых – помначлагпункта по быту. Не удивляйтесь... то должность для арестанта, для зека... Я сам есть врач... Ну, если направду, так почти врач, не скончил медицинский факультет Виленского университета, учился на четвертом курсе, на психиатра... А тут война, пошел до войска, потом в партызанце был... Армия Крайова, слышали? Мы до Вильна пришли разом с Армией Червонной, така згода была, – такое условие, согласие. Вместе немцев били. Но потом нас разоружили, забрали до лягрув, а меня арестовали за разговоры, – сказали – "антисовецка агитация". Дали пьять лет как социально-опасному. А тут зделали помпобытом. Я должен командувать в зоне над всеми дворниками, дневальными, баней, майстерскими, на кухне пробы брать з доктуром или сам один. Начальник мной недоволен, что я не умею командовать, как надо. А надо это значит лаяться, тут называют "оттягивать", "на горло брать" или даже бить... А я так не умею и не хочу уметь. Я есть медик, не поли-

цай. Я поеду на больницу, буду лечить горло – у меня така ангина, могу навек без голосу остаться – буду там работать, как врач. Начальник не пускал пока нет замены. Так уж вы, коллега, прошу очень, примите мой пост... Зделайте любезность.

Фельдшер поддержал:

– Ты ж офицер, фронтовик, свой советский, ты сумеешь и приказать и оттянуть когда нужно. Тебя на горло не возьмут. А на этой работе и здоровье поправишь и хорошим людям поможешь.

Два дня Збых передавал дела, – водил меня по своему хозяйству. Доктор Нина сказала, что будет помогать. Моим непосредственным начальником числился некий капитан "зам. нач. по адм.хоз.части", но он был не то болен, не то в запое. А комендант-заключенный сказал, что верит доктору Нине. Оперуполномоченный уехал в отпуск. И мое назначение произвел сам начальник лагпункта. Он говорил со мной в санчасти.

– Доктор вас рекомендует с хорошей стороны. Поэтому временно утверждаю. Вообще-то не положено. Во-первых, вы – 58-ая. Этот пан без статьи осужден, по буквам – СОЭ – социально-опасный элемент, оно, конечно, одна херня, – в Бога, Богородицу, белопанскую Польшу, папу римского и всю мировую буржуазию, крест накрест... Но ты по статье антисоветчик. Это уже минус, туды его в качель, каруселью... И во-вторых, ты – следственный; срока еще не имеешь. Могут хоть завтра выдернуть. Правда, такое редко бывает. Срока теперь лепят по почте, долбают, будь здоров, и в хвост и в гриву, и в рот и в уши, спереди и сзади насквозь до пупа... Могут, конечно, вам тоже дать буквы вместо статьи, тогда это плюс будет. Но только пока ты майор, – ты ведь не осужденный, значит пока еще "майор, содержащийся под стражей". Очень уж ты доходной, глаза, как у кролика красные, ветром шатает. Вот доктор Нина, я вас послушал, отпустил того пана безголосого. Но если этот ляжет в санчать, я тебя с твоим лепилой самих погоню шоблой командовать, так их перетак и через этак...

Доктор Нина его успокоила.

В первые дни я пытался работать вопреки всем хворям, добился разрешения назначить еще двух дворников к прежним трем, – убедил начальника, что осенью... больше грязи; сколотил ремонтную бригаду из плотников, штукатуров и маляров, чтобы ремонтировать санчасть, предбанник и сапожную мастер-

скую. Бригадиром маляров назначил Кирилла Костюхина, – забрал его с лесоповала, – еще нескольких знакомых из этапа пристроил к нему и в мастерские.

...Рыжий, тощий сутулый старик в рваном бушлате подошел, когда Збых водил меня по лагерю.

– Простите, пан доктор, но вы разрешили обратиться к вам после излечения. Сегодня я выбыл из стационара. А мой бригадир, крайне грубый и не гуманный – типичный кулак – уже велел мне совершенно категорически завтра выходить на развод, на повал. Но я еще абсолютно слаб, ce qu'on appelle "доходяга". В лесу я несомненно погибну. Вы были так любезны, что вселили в меня надежду. Может быть, дневальным или дворником.

Збых досадливо отмахнулся.

– Я уже ничего не могу. Вот новый товарищ, новый помпобыт.

Проситель оказался бароном Унгерн: выпускник пажеского корпуса, он служил в протокольном отделе сперва министерства, а потом и наркомата иностранных дел, был осужден в 1938 году на десять лет ("ПШ" – подозрение в шпионаже). Я назначил его дворником. Вечером он перебрался в наш барак обслуги и сразу же начал рассказывать о себе, о своих родственниках, о сложном характере Чичерина, о неприязни между Литвиновым и Чичериным. Он говорил стариковским высоким голосом, многословно, подробно, вставляя французские и английские слова. Втроем с ним и Кириллом мы пили кипяток с сушеной малиной, – его "пай", – и нашим сахаром. Он пил из консервной банки, обернутой тряпкой и держал ее, оттопыривая тонкий длинный мизинец. Свысока поглядывал на других обитателей барака.

– Я слышу: здесь большинство западные украинцы, знаю: бендеровцы или баптисты. Ces sont les gens três simples, três primitives, presque barbares... Очень странный говор. Уже не украинский, еще не польский. Один из них говорил мне: "Мы посэрэдыне между Польшей и Россией... Но я полагаю скорее уж entre l'Afrique et l'Asie, ou entre l'Homme et un singe...

Встречая меня во дворе, он салютовал метлой и уже издалека кричал, демонстрируя служебное рвение и образованность доходяг... И многословно красноречиво жаловался, что ночью многие не добегают до уборной. – Все это время я вынужден

очищать и тропинки и дощатые мостки, все, так сказать, ближние и дальние подступы... Voila les Alpes du merde!..

Молодая быстроглазая девица с белобрысой челкой над чернейшими прорисованными бровями перехватила меня в тамбуре барака, прижалась к плечу упругим бюстом, улыбнулась, лизнув губы тонким красным кончиком языка.

– Слышь, помбыт, назначь меня дневальной в контору, полы мыть, убирать. Там Сонька была, она счас на больничку поедет в декрет, мамкой будет. А я дохожу на повале. Назначь дневальной. Я тебе в жисть не забуду. Я здоровая, чистенькая, ей Богу... Хотишь сейчас подженимся, тут я одну заначку знаю за прачечной, подружка пустит. Не хотишь? Брезгуешь? Или не маячит? Ну это ничтяк. После тюрьмы все мужики доходные. А ты на такой должности, что скоро подкормишься. В лагере надо иметь жену, чтоб за тобой смотрела, повкусней что сготовила, чинила, стирала, прибирала, чтоб за тебя на лапу взяла где надо, ну и подмахнула, когда схотишь.

Опять толчок грудью в плечо и улыбка с быстрым кончиком языка. А мне было тошно и от нее и от собственного растерянного бессилия.

– Так назначь дневальной. А за мной спасибо не пропадет, не пожалеешь...

В мои обязанности входили проверка на вшивость и поголовный охват баней. Каждый зека должен был не реже одного раза в десять дней пройти через баню, сменить или хотя бы прожарить белье. Если в бараке обнаруживались вши, назначалась внеочередная "санобработка", т.е. прожарка и баня. Но работяги могли баниться только после работы. Поэтому за несколько часов от возвращения бригад в зону до отбоя приходилось пропускать не меньше двух бараков. Большинство радовались бане, но немало было и таких, кто хотел только есть и спать, кто боялся простуд – перехода из парной жары в холодную слякоть, в нетопленный барак. А голодны были все, и в эти же часы был ужин. Дневальные, бригадиры, банщик, его помощник, и пуще всех я хрипли от криков, зазывая, убеждая, угрожая, упрашивая...

Так как наш лагпункт был пропускным, то постоянно убывали и прибывали новые зека, большие и малые этапы. Это

вносило в "банный график"непроглядную путаницу и неразрешимые противоречия.

Начальник, помощники начальника по режиму и по КВЧ, доктор Нина, банщик, – плюгавый, настырный паренек, – комендант, дежурные надзиратели, то и дело напоминали, спрашивали, кричали о бане. Бригадиры "брали на горло", орали, требуя либо первой очереди, чтоб до ужина, либо последней, чтоб успеть поужинать: унылые доходяги скулили о хворях, норовили залезть под нары, чтобы избежать принудительного мытья: сварливые скандалили, кто посмирнее нудно жаловался на нехватку мыла, шаек, мочалы, в прожарке что-то сожгли, испортили...

Баня становилась для меня воплощением непролазного кошмара.

В один из первых дней я с трудом прогнал через санобработку многочисленную и распущенную бригаду, наорался и налаялся до хрипоты, наслушался дикой брани, проклятий, упреков; пришлось даже несколько раз помахать кулаками, чтобы отбиться от психанувшего хулигана, и чтобы выгнать из барака упрямых филонов, долбивших: "А я еще не грязный... и вошей у меня нет... А я к лагерю приговоренный, а не к твоей бане"... После этого полагалось пропустить женский барак.

Когда я вошел туда, в нескольких местах между вагонками шумели визгливые свары. Группа женщин собиралась на этап, возникали споры из-за освобождаемых мест; одна из уезжающих искала пропавшую юбку, другая – платок. Обвиняли кто дневальную, кто подозрительных соседок. В дальнем углу визг нарастал, – ссора, видимо, переходила в драку.

Я крикнул, сколько хватило сил и так, чтоб звучало повеселее:

– Эй, девочки, дамочки, кончай шуметь, собирайтесь в баню, красавицы. Мыло, губка и вода наши лучшие друзья.

И в ответ сразу, с нескольких сторон обрушился шквал такой брани, такой изощренно мерзостно похабной и грязной, какой я никогда раньше не слыхивал... С верхней койки свесилась взлохмаченная серо-рыжая голова; исступленно блестящие глаза, широко раскрытый рот – не рот, пасть с мелкими, злыми, как у пилы зубами. Прокуренный голос на одной надсадно сверлящей ноте поносил меня и похабно, и ненавидяще и притом как-то непосредственно лично, будто эта ведьма не-

понятного возраста уже давным давно видит во мне своего злейшего врага...

В проходе между вагонками толстогубая девка, задрав юбку, повернулась и, тряся голыми ягодицами, воскликала хрипло:

– Вот тебе баня, падло, хреносос, придурок в рот, в душу и т.д., вот тебе баня...

Старуха в сбившемся платке выла:

– Убивают... какая баня, когда убива-аю-ют... Спасите...

Две молодые девчонки в цветастых кофтах и ватных штанах хохотали с визгами, выкрикивая немыслимую матерщину, они ругали какую-то невидимую мне собеседницу, а заодно и меня. У печки рыдала в голос пожилая баба в платке и темном бушлате, причитая с явно искусственным кликушеским надрывом. Это была дневальная. Рядом с ней худощавая блондинка в "городском" опрятном платье, показавшаяся было миловидной и даже интеллигентной, внезапно замахнулась на меня кочергой и заорала с неподражаемой блатной интонацией:

– Катись ты туда-то и перетуда-то, раздолбай московский, фрей рогатый, пока тебе не то, не это, не так и не переэтак...

Пытаясь что-то говорить, убеждать, я не слышал собственного голоса и выбежал из барака, – из ора, визга, злобно воющего сквернословия, уже не только оглушавшего, но, казалось, душившего, бившего и по ушам, и в нос нестерпимым зловонием. Выбежал в полном отчаянии. Ведь не мог же я отвечать им бранью, – все-таки женщины, – не мог ударить. Я поплелся в баню, не зная, что делать, – лучше немедленная отставка, лесоповал, карцер, только не этот вопящий ад... Банщик сочувственно и презрительно хмыкнул:

– Эх ты, олень, а ну пойдем, я тебе покажу, как с ними надо.

Он взял большую палку, другую сунул мне. Войдя в барак, где продолжался галдеж, он громко застучал палкой по столу и закричал:

– Эй вы, шалашовки, гумозницы, курвы и т.д. – а ну, собирайся в баню, пока ребра целы! Пулей вылетай!..

На него тоже орали. Но уже не так зло, даже с ухмылками. Отругивались.

Я стал ему вторить, пытался зубоскалить, так как не мог

себя заставить "оттягивать" матерно. Женщины в конце концов пошли. Но в тот вечер я твердо решил, что не останусь помпобыта, буду срочно искать замену.

Октябрь наступил дождливый, холодный. Вечерами я трясся от озноба. Головные боли не утихали даже после утроенных порций пирамидона. Соседи по нарам жаловались, что я ночью кричу, ругаюсь, разговариваю по-немецки. По утрам трудно было заставить себя встать. И наконец наступило такое утро, когда боль, сверлившая во лбу и скулах почти ослепила. Шатаясь, цепляясь за стены, я ощупью дошел до уборной, но уже не мог добраться до столовой, чтобы позавтракать и с помощью дневального – болтливого, мокроносого старика, поплелся в санчасть. Измерили температуру, – больше 39. Нина осмотрела, выслушала и нахмурилась:

– Болезней у тебя целый набор, – вагон и маленькая тележка. Пеллагра, гайморит, кишечник вконец испорчен, и ко всему еще сильная простуда. Теперь уж ты отделаешься от помпобытства. Я могла бы тебя положить к нам в стационар. Но это можно только на малое время, а потом либо опять на старое место, либо похуже... Поэтому я пущу тебя по ОСИ... Завтра как раз уходит этап в больницу, там хорошие старые врачи, там питание лучше и режим легче. Там действует ОСИ – Общество Спасения Интеллигенции. – Это один москвич-инженер так назвал наших лагерных медиков. Шутка, конечно, – ты не вздумай повторять, а то какой-нибудь гад-наседка подхватит, могут сразу дело намотать. Шутка шуткой, но мы же понимаем друг друга... Я врач – обязана всех лечить и лечу на совесть. Как с начальником цапаюсь, ты сам видел. У меня от его словесности в ушах гадко, каждый раз прочистить, промыть хочется, будто на самом деле грязь... Но я ему не уступаю и не уступлю ни одного доходяги. Завтра отправлю в больницу тридцать четыре, с тобой будет тридцать пять человек. С другой стороны, я же не Бог, не солнышко ясное, не могу всем одинаково светить. Для всех делаю то, что положено, что обязана, а для некоторых – побольше, сверх нормы, как говорят, "через не могу". Одно дело бандит, ворюга, полицай, – руки в крови по локоть, – или какой-нибудь барыга, хапуга, спекулянт, который на чужом голоде жировал, другое дело – такие как

Збых, как мой Коля, как ты. Когда я сразу вижу – хороший человек, честный, интеллигентный, и вообще ценный для Родины, для общества или для науки и тому подобное. И не одна я так думаю, а еще другие товарищи – есть и врачи и некоторые толковые придурки и даже кое-кто из начальства. Вот про всех нас тот шутник и сказал – ОСИ.

Два дня я лежал в бараке. Еду из столовой мне приносил дневальный – бестолковый, хлопотливый старик. Во время оккупации он работал помощником бургомистра в Брянской области. Жильцы нашего барака, ссорясь, называли его полицаем. Передо мной он унизительно заискивал и даже пытался величать "гражданином майором". В тот вечер он взялся посушить мои сапоги. На утро один оказался "пригоревшим", головка ссохлась, надеть было невозможно. Я чуть не заплакал от отчаяния, через несколько часов должен собираться этап в больницу – как, откуда раздобыть обувь. Обессиленный настолько, что не мог даже отлупить как следует хныкавшего от страха дневального, я надавал ему тычков и пригрозил убить, если срочно не найдет, что обуть. Он плакал, клялся, божился, убежал трусцой, и вскоре вернулся, шумно торжествующий – принес пару стеганых бахил с калошами, старых, но в общем целых и мне по ноге. Весь день он лопотал, рассказывая каждому входящему, каким чудом раздобыл их у сапожников, как торговался – отдал весь свой табак и хлеб и еще что-то. К вечеру он уже чувствовал себя моим благодетелем и даже выклянчил табаку.

Этап на больницу строился у вахты уже затемно. Шел дождь со снегом. Я кутался в бушлат, полученный взамен проданной шинели, обмотал горло полотенцем. Фельдшер Коля принес мне шапку – засаленный матерчатый треух и на прощание забинтовал голову, наложив побольше ваты на лоб и скулы, чтоб грело. Весь мой багаж умещался в маленьком холщевом мешке, – четверть буханки хлеба, пара луковиц, деревянная ложка и тряпье, – остатки армейского белья, изодранного и "пережаренного", которые я сохранял для "носовых платков" и портянок.

У самой вахты конвоиры и надзиратели начали проверять выбывающих.

Начальственный хриплый тенор распоряжался:

— Сдать имущество лагпункта. Белье казенное можно только, если своего нет. И чтоб не больше одной пары, той, что на тебе. Одеяла, простыни, — все сдать... Ботинки, только те, что носишь, если своих нет... Проверить все чемоданы и сидоры. Кто на себя лишнее надел, — снимай сразу...

Начался обыск под дождем и снегом. Чемоданы, сундучки, мешки вытряхивали прямо в грязь, конвоиры перебирали вещи, выхватывали то, что им казалось подходящим. Обыскиваемые, кто кричал, кто жалобно упрашивал...

— Что вы делаете? Здесь же больные...

— Раз-го-оры! Работать — больные, а жрать — здоровые...

— Так это ж моя одежа з дому... гражданин начальник, что ж это такое... Это ж моя одежа... пинжак... штаны жена прислала з дому.

— Молчи, падло! Ты ж в больницу едешь, там оденут.

— Деревянный бушлат ему, а не пиджак.

— Ой, ой, что ж вы делаете? Ой, Боже мой, последнее забирают.

— Це ж мое власне... не маете права... Я жалиться буду, це моя сорочка. Вона ж гаптована, таких тут немае.

Выкрики. — Стоны. — Скулящие жалобы. — Плач. — Конвоиры орут, матерят. — Арестанты ругаются вполголоса.

— Грабят сволочи, ни стыда, ни совести. — Прав нет, а кому скажешь? Издеваются над больными.

Истерически завопила женщина: „Не дам... Это мое...”

Один из конвоиров деловито сказал другому:

— Ты прохаря найди. Тут прохаря должны быть хромовые.

Через ряд передо мной стоял высокий старик, закутанный, замотанный платком поверх шапки и пальто. Он, видимо, не слышал или не понял распоряжений. Двое конвоиров выхватили у него рюкзак и начали разматывать платок. Он испуганно забортотал:

— За что? за что? я же ничего.

Тогда и я стал кричать:

— Где начальник лагеря? Требую начальника лагеря. Это произвол, беззаконие, издевательство над больными. Над советскими законами. Где начальник лагеря? Это не обыск, а грабеж.

Сзади кто-то испуганно:

– Не надо... не заводись... Они ж убить могут... Какие тут законы?.. Не надо...

Подскочил коренастый, в шапке, сбившейся набекрень с автоматом поперек груди. В слепящем свете фонарей вахты – маленькие злобно блестящие глаза, оскаленные зубы, очень белые, ровные – юношеские.

– А ну заткнись... твою мать... Сейчас же заткнись. Я тебе покажу законы, падло, не доживешь до больницы.

Начальственный тенор приближался от вахты.

– Кто там права качает? Кто оскорбляет конвой? В больницу собрался и на горло берет. Так мы тут на месте подлечить можем... Этот? Здоровый лоб, а намотал бинтов. Это ты начальника зовешь?

Молчу, стараюсь удержать дрожь озноба и страха. Сразу же испугался, ужаснуло, что оставят, изобьют, погонят назад в бараки и не попаду в больницу, благодатную, светлую, полную добрых врачей.

– Молчишь, сука? У – враг народа. Вот так и молчи. Рога еще не обломали. А ты заметь эту морду забинтованную. Глаз не спускай.

И я мгновенно, сквозь боли, сквозь жар вспомнил рассказы о конвоирах, которые в пути заставляли зэков часами лежать в снегу, разуваться на морозе, сами сталкивали с дороги и стреляли в упор – "попытка к бегству".

Меня вовсе не обыскивали, сразу видно было, что взять нечего, у стоявшего рядом только ощупали тощий мешок.

Тот же хрипловатый тенорок завел обычное:

– Шаг вправо, шаг влево... Всем взяться за руки, крепко. Не отставать.

Вышли за зону. Впереди и сзади – конвоиры с большими яркими фонарями. Теперь конвой спешил: – "Давай шире шаг, поезд ждать не будет". – Собаки лаяли, должно быть из-за спешки.

Под ногами клочья снега, жидкая, скользкая, вязкая грязь, лужи в колеях и выбоинах. – Набрал в калоши: чувствую холодную мокреть бахил. Пытаюсь смотреть под ноги, но это бесполезно. Справа и слева на локтях висят сопящие, кряхтящие, постанывающие. Идем сцепившись. Сзади подталкивают:

– Давай, давай... не растягивайся... вашу мать.

В темноте, разжиженной фонарями, в задыхающейся, спотыкающейся спешке не понять – много ли прошли. Впереди кто-то споткнулся, упал. Толчея... Крикливая брань конвоиров. Они возненавидели ограбленных ими арестантов. Начальник кричит:

– Кто будет мешать движению... конвой применяет оружие. Беспощадно. Не растягивайся, не сторонись. Шагай прямо! Не сахарные, – мать вашу...

Идем прямо по лужам. Внезапно вступаю в глубокую липкую, тягуче жидкую грязь. Спотыкаюсь. Почти падаю на одно колено. Рывком выпрямляюсь. С двух сторон тянут, сзади напирают. Чувствую, калоша осталась в грязи. Пытаюсь нагнуться.

– Минутку, товарищи, там калоша... у меня жар...

Но со стороны, почти рядом, тот же голос, что у вахты оскаленного белозубого.

– Кто там ложится? Опять ты, падло! Законы шукаешь?

Клацанье затвора. Панические рывки сцепленных со мной. Хотят оторваться, чтоб не задела пуля?.. Ужас – немой, холодный!.. Выстрелит? Убьет?.. Сколько прошло – секунда, полсекунды?.. Орет: "шире шаг!" Не стреляет. Злой матерный крик звучит благостной надеждой. Кажется, будто даже потеплело. На шее, на спине, на животе – струйками теплый пот. Рвусь вперед. Зажимаю локти идущих рядом. Ноги все равно намокли.

– Шире шаг!

...Вышли на открытое место. Цепочка фонарей расплывается оранжевыми пятнами в серо-белесой тускло поблескивающей мути дождя и снега. Идем по откосу. Поезд. Несколько теплушек. Оттуда крики:

– Давай, давай, скорее!

Сбиваемся в кучу у едва приоткрытой двери теплушки. Конвоиры орут, собаки рычат. Помогаю забраться стонущему старику. Потом женщине. Свистит паровоз. Меня отталкивает кто-то панически торопливый, стонущий, он с трудом взбирается, дрыгая ногами. Я хватаюсь за железный паз, по которому движется дверь. Пытаюсь подтянуться. Уперся локтем, а ноги бессильно болтаются. Сзади хохочут конвоиры. У самых глаз – грязные подошвы. Над ними красноватая теплая полутьма. Вагон вздрагивает. – У меня нет сил. – Ужас. – Поезд тронет-

ся – свалюсь под колеса... Или останусь один – пристрелят. Кажется, закричал или застонал: помогите! Кто-то сверху рванул за шиворот. Бушлат поддается, а я вишу. Сзади, снизу толкнули больно, грубо, но спасительно – взобрался, вполз. Ползу по грязным мокрым доскам. Сердце колотится у глотки. Все тело обдает влагой, то жаркой, то холодной.

Но поезд стоял... Кажется, еще долго стоял. Поездные конвоиры пересчитывали нас. В теплушке сидели на мешках, узлах, ящиках и лежали вповалку арестанты. Посередине – печка из железной бочки, мутно красный свет от раскаленных дверец. Пытаюсь подобраться ближе к печке. Ругают, отпихивают. Униженно прошу: "У меня жар, потерял калошу. Дайте посушить бахилы". – Разуваюсь, пол сырой, холодный, вытаскиваю из мешка все тряпье. Кто-то добрый дарит большие куски оберточной бумаги. Из угла вагона передали горсть соломы, дотискиваюсь к каким-то мешкам или тюкам. Не вижу лиц, не запомнил. Кто-то протянул кружку с кипятком. Пахнет рыбными консервами. Печка благостно обжигает, греет. Голоса вокруг, как сквозь толстую вату. А на мне и правда вата, – на скуле, на лбу, на шее, в ушах.

Наконец толчок, застучали колеса – мгновение счастья сильнее всех болей: – едем в больницу... Едва помню как выгружали. Ночью из теплушки в темноту, глубоко вниз, как в пропасть. Но уже не страшно, – видны огни больницы. Там всех завели в баню. Мы спали в тесном предбаннике на деревянном полу – чистом, теплом, у ласковой горячей стены.

Утром всех повели по корпусам. Меня вел высокий длиннолицый смуглый санитар. Он говорил с незнакомым акцентом. И вдруг запел в четверть голоса "под нос": "alles was aus Hamburg kommt muss gestempelt sein...". Старый шлягер 20-х годов. Иоганн – австриец из Семиградья, был комсомольцем, в 1940 г. убежал в Бессарабию навстречу Красной Армии, осужден ОСО по "подозрению в шпионаже" на пять лет. Срок уже отбыл, но "пересиживал". Он вел меня по деревянным мосткам, по свежему хрусткому снегу, я шатался, оступался, он подхватывал сзади подмышки длинными сильными руками.

Ларинголог дядя Боря, маленький, круглолицый, с седыми усиками, осмотрел очень внимательно. Я передал ему привет от доктора Нины. Он кивнул, улыбнулся, стал расспраши-

вать: кто, откуда.

– А вы в Москве такого критика Мотылеву знали?

– Тамару Лазаревну? Конечно!

– Это моя племянница.

Дядя Боря был осужден за двойное "преступление", – за филателию и за "разглашение клеветы на органы".

В двадцатые годы он ездил на международные конгрессы филателистов. В 1937 году он получил приглашение на очередной конгресс, работал тогда врачом в Ярославле. Посоветовался с начальством, как поступить. Его арестовали. Следователи жестоко избивали старика, не понимавшего, что он должен признаваться в том, чего не делал и не думал. Ему сломали два ребра, палец, вырвали ноготь...

Однако смена слоев аппарата НКВД замедлила следствие, а в 1939 г. после отставки Ежова "новая метла" вымела дядю Борю на свободу; он поверил, что все, происшедшее с ним было чудовищным недоразумением. Но год спустя его арестовали опять, уже за то, что он рассказывал лечившим его коллегам, как именно были поломаны ребра и палец. Без особых новых допросов, – обошлось несколькими затрещинами, – его осудило ОСО на 8 лет, причем великодушно засчитали срок первого следствия. Дядя Боря и в лагере продолжал собирать марки, но уже только советские и старые российские.

Обо всем этом я узнал позже. А в тот первый день, я в блаженной полудреме сидел в белой теплой приемной на топчане, застланном чистейшей простыней. После короткого опроса он поглядел на термометр. – Ого, почти 40, Иоганн, кладите его сразу на койку, все барахло сдайте в прожарку и помойте его здесь, не тащите в баню, чтобы не простудить...

От грозной цифры 40, от доброго озабоченного взгляда из-под толстых очков, от белой чистоты и тепла и роскоши – палата была небольшой, светлой, койка пружинная с матрасом рядом с печкой, – и оттого, что все люди вокруг казались приветливыми, отпустило, спало напряжение, недавний смертельный ужас расплывался, таял.

Когда я очнулся, то увидел на табуретке у койки шесть больших кусков хлеба: три черных и три давно уже не виденных белых. То были больничные пайки за три дня, "пеллагрозные". Санитар Ничипор, баптист из Полесья, называл их "белогрозные". Пока я был еще в сознании – острее, чем боли, дони-

мал голод. И вот сколько хлеба не съел. Бессильная стыдная жалость к себе. И легкая, тепловатая радость – все-таки живу...

Постепенно я креп, ел жадно и ненасытно. Больничный паек составляли 500 гр. хлеба, черного и белого, – на завтрак чечевица или овсянка, на обед постная баланда из картошки, брюквы, моркови и кусок селедки. На ужин опять овсянка или чечевица. Как дополнительное лечебное питание против пеллагры нам выдавали дрожжи, выращенные на осиновых опилках, и горчицу, которую мазали на хлеб и на дрожжи. Пили кружками хвойный настой. Вскоре я получил из дому посылку и деньги. Поручал санитаркам покупать картошку, молоко, махорку. Присылали еще и газеты и книги, а главное – письма, письма от родных, от друзей. Все ободряли, уверяли – теперь скоро, совсем уже скоро, дело вот-вот рассмотрят, все выяснится, произошло "дикое недоразумение".

Больницы Унжлага славились замечательными врачами, хорошим оборудованием; и они же были пристанищами искусства. О начальнике лагеря – полковнике П. рассказывали, что он завзятый меценат – приказывает специально отбирать в тюрьмах артистов, музыкантов, художников и очень гордится тем, что его унжлаговская художественная самодеятельность считается чуть ли не лучшей по всему ГУЛАГу. Ведущих артистов постоянно содержали в больнице, числили их выздоравливающими или санитарами, там и питание было получше и работы поменьше.

Николай Николаевич В., – бас, народный артист из Минска; в годы оккупации пел в концертах для немцев, даже гастролировал в Берлине; он был осужден на десять лет. В больнице он состоял в должности санитара, но занимался только театром, ему разрешили доставить из дому рояль, который установили на "сцене" в столовой. Он руководил всей художественной самодеятельностью лагеря.

Высокий, статный, седые волнистые кудри, светлые глаза в красноватых веках, вяло измятое, но все еще красивое, крупно вылепленное лицо самоуверенного любимца публики. Он рассказывал, что, хотя и вынужден был петь для немцев – а то, ведь, и повесить могли бы, я ведь, раньше в партии состоял и

депутатом был Верховного Совета Белоруссии, – но пел патриотически. Я, можно сказать, по своему партизаном был, я им бывало Стеньку Разина – они обязательно требовали "Стэнка Разин, муттер Вольга", – так ревану и по-дьяконски и по-мефистофельски, так кулаками взмахну, чтоб знали фрицы, что такое русская удаль... Они прямо головы в плечи втягивали.

Дневальными числились два заслуженных артиста, тоже певцы. Начальник лагеря особенно любил оперу и оперетту. Баритон Анатолий Г. из Харькова попал в агитбригаду прямо из камеры смертников, где просидел два месяца, осужденный на расстрел, как участник бендеровской боевой группы. Молодой, чернобровый, кареглазый; ухватки первого парня на деревне. Умный, насмешливый, жестковатый, даже злой, он почти не зависел от осанистого, велеречивого, но безвольного и трусоватого худрука. О своем деле Анатолий говорил немногословно. "Намотали по дурочке; план выполняли по очистке ближних тылов от элементов. Ну и нашли подходящих сопляков-засранцев, те им в таком напризнавались, что старший следователь, наверное, орден Ленина заимел, а зато нас – полдюжина вышку получили, вот и я с ними. Все такие же казаки: два лабуха из оркестра, скрипач и трубач, один учитель с жинкой и одна студентка – сумасшедшая девка. Нет, вправду психованная, она с немецким офицером женихалась, а потом и каялась и на себя накапала и на всех, кого знала и не знала..."

Тенор Коля Ш. – москвич был и первым любовником драматической труппы. Его арестовали еще до войны за анекдоты, получил пять лет, разменял последний год, он уже был бесконвойным, и очень боялся, что оставят "пересидчиком". Все, кто пересиживал после окончания срока, немедленно лишались бесконвойного пропуска. А у Коли в поселке были подружки, говорили, что в него влюбилась дочь начальника лагеря – студентка; отец отправил ее в Москву, не дождавшись окончания каникул, а Коле пригрозил, что намотает новый срок.

Он был очень пригож, "соловей Унжлага", избалован женщинами, и откровенно самовлюблен. Он капризничал, томно хандрил и смертельно трусил, пугаясь начальства, блатных, заразы...

Московская балерина Сонечка, худенькая, умненькая, влюбчивая, – Ш. жаловался, что она его преследует, – сидела

уже почти семь лет, – из десяти, – как ЧСР (член семьи репрессированного). Ее мужа, командира корпуса, расстреляли в 1937. В Кеми она работала на лесоповале, потом заболела, стала подругой врача-заключенного, он ее сделал медсестрой, а в Унжлаге она „вернулась на сцену". Она была балетмейстером, и сама плясала в концертах, в народных танцах. Когда ей разрешили исполнить соло „Умирающего лебедя" Сен-Санса, она плакала от счастья, репетировала по ночам, а после концерта слегла на неделю—нервное истощение. В больнице она работала сестрой в бараке мамок.

– Знаете, физически это не трудно, у нас почти все здоровые девки, да если кто заболеет, рядом другие корпуса... Но морально такой ужас... Это невозможно себе представить.

Но я понял ее в тот вечер, когда "центральная труппа" показывала спектакль "Власть тьмы" на маленькой сцене в столовой больницы. В этой столовой кормились только обслуга, немногочисленные работяги и мамки, и она была куда меньше, чем столовые рабочих лагпунктов, где в каждую из двух-трех смен усаживалось по несколько сотен едоков.

В зрительном зале преобладали женщины. Меня пригласил Коля Ш., игравший Никиту. Он очень хотел "показаться" профессиональному критику – москвичу. Я еще только начал ходить по корпусу; но перед его натиском не устоял бы, наверное, и паралитик. Тайком от докторов, я пошел на спектакль в чужих штанах, чужом бушлате и с забинтованной головой – для тепла и для маскировки. Сперва я блаженно радовался всему. Неимоверная давка, толчея, брань, чадный дым самосада; зрители сидели на скамьях, на полу, на столах, сдвинутых к стенам. Но вот и здесь, и этих злосчастных людей влечет искусство...

Занавес из какой-то пестрой дерюги с аляповатыми картонными аппликациями тронул неожиданным сходством с театрами 20-х годов, с самодеятельными "синими блузами". На сцене, в крохотном тесном пространстве, были вполне пристойные декорации, состряпанные из нескольких фанерных щитов и холстин. И самая большая радость – живое толстовское слово.

Вот только публика... Рядом со мной усталые работяги передавали из рукава в рукав махорочные бычки. Хриплый шепот.

– Сказано вам, здесь не курят.

–Ладно, ладно, потяну в последний раз...

Но они слушали внимательно. А несколько мамок все время лопотали – молодые, горластые, у всех платки до бровей, повязаны, словно по единой форме. Они состязались в "остротах", комментируя происходившее на сцене.

– Эх, ты, лярва дура, он же тебя поматросил и забросил... Шо ты его фалуешь... бей меж рог и порядок будет... Ну и чего психовать, теперь в декрет пойдешь, пайку прибавят...

На них шикали:

– Эй вы, шалашовки, потише, не мешайте слушать.

Но они либо не обращали внимания, либо огрызались.

– А ты смотри туда, на сцену, раздолбай! Поверни голову, а то мы тебе ее отвинтим, вставим в задницу и скажем: так было.

За каждой такой шуткой взвизги, хохот.

Диалог Никиты и Марины то и дело прерывали сипловатые блядские голоса:

– Да не скули ты, оторва... Врет он... а она, дура, верит... Так ее, засерай мозги!..

Снова и снова дикое гоготанье. Такое же, как тогда в банный день в женском бараке.

Еле досидев до антракта, я поплелся в корпус. Не осталось и следа недавней короткой радости.

Я уже не понимал, хорошо ли играли. Живое слово, звучавшее со сцены, было заглушено, захаркано. Молодые женщины, матери, гогоча издевались над страданиями, над молодой женщиной, которая ждала ребенка, издевались над собой, над своими страшными судьбами.

На следующий день я рассказал Коле, как сперва было умилялся, а потом ужаснулся от гнусного хохота и сомлел от духоты.

Он сочувственно кивал, нервно оглаживая опрятную телогрейку, кокетливо обшитую полосами клеенки.

– Да, да, я вас понимаю: как интеллигентному человеку это мучительно, это невыносимо, Но мое спасение на сцене, в игре... Когда я на сцене, я слышу только партнеров и еще только внутренний голос моего образа, моего героя. Вы понимаете? Иногда в паузах я замечал, что в зале хихикают... Раньше это, вероятно, задело бы. Но ведь здесь кто, – скоты, шобла, чернь, да, да, именно чернь. И, все же надо играть, я не могу не играть.

И вы заметили, что я выкладываюсь весь, я вживаюсь в роль, в моего героя и радуюсь, или страдаю уже не с ним а в нем... И вы заметили, ведь никакого искусственного наигрыша, никакого педалирования, а все только изнутри, всеми потрохами. И это даже скотов пронимает. Жаль, что вы не досидели вчера. Нам устроили форменную овацию...

Много позднее я узнал о кощунственном, карнавальном, смеховом вытеснении душевной боли. Но тогда я испытал только испуг и омерзение.

Кроме центральной агитбригады действовали еще несколько местных кружков самодеятельности на лагпунктах и, разумеется, в больнице. К весне я окреп. Жил в корпусе в палате выздоравливающих, долечивал хвори, временами обострявшиеся от каждой простуды, но уже постоянно работал в лаптеплетной мастерской. Правда, я так и не научился заканчивать лапоть, выплетать аккуратный носок; но все же кое как управлялся с кочедыком – единственный инструмент лаптеплета, – и пятки получались ладные, и большая часть головки, я даже внес рационализаторское предложение: мы разделили труд – неквалифицированные лаптеплеты, таких нас было четверо, пятеро, – делали заготовки, на половину, на две трети целого лаптя, а наш главный мастер, сухощавый старичок волжанин, сидевший еще с "ягодиных" времен, быстро завершал. И тогда получалось, что он легко выполнял дневной урок на 150-180 процентов, мы кое-как дотягивали до 100 процентов, и у него еще оставалось время и сырье для индивидуальных заказов. Он плел остроносые, аккуратные лапотки с "каблучками" и крашеными рантиками для женщин зека и для жен вольнонаемных. В конце зимы меня зачислили на "курсы медсестер и медбратьев". Действовало ОСИ, но мне еще очень помогли сомнительные,– однако для местных медиков необычайные, – знания латыни. Нас обучали распознавать дистрофию, пеллагру, дизентерию, цынгу, аппендицит, воспаление легких, накладывать жгут, делать повязки, фиксировать дощечками сломанные руки и ноги, ставить клизмы, делать подкожные и внутримыщечные уколы (до внутривенных я так и недозрел), разбираться, в основных медикаментах: – что давать "от живота", "от головы", "от сердца", чем мазать обычные раны, ссади-

ны, чирьи, а чем не обычные – цинготные, пеллагрозные...

Тогда же я начал подвизаться в самодеятельности – участвовал в подготовке большого майского концерта. В одноактном водевиле я играл влюбленного ревнивого студента, подруга которого нянчилась с младенцем – племянником, а он заподозрил и т.д. и т.п. Но главным делом было сочинение рифмованных текстов для хоровой декламации и частушек, имевших наибольший успех. "Меня милый фаловал, про любовь мне толковал, А я сидела – слушала, четыре пайки скушала". Или: "Если хочешь быть здоров, не просись у докторов. Придурись у поваров – будешь весел и здоров".

Однако, частушки исполнялись всего один раз, их запретил начальник КВЧ за "идеологически вредные настроения и подражание блатным песням".

Концерт состоялся в первую годовщину победы. Хор заключенных пел торжественные, ликующие военные песни, народные, любовные, веселые и нежные, и печальные, озорные. С этой сцены, давно знакомые, они звучали трагически многозначно. "Дорогая моя столица, золотая моя Москва...", "Жди меня, и я вернусь...", "Повий витер на Украйну, де покинув я дивчину...", "Давай закурим, товарищ по одной...", "В каждой строчке только точки..."

Еще до концерта было происшествие, о котором долго потом судачили в лагере. После торжественного собрания, происходившего в клубе за зоной в присутствии самого начальника лагеря, выдавались премии "рекордистам" – лучшим рабочим лесоповала, деревообделочных и швейных фабрик, инженерам, техникам и некоторым врачам. Начальник благодушествовал, он тоже получил из Москвы премию и благодарность за перевыполнение планов. Он произнес речь, в которой наставлял врачей – "Лечить надо не так порошком, как пирожком... Кормить надо так, чтобы вовсе не было доходных, а только справные работяги".

Вызвали на сцену вольнонаемного бригадира лесорубов, осетина Ассана. Он отсидел несколько лет за бандитизм, был освобожден досрочно за немыслимые рекорды, – выполнял по три-четыре нормы в день без "чернухи". Оркестр из двух гитар и нескольких балалаек, домбр и мандолин наяривал туш; Ассану вручили карманные часы с цепочкой. Но еще не отзвенела последняя нота бодрого туша, как он широкой лапой отодви-

нул награждавшего офицера, подошел вплотную к столу, накрытому кумачом, – а он в старом темном бушлате, сутулый, небритый, из густой бурой щетины торчал большой ястребиный нос, – положил часы перед начальником и заговорил, все более разгорячаясь.

– Забери часы, гражданин, товарищ полковник. Забери. Сыпасибо. Красивый слово – премия. Но часы у меня уже есть. Три часы есть – нет четыре. На руку два часы, в кармане один часы, на стенке один часы и еще будильник, – тоже часы. И еще два часы я сам бабам подарил. Не хочу, не надо.

– Правильно, Ассан. Головотяпы тебя премировали, я с них стружку сниму, это уж не беспокойся. А ты говори, чего хочешь? Чего тебе нужно? Одежка у тебя не праздничная. Получишь костюм, драповое пальто.

– Не надо кустюма, начальник. Не надо пальто. На хрена пальто. У меня все есть. Три кустюма есть, два пальто есть, может больше. Я тебя прошу другая премия, настоящая премия. Законвоируй меня обратно. Хочу назад в зону.

– Ты чего мелешь, чудак? Ты ж свободный гражданин.Ты давай по-рабочему, критикуй, вноси свои предложения, пожелания. Объясни, какие именно трудности. Мы поможем.

– Хочу в зону, понимаешь? Хочу жить, как человек. Когда я был зека, я в лесу давал рекорды, а приходил в зону, имел чистую кабинку, имел хорошее питание. Горячий обед, приварок, хлеб от пуза. Всегда сытый был. Хотел – выпить имел. В кабинке чистая постель – простыня, подушка – первый срок. Бабы имел красивые, чистые – сколько хотел. Не шалашовки какие, а молодые, городские девочки имел, хорошие самостоятельные женщины. Хотел вольное барахло – купил. Знакомый урка пулял, хоть самый заграничный пинжак. Гроши имел не считал... А теперь што? Кушать хочешь, – карточки надо. Готовить некому. Обедать иди в столовка – стой очередь. Обед совсем говно. В зоне такой обед только последний доходяга хавать будет. Зарплата получать – стой очередь; а там заем берут, налог берут. Что осталось – хрен сосать. Бабы на воле тут вовсе плохие бабы – только бляди без совести. Одна была – хорошие вещи забрала, в чемодан, уехала к маме в Сибирь. Другая пришла, смеется – там никакой мамы, одно мошенство. Теперь я на мешках сплю. Не подушка – бушлат. В зоне у меня ни одна вошь не была, каждую неделю белье менял. А теперь я

вшивый стал, вот смотри пожалуйста... Возьми обратно в зону, начальник, я на совесть работать буду, я пять норм давать буду. Забери, пожалуйста, по-хорошему. А то я психану, убью кого-нибудь, большой срок получу, в другой лагерь повезут.

Просьбу Ассана не выполнили, во всяком случае за те месяцы, пока я еще оставался в Унжлаге. Говорили о нем по-разному, кто со злостью, – "вот быдло, сам на цепь просится", – а кто и сочувственно: "Ну, а что делать бедняге в чужом краю одному? На что ему его куцая свобода? Только пропадать"...

У нас в корпусе лежал мастер леса, заключенный с 1937 года. Образованный экономист. Слушая разговоры об этом "молении о зоне", он объяснил нам, что жизнь вольных работяг в леспромхозах, находившихся в тех же районах, что и лагерь, как правило, хуже, чем у заключенных и чем у военнопленных, и у трудмобилизованных женщин – то были немки с Поволжья, работавших в тех же лесах. Но зато и себестоимость леса в лагере самая высокая.

– Ведь в леспромхозе расходы какие? На производство, на зарплату, ну и там кое-какое обеспечение. А в лагере, когда в лес идет сто работяг, то в зоне хорошо, если столько же обслуги, придурков. А больных, инвалидов еще больше. К тому же расходы на охрану, на разное начальство, на вольнонаемных. Зэка зарплаты не получает, но сколько на него тратится? Чтобы его кормить, одевать, обувать, охранять, лечить, перевозить? Это ведь больше любой зарплаты набегает. Конечно, самому работяге вряд ли четвертая-пятая часть достается от того, что положено. Ведь по дороге столько липких рук. Все прилипает – и харчи, и барахло, и деньги. Но на стоимость кубометра все это ложится. А тут еще и знаменитая чернуха и туфта, – на бумаге полторы нормы, а на делянке, хорошо, если половина. Никакие вольные на такое очковтирательство не осмелятся. В общем, деловой лес тут стоит столько, что дешевле было бы из Канады возить.

Это был, кажется, первый конкретный урок практической экономики, основанной на „социалистическом" рабском труде. Запомнился он прочно; однако, тогда еще не повлиял на общее мировоззрение.

Двадцать восьмая глава

НАСЕДКИ–СТУКАЧИ

Когда в больнице ко мне внезапно пришел Петя-Володя, я сперва струхнул, – конечно же, он и здесь будет стучать, а, может быть, и специально из-за меня перебрался с лагпункта. Но он глядел неподдельно тоскливо, был очень истощен.

– Дохожу, браток, видишь, десны черные, зубы шатаются, ноги в пятнах. У немцев не дошел, а у себя на родине скоро в деревянный бушлат...

Глаза уже не таращились нагло; словно уменьшились, потускневшие, ввалившиеся. Длинные грязные пальцы дрожали.

Я дал ему хлеба и оставшуюся от посылки крупу геркулес. Он благодарил многословно, порывисто, но без подобострастия, искренне, даже всплакнул.

– Ты же знаешь... Я сам знаю... Я понимаю, как ты про меня думал... но ты сейчас поверь, я с тобой, как с братом... Ты пойми, я тоже человек... Меня жизнь как калечила... Разве я так жил, как хотел... Я ведь тоже имею понятие. Я ж хочу, чтобы жить по-человечески, по-советски, по-честному. Я тебе навсегда благодарен. Ты поверь...

А я прерывал его такой же косноязычной невнятицей: – Ладно, ладно... Ты главное – держись, не теряй лицо. И, как говорится, не делай другому того, чего себе не хочешь... Кто старое помянет... Думай про завтра, не про вчера... Никогда не поздно стать человеком, пока живой...

Скоро меня отправили в другую больницу. Больше мы не виделись.

В тюрьмах боялись наседок, о них перешептывались. В лагере о стукачах говорили вслух. Называли их тоже "наседками", но еще и "подкумками", просто "гадами" или "суками". Хотя это определение было шире, так называли всех бывших воров, которые "ссучились", т.е. стали "придурками", самоохранниками.

Эти нижайшие слуги великого государства, такие же бесправные, как и все заключенные, такие же униженные и нередко так же бессмысленно неправедно или непомерно жестоко осужденные, в то же самое время были действующими винтиками жестокой карательной машины, которая кромсала и их жизни. Они служили ей за жалкие подачки, служили за страх, – о совести говорить не приходилось, – хотя их служба нередко бывала опасной. В лагере топор, лопата, кирпич становились орудиями неотвратимой мести.

Мне было занятно выспрашивать стукачей; я хотел уразуметь, что именно довело их "до жизни такой". Это было настойчивое и недоброе любопытство, родственное тому, которое в детстве побуждало увлеченно читать описания пыток и казней и эротических сцен, а на фронте и в тюрьмах заставляло подолгу разговаривать именно с теми, кто казался особенно жестоким, бесчеловечным. Такое любопытство питают разные источники, разные корни, должно быть самые глубинные, можно проследить только по способам Фрейда. Но ближе всего к поверхности, видимо то еще в мальчишестве забрезжившее романтическое влечение к необычайным людям и необычайным злодеяниям. Однако, сказывался еще и неизменный завет Короленко: "Ищите человеческое в каждом человеке".

Маленький, тощий, серолицый, в длинной до пят шинели и синей кепочке. Сапоги на толстой подошве, на высоких каблуках.

Был на фронте младшим лейтенантом – связистом. Попал в плен в августе 1941 года еще у Смоленска. Голодал, "доходил". Пошел к власовцам. Дезертировал во Франции: был у французских партизан, участвовал в нескольких нападениях на немецкие тылы. Считал, что искупил плен. Поехал домой с чистой совестью. Прошел первый "фильтрационный"лагерь. Восстановили звание. Пустили домой.

На вокзале в Москве подошел какой-то в макинтоше. „Здорово! Ты в Нойхаммере в шталаге был? Ну, был... В каком блоке? Помнишь конопатого?.." то да се. А тут еще двое, гражданские польта, но с под них сапоги хромовые. "Пройдемте на минуту..." Вокзальное отделение. Проверка документов. Этого в макинтоше больше и не видать. А меня сразу в Бутыр-

ку. Трое суток в боксе. Потом – распишитесь, ордер на арест, статья 58 пункт 1 б – измена родине. Следствие как положено, туда-сюда: того знал? Этого знал? Почему не застрелился, а в плен пошел? Кто научил изменять родине? С каким заданием пролез в партизаны? С каким заданием прибыл на родину? С каким и от кого – от американцев или от французов? Признавайся... твою бога мать! Признаешься – жив будешь, не признаешься – полжизни отнимем, сгниешь в тюрьме. Туда, сюда... в морду... по ребрам... в кандей с морозом, в кандей с водой... Подписал измену, а шпионаж не подписываю. Хоть убивайте, а я родину люблю; за родину, за Сталина жизнь отдам... Плюнули. Закруглили... В трибунал... Ну, там, конечно, вежливо, на вы, чин-чинарем. Признаете себя виновным? Я обратно за родину, за Сталина. Туда-сюда, десять минут разговору. Меня уводят за дверь, через пять минут вертают... Уже мой приговор готовый и на машинке напечатанный. Не слыхал, правда, как стукали. 10 лет и пять по рогам. Вопросов нет?

Так вот я тебе скажу, как фронтовик фронтовику. И в лагере жить можно. Кто, конечно, лопоухий, станет права качать, рогами упираться, тому и рога обломают и дадут такой жизни, что сам умирать схочет... Тут свои законы, а правильней сказать – кто имеет голову, тот имеет законы. Тебе скажут про меня, что я наседка, что меня кум назначил банщиком, и ты будешь думать, что я гад, сука продажная... Но ты не верь и слушай, что я тебе скажу, как фронтовик фронтовику...

Правильно, я имею связь с опером, его тут кумом называют. Имею, как я – патриот, был комсомольцем. Пусть я теперь заключенный, но я о себе все равно понимаю как о патриоте. А он кто есть? Уполномоченный оперчекистского управления, вот кто, а здесь в лагере врагов народа полно. Есть, конечно, и такие, как мы с тобой... Но сам знаешь: война ведь, бдительность нужна! Когда такую сеть заведут, так гребут и виноватых и невиноватых, если не туда попали. Потом еще разберутся кто – кто... Но ведь я людей понимаю... Я образование имею, перед войной кончил техникум связи... А еще больше жизнь научила. Был и в Крыму, и Рыму, и в Германии и Франции. Парле, ву, камрад? Тре бьен... донне муа пан эван, силь ву пле... Альман бош кошон, рюс тре бьен... Вив ля Франс... Вив ля Рюс... Вот видишь? Ага, и ты можешь? Я тебя сразу угадал, что ты за человек, и к тебе со всей душой, как фронтовик к фрон-

товику... А всех этих полицаев, бендеровцев, настоящих изменников , шпиенов, диверсантов, троцкистов, власовцев – ну, всех врагов народа я ненавижу, как самих немцев; так бы и душил их всех гадов!.. А на тебя я стучать не буду, ведь сам понимаю. Ну, конечно, если кум спросит, что и как, скажу туда-сюда, свой человек, патриот родины, выдержанный, моральный, все как положено, чин-чинарем. А если вижу, кто гад, падло, вражина и еще права качает, тому хана, он у меня кровью срать будет, на штрафном подохнет...

У тебя тут кто кореши есть? Один только? Как звать? Костюхин. Он где, маляром в зоне? А что за мужик? Свой?.. Партийный был? В плен попал ранетый?.. И подался в шпиенскую школу, чтобы к своим перейти? И ты ему веришь?.. Ага, он в кацете сидел? В Штутхофе? Знаю, слыхал, Это вроде Бухенвальда... смертный кацет? И он еще не сужденный, как ты? Ну что ж, разберутся... Говоришь, он патриот, свой... Могет быть. Но я тебе, как фронтовик фронтовику, скажу: ты здесь ушами не хлопай, никому не верь. Один кореш – ладно. А кто к тебе еще будет клеиться, не верь, приди ко мне, я тебе за каждого скажу, чем кто дышит... Вот повар – моряк, говорит, что капитан, но я знаю – свистит, он в мичмана еще не вышел. Этот за убийство и грабеж. Он всех нас, кто по 58-й ненавидит. Вот он – стукач, наседка и гад... Его остерегайся... Хлеборезка Клавдия, она с Москвы, артистка, у нее 10-й пункт за анекдоты. Баба интересная и самостоятельная, живет с комендантом. Она тоже ходит к оперу. Она интеллигентка, хитрая. Ты стерегись ее, ты тоже москвич. Начнете туда-сюда... Если она сама не стукнет, так ее муж – он ревнивый. Что стукнут? А что схочет. Он такого придумает, что тебе и не снилось. Он комендант из зэка, старый лагерник еще с довойны; семь восьмых... Не знаешь, что это такое? Эх, ты, олень-олень, тебе еще учиться надо. Семь восьмых – значит указ от 7 августа – хищение государственной собственности. Вышка или червонец – меньше не положено, а он был начальник всех вагонов-ресторанов, не помню, на какой дороге. Туда-сюда насобирал миллион; дачи свои имел и в Крыму и в Сочах; свой вагон, своя машина, три жены в разных городах... Это, брат, мужик такой, что мы с тобой только в кино видали. Его стерегись... его сам кум уважает, потому его знает начальник всего оперчекистского управления лагеря... Понимаешь, какие пироги... Ну, есть еще кой-кто и в

бухгалтерии и с дневальных, потом художник Алексей из Ленинграда, хлебные карточки рисовал. Вышку имел, так он очень сильно испуганный. Он в блокаде еще опух. На следствии ему приложили. Потом три месяца в смертной камере сидел. Каждую ночь ждал... Ну, он тогда напугался так, на всю жизнь и теперь, что ему кум скажет, то и подпишет. Он так не вредный, но с перепугу себя самого заложит.

Вот видишь, я тебе все объяснил... Как фронтовик фронтовику... Ты меня держись, не проиграешь. Бери, закуривай, это табачак классный, тут один баптист-западник продает, рубль стакан. Они, баптисты, сами не курят, а табак им шлют посылками специально на продажу... Вот, скажи, где буржуазные души...

Схочешь вне очереди побаниться, приходи, я тебе и белье подберу первого срока и мыло дам с походом, как фронтовик фронтовику. У меня и газетка есть, из КВЧ беру, я ж не в бараке живу, а в кабинке при бане. Заходи, чифирком угощу.

Он говорит, говорит, почти беспрерывно. Спрашивая, нетерпеливо слушает, спешит перебить, и опять говорит сам... Глаза маленькие, серенькие, остренькие, смотрят пристально, пытливо и просяще, все время ловят встречный взгляд...

Зачем ему такая откровенность? Что это, особый хитрый прием? Грубоватая провокация?

А, может быть, ему просто хочется хоть кому-нибудь открыться, может быть, ему приятно помогать, покровительствовать без недоброго расчета? Либо думает: все-таки майор, москвич, пока не осужденный, вдруг выпустят, – и там, на воле будет влиятельный приятель?

И с явным удовольствием повторяет: "как фронтовик фронтовику".

Розовый, круглолицый, лысеющий с висков; тонкие усики над пухлым ртом; опрятный бушлат на вате, перешитый из шинели, стеганые бахилы в сверкающих калошах... Приветлив, но держится самоуверенно. Говор певучий, южный... Поблескивают золотые зубы.

– Или я не вижу, с кем говору?! Рыбак рыбака видит здалека. Вы москвич? Но, простите, на личность или кавказский или с наших... Ах, фун киевер йидн... У меня двоюродная сест-

ра замужем в Киеве... У нее муж бухгалтер в большом тресте, может, слышали, Укрдержбавовна?

Я тоже был на фронте. Третий украинский при штабе стрелкового корпуса... Может, слышали, генерал-лейтенант Сиволапов, геройский генерал, чтоб я столько лет жил, сколько у него орденов и медалей... Работал, конечно, по специальности. Я мастер высшего класса. До войны в отеле "Интурист" работал, так, верите, жил так, чтоб мои дети и внуки так жили, как я жил. Своя дачка, может, слышали, на Большом Фонтане, на двенадцатом. Жена имела и манто, и шляпки, и жили, как говорится, так, что икра пусть будет черной, но чтоб хлеб, таки да белый.

Вы Одессу знаете? Когда были? В 34-м... Ой, так вы ее не узнаете... Красавица была и еще красивее стала... Правда, конечно, разрушили немцы и эти мамалыжники... Но Одесса, это же город на весь мир... Как говорится, Одесса мама, а Бухарест — помойная яма...

Чего я здесь? Ой, лучше вам не спрашивать, а мне не споминать. Как говорится, знал бы где упасть, так постелил бы мягкое, а я говорю, так и не падал бы совсем... Ну, были в Румынии. Там же такая спекуляция — кошмар, там все эти бояры и домны и домнишары, — чтоб они посдыхали, — все продают, все покупают, хуже, чем при нэпе... У моего генерала адъютант, капитан Алеша, красивый такой из себя, блондин, — с Куйбышева, или с Кирова, или с Молотова, не помню, с какого вождя, — он завел себе одну домнишару, боярскую бабу, потом другую, третью, и ему, конечно, нужно что-то иметь и в кармане, и на столе, и не знаю, где еще. А мне он говорит: нужно сделать для генерала. "Ты ж, одессит, Мишка!" Это, может слышали, песня такая, а зовут меня вообще Сема — Семен Израилевич. Ну, сходи до тех румын... Имеем трофеи, берем леи. Я и ходил. Чтоб я так жил, если я имел от этого что-нибудь, кроме цоресов... Но Алеша говорит: нужно для генерала, и за это тебя демобилизуем досрочно. И я ходил от него до румынов, от румынов до него... И таки взял меня комендантский патруль у румын, в ихнем шалмане. Взял, но я был чистый, как стеклышко, при мне, как говорится, ничего трефного, только трое часиков... И румыны все, дай Бог им здоровья, говорят: мы его не знаем, видим в первый раз, чего хотел, не понимаем, думаем, хотел что-то купить... А я говорю: хотел купить себе часы... Почему трое часиков? — Очень просто: для себя, для жены и для друга. Спросите, говорю, у капитана Алеши, он же знает,

кто я такой. Они делают обыск у меня на квартире и находят нажитого, как у всех. Может, раньше немножко больше было, так я, слава Богу, случайно уже отослал домой... Но Алеша этот, – чтоб он сдох, как собака, – пришел до меня в КПЗ, говорит: "Сема, держись, и ничего тебе не будет, генерал за тебя знает, он, как отец, и благодарность имеет за твою работу, а ты имеешь заслуги, ты же ранетый, – это меня на Буге еще угодило с миномета, – и награжденный, так что ни о чем не беспокойся и не путай никого, и тебе ничего не будет."

Что же вы думаете, я верю этому босяку за его голубые глазки, – насрать бы в эти глазки, – и держусь за свои часики... Мне приводят на очную ставку одну румынскую сволочь, которая колется и говорит, что я продавал ему трофейную кожу и имел с него золото, а я смотрю на него обратно же голубыми глазами и говорю: никогда не видел, ничего не знаю, врет румынский фашист. Следователь мне потом прямо нахально передает привет от капитана, и я держусь, и в трибунал меня не тянут... Но вдруг, – здрасте, я ваша тетя! – новый следователь в очках, мотает новое дело – сношение с иностранцами, подозрение в измене родине. Я, как говорится, горю синим огнем, не сплю, теряю за неделю, наверно, десять кил. От моего Алеши, чтоб он сдох, ни слова, ни полслова, Потом опять же вдруг –заканчивают следствие и уже говорят: за самовольную отлучку и сношение с иностранцами без измены родине. Никакого трибунала. Пускают по ОСО, везут сюда в лагерь и здесь я расписываюсь – получите срок и можете говорить спасибо: пять лет без статьи, а только буквы: СОЭ – социально-опасный элемент... Кто опасный? Кто элемент? Я же при советской власти вырос, я от нее только жизнь имел и какую жизнь, – чтоб мои дети и внуки такую имели! Я кровь проливал и я социально-опасный?

Ну, здесь в лагере я живу приличнее других. Имею специальность и голову имею. Брою все начальство и стригу так, как их в Москве не постригут, и женам ихним перманент и холодную завивку, и все это, имейте в виду, за спасибо, хорошо, если кто закурить даст...

Но я, между прочим, от них не нуждаюсь, умею жить, как говорится, организм просит свое... Я же должен каждый этап встречать, всех стричь, мужикам еще и головы и бороды, а бабам только под мышками и на передке. Так я их вижу, как говорится, в полной натуре, и ведь я же не голодный, не дохо-

дяга, организм, как говорится, в порядке, на все сто... Ну, я и пригляжу себе ту, другую... Не нахальничаю, не обещаю сорок бочек, но что говорю, то даю. На тебе, цыпочка, хлеба, кашки от пуза, если куришь – табачку, одеколончиком брызгайся, пудру имею, конфетки есть... Кушай, сколько хочешь, и с собой дам, я не скупой, особенно, если красивенькая. И мне удовольствие, и ей не вредно... Я мужчина чистый, вежливый аккуратный. У меня, знаете, какие бывали? Жена Тухачевского! Правда, чтоб не врать, у нас тут в лагере есть аж четыре жены Тухачевского. Кто знает, которая настоящая? Но та, что у мине была, дамочка экстра-класс. И секретарша Косарева была, царь-баба, и такая партейная! Была даже одна настоящая графиня с Польши...

Так что пусть говорят: транзитник- транзитчик. Я не обижаюсь. Мне ихняя самостоятельность до лампочки... У них тот называется "самостоятельный", кто имеет одну постоянную лагерную жену. Ну и что? Все время трусись, кто стукнет или надзор сам закнацает, и заметут в кандей – в трюм*, значит, – а потом на другой лагпункт. Опять, значит, разлука, опять мучайся... А пока не замели, так она с тебя все жилы тянет, а ты на нее вкалывай; или с другим крутит, а ты хоть подохни с ревности, но сказать не можешь, – опять погоришь. Нет, уже лучше транзитом. И организму сладко, и душе легко... Как говорится, сегодня здесь, а завтра там, не скучай ни ты, ни я...

И почти не меняя интонации.

– Ой, у вас тут книжки... Сразу видно культурность. Я тоже любитель читать, обожаю нашу советскую литературу – Горький, Куприн, Эренбург. Это же, как говорится, классика... И газеты вы з дому получаете?.. Ну что вы скажете за этого Черчиля? Читали, какую речу загнул? Ой, не говорите, что это старый враг. Он же был наш союзник, кореш и все-таки, как говорится, он имеет копф на голове... Так вы думаете, что нам не надо бояться? Такие вы уверенные?.. Говорите прямо так, как в газете пишут, сразу видно культурность...

И опять так же без перемены интонации.

– А вы молоко где покупаете? В хлеборезке? А что скажете за разные цены? Вы по какой, по первой цене берете или по второй?

Это был вопрос не менее важный, чем о Черчилле. Лагер-

---

*Карцер

ная хлеборезка служила по совместительству и торговой точкой. Заключенные могли купить молоко, картошку, морковь, табак, которые сдавали на комиссию колхозники или семейные охранники, имевшие свои хозяйства. Жена местного "кума" имела корову и тоже продавала молоко заключенным через хлеборезку. Но всегда по более высокой цене: по 10 рублей литр, когда у других было по 8, и по 12 когда у других по 10. Установился такой порядок: пока не продано ее молоко, не продают более дешевого. Хлеборез ходил к более "богатым" заключенным и просил выручить. Нас было несколько таких лагерных "богачей", получавших деньги от родных, и мы по очереди выручали...

Семен глядел неотвратимо ласково.

— Ну, вам хорошо, что вы имеете эти два рубля и можете покупать по первой цене, а что другие люди говорят?

Коротко и непечатно характеризую отношение к лагерной трепне.

— Ой, вы, как говорится, еще имеете гордость... Чтоб вы были так здоровы. Может, дадите почитать хорошую книжечку за любовь или за геройство? А это московские папиросы? Спасибочки... И от конфетки не откажусь. Правильно живете, сразу видно, есть копф на голове.

Он заходил в корпус, где я работал медбратом; любопытствовал, нельзя ли разжиться спиртиком, ампулой морфия, кофеинчиком... Ни спирта, ни лекарств я ему не давал, глядя изумленно: — разве можно такое без рецепта, у меня и ключа от аптеки нет, — но каждый раз угощал папиросами, конфетами и на все вопросы о Черчилле, об атомной бомбе, о плохой жизни в колхозах отвечал цитатами из газет.

Он слушал, хитро щурился, улыбался еще слаже.

— Ой, у вас-таки, как говорится, есть копф на голове. Что значит культура.

Один раз пришел таинственный.

— Имею говорить — между нами. Как узнал вас с наилучшей стороны. Я, знаете ли, брою все начальство и опера тоже брою. Он, конечно, фонька, но не вредный, простой, справедливый для хорошего человека... Я ему как-то говорил за вас, какой вы культурный и политически подкованный... Так вот он просит, — но это между нами, сами понимаете, — чтобы вы написали для него доклад за между-

народное положение на сегодняшний день. Вот бумага... Тетрадочка, чтоб как раз на тетрадочку и чтоб разборчивым почерком. Ну, такой доклад, знаете, для партейной школы. И еще к нему вопросики, штук десять, чтоб, значит, школяры знали, чего надо спрашивать; ну, еще ответы, конечно... Все вместе на тетрадочку и разборчиво.

Доклад я написал. Семен неделю спустя так же таинственно говорил:

– Они довольны; даже сказали "очень хорошо". И вот что я для вас имею: я случайно узнал, – обратно же строго между нами, – кто-то стукнул. – Знаете, тут всякие люди есть... что вы с этой санитаркой-немочкой, как говорится, имеете интимность. Так вот, я, как друг, имею сообщить: сегодня ночью будьте бдительные, я чисто случайно узнал. Надзор и начальник по режиму будут делать экстрапроверку по корпусам... Я надеюсь, что вы, как культурный человек, никому, что это я вам за такое сказал.

Потом он еще раза два заказывал мне доклады о международном положении и несколько раз предупреждал о ночных проверках.

Моя подруга Эдит, отбывшая уже к тому премени восемь лет из десяти, – она была женой секретаря райкома немецкого района на Одесщине,– говорила: "Этот Семен-транзитчик из хитрых стукачей... Он стучит не на всех подряд, а думает, выбирает. Он хочет и вашим, и нашим. Ты с ним не ссорься, но и не пускай в корешки. Путь будет kein Feind, kein Freund, а просто Bekannter. Нам нужно, чтоб он был за нас, а не против".

Так мы и поступали.

Двадцать девятая глава

В "БОЛЬНИЧКЕ"...

Лагерная больница. Корпус "уха-горла-носа и глазной" – длинный бревенчатый барак на высокой подклети. Широкий желтосерый коридор, по обе стороны белыми полосами застекленные двери и мутно-белесые прямоугольные пятна с черными квадратами внизу – печи.

В большой двухоконной палате "Ухо-горло-носовая мужская" 14 коек, между ними тумбочки. Я лежу справа вторым от стены. Рядом со мной у теплой коридорной стенки старик Ян. Он сидит на постели, поджав ноги, шьет. Изредка поглядывает светло-голубыми ясными глазами, по-детски, по-щенячьи чистыми и добрыми: не нужен ли кому? Он почти совсем не слышит.

Густые волосы, соль с перцем, не стрижены. Ему это можно – старый лагерник, с тридцать седьмого года; к тому же инвалид, законный житель больницы и отличный портной, обшивает все начальство. Он – чех. Еще в ту войну был военнопленным в Житомире. Женился и остался там. Осужден на 10 лет за "шпионаж". Барабанные перепонки повредили ему на следствии. Потом не раз простуживался на лесоповале. Оба уха аккуратно заткнуты ватой. Он умеет читать по губам.

– Только ты по малоу говорь, по малоу, не спешно, я буду розуметь.

С другой стороны Сережа Романов – гнойное воспаление среднего уха. Он москвич, сын рабочего, из школы ушел на фронт, был рядовым в разведроте. Летом 42 года двое солдат постарше показали ему немецкую листовку с пропуском, – может пойдем? Что ни будет, все лучше, чем подохнуть, все равно каюк, накрылась наша армия... Он не согласился, но ответил не сразу, думал. Он знал, что армия частью в окружении, частью панически отступает. Те двое тоже не ушли. Но говорили не только с ним. Узнали об этих разговорах в особом отделе. Арестовали Сережу уже в конце войны и дали ему 10 лет по статье 58 п. 1 б – "военная измена родине", но через 17-ю, то есть "неосуществленное намерение".

Он и в лагере оставался еще совсем мальчишкой, лупоглазый, неровно стриженная шишковатая голова. Мы с ним "вместе кушали" – основа арестантской дружбы.

Когда темнело, – в палате не было лампочек, а в коридорах светились еле-еле и оттуда гоняли санитары, чтоб не лазали в женские палаты, не забирались в дежурку и на кухню, – я "тискал романы". Наибольший спрос был обычно на "Трех мушкетеров", "Графа Монте-Кристо", Шерлок Холмса, либо на рассказы "из жизни", особенно из жизни воров и лягавых. Сережа был главным заказчиком и самым благодарным слушателем. Он называл себя моим адъютантом, повиновался беспрекословно, был трогательно заботлив. Днем следил, чтобы мне не мешали читать и писать. Когда у нас с санитаркой Эдит начался роман, он не раз стоял "на зексе", но никогда ни о чем не спрашивал, никаких подмигивающих шуточек...

Мои рассуждения на общие философские , политические и моральные темы он выслушивал вежливо, даже задавал вопросы. При этом был похож на школьника, который не хочет обидеть или огорчить учителя и добросовестно старается изображать заинтересованность, подавляя зевоту и недоверие: "треплет, мол, то, что положено, но правда ли это – неизвестно, да и, пожалуй, не важно".

Были в палате еще несколько сравнительно постоянных жильцов, составлявших нашу "брашку".

Старик "иногородний" с Кубани, которого все звали "Пасечник", желтоусый, желтоплешивый, говорливый добряк, крестьянин и мастер на все руки. – Я и слесарил, и столярил, и печи клал, и на молотарках машинистом работал, и в кузнях, и на мельнице, и где хочешь... Но самое любимое мое дело – пчела... Ох, какой же вона разумный, хороший, солодкий зверь, тая пчела...

Он часами рассказывал о пчелах, об их нравах, повадках, поразительном уме. Когда я его расспрашивал, он недоверчиво улыбался...

– Ой, не поверю, чтоб такой образованный человек не знал этого... Про пчел хорошие книжки писаны и журналы есть...

Пасечник мыкался по лагерям уже давно, – "ще с довойны" и явно не хотел вспоминать, как его "оформили". На именных поверках на вопрос: "статья? срок?"отвечал "каэрде*, де-

*КРД – т.е. "контрреволюционная деятельность".

сять".

Пан Леон был скорняком из Западной Белоруссии. Говорить он мог только о том, как и кто богател у них "ув мястечку", какие строили там дома, что росло в садах у его соседей и как хорошо готовит его жена "судака по-киевски" и "щуку, – пардон, но так у нас называют, – по-жидовски". Он любил повторять "мы, як интеллигенцки люди", охотно слушал романы и был в палате единственным, кто спрашивал меня, что пишут в газетах, но при этом сам помалкивал. Он так же, как и я, был еще не осужден и числился за ОСО.

Вася – круглолицый, круглоглазый хлопец из деревни на Киевщине, в первые дни разругался со мной. Мы даже чуть не подрались из-за какой-то чепухи, – то ли из-за места у печки, то ли из-за внеочередного открывания форточки. Тогда он показался жестоко озлобленным, угрюмым, скалился по-волчьи. Потом ему сделали операцию гайморита: он очень мучился, не мог поднять голову, тихонько хныкал, как ребенок. Мы со старым портным были уже ходячие: мы сменяли ему пузырь со льдом, помогали ходить в уборную; я выпросил у дежурной сестры пирамидон. После этого он подружился с нами без слов, без объяснений, но явственно и надежно. Вечерами в темноте мы с ним и с пасечником иногда тихо пели: "Стоит гора высокая", "Хмеля", "Ой на гори!"... Петь можно было только тихо, чтобы не услышал надзор, и только в те вечера, когда дежурная сестра и дежурный санитар были "свои" и не слишком боялись надзора.

Вася рассказал мне свою тайну: имя и фамилия у него были не настоящие, придуманные. В плену он назвался Василий Гончаренко.

– А на правде, зовут меня совсем не так. Отец – голова колгоспу, мать в сельраде. Братья и сестры партейные. Сам был комсомольцем, сам все знаю.

В плену он жестоко голодал, потом работал в мастерских, стал "хиви", служил в обозе, после освобождения попал в фильтрационный лагерь, а оттуда в тюрьму.

– Колы буду живой и выйду на волю, може и пиду до дому, а може и нет...

Рассуждал он просто: родители давно считают его погибшим и горе уже отгоревали; братья и сестры имеют своих детей и, наверное, вовсе о нем забыли. Если отец и мать узнали

бы, что он жив, конечно, обрадовались бы, но не надолго. Потому что ведь осужден, как изменник родины. А числиться родителями изменника – это значит, набраться столько лиха, что любая радость обернется еще худшим горем.

Двое баптистов из-под Ровно. Пожилой дядя Нечипор был уже совсем здоров и работал истопником. Молоденький Иосип, самый тихий в нашей палате, худой, бледный, часами лежал, уставившись в потолок. У него гнойное воспаление среднего уха. После операции он поправлялся медленно и терпеливо, лишь изредка поскуливал. Сестры хвалили его за безропотность во время перевязок. Всем, кто с ним заговаривал, он улыбался ласково, растерянно и глуповато. На вопросы отвечал коротко: ...так... не... не вим... так Господь хоче... За все благодарил: – "спаси вас Бог."

Нечипор, вежливый, разговорчивый, общительный любил рассказывать о чудесах веры, – как молитва исцелила смертельно больного, вернула бежавшего мужа, как евангельское слово превратило вора и хулигана в добропорядочного хозяина. По вечерам Нечипор иногда сидел на койке Иосипа, либо уводил его в коридор, чтобы не слушать наших "светских" разговоров и песен. Иногда они вдвоем пели тихо, но с явственной гундосой интонацией фисгармонии:

Всэ для пиршества готово
И Христос тебя зовет,
Шо же ты не слышишь зова,
Шо же дух твой робкий ждет.

Каждые две недели я получал посылки и, разумеется, угощал "корешей" и соседей по палате. Сережа тоже получал посылки и тоже делился. Перепадало от нас и Нечипору и особенно Иосипу, который был так истощен, что едва ходил.

Но вот и Нечипор получил большой мешок. В нем сухари, крупы, самодельные сыры, сало и табак-самосад (на продажу, сам он, разумеется, не курил). Он тоже устроил угощение. На кухне корпуса, – это была, собственно, не кухня, а раздаточная, но там на плите подогревали пищу, доставляемую из основной кухни – он сварил кулеш, заправил салом, разлил по мискам и сам разнес. В нашу палату он принес четыре миски: Яну-портному, пану Леону, Сереже и мне.

Мы ели не шибко жирное варево, и я заметил, что у Иосипа миски нет. Он глядел на нас печально, кротко смущенный

тем, что не в силах отвести голодный взгляд. Мы с Сережей поделились с ним и пошли на кухню, где Нечипор угощал санитарок.

— Дядьку Нечипор, спасибо за кулеш. Только, что это вы Иосипа забыли? Вы ж его братом зовете. И он голоднее нас.

В светло-серых, прозрачных глазах ни искры смущения. На миг мелькнула сердитая тень. Но говорил, как всегда, приветливо и убежденно.

— Вы меня угощали и я вас угощу. Як сказано — дайте и вам дастся, воздайте добром за добро... Брата Иосипа я люблю душевно, як брата, як сына... но я всех людей люблю, а на всех у меня угощения не хватит.

— Так ведь, Иосип же голодный, ему нужнее, чем всем. Мы посылки получаем, а он на одной пайке. Он же тонкий, звонкий и прозрачный.

— То його крестная мука. Испытание! Кого Господь любит, того и испытуе. Он смиренно терпить и это його заслуга перед Господом...

Нечипор смотрел все так же светло и говорил все так же спокойно, убежденно, ласково. Только в легком дрожании голоса слышится подавленное раздражение.

Сережка не выдержал. Покраснел и яростно заорал: — Ууу, кулак, святая барыга... — и с особым смаком запустил в Христа Господа Бога вашу мать.

Нечипор молча отвернулся и ушел.

С тех пор он держался от нас подальше, избегал смотреть. Если же случалось встретиться в начале дня, здоровался тихим, печальным голосом. Он прощал врагов.

Больные в нашем корпусе, как и в других, делились на лежачих, ходячих и работяг.

У лежачих и ходячих были только белье и лапти. Работяги щеголяли в штанах, в бушлатах, в бахилах, сапогах или ЧТЗ*.

Белье у мужчин и женщин было одинаковое — желто-серые сорочки и кальсоны с тесемками. Жирные черные прямоугольные штампы: "ГУЛАГ МВД СССР УНЖЛАГ больница №3"

*ЧТЗ — самодельные резиновые лапти из старых автопокрышек (Челябинский тракторный завод).

мелькали в самых неожиданных местах. Некоторые из женщин и стыдливых мужчин окутывали бедра одеялом или простыней. Женщины подворачивали кальсоны до колен, иные ухитрялись носить свои простынные юбки с известным шиком.

"Ношение простынь, хождение и стояние в коридоре" было, разумеется, запрещено. Но запрет соблюдали только днем, когда в корпусе работали врачи, постоянно заходили охранники и вольные пациенты. После вечерней поверки все, кто мог двигаться, сбивались к печкам.

Зима 46 года была долгой и лютой. В палатах на длинных окнах, густо побеленные рамы изнутри поросли многослойными белесыми наростами льда, инея. Морозная ледяная стылость сползала с подоконников, во всю дышала из жестоко больших, беспощадно белых окон, сочилась из щелей в полу. Жиденькие, байковые, почти дерюжные одеяла не грели. Так же как тощие матрасы, набитые слежавшимися стружками.

Наш рай – у горячей известки печных спин и боков; душное тепло прело в углу, где сбивались кучей на сдвинутых койка полтора-два десятка завернутых в одеяла тощих тел, кряхтящих, стонущих, кашляющих, чадящих самосадом. Даже сквозь самый густой и едкий табачный дым пробивались запахи иодоформа, гнойных бинтов, ихтиола и то терпкое зловоние, которое издает арестантское белье, множество раз прожаренное в вошебойках, но стиранное редко, всегда наспех и хранящее во всех швах устойчивую память о кислом, грязном поте и многих поколениях гнид.

То и дело взрывались короткие перебранки:

– Подбери мослы, падло, твой рот долбать...

– Тебе одному холодно, сука...

– А ну, отскочь на пол хрена, поносник, дай хоть пяткой тепло пощупать.

Работяг в нашей палате сперва было только четверо: Ян портной, дядя Нечипор, Гришка малолетка и Степа санитар.

Гришка, мальчик из Черновиц, работал на кухне. Говорили, что бендеровец. Сам он на все вопросы отвечал: – "то не знаю".

На именных поверках называл только фамилию и срок: "Осимь лет".

— Стаття? Статтю забув... В Черновцах судылы. Там богато статей. Судья знав, а я забув...

Надзиратели даже не злились на него. — Вот идиет... — им приятно было сознавать свое очевидное духовное превосходство.

— Запомни, дура, у тебя 54-ая, эта на Украине значит 58, а пункты два, шесть, восемь, одиннадцать. Вот, всю контрреволюцию собрал, и шпион и террорист.

Смеялись и надзиратели и заключенные. Гришка равнодушно смотрел в пол.

— Запомнишь?

— Ага.

Однако на следующей именной поверке, — такие бывали обычно не чаще раза в месяц, — все опять повторялось.

Гришка жил, чтобы есть. Он думал и говорил только о еде. Голод выглодал у него все мысли и чувства, какие были раньше. Он спал мало. Уходил еще до утренней поверки и приходил после отбоя. На кухне работал непрерывно, почти исступленно. Чистил и мыл посуду, мыл полы, таскал дрова, помои, воду, топил. И все время жевал. Жевал все, что давали, и все, что мог урвать — и сырое, и гнилое, и просто очистки.

Повара и те из кухонных работяг, которые уже подкормились, считались лагерными буржуями; иные завели себе жен и запасались "вантажами", — то есть, одеждой, вещами: их выменивали у новоприбывающих доходяг за кусок хлеба, за хвост селедки и котелок прокисшей каши. Для поваров ненасытный Гришка служил иногда цирковым аттракционом.

— Ну, как хохля, съешь полведра каши?

— Зьйим.

Повара заключали пари с банщиком, с санитаром или даже с надзирателями, которые "свойские". Гришке ставили полведра жидкой чечевичной каши. Он ел. Сопел, потел, но съедал все. И уходил сонный, блаженно и зловонно отрыгивая.

— А я й ще можу.

При этом он оставался таким же щуплым, синевато-бледным, тонкоруким и тонконогим, только живот к вечеру был вздутый, тугой.

Степа санитар был так же, как Ян, Нечипор и Гришка работягой на больничном. К концу зимы стали работать пан Леон, Вася и я. Пан Леон числился в ремонтной бригаде маляром, но главным образом *скорняжил* для начальства, обраба-

тывал шкурки зайцев, белок и лис. Вася и я сначала работали по уборке двора, на заготовке дров (”малый лесоповал”) , потом Вася перешел в хозяйственную бригаду, а я в лаптеплетную мастерскую. По вечерам я зубрил учебники для медсестер и к лету стал ”медбратом”.

Нас лечили врачи-заключенные.

Нашим корпусом заведывал ларинголог дядя Боря – Борис Вениаминович Либензон. Он и главный хирург больницы – Николай Папеевич Тельянц были ”старожилами”, с 1939 года в этом лагере.

Николая Папеевича, бывшего таджикского уполнаркомздрава, – осудили вместе со всем правительством Республики. Он был армянином из Горного Карабаха, очень гордился своим древним, храбрым и мудрым народом, хорошо знал историю Армении. Он никогда не рассказывал ”о деле”, но зато любил поговорить о философии, истории, литературе и писал короткие живые рассказы о любопытных случаях из своей практики.

Оба они были отличными врачами. Начальник больницы – молодая женщина-хирург, закончила институт перед войной. Она побывала на фронте, стала капитаном медслужбы. В лагере, в мундире МВД, она еще сохранила кое-что от решительности и независимости врача-фронтовика, так же держалась и ее заместительница, тоже пришедшая из армии. С врачами заключенными они обращались, как с коллегами. Папеевича даже побаивались. Он был требователен и вспыльчив, а в гневе резок, несдержан.

Самыми близкими моими приятелями стали глазник Мария Ивановна и ее ”лагерный муж” Вова, хирург по военному опыту и гинеколог по основной специальности.

Мария Ивановна, белорусска, осужденная ”за оккупацию”, работала при немцах в Борисовской городской больнице. Говорливая, суетливая, вздорная, но добродушная, она по вечерам с Вовой приходила в нашу палату слушать, как я ”тискаю”.

Вова, молодой, но уже лысеющий, лобастый, щекастый, в больших роговых очках, выглядел интеллигентом, умницей, казался сильным и мужественным. В действительности же был чистосердечно глупым, откровенно трусливым и наивно-хамоватым обжорой и бабником, но при всем этом добряком, заботливым, услужливым товарищем и очень хорошим хирургом.

Папеич считал его лучшим помощником: ”У него руки умные и смелые, а голова пустая и трусливая. Поэтому он послушен, подчиняется быстро, беспрекословно и действует умно, решительно”.

Кто бы ни дежурил, Мария Ивановна или Вова, они все равно приходили вдвоем. После отбоя они запирались в темной дежурке. В это время я обычно сидел на кухне, – там не гасили свет и можно было курить, читать или судачить с ночной сестрой и санитаркой. Там и началась наша дружба с Эдит.

Из окна кухни были видны крыльцо корпуса и ”главная улица” больницы. Дверь в корпус на ночь запиралась изнутри. Можно было вовремя заметить неожиданный обход надзирателей или самоохраны и тогда они заставали в освещенной дежурке Сережу или меня, получающими первую помощь от Марии Ивановны, а Вова успевал скрыться в операционной, которая запиралась снаружи и куда никого, даже самого ”кума”, не полагалось впускать без заведующего корпусом. Но такие переполохи бывали редко, а чаще всего, недолго повозившись в дежурке, – Вова поучительно говорит: ”лучше десять раз по разу, чем за раз десять раз...” – они приходили в кухню, и мы все азартно играли в подкидного или я гадал...

Каждый раз я честно предупреждал, что гадание – вздор, и я сам в него не верю. Но оба доктора относились к этому иначе. Мария Ивановна вспоминала множество случаев, когда ”ну точно в самую точечку было предсказано... Вы не говорите, я тоже верю в науку, я сдавала ваш истмат-диамат, всегда пятерки имела... Но есть такое, где наука бессильна. Вы не говорите, вот у нас был профессор, терапевт... Знал все языки... Учился в Варшаве. Так даже он верил...”

Вова был менее красноречив:

– Ну, ты не веришь и не верь себе. Это даже хорошо – врать не будешь. Ты просто говори, что карта показывает... Клади и говори... Ну, что тебе жалко... Разбрось, будь друг...

Он внимательно слушал, а я беззастенчиво "темнил", вычитывая из карт самые утешительные предсказания и нагло отражал сомнения и критические замечания.

– Ну, чтож, что дама пик... Ты что не видишь, она же внизу под вальтом червей... Значит, злой интерес под ногами... А вот имеем приятное письмо с казенным интересом и бубновая дорога...

Вова следил за мной насупленно, сосредоточенно:

– Пиковая дама – это начальница. Лезет она ко мне... А письмо это... может, надо опять прошение писать на помилование...

Вова был осужден на 10 лет за измену, в плену он работал врачом в лагере.

Врачи предупредили меня, а я своих корешей, что Степа-санитар – стукач и его держит на больничном кум.

Степа был тоже из пленничков, родом не то курский, не то белгородский, говорил с мягкой украинской певучестью, но называл себя "руським" и на Иосипа и Гришку иногда покрикивал: "Эй ты, хохля".

Молчаливый, сосредоточенно задумчивый, он подходил, подсаживался к группе беседующих, слушал, глядел медленными темными и всегда не то удивленными, не то обиженными глазами. Если обращались к нему, торопливо ухмылялся, торопливо отвечал.

Но примечать это мы стали только после того, как узнали, что он стукач. После этого пан Леон каждый раз говорил высокомерно и нарочито громко: "Шо это вы опять стоите коло нас, Степан? У вас есть дело?..до кого, прошу? До меня или до майора, или до Сергея?.. то вы скажите. Не женуйтесь, як паненка. А то стоите мовчки, а у нас свой разговор, мы люди интеллигенцки, имеем свои интересы, у вас свои...

Степан неловко ухмылялся...

– Та я шо, – а я ничево, просто так, – он краснел, потел, но не очень смущался. – Шо и стоять не можно? Тоже прокурор... Интелихенцкий! Шо я пол простою...

Сережа и я избегали столкновений. Сережа слушался меня, а я не раз твердо обещал врачам "не заводиться", не влезать в ссоры и вообще "не высовываться".

Самым несдержанным из нас был Вася. Один раз он "нечаянно" толкнул Степана твердым локтем "под дых" так, что тот согнулся пополам и долго икал и давился воздухом. Другой раз, увидев его в дверях, вдруг пустился бежать в уборную и на ходу сшиб его о притолку.

— Пусти, падло безглазое... Не видишь, человек спешит...

Несколько раз в его присутствии Вася начинал говорить о том, как именно надо "снистожать гадов наседок, иуд-стукачей". Яростно сверкая глазами, распаляясь, он подробно рассказывал о том, как "одного наседку хлопци в бараке взяли за руки, за ноги, подняли до горы и посадили задом на пол... просто посадили... раз... другой... Потом на нем и не увидеть ничего, — а через день вже ссав кровью... почки отбили, а еще через неделю, пожалуйте, готовенький, бирку на ногу и за вахту..."

Мы следили за Степаном. Он слушал, невозмутимо глядя в пол. Только на носу капля. Плоский, задернутый, утиный нос был самой примечательной частью его лица, сдавленного низким лбом и куцым подбородком.

Васю и Леона я уговаривал не привязываться к нему. Знаем — и хорошо. Будем остерегаться, держаться подальше. А то его заменят более хитрым — ведь кум обязательно заменит "сгоревшую наседку" и тогда нам же хуже будет. Этот пока еще никого не заложил... пока никому вреда не причинил.

А Степа даже старался задобрить палату. Он был одним из двух-трех корпусных санитаров-мужчин, — кроме них были еще четыре женщины, но те обслуживали только лежачих больных и выполняли "чистую"лечебную работу. Зато мужики были "причастны к харчам". Работать Степану приходилось много. Он носил из больничной кухни в корпусную мешки с хлебом, ведра баланды и каши, потом из корпусной кухни разносил миски по палатам, участвовал в ежедневных уборках коридора, операционной, перевязочной, дежурки, кухни и уборной; ходячих больных водил в баню, лежачих носил на рентген, таскал белье и груды бинтов в прачечную и из прачечной, следил за большим кипятильником, помогал истопнику. Выслуживаясь перед палатой, он приносил нам больше еды, вороватo оглядываясь, он ставил лишнюю миску на тумбочку Васе, деду пасечнику или Иосипу, которого все жалели.

— Вот, закосил для своих.

Раздавая кашу, громко шептал: – "Для нашай палаты все миски с походом накладенные. Блат выше Совнаркома.".

Больше всего он усердствовал при раздаче крови. К ужину дополнительно к обычной овсяной или чечевичной каше давали комья застывшей крови, якобы, очень полезные при пеллагре. Многие, даже голодные, отказывались есть, уж очень смердело падалью. Так создавались резервы. Степан, внося в палату поднос, на котором высилась груда темно-бурых комьев, выкрикивал:

– А ну, хто нежный, закуривай, а хто кровопивца, налетай. Для своих расстарався...

Он становился бойче, разговорчивее, чувствуя себя благодетелем. Вася и пан Леон уважали медицину. К тому же пан Леон был скуп, а Вася вовсе не получал посылок. Поэтому они, в отличие от Сережи и меня, охотно ели кровь и стали снисходительнее к Степану.

Тридцатая глава

ПАСХА

Приближалась весна.

В одном из корпусов истопником работал священник, в прачечной были две монахини, среди поваров нашелся знаток церковной службы. В ночь под воскресенье, в рабочем бараке в одной из женских комнат состоялась импровизированная заутреня. Дежурные надзиратели получили щедро "на лапу". Пригласили и несколько ходячих больных, в том числе и нас с Сережей.

Койки сдвинуты к стенам. В углу тумбочка, застланная цветным домашним покрывалом. На ней икона и несколько самодельных свечей. Батюшка с жестяным крестом в облачении, составленном из чистых простынь, кадил душистой смолкой.

...В небольшой комнате полутемно, мерцают тоненькие свечки. Батюшка служит тихим, глуховатым, подрагивающим стариковским голосом. Несколько женщин в белых платочках запевают тоже негромко, но истово светлыми голосами. Хор подхватывает дружно, хотя все стараются, чтоб негромко. Больше всего женских голосов: в некоторых дрожат слезы.

Там, за стеной барака в десятке шагов колючая проволока, "запретная зона", вышки, часовые в тулупах. Еще дальше – поселок, дома охраны, начальства, – там те, кто "кормятся" лагерем, кто хоть как-то благополучен, оттого, что здесь за проволокой столько злополучных. А вокруг лес, густой, непроглядный вековой лес, и далеко на западе Волга. Бесконвойный хлеборез ходил в деревни покупать молоко и табак, он бывалый московский жулик из "торгсети", говорил о крестьянах презрительно, нарочито окая – "горох и кортошка основная кормежка".

И здесь вблизи и там за Волгой деревни, деревни, деревни, – серые, голодные... Еще дальше Москва, – рубиновые здезды на Кремлевских башнях, старый облупленный дом в Замоскворечье. Узкая заставленная комната, в которой спят мои дочки.

А за Москвой, – к западу, – развалины, пепелища и могилы, могилы... Года нет, как закончилась война. И мы еще не вернулись с войны, – вот мы с Сережей: он рядом, жмется плечом.

Тихо приглушенно и все же переливчато радостно поют женщины в белых платочках, мы вторим из темноты... Мы здесь едва знаем, или вовсе не знаем друг друга. Иных и не узнать в сумраке. Наверное, не только мы с Сергеем неверующие. Но поем все согласно.

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех
Живот даровав...

После заутрени идем разговляться в комнату сестры хозяйки тети Дуси... Она одна из устроителей праздника. Она же и нас приглашала.

– Ну и что же, что неверующие... Ты и Сережа, ми-илые, вы же за людей, а кто за людей, тот и за Бога...

Она разбудила нас ночью.

– У твоей Эдит походочка очень чижолая.. Не зека бы так ступать, а царице – она всех наседок сполошит, а я тихо шмыгну, как мышь, и половица не скрипнет. Вы только одежку загодя соберите, оденетесь в колидоре...

Комната тети Дуси была смежная с кухней и служила заодно бельевой. Там был накрыт праздничный стол... Спирт дали врачи, картошку и яйца доставил муж тети Дуси, кладовщик дядя Сеня, я получил в посылке бутылку жидкого витамина: им окрасили разведенный спирт, а заодно и разлили его по темным бутылкам с аптечными наклейками. Были крашеные яйца, печеная картошка, куски жареного мяса – это все местное приобретение, а колбаса, американская тушонка, шпиг, печенье и конфеты – из посылок... Тетя Дуся позаботилась даже о куличе, спеченном в кастрюле и украшенном бумажными цветами, и о творожной пасхе.

Она была самой давней лагерницей из всех, кого я встречал до той поры. С 1932 года!

Вблизи от Калуги семья ее мужа владела большой молочной фермой.

– Свекор – голова! Умный мужик, деловой... Он в революцию партейный был, еще с той войны, с германской... Герой-

ский вояка был. Потом в красные купцы подался, в культурное хозяйство. Муж мой, младшай у него, – ми-илай, – тихий, непьющий, прилежный до всякой работы и книжки любил, такой чтец, – та-акой чтец и по-церковному и по-мирскому...

Тетя Дуся говорила быстро, певуче, и всегда ласково. Пятнадцатый год мыкалась по лагерям, но "черного слова в рот не брала". Когда спорила или выговаривала кому-нибудь, обычное свое "ми-и-лай" произносила укоризнено, или сердито, или печально, а бранилась так: "е-эх ты, голова садовая" или "ухи есть, а соображеньев нет". И лагерные словечки "срок", "зека", "доходяга", "наседка", "кум", "вертух" звучали у нее по-домашнему...

Невысокая, суховатая; гладкие жидкие волосы под белым платочком; на светлом лице множество мелких морщинок в разные стороны, как трещинки, но молодые глаза, – большие, серые, улыбчивые, – а рот старческий, впалый с редкими темными зубами...

– Цынга съела, да один следователь... в тридцать седьмом новый лагерный срок мне приделывал, очень строгий был, – милай, – и на руку скорый, да чижолый.

Тетя Дуся "тянула срок" одна за всю свою семью. Ее деловой свекор жил где-то под Ленинградом, работал в совхозе или колхозе. – "Он голова мужик, везде при деле". – Муж воевал в саперах, был ранен и награжден, прислал ей посылку из Германии. Но детям давно уже сказали, что мать умерла... – Двое у меня – сынок и дочка, погодки, ма-ахонькие были, когда спокинула их. Их мои золовки воспитывают, в школу посылают, им жить надо, – милай, – сиротам лучше невпример, чем если мать каторжная зека...

Тетю Дусю арестовали и судили не в Калуге, где жила семья, а в Москве, куда она ездила продавать масло, творог и простоквашу.

– Мы ишшо при нэпи, это когда красные купцы-то были, имели в Москве своих компаньенов – разных: и хороших и похуже. У одних большая молочная лавка, даже правильней сказать, магазин был на Мясницкой. К ним-то мы всего больше товар возили... Потом стали им укорот делать: налоги, обложения, а там и высылать. Тут тебе и прижим, и Нарым, а кому и Соловки – белая смерть. И нам в Калуге дышать все труднее...

Но у свекра голова, как у министера... Ферму еще в 28 году прикрыл... Лавку, что в Калуге, на свояченицу, – сестру свекровину, – держал, продал. Коров разделил по одной: себе, сынам, дочерям и в деревню родне. Сам пошел счетоводом работать. Сынов, зятьев еще раньше пристроил – все рабочие, служащие. Мой кладовщиком был на железной дороге. А маслобойку, творожню в подполе чистом оборудовал. И мы с золовкой товар в Москву возили, тем компаньенам. А когда базары закрывали: карточки пошли – и просто так знакомым людям продавали. В Москву ездили только мы с Настей – золовка младшая, Анастасией звать, красивая, тогда она еще в барышнях была, и грамотная, семь классов училась. А я ведь, милай, до двух не превзошла... я, ить, деревенская, на соломке рожденная: как подросла – гусей пасла и зыбку трясла; братик у меня был, малый, как папа с германской войны вернулись, сразу еще и сестра и еще братик. Мама из себя видная и здоровая, и что год, что два – с новым дитем – упокой Господи их душеньку чистую. Нас детей восьмеро живые. Я про братьев и сестер не знаю, где кто. До войны еще отписывала одна меньшая... А теперь больше не слыхать... Как постарше я стала, так и лен теребила, и по дому, и по двору убиралась, и птице и свиньям корм. Какая там школа, когда папу опять в солдаты взяли, уже в красные, – а тут и за коровой ходить надо, и огород сажать, и в поле пахать, сеять. Я, ить, у мамы одна только старшая, с десятого года, а за мной – трое-четверо мал-мала, исть, и пить, и пачкать только умеют, прости Господи... Какая уж тут школа. Правда, учителька у нас была такая добрая и такая до всех людей приветливая и заботливая, Анна Васильевна, – упокой Господи их чистую душеньку – грамоте она меня научила: читать и писать, рифметику, закон Божий... Но только в два класса я походила... Война, ить, у нас тогда была, – красные, белые, зеленые, продразверстка, продналог. Потом папа вернулись из солдатов, ранетые, контуженные, хромают, кашляють... Работать им трудно и вроде отвычно, все больше в совете или на ярманке с мужиками беседуют, спорят. Выпивать стали, и казенную, и самогоном не брезговали. Однако, детки плодились, прости его Господи, и упокой душу грешную... Помер он: замерз пьяный. В тот год я к первому причастию пошла... А взамуж меня взяли по любви, шашнадцать мне было. Свекор-то сам из нашей деревни урожденный. Сын его у дяди жил.

Летом после больницы – он тиф имел брюшной, но Господь спас, значит. Ну, так мы и стрелись. Бог нам путя скрестил... Я бедная была, а у мужа семья крепкая, ба-агатыя... Мне поначалу так непривычно, так дивно было. Мы дома все на мешковине спали, покотом на печи, на полатях. С одной миски ели. А на кровати с подушкой только раньше бывало папа с мамой когда спали, а потом так, для красоты стояла... А у свекров моих все на простынях спят, каждый на своей кровати на подушках, едят на тарелках... Что в закромах, что в сундуках – за неделю не перебрать, за день не посчитать... А я, ить, ми-илай, бесприданница. В чем ходила, в том и пришла... У меня для воскресенья к обедне только один платочек был в цветах и одна кофточка розова. Бедная я была, но чистая, и духом и плотью: молитвы все знала, – я в церкви всегда с первыми голосами вела. И веселая, и прилежная, и плясать, и песни играть, каки хошь, и работать умела без устатку... А работала я знашь как – до зари вставала – до полночи хлопотала. На что свекровь характерная была и старшая золовка – вреда, прости меня Господи, злоязычную, – но и те говорили: – "Дунька хоть и с нищих, да не с ледащих, и свое место знаит, уважительная". А свекор меня отличал – он строгий был, но справедливый, – говорил: у ней, – у меня, значит, – нет гроша медного, зато руки золотые, а голова серебряная, а у вас, – это про своих доченек-то, – сережки золотые, да лбы чугунные и руки рогожные...

Так мы потом в Москву и ездили, я и Настя. Она считала, писала, я туды-сюды, как белка с дуба на сосну. Вот раз ночевали мы на квартере у одного нашего компаньена, а тут пришла милиция, понятые, дворники. Я Насте шепотом успела сказать: "Ты, знай, ты мне никто, в поезде спознакомились, ты в Москву приехала на приданое покупать. Упреди всех, я буду терпеть, сколько души хватит". Она шустрая, – да мы и раньше такое условие имели, в облавах бывали. При мне товар и больше денег, и никаких документов, а при ней денег меньше и свои тетрадочки. Как она была учащая в техникуме, на бухгалтера училась, и бумаги при ней всякие, тогда еще паспортов не завели. Ну, ее и пустили. А я на следствии, как блажная была, – "косила" на дурочку, резину тянула...

Лагерные слова "косила... резину тянула", произносит, хитро улыбаясь, мол, и так умею.

...Плакала, молилась. Меня и в кандей сажали, и в больни-

цу психическую возили обследовать, и селедкой кормили, чтоб опосля пить не давать... Но я про это еще раньше слыхала. Селедку от соблазна в парашу кину и голодаю тихо, думаю: истинно великий пост. А плакала я от чистого сердца, почти и не притворялась. В первый раз-ить в тюрьме с воровайками и парститутками этими. И страшно, и стыдно, и такая тоска, милай, слезы сами и льются. В молитве одна только сила и утеха, и прибежище... Плакала и молилась... А следователю одново говорю: — Пустите меня, я невиновная... Откуда — не скажу. Чьи деньги — не скажу... Мне отца-мать жалко, и я божилась никому не говорить. Пустите Христа ради... И плачу... И плачу...

Месяца два так держалась. А потом очную ставку мне с одним компаньеном сделали. Он, значит, раскололся, бедный, домучили его, прости его Господи. Он и сказал, чья, значит, я и откудова... Но свекор и все уже к той поре с Калуги съехали. Моя мама еще тогда живые были, приезжали в Москву — свекор им деньги на дорогу дали и научили, как и что. Мама мне и передачу передали. Потом присудили мне пять годков за спекуляцию. А в лагере опосля еще десять лет дали за разговоры, за агитацию. Заложила меня одна старушка — матушка, иерея жена, так я ее жалела, так уважала, а она то и призналась, что я и про колхозы и про займы и про всю власть говорила нивесть что... Ну, может, и правду она призналась, но только новый срок мой через нее иуду, — прости Господи, мое злоязычие... Теперь зато я ученая стала, хитрая, милай, теперь на аршин под землей вижу и людскую душу насквозь понимаю. На Бога надейся, а сам не зевай. Вот истопник-баптист все Бога поминает. Но я ему и старой портянки не доверю. Ни ему, ни Марусе-монашке, хоть она и православная и начетчица. А вот мой Семен, свет Петрович, партейный безбожник, и твой Сережка, и доктор Марья Ивановна тоже, а ты, и твоя Эдит, вы раньше совсем другой веры были — но я вас всех понимаю, как душевных людей, вас я вижу насквозь и хорошее вижу и за вас Богу молюсь, как за своих.

Семен Петрович — кладовщик, дядя Сеня — лагерный муж тети Дуси старше ее лет на десять , но выглядел моложе. Плотный, краснощекий, темнобровый, на лоб нависали серо-седые густые пряди, глаза бледно-голубые, грустные, освещались иногда тихой улыбкой, из самой глубины. На вопросы он отвечал односложно, о прошлом говорил неохотно и косноязыч-

но спотыкаясь на бесчисленных "так вот", "значит", "тоисть", "ну да", "в таком разрезе", "в общем и целом"...

Потомственный питерский рабочий, он был красногвардейцем, в партию вступил в 18 году, воевал на гражданской. Потом на партийной работе, все больше в уездах. Был начальником политотдела МТС, к 37 году стал секретарем райкома в Ленинградской области.

О следствии он и вовсе не хотел говорить.

– Как? Да так... как у всех тогда было, в таком разрезе. Жив остался, значит, хорошо. Осужден без статьи, по буквам: КРТД – контрреволюционная троцкистская деятельность... Однако, в оппозициях не участвовал, нет... то исть, споры были... Ну, значит, когда дискуссии были в таком резрезе... Перед четырнадцатым съездом, и, значит, потом. Но, в общем и целом, я был на генеральной линии. Значит, имел доверие к ЦК. Но были товарищи, которые против, тоисть в дискуссии. Но так, в общем и целом, хорошие товарищи. Честные перед партией Имели заслуги... Так вот я к этим товарищам, значит, как к товарищам, в таком разрезе. Надо подумать. Объяснить. Нельзя, чтоб головы рвать. Если, в общем и целом, свой человек, заслуженный большевик, значит я, как думал, так и говорил. Так вот получил указание... Нет, не взыскание, только указание за либерализм... Но перевели в другую область. На хозяйственную работу. Потом через два года, значит, обратно, на партийную... в политотдел МТС, в таком разрезе. Так вот и пошло "по новой..." – Улыбается лагерному словечку. – Да, так вот по новой. А в 37-м вспомнили. И потом я в гражданскую награду имел. Военную. Именные часы. А на них, значит, надпись: нарком Троцкий. Он тогда наркомвоен был. А я так рядовой был, я его и видел, в общем и целом, два-три раза... Но часы эти... Не выбрасывать же. Носить, давно не носил, а, так сказать, память. Лежали в ящике. Там всякие старые карточки – фотографические, значит, – бумаги, письма. Никому те часы не показывал. Жена, только видела. Как-то, правда, после этого... ну, когда Кирова убили, я спросил одного члена бюро обкома... Так сказать, посоветовался, может сдать куда эти часы. Он сказал – пустяки... Держи их, так сказать, в личном секретном архиве, все-таки история, в общем и целом. Или просто выкинь. Ну, потом эти часы в мое дело пошли. Доказательство.

Все это я выудил из дяди Сени по каплям в течение мно-

гих недель.

И уже только от тети Дуси я узнал, что жена и дети отреклись от него.

– Он теперь один как перст, один-одинешенек на всей земле. И хоть в Бога не верует, а все за свою коммуну душой держится, но душа у него, – милай, – такая чистая, такая светлая, истинно христианская; мухи не обидит. Никому злого слова не скажет. А мы с ним об етим и не споримся и вовсе не говорим, ни о Боге, ни о властях. Он, ить, бывает за целый день может три слова скажет – "здравствуй", "спасибо" и "до свидания". А там уж я все слова говорю, какие надо. Я его, сироту, жалею и Богу за него молюсь.

На разговенье к тете Дусе пришло несколько человек... Зашел дядя Сеня, улыбнулся – "Будьте все здоровы...". Сережа, доктор Вова и я христосовались с сестрами, санитарками и с Марьей Ивановной – она и Вова забежали сразу после утренней поверки... Других врачей не звали, им тетя Дуся отнесла угощение в кабину; дядя Боря и Папеич жили в одной кабине в отдельном домике для врачебного начальства.

По настоянию тети Дуси решили позвать и угостить Степана.

– Милай, пусть он грешный, темный, наседка... Но ить подумайте, нельзя не позвать... И по душе, и по разуму нельзя. По душе надо, чтобы его грешной душеньке, темной, заблудшей, свет показать. Ить, он же человек... Сами же говорите – "лучше стал, старается услужить людям". Пусть увидит и здесь на каторге свет Христов светит, жалеют его, как человека привечают... На молитву мы его не звали, там не мы, там другие люди в ответе, батюшка, сестры. Туда только таких звали, за кого накрепко ручаемся. Но тут в моей светелке я хозяйка. У нашего стола мы все одинаки. Пусть он видит: все народы тут, и Эдит, и ты, и верующие и неверующие, а все светлый праздник и все добро... Вот гляди в окно, милай, солнышко-то играет. Вчерась еще как пасмурилось. А вот, ить, так весело играет, всем людям играет, всем праведным и неправедным... Сколько помню, в светлое воскресенье, хоть на часок, хоть на миг оно играет, радуется, что Христос воскрес. Значит нам надо Степана позвать по душе. А что по разуму, я, ить, старушка хитрая, милай... Вы подумайте, все сестры, санитарки, другие зека сюда заходют, от того, от другого винишко дышит. Вы вот

в свою палату отнесете гостинцы? Откуда несете? Он же все примечаить, милай. Глаза, и ухи, и нос у его на службе. Значит, должен стучать. А так мы его позовем, поднесем, похристосуемся – Иисус велел и врагов любить и жалеть – он должен будет другое понятие иметь. Не позволит он себе за наше добро злом благодарить...

Тетя Дуся сделала по-своему. Степана позвали, она сама с ним похристосовалась, поднесла рюмку. В нашей палате мы с Сережей роздали всем без исключения одинаковые "гостинцы": крашеное яйцо, кусок тушонки, по два печенья и конфеты... Получил и Степан, улыбнулся "спасибо, братки" и, подмигнув, тронул пальцем свой кадык, – мол, – уже пропустил. Пан Леон произнес короткий спич...

"То есть очень благородный ваш поступок, пан майор, пшепрашам, товарищ майор и товарищ Сергей, и я мам честь сказать от всей нашей маленькой тутешной громады вам обоюдное поздровление и благодарность. Как я есть чловекем не церковным, не религийным... Отец был православный, а матуся униатка, а я вогуле без религий, но как чловек интелигенцки, то имею веру в высши силы и гуманность. И этот день есть таке свенто... Такий праздник не только для христьян, но для всих гуманных люди..."

Слушатели были настроены умильно, улыбались и говорили друг другу приветливые добрые слова. Потом вечером после поверки мы снова собрались у тети Дуси уже только своей компанией, пришли Мария Ивановна и Вова, достали спирту и водки, – с утра пили понемногу, чтоб незаметно было, – и я очень убедительно доказывал, что между хорошим христианином и хорошим коммунистом не только не должно, но и не может быть вражды.

Во вторник тетя Дуся, заплаканная, сказала нам, что Степан донес. У нее и у дяди Сени была своя контрразведка, они дружили с некоторыми надзирателями, поэтому знали всех стукачей и заранее узнавали почти обо всем, что собиралось делать начальство.

Так они узнали, что Степан донес и кум хотел завести следствие, но доктора вступились, их поддержала начальница больницы. Следствия не будет, только тетю Дусю отправят из

больницы. Кум хотел на штрафной. Но есть добрые люди и среди начальства. Отправят на фабричный лагпункт на швейную фабрику... И сама начальница обещала дяде Сене, что через два-три месяца она тетю Дусю возьмет обратно, положит как больную.

Хорошо, что следствия не будет, а то могли бы узнать и про заутреню, вдруг кто бы не выдержал и раскололся...

Тетя Дуся уехала. Кое-кто из молодых санитарок всплакнул. Старые лагерники привыкли разлучаться.

Сережка хотел убить Степана, измышлял всяческие способы. Васи уже к тому времени в палате не было, его перевели в рабочий барак и я убедил Сергея, что если он хочет мстить всерьез, то, чтобы никому не говорил ничего, ни Леону, ни Васе, и чтобы сам сдерживался, не смел задирать. И я поклялся ему грозно, что подлец не уйдет от расплаты. Мы только перестали замечать Степана. Не отвечали, когда он здоровался, отворачивались, когда спрашивал... Он не пытался объясняться, а другим это не было особенно заметно, так как еще до отъезда тети Дуси он перебрался из палаты в барак, где жили санитары и некоторые придурки – повара, пекари, дворники. Приходя в корпус, он старался в нашу палату не заходить, миски приносил его напарник.

Про Степана я подробно рассказал Николаю Папеичу, который и сам знал кое-что о событиях после пасхи. Стукачей он ненавидел жестоко. Бледнел от ярости, когда говорил о них. Он сказал:

– Ничего не делайте. Вашим корешкам скажите, чтоб пальцем не тронули. Путь все успокоится...

Прошла неделя – и я напомнил Папеичу. У него побелели глаза – так сузились зрачки.

– Я не забыл и что сказал, сделаю. Вы меня еще мало знаете, если думаете иначе.

В мае я уже работал в лаптеплетной, учился на курсах медбратьев и обедать приходил не в палату, а на кухню к Эдит. За мной прибежал дневальный.

– Доктор сказал, чтоб шли к нему в шахматы играть.

Папеич сидел у себя в кабине за шахматной доской и разыгрывал по журналу какую-то гроссмейстерскую партию.

Не подымая головы, он сказал:

– Сегодня уходит этап на 18-й... Я отправляю этого гада. Скажите потом телефонисту, чтоб намекнул...

18-й лагпункт был одним из самых тяжелых. В заболоченном лесу. Именно там были штрафные БУР*... Этапы из больницы на лагпункты отправлялись от случая к случаю, Прибывал конвой с лагпункта, привозил больных и обратно увозил выписанных здоровых. Таким образом, судьба выздоровевшего заключенного зависела либо от слепого случая, либо от памяти начальника. Одних просто выписывали – выздоровел, подкормился и давай с вещами, – тут уж как повезет. Тех, кому начальство благоволило, задерживали в больничке так, чтобы отправить в хорошее место – на один из трех фабричных лагпунктов или на "сельхоз". Если начальство сердилось, то старалось загнать неугодного зека куда похуже...

Приказы на выписку и на отправку могли давать начальница больницы, ее вольная заместительница и главный хирург – заключенный Николай Папеич. Оперуполномоченные на других пунктах были всесильны, в некоторых случаях их даже начальники побаивались, – кто Богу не грешен, ГБ не виноват? Но здесь, в больничке "Опер" вынужден был считаться с особым лечебным режимом.

Папеич был горяч и вспыльчив, но еще и умен, расчетлив и как опытный, бывалый лагерник, точно знал, когда и что можно... Он терпеливо ждал того дня, когда начальница и ее заместительница уехали в Горький, и он остался единственным хозяином больницы. Но то, что уехали они именно в тот день, когда прибыл конвой с 18-го, видимо, было не случайно: о конвоях предупреждали заранее, а Папеич планировал операции так, чтоб начальница, которая обычно ему ассистировала при самых интересных, могла и уезжать на день-другой.

Папеич был невысок, худощав, чуть-чуть несоразмерно большая голова; медальный профиль, резко очерченное оливково смуглое лицо, крутой и тонкий нос, черные густые брови, черные густые волосы.

– Садитесь, сыграем, только, пожалуйста, внимательно, без обратных ходов и, главное, без волнений, без комментариев, когда здесь начнется маленький спектакль.

Мы не успели разыграть дебют, как в дверь постучали. Вошла вольная секретарша с листом бумаги.

---

*Бригада усиленного режима – БУР.

– Доктор, тут в списке на этап есть один зека, – поглядев на меня, запнулась, фамилии не назвала, – так оперуполномоченный сказал, не отправлять.

– Какой зека? Покажите! Ах, этот... Знаю. Он здоров. Так здоров, что уже больных объедает... Замечен в краже питания... Понятно? Я распорядился отправить. Так что пусть гражданин начальник не беспокоится... Понятно?

– Понятно...

Смотрит смущенно. Топчется на месте. Она ”вольная”, он заключенный. Но ”бешеного доктора” Тельянца знает весь лагерь. Он оперировал дочь начальника лагеря. Спас ее, уже умиравшую от перитонита. К нему из Горького из НКВД лечиться приезжают. Он никого не боится.

– Если понятно, чего же вы ждете?

Секретарша ушла.

– Так, значит, вы играете ферзевой по всем правилам. Попробуем по всем правилам.

Через несколько минут – от домика врачей до вахты шагов сто – снова стук. Та же секретарша, красная, возбужденная, испуганная, с тем же листком и еще пакетом – учетная карточка.

– Доктор, уполномоченный сказал, что он запрещает отправлять, чтобы вы вот тут вычеркнули или чтоб пришли к нему. Сейчас же... Так они сказали...

Произнеся все единым духом, она пытается положить на стол бумаги, уже и не думая обо мне, постороннем.

Папеич встает рывком. Он молча, пристально, яростно смотрит на секретаршу, так, что та отступает на шаг. Потом говорит негромко, медленно и раздельно:

– Скажите, – пожалуйста скажите, – гражданину оперативному уполномоченному, что пока еще я главный хирург этой больницы и, значит, я отвечаю за больных и персонал... Я моих распоряжений отменять не буду... И к нему идти не намерен... – посмотрел на часы. – Через час у меня назначена операция и я отдыхаю перед операцией, вот за шахматами... Именно так я готовлюсь к работе... И поэтому прошу меня больше не беспокоить... Понятно? И вот что еще... Если гражданин оперативный уполномоченный самовольно отменит мое распоряжение, то это будет значить, что он вместо меня стал главным хирургом... Тогда я немедленно прекращаю работу. Тогда скажи-

те гражданину оперативному уполномоченному – опять посмотрел на часы, – через час необходимо оперировать аппендицит во втором корпусе, а затем еще сегодня там же грыжу и вскрывать нарыв... кстати, его коллеге, уполномоченному с 9-го – он лежит в первом корпусе. Тогда пусть сам гражданин оперативный уполномоченный сегодня делает операции. Понятно? Прошу, чтоб через полчаса мне доложили, ушел ли этот этап. Вам затрудняться незачем... Там у вас есть дневальный зека... Не забудьте только, пришлите сообщить... В противном случае пусть оперирует сам гражданин оперативный уполномоченный. Понятно? До свиданья!..

...Я сидел, уставившись в доску, и курил. Папеич опять сел, утирая платком влажный лоб и шею...

– Ну, вот видите! Вы опять зевнули коня... Я же говорил! Без обратных...

Вечером телефонист-заключенный звонил на 18-й и у тамошнего телефониста, – тоже зека, – спрашивал, как прибыл этап, спрашивал поименно о здоровье и при этом намекнул, кто каков.

Прошел еще месяц. Я уже работал медбратом во втором хирургическом корпусе. Вечером дежурил. После поверки прибежала Эдит.

– Выйди на минутку. Помнишь Степана, того, через которого тетю Дусю отправили?! Его привезли сегодня в первый корпус... Перелом двух ног и позвоночника; дерево на него упало... *

---

* Возвращения тети Дуси я не дождался. В июле меня увезли на „переследствие" в Москву. Через полтора года мне удалось получить письмо от Эдит – она освободилась, нашла свою мать и дочь, которую оставила в 1937 году грудной, приехала к ним в Свердловск, работала медсестрой. Она писала, что тетя Дуся вернулась в больницу и дядя Сеня был „такой счастливый – как будто его освободили".

Сережа умер от обострения мастоидита. Дядю Борю освободили, новый врач оказался менее опытным и менее заботливым.

Николай Папеич с середины 50-х годов живет в Душанбе, работал в поликлинике, стал широко известен в городе и в республике как замечательный хирург. Теперь уже пенсионер.

Шестая часть

МОСКВА МОЯ

Тридцать первая глава

САНАТОРИЙ БУТЮР

Самый счастливый час в жизни?.. Сегодня я бы уже не решился выбрать, какой именно час или день назвать самым счастливым. Но было время, когда на такой вопрос я отвечал уверенно: в августе 1946 года – не помню числа, – примерно около четырех... – был самый счастливый час моей жизни.

За трое суток до этого меня привезли в Москву По пути я провел две недели в Горьковской пересыльной тюрьме. Ждал. Тоскливо было в людной камере. Вокруг чужие люди, измученные, озлобленные, несчастные; иные неприятны, даже омерзительны. После этого – сутки в удушливой тесноте "столыпинского" вагона Горький-Москва.

Потом вечер-ночь-день – вторая ночь – второй день и снова ночь в таком же вагоне, но уже неподвижном. Пересылка у Казанского вокзала . В купе-камеру, рассчитанную на 6-7 человек, набивали по 20-30; почти полдня было 36. На самых верхних полках третьего яруса не лежали, а сидели по трое, по четверо и по пять, задыхаясь от жары, – крыша накалена августовским солнцем, – и от зловония. На нарах второго яруса корчились, сидя в "раскоряк". Внизу и сидели, и стояли и лежали на полу, под скамьями. Внизу тоже задыхались, но к тому же еще были измяты, изжеваны давкой, затекшие ноги и руки сводило судорогами. Сверху текла моча – кто-то не удержался. Его исступленно материли, но как разобрать, кого именно? Да и не вытянуть руки...

По утрам выводили на оправку: конвоиры зевали, они были не злыми, а просто скучающе равнодушными. Загаженная уборная: –"Давай, давай, быстрее, быстрее". Торопили не столько конвоиры, а проклинающие и умоляющие сокамерники. Потом вызывали с вещами и грузили в воронок.

Радость – можно расправить руки и плечи, пройти несколько шагов, покачиваясь на ватно мягких ногах, в открытой двери вагона – утреннее солнце, великолепная прохлада. В воронке – опять давка, но уже не такая чудовищная. Вошедшие первыми сидят на скамьях, другие – на мешках, вплотную к их

ногам, только последние – вповалку.

Везут. За тонкими железными стенками – шумы города: голоса людей, движение машин, гудки, сирены. Но через час-другой стены накалялись от солнца и в зарешеченный вентилятор в крыше сочился не воздух, а горячая пыль, пахнувшая асфальтом.

Часто стояли. Слышно было, как переговариваются конвоиры. Они ходили в пивную, в столовую. Мы стучали:

– Начальник, пусти оправиться... пить... мы голодные...

– Скоро приедем... Уже скоро... Вот сейчас...

Мы заезжали на другие вокзалы – Киевский, Курский, Белорусский. Вталкивали новых пассажиров.

Снова и снова просили, умоляли, требовали:

– Оправиться, пить... хоть глоток... оправиться... пить...

– Терпи, уже скоро... Кто там ругается? Вот наденем браслеты и в рот портянку, будешь знать, падло!

Все же временами становилось просторнее, можно было раздеться, сесть на железный пол – он холоднее стен. Снизу, под дверью – щель, тоненькое дуновение. К вечеру и вовсе легче.

Просыпался голод: утром отправили до раздачи пайки. Но к вечеру привезли опять на Казанский, в тот же или в другой такой же вагон – их несколько стояло в тупике...

– Какая вам пайка, все роздали...

Так было и на второй день. Все роздано. Хорошо, что пустили на несколько секунд в загаженную уборную – и эти секунды были прекрасны. Ругаться с конвоем нельзя – впихнут, как накануне, в самое худшее купе. А это, кажется, не так полно: сесть, правда, уже некуда, но можно переступать с ноги на ногу, достать из кармана махорки, свернуть.

– Откуда, мужик?

– Отсюда же... Утром увозили... И вчера и сегодня.

– Мы тоже уже два раза катались... увозют гады, а пайки себе... Хоть бы на Красную Пресню отправили, там порядок. Там в вокзальных камерах горячая баланда и сахарок.

Но Краснопресненская тюрьма – пересылка для осужденных, отправляемых из Москвы, а на Казанском в вагонах – пересылка для прибывающих в Москву подследственных и по "спецнарядам".

Третью ночь дольше всего я стоял в смрадной, душной

тесноте, но все же хоть сверху ничего не текло и не капало; и оставалась еще махорка. Часа два или три удалось подремать, сидя на смену с тощим, бледным молодым вором. Я оставлял ему покурить и давал медицинские советы: его взяли в Куйбышеве на рынке, жестоко избили, он жаловался, что мочится кровью.

В нашем купе было несколько цыган. Один совсем молодой, лежал под скамьей. Ржевские колхозники, — два угрюмых молчаливых старика в оккупации были старостами. Мальчишки из ремесленных училищ, осужденные "за прогулы" — задержались дома после каникул. — Пожилой машинист из Западной Сибири.

— Я член партии ленинского призыва, ударник пятилеток, с самых первых орденоносцев, еще с Кривоносом начинал... Я тогда "Трудовое знамя" получил и за войну три ордена — "Звездочку", и "Отечественную второй степени", а сколько благодарностей наркома уже и не помню... А теперь вот Указ. Поехал в отпуск в 1-й раз за 10 лет. С 1936 года без отпуска, без выходных. Как значит, кончилась война, — последняя с японцами, — дали и мне, наконец, месяц, а дорпрофсож предложил путевку в Сочи. С начальником договорился, — приеду на неделю позже, за счет выходных — ведь сколько раз без выходных ездишь, от бессонницы уши пухнут и безо всякой компенсации. А тут путевка, дорога, то да се... как раз нужно еще семь дней... Начальник депо разрешил, а приказом, как нужно, не оформил. А тут ревизия. И с начальником службы движения у меня склока была, я критиковал его, даже в газете пропечатал. И вот, пожалуйте, прогул семь дней! И, значит, пустил по указу. Получил семь лет, правда, без поражения в правах. Я жаловался; теперь привезли в Москву, надеюсь на пересуд...

Было еще несколько "сталинских воров" разных возрастов. Мой "сменщик" презрительно объяснял:

— Сталинский вор — это, кто крадет с голоду, не умеючи, не как настоящий человек, настоящий цвет, который, как говорится, преступный мир. А эти только, чтоб сейчас пожрать, или папа и мама обедняли и он хочет, чтоб украл и концы, а потом пожалуйста, я честный сын родины, не судимый гражданин, меня комсомол воспитал, я не крал, а только одалживал, я сам обожаю ударный труд, но мне кушать хочется... Вот это и есть

сталинские воры — жлобы, сор, шкодники. Честный вор на таких и плюнуть не схочет...

На утро опять вызвали с вещами — в воронок.

— Давай, давай, не разговаривай. Пайку в тюрьме получишь. Мы вас кормить не обязаны. Ваши пайки в Бутырках уже третий день лежат, а у нас наряда нет. Где я тебе хлеба возьму, не видишь, что здесь не пекарня... А почему вчера не свезли, это у шофера спрашивайте, или у конвоя. Разве я вас возил? Так откуда я знаю, почему не отвезли. Значит, у них более срочные дела. Давай, давай, шевелись, в Бутырках и посрешь и пожрешь, как на воле.

Воронок ездил по Москве до жары и долго стоял где-то на тихой улице под солнцем. Конвоиры лениво переговаривались в стороне. Они ходили пить пиво.

Нас осталось трое, сидели в одних кальсонах на полу, утирая грязный, липкий пот.

Инженера-механика, заключенного с 37-го года, везли из Воркуты по наряду, зачем и куда — не знал.

Второй — тоже инженер, котельщик, осужден недавно. Еще в двадцатые годы уехал в Чехословакию. Тогда разрешали. Там женился на чешке. Принял чехословацкое гражданство. При немцах ушел из фирмы, работал в маленькой ремонтной мастерской, ремонтировали отопление, домашнюю утварь.

— Моего свояка расстреляли немцы. Когда наши пришли, все так обрадовались. Я тоже, конечно, с открытой душой. У нас бывали офицеры, очень симпатичные молодые люди. Я интересовался, как найти родственников в России, долго не имел известий. Сестра в Саратове замужем, два двоюродных брата на Урале. Меня вызвали в комендатуру, я даже с детьми не простился. Сказали — "на несколько минут, по поводу ваших запросов". А там, пожалуйте, ордер, и все... Потом, правда, жене разрешили передать вещи, продукты. Следствие полгода. Нет, не били. Только пугали, грозили. Я все говорил честно, мне скрывать было нечего. С эмигрантскими организациями не связывался. Но я, ведь, русский человек и среди знакомых были русские семьи. Иногда в церкви приходилось бывать, на свадьбах, на крестинах, на панихидах...

Когда наши пришли, все русские очень радовались. Я всю жизнь прожил на виду, пятнадцать лет в одном и том же доме

квартировал, десять лет в одной фирме работал и еще пять – в одной мастерской. Свидетелей сколько угодно. Но никого не позвали. Потом во Львове военный трибунал. Десять минут всего. Задали несколько вопросов: ”Признаете себя виновным?”... Нет, говорю, хочу объяснить. ”Ладно, ладно, суду все ясно...” Даже не уходили совещаться, шептались полминуты. Объявляют – измена родине – десять лет и еще пять лет – как это говорится, безо всяких прав. Я подал кассационную жалобу. Ждал больше двух месяцев и вот привезли в Москву. Но, знаете, даже не верится. Поразительно – такая великая столица, такая могучая держава, и вот мы здесь, в таких условиях, можно сказать, совсем бесчеловечных...

Втолкнули четвертого с двумя мешками; в дверях с него сняли наручники. Он сел на большой мешок, растирая запястья. Маленькая кепочка, бело-синяя спортивная рубашка. Коротко стриженый,узкоплечий,белобрысый; бровей нет–серенькие бугорки, – красноватые веки, водянисто-серые, выпуклые глаза, маленький рот.

– Жарко, мужики? Оголодали? Давайте, рубайте!

Он достал из мешка сухари и пиленый сахар, дал каждому полным двугорстьем.

– Сужденые? А я с вышкой. С Можайского... Облсуд выездной дал вышку. Привезли или шлепать или миловать. Может, и шлепнут... У меня уже четвертая судимость. Это открытая, а так побольше будет. Весной оторвался я с Печоры и полсрока не было, оторвал с концами в цвет... Я зовусь Сашок Московский, а правильней говорить, подмосковный. И партнер с Можайского. Ну, мы там сберкассу работнули, а через месяц еще продмаг. Мы двое и еще двое тоже приезжие. Только там шухер получился. Мы пьяные были. А те двое еще без понятия босяки, так, только на ноги становились. Но я-то дурак... Даже обидно, вроде башку заменили... Правда, оголодал я в лагерях. Три года сосаловка. Доходил, думал, не оживею. А тут с той сберкассы чистые гроши взяли, моя доля больше двадцати кусков... Я женился на честной. Она и не знала, кто я, верила, с Германии демобилизованный... Мы еще раньше с тем партнером проездом под Москвой углы отвернули, – трофейные, прибарахлились, будь спок... Так мы с ей жили, сколько – три, не, четыре месяца, – ох, и жили! Всего, чего хошь от пуза и шоколад и вино... Так жили, бля буду, помирать не жалко. И жена меня

уважала и мама ихняя, ну, прямо как сына родного. Сашенька, я тебе баньку стопила... Таня, – это жену мою так зовут, – ты чего же Сашеньке мало штец насыпала?.. Ты ему не мослы, а мясо положь... Очень хорошая женщина теща и справедливая. Вот я, дурак, и зажрался, и мышей не ловил. А тут и тот партнер обратно и новые. Продмаг в Можайском верняк, значит. Пошли мы дуриком, пьяные. Придавили сторожа... Надо было когти рвать, куда подальше. А я фраернулся. Правда, фарт был, дай Бог – продукты всякие, сало, масло, тушонка эта... Водки разной... Мы полуторку с базы угнали, всю нагрузили. Заначили, как надо втихаря, дуванили честно. Я домой подался. Но только мне жалко от жены, от тещи, от своей хаты. А тут мусора и псы надыбали след. Мы с партнером как раз пошли с дома и обратно пьяные, у него дура и у меня – трофейные парабелы. Мы их закнацали с даля, рванули в переулок. Они – стоп! Руки вверх! Мы – туда-сюда... Они псов пустили... Партнер одного пса на пять шагов: раз! и с первой пули амбец! Тут мусора пошли как на фронте: бах, бах!.. Пули только : жик, жик! Партнер сзади был, я слышу: – ”ой, Сашок, ой...” Смотрю: он уже копыта откинул. Тут я психанул, забег в какую-то сараюшку, залег там в оборону, прицельно пуляю. Трех или четырех гадов подранил, на суде говорили: один потом сдох. Так они тут вояк вызвали, пожарную кишку: только пушек не было. Но, потом, когда меня взяли, – патроны у меня кончились, – они так радовались, даже били мало, бля буду, только связали всего, как запеленали. А на суде, конечно, уже посчитали бандитизм. Только это обидно. Я ведь кто? Честный вор в законе – я этих бандитов и хулиганов так презираю ну, не лучше гадов и лягавых. Чтобы дуру наставить: ”даешь гроши”, или чтоб зарезать человека, ума не требуется и смелости не требуется, – нужно только нахальство и никакой совести. А ведь каждый человек жить хочет, у него, может, жена или мама или даже дети могет быть. А тут ему такой дурак долбаный берет и горло режет... Таких я всегда ненавидел. Вот, чтоб воровать, тут нужно голову иметь, бля буду, и смелость, и ловкость, это как в карты, или в козла или в шашки: соображай, где что... Ну, если, конечно, горишь, если заложил тебя какой сука, можно и отмахнуться, можно и пришить, уничтожить,если кто последняя падла. Но это уже в крайностях, по закону. А так честный вор не должен в крови пачкаться. Вот и я через свою дуростъ получил вышку.

Но если помилуют, я теперь завяжу, бля буду... Я так и на суде сказал по-честному. У меня теперь жена, дом свой, могет и дети будут. Живой буду, завяжу, это уж точно.

Он говорил непрерывно, ровным тихим голосом, смотрел на слушателей рассеянно, дружелюбно. Курил, – иногда прикуривая одну папиросу от другой, – каждому из нас он дал по пачке "Беломора". Протянул без той размашистой, показной щедрости, которой обычно щеголяют воры а просто, как нечто само собой разумеющееся. Каждого спросил вежливо:

– Ты, дядя, с откуда? Тоже 58-я?

Но ответов почти не слушал и спешил говорить о своем. Он не успел распариться, сидел на мешке, не раздеваясь, возвышаясь над нами полуголыми, грязно потными, белый, чистый, добрый кормилец, доверчивый рассказчик...

Но от сухарей иссякала слюна, от сахара слипались рот и гортань, жажда становилась все мучительней.

Наконец, приехали... Явственно было: въехали с шумной улицы в тихий двор, повернули, потом опять скрипнули ворота – стало еще тише. Почти уже не слышна улица. – Поворот. – Еще поворот. – Мотор заглох. – Клацнули замки.

– Давай, давай, выходи по одному.

Мешок и одежду в охапку, босыми ногами на теплый асфальт. Тенистые деревья, высокий подъезд. В передней-тамбуре прохладный кафельный пол.

– Стать лицом к стенке.

Не кричат, просто говорят, и совсем не грубо, деловито. Называют фамилии. Нужно ответить имя и отчество. Статья? Срок?

– Пройдите!..

Большой широкий коридор, – нет, не коридор, скорее зал без окон, кафельный пол, по обеим сторонам двери с волчком, в дальнем конце – столы и конторки, лампы под зелеными абажурами. Надзиратель кажется миролюбивым, домашним – не молодой, в опрятной гимнастерке. Он идет впереди и стучит ключом по пряжке ремня. Открывает одну из дверей – это бокс – небольшая камера. Г-образная. Вдоль стены – темная деревянная скамья, вращенная в кафельный пол, стены до половины выложены зелеными плитками из какого-то стекловидного материала, выше окрашены светло-бежевой масляной краской.

– Гражданин начальник! Оправиться... Пить.

Он кивает понимающе:

– Сейчас, сейчас, потерпите еще немного.

За дверями бряцанье, позвякивающие сигналы ключей. Топот. Шарканье.

Сашок объясняет:

– Это Бутырка – хорошая тюрьма. Аккуратная. Может шлепать не будут. Здесь, вроде, не шлепают...

Клекот ключа в нашей двери. Другой надзиратель, помоложе, построже.

– Оправляться пойдете?

Все вскакивают.

– Не торопиться... давай без вещей... руки назад... Там и напьетесь и помоетесь.

Идем наискосок через коридор – трое полуголых, босых, грязных и белый опрятный Сашок. Дверь с волчком, три каменных ступени вверх. Влажная прохлада... Рукомойник. Два крана. Три сортирных кабинки и совсем не грязные, течет вода, подножья железные.

Минуты несказанного блаженства. Потом жадно пьем и моемся. И опять пьем и опять моемся. Надзиратель заглядывает. Ворчит. Но добродушно:

– Вы тут не наливайте, не в бане... Ну, давай, давай обратно, другим тоже надо.

Возвращаемся мокрые и довольные. Вытираться не хочется. Прекрасный живительный холодок. Опять ключ. Принесли алюминиевые миски с пшенной кашей – густая, ложку воткнешь – торчком стоит.

– Хлеб вам сегодня еще не выписали, а кашу можете просить добавку.

В алюминиевых кружках горячий чай, не сладкий, но чай настоящий, душистый. Сашок опять раздал сахар и сухари. Едим неторопливо, сосредоточенно. Упоенно сопим. Изредка звучат короткие, благодушные похвалы – хвалим воду, кашу, чай, надзирателей, сухари, Бутырки...

Получаем еще каши, еще чаю. Выскребываем дочиста миски. На донышках выштампованы буквы "Бут. тюр".

Кажется, именно тогда, а может быть, и в другой раз, то ли мне случайно придумалось, а скорее всего, от кого-то раньше услышал, но согласно повторил, вроде бы шутя, и все же не

только шутя, – ''Санаторий Бутюр''. Да, именно так: ''Санаторий Бутюр''.

Тридцать вторая глава

КАМЕРА № 96

Меня привели на второй этаж старого корпуса в широкий коридор: по одну сторону в светлой стене неглубокие ниши и темнозеленые двери камер, одноглазые, квадратноротые; по другую – большие окна, забранные нечастыми светло-серыми решетками. За ними виднелась густая листва деревьев – живая, дышащая зелень прямо против мертвенной зелености железных дверей. Утро было сиренево-розовое, суетливо щебетали птицы. Коридорный надзиратель завел меня в темную дежурку, выдал ватный матрац, алюминиевую миску, такую же кружку и ложку.

– В камеру идите тихо и лягайте, где свободно. До подъема еще три часа.

Камера 96. Большая, двухсводчатая, схваченная посередине плоскими выступами. Стены выгибались высоким потолком, наверху две лампочки утоплены и зарешечены. Они горели и ночью, ведь в камере должно быть всегда светло, чтоб все видно. Два окна, темные решетки за ними "намордники" – щиты под углом, но не слишком острым, видны большие полосы рассветного неба... Слева от двери темно-рыжая параша. По обеим сторонам – нары, деревянные щиты на стальных рамах – "лигиматорах'. Арестантов не так уж много – чуть больше двадцати. Кое-где в нарах узкие проходы, щиты раздвинуты; все лежат на матрацах. Посредине впритык три стола. На них книги, шахматные доски.

На третьем месте от окна я увидел пустой щит, – повезло, не у параши, где обычно приходится начинать новичку в переполненной камере.

Я лег на матрац, укрылся бушлатом, из окна тянуло холодком, послушал щебет, суливший добрые вести, и блаженно уснул.

Подъем! В кормушке голос надзирателя называет четыре фамилии – это дежурные. На оправку! Двое дежурных подхватывают парашу. Другие два будут раздавать пищу, командовать уборкой. В коридоре строимся по два; ”руки назад!” У двери в уборную надзиратель раздает листки, нарезанные из газет и старых книг. Пока все не управятся с оправкой и умыванием проходит минут двадцать. В этой камере – все подследственные, а я, – хотя еще и не осужден, – уже побывал в лагере. Меня начали расспрашивать еще в камере, продолжают в уборной. Расспрашивают о пайках, режиме, нормах, какая больница, как с перепиской. И, конечно, что слыхать об амнистии, правда ли, что ожидают манифеста? – Помилование будет тем, кто воевал, или только тем, кто раненые?

Широкоплечий, широколицый хромой летчик Алексей. Его тяжелый самолет – тихоход ТБ-3 подбили еще в начале войны. Он раненый попал в плен, едва подлечился – убежал из вагона в Восточной Пруссии; несколько пленных летчиков и танкистов разобрали пол в товарном вагоне и по одному вывалились на рельсы. Через северную Польшу они добрались до Белоруссии к партизанам. До зимы он воевал на лесных дорогах, командовал партизанским взводом, потом все же перешел через фронт и вернулся в свою часть. Летал уже на штурмовике; осенью 42 года опять подбили над немецкими тылами. Он успел отбомбиться, дотянул горящий самолет через передовую и посадил у своих; долго лежал в госпитале, стал хромым – перебитая голень плохо срасталась. Демобилизовываться не хотел, и его оставили в этой же эскадрилье на инженерной должности. Он женился на летчице из женского полка. У них родилась дочь. Но и жена осталась в строю. После ”декрета”опять летала. В 1944 году он поехал с фронта в командировку выколачивать приборы. В Москве на вокзале его арестовали у транзитной кассы. Следователь сказал, что его жена улетела к немцам и, значит, это он ее послал, значит, он вернулся из плена по заданию. Следователь назвал его фашистом. Он ударил следователя стулом, разбил в кровь голову. Связали. Побили. Двадцать суток продержали в карцере. На раненой ноге открылся свищ.

Он объявил голодовку. Кормили насильно через нос. Но больше не допрашивали. К августу 46-го года он был уже два года под следствием, из них – полтора без допросов. Держался он спокойно и вовсе не подавленно. Говорил тихим, но уверенным властным баском; двигался молодцевато, хотя сильно хромал. В каждом движении ощущалась та упругая, мужественно изящная сила, которая отличает настоящих спортсменов и настоящих строевиков.

– Силы беречь надо, от баланды калорий немного... Передач не разрешают. Раньше получал от тещи. Но после того, как стукнул мерзавца, уже не единой... Каждый месяц пишу заявления. – Тут раз в месяц выдают листок бумаги под заявление или жалобу, но чтоб в тот же день сдать обратно, хоть чистым, хоть запачканным. Я пишу все одно и то же: прошу закончить следствие, прошу разрешить передачи. Получаю ответ раз в три месяца. Дело за военным прокурором МВО и все. Значит, надо беречь силы, даже трепаться много не следует. Тоже расход калорий и нервной энергии.

Большую часть дня он лежал. Днем полагалось подкатывать матрацы к стенке и разрешалось только сидеть на щитах и на скамьях, но Алексей был старожилом, к тому же больным – свищ в ноге. Надзиратели ему даже замечаний не делали. Когда я стал получать передачи, то, разумеется, делился в первую очередь с ним. Сблизили нас некоторые общие воспоминания и даже общие знакомые. Алексей был воспитанником Харьковской коммуны им. Дзержинского времен Макаренко, учился вместе с ребятами, которых я потом знал в Харьковском университете.

Он оставался в Бутырках еще и весной 47 года. Тогда я встречал его недавних сокамерников. В начале 60-х годов я прочитал в "Известиях" очерк о герое летчике, в котором узнал Алексея. В ту пору еще писали о репрессированных героях. Судя по очерку, он жил на пенсии и "активно участвовал в общественной жизни, в работе ДОСААФ".

В камере было еще два Алексея.

Алексей Михайлович Ж., дюжий молодцеватый казак, – в рыжеватой раздвоенной бороде ни сединки, только лоб начала

поднимать светлая плешь, до войны был бухгалтером банка в Ростове и членом партии. Осенью 1941-го года, когда немцы в первый раз заняли Ростов, он оставался в городе по заданию НКВД, но как-то так получилось, что потерял все связи, был арестован, и чтоб избежать петли и не помирать с голоду, "пошел в казаки" и оказался в штабе Краснова. О Краснове говорил с симпатией.

– Добрый старик был, мечтательный, верующий, конечно, идеология у него, – уж тут ничего не скажешь, – отсталая, казачья, старого образца: за веру, царя, отечество... Но так с людьми справедливый был и, можно сказать, лично вполне искренний великодушный человек. Не то, что Шкуро, тот был хам, пьяница, вообще дурак и перед немцами холуй. А Петр Николаевич, – это Краснов, значит, – критиковал немцев, спорил с ними, даже в глаза с этим Панквицем, который командовал первой дивизией. Петр Николаевич хотел свою особую казачью политику вести. Я от него ездил к Власову и к гетману Скоропадскому связь устанавливал. Договориться хотели. Ни до чего определенного не договорились. Скоропадский уже тогда совсем одряхлел, но за свои принципы держался, хотел чтоб только его признавали законным гетманом всей Украины, и чтоб никаких там Бендер и тому подобное.. А у Бендеры куда больше авторитета было, а силы и подавно. Мы так считали, у него не меньше сотни тысяч активных штыков; хотя и по лесам, по селам, но организованные. А у гетмана только несколько десятков стариков. Зато, правда, средства большие – миллионы в разных банках... Но с Бендерой мы не могли связываться. Он ведь против немцев пошел. А Власов хотел обе наши казачьи дивизии просто включить в свою армию, чтоб единое командование... Краснов, тот, может быть, и согласился бы, только, чтоб, конечно, признали казачью автономию. Но Шкуро ни в какую, он кричал, что Власов – большевик, что он его советское генеральство не желает признавать, не хочет ему подчиняться. Ну, и еще всякое такое. Шкуро боялся, что Власов над финансами контроль возьмет. И тогда он, Шкуро совсем не причем окажется. Немцы тоже этого не хотели. Им ни к чему было, чтоб все русские части, и казачьи и украинские объединялись, это уже не по их политике выходило.

От Алексея Михайловича я впервые услышал о том, как именно Краснов, Шкуро и все "немецкие казаки" были возвра-

щены на Родину.

В последние месяцы войны большая часть казаков находилась в Югославии; военных действий они почти не вели, главным образом выменивали оружие на харчи и сливовицу – торговали с четниками и с усташами и с титовскими партизанами. Когда исход войны стал очевиден, казаки отошли в Северную Италию. Там они добровольно сдались англичанам. После чего их, не разоружая, разместили в небольшом городке в Западной Австрии. Шла обычная казарменная жизнь: выставлялись караулы, чистили лошадей и оружие. Только не вели военных занятий. Краснов и Шкуро просили английских офицеров передать своему правительству, что казачьи части готовы служить в британской армии, охотно будут воевать против японцев, могут нести гарнизонную службу и выполнять строительные работы в Индии или в Африке... Так продолжалось два месяца. Потом им сказали, что британское командование приглашает всех офицеров на совещание в соседний городок. Краснову, Шкуро и Панквицу подали легковые машины, для прочих офицеров – несколько автобусов. Когда выехали на шоссе, в эту колонну – как бы случайно – включились несколько грузовиков и бронетранспортеров с английскими солдатами, мотоциклисты-пулеметчики, два броневика. Так они и подкатили прямо к лагерю. Англичане сворачивали у ворот, солдаты залегли с пулеметами у проволоки, а машины с казачьими офицерами вкатились на лагерный плац.

Английский капитан через переводчика объявил:

–По соглашению с союзным советским правительством, британское командование решило интернировать казаков, служивших немцам. Для генералов предназначен вон тот домик, для всех остальных – вот эти бараки. Прошу немедленно сдать оружие...

Тут начался крик, мат, но Краснов сказал: "Господа, прошу подчиняться, никто как Бог, мы обмануты, но будем вести себя достойно"... Трое сразу же застрелились. А остальные стали сдавать пистолеты, шашки, кинжалы. –Английские солдаты уносили оружие кучами в плащ-палатках. Всех пересчитали, записали. Вечером дали ужин – хорошее мясо, сладкий пуддинг, даже виски. Потом кино показывали. Мы стали соображать. Говорили, поживем так, потом, наверное, поодиночке будем вербоваться в колонии, в иностранный легион или на ра-

боту. Возвращаться на родину, прямо скажу, никто не располагал. Большинство у нас были пленные; стариков мало – Краснов, Шкуро – раз-два и обчелся; – старые эмигранты не хотели немцам служить. У них этот их старый патриотизм был все таки еще силен. В наши части, да и к Власову шли сплошь "подсоветские", так нас называли. Мы-то хорошо знали, что нас дома ждет. Ежовщину никто не забыл; а тут ведь и вправду вина перед государством, особенно у казаков. Нас еще с гражданской войны считали за контру. И в коллективизацию, и в 37 году сколько шкур драли. Правда, лампасы разрешили и ансамбль песни-пляски. Лампасы были, ансамбль был, но жизни все-таки не было. А Краснов немцев всегда уважал. Не Гитлера, нет, а вообще Германию. Гитлер ему совсем не нравился, но только он верил, что его после войны или еще до конца войны скинут генералы и офицеры старой школы. Когда у них там заговор был летом 1944 года – он очень надеялся и жалел, что не вышло. Этот граф Штауфенберг, который тогда бомбу под Гитлера сунул, он, ведь, и с Власовым и с Красновым водил знакомство, очень помогал в организации наших войск. Он был из тех немцев, которые надеялись, что после войны все по-другому будет и в Германии, и в России, и тогда исполнится мечта Бисмарка – будет союз русских и германцев. И Краснов так же мечтал. Скажу по совести, это неправильно, когда говорят, что он хотел воевать против России и казаков немцам продал. Про Шкуро так можно сказать, тот действительно был вовсе без стыда и чести, а Павел Николаевич, он по-другому надеялся... И когда англичане нас в лагерь свезли, он приказал не сопротивляться, оружие сдать...

Позднее мы узнали, что всех рядовых казаков англичане тогда же погрузили в машины и повезли прямо к советам. А нам, офицерам, уже на следующее утро английский комендант объявил распорядок дня – завтрак тогда-то, ланч тогда-то, а потом в столько-то ноль-ноль – передача советскому командованию. Тут еще двое застрелились, кто пистолеты припрятал, и потом кой-кто в бараке повесился, не помню уже три или четыре человека... А Краснов все ходил и говорил: спокойствие, господа, никто как Бог, надейтесь на Бога. Днем повезли нас всех уже в грузовых машинах. Ехали через речку, двое ухитрились прыгнуть, англичане стреляли, как в тире. Так их в воде и застрелили. А там уже землячки встречали, сплошной мат,

конечно, и сразу в телячьи вагоны... Рядовым, тем чохом срока давали – по 10-15 лет, а на офицеров завели отдельные следствия. Меня вот уже тринадцать месяцев допрашивают, и в Ростов возили, и на Лубянке был, и в Лефортово; всякого доставалось. Но только я все откровенно рассказывал, как говорится, начистоту, никаких задних мыслей. Свою вину перед родиной сознаю, но прошу принять во внимание обстоятельства и полную искренность...

Три года спустя на марфинской "шарашке" Коля Бондаренко, бывший ординарец Краснова, подтвердил рассказ Алексея Михайловича. До войны Коля был секретарем комсомольской организации МТС на Кубани, в 1945 году его осудили на 20 лет каторги, а в 1950 году его привезли из Воркуты на шарашку, – хотя он не имел особо высокой квалификации, которая обычно предполагалась у направляемых из лагерей по спецнарядам. Крикун, балагур, заводила, он был вместе с тем и "ласковым теленком", ладившим с любым начальством: на шарашке он лихо "вкалывал" в кузнечно-штамповочном, стал примерным читателем газет, патриотическим комментатором у лагерных радио-рупоров и... стукачом.

Но о Краснове он тоже отзывался с нежностью: "хотя и белый генерал, политически, можно сказать, враг народа, но так хороший был дядька, справедливый, а до меня – как отец или дедушка. Спрашивал завсегда: ты уже поел? Не устал? Воспитывал, учил, чтоб не пил много, не привыкал, и как надо культурно говорить. Только божественный был очень, все крестился, молился. Но, я его уважал и тоже, конечно, старался".

Алеша-художник, худенький, в суконном красноармейском шлеме-богатырке и длинной шинели старого образца, был тихим, печальным и хорошо воспитанным московским юношей. Его угнетала болезнь глаз; он говорил, что без живописи жить не хочет. И если ослепнет, обязательно убьет себя. Он говорил это спокойно, без патетики и надрыва. Алешу и его жену, молодую художницу обвинили в том, что они создали кружок заговорщиков-пораженцев, хотели свергнуть советскую власть, и что их вождь – писатель Леонид Леонов. Следствие тянулось больше года. Но никаких показаний самого Леонова в деле не было. Алеша надеялся на помощь своего дяди, ака-

демика Мещанинова, однако подробно расспрашивал меня о режиме лагерных больниц.

Много лет спустя Алеша приходил ко мне в Москве: он был вполне здоров, деловит, энергичен и рассказал, что вместе с товарищем написал триптих, изображавший ударников коммунистического труда одного из московских заводов. Алеша объяснял: „Мы хотим творчески применить лучшие традиции русской живописи, проще говоря, икон. Помните, как мы с вами там, в Бутырках, говорили об иконах, о Рублеве, я уверен, что вы нас поймете, а в МОСХе сейчас всем заправляют леваки, модернисты, они к нам враждебны, да мы еще ведь бывшие зеки. Помогите нам через Союз Писателей или через газету устроить выставку. Ведь наша картина самая первая. Еще никто не писал ударников коммунистического труда именно так...”

Хотя и то, что говорил так неузнаваемо повзрослевший и приободрившийся Алеша и то, как он это говорил, мне было неприятно, все же я попытался ему помочь. Мои приятели посмотрели триптих, устроили обсуждение. Представители завода хвалили, художники помалкивали. Молодая женщина – серьезный искусствовед – сердилась: ”Живопись более, чем посредственная, патетика претенциозная и спекулятивная. Ваш Алеша просто резвый халтурщик, пробивный малый и спекулянт”.

А в Бутырской тюрьме он с такой мужественной печалью готовился умереть, потому что не мог жить без искусства.

В те годы через Бутырки проходило множество людей. Я пытался высчитывать примерное количество, сравнивая номера на квитанциях, которые нам выдавали на руки. Каждый месяц нумерация вещевых и денежных квитанций начиналась заново. Поделив порядковые номера на соответствующие числа и сравнив полученные частные, а так разности между номерами квитанций за разные дни одного и того же месяца, можно было с достаточным приближением определить среднее количество ежедневно прибывавших арестантов. Осенью 1946 года их было 20-22, весной 1947 – 15-17, осенью 1947 – снова больше двадцати. В последующие годы это число несколько

снизилось. Когда в 1950 году меня уже с шарашки привезли в Бутырки, на ”праздничную изоляцию”, оно не превышало 10. В конце 1946 года в Бутырках одновременно находилось 25.000 арестантов.

Некоторых обитателей 96-й камеры августа-сентября-октября 1946 года я помню сейчас, много лет спустя. ”И вновь поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас”. (Анна Ахматова)

Капитан Яковлев. Он командовал артиллерийским дивизионом в 1941 году. У Можайска был тяжело ранен в голову и в грудь, очнулся уже в тыловом госпитале; его долго лечили, а в 1942 году демобилизовали, дали инвалидность, но он работал в каком-то хозяйственном учреждении. А в начале 1945 года его арестовали как изменника родины — ”власовского агитатора”. Оказалось, что несколько солдат его дивизиона попали в плен: после освобождения их поместили в проверочные ”фильтрационные” лагеря и требовали разоблачить возможно больше предателей и пособников. Они сговорились называть прежде всего мертвых. Капитана Яковлева, которого они сами видели умиравшим, с пробитым черепом в луже крови, они и назвали в числе тех, кто в плену агитировал за Власова; несколько подобных показаний — ”перекрещивающийся компромат” и Яковлева арестовали. И хотя его алиби нетрудно было установить за один день, — все госпитали, в которых он лежал, были вблизи Москвы и в самой Москве, — и хотя он работал в московском учреждении, именно в то время, когда, якобы, вербовал власовцев, следствие продолжалось уже больше года. Ему все еще давали очные ставки с его ”обличителями”, которые путались, терялись, пугались. Некоторых еще везли из дальних лагерей. Яковлев грустно удивлялся тому, что следователи не делают самого простого и легкого, не проверят его истории болезни, а продолжают допрашивать, злятся, орут, — правда, уже не на него, а на тех злополучных солдат, сажают их в карцеры, но и его не отпускают.

Двое поляков, ротмистр Казимеж К.. и подхорунжий Юлиуш Т. помогали мне продолжить изучение польского языка.

И ротмистра и хорунжего арестовали по ст.58-й 10 за антисовестскую агитацию в лагере интернированных офицеров АК’а.

Ротмистр объяснял, презрительно пожимая плечами. — ”Один пан слышал, же я сказал ”срана демокрация”. А може я

то про ангельску или американьску демокрацию говорил...

Он охотно рассказывал о том, как до войны был чемпионом Польши по нескольким видам конного спорта, брал призы на скачках и за вольтижировку. Он хорошо говорил по-русски, гордился тем, что уланский полк, в котором он служил, считался хранителем традиций русских полков нижегородских и гродненских гусар.

– У нас и фанфары и штандарты от тех полков хранились. И у нас служили русские офицеры, один даже князь Барятинский – Жора, лихой всадник, стрелок высшего класса, а как лезгинку плясал... Как ангел по воздуху летал, ни один артист не мог бы так...

Он помнил наизусть много стихов Мицкевича, Словацкого, романсы Вертинского, песенки Лещенко, и старые русские офицерские песни "Черные гусары", "Взвейтесь соколы орлами", "Оружьем на солнце сверкая".

Невысокий, но стройный, моложавый, он выходил на прогулку в темно-зеленой конфедератке и опрятной шинели; шагал быстро, легко, изящно.

– Надо запасти воздух, надо размять ноги. Тут прогулки есть не гуляние, а тренирование. Рекомендую пану майору ходить темпно, в темпо. То в камере можно туда-сюда не спешно. А здесь воздух, хоть и не очень чистый, но все-таки воздух з ветром..Надо в темпе.

Подхорунжий Юлик, недоучившийся варшавский гимназист, в начале оккупации ушел в лес. Смуглолицый, остроносый с тонкогубым нервным кривящимся ртом, он, видимо, был с какой-то стороны еврейского происхождения, но скрывал это. Часто, кстати и некстати, подчеркнуто говорил, что его семья – строго католическая, что отец был в первых легионах Пилсудского, рассказывал, что его родители были расстреляны немцами, когда те мстили за нападения партизан, давая понять, что они погибли не в гетто.

Юлик часто говорил, как прекрасно жилось в довоенной Варшаве. – Бедняками и безработными было только лодыри. – Всем жилось хорошо в Польше – и русским, и украинцам, и евреям, а недовольны были только нацисты, бендеровцы и коммунисты, только враги Польши. Они-то подзуживали и рабочих и другие народовости – фольксдойчей, украинцев и еврейских босяков, – приличные евреи называли себя поляками Мойсеева закона и любили дзядека Пилсудского, как родного

отца...

Он спорил со мной чаще, чем ротмистр, который только иронически улыбался, когда я принимался доказывать им, что мы никак не могли помочь восставшей Польше, что в 1939 году нам необходимо было договориться с Гитлером, потому что правительство Рыдз-Смиглы и Бека нас вынудило пойти на это, что мы не нападали на Польшу вместе с немцами, а только освободили Западную Украину и Западную Белоруссию, что в Катыни польских офицеров расстреливали не мы, а немцы...

Юлик, зло щурясь, кричал:

– Не могли помогать Варшаве? А для чего нам не дали помогать? Наш отряд шел к Варшаве, его ваши не пустили, разброили и всех отправили в лагерь. То правда есть, и я ту правду говорил, только правду говорил, а мне пан следователь за то пишет антисовецка пропаганда. То есть чиста правда, а не пропаганда .

Мы спорили, но никогда не ссорились. Им обоим нравилось, что я серьезно изучаю польский язык, что знаю историю Польши и партизанские песни,–я не забыл уроки, полученные еще в первой камере от Тадеуша.

После того, как их увели из камеры с вещами, мы вскоре нашли в бане условные знаки: К-ОСО-10, Ю-ОСО-8.

Несколько литовцев, – рядовые солдаты, то ли служили у немцев, то ли партизанили с "лесными братьями", – держались особняком. Один из них – Антон, промышлял изготовлением "карпеток" или "тапок". С утра у дежурного можно было попросить на целый день иголку и немного ниток. Остальные нитки надергивались из собственных тряпок. Антон ловко обтягивал обыкновенные носки кусками ткани, получались носки-тапочки.

Он обычно не участвовал в спорах, которые возникали в камере по самым разным поводам: о том, полезнее ли съедать хлебную пайку всю сразу утром, или нужно разделить ее на три части; где немцы больше зверствовали – в Польше или в России; могут ли сны иметь пророческий смысл; когда следует ожидать амнистии и т.д. Но однажды вечером ротмистр Казимеж тихо спел романс Вертинского о пани Ирэне: "Я влюблен в эти гордые польские руки, в эту кровь голубых королей". Слушатели хвалили его, просили повторить и тогда Антон ревниво заметил:

– А когда Вертинский пел в Каунасе, он пел: "Я влюблен

в эти литовские руки".

Ротмистр иронически пожал плечами : "Но так не выходит, в песне так не зпоется". Юлик заспорил раздраженно, а я их мирил, объясняя Антону и его землякам, что действительно нельзя так видоизменять стихотворную строку, но старался утешить напоминанием о том, что Мицкевич писал: "Литво, ойчизна моя!" – писал по-польски, был страстным польским патриотом, а ведь как любил Литву...

Недолго пробыл в камере москвич-архитектор Александр Николаевич. Его арестовали вместе с женой потому, что их дочь и ее муж, работавшие в одном из советских посольств сбежали и попросили политическое убежище.

Дочь уже много лет была далека от родителей, – стала отдаляться с тех пор, как замуж вышла.

– Мы с женой огорчались. Дочка учиться перестала, так и не кончила университет, а ведь начинала очень горячо, знаете ли, увлеченно, серьезно... Муж ее заканчивал дипломатический институт; теперь у этого института несколько игривое название МИМО... да-да, "мимó", будто кличка клоуна или шансонетки... Он уже тогда партийный был и такой, знаете-ли, самоуверенный. На нас, стариков, глядел свысока, очень старался казаться настоящим денди; этакие ухватки, которые должны изображать светские манеры; складки на брюках острее ножа, туфли насандалены зеркально, словечки французские и английские вставляет – "сильву пле", "окей". А на поверку, знаете ли, хамоват и невежа. Наш старший сын, – он погиб в Сталинграде, – не жаловал шурина, говорил "пижон", "карьерист". А младший на сестру обижался: за всю войну и дня не было, чтобы он досыта ел, тринадцати лет работать пошел; на фронт хотел, но не взяли – слабенький очень и близорук; и все же на авиазаводе работал не хуже взрослых рабочих... А родная сестра жила с мужем на литерные пайки – там и мясо всякое, икра, колбасы, шоколад. Однако, нам, поверите ли, только один раз к новому году две банки каких-то заморских консервов принесла. Но ведь мы с женой не могли, знаете ли, как это в старину бывало, проклясть и наследства лишить. Мы все надеялись, что она образумится, сама станет матерью и нас лучше понимать будет... А теперь вот следователь обещает в лучшем случае по пять лет лагерей. Либо, чтоб официально отреклись, знаете ли, через газеты, осудили и прокляли. – Иначе, мол, вы тоже соучастники и ответственны, по закону об измене родине.

Но, ведь это же просто немыслимо. Проклинать свое дитя, как бы она там не согрешила, –проклинать, да еще вот так–по приказу... Этот следователь такой, знаете ли, развязный молодой человек в погонах, то он меня на "ты" и обзывает всячески, и матом, то вдруг, "давайте по душам как интеллигентные русские люди"... Это он-то интеллигент! Старший лейтенант, а пишет "архетектор" и "ежидневно". Когда я ему заметил это в протоколе, он еще и нагрубил и наорал: "это я по рассеянности описался, а ты грамотного из себя строишь, но хочешь следствие в заблуждение ввести". – Какое, спрашиваю, заблуждение? "Скрываешь, – говорит, преступные связи своих родственников, изменников родины и, значит, сам изменник родины". Он, видите ли, хочет, чтобы я не только проклинал через газеты, но еще и назвал ему всех подруг и друзей моей дочери. Понимаете, зачем? Чтоб он побольше людей мог сюда засадить, свои планы перевыполнить. И вот ведь называет себя интеллигентом, – а мне в пример ставил, – кого бы вы думали? – Тараса Бульбу! Тот, видите ли, даже сына своего сам застрелил, как "патриот родины". Нет, уж увольте! Мне, знаете ли, скоро шестьдесят. Я еще в ту войну сражался. Вольноопределяющимся, – вольнопер, – тогда говорили, – был ранен, Георгия получил, дослужился до прапорщика, снова ранен, потом учился. В партиях никаких не состоял, после Октябрьского переворота лояльно работал, и проектировал и строил, и в Москве, и в других городах. Имею правительственные награды – орден Трудового знамени и Знак почета, медали, грамоты. Премии получал, благодарности... Когда война началась, я, знаете ли, хоть за полвека уже перевалило, сам пошел в ополчение, взводом командовал. Из окружения мы вышли. Слава Богу, даже не ранило. А потом нашли меня коллеги. Разыскивало министерство, необходимы специалисты, архитекторы; восстанавливать-то целые города надо. Разрушено, знаете ведь сколько. Демобилизовали по особому приказу. Работал я дни и ночи, никаких выходных, никакого отдыха... А теперь извольте – изменник родины! Оригинальный поставлен выбор: либо Тарас Бульба, либо преступник – враг народа...

Нет, уж я слишком стар, чтобы учиться подличать, чтобы по указке проклясть свою дочь. Да еще на невинных людей доносить, обречь их на тюрьму... Нет, уж лучше я сам. И в лагерях ведь люди живут, может быть, и там смогу работать по строительству. Жену очень жаль... За нее тревожно, здоровье у нее, знаете ли, слабенькое: щитовидная железа увеличена, сердце

пошаливает. Но духом она твердая – кремень, алмаз чистой воды. Если бы я вдруг ее жалеючи, ослабел и как-то уступил этому... Тарасу Бульбе, она бы не приняла, не простила. То есть по-христиански, вероятно, меня простила бы, но как мать, как жена – никогда. Она моя Елизавета свет Георгиевна, – вот уже больше тридцати лет мы вместе, – шестерых родила, трое умерли маленькими, и вот Сережа погиб, остался у него сынок, наш внучек Сашенька, Александр Сергеевич, как Пушкин, в этом году в школу пойдет. Да, так вот она хоть и спорила с дочерью и с зятем чаще, чем я, и куда более сердито – я даже подшучивал, вот, мол, что значит теща... Но она любит дочь, как бы это сказать, – более сильно и, так сказать, безоговорочно, – ведь мать. И она ни за что не согласится от нее отступиться. Примет любую кару, но не уступит. Значит, мне и подавно нельзя.

Верховодом у власовцев одно время был Гриша. Он командовал корешами, подставлял их в заместители дежурных, когда очередь выносить парашу доходила до получателей передач и те могли оплатить "заместителей" хлебом или сахаром. В его углу на нарах рассказывались длиннейшие похабные анекдоты.Гриша держался независимо, даже нагловато, но никогда не ссорился с теми, от кого мог ожидать отпора. Зато приставал к более тихим, робким, особенно, когда они оказывались дежурными по раздаче хлеба или баланды.

– Опять горбушку от параши начали... И чего ты спросить не можешь, как человек? Вчера на ком горбушка кончилась?... На этим старике... Ну и что, что тут нового положили? Порядок есть порядок. Давай горбушку, начиная со следующего... И откуда такие жлобоватые берутся?! Сколько уж по тюрьмам припухает, ничему не научился... И баланду помешай, помешай, потом черпай... А то одним только юшка достанется, а другим вся гуща... Нет, надо ж такое соображение иметь, и на ровной дорожке, наверное, спотыкаешься...

Однажды Гришка пристал с этим к Юлику, чей малый рост, хрупкость и подчеркнутая вежливость казалось, позволяли задирать. Тот отвечал сухо, но решительно отверг указания всезнающего Гришки:

– То моя метода, пожалста, я сначала наливаю всем юшку, а потом накладываю гущу, так будет рувно.

Гришка стал потешаться над его произношением – "рувно-гувно".

Юлиуш побледнел, рот стал тонким, как порез.

– Пошел вон! Преч, хам! Пся крев, власовец, быдло не-

мецке!

Гришка полез драться. Несколько человек стали между ними. Гришка розовый, потный орал, брызгая слюной:

– Ну, погоди, пся крев, панский выблядок. Я тебе покажу хама, я тебя еще достану, не здеся, так в этапе достану, я тебе отобью потроха... Такая сучка мелкая, а тоже тявкает "хам". Я ж тебя ногтем, как вшу... Я тебя соплей перешибу...

Юлик, серо бледный, отвечал яростно спокойно:

– Даже перед смертью скажу: хам, быдло власовское... Ты мне можешь убить, но я и в смерти, и после смерти буду презирать тебя и таких как ты. Я и в гувне умру, как чловек, а ты и на шелку и на злоте здохнешь як жаба...

И Гришка замолк. Забрался в свой угол, ни с кем больше не заговаривал. И потом еще несколько дней держался почти скромно.

В ту ночь мне спалось плохо. Накануне был неприятный разговор со следователем. Московские следователи – их было трое – вели следствие по "чужому делу" и поэтому относились ко мне чаще всего равнодушно, а иногда почти доброжелательно. Они писали все, что я им говорил, не грозили, не пытались ловить. Но один из них, молоденький старший лейтенант, который обычно насупленно серьезничал и важничал, – хотя и честно спросил, как именно пишется "диссертация", – после очередного допроса завел разговор.

– Как же это вы имели внебрачную связь на фронте. Из дела видно, что старший лейтенант Любовь Ивановна считалась как бы ваша жена... А у вас семья, дети. И вы еще научный работник, даже педагог и, наконец, были коммунистом?

Я разозлился и возражал не многим умнее.

– Вы, старший лейтенант, кажется, забываете, что я, хоть и подследственный, но старше вас по возрасту и по воинскому званию. Ваше дело вести следствие, а не читать мне нотации. Если вы сами не чувствуете неловкость положения, то я, во всяком случае, не желаю ни объясняться по этим вопросам, ни слушать нравоучения...

– Вы что же, оскорбляете следствие, вы говорите, что я мальчишка?.. За это я могу вас в карцер направить.

– Ничего подобного я не говорил. И если вы меня отпра-

вите в карцер, объявлю голодовку.

Нелепая перепалка продолжалась несколько минут. Все кончилось без последствий, но я еще долго злился на себя. Ведь поводом для неприятного разговора оказалась моя глупость. Второй следователь – спокойный медлительный капитан – однажды начал расспрашивать меня об отношениях с Любой. Я рассказал ему, как в первый раз поругался с Забаштанским, когда он пытался сводничать, „проводив" Любу к заместителю начальника Политуправления. Тогда следователь записал все это, и убедил, что так легче объяснить причины вражды между мной и Забаштанским, если свести все к ссоре из-за бабы: это будет в мою пользу . Но потом я одумался: а что, если дело все-таки пойдет в трибунал и, значит, там придется говорить о Любе, о нашей трудной любви, о пакостных сплетнях Забаштанского. И тогда я упросил изъять злополучные страницы из протокола. Это стало поводом для упреков добродетельного лейтенанта. Мне не спалось. Укрывшись от волчка за спиной храпевшего соседа, я читал, осторожно курил, дымя под нары, и стал жевать яблоко из недавней передачи.

В двери щелчок-щелчок. Впустили новичка. Бледное лицо, большие темные глаза, густые черные усы. Светлый штатский костюм хорошего покроя, но зеленая мундирная шинель и фуражка с выпуклым верхом. Он стоял у входа, испуганно и растерянно оглядываясь. Я окликнул его тихо. Он подошел и посмотрел на меня очень пристально, тоскливо и жалобно.

– Откуда?

– Нэ понима... нэ понима...

– Sprechen Sie Deutsch?

– Найн... но...

– Инглиш?

– Но... но...

– Франсе?

– Oui... Oui... O, monsieur, est-ce que je serais fusille?

Объясняю ему, как могу, что здесь Бутырская тюрьма, что здесь не расстреливают, что это камера для следственных. Не могу вспомнить, как по-французски "следствие", талдычу:

Ici ont seulement demand questions... Ici est un prison pour les cas moins graves.

Он спрашивает, глядя все так же тоскливо:

– Quelle ville est ici?

Совсем как в старом анекдоте о проспавшемся пьянице: "к чорту подробности, в каком я городе?"

– Моску!

Это его несколько успокоило. Тогда начал спрашивать я. Он представился – профессор Ион Джорджеску из Бухареста, уже полтора года, нет, больше, – кель муа? огюст? – значит, уже девятнадцать месяцев он в тюрьме. Он всхлипнул и смотрел пристально, все тоскливее и горестнее. Я заметил , что он смотрит на яблоко... Как же я, болван, не сообразил, – ведь почти два года в тюрьме без передач, – и южанин... Я достал из-под подушки яблоко и протянул ему. Он взял длинными подрагивающими белыми пальцами. Плакал, – сморкался, кусал, – плакал, – жевал, – всхлипывал...

На белой шее сновал большой кадык.

Я протянул ему печенье.

Он растроганно хлюпал носом и снова благодарил, благословлял. Потом он представился подробнее: профессор богословия и шеф "Железной гвардии".

Услышав это, я прыснул в кулак, чтобы смехом не разбудить соседей и не прогневить надзирателя.

Он смотрел вопросительно, удивленно:

– А кто вы?

– Советский офицер. Майор. Коммунист и еврей.

Он заморгал часто-часто, испуганно, потом опять начал плакать. – Mon Dieux! Я – фашист, антисемит и вот первую милостыню получаю от коммуниста-еврея...

Он пытался говорить еще что-то патетическое, но хлопнула кормушка и надзиратель сердито хрипло зашептал:

– Это что за разговоры? Подъема не было. Молчать сейчас же.

Порофессор Джорджеску вскоре освоился в камере. Он поражал всех тем, как легко запоминал русские слова, и как стремительно учил язык. Первые уроки давал ему я – советовал учить наизусть стихи. В камере оказался томик Пушкина. Нам полагалось получать 20 книг на 10 дней. Заказывать ничего нельзя было, но иногда удавалось задержать "недочитанные книги". Так мы задерживали поэмы и стихи Пушкина. И прилежный профессор уже через три дня патетически декламировал:

Я помньу чюдное мыгноввение,

Пиридо мной явилас ты...

А еще через неделю он потешал обитателей власовского Гришиного угла уже целыми речами:

– Сиводни балянда очин жидкий, биляд буду, нада гаварыт дыжурны, чито мы так будым совсем доходяга, биляд буду...

Друзей у Джорджеску в камере не было. Он оказался слишком сладким, слишком подобострастным, заискивал перед всеми, – в общем "шакалил". Каждое утро он бросался к параше, спешил подменить одного из дежурных и за это ему давали дополнительно пол-черпака баланды, а если дежурный был из получателей передач, то еще что-нибудь. Он стал бессменным парашеносцем или "парашютистом". В бане он старался услужить то тому, то другому, намылить спину, полить на голову. Он доедал остатки баланды и вылизывал чужие миски. Он подбирал окурки – не просил, как принято с достоинством, –"дай сорок" или "дай губы обжечь", а глядел все таким же скорбно умоляющим взглядом, – как в первую ночь на мое яблоко, – в рот курившему, пока тот не совал ему бычка, иной раз сердито приговаривая:

– Да не смотри ты, как голодная собака.

Гришка издевался над ним всласть, затевая споры на религиозные темы:

– Ну, а где Бог? Ты скажи – где? На солнце? На млечном путе? Может, на какой звезде? А как же он Адама с глины лепил? А где те древние мамонты были у Ноя? Нет, ты скажи, где были мамонты и этие, как их, ископаемые драконы?

Джорджеску возражал подобострастно, суетливо повторяя:

– Пожальства, пожальства... ниет... это пожальства ниет, Бог есть симбол, святой душа! Ниет, духа... Да, пожальства, вы иметь душа – то есть дух... Вы тоже есть дух. Вы не знать, но вы есть дух, ви тоже иметь от Бога святой дух...

Но Гришка не поддавался ни на какую лесть и завершал дискуссию, уверенный в своей победе:

– Все это херня! И никакой я не дух, а человек. А ты, тоже еще профессор, парашный ты профессор... твою бога духа мать. Педераст, ты вот кто!

Джорджеску уходил в свой угол понурый, утирая слезы. Кто-нибудь сердито обрывал торжествующий гогот Гришки.

Злополучного профессора иногда жалели – до чего унижается, а ведь интеллигентный человек, да еще политический деятель. Но уважать его было невозможно. Под конец он стал и вовсе "шестеркой" – личным лакеем старейшего обитателя камеры инженера Добросмыслова.

На вопросы о работе и специальности Добросмыслов отвечал:

– Я инженер по малярии. Да-да, нечего удивляться, я специалист по сооружениям и механизмам для борьбы с малярией. У меня есть изобретения, статьи в журналах, брошюры...

Ничего более вразумительного о его деятельности я так и не услышал.

О чем бы в камере не спорили, в любую оживленную беседу, либо если чей-нибудь рассказ привлекал нескольких слушателей, Добросмыслов немедленно включался, спрашивал, отвечал на вопросы, заданные не ему, поправлял, объяснял, вспоминал подобные случаи из своего опыта, из жизни своих знакомых. Он всегда высказывал только непререкаемые суждения о чем бы ни шла речь – об атомной бомбе, о разведении кроликов, о сравнительных достоинствах курортов Кавказа, Крыма и Калифорнии, о шахматных чемпионатах, о женщинах, о лыжах, о теннисе, о футболе, о балете, о стихах, о покорении полюса, о любовных похождениях Маяковского, о гонорарах артистов эстрады, о жизни на Марсе, о мусульманских обычаях...

Он был памятлив и туго-туго начинен разнообразными сведениями, почерпнутыми, видимо, из отрывных календарей, журнальных отделов "смеси", викторин и т.п. и привык к роли высоко эрудированного, энциклопедически образованного всезнайки.

Возражение по любому, даже самому пустяковому поводу он воспринимал как обиду, как посягательство на его личное достоинство.

– Но-но, позвольте. Что же это вы говорите... Что же по

вашему получается, что Клавдии Шульженко еще нет пятидесяти. Чепуха какая! Да вы послушайте, что я вам скажу, я был еще школьником, в 8-м, нет в 9-м классе, и я тогда руководил самодеятельностью...– Следовал обстоятельный рассказ о школьном хоре, театре и оркестре, которыми он руководил, о репертуаре, о знаменитых артистах, народных и заслуженных, которых восхищали его разносторонние дарования и многообразные познания в искусствах.

–...Так вот, уже тогда Клавдия Шульженко была заслуженной, приезжала из Ленинграда... А с тех пор как никак уже 16-17 лет прошло.

Ссылки на факты не могли его поколебать.

– Но я же вам авторитетно говорю... Понимаете, это я вам говорю.

Если и после такого аргумента с ним не соглашались, он возмущался до заикания, отворачивался, уходил в другой конец камеры, принимался играть в шахматы или в шашки.

– Не надо было вам ферзя дергать в авантюры – ведь не со слабаком играете. – Я сразу заметил, куда целитесь... Я ведь и на 5 и на 6 ходов легко предвижу... Если бы нервы были в порядке, если бы сосредоточиться в настоящей обстановке – как полагается на матчах, – я мог бы и на 8-9 ходов рассчитать. Я еще в 38 году имел вторую категорию. Потом как-то не пришлось оформить первую: работа, война. Но я и мастеров обыгрывал. Играл и на городских турнирах и на республиканских... Да-да... Эх, ну это я просто зевнул, отвлекся и зевнул... Это не считается, надо переиграть. У нас же товарищеская игра без часов и в таких условиях. И на зевке выигрыш нельзя считать... Я вот так пойду и вы можете быть уверены в скором и печальном для вас конце. – Так сказать, вы жертвою пали в борьбе роковой... Нет, нет, обратного хода нельзя. Это что же за игра будет, если вы будете каждый ход обратно брать. Так любой ребенок у Ботвинника выиграть может. То есть, что значит, что я сам брал... Не понимаю даже, как можно сравнивать. Я просто зевнул случайно, а теперь у меня комбинация, тактический маневр... Я вас переиграл, вынудил подставиться, а вы теперь захотите на два или три хода возвращаться... Так не может

быть никакой игры. Ах, вы только один ход переиграете? Ну, что ж, уступлю, как более слабому. Я могу вам даже фору дать. Хотите, сниму слона или две пешки? Почему же вы не хотите, для меня это выгоднее, чем давать вам ходы обратно. Я привык к честной спортивный игре, а не к детским забавам – туда-сюда и обратно. Смотрите внимательно, думайте, думайте, больше обратного хода не дам... Это почему же я должен молчать? Здесь не Колонный зал. Если вам это мешает думать, затыкайте уши. Ну, чего же вы ждете? Ходов у вас не так уж много, я вижу. Если б мы с часами играли, вам бы уже давно записали нолик. Надумали наконец? Ну что ж, приступим к окончательному разгрому, к сокрушительной атаке на командные позиции растерянного противника... Марш вперед, марш вперед, черные гусары! Так, так... вы, значит, так, а мы можем этак, или даже вот так-так... Нет, нет, я еще не поставил и мы ведь не уславливались "пьес туше, пьес жуэ". Я не переигрываю, я еще думаю и пожалуйста, не торопите меня, это все-таки шахматы, а не подкидной дурак... Послушайте, Гриша, вы не можете потише стучать вашими козлами и, пожалуйста, не гогочите так оглушительно, у меня даже в ушах зазвенело, надо же все-таки считаться с другими людьми. Здесь играют в шахматы, это требует напряжения мысли...

Он играл действительно лучше многих сокамерников, во всяком случае, лучше меня. Однако, все же иногда проигрывал и тогда обижался, доказывал, что он случайно ошибся, нервничал, отвлекся, требовал переиграть, искал, где именно допустил оплошность, объяснял... Если ему удавалось при таком обратном движении выиграть, он торжествовал, призывал свидетелей, объявлял прежний проигрыш несостоявшимся. Но если партнер отказывался переигрывать, или ему надоедала возня с воспоминаниями партии, Добромыслов начинал его ненавидеть.

– Это вы не можете вспомнить, а я помню еще и вчерашние партии и ту, которую выиграл у Алексея Михайловича, и ту, когда Юлиуша заматовал на 30-м ходу, я все помню... Так, значит, вы отказываетесь, решительно отказываетесь? Это, простите, даже непорядочно... Это не спортивное отношение к игре. Ну что ж, я и сам могу переиграть. Вот вы и вы, идите сюда, посмотрите, было так...

Посланный грубо подальше, он пугался, отходил оскорбленный, скорбный и ненавидел обидчика до следующего вече-

ра, или даже целых двое суток, пока не сталкивался с другим врагом. И тогда с предшествующим противником заговаривал опять дружелюбно.

Добросмыслов единственный в камере получал свидания с женой; передачи ему приносили еженедельно и довольно обильные. Он угощал приятелей, состав которых менялся в зависимости от спортивных и дискуссионных обстоятельств. Жмотом он не был, но любил поговорить о своих дарах, и подробно расспрашивал:

– Ну, как белая булка? После пайки-то ведь совсем другой вкус? И витамины в ней, и состав белка иной. А сахар, чувствуете, ведь совершенно не такой, как тюремный? Здесь они дают американский, тростниковый. Он и менее сладок и слабый какой-то, сразу тает. А наш и слаще и крепче. Лепешки это моя теща жарила, узнаю почерк и, конечно же, на русском масле... Постным она только заправляет селедку, ну, там винегрет, салат, вообще холодные закуски, а жарит либо на русском, либо на сливочном...

О своем деле он говорил охотно, многословно, однако, не очень вразумительно.

– Нас большая группа, следствие считает, что мы создали "клуб либеральных интеллигентов". Некоторых уже осудили, всех по 58-10 и 11. А меня вот еще держат под следствием. Меня называют лидером, вождем. Уже несколько моих сослуживцев и знакомых осудили, всех по ОСО; большинству 5 лет, одному – 8. Он, говорят, упрямился, отказывался. Двоим, кажется 6 лет... Но как вы думаете, что могут дать мне, если я, так сказать, искренне признаю все, ничего не утаиваю от следствия. Я уступаю следователю, даже, когда он дает свои, более резкие формулировки, с которыми я не согласен: я иду навстречу. Я не согласен с тем, что я лидер, но понимаю, что спорить с ним нельзя. Могут и в карцер и всего лишить и еще похуже... У меня здоровье очень слабое. Даже в армию не взяли – у меня был туберкулезный процесс, почки и мочевой пузырь очень неважные, – видите, как часто приходится к параше. Да спортом, я, конечно, занимался и теннисом и пинг-понгом и греблей. Могу сказать, я классный спортсмен. Но это мне именно врачи рекомендовали. Однако, в волейбол и футбол я уже не играю, только сужу. Считаюсь, как судья высшей категории... Да, да, здоровье у меня очень слабое... Я ведь работал по малярии, в

болотах, в Закавказье, в Средней Азии еще молодым человеком, надорвал силы. А во время войны я имел двойную броню, по Наркомзему и Наркомздраву. Теперь они называются министерства. Работал круглые сутки. Все технические проблемы на мне были уже не только по малярии, но вообще по осушке болот... Пока война шла, я нужен был, тянул один за десятерых, а потом летом, как стали возвращаться демобилизованные, меня забрали и вот уже пятнадцать месяцев под следствием. Меня обвиняют, что я вел пораженческую антисоветскую пропаганду в двух министерствах и среди знакомых. И следователи хотят, чтобы я был лидером. – Вы, говорят, самый авторитетный, самый образованный изо всех. Вы и есть вождь. А приемы у них такие: один капитан помоложе, бывает крайне груб, ужасно грозит, а второй, – подполковник, совсем напротив, настоящий интеллигент, всегда корректен. Это он разрешает мне свидания, иногда дает почитать газету; он знает, что я спортсмен, приносит "Советский спорт", один раз даже через капитана передал. Только в камеру нельзя брать, я прямо там читаю... Но они оба так умеют подловить, вроде бы и не спрашивают, а просто беседуют о том, о сем и вдруг ловят вас на слове, а попробуйте возразить, это уже значит неискренность, значит, сопротивляетесь следствию. Очень тонкая психологическая работа. Один действует великодушием, любезностью, предупредительностью – ему просто неловко отказать, – другой берет строгостью, и то внезапным оперкаутом, как говорят боксеры, – то прямым грозным напором. Возможно, он только пугает, но у него такой взгляд становится, кажется, вот-вот убьет, изувечит. Нет, нет, меня ни разу и пальцем не тронули и в карцере я не был. Только грозили. Но капитан два раза лишал меня передач. Это так мучительно, две недели на одной баланде и хлебе с кипятком... У меня началась бессонница, боль в груди, подполковник даже велел перевести меня в больницу. Теперь уже легче стало. Теперь допрашивают редко, раза два-три в месяц. А в прошлом году бывало ежедневно и целыми неделями спать не давали. Вызовут на допрос после отбоя, возвращаешься к подъему. А днем надзиратели не позволяют уснуть. Этого и железный не мог бы выдержать... Теперь они говорят, что следствие идет к концу. Передадут, наверное, в ОСО, остались только: главный лидер, – это, значит, я–и еще несколько человек... А может быть, в суд пойдет, Я даже не знаю, что лучше. Ведь все

дают разные показания. Там один инженер-агроном из Наркомзема на очной ставке меня так оскорблял. Я никогда бы не мог подумать. Мы, правда, не были близко знакомы, но он казался мне человеком культурным. А тут при следователе орал на меня, как хулиган, – матом, – ничего не хотел признавать. И чего добился? Его в карцер отправили уже в третий раз... Сам же себе вредит по глупости...

Когда в первый раз при мне Добросмыслова увели на допрос, он вернулся довольно скоро, веселый и довольный. Подписал заново старые, но исправленные протоколы.

– Подполковник велел. Этот капитан все доказывал мне, что я вступал в кандидаты партии для того, чтобы вести подрывную работу... А я вступил в 1943 году во время войны, как патриот. Меня уже начали оформлять в действительные члены. И характеристики были, и рекомендации. Но капитан потребовал, чтобы я признавался, что вступал с вредительским умыслом. Ведь по делу, говорит, видно, что вы уже в 41 году вели пораженческие разговоры. Он так нажимал, так грозил, что я подписал все, что он хотел... А теперь, вот, подполковник, велел заменить протокол, это, говорит, самооговаривание и написал просто, что я вступал в партию ради карьеры, чтобы иметь лучшее положение на службе... Я стал было возражать, а он говорит: "Вы только что сами сказали, что всегда знали, что у членов партии более широкий круг интересов, больше возможностей в любой отрасли... Ведь сказали?" – А я, и правда, так примерно объяснял. Тогда он спрашивает вежливо, но так серьезно: "Зачем же мы с вами будем заниматься крючкотворством, ведь это и есть соображения карьеры. Мы вот сами, без ваших просьб, ликвидировали протокол, когда вы на себя наговаривали. Так вы уж будьте искренни". – Он говорит, что скоро конец, и суд учтет мое чистосердечное раскаяние перед следствием. А потом дал мне новый номер "Советского спорта"; представляете себе, московское "Динамо" едва не проиграло тифлисскому, такой был бой, и как описан, прямо Бородино...

После второго допроса Добросмыслов вернулся молчаливым, угрюмым и понуро сел на постель. Его лежак в самой середине камеры, у колонны, выпирал на полметра, отделенный узкими проходами от нар справа и слева. Недолго помолчав, он стал рассказывать.

— Ох, и запутал меня этот капитан. Опять запутал, подловил и запугал. Теперь посадит еще одного человека. И опять невинного. А я опять буду кругом виноват. Жена на свидании жаловалась, что другие жены с ней не хотят разговаривать, проклинают меня... Но что я могу поделать? Вот сегодня капитан вызвал подписать заново старые протоколы. Там опять что-то переделали... Дал почитать "Комсомольскую правду", очень интересная статья про атомную бомбу, — это я потом расскажу и про турнир шашистов... Я начал было читать, но он стал говорить еще о чем-то, о спорте, о разном и так, между прочим, спросил:

— А вы такого-то знаете?

— Конечно, знаю, мы с ним два года вместе работали. Потом он на фронт ушел.

— Вы, говорит, еще в начале войны встречались. (Они удивительно осведомлены, иногда мне кажется, что они буквально все знают). — А сколько раз и где? — Ну, я ничего не подозреваю, — этот человек ведь член партии, фронтовик, — вспоминаю, мы с ним на совещаниях вместе бывали, в коридорах случалось встретиться, мы на одном этаже работали; в буфете, кажется, в метро...

— А разговаривали?

— Разумеется, но просто как знакомые, мы домами не встречались.

— О чем же все-таки разговаривали?

— Я хоть убей, не помню, случайные, такие краткие встречи... О работе, наверное...

— Ну как же так? Ведь война уже началась, Москву бомбили. Неужели вы об этом ни слова не говорили? Вы явно скрываете, хотите запутать следствие...

— Да нет, говорю, вероятно, и об этом тоже... Но клянусь вам, говорю, что не помню, что именно и когда...

— Ну, что же вы радовались, что наша армия отходит, что немцы бомбят Москву — советскую столицу?

— Да что вы, что вы, ни в коем случае! — Никогда! Да кто же мог бы?! Напротив, огорчались, конечно...

— Огорчались? Жалели, значит?

— Конечно.

— Ну, ладно, читайте пока газету.

Стал я читать, а он сидит и пишет, а потом подсовывает

мне протокол "такой-то служил со мной там-то... в июле и августе 41 года мы систематически вели пораженческие разговоры, он доказывал, что Красная Армия панически оступает, что немецкая авиация превосходит нашу, и Москва должна неизбежно пасть..."

Я говорю, как же так, ведь этого же не было, я так не говорил. А он как стукнет кулаком по столу и глаза опять, как у убийцы, орет матом.

– Ты, сволочь, вилять вздумал, ты только что признался, а теперь назад, как рак? Оскорбляешь следствие, мерзавец, смеешь нахально врать. Что же это я сам придумал, что ли? Я тебя в холодный карцер на 20 суток, сгниешь на хлебе и воде...

Так орал, что я даже расплакался и подписал.

– Как же вы могли? Да вы понимаете, что наделали? Неужели вы думаете, вам легче будет, если еще одного невинного посадят? Ох, и дерьмо же вы, господин спортсмен! –...Вы обязаны теперь немедленно писать жалобу, заявление, что вас вынудили дать ложные показания. – ... Вот пример, как трус становится подлецом... Да что вы ему объясняете, это же не человек, а мокрица!

Добросмыслов беспомощно моргал, хныкал, сморкался, пытался объяснять, но постепенно приходил в себя и снова петушился.

– Что значит "невинный"? Я сам невинный, а вот меня лидером объявили? Что же я могу поделать?.. Это выше моих сил. Какое еще заявление?! Вы что, с ума сошли? Он же меня убьет, сгноит в карцере. Попрошу все-таки выбирать выражения. Вы не имеете права оскорблять! Видали мы таких героев... У меня здоровье подорвано... Я человек умственного труда и нет такого спорта, чтобы в холодном карцере с туберкулезом, с больными почками. Я вообще не желаю с вами разговаривать. Не читайте мне морали, вы еще не доросли...

А через полчаса он уже играл в шахматы с неизменно преданным ему Джоджеску: "Марш вперед, марш вперед, черные гусары" и хвастался, что выиграл, продумав комбинацию за 6 ходов вперед...

Тридцать третья глава

ТОЛЬКО СПРАВЕДЛИВОСТИ...

В октябре московское следствие было наконец закончено. Но я напрасно надеялся, что следователи отпустят меня, убедившись в нелепости дела, к тому же так явно устаревшего. Ведь тогда, весной 45 года, меня обвинили в "клевете на союзников", потому что я говорил: "Черчилль был и будет врагом Советскай власти", доказывал, что в Германии нам придется соперничать с американцами и англичанами и добиваться дружбы немцев, что немецкие рабочие должны быть нашими союзниками против англо-американских капиталистов...

В марте 1945 года председатель фронтовой парткомиссии, – седеющий подполковник в очках, бубнил ровным, хрипловатым голосом, что все эти рассуждения "демагогия с троцкистским душком... Грубые политические ошибки, порочная недооценка единого международного антифашистского фронта и руководящей роли Советского Союза... непонимание или намеренное нежелание понять исторические установки партии и лично товарища Сталина по линии внешней политики в свете Тегеранской и Ялтинской конференций..."

А месяц спустя следователь контрразведки показал мне аккуратно напечатанный листок: "...систематические антисоветские высказывания, выразившиеся в защите немцев, в клевете на союзников, клевете на советскую печать и на советского писателя Эренбурга..."

Но с тех пор прошло уже больше года, в лагере я читал газеты, знал о фултонской речи Черчилля, о начале холодной войны. Протокол допроса об Эренбурге был еще в конце первого следствия изъят из дела. – Позднее стало понятно – это произошло после статьи Александрова против Эренбурга. Я был уверен, что остаюсь в тюрьме только из-за волокиты, из-за перегруженности следственного аппарата. Но вот маленький старший лейтенант, не знавший сколько "с" в слове диссертация, и какая разница между философией и филологией, вызвал меня и сухо-деловито сказал: "Исполняется 206 статья УПК об окон-

чании следствия. Материалы дела вам известны, надо подписать протокол". Меня это ошеломило.

– А я рассчитывал на исполнение 204 статьи, на прекращение дела.

– Это может теперь только прокурор. Но прокуратура передает ваше дело в трибунал.

– Почему? Ведь все же совершенно очевидно. Нелепые абсурдные обвинения... Явная клевета.

– Трибунал в этом разберется. Тут разные материалы. Есть за, есть и против, дело большое, сложное. – Видите, сколько бумаг, целые две талмуды... Трибунал объективно разберется, вызовут свидетелей, обратно вас послушают. А сейчас давайте подписывайте протокол об исполнении 206-й...

Я попросил обе папки с делом, чтобы прочесть их, попросил бумаги, чтобы делать выписки: я знал, что имею на это право. Он рассердился:

– Вы ж уже два раза исполняли 206-ю... Тут же в деле есть ваши собственноручные показания. А я спешу, у меня знаете, сколько работы. И бумаги вам не положено.

Я настаивал, он злился.

– Вот видите, как вы относитесь к следствию, это тоже показывает ваше политическое лицо.

Я ссылался на законы, на дух и букву. Он еще больше злился, даже упрекал меня в бюрократизме и формализме. Потом все же позволил мне перелистать вторую папку – новые материалы – но все торопил, обиженно дулся. Я прочел отзывы, полученные московскими следователями. Генерал Бурцев писал особенно подло, вроде бы объективно, сначала коротко о достоинствах, знаниях, заслугах, а потом главное: "всегда считался оппозиционером, выступал против непосредственных начальников... морально неустойчив в быту... имел связи с сотрудницами и гражданскими женщинами, допускал серьезные политические ошибки, нарушавшие работу отдела". Полковник Сапожников и Брагинский из ГлавПура писали спокойно и доброжелательно, а полковник Селезнев – по схеме, прямо противоположной Бурцеву: в начале об отрицательных чертах – вспыльчивость, резкость, самоуверенность, "граничащая с на-

рушением дисциплины", а затем подробнее о всяческих достоинствах.

Чтение дела, – как ни брюзжал следователь, – меня снова ободрило, я был почти уверен, что если не прокуратура, так уж трибунал обязательно освободит.

Несколько дней спустя дежурный подозвал к кормушке: "Ваше дело за Главной военной прокуратурой".

А еще через два или три дня меня вызвали "с вещами". Пока собирался, наспех запихивая в мешок пожитки, сердце колотилось часто-часто, мысли сновали бестолково – с какой интонацией выкликал дежурный, не означала ли она свободу? Что снилось накануне? Может быть, все-таки освобождают? И верил и запрещал себе верить. Все съедобное роздал соседям, прощался, уже почти не видя лиц, не слыша, что говорят. Кто-то убеждал: "На волю идешь. Факт на волю, ведь не объявляли, что за трибуналом", другой просил позвонить его жене, повторял номер телефона, и чтоб она в передаче послала 7 коробков спичек, что будет значить, что я на воле. Скептики договаривались, где в бане написать номер новой камеры или срок.

Потом дежурный уже в коридоре объявил: "Ваше дело за трибуналом МВО" и я расслабленный, обмякший, словно пробежал 10 километров, потащил свой матрац и барахло в соседний коридор, в "подсудную" 105-ю камеру. Точь-в-точь такая же как 96-я, она вмещала по меньшей мере вдвое больше обитателей. Нары были сплошные, все лежали вплотную. Мне опять повезло: как недавний лагерник и бывший фронтовик я привлек благосклонное внимание нескольких старожилов и попал в лучшую, приоконную часть. Моими соседями были: доктор Михайлов из Воронежа, профессор физики москвич Виноградов, подполковник польской армии пан Зигмунт, одесский хозяйственник Николай Иванович и последний московский розенкрейцер Дмитрий Саввич Недович, поэт и ученый, переводчик "Фауста".

Михайлов попал в плен в 41 году, работал врачом в лагере военнопленных в Румынии, лечил, помогал устраивать побеги. В 44 его судил фронтовой трибунал и оправдал. Он снова стал военным врачом, майором медицинской службы, разыскал родных, написал жене, в 1946 году был демобилизован и

поехал в Воронеж, куда навстречу ему ехали жена и сын. Арестовали его в Москве, на Курском вокзале – патруль с "опознователем" из бывших пленных.

– Родина с тебя профессора сделала, а ты, сволочь, своими руками подавал врагу оружие против родины. Кто ж ты после этого, профессор или гад?

Особняком держались трое чеченцев. Старший, Ахмет, был похож на царя Николая II, но только посмуглевшего и темноволосого. Молчаливый, сдержанный, он редко разговаривал даже со своими земляками, казался высокомерным. Второй помоложе – высокий, бледный, узкое лицо стиснуто у большого острого носа; третий – маленький, щуплый, черно-черно щетинистый до глаз. Однажды во время раздачи баланды кто-то обругал носатого и тот, яростно взвизгнув, бросился на обидчика, с неожиданной силой расталкивая всех, кто стоял на пути. Но Ахмет окликнул его, вернее, просто сказал чуть громче обычного одно-два коротких слова, – и тот мгновенно остановился, сжался молча, залез поглубже на нары и сел лицом к стене.

Несколько раз в день чеченцы молились, тихо бормоча и глядя на стену. В камере молились еще несколько человек. Не помню, чтобы кто-нибудь зубоскалил или пытался обличить "религиозный опиум". Свобода совести в тюрьме была неприкосновенна.

Получая передачи, я, как водится, угощал прежде всего иногородних, тех, кто не имел ничего, кроме тюремного пайка. В первый раз Ахмет был удивлен и недоверчиво оглядывал предложенные ему и его землякам луковицы, печенье, сахар. Потом кивнул, разрешил младшим взять, поблагодарил с непроницаемым достоинством, сам ничего не тронул. Но на следующий день он заговорил со мной, спросил: откуда? Отец, мать есть? Брат есть? Дети есть? Был на войне? Был в плену? Какую должность имел раньше? А на Кавказе был?

Ахмет никогда не обращался ко мне, когда я читал, играл в шахматы, или в козла, разговаривал или был задумчив. Но, заметив, что я на него смотрю, он сначала едва приметно улыбался и вежливо замечал что-нибудь вроде:

– Хорошую ты книгу сегодня читал, да?.. – или – Красиво говорил вчера профессор. Я не все понимал, но слышал, очень красиво говорит: ученый человек!

Только убедившись, что его обращение встречено сочувственно, вступал в разговор.

Отвечая на вопросы, Ахмет охотно рассказывал о своей жизни.

– Мы хорошо живем. Правильно живем. По закону. У вас есть люди воруют. У нас – нет. Кто украл, не будет жить у нас. Родной отец зарежет.

– Ну, а как же баранта? – спросил я осторожно. В прошлый раз он сам горделиво рассказывал, как мальчишкой ездил на баранту, угонял скот с пастбищ ингушей.

– Баранта не значит красть. Баранта мужчинское дело, джигит на баранту едет, джигит – храбрый человек, а вор – трус. – ...Новый закон – советский закон говорит, чтоб одна жена была. Это хороший закон для русских, для осетин хороший, для грузин хороший, для бедных людей хороший, – кто имеет мало кушать, маленький дом. А кто имеет большой дом, имеет деньги, имеет разный имущество, – тогда есть другой хохоший закон, – старый закон шариат – хочешь – две жены, хочешь – три жены. Но чтоб по закону, честно, чтоб был порядок. Одна жена – давай квартиру, давай кушать, другая жена – тоже давай квартиру, давай кушать. Русские водку пьют, ругаются некрасиво на мать. А почему так? Потому что русская женщина не знает никакой порядок, гуляет куда хочет. И мужчины не знают порядок. Закон говорит: одна жена, один муж, а никто не слушает. Муж гуляет к чужой жена или девочка. Жена гуляет к чужой муж. У нас так не может быть. Вот я имею три жены по закону. Всем дал своя комната, давал кушать. Я был в совхозе начальник ферма. Имел дом, имел сад, имел барашки, все имел... Есть у нас школа, есть клуб, там кино показывают. Один раз в неделю кино. Кто идет? Женщины, девочки и молодые мальчики, каким прикажут. Почему прикажут? А так надо. Вот тебе пример, мои жены идут в кино; молодые идут, старшая должна думать про дом, про дети, помогать маме, – молодые жены идут, сестры идут, брата молодая жена идет. Но нель-

зя одним женщинам ходить. Я старший, я приказываю младший брат, или племянник, или сын соседа хороший мальчик – иди, проводи мои женщины, смотри, чтоб порядок...

– Какой порядок? Ну, если чужой мужчина будет говорить с моя женщины, мой брат или кто провожает, будет его резать... А если жена будет говорить с чужим мужчиной, ее тоже резать... Нет, жалеть нельзя. Если жалеть – порядка нет. Если моя женщина говорит с чужим мужчиной, смеется, как русская, мой брат, мой племянник, мой друг должен его зарезать и ее зарезать. Если не будет резать, я его зарежу...

– ... Нет, много раз так не бывает, только мало было. Потому что все знают, если надо, так будет...

Два года до войны один человек в нашем ауле – хороший джигит на шофера выучился, ездил далеко, в Россию ездил, за Кавказ ездил. У него жена была одна – красивая, молодая. Он думал – она хорошая. Долго ездил, приехал, когда не ждали, приходит в свой дом, видит чужой мужчина. Жена кричит: давай развод, я тебя не хочу любить, я эту мужчину хочу любить! Мужчина кричит: новый закон позволяет развод, давай развод, я тебе деньги дам, барашки дам. Тогда этот джигит взял кинжал, его зарезал и жену зарезал... Сын был маленький – два год или три год – тоже хотел зарезать, но не мог, жалел; думал, мамина кровь – плохая кровь, но тоже есть моя кровь... Очень думал, даже плакал, но сына не резал. Потом был суд, прокурор кричал "расстрел надо". Но весь наш аул пришел в город, где суд. Все мужчины пришли, старики ходили к судье, ходили в милицию, ходили исполком, везде говорили: ваш новый закон хороший, наш старый закон тоже хороший. Надо уважать все законы. Если будет расстрел, тогда судью зарежут, обязательно зарежут, потому что нельзя расстрелять джигита, – он по закону жил. Если будет ему плохо на суде и в тюрьме, тогда судье будет плохо, и милиции будет плохо. Все чечены будут обижаться. Надо уважать наш закон... Судья был умный, – долго говорил, долго судил. Присудил три года условно за некультурность.

Сергей Иванов, бывший чемпион Союза по десятиборью, попал в плен еще в 1941 году в Эстонии, его увезли в Рейнскую область, он батрачил у зажиточного крестьянина, через год уже говорил по-немецки и бежал в Швейцарию. Там его интернировали. В 1945 году он уехал с первой же группой репатриантов и

был арестован в фильтрационном лагере. Следователь требовал признаться, какое именно задание он получил и от какой разведки — американской, английской или швейцарской. Сергей в отличие от других пленников был по-настоящему крепок, — в Швейцарии жил сытно, тренировался, — и по молодости твердо верил, что невинного нельзя осудить; ведь есть же закон. Обиженный следователь, ничего не добившись, закончил дело, сказав на прощанье:

— Вот если бы ты раскололся по-хорошему, чистосердечно, то поскольку задания не выполнял, только намерение имел, получил бы 5-7 лет лагеря, а там зачеты, через три года был бы дома. А теперь пойдешь, как обыкновенный изменник родины, и радуйся, если десятку получишь: такого упорчивого на каторгу надо на 20 лет...

Днем меня вызвал дежурный: "Давай слегка" (то есть без вещей, без пальто). Повели вниз через "вокзал", в маленький коридор, мимо уборной, где летом я испытал живительное блаженство первого знакомства с санаторием Бутюр.

В комнате за простым деревянным столом сидел человек с густой седой шевелюрой и седой бородой — облик интеллигента конца XIX века.

Взгляд из-под бровей пристальный, изучающий:

— Я ваш адвокат Александр Владимирович Х. Меня пригласили ваши родные. — (Вполголоса, быстро) Мать просила вам передать, что все здоровы и приветствуют. — Так вот, ваше дело будет слушать военный трибунал Московского военного округа, видимо, уже в ближайшее время... Я принял на себя вашу защиту, но хочу вам сказать — (громко и патетически), — что я член партии уже больше четверти века и могу отстаивать только правду и только в интересах партии и государства! Так вот, какие у вас будут пожелания по делу? Кого хотели бы пригласить, как свидетелей?

Мы говорили примерно с полчаса, он делал пометки на листе бумаги, но слушал не слишком внимательно. Я назвал свидетелей, рассказывал о подделках и передержках в следствии, о явных противоречиях в обвинительных показаниях... Он торопился.

— Ладно, ладно, это вы скажете суду, а я сам буду знако-

миться с делом... Постараюсь, насколько возможно, смягчить вашу участь.

– Что значит "смягчить"? Я – коммунист, безоговорочно преданный партии. Я ни в чем не виноват. Речь может идти только о полном оправдании, о решительном изобличении клеветников.

Он посмотрел с любопытством и усмехнулся:

– Я вам уже сказал: я буду вести ваше дело, исходя прежде всего из интересов партии, и, если вы действительно коммунист, вы должны это понимать. Я считаю, что у меня есть основания вас защищать, а прокуратура считает, что имеет основания вас обвинять... Дело ведь есть, и обвинения серьезные. В военное время по такому делу могли бы и расстрелять, а теперь кодекс предусматривает до 10 лет. Так что возьмите себя в руки: ведите себя сдержанно и разумно. Из того, что я уже про вас знаю, я вижу, что вы сами себе немало навредили именно несдержанностью, горячностью.

Он говорил еще что-то в этом роде плавными, обкатанными фразами. Однако, на прощание, протянув руку, улыбнулся ободрительно, и мне показалось, даже подмигнул.

Я ушел, не понимая, чего же все-таки ждать, но был длинный список свидетелей защиты и я знал, что Иван Рожанский, Галя Хромушина, Юрий Маслов, Михаил Аршанский, Борис Сучков, Валентин Левин еще осенью и зимой писали Генеральному прокурору и в ОСО, доказывая, что я не виноват.

Вечером, после поверки коридорный вызвал меня и в своей каморке, где на стеллажах лежали тюфяки и высились башни алюминиевых мисок и кружек, дал прочесть обвинительное заключение. Три листа папиросной бумаги, через один интервал. Там были все те же обвинения: "подрыв политико-морального состояния советских войск", "клевета", "дискредитация командования", "срыв боевых заданий...", "пропаганда в пользу противника", были ссылки на показания Забаштанского, Беляева, Нины Михайловны; однако, уже только в цитатах из них говорилось о "жалости к немцам" и совсем никак не упоминалось о "клевете на союзников". В списке вызванных свидетелей я увидел имена друзей – Белкин, Гольдштейн, Маслов, Рожанский, Хромушина...

15 октября 1946 года – день рождения дочки Лены, – рано утром, сразу после поверки, четверых из нашей камеры вызвали "с вещами" – двух младших чеченцев, одного власовца и меня.

Вели быстро-быстро, особенно гулко побрякивая ключами, даже не заводя в боксы, вывели сразу же во двор, в воронок.

Трибунал МВО был на Новослободской, недалеко от Бутырок. Доехали туда за несколько минут. Высадили нас во дворе, и провели в подвал. Маленькая квадратная комната без окон, слепящий яркий свет, стены бугристые, влажные от свежей побелки, – замазывали надписи, – две скамьи, цементный пол.

Мы ждали часа полтора. Курили. Чеченцы тихо переговаривались. Власовец приставал с вопросами:

– А что ты думаешь, может лучше в покаянку – граждане судьи, виноватый, прошу простить меня, преступника, изменника, но прошу принять во внимание молодые годы и несознательность. Прошу родину, как маму дорогую, обещаюсь оправдывать, заслужить... Или , может, на оттяжку: я кровь проливал, я ж не сам в плен сдавался, генералы – враги народа – меня сдали, а до Власова я пошел, чтоб врага с тыла бить, только случая не было, – но я потом обратно воевал возле города Праги, сничтожал немецких оккупантов, лично своей рукой двенадцать фашистов убил... Ну как лучше? А, может, еще похитрее можно?

Он заговаривал, как ни в чем не бывало, хотя только накануне была ссора. Он не вышел на прогулку – больной, в горле свербит и дышать тяжело. Оставшись один в камере, он украл у профессора Виноградова кусок сала из передачи. В тот же день всю камеру повели в баню. Он стал на ходу жевать спрятанное было, сало, кто-то заметил, обругал шкодника. Тогда он закричал на профессора, который не успел его даже упрекнуть: "Гады, жмоты, лбы понаедали на передачах, интеллигенты долбанные в рот, буржуи пузатые, а я с голоду качаюсь... Живот к хребту пристает..." Потом покосился на меня и сменил визгливый крик на интонацию спорщика, доказывающего правоту, уверенного, что найдет союзников.

– Ну, вот он, майор, он же делится, хоть еврей, а понимает солдатскую справедливость, я ж у него не брал и не возьму,

а этот профессор кислых щей, он тебе зимой снегу не даст... Хоть подохни у него на глазах...

Тогда я его ударил, – не кулаком, разумеется, уж очень он был тощий и противно-жалкий, а тылом левой кисти по щеке – раз, другой, и обругал. Он скульнул и замолчал. Соседи по нарам, довершая наказание, оттеснили его в угол к параше.

Но в трибунальском подвале он заговорил, как ни в чем не бывало, доверительно и доверчиво. И я после первых брезгливых заминок отвечал ему тоже, как ни в чем не бывало.

Потом стали вызывать. Меня повели узкой лестницей – "черным ходом"–трое конвойных. Один впереди, двое теснят, вели под руки, не грубо, не сжимая, скорее даже бережно. Это было ново; уже полтора года по тюрьмам, а все еще встречаю новинки. Они шли деловито, безразлично. Я сказал:"как архиерея ведете". Ни тени улыбки. Справа шепотом: "не разговаривать". И под ребрами холодок: ведь так же, наверное, и смертников водят.

Коридор большой, учрежденческий. Стоят, проходят мундирные и штатские, простукали женские каблучки... Большой кабинет, широкий письменный стол, в него уперт другой, крытый бордовым сукном. По стенам диваны и стулья.

Меня посадили на стул прямо напротив столов. За узким – седая шевелюра адвоката. Еще кто-то в погонах. У стен сидят офицеры, штатские, две женщины. Вижу, некоторые улыбаются мне, кивают.

В первые мгновения я никого не узнаю, вижу только – все очень нарядные, розоволицые. Солнечное утро. Блестят пуговицы, золоченые погоны, светлые чулки женщин. Штатские костюмы наглажены. – После арестантской серой бледности, изжеванной одежды, здесь – ощущение ослепительной роскоши.

Я почти не слушаю, что говорят из-за стола, глазею по сторонам, пытаюсь узнавать. Вот рыжий подполковник, очень похож на Валюшку Левина, но почему он здесь? А этот в пиджаке? Неужели Боба Белкин? Кивает, улыбается. Самый высокий, конечно, Иван, у него уже капитанские погоны. Женщина в синем платье – должно быть, Галя, а женщина в кителе – большеглазая, конечно, Нина Михайловна. Красивый подполковник, очень знакомое лицо, кто же это?

Председатель трибунала, тощий полковник в очках, гово-

рил сиповато, скрипуче. Конвоир сзади тронул меня за плечо. Адвокат от стола натужно зашептал:

– Встаньте, встаньте!

Встав, я на миг увидел себя их глазами: стриженный наголо, небритый, в мятом перемятом сером пиджаке, стеганых штанах, самодельных гетрах из байки и огромных рыжих американских ботинках. А ведь по лагерному – франт.

Судья спросил, имею ли я отводы к составу трибунала. Потом худенький лейтенант – секретарь – вызывал поименно свидетелей: "Подполковник Аршанский"; так это я Мишу не узнал, не ожидал его видеть. И Виктора Розенцвейга не узнал, и Жору Г-а. Он располнел и поседел.

– Ввиду неявки свидетелей Забаштанского и Беляева есть предложение слушание дела отложить... Мнение защиты? Значит, поддерживаете... Обвиняемый?

– А если они и в следующий раз не явятся? Они лгали на следствии, а теперь могут избегать...

– Вас не об этом спрашивают. Что будет в следующий раз, мы будем решать в следующий раз.

Меня увели, опять бережно под локти. Оборачиваясь, я увидел поднятые кверху стиснутые руки – держись! Кажется, это Миша. Боба улыбается, послал воздушный поцелуй.

В гортани торчит горький, мокрый комок. Сколько теперь ждать? А что если те опять не придут и потом опять? Конечно, это будет против них, но сколько можно так тянуть –недели? месяцы? Друзья пришли веселые, значит, надеются – или только ободряют?

В подвале я недолго ждал остальных. Власовец получил пятнадцать лет и, хныкал, "не выживу, у меня вся внутренность отбитая!"

Чеченцы получили оба по десять. Маленький Черныш молчал угрюмо. Носатый был весел, похохатывал, хлопал себя по острым коленям, гортанно частил приятелю. Тот ворчал, но видимо, одобрительно. Потом старший объяснил:

– Понимаешь, какой хороший дело. Эта десять лет пускай, эта ничево. Бог хочит, я десит лет живой буду, и потом опять живой буду. Бог не хочит, я завтра умираю. Бог хотел, я такая бомбежка был, никто такой не был, я на такой бой был:

сто человек – одно мясо, а я живой. Бог хочит, я завтра умираю. Бог хочит, я сто лет живой и тоже ты, – он, – все человеки. Десит лет не боюсь, бомба не боюсь, пуля не боюсь, кинжал не боюсь. Если Бог хочит, чечен живой будет. А сиводня хорошее дело. Там свидетел был – тоже чечен, тоже плен был, тоже легион был, как он, Ахмет, как я. Но Ахмет джигит, я джигит, он джигит, а свидетел плохой человек, не чечен – собака. Он продавал – понимаешь? всех продавал, брат продавал,– понимаешь, – он говорил, что мы за немца воевал, что хотел русский человек убивать. Все нет правда, все как плохой собака. Я не воевал за немца; он не воевал, Ахмет не воевал; вся легион не воевал. Мы гарнизон был в Польше, потом в Сырбия; только гарнизон был. Мы хороший человек помогал, хороший польский человек, хороший сырбский человек. Мы все менял, мы ружье давал, патрон давал, он давал молоко, давал мясо, давал водка – сливовица. Мы оружие давал хороший человек – партизан... Понимаешь? А свидетел нет правда. Суд говорил – десит лет, я – десит лет, он – десит лет, потом будит Ахмет, – старый человек, ученый человек, может, он еще больше лет будит... Судья говорил на меня, что хочишь просить, я говорю: можно говорить немножко по-чеченски. Хороший человек судья говорил: "пожалуста, можно".

И тогда я сказал свидетелю: "Ты, собака, предатель, ты думаешь, ты спас свою поганую шкуру. Так знай: если мы умрем, наши кровные остались и они отомстят. И тебе и всем твоим кровным. Ты нигде не спрячешься. Знай, и тебя, собаку, зарежут, и всех твоих зарежут, и твою жену, и твоих детей, и твоих братьев, и сестер, и племянников. Мы не будет живы, наши братья будут резать, наши племянники будут резать..."

Он, собака, плакал, говорил:

– Дорогой, не надо... я не собака, меня следователь бил. Бил, кушать не давал... Я тоже десит лет получил, не надо резать... А я говорил: ты десит лет получил как собака, я десит лет, как джигит, и мы тебя резать будем, и всех твоих резать будем... Все говорил, как хотел... Он плакал, судья смеялся. Хороший человек судья. Такое хорошее дело было.

Он был очень доволен и его мрачный приятель тоже хмыкал одобрительно.

В Бутырки нас привезли среди дня, кормили в боксе, потом разделили в бане. Их повели в осужденку, а меня вернули

в прежнюю камеру. Я рассказал Ахмету о его земляках, и он тоже был очень доволен.

Второй раз меня вызвали с вещами только месяц спустя. В том же подвале я просидел несколько часов. Потом начальник конвоя сказал: ввиду неявки свидетелей заседание отменяется. Еще несколько часов пришлось ждать воронка, а в Бутырках на шмоне и в бане я оказался в пестрой толпе бытовых и блатных.

...Рослый парень лет за тридцать; по одежде и повадкам — бывалый горожанин, квалифицированный рабочий или технарь. Но когда он разделся, то все ладно скроенное мускулистое тело оказалось "расписанным", синие узоры густо покрывали грудь, спину, предплечья, живот и бедра, голени. Традиционная блатная графика — грудастая красотка, карты веером, бутылка с рюмкой и вокруг надпись: "вот, что нас губит"; холм с крестом: "не забуду мать родную"; — перемежались с пейзажами, якорями, спасательными кругами, на одной лопатке извивалась змея, пронзенная кинжалом, на другой лопатке револьвер накрест с ножом и рядом нагие женщины; на животе замысловатые рисунки. Такое "удостоверение личности" не вязалось с его угрюмой насупленностью. Законному вору полагалось и в тюрьме быть лихо веселым.

Заговорив с ним, я услышал такую повесть:

— Так фраернулся, так фраернулся, как штымп, как последний малолетка. Сам на себя позор взял, дурак! хоть вешайся... такой позор, такая перетакая судьба. Хуже, бля, чем головой в парашу... В августе я только освободился из рыбинских лагерей. Припухал год по законной статье — 168 в., — вольная кража. Отзвонил день в день. Ухожу, как положено, костюмчик люди справили, будь спок, у больших фраеров заиграли — чистый бостон; шляпа, колеса со скрипом. Ну, иду, как директор или завмаг. И гроши имею, приличные куски. Однако, на бану сходу отвернул два уголка — чижолые. Ну, думаю, значит поживу, бля, спокойно хоть полгода, подженюсь на чистой бабе. Рву когти с бана на пристань, беру теплоход, первый класс, еду в Москву, в дорогую столицу... На палубе закнацал красючку, шикарная, как артистка, хотя сама с торговой сети. Молодая еще, фигуристая. Я кошу на полярника: арктика-ро-

мантика, длинные рубли. Она: хи-хи-ха-ха. Взяли обед, она водки ни-ни, пива – носом крутит, но шампанское – ах, обожаю, шикалад – мерси, пожалуйста. Я оголодал на пайке, и как чайка все глотаю, меня с поллитра ведет. Я то, се, как положено, люблю, женюсь, пойдем вкаюту...А она, сука, тыр, пыр и с концами. Тогда я по злобе взял еще не помню сколько, двести или триста, выпил, вышел на палубу, а она там уже с фраерами обратно – хи-хи-ха-ха. Но я же имею принцип. А тут еще окосел; беру писку, хочу ее, бля, по шнифтам писануть (то есть, он собирался лезвием бритвы ударить ее по глазам). Ну, тут шухер, вся кодла на меня, гады, не отмахнуться... Крутят меня, а на пристани мусора волокут, а я ж с теми уголками. – Ваши? – Мои. – А я их и не смотрел еще, заперты, да и куда было спешить. – Где ключи? – Должно, потерял, выпимши... Открывают, и, что ты, бля, думаешь – два уголка – одни тетрадки школьные. Сколько тыщ там было тех тетрадей и не знаю... А я бухой, ни хрена не петрю и обратно: – чьи? – мои! Потом, когда очунял, мне уже статью предъявили – 105-я – спекуляция. Я на стенку полез, – гад я буду, я же честный вор, я их отвернул, это же законная вольная кража – один год, – а они... Раз-раз и спекулянт: пять лет и три по рогам... – Поверишь – хрен с ним те пять лет: я не за срок обижаюсь. Но ведь, как барыге припаяли. А я в законе. Меня люди в Москве знают, в Ленинграде, и в Ростове.

Он был безутешен.

И опять я вернулся в105-ю камеру. И еще месяц действовал наш камерный университет. Профессор Виноградов читал лекции о теории относительности, о квантовай механике, об энтропии; Дмитрий Саввич рассказывал о греческой скульптуре, о Поликлете, Мироне, об архитектурных стилях, читал свои стихи. Из одного я запомнил только первые слова "сочные Сочи", а из лирического сонета последние две строки:

Ты моя девятая симфония
Ты моя девятая волна.

Доктор Михайлов объяснял законы генетики. Про Менделя я учил еще в школе. От Михайлова впервые услышал о Вавилове. Мне досталась история, – на литературу в камере спроса не было, – русская история от Рюрика до Февральской революции и краткие обзоры истории Германии, Англии, Франции и вообще Западной Европы. Подполковник пан Зигмунт – бывший главный лесничий Беловежской пущи, – путаясь в падежах и спряжениях, но очень увлекательно говорил о жизни леса, о законах честной охоты: – "Стреляй мех только на бегу а пух только на лету", – о повадках зверей и птиц...

16 декабря меня вызвали опять. На этот раз в подвале трибунала я оказался не в маленькой ярко освещенной каморке, а в полутемной проходной с несколькими деревянными кабинами-боксами по стенам и длинным дощатым столом посредине. В коридоре я увидел Надю, маму, отца, они мне робко кивали, улыбались. Мама громко шептала: "все будет хорошо". Привели в узкую длинную комнату с одним окном. Трое судей за письменным столом торцом к окну, а стул для подсудимого стоял напротив, очень близко от них. Один конвоир присаживался на подоконник справа, другой мостился сзади. Слева от меня был столик адвоката, а дальше, вдоль стены – стулья и скамьи для свидетелей. На скамье сидели Забаштанский и Беляев – их я узнал сразу. Не было ни Миши, ни Вали, но были Иван, Галина, Белкин, Нина Михайловна, ее муж Георгий Г., Виктор Розенцвейг, и Ю. Маслов.

Председатель суда, хмурый полковник Хряков, сказал, что прокуратура не будет представлена на заседании. Он вел заседание буднично деловито, говорил чуть сипло, негромко, лишь изредка повышал голос. Спрашивая адвоката, свидетелей и меня, он не менял интонации, был сухо бесстрастно вежлив. Коротко сказав свидетелям, что они обязаны говорить правду, в противном случае несут отвественность по таким-то статьям, он предложил им выйти и ждать там, где покажут, не отлучаться, вызывать будут по одному.

Секретарь прочел обвинительное заключение. На вопрос председательствующего я отвечал, что виновным себя не признаю, все обвинения основаны на злонамеренной лжи, следствие велось односторонне предвзято.

— Садитесь. Мы начинаем судебное следствие. И все выясним.

Первым вызвали Забаштанского. Еще больше растолстевший, в обтянутом кителе, с большой трехрядной орденской колодкой, он стоял мешковато, но прочно, говорил тихо, неторопливо, с той грудной интонацией бесхитростной искренности, простецкой, но серьезной вдумчивости, которая и меня когда-то так привлекала и убеждала. Он повторил, по сути, все то же, что говорил на партийном собрании и на следствии, но выражался несколько по-иному, вместо "немцев" говорил "немецко-фашистские гражданские лица", почти не упомянул о "жалости" и "буржуазном гуманизме". Но тем более скорбно рассказывал о моих "упаднических настроениях", "пререканиях с командованием и с офицерами и с рядовым составом... что привело к срыву важного боевого и политического задания".

Адвокат спросил его, как он может характеризовать работу своего фронтового товарища и подчиненного, которого на фронте принимали в партию, награждали боевыми орденами, давали ответственные серьезные поручения.

— Ну што ж, конечно, пока, значит, доверяли... пока думали, што это у него просто мелкобуржуазные пережитки... Он, конечно, грамотный, очень даже грамотный... всю жизнь за книжками штаны протирал, пока другие, как мы, работали, пятилетку строили, з кулаком, з врагами народа боролись. Он умеет говорить и по-немецки, и по-польски и там еще на разных языках; умеет себя показать и другим очки втирать. Ну, когда хотел, тогда умел работать вроде по-боевому. Тогда и награждали и доверяли. Пока, значит, не показал свое упадничество и мелкобуржуазное нутро, пока не стал клеветать на командование и выступил против решений Госкомитета обороны, которое подписал лично товарищ Сталин, пока не сорвал боевое задание.

— Обвиняемый, у вас есть вопросы к свидетелю?

— Пусть он точно скажет, когда и где я выступал против решения Комитета обороны, кто это слышал?

— Так этот позорный факт был обсужден на партийном

собрании политуправления... Его ж за это з партии выгнали.

— Ложь, наглая ложь! Даже свидетели обвинения Клюев и Мулин этого не подтвердили, а Гольдштейн опроверг.

— Обвиняемый, садитесь. Вы не должны вскакивать, не должны говорить без разрешения суда, пока вас не спросим. У вас есть еще вопросы?

— Он не ответил на вопрос: когда и где, кто свидетели? В следственном деле есть мои подробные собственноручные показания об этой лжи, а в партийном деле есть записки Клюева, Мулина и Гольдштейна...

— Свидетель, вы поняли вопрос?

— Конечно, понял, — с едва приметной снисходительной улыбкой, — так он же всегда так крутив и выкручивался. А Гольдштейн, это его дружок, он под его влиянием был, за что имел партийное взыскание... И вопрос этот обсужден был тоже на партийном собрании. — Это ж понять надо, сотня, нет, больше сотни коммунистов-фронтовиков собрались, когда идет война, смертельные бои, а мы должны обсуждать, как этот майор, значить, подрывал моральный дух наших бойцов. Они от Сталинграда шли по крови, по трупам, по развалинам... Ихних отцов и матерей фашисты погубили, посжигали, повешали, у них в грудях священный огонь мести. А тут какой-то сильно образованный майор им начинает разговорчики за гуманизьм... Это ж другому человеку, как в душу плюнуть, — в тихом голосе вибрации сдерживаемого волнения, - ну и, значить, конечно, пререкания, срыв боевой задачи...

— Обвиняемый, сидите спокойно. У вас еще есть вопросы?

— Значит, это по моей вине была сорвана боевая задача? Какая задача?

— Была поставлена мною лично задача, разведать военно-политическую обстановку в Восточной Пруссии в момент вступления наших войск... выяснить настроения населения... и наличие вервольфов, значить, фашистского подполья... Ну, а он вернулся и одни только разговоры, ахи да охи за плохое поведение наших солдат... Наши геройские воины ему, значить, уже так не понравились, что он забыл про боевую задачу. И мне пришлось лично выехать, чтобы работать вместо него, выполнять все, что он там не сполнил.

– Это наглая ложь!

– Обвиняемый, садитесь. Не вскакивайте! Вы здесь перед судом военного трибунала, а не на митинге... Ведите себя прилично, не то я вас накажу. Что вы еще хотите спросить?

– Задание в Восточной Пруссии было действительно выполнено плохо, но не по моей вине. А Забаштанский вообще ничего не знал. Он уехал до нашего возвращения.

– Я вас не просил и не разрешал комментировать показания свидетеля. Вопросы у вас есть?

– Старшим разведгруппы, командированной в Восточную Пруссию, был майор Беляев, а я его помощником. Какое взыскание получил он за невыполнение задания?

– Неправда! Старшим был майор Копелев. У майора Беляева была своя отдельная задача, набор военнопленных и гражданских для антифашистской школы. Беляев, конечно, пробовал влиять на него – он поглядел на меня уже не так равнодушно-презрительно, и, словно бы не видя, как раньше, а злобно-быстро. Конечно же, пробовал, уговаривал, значить, по-товарищески, даже по-дружески. Ну так разве ж его уговоришь... Он вот и здесь прыгает, а тогда такой фасон держал, вроде он один умный, – а все кругом так, – дурни, серость необразованная.

– Прошу запротоколировать показание, что, якобы, я был старшим, и что он выезжал, чтобы исправлять мои ошибки...

– Обвиняемый, кто здесь ведет заседание? Вы или я? Садитесь и не мешайте суду. Что у вас там еще?

– Могу я заявить ходатайство к суду?

– Можете.

– Прошу вас, очень прошу сопоставить эти показания Забаштанского с тем, что он показывал на предварительном следствии и говорил на партсобрании. Он тогда говорил, что я при всех сотрудниках осуждал приказ ГКО, но никто не подтвердил этого, Клюев и Мулин показали, что ушли до моего спора с ним, а Гольдштейн показал, что спор шел о другом, что я не говорил и не мог сказать того, что приписал мне Забаштанский, – не только неверные, но глупые, идиотско глупые слова: будто приказ ГКО о трудмобилизованных приведет к новой войне.

Очень прошу вас проверить, сличить, ведь это все зафиксировано. – И еще очень прошу запротоколировать, как он сейчас

говорил, что я был старшим...

– Довольно! Не учите суд...Еще раз напоминаю, что это не вы ведете заседание. Не вынуждайте меня вас наказывать.

Председатель трибунала говорил строго, но мне показалось, менее сердито, чем раньше, скорее насмешливо.

Адвокат спросил у Забаштанского, как он оценивает мою работу в Грауденце, за которую отдел получил благодарность командования.

– Работал, конечно. Еще бы он не работал; тогда уже на него партийное дело было. Ну, конечно, хуже работал, чем раньше. Поскольку настроения имел упадочные. Приходилось подталкивать, значить, направлять. Поскольку я лично руководил операцией...

– Обвиняемый! – председатель постучал карандашом, заметив, что я опять едва сдерживаюсь.–Что вы хотите еще спросить?

– Кто был старшим в Грауденце? Кто командовал группой?

– Лично я!

Теперь он уже совсем не глядел на меня; стоял, упрямо набычившись.

– Тогда пусть свидетель скажет когда началась и когда кончилась осада Грауденца?

– В марте это было. А по числам я не обязанный точно помнить.

– А сколько все же времени там работала наша группа? Хоть приблизительно, сколько дней или недель?

– Дней з десять, а, может, меньше.

– Сколько же дней свидетель лично провел в нашей группе, когда он, якобы, давал указания, направлял?

Он устало и сочувственно смотрел на председателя: мол, и вам, должно быть, надоел этот трепач.

– Товарищ подполковник, вы будете отвечать на вопрос?

– Так што ж тут отвечать на все выкрутасы... Конечно ж, я там не все время сидел. Я как начальник отдела политического управления фронта руководил не одним этим майором. Шло наступление всем фронтом. На Данциг, на Померанию. – А это была одна местная операция. В наших тылах орудовала немецкая группировка. Но, значить, надо было как можно скорее ликвидировать...

— Сколько ж раз он все-таки приезжал?

— Достаточно, садитесь. Все это не имеет отношения к делу. Что у вас еще?

— Имею ходатайство к трибуналу.

Я успокоился — беззастенчивая, но беспомощная брехня Забаштанского несомненно будет опровергнута — и я говорил тихо, вежливо:

— Очень прошу запротоколировать: осада Грауденца началась 13 февраля, а последние части гарнизона капитулировали 6-го марта. Начальником нашей группы с 15 по 16 февраля был майор Беляев, а после его отъезда, с 16 февраля и до самого последнего дня — я. За эти три недели, — не десять, все двадцать дней, — Забаштанский приезжал туда всего два раза. В первый раз он доехал до штаба полка, действительно видел меня, но мельком, так как спешил. Выслушал рапорт, но никаких указаний не давал. Второй раз он доехал только до штаба корпуса в нескольких километрах от города и по телефону приказал мне отдать армейскую звуковую машину. Это существенно затруднило нашу работу. Хорошо еще в дивизии раздобыли аппаратуру — кинопередвижку, — и приспособили ее для звуковых передач... Это факты, отмеченные в документах, известные всем членам моей группы и почти всем работникам отдела!..

— Достаточно! Садитесь. Вас, товарищ подполковник, прошу остаться здесь. Садитесь, пожалуйста. Приглашаем свидетеля майора Беляева.

Я с удовольствием увидел, как потемнел и растерянно моргнул Забаштанский — теперь ему не удастся предупредить Беляева.

Тот вошел в парадном кителе с орденами и медалями. На меня даже не покосился, глядел только на председателя трибунала. Отвечал на вопросы быстро, отчетливо, хотя несколько суетливо, но держался уверенно, только руки сновали беспокойно, то за спину, то сжимались перед животом.

Он сказал, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Подсудимый защищал немцев, занимался их спасением, да-да, гражданских немцев и их имущества.

— Да, грубо нападал на наших солдат и офицеров, агитировал против мести врагу... Да-да, а потом даже плакал от жалости к немцам. И потом написал рапорт о демобилизации, как

несогласный с политической линией командования... Да-да, это именно он, Беляев, увидел этот рапорт. – Да, видел только он лично, – порвал его и за это получил взыскание.

Судья спросил, какое задание получила группа, командированная в Восточную Пруссию и было ли оно выполнено.

– Задание было – разведать и доложить обстановку, – политико-моральное состояние населения, действия фашистского подполья. Конечно, было выполнено... в основном, конечно... поскольку имелись недостатки по вине подсудимого...

– Какие именно?

– Он мешал. Сам отвлекался, чтобы спасать немцев, вступал в пререкания... Нацеливал не туда...

– А кто был старшим по группе?

– Я.

– Вопрос к подполковнику Забаштанскому: вы показали, что задание было сорвано и что старшим по группе был майор Копелев. Вы подтверждаете ваши показания?

– Правильно! Задание было сорвано через его упадочное антипартийное поведение.

– И он был старшим?

– Я назначил его старшим, а майор Беляев получил свое отдельное задание.

– Майор Беляев, как же все-таки: было выполнено задание или не было?

– Поскольку, конечно, имелись ошибки... Но все-таки...

Он пытался оглянуться, напрягая покрасневшую жилистую шею. Забаштанский стоял позади.

– Поскольку имелись, конечно, ошибки... Грубые ошибки... То не все было выполнено, как должно... Конечно, однако, все-таки я считал...

– А кто из вас был старшим?

– Я.

– Вопрос к свидетелю Забаштанскому: кто же был старшим – майор Беляев или майор Копелев?

– Я назначил Копелева, а шо они там между собой договаривались, они мне не докладывали.

– Вопрос к свидетелю майору Беляеву: кто же из вас был старшим?

Беляев растерялся, ссутулился, уже не пытался оглядываться, мял руки, несколько раз открывал рот...

– Я так помню... Конечно... Я помню, что я был старшим... Так и в предписании было... Конечно...

Адвокат спрашивал Беляева, как я работал в антифашистской школе. Слушал ли он мои лекции? А сам он преподавал?.. Ах, он недостаточно знает язык... Учебной частью ведал старший лейтенант Рожанский?.. А как он отзывался о преподавательской деятельности майора? Даже очень одобрительно? И он же составлял программы? А вы их утверждали? Нет? А кто же? Забаштанский, а потом генерал? А вы, значит, даже не знали, что преподают в школе, в которой вы были начальником? Доверяли полностью Рожанскому? Значит, он вполне заслуживает доверия?

Адвокат спрашивал вежливо, но презрительно, уничтожающе презрительным тоном. Беляев покраснел, вспотел, долго искал носовой платок. И, услыхав, что председатель спросил: "Обвиняемый, у вас есть вопросы к свидетелю?", взглянул на меня испуганно вытаращенными жалкими глазами.

– Помнит ли свидетель, сколько времени продолжалась наша поездка в Восточную Пруссию?

– Пять, нет, шесть дней...

– А сколько раз я спасал немцев?

– Два или три раза... В этот самом... Найденбурге, а потом в Алленштейне.

– Сколько времени это продолжалось, каждый раз?

– Не помню... ну, час... или два... три часа...

– А сколько раз я спорил с нашими солдатами и офицерами об отношении к гражданским немцам?

– Я не считал...

Судья нетерпеливо:

– К чему эта статистика?

– Ну, хотя бы приблизительно... Ведь именно свидетель Беляев написал тот рапорт о моем поведении в Восточной Пруссии, с которого началось все дело. Пусть же он вспомнит хотя бы приблизительно, – один раз или сто раз я спорил?

– Ну три... ну четыре.... а, может быть, и пять раз.

Беляев глядел тупо, утомленно.

– А сколько времени ушло на эти споры? Приблизительно?

– Ну, как сейчас помнить? Конечно же, это не дискуссии были. Я за регламентом не следил... где полчаса... где час...

— Пусть даже по два часа — значит, на споры не больше 8-10 часов, на спасение 6-8 часов, — от силы 18 часов за шесть суток. А помнит ли свидетель, сколько мы вывезли трофейного барахла? Сколько ездок двумя трехтонками было из Найденбурга и из Алленштейна в Цеханув, где он устроил трофейный склад?..

— А ты что же не возил? Ты же целую библиотеку повез... Я же не для себя, для всех товарищей...

— Свидетель, разговоры с подсудимым запрещены, обращайтесь к суду. У вас еще есть вопросы?

— Имею ходатайство: прошу запротоколировать — было вывезено 10-12 тонн трофеев, всяческое барахло, гобелены, рояль, стоячие часы. И я, действительно, спорил с начальником группы Беляевым, возражал не только против беззакония, насилий, мародерства, но и против его отвратительной демагогии — оправдывать изнасилования, грабежи, убийства словами о священной мести. И я возражал против того, что он так увлекся собиранием барахла, что мы почти и не выполняли задания.

— Достаточно. Садитесь.

— Еще один вопрос: помнит ли майор Беляев, когда мы вернулись из Восточной Пруссии, кому мы докладывали — подполковнику Забаштанскому?

— Нет! Подполковник тогда уже сам уехал в Пруссию. Мы докладывали генералу Окорокову вдвоем...

— Прошу запротоколировать: тут Забаштанский говорил, что он сам поехал в Пруссию, потому что мы сорвали задание... Еще одно доказательство лжи.

— Довольно! Садитесь и не мешайте суду.

Галя Хромушина в синем платье, на высоких каблуках, бледная, похудевшая, казалась очень выросшей. Она отвечала на вопросы коротко, спокойно. Подтвердила, что выехала с Забаштанским в Восточную Пруссию до моего возвращения, что ни о каком срыве боевого задания речи не было, что в Грауденце старшим был я, а Забаштанского она там вообще не помнит; кажется, он один раз приезжал.

Нина Михайловна в кителе с орденской колодкой поглядывала на меня с любопытством и жалостью.

— Да, он считался хорошим работником, даже очень хорошим работником. Часто работал на переднем крае. Очень хорошо знает язык, психологию немцев... Вообще, культурный, но

вспыльчивый, несдержанный, даже грубый, допускал высказывания против командования, оригинальничал. Он проявлял жалость к немцам – я думала от оригинальничания и мягкотелости...

Ей задавали вопросы адвокат и я. Все о том же, – кто был старшим в Восточной Пруссии и в Грауденце. Она отвечала правду.

Я спросил, помнит ли она, как Забаштанский рассказывал про Майданек и правда ли, что я тогда защищал немцев. Отвечая, она прослезилась.

– Да, помню, и помню, что мы тогда поссорились, но не потому, что он защищал, Нет, это я тогда была так взволнована, так сердита... И это я заговорила, о том, что он вообще проявляет мягкое отношение, что он слишком добренький, а он тоже разозлился, обидел меня, сказал что-то про союз Михаила Архангела...

Я попросил ее вспомнить, как проходила очная ставка, и она подтвердила, что на том листе, который я отказался подписывать, следователь неправильно записал ее слова, исказил ее показания.

Георгий Г. сказал, что у нас с ним были в общем хорошие товарищеские отношения, но потом стали спорить по принципиальным политическим вопросам, так как он заметил серьезные идейные шатания, недооценку необходимости полного разгрома германского империализма, а с другой стороны, переоценку немецкой буржуазной культуры, нездоровые гуманистические настроения в смысле жалости к гражданам немецко-фашистского государства.

Георгий, – высокий, щеголеватый, красиво седеющий по смуглоте и черни, – держался непринужденно, уверенно, говорил бойко, плавно, без запинок, округлыми фразами, но все время повторялся, и судья заметно скучал. Георгий очень удивился, когда судья предложил мне задавать ему вопросы. Он, так же, как и все другие, не ожидал такой процедуры. Опрошенные свидетели оставались в комнате и не могли поделиться опытом.

Я спросил, помнит ли он, когда и где начал вести со мной идеологические споры. Он сказал, что с конца лета и осенью 1944 года, когда фронт подошел к немецким границам. Тогда

я спросил, помнит ли он, что давал мне рекомендацию для перехода из кандидатов в члены партии в январе 1945 года.

Он помолчал, даже рот приоткрыл, как удивленный ребенок. И заговорил сердито, но уже менее уверенно:

– Ну и что, ну и давал. Я не отрицаю... А ты, на что надеешься? Я потом отказался. Мне партийная организация разъяснила, что я проявлял излишнюю доверчивость. А ты теперь не надейся...

– Товарищ свидетель, отвечайте суду. Подсудимый задает вам вопросы через суд, и вы отвечайте нам. Личные разговоры с подсудимым не разрешены.

Я попросил, чтобы свидетель разъяснил, как он мог, считая мои настроения нездоровыми, политически вредными, и т.д. давать мне рекомендацию. Георгий начал взволнованно говорить, что ему только позднее стало ясно, что раньше он недооценивал...

Судья прервал его:

– Достаточно. Товарищ подполковник, вы дали рекомендацию своему товарищу, потом вы узнали, что он арестован по серьезному политическому обвинению. Тогда шла война, обстановка была фронтовая. Но вот прошло уже почти два года. Вы имели время обдумать. Скажите: считаете ли вы теперь, что он был противником партии, советской армии, считаете ли вы теперь его тогдашнюю деятельность на фронте враждебной, вредной?..

Г. сник, красивая величавость сменилась нервозной суетливостью.

– Конечно же, я думал, много думал, даже переживал... Мы же были товарищами, даже вроде друзьями... Так сказать фронтовая дружба. Нет, в личном плане я не могу сказать, что он хотел, имел сознательное намерение, чтоб против партии и командования. – Нет, я так не думал и теперь не думаю... Но если взять объективно, с точки зрения тогдашней военной обстановки, то у него имелись ошибки, недопустимые шатания... Это, конечно, не прямая контрреволюция...

Судья нетерпеливо прервал его. Мне показалось, что настроение за судейским столом изменилось. Заседатели поглядывали уже не с брезгливым любопытством, как раньше, а размышляюще, внимательно, и, словно бы, сочувственно.

Иван Рожанский и в суде был такой же как всегда – чуть

нахмуренный, сосредоточенный. Изредка светло поглядывал исподлобья, а чаще, словно бы смотрел в себя, в свои неторопливые мысли.

Он рассказал о том, как мы вместе работали, обучали антифашистов. Он слушал мои лекции, беседы. Мы дружили, часто подолгу откровенно разговаривали. Он твердо знает, он вполне уверен, что все показания Забаштанского и Беляева совершенно несправедливы. Приписываются такие суждения, такие высказывания, которых не было и не могло быть. Он знает, что Забаштанский давно очень враждебно относился ко мне. И об этом мы не раз говорили, обо всех столкновениях подробно говорили.

– На партийном собрании, когда разбиралось дело, я хотел выступить. Беляев сидел сзади меня и сказал: ''Не забывайте, что вы военнослужащий, здесь армия. Забаштанский – начальник отдела, я ваш непосредственный начальник, и мы запрещаем вам выступать''... А потом Беляев также запретил ему голосовать против исключения. После того, что его вызвал следователь, Беляев говорил, что следователь недоволен показаниями Рожанского, что из-за этого у него могут быть неприятности, предлагал подумать и дать новые ''более правильные'' показания.

Судья спросил Беляева, тот бормотал, что действительно что-то говорил Рожанскому на партсобрании, но, конечно, не запрещал, а просто советовал, чтобы ему лично не было неприятностей. Обстановка была напряженная. – Он, Беляев, сам получил выговор за то, что порвал тот рапорт о демобилизиции и не доложил о нем. А про следователя – это он просто передал, это подполковник Забаштанский видел следователя, и тот сказал, что Рожанский выгораживает обвиняемого, что-то скрывает... Он подробностей не знает. Но никакого давления не оказывал, просто по-товарищески хотел помочь...

–Вопрос к свидетелю Забаштанскому. Вы слышали показания капитана Рожанского и майора Беляева, что вы можете показать по этому вопросу.

– Возражаю против. Категорически возражаю. – Угрюмо потемневший, он говорил все так же негромко, убежденно, иногда включая задушевно-доверительные интонации. – Товарищи, видно, забыли, какая тогда была обстановка. Фронт. Война. И какая война. Вся наша армия, геройская армия горела

тем огнем святой мести... Шел можно сказать, последний решительный бой и тогда такие упадочные настроения были не лучше измены... Тогда на передовой могли просто застрелить за такие настроения, такие разговорчики. А теперь, конечно, мир, счастливая жизнь, какую нам завоевали те самые герои, которые так не нравились этому... вот подсудимому, что он их обзывал мародерами... смеялся с них, гордый на свою образованность. А сегодня товарищи, которые тогда сами были возмущены и на партийном собрании осудили его, сегодня, в мирной жизни, или уже направду забыли, или хотят забыть, потому что жалеють, как все-таки друзья были и говорят такое, чего даже не было. – Я категорически возражаю. У меня есть память и есть моя партийная совесть.

Председатель смотрел на Забаштанского внимательно и задумчиво.

– Значит, вы отрицаете, что следователь был недоволен показаниями капитана Рожанского и просил повлиять на него, чтобы он изменил показания?

– Что говорил следователь Рожанскому я не знаю, я там не был и ничего Рожанскому не передавал и не влиял на него и влиять не собирался...

Потом давал показания Абрам Александрович Белкин. Сперва он, видимо, чувствовал себя неловко, стоял вытянувшись, руки по швам, потом разговорился почти как на семинаре в ИФЛИ. Он хвалил меня, а поругивал так, что лучше любой похвалы.

– Он, видите ли, вспыльчивый, как говорится, Буря и Натиск, очень несдержанный человек. Когда он уходил на фронт, – он ведь сдуру побежал в первый же день, чтоб немедленно, сейчас же с парашютом в Берлин, – я тогда очень опасался за него – да-да, но не так, знаете, как вообще боялись за друзей, уходящих в бой... Смерть на войне это печальный, но благородный конец, и я знал, что он смерти не страшится... Нет, я боялся, как он уживется с военной дисциплиной. А потом оказалось, что ужился, это я знаю, знаю от многих товарищей и друзей, которые с ним служили. Но все же несдержанность, горячность вспыльчивость, этакие Буря и Натиск у него остались в вопросах нравственных. Да-да, знаете ли, ведь это издавна было и есть в некоторых людях такое свойство – нетерпимость ко лжи, к подлости. Ну, как бывает, некоторые люди не выносят

пробки по стеклу. Вот он из тех людей, которые также не выносят лжи, лицемерия, подлости. И тогда он вспыльчив до грубости, часто себе во вред, даже очень во вред. Вот и сейчас он оказался в таком положении... Это свойство называют дон-кихотством, такое свойство бывает неприятным и даже опасным в отношениях с иными начальниками. Не со всеми, конечно. Владимир Ильич, например, совсем напротив, — очень высоко ценил именно это неудобное свойство — нетерпимость ко лжи, горячность и даже вспыльчивость в отстаивании правды... Маяковский писал: "пусть никогда не придет ко мне позорное благоразумие", Горький воспевал "безумство храбрых". Да, мне известно, что в последние месяцы войны он спорил с некоторыми товарищами. Я знаю об этом по рассказам общих друзей. Он возражал против отдельных фельетонов Эренбурга, — об этом и мы с ним говорили и спорили, когда он приезжал с фронта, — в последний раз в январе 44 года. Потом моя жена, — она была комиссаром снайперской школы, — виделась с ним на фронте, — осенью уже в Польше, — и рассказывала мне об их беседах и спорах. И я отлично помню, когда в "Правде" появилась статья Александрова, я ей сказал: "Смотри, ведь это именно то, что говорил нам Лева, вот, небось, теперь торжествует, что переспорил нас". Мы еще не знали, что в это время он уже был арестован и как раз за это же... И когда мы узнали, в чем его обвиняют, мы все были потрясены. Нет, никогда никто из его друзей не поверит, что он мог сделать или сказать что либо против партии. Ведь все его мысли всегда наружу, он, знаете ли, ничего не умеет скрывать... И каждый, кто побудет с ним вместе день-два, уже будет знать его со всеми, так сказать, душевными потрохами...

Адвокат задал Белкину несколько вопросов. Отвечая на них, он говорил так, как говорят на защите диссертации, чтобы "поднять повыше соискателя", все больше о необычайной политической зрелости моей идеологии, о глубоких знаниях, многократно выраженных в лекциях, статьях и т.д.

Последним свидетелем был Виктор Розенцвейг. Он по плану адвоката представлял Всесоюзное Общество Культурных связей с заграницей. Он рассказал о том, как меня любят и уважают немецкие пролетарские писатели Бредель и Вайнерт и какой я образованный марксист-ленинец-сталинец,—это ему точно известно по совместной педагогической работе в ИФЛИ, по от-

зывам моих слушателей, из многих дружеских бесед...

Уже давно стемнело. Заседание шло с утра, – обеденный перерыв продолжался не больше двух часов.

Адвокат в перерыве сказал мне, что, по его мнению, все идет хорошо. То, что прокуратура не представлена, – тоже хороший признак. Он начал речь уверенно; сказал, что ознакомился с делом, которое считает весьма необычным, – можно сказать единственным в его практике, – перечислил все явные противоречия в показаниях свидетелей обвинения, а потом заговорил все более громко, с привычно наигранным пафосом, наигранной растроганностью и выразительными гневными раскатами. Мне было стыдно и раздражало то, как он выхваливал меня искусственными пустыми словами о "тонкой нервной конституции", о "впечатлительности творческой личности", о "высоком душевном строе коммуниста-интеллигента". Потряхивая старыми номерами "Учительской газеты" и "Красной звезды" с моими статьями, он восклицал: "Вот его блестящие, остроидейные выступления на страницах "Правды" – центрального органа нашей партии". Он картинно откидывал седые волосы и, растроганно придыхая, декламировал о горе родителей, у которых один сын погиб в бою, а единственный оставшийся, надежда и гордость,–в тюрьме по тягчайшему позорному обвинению и все из-за клеветников, полуграмотных невежд... О Забаштанском он почему-то забыл, но тем сильнее поносил Беляева и особенно Георгия Г. Он заметил, что именно они вызвали наибольшее недовольство судьи. Георгий обиделся, даже закричал что-то с места. И судья отчитал его за неуменье себя вести.

Наконец, последнее слово подсудимого. Сколько раз я его сочинял про себя, повторял, дополнял. Говорил я долго, и видел, чувствовал, что слушают. Судьи были всего в трех-четырех шагах от меня. Председатель сидел, наклонив голову, только изредка поблескивал очками, а оба заседателя все время смотрели на меня, и я старался заглянуть им в глаза поглубже, внедрить в них и правду и мою боль.

Кончил я фразами, которые составлял давно и не раз повторял в жалобах.

– Совесть моя чиста. Нет на мне и тени вины перед Родиной, перед партией. Никакой вины ни в поступках, ни в словах, ни в самых сокровенных мыслях. И я прошу не милости, а

справедливости. Только справедливости.

После этого суд совещался. Ввиду того, что заседание происходило в необычном помещении, удалились не судьи, а все прочие. Меня увели в подвал. Мама и Надя стояли в коридоре, улыбались и кивали.

Часа через полтора привели обратно. Вошли и свидетели. Судья читал стоя, и мы все стояли:

"Именем Союза Советских Социалистических Республик..."

Уже с первых фраз я услышал одобрительные слова о себе, потом главное: "...оправдать за полным отсутствием состава преступления. Из-под стражи освободить". И частное определение: Забаштанский и Беляев виновны в клевете, но ввиду амнистии 1945 года не подлежат судебной ответственности. "Обратить внимание партийных организаций".

Все вокруг плыло в тумане, в этакой розовато-оранжевой дымке с блестками. Конвоиры посадили меня в коридоре, отгородив большой скамьей. Было поздно, из опустевшего подвала увели охрану. Друзья кивали издали, говорили что-то веселое, поздравляли. Мама повторяла громко: "твое пальто и костюм у Лели, пойдешь прямо к ней, у нее новый адрес Новослободская, 48, во дворе, квартира 47, запомни!".

Конвоиры не разрешили никому подойти ко мне и отказались передать плитку шоколада, как ни упрашивала мама. — "Не положено. Передачи только через тюрьму".

Потом меня увезли одного в большом воронке. Я не позволял себе надеяться, что скоро освободят. Я знал, что оправдательные приговоры по 58-й статье обязательно проверяются, знал, что нередко оправданных трибуналом передают в ОСО, и они получают сроки заочно. Но такой приговор! Такое оправдание!

В Бутырках провели в бокс, где постепенно собралось еще восемь человек с вещами. У четверых кончился срок, двоих оправдали. Одному следователь накануне сказал, что освободит. Это был молодой парень, сын генерала, арестованный за то, что носил отцовский пистолет и несколько раз показывал приятелям.

Вызывали по одиночке. К дверям бокса подходил дежурный с помощником, который нес пачку довольно плотных

тюремных дел. Вызываемый отвечал на несколько вопросов и кроме обычных: фамилия, имя, отчество, статья, срок, — должен был назвать еще и место и дату рождения, адрес членов семьи... Сначала вызывали без вещей — получать изъятое ранее имущество: ремни, карандаши, документы, шнурки от ботинок, бритвы, деньги, — проверяли отпечатки пальцев, а в заключение на "беседу", где освобождаемый давал подписку о "неразглашении режима" и получал справку об освобождении.

В боксе то и дело открывалась дверь и каждый раз у меня холодело внутри — вот сейчас назовут. Я пытался на глаз определить число папок, остающихся в руках у помощника, сбивался в счете, отчаивался и снова надеялся. Приказывал себе успокоиться, курил папиросы одну за другой, они казались очень короткими, необычайно быстро сгорали. Голова болела, даже тусклая лампочка слепила, горели глаза. И под ребрами слева копошилась боль, то сворачиваясь вкрадчиво, то расползаясь по груди, к ключице, к горлу, по руке...

Потом я остался один. Последним увели генеральского сына, должно быть поэтому его я и запомнил. Когда его вызывали у дежурного в руках была одна папка. Он ответил на мой взгляд, видно, очень уж умоляющий:

— А вы подождите, еще не оформили документов. Как ваша фамилия?.. Нет, еще не оформили.

Опять всплеснула надежда. Значит, все же оформляют. Напряженно прислушивался к шагам и голосам. Прошел час или два, я даже поспал на полу — скамья была слишком узкой. То и дело просыпался от ближних шагов, от ползучего холода. Подтыкал полы бушлата.

Звяканье ключа разбудило мгновенно. Поверка. Смена дежурных. Значит, уже утро. Спрашиваю: как же так, я оправдан, приговор — освободить. Сколько ждать?

— Документы еще не оформили.

Дежурные были заняты поверочными расчетами. Торопились.

Потом меня перевели в другой, деревянный бокс. Надежда, — послышалось где-то невдалеке назвали мою фамилию, — и решимость спокойно ждать, может быть, еще несколько дней, — сменялись тоскливыми сомнениями и страхом: — теперь будет ОСО, а там не вызывают ни свидетелей, ни адвокатов.

Весь день я провел в сидячем боксе. Туда принесли обед и вечернюю кашу и передачу: сигареты "Друг", шоколад, мамины ватрушки, жареную телятину. В тесноте бокса-пенала есть было трудно, локти сжимало дощатыми стенками. Но я радовался, что не увозят с "вокзала", значит, все же оформляют документы. Курил и спал прерывисто; вспоминал суд, и снова и снова передумывал, что было раньше, когда все началось, как мог бы избежать, если бы говорил так, а не эдак, с тем, а не с этим, если б уехал от Беляева, если б ранило тяжелее. Как входил бы в Берлин и как приеду теперь, кого буду искать из бывших друзей и знакомых, что буду делать в Москве, как приду к Леле, а потом домой...

После вечерней поверки стал опять напряженно прислушиваться к шагам и голосам. В обычных шумах бутырского "вокзала", в топотании и гудении этапов, в разных походках, в редких криках или истерических взвизгах и в постоянных сигналах, – побрякивании ключей, – пытался услышать голоса тех, кто поведет меня на свободу.

Один из вахтеров, выводивших в уборную, сказал, что днем не освобождают, а только к концу ночи, и я на несколько часов обнадеженно успокоился, даже выспался скрючившись. Ночью начался озноб ожидания. Наконец, дверь открылась. Но это был не дежурный с папкой, а обычный вахтер.

– Давайте с вещами.

И меня повели знакомым путем: шмональная, баня. Затекшие ноги едва слушались, мешки с барахлом и с передачей выскальзывали из рук, разваливались; очень болела голова и спина. Мыслей не было. Только удушливая тоска. Значит, ничего не изменилось.

В одиночной бане я не торопился: можно было долго стоять под ласково горячим душем и если зажать уши и закрыть глаза, он становился весело гулким как летний дождь.

Потом провели в другую, еще незнакомую часть тюрьмы. Камера небольшая, квадратная, одна койка, стол, высокое окно с крупно клетчатой решеткой – три прута вертикально, три поперек, без "намордника", – виден угол двора, глухой выступ стены без окон. Большая форточка в четверть рамы. Дверь без кормушки, хотя, разумеется, с волчком. Параша сухая – давно не пользовались. Все же не обычная камера. Значит, будут проверять приговор.Но если удалось добиться нового следс-

твия, если трибунал так оправдал, значит, самое трудно позади, и освободиться будет уже куда легче. Я открыл форточку, морозная свежесть после духоты боксов благостна каждому вздоху, всем порам лица. На койке оказалось два тюфяка. Одним я укрылся поверх бушлата, надел шапку, опустил уши, и блаженно уснул.

На утренней поверке дежурный не заходил в камеру. Коридорный только приоткрыл дверь, крикнул: "поверка!", я встал, оправил тюфяк, новая смена протопала мимо дверей.

— Тут один?

— Один.

Когда принесли хлеб и кипяток, я попросил книг. Коридорный отмахнулся.

Можно было ходить по диагонали, 9-10 коротких шагов. Я делал зарядку трижды в день и каждый раз выхаживал не меньше 1000 шагов. На вечерней поверке окликнул дежурного, попросил книги.

— Не положено. Вы оправданы, хоть сейчас могут на волю выпустить.

— Так не унесу же я ваши книги, сдам.

— Не положено.

Днем я спал, а ночью опять прислушивался. Моя камера была крайней перед площадкой с двумя уборными в начале короткого коридора, по нему водили на прогулку. Я насчитал еще шесть камер по моей левой стороне, правая была глухой стеной. Прогулочный двор незнакомый, длинный, узкий, с одной стороны здание с большими окнами, хотя и зарешеченными, но без намордников, похожи скорее на фабричные, — а с другой — высокая, видимо, наружная стена. На прогулку повели через коридор первого этажа, в котором все камеры были открыты и пусты, виднелись застеленные койки — жилье осужденных тюремных "работяг". Кислое бабье зловонье, пестрые покрывала на койках — женские камеры. Гулял я долго. Выводной поставил большие двадцамиминутные песочные часы, но и после того, как они пересыпались, я сделал еще несколько полных кругов, пока он окликнул:

— Ну, что, не нагулялся? Давай пойдем обратно, а то замерзнете...

На второе утро, после новой бессонной ночи с несколь-

кими приступами надежды – кто-то подходил к моей двери, а до этого в бормоте дальних голосов послышались, померещились внятные слова "на волю", – я был надсадно зол и пристал к дежурному, требуя, чтобы дали книги. Он ответил все так же "не положено". Тогда я стал "качать права", – почему же пока я был подследственным, обвиняемым, я имел право читать, а теперь я оправданный офицер Советской армии оказываюсь в худшем положении. Я объявляю голодовку.

–Ну и голодайте. Себе же хуже.

По-настоящему голодал я не больше двух дней. В первый день еще оставались от передачи сахар и печенье. Коридорные увещевали не грубо и не настойчиво. Один пожилой толковал добродушно:

– А, может, еще неделю надо ждать, а вы с голоду ослабнете. А доходягу нельзя ж так пускать, – что люди скажут? А тогда что? Конечно, в больничку. И, значит, обратно, задержка.

На третий день меня уже не выпустили на прогулку. На четвертые сутки был срок очередной передачи. Коридорный принес два мешка.

– Принимайте! Вона сколько – рождественская!

– Не приму. Я голодаю.

– Ты что, очумел? Там ждуть роспись.

– Не приму. Я голодаю, пока не дадут книги. –И я повторил в который уже раз: я оправданный, офицер, требую справедливости...

Коридорный, маленький, криворотый, с грязно-темным лицом, с мелкими черноватыми зубами и узкими глазами, разозлился:

– Офице-е-ер! Командовать привыкли... А тут вам не положено командовать. Пойдешь до своих, там командовай!..

– Я не командую. Я отказываюсь есть, пока не получу книги.

Через несколько минут пришел дежурный, молодой лейтенант, озабоченный, раздраженный. Он говорил даже не сердясь, а жалуясь:

– Ну, чего вы скандалите? Ну, чего хотите? Ну, я понимаю, ну, оправданный, ну, офицер. Но и вы ж имейте понятие, вас же тут 25 тысяч, а я один...

Я впервые услышал число. В Бутырках 25 тысяч арестантов! Доверчивость лейтенанта меня смягчила, и я согласился

принять передачу, если он даст слово офицера, что я получу книги. Он посмотрел удивленно, должно быть, впервые услышал такое: "слово офицера" и даже улыбнулся.

– Ладно! Даю. Сегодня еще получите. Берите и расписывайтесь. Там же волнуются. Жена, наверное... Жалеть надо.

Я старался есть понемногу, как должно после голодовки. Принесли книги: Вальтер Скотт "Роб Рой", Куприн, других не помню.

Через десять дней книги сменили. Тогда я получил "Пармскую обитель" Стендаля, воспоминания Панаевой. Днем я читал, ходил по камере, отсчитывая перегоны, перекладывал спички на тумбочке, делал зарядку, спал. Ночи были бессонными, вопреки всем самоуговорам и приказам себе. С вечера засыпал. А потом будил толчком внезапный голос – то ли приснившийся, то ли реальный, – или шаги у двери. Сердце колотилось у самого горла. Закуривал. – Пытался читать. – Сочинял стихи. – Придумывал алгебраические задачи. – Несколько ночей упрямо занимался построением разных вариантов золотого сечения. – Все стихи, возникшие в этой камере, забылись начисто; помню только, что сочинял поэму о Германии и большое восторженное послание Наде.

Вдоль наружной стены внизу тянулись две параллельных, темных трубы отопления. Верхняя проходила чуть ниже изголовья койки. Однажды я услышал в трубе настойчивый вопросительный стук "по клетке" 2-5... 4-3... 3-4... 2-5... 4-3... 3-4... Кто? Кто? Я лег ничком, стал тоже стучать и вдруг услышал в трубе женский голос. Он звучал издалека, слабо, но достаточно внятно. Чередуясь с постукиванием, повторял:

– Я тебя слышу... Возьми кружку... Слушай кружкой... Не стукай... Говори через кружку... Слушай ротом... Найди точку... Хорошую точку, где лучше слыхать.

Из рассказов ветеранов я уже знал, что по трубам отопления можно переговариваться, установив алюминиевую кружку в подходящей точке , так чтобы говорить в кружку, а, прижав к ней вплотную открытый рот, слушать.

Так оно и получилось. Собеседница оказалась в камере, через две от моей – в промежуточных никто не откликался.

Она представилась: Тоня – Антонина; рассказала, что си-

дит еще с тремя женщинами: Анька-полуцвет, и две бытовые тетки... У всех следствие кончено, ждем суда.. Я по 163-1 гэ, но только это шьют дуриком, вроде государственная кража с компаньенами... Там один мальчик гулял с моей подругой и его где-то попутали... Шьют, будто он магазин работал с партнерами или сберкассу... Мне это без интереса, я училась на портниху и на парикмахера... Живу с мамой. Она вдовая, служащая в одном тресте по хозяйственной части, там, знаешь, кладовая, гардероб, уборка помещения... Ну, вроде завхоза, я точно не скажу... А я с 26 года... Я еще взамуж не ходила. А ты кто? По 58-й? Ой, значит, фашист? Оправданный? Не свистишь? Так ты зайди к моей маме...

Она подробно растолковала адрес и в последующие дни несколько раз переспрашивала, не забыл ли.

– Ты ей скажи, чтоб адвоката взяла хорошего, а какого и насчет грошей, чтоб спросила у дяди Васи. Так и скажи – дядя Вася, что мне родич, он папин двоюродный. Он самостоятельный, на большой работе, не знаю точно какая, потому что очень секретная... Так что ты и не спрашивай, а скажи, что я велела, чтоб пошла к дяде Васе, а мне пускай передаст четыре головки луку и три головки чесноку... Значит, ты был и она поняла. А ты правда, фашист? Или, может, фраер и только косишь на фашиста?

После первых же бесед было ясно, что Тоня либо чистая "жучка", "воровайка", либо на пути к этому, – "полуцвет", "приблатненная". Разговаривала со мной только она, от сокамерниц передавала приветы.

– Они вертуха боятся, чтоб в трюм не спустил. Нервные дамочки. А я девочка московская, мне вся милиция знакомая. Я и днем никакого мужика не боюсь, а ночью пускай он меня боится...

Назвался я предусмотрительно Лешей Кошелевым, не хотел "серьезного знакомства", а на случай неожиданной встречи – значит плохо расслышала.

Утром, сразу после поверки, труба нетерпеливо цокотала – дежурные прошли и до раздачи хлеба коридор пустел. Стуком определяли точку.

– Доброе утро, Леша. Еще не выгнали?.. Чего снилось? А мне снилось, что я вроде на танцах или в клубе и тут кого-то хоронят. А в гробу лежит один знакомый мальчик, но только

он живой и вроде надсмехается... Вот тут женщины говорят, это хороший сон – если похороны видеть... А ты как понимаешь?

Когда их водили в уборную, Тоня успевала заранее предупредить и просила, чтоб я стал посреди камеры лицом к двери. Несколько раз она ухитрялась заглянуть ко мне в волчок. Тогда я слышал за дверью басовитое хихиканье.

– Лешенька!.. Ой, гражданин дежурненький, я ж думала, там никого нет.

И топот.

Потом она кокетливо лопотала в трубу:

– А ты не такой, как я воображала... Я даже не мечтала, что ты такой черный, солидный... Я обожаю, чтоб король крестей. А ты не с Кавказа будешь? А вроде на нацмена похожий и усы, как у товарища Сталина. У тебя мама еврейка? Ну и что, у них тоже бывают хорошие люди. Я одну евреечку маникюрщицу знаю, такая самостоятельная, и мы с ней как подруги... А ты, когда пойдешь на прогулку, стукни. Я спичкой волчок открою, у нас стеклышка нет и ты посмотри: я в красной кофточке.

Однако, я мало что видел при таких смотринах по близорукости и в спешке. Выводные обычно сердито кричали, грозили оставить без прогулки. В камере чуть больше моей теснились четыре койки. Над красной кофточкой угадывалось широкое лицо и лохматые серо-русые волосы.

– Ну, видел? Как я тебе показалась? Точно дама бубей, только это ж я не прибранная, а ты б видел, когда я с перманентом, бровки наведу, губки подмажу, такая девочка, хоть с генералом гулять.

И внезапно, еле слышно: – А вот и бубновая... Что ты, зараза, понимаешь, ты на себя посмотри, жаба. Вот закатаю в лоб, так узнаешь, кто червей, а кто бубей... Падло червивое...

– Ой, Лешенька, у нас тут разговор между собой. А ты анекдоты знаешь? Расскажи какой повеселей. А потом я тебе спою...

Анекдоты она и сама рассказывала, густо-сальные, иногда приговаривая: "извините за выражение". Пела цыганисто "Мой костер", "Соколовский хор у яра".

– Тюремных я не знаю, ты что, думаешь, я блатная жучка? Это я только шутю, вроде как артистка... Насмотрелась

в тюрьме. А ты не думай, Лешенька, я хорошая девочка, самостоятельная мамина дочка... Я мечтаю на доктора учиться...

Мы скоро убедились, что их камеру и меня всегда водят в одну и ту же уборную и там нашли "заначку" – щель за батареей, обтянутой прохудившейся проволочной сеткой. Я стал класть туда "передачки": узкие свертки с конфетами, печенье, мамины пирожки, сигареты, а Тоня мне к Новому году две "марочки" – носовые платки. По углам незабудки и пестрая мережка.

К Новому году я уже стал свыкаться с мыслью, что оправдание не утвердили и теперь меня опять передадут на ОСО – это значило опять лагерь. Но, ведь, не может быть больше пяти лет, а я уже скоро два года – почти полсрока и поэтому далеко не должны угонять... А что, если просто не хотят полного оправдания, дадут три года, применят амнистию, но чтоб жил не в Москве, не на идеологический работе... Буду заниматься всерьез медициной, писать... Если уж остался жив после такой войны, значит, выживу и в лагере. Или амнистированный завербуюсь в Заполярье, на Дальний Восток, там докажу...

Коридорные уже привыкли ко мне. Благодушный толстяк каждый раз, объявляя отбой, говорил:

– Давай спать, чтоб напоследок выспаться, а то дома жена спать не даст...

Но злой коротыш, который дежурил, когда я добивался книг, вывел меня на вечернюю оправку после всех и приказал:

– Мой туалет!

Я не стал возражать, полагая, что дошла очередь до моей камеры. Орудуя шваброй и ведром, я добрый час провозился в большой уборной – шесть очков, длинный бетонированный ровик – писсуар, четыре умывальника с восьмью кранами. Нужно было выгрести окурки из-за писсуара, смыть грязь с пола и со стен.

Но через два дня тот же дежурный опять вывел меня последним и опять "мой туалет!".

Я сказал:

– Не стану, я уже мыл два дня назад.

– Ну и что? Значит, умеешь. Мойте, потому что и теперь обратно очередь. Или вы офицер и ручки не хотите пачкать?

Он оскалился с такой злобой, что меня просквозило холодной безнадежностью: этому ничего не объяснишь, не убедишь и уж, конечно, не разжалобишь.

— Не буду мыть, не моя очередь. Не имеете права издеваться.

— Ну и сиди всю ночь в говне. Офицер!

Он захлопнул дверь.

Я стал стучать шваброй в железную дверь и кричать:

— Дежурного! Требую дежурного по тюрьме. Прекратите издевательство!

Через несколько минут он открыл глазок и сказал торжествующе медленно:

— Был отбой. Будешь стучать и шуметь, свяжем и тут же в сральне до утра валяться будешь. Хотишь так ночевать, офицер? Потом можешь жаловаться хоть в Верховный Суд...

Выбора не было. Ночевать в уборной, даже не связанным, в сыром зловонии, а потом жаловаться и чего добиться? Если мне поверят, ему сделают замечание. Но поверят ли? У меня свидетелей нет, а у него в соседнем коридоре найдутся приятели — охотники потешиться над "офицером". Я даже не стал ругаться, молча принялся убирать. Через час или полтора он пришел за мной. Я услышал, что идут двое, но он открыл дверь так, словно был один: я не мог видеть второго...

— Не халтурил? Все помыл?

— Можете проверить.

— Ведро и швабру ставь в угол.

Я шел молча, как положено, впереди него, сцепив руки за спиной. Но у открытых дверей камеры повернулся. Его партнер-свидетель уже не прятался, а стоял на площадке, курил. Я остановился на пороге и стал пристально глядеть на моего воспитателя, но так, чтобы взгляд был любопытным и даже жалостливым.

— Давай, давай, чего стал... Давай, проходите в камеру... Ну, чего глаза пялишь, чего не видел...

— Я вижу, что вы опасно больны.

— Кто больной? А вы что, доктор? Вы ж офицер!

— Можете посмотреть в моем деле. Я имею медицинскую подготовку и опыт. В лагере работал в больнице. И я вижу по вашим глазам, может быть, вы еще сами не знаете, но вы очень больны. Такой цвет лица, такие глаза бывают при язве, при раке желудка или печени...

Я говорил тихо, ласково.

— Ладно, ладно, тоже еще медицина. Давай спать. Отбой

был. Разговоры не положены.

В следующее его дежурство мне показалось, что днем, выпуская на прогулку, и вечером, принеся передачу, он был словно даже приветлив. Я ждал медицинских вопросов и начал подумывать, не потребовать ли гонорар за консультацию, чтобы он пустил ко мне Тоню... Поэтому и не торопился на вечернюю оправку и опять оказался последним. И он победно ухмыльнулся:

– Давай, доктор, мойте туалет!

Я злился на собственную глупость, оказался таким дураком. А его ненавидел. Возвращаясь в камеру, я успел сказать елейным тоном:

– А все-таки мне очень жаль вас, гражданин начальник. Очень трудно вы умирать будете, в страшных муках...

У него глаза стали щелками;

– Не разговаривать!

И, уже закрыв дверь, яростно клацая ключами, хрипло шептал с той стороны:

– Сам подохнешь раньше... твою бога мать... Подохни ты сегодня, а я завтра.

В следующее его дежурство я уже был на чеку и вечером отказался выходить на оправку.

– Не надо, потерплю до утра.

Приятно было видеть его на мгновение растерянным – этот простейший ход не был предусмотрен, а заставить меня выйти из камеры он не мог.

В новогоднюю ночь я поздравил Тоню. Мы к тому времени уже вполне подружились. Но я все-таки стеснялся в выражениях, она же, растроенная тем, что Новый год встречает в тюрьме, сказала:

– Эх, оттолкнуться бы, а? Как у тебя, маячит? Может, попросим вертуха? Дай ему на лапу там вантажей каких, а я скажу, что голова болит, в грудях тоска. И пульнусь к тебе. Оттолкнемся хоть разок для Нового года.

Я долго осторожно стучал, пока услышал коридорный – благо то был не мой враг – угодливо поздравил его с Новым годом и стал объяснять, что у меня через две камеры невеста. Если б можно было на полчаса. Никто ж не узнает... А я ничего

не пожалею... вот свитер... чистая шерсть. Новые американские носки...

Он отмахнулся, не сердито, но решительно.

– Да что вы охреновели?! Это чтобы я на ваше место Да не на ваше, а похуже. – Нет, нет и не думайте. –Это вам легче луну с неба... Тут же Бутырка! Понимаете, Бутырка?! Тут во всех стенах ухи, а во всех дверях и потолках глаза... Нет, нет, лягайте и спите и скажите спасибо, что я ничего не слышу, как вы с той невестой по трубе разговоры разговариваете... За это же и вам и ей карцер положено. – И невеста она такая, как я жених. Вам вот на волю, может, сегодня-завтра, а это же парститутка и вся гнилая...

На Новый год принесли необычайно роскошную передачу – жареную курятину, сладкие пироги, шоколод, сигареты. Обилие лакомств огорчило, – видимо, они там уже знают, что мне еще долго сидеть и хотят подсластить горькую новость, которую я скоро должен буду узнать.

Я приказал себе быть готовым. Первую ночь в новом году спал уже не просыпаясь. И вторую тоже. Удвоил число движений зарядки, подолгу боксировал с тенью, истово колотил по железной раме койки ребрами напряженных ладоней, чтобы затвердели, если придется драться на пересылках. Вечером ходил и ходил, стараясь устать по-настоящему. И уже не складывал на ночь все вещи в мешок, чтобы не возиться, если вызовут. Я запретил себе надеяться и ждать...

Но в ночь с 3-го на 4-е января, едва только защелкал ключ, я мгновенно проснулся. В двери – широкое лицо. Незнакомый смотритель подмигнул, и, как-то весело махнув головой в сторону, сказал негромко "А ну, давай..."

В несколько мгновений я был готов, хотя все еще не позволял себе надеяться, – только что не вслух твердил: "Переводят в другую камеру... за ОСО... переводят в другой корпус"...

Но дверь осталась незапертой. Это было необычно. Я осторожно приоткрыл ее.

– Готов? Ну, пошли... Иди, не оглядывайся, чтоб тюрьма не снилась!

Неужели он мог бы так пошутить, этот славный, добрый, веселый человек, если бы просто переводил в другую камеру?

Мы прошли в соседний коридор, там уже стояли несколько человек с мешками, лицами к стене, руки назад. Меня проз-

нобило, – так собирают на этап.

– Становись сюда.

Я оказался во втором ряду один. Передо мной затылки. Шепотом, сдавленно:

– Куда этап, мужики, не знаете?

– Не разговаривать, а то обратно пойдешь!

Окрик обычный, но угроза не обычная.

Один из стоявших впереди хихикнул:

– Этап на станцию Березай, кому надо – вылезай.

Привели еще нескольких. Молодой парень громко спросил:

– Это, значит, все, кто срока отзвонили?

Потом опять был бокс на "вокзале". Но я не запомнил никого из тех, кто в ту ночь освобождался, ни одного лица, ни одной судьбы.

Меня вызвали, и я отвечал, стараясь, чтоб не слишком громко, не так явственно ликующе:

– Оправдан... Родился в Киеве... Семья в Москве, по адресу...

Мне принесли ремень, ботиночные шнурки, деньги, карандаши.

Опять играл "на пианино": сверяли оттиски пальцев. Но теперь дали мыло и щетку – отмыть руки; на волю надо чистым.

Сонный подполковник в канцелярии выдал справку об освобождении.

– Жалоб нет? Распишитесь, вот в неразглашении режима. Понятно? Никому, чтоб не говорить про тюрьму, про следствие, ни жене, ни мамаше... Подписку даете, значит, в случае нарушения, – ответственность по всей строгости... А вот пропуск на выход.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь торжественное, значительное и услышать такой же ответ. Но я ничего не придумал, только встав, лихо щелкнул каблуками и этак, ухарски бодро сказал:

– Желаю счастливого Нового года, *товарищ* подполковник!

Он посмотрел удивленно, но улыбнулся:

– Взаимно...

Потом с мешком я вышел из больших темных дверей на

заснеженный двор. Дежурный сказал:

– Предъявите пропуск на проходной. Иди, не оглядывайся.

– Всего хорошего. Прощайте.

Через двор меня повел угрюмый смотритель, зябнувший в черной шинели. В проходной сидели розовомордые в тулупах. Опять вопросы: имя, отчество, год рождения, место рождения, адрес жены... Какой-то шутник напоследок спросил:

– А, может, еще побудешь? А то там холодно и еще темно... Может, посидишь в тепле?..

Все загоготали, и я смеялся. Пожелал им счастливого Нового года. Опять услышал: "Иди, не оглядывайся". И вышел за ворота.

Было 6 утра. Широкую пустую улицу продувал морозный колючий ветер. Летела снежная пыль.

Дома стояли темные, но кое-где уже вспыхивали розовые желтые окна.

Катили редкие грузовики.

Я шел не спеша, знал, что до дома, где жила Леля, недалеко, нельзя же в такую рань.

На стенах белели плакаты –предстояли выборы, – я прочел биографию кандидата, помню только, что сразу поверил: прекрасный человек...

Появились первые прохожие. Было очень холодно. Я шел по московской улице. Шел, куда хотел. Мог дойти до метро, мог повернуть, мог идти прямо.

Скоро – теперь уже через час-два – я приду домой, увижу всех.

О чем я думал тогда? Не знаю. Наверное, и тогда не мог бы толком сказать, о чем думал... Когда уже можно идти к Леле?.. где ждать? Зайти ли в подъезд или почитать афиши и вчерашнюю газету на стене... Я успел только телеграммы просмотреть.

Мерзли ноги, поддувало под бушлат. – Поскользнулся, чуть не упал и вдруг испугался до ужаса – ведь мог здорово расшибиться, сломать ногу или руку. То-то было бы начало свободы. – Пошел еще медленней, ступал осторожно. Читал афиши. Курил, промерз. Считал загоравшиеся окна. Опять прочел биографию кандидата...

И был счастлив. На мгновение даже понял это – я счастлив.

Тридцать четвертая глава

ИНТЕРМЕДИЯ

По тускло освещенной лестнице, – на улице было еще темно, я взбирался, промерзший и счастливый, с трудом подавляя нетерпение, медлил, прислушивался; в квартирах было тихо, там еще спали; останавливался на площадках, курил, снова и снова повторял себе: а ведь это воля, вот она воля...

Почему же я спокоен и ничего особенного не ощущаю? Ведь вот оно, то самое мгновение, о котором столько мечтал, в стольких снах видел, верил и не верил, отчаивался и надеялся. И вот серая лестница; желтые грязные стены; пахнет кошачьим дерьмом; – откуда-то радио; – звонит будильник...

Сейчас я постучу, войду, и за мной не запрут дверь, не будет поверки, не будет "руки назад!", решеток, намордников; не будет застойной духоты, – унылой смеси из кислого пара баланды, парашной вони, терпких запахов прожарки и густого дыхания махорки, при котором дымы всех табаков пресны или плесневело слащавы. Не будет столыпинских вагонов, "боксов", не будет конвоиров и вертухаев, ни добродушных, ни злобных...

До Бутырок пятнадцать минут – тысячи полторы шагов, а ведь там – другая планета, тот свет... А здесь воля...

Хлопнула дверь. Женский голос. Еще входя в дом, я решил, что позвоню Леле лишь после того, как хотя бы из одной квартиры выйдут. Часов у меня не было. Прикидывал: скоро уже семь. Не рано ли еще? Вот она, дверь: "Е.Арлюк". Кажется, там шаги, скрип дверей. – Жду. – Голоса. – Музыка. – Радио. – Зарядка. – Звоню.

Леля в халате. Она будто не изменилась. Близорукая пристальность доброго взгляда и нарочитая ироничность, чтоб никаких сантиментов.

–Ага, заявились, наконец! А мне уже надоело ждать.

Обнимаю ее и внезапно ощущаю: под халатом только сорочка. И запах мягкий, еще сонный. И кожа белая, ласковая. На миг словно глотнул стакан водки. Жаркое напряжение всего тела. Едва слышу, что она говорит. Сам лопочу, какую-то

чепуху, спохватываюсь, спрашиваю о сыне. Худой заспанный мальчик выглядывает из-за шкафа.

Леля командует.

– Немедленно в ванную! На вас же смотреть страшно и противно! Невообразимое чучело. В ванне переоденетесь. Вот ваше барахло, ждет вас уже месяц.

Я многословно объясняю, что совсем недавно был в бане, что у нас там гиигена, прожарки, – вшей, ни-ни и быть не может...

В ванной зеркало. А еще лез целоваться, болван. Нелепые усища, черная щетина закрывает лицо, глаза растерянные и воспаленные, покрасневшие, – перекурился натощак.

Надеваю костюм, трикотажную рубашку с галстуком. Выхожу, знакомлюсь с Лелиной работницей, пью горячий и душистый чай в тонком стакане... Все время порываюсь к телефону, Леля разрешает позвонить только после чаю.

– Придите хоть немного в себя и не мчитесь сразу же домой. Ведь нельзя, чтобы Майка и Лена увидели своего папочку таким чучелом. Совершенный бандит, махновец. Сколько они вас не видели? – Три года, Леночке тогда было четыре, она, вероятно, вообще ничего не помнит. Да и Майка не очень. Ваша мама и Надя могут потерпеть еще полчаса. Парикмахерская открывается в восемь. Сначала побрейтесь, потом езжайте.

Звоню домой. Слышу восторженные, ликующие голоса. Мама, конечно, плачет.

Леля укладывает мое тюремное имущество в чемодан.

– Вот, не забудьте конфеты. Вы должны привезти дочкам гостинец. Вы же приехали из командировки.

Серое пальто. Его я взял с собой, уезжая в августе 41 года в Кубинку, там сменил на шинель. Старшина в каптерке велел уложить "вольные вещички" в мешок, надписать адрес семьи. Тогда это казалось нелепо наивным. Немцы уже в Смоленске, ночью опять бомбили Москву. И вдруг "вещички"... А какой адрес? Надя с девочками и с мамой еще в июле уехали за Пензу. За два дня до моего отъезда бомба угодила в почту на Ордынке, и в нашем доме вышибло окна, кое-где даже вырвало запертые двери. Сколько наш дом еще простоит? Но приказ есть приказ. На ненужном мешке надписал ненужный адрес. И оказалось, что его все же доставили через два года. Уже после того, как мама и Надя вернулись в Москву из Казани, куда их

занесло эвакуацией, и где они почти все вещи променяли на хлеб, на молоко, на лук.

Это пальто было очень щегольским в 1940 году, впервые не купленное, а пошитое и впервые из "заграничного" сукна: мама купила отрез, доставленный из Львова или Белостока; ткань поразила ее и всех нас: очень плотная, с одной стороны в черно-серую елочку, а с другой в клетку и, по меньшей мере, четырех разных оттенков черно-серого.

Надев это мирное пальто, я вышел на утреннюю улицу, уже многолюдную, шумную. В парикмахерской опять зеркало — из мыльной пены постепенно возникал некто, смутно знакомый, тощий, растерянно ухмыляющийся.

И вот все та же, заставленная шкафами комната, веселые голоса девочек, Майка выросла, говорливая, ласковая; черные косички, а Ленка похожа на японку, сдержанная, словно рассеянная. Мама очень похудела и постарела — на улице я не узнал бы ее. И Надя похудела, сутулится, старается быть безмятежно веселой, но вижу, что ей очень трудно и с мамой и с девочками. Это и Леля успела мне сказать.

— Вы не думайте, что только вам было плохо... Я понимаю, вам было очень, очень плохо. Но вы должны помнить: Надя — подвижница, и героиня, и страдалица. Ей с вашей мамой и с вашими девочками бывало, ей-Богу, часто не лучше, чем вам. Она сверхчеловечески терпелива, я бы на ее месте не выдержала и одного дня...

Отец неизменен; он убежден, что все прекрасно, а будет еще лучше; передает приветы от родни, рассказывает необычайно подробно, как меня ждали, что было вчера, позавчера, кто, что сказал...

Еще до меня пришел Миша Аршанский, он поседел, посуровел, но стал настоящим красавцем — очень эффектен в кителе с золотыми погонами.

В первый же час приехал еще один старый приятель Борис Сучков. Он изменился по-другому — розовый, гладкий, наодеколоненный, нарядный, шуба на меху с пышным воротником. И говорил как-то необычно, словно бы невольно покровительственно.

— Ну, теперь за тебя надо взяться, запрячь в работу... Отдыхай не слишком долго, не запивай...

Он рассказал о планах своего издательства Иностранной

литературы: — его недавно назначили директором.

— Будем издавать сотни, тысячи книг. Необходимо наверстать все, что упустили за войну... Мы, разумеется, должны быть первыми в мире во всех областях культуры.

Невзначай, между прочим, как о самом обычном: — Позавчера, когда я докладывал Маленкову... Об этом мне звонил Александров, сказал, что лично товарищ Сталин интересовался. Тогда я обратился к Ворошилову, он, ведь, свой, простецкий...

Больше месяца я жил в суматохе: встречи, попойки. В промежутках обсуждал проекты, где работать. Белкин и Александр Аникст настаивали : иди преподавать. Николай Николаевич Вильмонт звал в журнал ”Советская литература на иностранных языках”. Звонили из Института международных отношений, предложили читать курс немецкой литературы на немецком языке.

Михал Михалыч Морозов, похудевший и обрюзгший, но все такой же рассеянно патетичный, убеждал возвращаться в Театральное общество в кабинет Шекспира. — Будете как до войны моим комиссаром.

В очереди к троллейбусу меня встретил Роман Самарин, обнял, растроганно пришепетывая:

— Я все знаю про вас, я так рад вас видеть. — Записал тефон. — Обязательно нужно встретиться, я столько хочу услышать от вас.

Исаак Маркович Нусинов расспрашивал о лагере, особенно о тех, кто сидел с 37 года. Он потемнел, ссохся, эспаньолка совсем поседела. Но говорил так же категорично, как раньше. Он рассказывал,что нарастает антисемитизм, теперь уже и в партийным аппарате, даже в ЦК.

— Недавно вызвал меня этакий самоуверенный, молодой, но уже раскормленный чиновник, стал объяснять, что нужно ограничить количество евреев в идеологических кадрах, что этого требует ленинско-сталинская национальная политика и я как старый член партии должен это понять. Я ему сказал, что я, правда, больше тридцати лет в партии, но уже шестьдесят лет еврей и одно другому совсем не мешало.

Профессор Яков Михайлович М.,тоже похудевший и постаревший, был тревожно раздражителен, жаловался на склоки в

университете, на шкурников, приспособленцев, и тоже на антисемитизм. Он показал мне большую папку. Брошюра – составленная им программа по зарубежной литературе. Статья аспирантки Демешкан, которая врала с явно антисемитской целеустремленностью, будто в этой программе непомерно много места уделено таким писателям, как Гейне, Цвейг, Фейхтвангер, тогда как в действительности они только упоминались в обзорных разделах. Две студентки написали заявление о том, что Демешкан убеждала их в необходимости бороться против „засилия евреев" в университете и вообще в литературе.

Все это, – я объяснял и ему, и себе, – суть последствия нескольких объективных причин: ведь к нам присоединены еще недавно буржуазные западные области Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, – оттуда родом была Демешкан, – к тому же и у нас в первые годы войны, пока гитлеровцы побеждали, фашистская пропаганда находила почву:–сорняки живучи.

Впервые об антисемитизме у нас я услышал в начале 1942 года в латышской дивизии; а летом 42-го года, когда я на несколько дней приехал в Москву и зашел к Белкину в "Историю Отечественной войны", И.Минц (будущий академик) рассказал, как в университете уговаривали отказаться от заведывания кафедрой старого беспартийного профессора-еврея, а он, Минц, написал в ЦК об этом и еще о нескольких подобных фактах, имевших место в Наркомздраве, и лично товарищ Сталин наложил резолюцию "антисемитизм – это признак фашизма". Раболепный и трусливый приспособленец Минц, тогда показался мне добродушным, даже несколько наивным ученым из тех старых большевиков, которые при любых обстоятельствах умеют видеть и "хватать главное звено", не ведают сомнений и, вопреки всем личным бедам, непоколебимо верят в партию, в торжество ее идей.

Он объяснял, и я был согласен с ним и сам так же думал, что все закономерно: война вызвала новое обострение классовых и национальных противоречий, которые осложнялись необходимостью национальной, и, притом именно великодержавной патриотической пропаганды, – необходимостью и тактической

и стратегической. Это нужно было понять, отчетливо понять и, разумеется, противоборствовать неизбежным перегибам, крайностям.

Так же думал я и пять, и десять лет спустя. А невеселые рассказы Нусинова и М. казались мне брюзжанием усталых, несправедливо обиженных, но от своих бед поневоле субъективистски настроенных стариков. Ведь М. ругал даже Сучкова: тот по поручению ЦК разбирал его жалобу на Демешкан, в разговоре с ним возмущался грязным доносом, отлично все знал и понимал, но заключение написал и "нашим и вашим", а потом опубликовал статью в "Культуре и жизни", повторяя те же абсолютно лживые обвинения. Это было и погано и непонятно: я знал Бориса, верил, что он честен, разумен и смел. Он писал Руденко, защищая меня. Правда, я заметил в нем новые повадки, эдакую сановитость, барственность, нарочитую многозначительность. Однако, М. и раньше бывал подозрителен; я помнил, как он ссорился с Грибом, с Пинским, может быть, он опять преувеличивает, а Борис, вероятно, знал что-то существенное, важное, чего ни М., ни я еще знать не могли...

Но все разговоры об антисемитизме и все литературные свары, как бы гадки и досаждающи они не были, не могли стать главными проблемами. Ширилась разруха – нищета, бескормица, голод по всей стране, – от Волги до Немана. Об этом я слышал и в лагере и в тюрьмах. Сколько городов в развалинах. И нельзя было забыть Крещатик, – ущелье в обвалах битого кирпича, – и опрятно подметенные руины Чернигова, пепелища Рославля, Гжатска, – сиротливые печи, торчавшие из груд обугленного мусора, в сотнях сожженных деревень.

Еще в лагере я читал о враждебности бывших союзников, о гнусной политике Трумэна; и теперь, хватая газеты, я прежде всего искал, что там о боях в Греции и в Индокитае, об этих чудовищных атомных бомбах; подтверждаются ли слухи, будто Гитлер жив и его прячут американцы.

А тут еще наш явный нажим на Турцию. Какие-то грузинские и армянские академики осенью 45-года опубликовали длинные письма, в которых, ссылаясь на историю царства Урарту, требовали "воссоединения" с турецкими землями, аннексии Босфора. Все это было отвратительно, едва ли лучше и никак не убедительнее, чем требования Муссолини и нацистов. Доклад Жданова и постановление ЦК о ленинградских журна-

лах я прочел с чувством тошнотворного недоумения и обидного бессилия: – Зачем это нужно, так злобно, грубо? Кому могут быть опасны стихи Ахматовой, сатира Зощенко, пародии Хазина? Почему Гофман вдруг объявлен реакционером?.. Но ведь это решение ЦК и, значит, нельзя, нелепо возражать; не противопоставлять же себя партии из-за каких-то литературных несогласий, из-за разницы во вкусах. У нас во всем должно быть единое "за", единое "против", чтоб ни щелочки, ни задоринки...

Вероятно, именно ради этого, ради непроницаемой монолитности и нужно отсекать все, что непохоже, выбивается из единства, топорщится... Если командир полка, геройский, талантливый полководец заставляет солдат ходить строем и в баню, и в сортир, и требует, чтобы они пели глупые или похабные песни, нелепо из-за этого начинать спор, пререканья, которые могли бы возбудить к нему недоверие или вызвать его гнев. И то, и другое опасно для главного дела, для боя, для подготовки к бою...

Еще хмельной от долгожданной свободы, от надежд и замыслов, я все же не стал ни слепо-глухим верноподданным, ни расчетливым, циничным приспособленцем. И, хотя иногда я и впрямь не мог, а иногда и нарочно не хотел, не пытался увидеть, услышать и последовательно осмыслить все, что происходило вокруг, однако я не мог забыть и того, что узнал в тюрьмах, не мог и не хотел забывать людей, оставшихся там, отмахнуться, отречься от них. Я старательно выполнял все поручения: – зашел к жене профессора Виноградова, звонил и заходил к родственникам других сокамерников, через Красный Крест разыскал мать и дочь Эдит, оставшейся в Унжлаге. Зашел и к матери Тони: мрачная старуха, с узким, поджатым ртом, жила в грязном старом доме в глубине старого захламленного двора. Она выслушала меня угрюмо недоверчиво, ни о чем не спросила.

– Ладно, ладно, сама знаю дядю Васю. Так и побежит он за ее платить... Ладно, пошлю ей луку, пошлю...

Ни она, ни я не настаивали на новой встрече. Зато муж одной из унжлаговских медсестер, певец из хора Свешникова, навещал меня несколько раз; мы вместе составили прошение. Он не хотел писать жалобы, а только прошение о милосердии, о великодушии.

Так я, словно бы, откупался от тех, с кем еще недавно, — хотя уже казалось целую жизнь тому назад, — лежал рядом на тюремных нарах, задыхался в "столыпинских"вагонах. Пытаясь помочь то одному, то другому, я давал себе отпущение. Зная, что голодают миллионы, я совал несколько сухарей ближайшим ко мне; спешил мазнуть жидким бальзамом по одной из несчетного множества страшных язв. А сам гулял по Москве, слушал Моцарта в консерватории, заходил в ярко освещенные дома, веселился с друзьями, пил водку, обнимал милую женщину, читал книги по своему выбору, и опять шел куда хотел, и ел, и пил, и слушал музыку...

Утром я открывал газету и читал о моей социалистической родине, самой свободной в мире стране, читал о восстаниях в Африке, о безработице в Англии и в США, а вечером рассказывал друзьям о тюремных встречах и вспоминал войну. И слушал их рассказы. Демонтаж в Германии шел хищнически бесплодно — снимали оборудование целых заводов, вырывали с корнями великолепные механизмы, а здесь их сваливали, корежили, превращали в ржавый лом. На Украине начинался голод. Неужели опять как в 33-м году? В Москве, в Ленинграде, во всех городах участились грабежи, шла бесстыдная спекуляция, продавали и покупали немецкое барахло, трофейное оружие, ордена, партбилеты... В Киеве была попытка погрома. Демобилизованный летчик хотел вернуться в свою квартиру, захваченную какими-то преуспевающими обывателями. Ему стали орать: "Жид! Где ордена купил?" и набросились бить чем попало. Он выстрелил, убил одного... Похороны превратились в черносотенную демонстрацию... В Прибалтике орудовали банды, на Западной Украине бендеровцы хозяйничали в целых округах. Американцы и англичане снабжали их оружием, забрасывали диверсантов. В Польше еще хуже... И опять, и опять говорили об атомной бомбе.

Радость от свободы, от сытости, от всех удовольствий и наслаждений, мысли о книгах, которые буду писать, о поездках в другие города, в другие страны, ожидание все новых радостей не могли подавить тревог и сомнений.

Но каждый раз привычное сознание почти автоматически включало испытанные утешные заклятия о "летящих щепках", "дурных средствах для доброй цели", о "пути прогресса, который не похож на Невский проспект", о законах диалектики, о

”варварских средствах преодоления варварства” и т.д.

И главное, хотелось верить, что все еще будет хорошо, обязательно будет хорошо. Ведь такую войну выдюжили вопреки всему, ведь Сталин, конечно же, гений, и если даже ошибался в частностях, то в главном прозорлив и мудр; он осилил Гитлера, осилит и всех новых, куда менее страшных противников; ведь теперь наши границы пролегли на Эльбе, а в Китае уже начали продвигаться Красные армии. Я верил, потому, что не мог не верить и потому, что хотел. Я хотел верить и надеяться, и радовался тем событиям, которые помогали моей вере и моим надеждам.

В один из первых дней я встретил молодую приятельницу — она похорошела и повзрослела, но все же не очень ”одамилась”. А ее муж, бывший полковник, воевавший на Ленинградском фронте, а теперь заместитель министра, показался отличным парнем — спокойным, приветливым, вполне ”свойским”. Мы с ним пили водку, я рассказывал о лагере, а он о недавней поездке в Восточную Пруссию. Он там жучил директора совхоза, который издевательски эксплуатировал немцев-рабочих, превратил их в бесправных, безропотных батраков, — мол, ”так они привыкли и вообще: кто кого победил”. Пришлось ему объяснять, что об этом говорил Ленин, что говорил и говорит Сталин, что такое классовая борьба и международная пролетарская солидарность. Директор краснел, потел, но кажется , понял. Обещал и выходные дни и сверхурочные и красный уголок.

И сам этот замминистра и его рассуждения мне очень понравились. Это был государственный человек нового типа — фронтовик, образованный коммунист, честный и здравомыслящий.

Однажды вечером, когда ко мне пришли несколько друзей, раздался телефонный звонок и нас всех пригласили на новоселье. Александр К., бывший студент ИФЛИ, ставший ответственным деятелем, получил квартиру в новом доме, построенном военнопленными на Хорошевском шоссе. Это было первое настоящее новоселье в моей жизни. За шесть лет, которые я прожил в Москве до войны, никто из моих родных, друзей, знакомых не въезжал в новые дома.

Квартира К. показалась огромной еще и потому, что была

пустой. Помню только одну большую тахту, застланную широким ковром. Гостей было немного и пили немного. Разговаривали весело, дружески.

Кто-то рассказывал, как обсуждали книгу Александрова по истории философии: критика была резкой, но не в пример прошлым временам, серьезной, товарищеской, без разгромных, политических уничтожающих оценок и без оргвыводов.

Сотрудница ВОКС'а рассказала, что Хьюлетт Джонсон побывавший в СССР, ехал в поезде в Киев и заметил, что переводчик всячески старался отвлечь его, чтобы он не увидел на станциях толпы оборванных крестьян и крестьянок, пытавшихся штурмовать вагоны. Джонсон сказал смущенному парню: "Я вас понимаю, но вы напрасно опасаетесь за меня. Не думайте, что это печальное зрелище может дурно повлиять на мое отношение к вашей стране. Совсем напротив, видя это, я проникаюсь еще большим уважением, еще большей симпатией к вашему великому народу, к вашему великому государству. Видя это, я еще лучше понимаю, какие страдания, какие беды вы преодолели. Поражает не то, что у вас еще есть такая нищета, а то, что несмотря на нее, вы так воевали и так строили..."

Другой иностранец говорил, что, конечно, русские рабочие и крестьяне одеты хуже, чем американцы, и питаются менее разнообразно, но зато нигде в мире не бывает такого как здесь, когда новая постановка в Большом театре или в Художественном или публикация новой поэмы волнует, как личное дело и рабочих и членов правительства. В этом социализм проявляется раньше, чем в кастрюлях и платяных шкафах...

Домой мы ехали в машине заместителя министра и мне понравилось, как он говорил с шофером: деловито, и по-товарищески. А его жена очень возбужденно рассказывала: накануне она встретила Эйзенштейна, – после того, что он был у Сталина, показывал ему вторую часть фильма "Иван Грозный". Сталин сделал много очень серьезных дельных замечаний, а потом в непринужденном разговоре сказал: "перед нами сейчас три задачи: во-первых, поднять культурный уровень всех народов СССР до уровня самых передовых слоев великорусского народа, во-вторых, преодолеть возрождение национализма, которое наблюдается у всех народов страны, и в-третьих, преодолеть в человеке зверя, разбуженного войной..." И еще он говорил, что надо перестать пугать друг друга капиталистическим

окружением; „теперь пусть капиталисты боятся социалистического окружения".

Этот вечер я часто вспоминал в последующие годы. И когда в тюрьме на шарашке спорил с Паниным, Солженицыным и другими товарищами, друзьями, но вместе с тем "идейными противниками", то среди самых весомых моих аргументов были ссылки на рассказы Эйзенштейна о Сталине, на Хьюлетта Джонсона и свойского замминистра.

Шли дни, недели, а я не уставал радоваться свободе, все новым встречам с хорошими людьми, с друзьями и подругами.

В июле 41 года я внезапно влюбился в девушку, с которой мы вместе дежурили в одну из первых бомбежек Москвы. Она писала мне на фронт чудесные письма. Но прошло немного времени и я уже на фронте был влюблен в другую, влюблен безоглядно и обреченно. Другая была так умна, что видела все мои недостатки и слабости, и не раз очень зло говорила о них, и наедине и при любых свидетелях. От этого я огорчался, мучился, но старался подавлять в себе изобличаемые грехи. Она и сама иногда лгала и лицемерила, но потом, без видимой нужды, вдруг признавалась, каялась и страстно доказывала отвратительность лжи и лицемерия. Пожалуй, именно благодаря ей я избавился от сохранявшейся с детства склонности врать, фантазировать, преувеличивать – и целесообразно и вовсе бескорыстно. Она была себялюбива откровенно до цинизма. Однажды, когда я уезжал на передовую, она сказала: "Береги себя, пожалуйста; помни, что я тебя очень люблю, я буду все время думать о тебе, но знай, если тебя покалечит – оторвет руку или ногу, или изуродует, – не зови меня и не жди. Этого я не могу перенести и не могу притворяться... Ведь у нас с тобой должна быть правда, только правда, во всем..."

Тогда я разозлился. "Зачем ты говоришь такое, да еще на прощанье, это не правда, а бессмысленная жестокость..." Но потом простил и это, и любил ее, злую, лживую, неопрятную, чувственную. Порой ненавидел до исступления, но чаще любил, да так, что сам становился лучше и ради нее и на зло ей; понимал это и поэтому любил ее еще больше. Она без спроса читала мои письма. И когда летом 42 года я впервые поехал в Москву, потребовала, чтобы я сказал "той девочке" всю правду, чтоб не

вздумал сентиментальничать. Она отлично знала, что я не изменю ей, что "та девочка"хотя и в Москве, но не дома, а в казарме.

Подруга встретила меня таким счастливым и нежным взглядом, так порывисто обняла, что я не сразу решился объясниться. Мы несколько часов бродили по Москве, а потом я всучил ей дурацкое письмо, – болтливые рассуждения о благодарности, уважении и необходимости правды. Она посмотрела печально и удивленно.

– Я уже начала догадываться. Но зачем ты спешил, ведь мы все равно врозь... Хоть на время осталась бы иллюзия. Мне было бы легче, а ей от этого не хуже... А так ведь только жестоко...

В тот счастливый январь 47 года я встретил ее случайно, и она опять была доброй, любящей и все простила; вернула мне дурацкое письмо; я порвал его, и нам было очень хорошо вдвоем, и мы не думали, как будет дальше. Она знала, что я не уйду от Нади, от девочек, и я знал, что она никогда не попросит, не потребует этого...

А та, другая, была опять замужем, –от первого мужа она уходила ко мне, – не хотела меня видеть. Некоторым знакомым она раньше говорила: он сам виноват в том, что посадили, наболтал такого, что иначе и не могло быть...

Когда мне рассказали об этом, я вспомнил зловеще-туманные слова следователя о том, что в моем деле есть "особый пакет" который мне никогда не покажут, и что в нем есть такие изобличающие показания, о которых я и подозревать не могу... Один раз он внезапно спросил: – а помните, как вы говорили, что, конечно, не верите, будто Троцкий и Бухарин получали деньги из кассы гестапо, хотя, вроде и считаете правильным, что их ликвидировали?

Я отвечал решительно: это ложь, я этого никогда не говорил, кто это так врет?

Он еще раз переспросил меня: – а разве вы так не думали? Ну, признайтесь честно, вы же называете себя честным коммунистом. Вы же знаете, что с партией нужно быть искренним до конца.

Тогда, глядя ему в переносицу, я, не мигнув, соврал:

– Нет, нет и нет...

Хотя знал, что это были мои слова, и я мог сказать их

только очень близкому человеку. Мог сказать Нине Михайловне в пору наибольшей близости, или той – другой... Но Нина была свидетелем обвинения, следователь с ней не церемонился, на очной ставке даже приписал ей показания против меня. Почему бы именно эти сведения он стал откладывать в особый пакет?

После допроса, когда говорилось об "особом пакете", я вспомнил, как та, другая рассказывала, что в 1937-38 годах ей пришлось давать показания против своих институтских подруг.

– Меня запутали, вынудили.

Она говорила общими и туманными словами,– "страшно стыдно вспоминать... я тогда не могла иначе... я верила, что это необходимо, я очень боялась... меня ведь исключили из комсомола, потом восстановили... это было так страшно, так жутко... Не хочу вспоминать. Потом я сразу все кончила. Муж сказал: "ты просто не ходи к ним больше. А если позовут, скажешь – больна, психика подорвана"... Я так и сделала..."

А что, если она тогда не совсем покончила? Или ее потом опять нашли и "взяли на крючок"?

Когда мы ссорились, она не стеснялась никого, даже вовсе чужих, случайных людей и зло упрекала меня в легкомыслии, фанфаронстве, тщеславии. Беспощадно правдиво изобличала мои выдумки, – утешительные для кого-то или шутливые, – и все, что ей казалось выдумкой, преувеличением, либо "пустой трепатней". При этом она не кричала, не бранилась, только говорила громче обычного, и звеняще напряженный голос возникал где-то ниже гортани.

– Ты хочешь быть хорошим для всех и всем нравиться, чтоб о тебе говорили: "у него душа большая, такая широкая". – Твоя душа, – вагон, в который ты всех пускаешь и никого не хочешь выпускать, пусть едут до самого конца. А ведь это невозможно. В твоем вагоне всем тесно и неуютно, все равно из него выходят и будут выходить. А ты добренький от трусости, ты боишься, что кто-то обидится, боишься, что про тебя плохо подумают, плохо скажут. Ты не глуп, но и не слишком умен, и ты не умеешь отличать главное, важное от мелкого,

случайного, не видишь сути дела из-за поверхностных узоров... Поэтому ты всегда будешь неудачником... А я за тех, кому везет, я не терплю несчастненьких. Жалость — это унизительно, я не верю в нищих гениев и в доблестных страдальцев...

Что, если она с такой же злой искренностью пересказывала кому-то все то, о чем мы толковали с глазу на глаз, когда, урвав час-другой, уходили в густой ивняк над валдайским озером. Тогда она тоже, бывало, злилась:

— Я не нимфа, не влюбленная пейзанка, чтоб тешиться на траве-мураве, я хочу в чистую постель, и чтобы не прислушиваться, не оглядываться и никуда не спешить, и не думать: вдруг, хватится товарищ батальонный комиссар...

Иногда мы спорили. Она уверяла, что любит Сталина больше, чем Ленина, что Ленина слишком заслюнявили домашними воспоминаниями. Ей это не нужно, она не хочет знать, с кем спал Пушкин и что кушал на завтрак Лев Толстой — ей нужны стихи, книги, а не сплетни об авторах и она также не хочет знать, как Ленин слушал музыку, играл с детками у елочки и называл Крупскую "Надюшей"... Это все мещанская мишура, стеклярус, оскорбительный для алмазов. Сталин сказал о Ленине "горный орел". Наверное, кто-нибудь хихикал — как же так — лысый, картавый, книжный, кабинетный и вдруг — "горный орел". Но это и есть настоящая правда, орлиная, сталинская...

А я возражал, говорил, что Ленина люблю больше, именно люблю с детства, как-то органично, семейно. А Сталина раньше даже недолюбливал, потом очень уважал, но эмоциональную приязнь к нему почувствовал только в первые месяцы войны, а всего больше, когда услышал его голос 6 ноября из Москвы, тогда полюбил уже по-настоящему и простил ему былые грехи; а грехи ведь были и в 30-м и в 37-м.

Если она и это пересказывала, то могло набраться достаточно для "особого пакета"; я уже знал, как следователи умеют переставлять ударения, а то и вовсе наизнанку выворачивать слова.

Когда меня освободили, она не захотела увидеться. Это можно было объяснить и нежеланием бередить прошлое и ревностью мужа.

10 февраля был день рождения Белкина. Шумная, хмельная разноголосица множества гостей; Нина Петровна вальяжно приветлива. Боба с лукавой улыбкой усадил меня рядом с чернявым крепышом в морском кителе с серебряными полковничьими погонами.

– Это мой двоюродный брат Миша, познакомьтесь, вам будет любопытно друг с другом поговорить.

Миша оказался заместителем военного прокурора Балтфлота. Он подробно расспрашивал о моем деле, о людях в лагерях и в тюрьмах. Мы быстро перешли на "ты", он рассказывал, как помешал пришить дело невинному, как спас от расстрела несправедливо заподозренного в убийстве. Потом мы, хмельные, ехали вместе в метро. Мы с Надей выходили раньше; когда уже стали прощаться, он, крепко и дружелюбно пожимая руки, сказал:

– Я очень рад, что с тобой познакомился, очень рад за тебя, ты хороший парень, и Боба тебя очень любит... Но должен сказать: твое дело вели халтурщики... это я тебе искренне гово рю,будь я твоим прокурором,я бы такой халтуры не допустил... 58-ю нужно дожимать...

Я не сразу понял... За окнами вагона уже посветлело, мелькал розовый гранит. Неужели это он спьяну? Но Миша все так же приветливо улыбаясь, повторял:

– Я за тебя очень рад. Но у меня ты отхватил бы не меньше пяти лет. Нет. 58-ю нужно дожимать...

Я не успел ничего ответить, вдруг захотелось двинуть смаху кулаком, орануть по-лагерному... долбаный в рот, гнилую душу гад... Но Надя уже тянула к выходу. Он весело помахал на прощанье, и я промолчал.

В один из первых дней свободы я подал заявление в Парт-

комиссию Главпура, прося восстановить меня в кандидатах партии. Партследователь при первых встречах был дружелюбно любопытен, потом, когда я по телефону узнавал о дне заседания Парткомиссии, он отвечал все более холодно, едва ли не раздраженно и, наконец, потребовал, чтобы я представил полный текст оправдательного приговора.

Для получения денежной компенсации за необоснованное заключение и для того, чтобы демобилизоваться, достаточно было простой выписки из решения трибунала. Но, оказывается, нотариальные конторы не снимали копий с документов, исходящих из трибуналов. Нужно было просить копию непосредственно в трибунальской канцелярии.

В первый раз, когда я снова прошел по знакомому коридору, я испытывал неотвратимую тревогу. – Увидел: конвоиры вели под руки кого-то в темном бушлате и сразу представил себе, куда и откуда его вели, словно внезапно дохнул злой тюремной вони.

В кацелярии серьезные щеголеватые девицы и развязные люди в мундирах с серебряными погонами рассматривали меня как диковину; почти не стесняясь, одни уходили, приводили других.

– Этот? Ага, тот самый...

Так я получил выписку. А потом пришел за копией приговора для Парткомиссии. Опять было щемящее унизительное ощущение то ли страха, то ли тревоги. Опять приходили глазеть на меня штатские и мундирные. В канцелярии сказали, чтоб за копией пришел через несколько дней.

Но уже на следующий день меня вызвали на заседание Парткомиссии. В старом доме на Знаменке (ул.Фрунзе), где некогда было юнкерское училище, потом Реввоенсовет и, наконец, Главпур, белые колонны, красные ковровые дорожки. За длинным столом сидели поблескивающие погонами, пуговицами, шитьем и орденскими колодками полковники, подполковники, какие-то морские чины, кажется, и генералы. Меня посадили у торца. Докладывал партследователь. Нудным, бесцветным голосом, он читал по бумажке, словно бы написанной Забаштанским. А потом мне задавали вопросы – и вопросы были злобные, не нуждавшиеся в ответах:

– Так, как же вы могли заступаться за немецких фашистов, как вы могли забыть об их злодеяниях?

– Что же вы себе думали, когда вместо того, чтобы выполнять боевое задание на территории противника, вступали в пререкание с командованием, мешали солдатам и офицерам?

– Ваша боевая задача была – разлагать войска противника, так? А вы, значит, разлагали свои советские войска? И после этого еще посягаете, чтоб вам вернуть партбилет, а еще, может, и наградить?

Моих возражений никто не слушал. Когда я отвечал, они переговаривались между собою, листали бумаги, курили. Когда я сказал о решении трибунала, кто-то крикнул:

– Трибунал освободил вас от уголовной ответственности, это еще не означает рекомендации в партию... Где этот приговор, почему его нет в деле? Ага, не представил!

Моя голова была словно наполнена кипятком до самой макушки, в глазах, в ушах пульсировал жар. Я пытался говорить о фактах, о том, как изобличили клеветников, почему им удалось тогда обмануть партсобрание и почему я недостаточно спорил.

– Он еще называет клеветниками честных коммунистов, которые с ним возились. Какая наглость!

– Как же так получается? Вы осмелились выступать против решения ГКО, против решения советского правительства и Верховного командования и теперь имеете, так сказать, смелость требовать, чтобы вам вернули партбилет?

Я сказал, что это клевета, что в партийном деле есть материалы, убедительно опровергающие эту клевету, – заявление майора Гольдштейна, который присутствовал при разговоре, когда по лживому доносу Забаштанского...

– Ну, конечно, Гольдштейн за него заступается... – сказал как бы в сторону, но достаточно внятно широкоскулый белобрысый полковник. – Гольдштейну мы, значит, должны верить, а боевого русского офицера признать клеветником...

– Как вам не стыдно, Гольдштейн такой же советский офицер и никак не менее боевой... Я не ожидал здесь услышать такие речи...

Председательствующий застучал карандашом, – издали я не видел его лица, слышал, только сытый самодовольный голос:

– Призываю вас к порядку! Вы собираетесь поучать Парткомиссию Главного политического управления Вооруженных

сил? Вы там немцам лекции читали, а теперь собираетесь нам тут читать лекции по гуманизьму...

Вокруг засмеялись, захихикали, захохотали...

— А я так думаю, мы в ваших лекциях не нуждаемся. Что вы еще можете добавить? Но, чтобы по существу, только по существу, только конкретно...

Я пытался повторить свое последнее слово подсудимого, — сокращенно. Я слышал, как говорю чужим сдавленным голосом, но на несколько минут я все же заставил их слушать. Стало тихо; больше не прерывали. Кончил я патетически, — мол, я никогда не боялся признаваться в своих ошибках или провинностях, но в этом деле нет на мне вины ни в словах, ни в мыслях, — я жил, живу и до последнего часа буду жить для партии Ленина-Сталина...

Председательствующий сказал:

— Вы можете быть свободны, решение Парткомиссии узнаете завтра у товарища такого-то (партследователя).

На следующий день я услышал по телефону казенно неприязненный голос:

— Окончательное решение Парткомисия отложила до получения полного текста решения военного трибунала по вашему делу.

20-го февраля, ровно через полтора месяца после первого дня свободы, я опять пришел в трибунал. Тот же коридор, та же канцелярия, те же штатские и военные канцеляристы, но что-то неуловимо изменилось вокруг. На меня смотрели с любопытством, но иным, настороженным или неприязненным.

Хмуро вежливый капитан завел меня в боковую комнату.

— Посидите здесь несколько минут...

И я сразу же явственно представил: вот сейчас войдут с ордером. Что у меня с собой? Рублей 30, не больше, и папирос не полная пачка... За одно мгновение я стал опять арестантом... Опять перехватило глотку отчаяние... И опять начал приказывать себе: не распускаться, хуже не будет, чем уже было.

— Решение трибунала по вашему делу отменено по протесту Главного военного прокурора как недостаточно обоснованное. Военная коллегия постановила передать на новое рассмотрение со стадии судебного следствия в новом составе трибунала.

– Что это значит? Я опять арестован?

– Нет. Решения о мерах пресечения не принималось. Но вы должны дать подписку о невыезде.

Ощущение такое, словно нырнул, было, глубоко в омут и опять вынырнул... Вокруг свет, звонкость, простор...

– А когда будет новое слушание?

– Пока неизвестно. Вероятно, скоро.

Ухожу, и по дороге снова наваливается ужас. Это у них просто сейчас не было ордера, а потом придут. Может быть, еще сегодня.

Прихожу домой, задыхаясь от быстрого шага, от панически мечущихся мыслей. Маме стараюсь объяснить возможно осторожнее, чтобы не завопила, не напугала девочек: они уже вернулись из школы. И соседям не надо знать. Начинаю рыться в бумагах, в книгах, отбирать на уничтожение – немецкие трофейные газеты, журналы и книжки, сохранившиеся еще от моих приездов с фронта, издания двадцатых годов, книги "врагов народа" – Пильняка, Бабеля, Бруно Ясенского, – конспекты, письма, которые могли бы показаться подозрительными. Все это я рвал на мелкие клочки, выбрасывал в уборную, жег в старом тазу... Разумеется, украдкой, чтобы не заметили.

Пришла с работы Надя, стала мне помогать. Мама побежала к адвокату. Звонили друзья и знакомые. Что-то говорили о работе, приглашали в театр, на дни рождения. Что я мог им отвечать?

Вчера еще это была и моя жизнь, а теперь?

... Когда в феврале сорокового года смертельно заболел Владимир Романович Гриб, друзья пришли к нему в больницу проведать. Он спросил:

– Как у вас там дела на том свете?

Эти слова тогда поразили меня и прочно застряли в памяти, хотя я не мог объяснить почему. В подъезде больницы на Пироговской все время толпились его друзья, студенты и аспиранты. То и дело кто-нибудь убегал добывать лимоны, аскорбиновую кислоту, – тогда она была еще редкостью, ее доставали через летчиков, водивших самолеты в Берлин. В просторном вестибюле мы сидели, стояли, курили, тихо разговаривали, все уже знали, что надежды нет, что чудес не бывает... Белокровие. Но мы расспрашивали выходивших от него родственников, радовались, когда температура поднималась с 35,7 до 35,9, когда

уровень гемоглобина сохранялся вот уже вторые сутки. Ведь он был еще жив... В подъезде больницы мы говорили об институтских событиях, о сообщениях из Финляндии, – наши войска наступали на Выборг, – в театре Ленсовета премьера "Марии Стюарт", – поразительно играет Половикова.

Владимир Романович был еще жив, но уже вне жизни – этой нашей и всякой жизни. Уже на том пороге, за которым черное ничто. Почему черное? Но именно так всегда ощущалось – черный холод без дна, без краев...

О последних днях Гриба, об этом "Как там у вас дела на том свете?" я вспоминал тогда, разрывая книжные страницы и механически откликаясь на телефонные голоса.

– Да, да, конечно, буду. Очень рад. Приду, если только буду свободен.

ЕСЛИ ТОЛЬКО БУДУ СВОБОДЕН.

– Нет, я в общем здоров. Просто что-то голова болит. Устал, да, да, с похмелья.

– Конечно, позвоню и приду. Если только буду свободен. Спасибо, привет вашим.

ЕСЛИ ТОЛЬКО БУДУ СВОБОДЕН.

Все они были тот свет, а я не знал, где буду завтра. Может быть, уже через час опять в бутырском боксе и все сначала...

Эту ночь я не спал, слушал сонные шорохи комнаты – мы жили вшестером: – родители, девочки, Надя и я – на 17-ти метрах, в закутках, перегороженных буфетом, шкафом, ширмой. Я выходил курить на кухню, холодел от ближнего урчания машин – за мной?

А что, если просто одеться и уйти? Деньги еще есть. Одеться потеплей. Паспорт сохранился довоенный, – я не сдал его тогда, в 41-м, позабыв дома, – а после освобождения мне его продлили по справке. Пойти на вокзал и уехать... На восток, на север, куда глаза глядят. Завербоваться к геологам, я ведь могу и фельдшером. Всесоюзного розыска быть не должно – я знал, что розыск назначался только по делам о шпионаже, терроре, тяжелой измене родине или об активном участии в контрреволюционных организациях. – А там начну другую, совсем другую жизнь. Сменю имя, – потерял документы. Буду жить в лесу, в глуши, работать за десятерых. И потом выложу: вот мои книги "Об основах коммунистической этики" и "Почему фашизм победил в Германии".

А что будет с Надей? Ей недавно предложили быть председателем завкома, она член партии, и ведь, конечно, ее обвинят, что содействовала побегу. И отца тоже. Что с ними сделают? Что будет с друзьями, которые за меня заступались?

Если не станут меня ловить, на них еще злее отыграются. А если поймают, как я тогда докажу, что я прав? А если и не поймают, ведь бегство пуще, чем самоубийство — признание вины, подтверждение того, что говорили мерзавцы.

Нет, я не мог убежать, не мог убежать от себя.

Еще несколько ночей я плохо спал, вскакивал, внезапно разбуженный шагами на лестнице или во дворе — опять вернулся тюремный сторожевой слух.

Адвокат успокаивал: вряд ли арестуют, по всей видимости нужно только изменить формулировку приговора, чтобы не восстанавливать в партии, не затевать дела против обвинителей А нам нужно подтвердить прежнее решение, нужны новые объективные свидетели.

Я ходил к Исбаху, выпросил у него экземпляр фронтовой газеты "За Родину" с моей статьей о Восточной Пруссии — полный набор военно-шовинистически крикливых бранных слов, отличавшихся от речей Забаштанского только грамотностью, претензиями на стилистические красоты и робкими напоминаниями о немецких трудящихся.

Ходил я и к кинооператору Владиславу Микеше, он был Грауденце и наблюдал всю нашу работу, присутствовал при том, как командир дивизии генерал-майор Рахимов огласил приказ — благодарность нашей группе за решающую помощь при взятии крепости и представлял нас к наградам.

Михаил Александрович Кручинский, тот самый друг моего отца, который в 1929 году помог ему взять меня на поруки, в эту войну снова командовал тем же Богунским полком, что и в Гражданскую. Он был тяжело ранен в Сталинграде. Жил в Москве, гвардии полковник в отставке. В 45-м году он писал обо мне Руденко: „Знаю его с детства, знаю семью, ручаюсь".

В один из первых дней после моего освобождения, он пришел с женой и тремя дочерьми, потом и мы всей семьей ужинали у них, пили водку домашнего настоя; он вспоминал о Щорсе, о гражданской войне, о Сталинграде.

Узнав об отмене оправдательного приговора, Михаил Александрович сказал, что готов быть свидетелем.

Постепенно я привыкал к мысли, что предстоит борьба только из-за формулировки, что какие-то влиятельные покровители генерала Окорокова и полковника Забаштанского заботятся о чести мундира и не хотят их срамить. И для этого нужно, чтобы суд признал: – мол, тогда, во время войны они все же были правы.

Я не собирался уступать. Парткомиссия Главпура напомнила о том партсобрании 17 марта 45-го года, когда я так постыдно, непоследовательно защищался, признавая свои мнимые ошибки и на вопрос "а почему же они, Забаштанский и Беляев, говорят то, чего не было", только твердил: "они меня неправильно понимали, не знаю, почему, но совершенно неправильно..."

Я ни разу ни на бюро, ни на общем собрании, не назвал их клеветниками. Я так боялся обвинения в "склоке", мне так хотелось уйти от всего, от политуправления, от плешивого генерала с его шпорами, звеневшими по кабинетам, от золотопогонных охотников за трофеями и орденами, от всех этих наглых, самодовольных, ненасытных иждивенцев победы, которую завоевали не они. Я хотел уйти вперед, в действующие части, где еще шла настоящая война, надеялся, что там можно будет отделаться от мародеров, что там незачем врать, приспосабливаться к подлости. Но всего больше я хотел прочь из армии: войне вот-вот конец, долг выполнен: теперь надо было осмыслить все, что произошло, надо было понять, как, из чего это возникало.

От страха, – чтоб не обвинили в "склоке", от желания уйти, отстраниться, я только оборонялся, но так лишь подыгрывал тем, кто кропал политические доносы и, таким образом, сам помог им загнать меня в тюрьму. Нет, теперь это не повторится, я не уступлю ни полслова правды, я не буду идти ни на какие соглашения. Тогда Мулин, пустоглазый подхалим, лжец уговорил меня: "не лезь в склоку, не нападай на подполковника, признай частично свои ошибки, он пойдет навстречу. – Получишь выговор, потом опять заслужишь."

Теперь уже не стану договариваться с подлецами. Два года тюрем и лагерей были, пожалуй, заслуженным наказанием за то, что все же врал и унижался до таких соглашений. Пусть слишком сурово наказан, но заслуженно – не надо было лави-

ровать... А, может быть, я просто неумело действовал? Может, следовало, – если уж врать, то хитрее, целеустремленнее, – чтобы их обезоружить, столкнуть между собой? Но ведь этого я не мог бы ни при каких обстоятельствах, не мог потому, что перестал бы быть самим собой.

Тогда я рассуждал так: есть этика микрокосма и этика макрокосма. В "макро", – то есть в классовой борьбе, в революциях, в войнах, действует только закон целесообразности, цель оправдывает любые средства, лишь бы действенные. А в "микро", в отношениях между людьми необходимы твердо определенные нравственные законы, догматы, – необходимы правда, бескорыстие, человечность. Этот сплав христианского коммунизма и прагматического здравого смысла стал моим символом веры на много лет.

Дни и вечера были заполнены поисками новых свидетелей, добыванием новых документов для защиты, я собирал старые статьи, опубликованные или подготовленные к публикации, отзывы о научной работе. Я старался не встречаться с теми людьми, которым не мог рассказать об отмене приговора, потому что не знал, как отнесутся, а вдруг испугаются или подумают: "значит, все же дело нечисто". Зато я чаще бывал с подругой, которая водила меня в концерты, – в последний раз мы слушали "Реквием" Берлиоза. О работе я думал меньше, откладывая на после суда; вряд ли теперь позволят преподавать.

А по ночам просыпался, задыхаясь от ужаса, мерещилось: во двор въехал "воронок", по лестнице уже идут... И днем, иногда одолевал тоскливый страх – что будет завтра, послезавтра. В консерватории, читая программу предстоящих концертов, думал, буду ли я еще на свободе в этот или в тот вечер?

Тоскливый и злой я стоял однажды у станции метро "Охотный ряд". Куда направиться? К подруге или домой, или к Бобе, или пройтись по Красной площали, – вечер только начинался, в морозных сумерках сквозило весенней легкостью... И внезапно подумал: – ну чего ты, дурак, злишься, ведь вот стоишь, выбираешь, куда пойти, куда поехать. Выбираешь, что хочешь. Ведь это и есть воля. Что бы там ни было потом, но сейчас – воля! И я засмеялся вслух. И, спускаясь в метро, заметил удивленные взгляды встречных – смеется в одиночку,

пьяный что ли. От этого стало еще смешнее...

17 марта я обедал у Белкина, мы основательно выпили. Нина Петровна что-то вязала или вышивала, а мы с Бобой мирно рассуждали, философствовали.

Я заторопился домой, накануне заболела Майка; воспаление среднего уха, жар. Тогда, десятилетней, она была смешливой, ласковой, восторженно рассказывала, как они всем классом плакали, когда учительница читала им вслух "Четвертую высоту". – "Это лучшая, самая лучшая книжка на свете..." С малышечных пор у нее осталось нежное словечко"маколесики" – "мой хорошенький".

Мне очень хотелось дружить с дочками. Но виделись мы урывками, чаще всего на людях, и я надеялся, что летом, на каникулах буду больше времени с ними. Еще в тюрьме начал сочинять для них сказки деда Непоседа, – доброго чудака, книголюба и волшебника, который запускает детей внутрь книг: в "Одиссею", в "Дон Кихота", в "Гаргантюа и Пантагрюэля", в романы Толстого и Диккенса... Эти сказки должны были возбудить любопытство, желание читать самим. Но каждый раз, когда я собирался рассказывать их Майке или Ленке, раздавался телефонный звонок, или кто-нибудь приходил, или мама должна была поговорить со мной о важном и срочном деле.

От Белкина я позвонил домой: у Майки снова поднялась температура, нужно было купить бинты и вату для компресса.

Дома я еще не успел даже снять пальто и подойти к Майке, раздался звонок и вошли двое в темных пальто.

Один из них, не снимая шапки, сказал: "Здравствуйте, Лев Залманович!"

Мое "паспортное отчество", ставшее привычным в тюрьме (на воле и позднее на шарашке меня называли по отцу "Зиновьевич"), – сразу пинком в мозг: „они".

– Вот, пожалуйста, ордер... Вы задержаны. Обыска делать не будем. Давайте только документы, какие при вас.

Мама заломила руки и начала патетически доказывать, что он же оправдан, он же любит родину и партию больше, чем родителей, чем семью. Очень болен ребенок...

Мне было так худо, что даже не мог рассердиться на маму и злился на себя – распустился за последние дни и теперь со-

вершенно не готов. Что брать, как одеваться?

— А вы не беспокойтесь, все выяснится. Можете дать поесть. Вещи там какие соберите. — Можно переодеться. — Не хотите, чтоб соседи слышали и не надо, конечно... Мы здесь подождем.

Надя наигранно веселым голосом говорила Лене и Майке, лежавшей за шкафом:

— Папа поедет с дядями в командировку, а потом скоро приедет.

И начала укладывать мешок.

Мама совала мне еду, я заставлял себя не торопиться, думать спокойно. Переодел старое теплое белье, ватные штаны, успел шепнуть Наде "число, когда суд, сообщите луком и чесноком: чесночины — десятки, луковицы — единицы; например, 25 — две чесночины и пять луковиц". Поел через силу, выпил водки. Один из пришедших сидел у двери, другой у стола и нетерпеливо поглядывал на часы. Я стал прощаться. Майка в жару, полусонная, обняла меня горячими ручонками:

— Маколесеньки, ты скоро приедешь, да?

— Скоро! Постараюсь. Будь здорова. Обязательно, будь здорова.

Мама кусала губы, чтоб не плакать. Надя старалась бодриться.

— Помни, что мы с тобой всегда и везде, что все будет хорошо.

По лестнице шли молча. Один впереди, другой сзади. Во дворе стояла "эмка". Меня посадили в середину. Ехали молча. Приехали на Кропоткинскую, в Смерш. Сюда я приходил месяц тому назад получать воинские документы, изъятые при аресте на фронте.

Сперва завели в обычную канцелярскую комнату, с час я сидел в углу на стуле. Потом старший из пришедших, сказал:

— Ну, вот задержались из-за вас, сегодня уже поздно отправлять куда следует, переночуете здесь...

Повели в подвал, в полутемный коридор. Розовомордый старшина отобрал у меня папиросы и спички: не положено. Ремня я предусмотрительно не взял, о ботиночных шнурках он не вспомнил. Обыскивали поверхностно.

Камера оказалась почти совсем темной, очень холодной и очень грязной: видимо, еще недавно там сваливали уголь. Окна

у потолка были заложены кирпичом, но плохо скрепленным, в щели тянуло холодом. В одном окне осталась отдушина в целый кирпич, затянутая колючей проволокой и оттуда несло мерзлой сыростью.

Вдоль одной стены двухэтажные дощатые нары, в углу у входа ржавая, смрадная параша. На нарах сидел скрючившись молодой парень в драной грязной шинели и засаленной шапке с опущенными наушниками. Круглолицый, курносый, все лицо почернело от угольной пыли.

— Ты что, трубы чистил?

— Та я залез вот тут подальше от окон, видишь, как темно. А там должно уголь был.

Он говорил тихо, медленно, простуженно похрипывал и дул в ладони тоже черные, потом затискивал их под мышки, охватывая крест-накрест узкую маленькую грудь, весь дрожал мелко-мелко и смотрел голодными глазами на мой мешок — почуял запах съестного. Мама напихала туда хлеба, мяса, лук и сахар.

Он ел жадно и бестолково как оголодавший щенок, сначала хлеб и сахар, а потом уже мясо. Сказал, что из Белгорода, звать Володя, немцы угнали его с другими парнями в Германию, а потом взяли в армию, в дивизию "Галиция", там все солдаты были русские и украинцы.

— Знаю, эсэсовцы. Добровольцы.

Моя новая жизнь начиналась примечательно — в холодном подвале вдвоем с эсэсовцем. Но я уже не бросался к дверям камеры.

— Ага, добровольцы, с под большой палки. Вот ты бы попробовал остарбайтером на карьерах по шешнадцать часов тачку возить... на одной брюкве... ты бы не то, что в эсэс добровольно пошел, а в самую гестапо...

— Воевал?

— Да где там. Сначала учили, сильно учили; там у них не посачкуешь. От зорьки до зорьки гоняли. Но и харч был правильный. Каждый день приварок, булки, мармелад. Мундирчики справные.

— А воевал где? В Ковеле? В Варшаве?

— А ты откудова знаешь, тоже там служил? Меня в Ковеле в первый день сильно ранили в живот... на два метра кишки вынимали...потом я уже все по госпиталям и при тросе. Ну,

знаешь, обозы... и еще раз ранетый был от бомбежки. Правда, легче, под лопатку засадило... Так и не воевал, и когда наши пришли, не ховался, сам пришел, сказал: так и так было. Ну, меня в лагерь филь... фильтурный, нет, не фильтурный, а вроде как революционный!.. Ага! ага! фильтрационный. Там один лейтенант по морде сильно бил. "Ты эсэс, у тебя наколка... тебя повешать надо". И жрать ни хрена не было. Набрали там в лагере наших – тех непатриантов больше тысячи... Кто понахальнее, те коло кухонь, такие, знаешь, лбы... А я видишь какой, два раза же ранетый. А за что? Да ни за что... Может, сам я в партизаны хотел... А тут война. Я, правда, в пионерах был... Но не сознательный... В Германию повезли, так поверишь, даже радовался, дурак... а как же – путешествие! Заграница!.. А в эсэсах что я понимал. Мундир хороший, шерстяной... сапожки правильные, яловые на гвоздях, подошва как железная, хоть до смерти носи... А сознательности у меня ни хрена не было... Откудова ей быть? Папа умерли, я еще в детский садик ходил, я и не помню, какой он был... Он машинистом работал на паровозе „Феликс Дзержинский", может слышал. Папа умерли от несчастного случая, заворот кишек. А мама уборщица в депе и сестра старше меня на два года. – Она еще в школу ходила, а уже маме помогала и в доме и на работе, – а я рос, как бурьян, с пацанами на улицах голубей гонял. Учился хреново. Какая у меня сознательность... А тот лейтенант – гад, морду бил и кричал: "Изменник родины, говори, кто другие изменники, всех кого знаешь, а то повесим". Ну, я и утек с того лагеря. Вот так, взял и утек. Домой на Белгород не поехал, понимал, там шукать будут... Работал где по деревням, где в городе. И в Польше и в Белоруссии. – Говорил, что с остарбайтеров иду, и, что семья погибшая, деревня сгоревшая. Я знал, что у нас в области были сгоревшие деревни, так на такую и сказал. – Работал, ну и воровал... – Тоже бывало. – Жрать-то хочется. – И попутали меня тут близко в Люберцах или вроде, там еще пацаны были, мы в вагон с мясом залезли, такой белый, чистый... А эти гады, – стрелки на железной дороге, они, знаешь, хуже всей милиции, так били... Потом раздели, на снег выгонять... И тут увидели, у меня ранения и еще один там был начальник, наколку на руке увидел – знаешь, группа крови. Сразу признал: "ты сволочь, в эсэсах был". Еще хуже стали бить. Я плакал и сознался. – Теперь вот сюда привезли... Ты как понимаешь, меня

повешают?

— Таких дураков вешать, веревок не хватит.

Я утешал его и материл. Может, он и не врал. Хотя такие простачки иногда, ох как ловко умеют сочинять самые достоверные небылицы. Но, если и врал, ведь мальчишка...

Он рассказывал охотно, а сам ничего не спрашивал. Только: "а ты какого звания?" Услышав "майор", сперва недоверчиво хихикнул, но стал говорить на "вы".

Он сидел в этом подвале третьи сутки и уже знал некоторых часовых. Я сказал, что отобранные у меня папиросы старшина положил в ящик стола. Володя стал канючить у двери: "Гражданин начальник, дайте папиросы... это ж майор, фронтовик, они не были в плену..."

Дежурный солдат приоткрыл дверь. Была уже ночь, и начальник караула, видимо, спал.

— А ты правда майор? За что? С начальством ругался? Не врешь? Ладно, дам покурить, только чтоб до утра скурили, а то если карнач увидит...

Мы оба с Володей поклялись. Он разделил с нами одну пачку папирос, дал коробок спичек. Мы задымили. На мгновение блаженство. Потом легли вплотную, разумеется, в шапках и не разуваясь, на его шинель, под мое пальто. И я уснул в обнимку с юным эсэсовцем, вздрагивавшим от холода и отрыжек.

Утром принесли кипяток в кружках, кисло вонявших ржавчиной и тухлой капустой, и по куску хлеба.

Потом Володю увели. Несколько часов я оставался один. Днем камера оказалась еще грязнее. Я ходил, ходил — по диагонали получалось шагов двадцать. Три километра... четыре. Потом надоело считать. Курил, забившись в угол, невидимый из волчка. Но здесь никто и не следил. Наконец, вызвали. У стола караульного начальника трое конвойных с автоматами, командует младший лейтенант, молодой, нахмуренный, твердоскулый. Я получил изъятые вещи, папиросы, распихал по карманам.

— Руки назад!

Привычно закладываю руки с мешком за спину и внезапно правое запястье схвачено железным укусом. Наручники!

Резко отвожу левую руку, говорю, стараясь не кричать.

– Что это значит? По какому праву? Я оправданный офицер... Я был два года под следствием, меня никогда не заковывали. Я требую прокурора.

– Еще чего! Вас повезут в открытой машине. Есть инструкция: возить в браслетах. Я выполняю приказ. Вы говорите офицер, значит, должны понимать, что такое приказ.

– Тогда я хоть наушники опущу и шапку надену. По городу ведь повезете... И если уж наручники,тогда зачем руки назад?

Лейтенант несколько сукунд размышляет: и сразу видно, что он очень серьезный и очень добросовестный дурак.

– Наушники давайте. А руки только назад, инструкция такая.

– А как же я понесу мешок, в зубах что ли?

– Возьми мешок, – одному из солдат. – Давайте прекратим разговоры. – В голосе металл. Предупреждаю: шаг в сторону, вставанье в машине, разговоры или крики – конвой применяет оружие без предупреждения.

Ну что ж, испытаем и эту новинку – браслеты. Руки на спине стараюсь держать поудобнее, не напряженно. Короткий щелчок. Стиснуло.

– Больно! Вы что же, пытать собираетесь?

– Ладно, ладно, отпусти там на поворот-два. Щелчок. Тиски расслабили.

– Ну как?

– Отпустите еще! Не собираюсь же я удирать!

– Разговорчики! – Щелчок. Вот так! Свободнее нельзя. А если будете применять усилия, они сами теснее возьмутся.

Во дворе обыкновенная полуторка. Забраться, я, разумеется, не могу. Лейтенант угрюмо размышляет. Потом озарение, солдат приносит табуретку. Откидывает борт, меня поддерживают с двух сторон. Забираюсь на табуретку, потом ступаю выше. Как на эшафот. Сел спиной к кабине.

– Не прислоняйтесь! Браслеты сожмутся!

Один из конвоиров рядом, другой напротив. Лейтенант сел к водителю.

Поехали...

Гляжу назад. Прощаюсь. Назад откатываются мутно-розовая аркада метро "Кропоткинская", нахохлившийся чугунный Гоголь, Арбат, темный столпник Тимирязев... Все откатывает-

ся назад, назад в только что – вот-вот – мигнувшее мгновенье, во вчера, когда еще ходил, куда хотел, когда мог придти домой...

Вижу дома, в которых живут знакомые и незнакомые "вольные" вольные люди! Они и не знают, как они счастливы... Бульвары: серая пряжа деревьев и кустов чернеет, – уже смеркается, – разматывается назад, назад. Пушкин потупился над головой конвоира, темнолицего, раскосого, – казах, должно быть, – равнодушного. Голоса людей, гудки, шумы машин. Все назад, назад...

На повороте толчок откидывает к стене. И сразу щелчок, железная боль стискивает запястья. Не могу удержать кряхтенья, стона.

Конвоир, который рядом, белобрысый, безбровый, сердито испуган:

– Ты чего? Чего?

– Наручники зажало. Отпусти.

– Нельзя. Ключ у лейтенанта. Молчи! Терпи! Скоро приедем.

Боль вгрызается вверх до локтя. Боюсь пошевельнуться, судорожно напрягаю ногу... Опять поворот. Слава Богу, без толчка, и, кажется, боль чуть слабее, но правая кисть затекает.

– Сидите аккуратно. Вам же лучше.

Въехали на улицу Чехова. Значит, в Бутырки. Хорошо! Теперь уже недалеко. Остановились. Должно быть, пробка или стоянка троллейбуса. Пьяный в черном треухе пытается залезть.

– Подвезите, солдаты... Мне на Савеловский.

Оба конвоира вскочили, отдирают его руки от борта.

– Нельзя... Нельзя.

– А чего нельзя? Порожняк же... Ага, арестованного везете. Еврей. Это хорошо, значит, их тоже арестовывают.

Он тяжело спрыгнул, Еще что-то галдит вслед. Какой проницательный. Под надвинутой шапкой угадал. По носу? По гримасе боли?

Наконец, заворачиваем. Опять толчок и новый зажим наручников. Кусаю губы.

Медленно вкатываемся в знакомый серый двор. Второй двор. Затылком, через кабину чую приближение тех самых высоких дверей, темного портала. Слышу, как лейтенант выхо-

дит. Кричу:

— Снимите наручники! Ведь калечите!

— Ладно, ладно, уже приехали.

— Сними наручники! — Ору яростно, до визга. — Палач!.. твою мать. Палач, будь ты проклят!

Конвоиры молчат. Лейтенант поворачивается. Тупо смотрит.

— Разговорчики! За такие выражения, знаете что?

Но он не злился, он уже выполнил задание,доставил арестованного и теперь был в ”чужом хозяйстве”. Легко, одним прыжком забрался в кузов. Спортсмен. Расщелкивает. Вытягиваю руки. Боль тупеет, медленно сползает вниз от локтей, пульсируя саднит в запястьях. Правой кисти почти не чувствую, затекла и кажется подушечно опухшей. Начинает покалывать. Шевелю пальцами. Слушаются.

— Ну вот. А кричать, выражаться не положено. Мы действуем по инструкции. А вы — ”палач”.. Конвой надо уважать.

Гляжу в безмятежно светлые, серьезные глаза лейтенанта, и мерещится, что где-то там на глубине, на самых донцах этих глаз или еще глубже, теплится не мысль, нет, а просто обида или жалость. Но все-таки не злоба.

— Уважать?! Уважать нельзя по инструкции. Уважение надо заслужить, лейтенант. Вы еще молодой человек. Я старше вас по годам и по званию. А вы меня так мучите. Не может быть в советской стране такой инструкции, чтоб мучить.

— Ладно! Ладно! Разговорчики не положено! Давайте, проходите!

И я прошел в знакомый бутырский ”вокзал”. И смотрители, кажется знакомые И опять Бутырки — избавление; после холодного подвала после стыдной пытки браслетами. ”Санаторий Бутюр”. И теперь я знаю все, что будут дальше, — привычный, будничный порядок: Шмон — Баня — Камера — Поверка — Оправка. Пайка. — Сахарок и кипяток. — Прогулка. — Разговоры: судьбы и судьбы. — Книжки. — Передачи .. Шахматы. — Козел. — Баланда... Опять и опять разговоры и судьбы. — Вечерняя каша. — Вечерняя поверка. — И ожидание... Ожидание. Ночами и днями ожидание...

В бутырской приемной канцелярии, где заполняют карточки новоприбывших, серолицый капитан сказал:

— Повторный? Был оправдательный приговор? Ну, значит,

ошиблись! Поправят!

Он не злорадствовал, и, видимо, не был ни ожесточенным, ни фанатично-истовым тюремщиком. Я вспомнил прокурора Мишу: "58-ю нужно дожимать". Оправдание было аномалией, вывихом естественного порядка. Бутырский капитан испытывал простое удовлетворение. Вывих вправят.

– А я верю, что буду опять оправдан!

– Ну что ж, верьте, верьте...

Бокс рядом с тем, из которого выходил на волю. Сколько же времени прошло? 72 или 73 дня. И словно бы только вчера. И словно в другой жизни.

Интермедия кончилась.

Седьмая часть

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ

Тридцать пятая глава

ОПЯТЬ БУТЫРКИ. ОПЯТЬ ТРИБУНАЛ

После бани меня повели в новый спецкорпус. Бело-синие стены, синие металлические лестницы, синие ”палубные” галереи с железными перилами и синие железные сетки между этажами. В большой каптерке выдали не только матрас и кружку, но еще и одеяло, постельное белье и даже нательное: Бутырки стали богаче.

Камера небольшая, три отдельные койки, окно под самым потолком, мутные стекла, направленные на металлические сетки и хитрые створчатые форточки, – едва-едва можно увидеть полоску неба, – пол из прессованной древесной массы, гладкий, глянцевый.

С койки слева поднялась голова, замотанная полотенцем:

– Пошальства... Папирос ест?.. Табак? Курит?.. Битте, пошальста...

Услышав в ответ немецкую речь и увидев пачку папирос, спрашивавший торопливо выбрался из-под одеяла, снял полотенце-чалму и, придерживая кальсоны, представился:

– Доктор-инженер Курт П., конструктор ракетных двигателей Фау-2.

Очень приятно. Наконец-то образованный человек. Я уже месяц не слышу немецкой речи. И не помню, когда курил. Здесь вот ваш солдат, он служил в армии Власова... Очень примитивный субъект... Меня арестовали, хотя я не был членом национал-социалистической партии... Нет, никогда. Я всегда чурался политики... До переворота я голосовал за государственную партию Штреземана. Я знал ее кандидатов – деловые, порядочные люди, хорошие немцы, трезвые головы... Господин следователь сказал мне, что я военный преступник, потому что участвовал в производстве оружия, которым убивали женщин и детей... Это, конечно, ужасно. Но ведь это была война. – Ваши союзники тоже бомбили немецкие города. Вы знаете, что такое бомбовые ковры? Гамбург, Кельн, Дюссельдорф, Берлин, Эссен, Дрезден... Этих городов больше нет. И там тоже были женщины и дети. Но разве моих английских и американских

коллег-инженеров, которые конструировали гигантские бомбы и эти "летающие крепости" считают военными преступниками?.. Да-да, конечно, Гитлер был негодяй. Я это всегда знал. Маньяк! Безумец! Гениальный оратор, великий организатор, но безумец, – айн нарр! И, конечно, злодей, порождение сатаны. Но ведь он был полновластным тираном, а мы – маленькие люди – могли только подчиняться приказам, либо погибнуть, – страшно погибнуть. Вы знаете, что такое гестапо?.. А я инженер. Я должен выполнять указания начальства, дирекции. Я конструировал двигатели. Признаюсь, я любил свою работу, это было увлекательно, – шпанненд! Но я ведь не единственный конструктор, это была работа большого отряда инженеров... Теперь такие работы никто не делает в одиночку, как при дедушке Круппе, как некогда старики Даймлер или Дизель. Я делал свое дело на своем узком участке. Делал добросовестно. А как же я мог поступать иначе? Саботировать? Но любой саботаж был бы обнаружен в тот же день и мне отрубили бы голову. Никому никакой пользы, а моей семье вечное горе. У меня жена, трое детей... Старшая дочь замужем и уже, кажется, вдова – зять пропал без вести на Востоке. Младшая дочь и сын еще в гимназии, едва удалось их спасти от тотальной мобилизации в зенитчики или фольксштурм. Эти звери у нас не щадили собственных детей... Конечно, я всегда работал добросовестно. Ведь я немецкий инженер. – Господин следователь говорил, что у вас в России всегда уважали немецкую технику, немецких инженеров. – Я не могу работать иначе как отлично и только в полную силу. И у вас я так же буду работать. Я это сказал господину следователю... Он очень корректен, господин подполковник, отлично говорит по-немецки, а помощник у него капитан, вполне образованный молодой человек, видимо инженер. Тоже вполне корректен. Нет, я не могу пожаловаться. Я был приятно поражен. Наша пропаганда так пугала, столько ужасов распространяла о русских зверствах... В первые дни были, конечно, эксцессы, многие женщины пострадали... Но я все понимаю: солдаты, ожесточенные войной... потом эти азиаты, монголы. Впрочем, и среди ваших есть еще примитивные грубые парни. И у нас ведь таких немало. – Мне рассказывали про СС – это же были дикие звери... Но после ареста все со мною корректны. Правда, угрожали, и теперь вот говорят, что судить будут по каким-то новым нюренбергским законам, так же как

Круппа, Геринга, Гесса. Но это уж совсем несправедливо, ведь они были властителями, а я скромный инженер; они распоряжались, а я только выполнял некоторые мелкие пункты их распоряжений. Почему же меня судить так же, как их?

И такое плохое питание. Это ужасно, ни мяса, ни масла. Супы здесь – дизе балянда – никаких жиров. Правда, хлеб хорош, очень хорош. Но я так похудел. Я потерял восемь, а то и десять килограмм. А я уже во время войны худел... Мы ведь тоже испытывали лишения: все по карточкам, очень мало жиров; кофе совсем не стало. Мне один знакомый врач говорил о полезности голодной диеты. Очень может быть. Я и сейчас чувствую себя неплохо. Сердце, легкие, пищеварение в порядке. Раньше я, бывало, страдал запорами, бессонницами. Сейчас наладились и стул и сон... Однако, голод – это все же слишком неприятно и такое похудание – это уже слишком, брюки не держатся, начинается просто слабость...

С доктором П. мы оставались вместе шесть недель до дня моего суда. На третьей койке жильцы сменялись несколько раз. Вначале был угрюмый, молчаливый власовец. Он сам ни о чем не спрашивал, – а на мои вопросы отвечал односложно, или вовсе молчал, будто не слышал: однажды даже огрызнулся:

– А тебе зачем надо знать, где да кто? Ты что, прокурор? Шпрехаешь с ним, ну и шпрехай, а до меня тебе нет касательства.

Я понял, что он меня считает "наседкой", уж очень обильные передачи я получал. Угощенье он принимал неохотно – пришлось объясняться грубо:

– Ты не вывертывайся как трехрублевая шлюха. И не корчь фраера. Есть камерный закон – от передачи доля всем. Я ж тебе не за красивые глаза даю, а по закону.

– Ну, ладно, я за тебя парашу вынесу.

Его сменил молодой парень. Он расспрашивал о лагерях, о судах, о законах и сам охотно рассказывал о себе: он был в плену, потом в Италии убежал к партизанам. Охотнее всего он говорил о том, что ел и пил в Италии – говорил долго, патетично, как все неопытные голодающие; и так же увлеченно рассказывал об итальянках, с которыми спали он и его кореши и подробно описывал, как это происходило, сладострастно причмокивая, а потом залезал под одеяло и, кряхтя и сопя, онани-

ровал.

Когда я получал передачи, он неотрывно жадно глядел восторженно, ласково приговаривая:

– Ух ты, яички... вкрутую, конечно... Сахарок-сахорок, это завсегда польза... А котлетки свиные или говяжьи? Булочка-то белая какая, эта ж какая сласть должна быть... Табачок! Опять, значит, покурим... Спасибо добрым людям!

Он не только не стеснялся брать долю, но хотел получить больше:

– А фрицу этому вы напрасно так много даете. Они, гады, знаете как нас мордовали... У него еще своего жиру на год хватит. А я видишь, какой, один шкилет под тонкой шкурой...

Книги в малую камеру приносили по пять штук на десять дней. Один раз нас лишили книг за то, что пол был не чист. Его полагалось натирать воском, драить щеткой и насандаливать до блеска мягкой тряпкой. А тут мы не успели до поверки натереть, и к тому же дежурный обнаружил хлебные крошки. Книги забрали и не выдавали десять дней. Это совпало с моим тридцать пятым днем рождения и, как часто бывает, именно такие малые недобрые случайности раздражали больше настоящих бед.

В спецкорпусе днем не разрешалось лежать на койках, то и дело шелестел глазок, коридорный проверял. Самые дотошные не разрешали даже сидеть на койках: для сидения табуретки. Мы по очереди ходили по узкому, короткому проходу – камера была длиной в десять шагов, шириной в три.

Большую часть времени, особенно в проклятые дни бескнижья мы играли в шашки или в гальму. Моим главным – а чаще всего и единственным противником был П. В шахматы играть он не умел, в шашки я его обыгрывал и он предпочитал гальму, играл азартно, подробно доказывал, что эта игра серьезнее шашек, в ней сказывается инженерная конструкторская мысль, а для шахмат нужна фантазия, отвлеченная, артистическая.

Литературой он вовсе не интересовался.

– После гимназии я, кажется, ни разу не брал в руки беллетристических книг... В детстве любил Карла Мая – романы про индейцев, про дальние страны. Это ведь так свойственно юности – романтические мечты. Учил, конечно, Шиллера, как же, как же "Festgemanert in der Erden"... – "Песня о колоколе", да и Гете, разумеется, "Фауст" – это гениальное неподражаемое

произведение. Но потом уже не было времени: сперва учебники, а после института обязательно и постоянно техническая литература – в нашем деле нельзя отставать: развитие идет непрерывное, все время что-то новое, нужно быть ауф дем ляуфенден, – современная техника это как спорт – нельзя терять формы, прекращать тренинг. В свободные минуты просматривал газеты, журнальчик какой-нибудь иллюстрированный повеселей, миловидные девицы, розовые попки, стройные ножки. Нужно ведь и аусшпаннен, отпустить поводья. Вот музыку я люблю очень: мой отец и мать, вся наша семья музыкальна. Моцарт, Бетховен, Вагнер – ведь это божественно! До войны мы с женой ходили в концерты. Потом я так уставал, что божественные звуки меня просто усыпляли. Жена сердилась – это же просто неприлично, ты храпишь совершенно не в такт – ха-ха-ха! И она перестала со мной ходить. Но у меня был отличный приемник телефункен – роскошная штука, я перед сном всегда слушал что-нибудь оттуда, с Запада, здесь у нас джазы были запрещены как неарийская, негритянская музыка. Но я всегда был выше этих расистских доктрин. И даже во время войны слушал американские джазы. Та-ри-ра-ри-та-ти-ти!.. В этом все же есть что-то такое экзотически соблазнительное. Итальянская музыка слащава, расслабляюще слащава, нежна, как мягкий мармелад, французская очень мила, игрива... пан-пан-лял-ля... Больше всего я люблю испанскую и американскую... Да, и, конечно, русскую... О, Чайковский! Как же, как же, сюита "Щелкунчик", "Борис Годунов" – это прекрасно, это мировой класс! И донкозакен-хор, "Муттер Вольга, Стэнка Разин"... У меня были пластинки. Но это у нас никогда не запрещалось, даже во время войны русская музыка допускалась, хотя и реже, чем раньше. А вот на джаз всегда был строжайший запрет, "артфремд" – чужеродно, разложение, декаданс... Но я слушал. И передачи Би-би-си слушал, как же: "тум-тум-тум-тум". Позывные из Бетховена. Линдли Фрейзер так остроумно высмеивал фюрера и Геббельса. Английский юмор, этого у них никто не отнимет, – суховат, с холодком, –унтеркюльт, – но режет, как бритвой... И потом джаз, прима!

Он иногда спрашивал о России, обо мне. Спрашивал вежливо и заинтересованно, однако, если я отвечал обстоятельно, то скоро замечал, что оказываюсь в роли того анекдотического чудака, которого спросили "как вы поживаете" и он стал подробно рассказывать о своей жизни.

Слушая, он быстро сникал, глаза тускнели, начинали сновать по сторонам. Зато, рассказывая о себе, о своем доме, саде, о своих домашних привычках, он всегда оживлялся.

— С утра — сигареты, на работе — трубка, вечером — сигара. Домашние туфли должны быть из верблюжьей шерсти и не яркого цвета. Не терплю халатов-шлафроков, это филистерство. Хорошая, просторная куртка, вишневая или орехово-коричневая из вельвета — красиво и практично. Завтрак обязательно легкий: яйцо всмятку, немного масла, ветчина, копченая рыба, кофе, — ни капли алкоголя! К началу рабочего дня голова должна быть ясной и живот не загруженным... Среди дня — ланч; тут уж нужен хороший кусок мяса, зелень и рюмочка коньяку — допинг и, разумеется, кофе мокко побольше. Обедал я дома поздно, по-английски — ”диннер”: форшпайзен, пиво, суп, мясо или рыбу...

Он сладострастно подробно описывал разные блюда, о винах говорил пристрастно, увлеченно, как о живых людях: ”Либфрауен мильх” — дивный характер, нежность и сдержанность, как у хорошо воспитанной девицы, прекрасно к ужину, в обществе дам. Впрочем, и к обеду, к рыбе — отличная компания. А к мясу я предпочитаю итальянцев или французов. Кьянти — густо красное, терпкое, мужественное и так располагает к простой дружеской беседе. Или Божоле — веселый, изящный, приветливый напиток.

Иногда я отмахивался или зло говорил:

— Перестаньте заниматься гастрономическим онанизмом...

Тогда он обижался и огорчался едва ли не до слез.

Всего охотнее он говорил о том, какую построит виллу, когда вернется домой.

— Построю обязательно в Шварцвальде или в Тюрингии. Есть, правда, прекрасные места и в Баварии, но там люди уж очень грубоваты, ограничены, воображают о себе: ”мы, баварцы, особенный народ”. А по сути просто мужланы, фанатичные католики. А я северянин, протестант и вообще свободомыслящий, даже масон. Я принял посвящение в ложу Большого Востока еще студентом... Потом это приходилось скрывать. Нацисты преследовали масонов... Нет, дом я буду строить в Шварцвальде, там родина матери и в горах там дешевый камень. Я все время проектирую в уме в бессонные ночи. Это будет невысокое здание, — два верхних этажа кирпичные, а нижний, цокольный, обложен диким камнем. Я хочу обязательно прислонить к горе его так, чтобы третий этаж был сзади первым... Сад

будет большой тенистый, и никаких искусственных версальских симметрических схем. Не люблю прямоугольных или по лекалу дорожек, посыпанных песком с каменным бортиком, не люблю геометрически правильных клумб, все это филистерство или претенциозный классицизм аристократов. Я – романтик, я люблю природу, – натур, – нашу немецкую природу в ее превозданности... Конечно, у своего дома человек должен помогать природе, – но со вкусом... Фруктовые деревья следует высаживать отдельно – они требуют ухода, но не обязательно же строить их в шеренги как солдат. И траву я буду сеять хорошую, сочную, высокую и цветы располагать живописными группами вдоль тропинок. И обязательно плавательный бассейн с хорошим стоком, чтобы не заболачивать и метра земли. Но только не круглый по циркулю, и не квадратный, и не прямоугольный. Это так уныло. Я хочу эллиптический, это спокойно, либо даже вовсе не симметричный, обложенный диким камнем. Чистый песок придется привозить, – если все берега делать песчаными, получится дорого, но пляж, разумеется, нужен и там необходим золотистый, бархатный песок... В саду, разумеется, не обойтись без керамических гномиков, – гартенцверге, – это уж наш давний народный обычай... Вокруг сада – никаких металлических оград: они так уродуют живую природу. Я хотел бы, чтобы границей моего владения был с одной стороны, глубокий ров, как в старину. Мой склон сделаю покруче, наверху обсажу терновникам, а там, где рва не будет, я построю каменную ограду или насыплю земляной вал, засажу густым кустарником и в кустах проведу неприметный сигнальный провод, чтобы включать его только на ночь. – Если полезет зверь или вор, раздастся тревожный звонок в комнате садовника. У въездных ворот не обойтись без кирпичей или камня и металла. Я предпочитаю вороненую, нержавеющую сталь, – круппштальуважает весь мир. И никакой бронзы – это пошло. А в доме будут камины. И на кухне я хочу, чтобы хоть один открытый очаг. Нельзя же кабана или косулю жарить на электрической или газовой плите. – Да и пернатой дичи нужен живой огонь... Нигде не хочу обоев; столовую, кабинет, гостиную обошью до половины деревом: орех, бук, дуб, это и благородно и по-немецки. А сверху – открытая кирпичная кладка, опрятная, специально очищенная – это естественно и красиво. И, разумеется, хорошие картины. Я не терплю никакого модер-

на, всех этих судорожных, истерических экспрессионистов, сюрреалистов и как их там называют? Я знаю, что это нравится французам и русским: о вкусах не спорят. Лягушек я ведь тоже не ем, и не мог бы спать на печке, как принято у вас... Пусть люди живут, кто как привык, как хочет... У себя в доме я хочу видеть красивые картины, несколько барельефов, керамических и деревянных, – прежде всего старые работы немецких, голландских, итальянских мастеров. – Чтобы не слишком яркие краски. Из более новых, – романтические ландшафты, портреты моих родителей, – их писал не очень известный, но хороший художник. В спальнях, в комнатах для гостей – стены будут обтянуты тисненой кожей, в детских и коридорах – только простые масляные краски. И мебель буду подбирать для каждой комнаты в особом стиле, но прежде всего простую, прочную, как в крестьянских домах. А в спальнях и в гостиной "Бидермайер", но только не красное дерево, это претенциозно. В кабинете – мореный дуб, в столовой, пожалуй, можно более светлые тона...

Так он говорил часами и обижался, если я не слушал:

– Ну, отвлекитесь на несколько минут, ведь книги – это выдумки, а мы говорим о реальной жизни. Я так давно не мог поговорить ни с кем из понимающих мой язык, ни с одним образованным человеком...

В конце апреля я получил в передаче четыре чесночины и пять луковиц, потом еще раз четыре и пять и сообразил, что суд назначен на четвертое мая. Дни, оставшиеся до суда, были заполнены неотвязными размышлениями: что говорить, если спросят то-то и то-то, как еще убедительнее доказать, что Забаштанский и Беляев лгут, что все это – обман и подлость.

Сочиняя "последнее слово", я вспоминал, что именно кричали на парткомиссии, – ведь новых обвинений не было и новых аргументов к прежним не прибавилось, значит, я должен был рассчитывать на повторное оправдание.

П. составил мне гороскоп. Он спросил о днях рождения, – моем и моих родителей и жены, с часик бормотал вычисления, царапая на папиросном коробке обгорелой спичкой, а потом сообщил мне, что для меня особенно благоприятны числа семь и тринадцать, что в мае мне должно везти в де-

лах, а в каком-то другом месяце в любви, сулил долгую жизнь и всяческие успехи.

Разумеется, я ничему не верил, но все же думал, что вот, четвертое мая — неблагоприятное для меня число, а тысяча девятьсот сорок седьмой год, если сложить цифры, получится двадцать один, то есть трижды семь, — скорее, благоприятные. И когда в суде во время перерыва, меня посадили в коридоре напротив плафона с номерами комнат, я стал их складывать и прикидывать, — делится ли сумма на семь или на тринадцать.

П. уверял, что меня освободят и очень просил позвонить в посольство США:

— Поговорите с кем-нибудь из тех сотрудников, кто состоит в масонской ложе. В Америке — все государственные служащие — масоны, тем более дипломаты. Рузвельт имел наивысшую, тридцать третью степень....Вы им просто скажите, что в Бутырках находится доктор-инженер такой-то, масон четырнадцатой степени, член ложи Большого Востока из Штутгарта. Пусть они только узнают это, — они уж сами найдут способ помочь мне, а пока хоть раз в месяц пусть передают передачи, обязательно жиры и витамины, и, конечно, сахар. Теперь скоро лето, скажите, что я очень прошу овощей и фруктов, любых, но желательно картофель, лук, редис, помидоры, — хоть это еще рано, но в июне уже может быть морковь... Пожалуйста, не забудьте, — четырнадцатая степень, ложа Большого Востока, Штутгарт, просит у братьев помощи и передач...

Судебное заседание открылось в большом зале. Председатель — черноволосый, толстый полковник Коломиец, и заседатели — худой седеющий генерал-майор и моложавый капитан. Они и тоненький лейтенантик-секретарь сидели на эстраде, за столом, покрытым вишневым сукном в креслах с высокими "гербовыми" спинками. Скамья подсудимых помещалась в зале слева от них на невысоком помосте за дощатой перегородкой. Внизу я увидел седую шевелюру и сутулые плечи адвоката, он сидел за столиком спиной к загородке. Прямо напротив был столик прокурора; широкая, словно кубическая голова, короткая стрижка, угловатые очки, твердые скулы, твердый подбородок, и весь он широкий, плотно сбитый в кителе с се-

ребряными погонами и блестко начищенных сапогах. В зале на скамьях – свидетели; отдельно сидели Забаштанский и Беляев. Подальше – Нина Михайловна и Георгий, вместе держались Иван, Галя Храмушина, Михаил Аршанский, вблизи от них седой чуб и усы Михаила Александровича, – он пришел в парадном кителе при орденах, рядом сверкал регалиями Александр Исбах.

После вступительной процедуры все они вышли. Потом их вызывали по одному.

Председательствующий вел заседание неторопливо, ни разу не повысил голоса. В отличие от первого судьи, ворчуна полковника Хрякова, который покрикивал на меня, этот был почти флегматичен. Когда во время показаний Забаштанского, я, не сдержавшись, достаточно громко сказал: "ложь... бесстыдная ложь", он только постучал карандашом. Он позволял мне задавать вопросы свидетелям, и даже комментировать их показания.

Забаштанский в этот раз говорил так же душевно, но уже с новыми вариациями; он явно учел опыт прошлого суда и в самом начале заметил, что каждый может ошибаться, вспоминая подробности, какой день, какой час был, кто был старшим один раз, а кто другой. Но ведь главное не в этом, а в том, как огорчали и оскорбляли солдат и офицеров неуместные разговоры за всякий гуманизьм, это копание в пакостях, когда человек, вроде, нарочно не видит ни величия победы, ни геройства, ни страданий, а только видит, где там какой хулиган прижал немку, или солдат взял трофейное барахло. И вот с этого мелкого паскудства такой критик – гуманист делал картину на всю армию...

Он скорбно говорил, как вредили боевой работе мои "упаднические настроения" и недисциплинированность, несдержанность, нездоровые разговоры, неуважение к авторитету командования...

До того дошло, что, например, мог сказать: "Военторг – это самая страшная организация после гестапо", и сказал такое прилюдно, даже при поляках, которые как раз в доме были, мы там кино показывали, допускали гражданских лиц. А когда я ему замечание сделал, он только смешки пускал: "Это ж надо понимать, – шутки, надо иметь чувство юмора". Я ему тогда сказал, что надо иметь чувство партийности, тогда не будешь

такие шутки шутковать. А потом он прямо на открытом партийном собрании сказал: "Мы победили не благодаря, а вопреки отделам кадров".

В этом месте внезапно оживился заседатель генерал-майор. Он стал что-то быстро писать, глядя на меня очень сердито. И когда я комментировал показания Забаштанского, напоминая о том, как на прошлом судебном заседании он был дважды уличен во лжи, генерал-майор спросил:

– Вот здесь подполковник говорил про ваши высказывания о военторге, об отделе кадров, вы признаете, что они действительно имели место?

– Да! Это, пожалуй, единственный случай, когда он не солгал. Я действительно так пошутил.

– Пошутил? Вы и сейчас оцениваете это высказывание как шуточки?

Генерал сердился. Он тоже говорил негромко, – такой уж тон был задан в этом заседании с самого начала, – но в его голосе внятно зазвучал тот привычно-зловещий металлический тембр, который отличает речи разгневанных, но сдержанных начальников и уверенных обличителей.

– Конечно, шутки! Возможно, дурацкие и неуместные, но именно шутки, иначе этого расценить нельзя.

– Значит, вы не считаете, что это были вредные, антисоветские высказывания?

– Нет, потому что это были шутки, пусть и неуместные, но направленные против отдельных учреждений, а не против советской власти, – это и в "Крокодиле" бывает, высмеиваются отдельные лица и учреждения...

В перерыве адвокат сердито шепнул мне: – Экую глупость вы ляпнули, ведь этот генерал – начальник Управления кадров МВО. Уж лучше бы вы все отрицали.

Я возразил, что не лгал и лгать не буду. Он раздраженно отмахнулся.

Беляев повторил все то, что говорил раньше. Он был спокойнее, увереннее. Стараясь предупредить неприятные вопросы, он сказал, что, конечно, я, может спасал немецкое население и спорил с солдатами и офицерами и не так уж много времени, но общее настроение у меня было подавленное, мрачное, и я воздействовал на него, мешал ему и не работал. И поэтому задание в Восточной Пруссии было выполнено не так, как надо.

Нина Михайловна и Георгий говорили мало, их показания в этот раз были скорее благоприятными для меня. Галя Хромушина ответила не несколько вопросов точно, уверенно. Иван подтвердил свои прежние показания. Его ни о чем не спрашивали ни судья, ни прокурор, ни адвокат. Мне это показалось неправильным. Почему адвокат не использует по-настоящему его свидетельство, убедительно разоблачающее и Забаштанского и Беляева, но председательствующий спокойно отвел мои напоминания – ведь все это уже есть в материалах дела... "Если вы хотите напомнить, вы можете использовать свое последнее слово".

Вызвали нового свидетеля, майора, который сменил Беляева в должности начальника школы. Еще перед арестом я слышал о нем от адвоката. Тот считал его своим очень удачным открытием, сокрушительным для основы обвинения.

Молодой майор начал очень резво рассказывать о том, как Беляев запустил хозяйство школы, вывез два, а то и три вагона личных трофеев, в том числе несколько ковров, шкафов и два рояля.

Прокурор перебил его:

– Какое отношение к делу все это имеет?

Майор, поморгав, сказал, что Беляев не заслуживает доверия. Он бросил жену и двух детей в Саратове, сошелся с переводчицей, не платит алиментов и его жена уже трижды писала в Главпур. Он имеет при себе копии писем, они прямо указывают, что Беляев – нечестная личность.

Прокурор спросил, какое отношение эти сплетни имеют к делу? Кто пригласил этого свидетеля?

Адвокат возразил неуверенно, что майора пригласил он, чтобы осветить моральный облик Беляева, главного свидетеля обвинения, поскольку он подвергает сомнению правдивость показаний Беляева, этот свидетель может помочь уяснить, насколько можно ему доверять.

Прокурор сказал брезгливо и решительно, что он дает отвод свидетелю, показания которого не имеют никакого отношения к рассматриваемому делу и только отнимают время у суда. Речь идет о серьезных политических обвинениях. Семейная жизнь свидетелей не может никого интересовать.

Он впервые вмешался активно и решительно; до этого он только задал несколько вопросов, которые показались не

слишком существенными. Он спрашивал меня о тысяча девятьсот двадцать девятом годе, о Марке Поляке, спрашивал, что именно меня привлекало в троцкистских лозунгах. Я понимал, что эти вопросы могут быть провокационными, отвечал правду, но очень осторожно, тщательно подбирая слова.

Прокурор слушал внимательно, записывал. Спрашивал он вежливо, настораживали только холодные, непроницаемые глаза за очками и едва уловимые интонации высокомерного пренебрежения. А, давая отвод майору, обличителю Беляева, он рассердился или играл рассерженность.

Меня раздражала болтовня сплетника, но всего больше тревожило поведение адвоката, он явно боялся прокурора, говорил с ним заискивающим тоном.

Михаил Аршанский сказал, что знает меня много лет, знает близко, встречались и во время войны, когда мы оба оказались в Москве в январе 1944-го года. Он хорошо знает мои настроения и взгляды, они всегда были по-настоящему партийными.

Прокурор спросил, что он может знать о тех настроениях и высказываниях, которые вызвали предъявленные обвинения, ведь он бы на другом фронте.

Миша ответил, что об этом ему подробно рассказали товарищи, бывшие на одном со мною фронте. На основании разговоров с ними, а также на основании всего, что он знает, он убежден, что эти обвинения не только лживы, но и просто абсурдны.

Потом он попросил разрешить ему сказать несколько слов дополнительно.

...Он много раз встречал меня за последние месяцы после оправдания, подробно расспрашивал о деле, о следствии, о жизни в заключении; разговаривал на самые разные темы, — политические, литературные, личные. Он считает своим долгом коммуниста, гражданина, советского офицера сказать трибуналу, что на скамье подсудимых, вследствие клеветы и нелепого стечения обстоятельств оказался человек...

Тут Миша стал меня хвалить. Но это были не стандартные похвалы наградных листов, некрологов и газетных славословий, а неподдельно живые и добрые слова. У него по-новому звучали и такие привычные понятия, как родина, партия, долг коммуниста и офицера; их обновляли и вовсе непривычные

для этого зала обороты речи и общая интонация, в которой явственна была открытая, бескорыстно правдивая душа. Я не запомнил отдельных выражений потому, что в те минуты очень напрягался, чтобы не заплакать. Миша стоял внизу в проходе, между стульями, на которых сидели уже опрошенные свидетели. Он говорил, поглядывая то на судей, то на меня серьезно и печально. Его взгляд и его слова обдавали меня ощущением дружбы, душевной силы и мужества.

Вызвали свидетеля Исбаха. Он остановился, едва войдя в зал и зычно отрапортовал. Председательствующий попросил его подойти ближе. Он гулко отпечатал несколько шагов и стал в проходе. Председательствующий опять попросил его подойти ближе, и потом еще раз... Саша, разрумянившийся и, чаще обычного передергивая ртом по-заячьи, решительно взобрался на трибуну, и едва не облокотился на стол. Председательствующий уже совсем не по форме замахал на него руками. Оба конвоира, сидевшие за мной, фыркнули.

Исбах отвечал трубным голосом, чеканя жестяные газетные слова. Но это были слова одобрения, он говорил, что знает меня как морально устойчивого, идеологически выдержанного, ценного политработника, неоднократно отмеченного благодарностями командования и правительственными наградами.

В 1948-м, Исбаху все это припомнили, когда его исключали из партии, как "безродного космополита", а потом и самого арестовали.

Михаил Александрович Кручинский рассказывал о моей семье: "настоящая советская патриотическая семья", о том, как в 29-м году он говорил обо мне со своими друзьями в прокуратуре и в ГПУ Украины; шестнадцатилетний парень, а его хотели привлечь как троцкиста. Тогда же выяснилось, что все это было мальчишеством, продолжалось несколько недель, парень оказался под влиянием старшего родственника, но потом вполне оправдал себя в последующие годы, в боевой работе...

Прокурор спросил, что товарищ гвардии полковник знает по существу данного дела, – был ли он на фронте вместе с подсудимым? Ах, нет? Значит, все только по разговорам, так сказать, по слухам?

Адвокат попытался задавать "наводящие"вопросы, но они наводили только на повторение тех же общих доброжелательных отзывов о моем детстве, семье.

Прокурор отстранил их пренебрежительной репликой.

Опрос свидетелей закончился, был объявлен перерыв до следующего дня. В Бутырках меня уже не повели в камеру и я ночевал в боксе. Утром заседание открылось в том же большом кабинете, куда меня приводили в самый первый раз в октябре, когда суд был отложен.

Прокурор говорил долго, в том же тоне, который установился накануне – неторопливо, бесстрастно, рассудительно. – Дело необычное, он впервые с таким сталкивается, сказано много хорошего об обвиняемом, нет оснований не верить этому, хотя положительные отзывы имеют более общий характер и относятся к иному времени, чем то, когда были совершены действия, квалифицированные в ходе следствия как преступления. Вот, как например, отзыв, с которым здесь выступал этот заслуженный старичок...

Я едва не крикнул от злой обиды за Михаила Александровича, ведь он с детства был для меня олицетворением геройства гражданской войны и вдруг брезгливо-снисходительное "заслуженный старичок"?!

– Что же, нет оснований сомневаться: свидетели защиты – искренние, добросовестные товарищи... Но, даже, если поверить всему, что они говорят, значит ли это, что следует отказаться от обвинения? Народная мудрость гласит: кому много дано, с того много и спросится. Если бы на скамье подсудимых сидел рядовой солдат, простой рабочий или колхозный паренек... Впрочем, если такой парень иной раз и скажет, чего не следует, сморозит по невежеству, по пьяному делу глупость – его не станут привлекать по статье 58-ой. Но ведь тут перед нами научный работник, кандидат филологических наук, литератор, майор. Он-то должен знать цену каждому слову. Тут человек с авторитетом, даже из дела видно, сколько за него народу заступалось. И тоже все люди авторитетные, – научные работника, офицеры. Значит, слова такого человека необходимо расценивать куда более требовательно.

Он многие из обвинений отрицает, пытается очернить свидетелей, но он сам признал, что высказывал антисоветские шуточки, – хотя бы его слова об отделах кадров, – каких кадров, товарищи судьи? Кадров нашей победоносной героической ар-

мии... Товарищ Сталин сказал, что кадры решают все. А подсудимый даже здесь позволяет себе называть шуточкой грубо клеветническое антисоветское высказывание. В устах человека с таким званием, с таким положением и авторитетом подобные высказывания особенно зловредны, а подсудимый говорит "шуточки".

Мне могут возразить, это, дескать, были отдельные, случайные, неправильные высказывания. Выпил, – он ведь тут ссылался, что свои антисоветские шуточки изрекал спьяну, – хотя, как известно, из народной мудрости: что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. А когда мы имеем дело с образованными и умными людьми, нас должно больше всего интересовать именно то, что у них на уме, – куда больше, чем то, что на языке. Такие люди ведь умеют красиво поговорить. Мы здесь вчера достаточно послушали. У подсудимого, как говорится, язык хорошо подвешен, за словами в карман не лезет... Но как раз это и должно особенно насторожить. Вот тут выступал вчера майор, приглашенный защитой, пересказывал какие-то сплетни о свидетеле Беляеве, – мы все слышали это беспомощное бормотание, – такое бормотание, каким бы оно ни было лживым, никогда не может столько навредить, как этакое хорошо отработанное красноречие, с эрудицией, с пафосом, со всякими красотами стиля.

Нам никак нельзя забывать, товарищи, о некоторых страницах истории нашей страны, нашей партии, о том, какой страшный вред принесли иные записные краснобаи, те враги народа, которые годами считались великими ораторами и на всех углах кричали о своей революционности. А ведь находились, чего уж греха таить, и честные люди, которые им верили и видели в них преданных революционеров. А между тем, на поверку они-то оказались самыми опасными врагами, презренными наймитами контрреволюции, предателями, шпионами, убийцами...

Я, конечно, не провожу полной аналогии. Я не считаю, что подсудимый целиком и полностью подобен тем врагам народа, без разоблачения которых мы подвергли бы нашу родину смертельной опасности. Здесь, конечно, иной случай. Но этот случай, – я позволю себе такую игру слов, – все же не случаен. Нет, те антисоветские высказывания, о которых мы здесь слышали, не случайные оговорочки. В юности этот подсудимый был связан с троцкистами и, рассматривая его разговорчики, его поведе-

ние в годы Отечественной войны, которое привело к этому делу, мы не можем не увидеть прямой связи с его разговорами и поведением в 1929 году. От того года до 1945-го года ведет прямая линия, ведет, так сказать, мост... Что делал подсудимый в годы, когда вся наша партия, весь наш народ напрягали силы для социалистической перестройки нашей экономики, всей нашей жизни, в те славные, героические и трудные годы борьбы с кулачеством, в годы коллективизации, первых строек пятилетки? Что он делал во время великих подвигов, лишений, всенародного энтузиазма... В это время он был с теми, кто исподтишка поливал грязью нашу партию, нашего великого вождя, кто пытался посеять неверие в возможность построения социализма, кто клеветал, стращал, кто уже тогда втихомолку заряжал оружие гнусных убийц-террористов, кто вступил в сговор с империалистами и фашистами, злейшими врагами первой в мире страны социализма.

Могут возразить – он тогда был молод, он, разумеется, не знал этого, он хотел совсем другого... Допускаю, верю. Но ведь этот молодой человек и тогда не был безграмотным беспризорником; он читал Маркса, изучал иностранные языки. И он, видите ли, был так умен и так учен, что не мог поверить нам; не поверил ни партии, ни великому Сталину, ни истине социализма, а зато поверил шайке злейших врагов партии, презренных оппортунистов, поверил их краснобайству, их лживой демагогии. Тогда это сочли случайностью, просто он заблуждался. И тогда у него нашлись защитники, такие, как этот заслуженный старичок. Но теперь очевидно, что это все же не было случайностью. Нет, не случайно он был дважды исключен из комсомола в связи со своим троцкистским прошлым. И также не случайно он оказался теперь на скамье подсудимых. Во время жестокой борьбы партии против контрреволюционного троцкизма, он обнаружил симпатии к троцкистам, во время отечественной войны против германского фашизма он обнаружил симпатии к немцам, обнаружил германофильство. Нельзя не увидеть в этом определенной системы – именно идеологической системы. Очевидна, система в том, куда именно поворачиваются его мысли и симпатии. А ведь он не какой-нибудь малограмотный глупый обыватель и, что особенно важно, он не одиночка. Мы здесь видели, сколько у него друзей-приятелей, видим, кто эти люди и как они относятся к подсудимому,

как доверяют ему, даже уважают... Это значит, что его антисоветские настроения и высказывания могут оказаться особенно опасны, могут иметь особенно вредные последствия.

Поэтому оправдательный приговор, основанный на чисто формальном, поверхностном рассмотрении этого сложного, необычного дела, — был ошибкой, — серьезной политической ошибкой.

Поэтому в интересах партии, государства и армии, в интересах всех честных советских людей, кто так или иначе связан с этим делом, кто дал себя обмануть в силу излишней доверчивости, или ложно понятого товарищества, в интересах самого подсудимого, — он еще не стар, еще может и должен серьезно пересмотреть свое прошлое, может и должен решительно перестроить свою идеологию, свою психику, — его нельзя оставить безнаказанным.

Учитывая все изложенное здесь, а также все смягчающие обстоятельства, учитывая, что наше социалистическое правосудие стремится прежде всего к исправлению, руководствуясь такими-то статьями УК и УПК, я считаю возможным применить более легкую меру наказания — пять лет исправительно-трудовых лагерей и три года поражения в правах...

Адвокат говорил так, что уже в тембре его голоса звучала неуверенность, он тянул бесконечные сплетения пустых, бесцветных слов, начинал с одного, перескакивал на другое, не кончал мысли, искал в бумагах, — "вот здесь у меня убедительное свидетельство, несомненно положительно характеризующее... Товарищ прокурор, конечно, совершенно прав в своей политической, партийной оценке, так сказать, объективного смысла и значения в общих исторических масштабах и, так сказать, конкретных аспектов данной проблематики в целом, однако, с другой стороны, я прошу трибунал принять во внимание и учесть такие существенные свидетельства, характеризующие моего подзащитного с другой стороны..."

После этого он читал вслух большие куски из писем и заявлений моих друзей, из моих статеек; и как на зло выбирал самые общие фразы, декларативные похвалы, не обоснованные фактами, читал с нарочито декламационной манерой, интони-

руя случайные словосочетания. И вдруг пустился в рассуждения: – Товарищ прокурор говорил о германофильстве, – ведь это не уголовно наказуемо. Вот у нас называют Эренбурга франкофилом, а мой подзащитный германофил. Я согласен, что он не может считаться достаточно политически выдержанным и морально устойчивым, что он совершал ошибки, которые привели его к исключению из рядов партии... Я, лично, не стал бы давать ему рекомендацию в партию, как давали некоторые свидетели обвинения... Но исключение из партии еще не означает необходимости привлечь к уголовной ответственности. Я считаю правильным, что моего подзащитного исключили из партии. Как коммунист, я понимаю, что допущенные им ошибки и неправильные высказывания сделали это неизбежным. Более того, я согласен, что он частично виновен в совершении деяний, предусмотренных статьей 193-ей пункт 2 Г УК, в том, что не обеспечил выполнения боевого приказа в Восточной Пруссии... Однако, я считаю возможным просить трибунал оправдать по статье 58, пункт 10...

Он прочитал и стал многословно и бессвязно комментировать текст статьи...

– Поскольку в поступках и высказываниях моего подзащитного не было преднамеренных деяний в целях подрыва основ советского общественного строя, я считаю возможным и совместимым с моей совестью коммуниста просить трибунал учесть все обстоятельства а также то, где именно мой подзащитный может быть наиболее полезен, – товарищ прокурор здесь признавал его несомненные положительные стороны... Признавая частично обвинение, прошу об оправдании в смысле уголовной ответственности, но так, чтобы это не означало дезавуирования партийно-политического осуждения.

Прокурор взял слово для реплики и сказал резко и презрительно, что адвокат допустил недостойную передержку, согласившись признать вину своего подсудимого по статье 193. Он делает вид, будто забыл, что эта статья целиком подпадает под амнистию 1945-го года, и следовательно, вообще не может рассматриваться...

Когда председатель сказал: – "Подсудимый, вам предоставляется последнее слово", я встал, думая о том, чтобы только не забыть ничего из тех фактов, мыслей, логических конструкции, которые выстраивал долгими неделями, но вынужден был перестроить за несколько часов, слушая прокурора и

адвоката.

Я решил разделить свою речь на три части, различные по сути и по тону.

Сперва я возражал прокурору, стараясь говорить так же спокойно, так же уверенно, как говорил он.

– Меня не только огорчает и оскорбляет то, что говорил прокурор, но прежде всего я очень удивлен, я даже не представлял себе, что именно прокурор, которому партия поручила блюсти законы и справедливость, может так странно обращаться с истиной, с фактами, которые очевидны и проверялись здесь же, в этом зале, по тем материалам которые лежат на этих столах. Прокурор, – я старался говорить безлично, я не имел право назвать его "товарищ", но и не хотел по-арестантски "гражданин", – долго и патетично говорил, стремясь представить меня злокозненным пособником врагов народа в пору коллективизации и первой пятилетки.

Но ведь он не может не знать, что это неправда, что все мои мальчишеские связи с троцкистами продолжались считанные дни и недели в начале 29-го года. Но зато потом, я участвовал как раз в тех славных делах, в коллективизации, в строительстве пятилетки и участвовал вполне сознательно и активно. Ведь именно тогда я стал комсомольцем, кандидатом комсомола в 1930-м году, членом в 31-м. Прокурор говорил о каком-то мосте, о системе, которая позволяет ему связать мои мальчишеские проступки 1929-го года с теми преступлениями, которые мне приписали клеветники шестнадцать лет спустя. Он настойчиво напоминал об одном давнем дурном факте, словно тот может сделать правдоподобными лживые обвинения, которые уже столько раз были полностью опровергнуты и на прошлом судебном следствии и вчера опять. Давний мелкий факт и недавнюю большую ложь вы хотите связать в систему, вы говорите о мосте. Но где опоры этого моста? Вы не привели ни одного факта. Вы даже не упомянули, что знаете о них. А ведь вся моя жизнь за эти шестнадцать лет как на ладони. Все открыто, все можно проверить: что я делал, как работал. Есть десятки свидетелей, есть газетные архивы, есть статьи и заметки, которые я писал, и которые писались обо мне, о моей работе.

Прокурор несколько раз напомнил о том, что меня дважды исключали из комсомола. Но почему же он забывает, что меня оба раза восстанавливали? Ведь меня восстанавливали

именно потому, что были товарищи, которые знали обо мне правду и опровергали несправедливые, лживые обвинения... Да, меня дважды исключали из комсомола, но оба раза по доносу одного и того же клеветника, Бориса Кубланова. Раскройте папку со следственным делом, там едва ли не первая страница — письмо все того же Кубланова, направленное еще в 43-м году в редакцию "Красной звезды". Эта клевета была опровергнута в Харьковском обкоме комсомола весною 35-го года, а потом в Москве, в ЦК ВЛКСМ весной 38-го года. Однако, семь лет спустя встретились два потока клеветы, скрестились доносы Кубланова и Забаштанского и так возникло уголовное дело. Для того, чтобы сделать правдоподобной абсурдную ложь о пропаганде жалости к фашистам, используют лживый донос, в котором шестнадцатилетний парень изображается едва ли не вождем харьковских троцкистов. Но ведь кублановскую брехню уже дважды опровергали мои товарищи по Харьковскому паровозному заводу, которые мне, комсомольцу, рабкору доверили ответственную партийную работу. С 31-го по 33-й год я был редактором многотиражной газеты танкового отдела, самого боевого участка на заводе. Это была идеологическая работа и вся она запечатлена в сотнях газетных листов. И сейчас еще живы люди, которые помнят, как мы тогда работали, в пору непрерывных штурмов, без отдыха, часто вовсе без сна, бывало, больными, с высокой температорой. Именно тогда я заболел туберкулезом легких и тяжелым холециститом и только это позволило мне пойти учиться. Нетрудно найти документальные свидетельства и живых свидетелей того, как я работал в деревне, в Новоалексеевском районе в 30-м году, в Миргородском, Волчанском и Староводолажском районах в 32-м и 33-м годах, в комсомольских бригадах на хлебозаготовках, редактором выездных редакций...

(...Вспоминая свою молодость тогда на суде и еще много лет спустя, я гордился тем, что был причастен к событиям 30-х годов, которые воспринимал как трагедию — героическую и величественную. Вместо древнего Рока действовала и с т о р и ч е с к а я н е о б х о д и м о с т ь. И в нее я верил более истово, чем в детстве верил в Бога. Поэтому я гордился тем, что помогал отнимать хлеб у крестьян, что двадцатилетний городской невежда поучал стариков, исконных хлеборобов, как им жить, как работать, что им во вред, а что на благо. Ведь я смотрел на них с высот единственно правильной всеспасительной науки об обществе. Правда, я никогда не относился к ним так высокомерно и неприязненно, как иные, более "боевитые" товарищи, которые во всех "дядьках-селюках', и особенно в тех, кто не был членом колхоза, т.е. оставался

"надувальником", "индюком", "индусом", – видели зловредных подкулачников, или в лучшем случае, темных невежественных варваров, "несознательный элемент"; ведь я привык с детства уважать труд; почтение к мозолистым рукам у большинства моих ровесников было неподдельным. Но в собственничестве мы видели низменный отвратительный грех, основу "мелкобуржуазного мировоззрения". Поэтому я был убежден в своем идейном превосходстве над крестьянами и стыдился простых чувств сострадания, когда мы их грабили.

Все было просто и ясно: я принадлежал к единственно праведной партии, был бойцом единственно справедливой войны за победу самого передового класса в истории и, значит, за конечное счастье всего человечества. Поэтому я должен быть готов в любое мгновение пожертвовать своей жизнью, требовать любых жертв от моих товарищей, друзей, и уж конечно, не щадить никаких противников и не жалеть "нейтралов". В священной борьбе, которую вели многие миллионы людей, судьба одного человека и даже судьбы сотен тысяч были уже арифметически ничтожными величинами. Для того, чтобы победила рота, необходимо бывает пожертвовать одним-двумя, несколькими бойцами, для победы полка – ротой, для страны – армиями... А для торжества мировой революции можно было пожертвовать целыми странами и народами – Польшей, Финляндией...

Так я думал; так верил; так хотел чувствовать.

Споря с проповедниками нового шовинизма и "священной мести", отвергая их попытки оправдывать мародерство и насилия, я был убежден, что защищаю, прежде всего, чистоту идей, принципы марксистско-ленинского интернационализма и реальные интересы моего государства, моей партии и моей армии. Ведь это им угрожала деморализация, озверение, развязывание самых низменных инстинктов – собственнических и шовинистических. Я очень сердился, когда говорили, будто я "донкихотствую" во имя неких вечных нравственных принципов человечности, справедливости. Ведь я твердо знал, что нет и не может быть таких абстрактных принципов, ибо нравственность всегда социально определенна, классова, партийна.

Даже в самые тягостные, мучительные дни в тюрьме, в лагере, я ощущал себя частицей той партии, которая меня извергла, того государства, которое превратило меня в бесправного раба – зека. И готов был снова и снова воевать за них на любом фронте, работать до упаду "на полный износ", идти на любые опасности, на смерть. И был безоговорочно искренен, когда сочинял себе в утешенье стишки, вроде "Если ты один пока, то сам себе будь ЦКК. Пускай отобран партбилет, пускай решеткой забран свет... Не смей слабеть, жалеть себя. И твердо помни, что везде: в бою, в тюрьме, в любой беде, пускай клевещут, пусть хулят, – ты всюду партии солдат..."

И тогда, и еще очень долго позднее я не понимал, – не хотел понять, – что должен был бы гордиться враждой Забаштанского, Мулина, генерала Окорокова, недоверием следователей и прокуроров, гордиться тем, что они не хотели меня признавать своим. Потому что именно они олицетворяли настоящую природу, действительную суть и партийности и государственности.

Понадобилось много лет и множество новых разбитых иллюзий, новых опровергнутых самообманов для того, чтобы я, наконец, начал понимать, что мои обвинители были по существу правы, что все мои

попытки цепляться за букву доктрин, за идеалы, которые оказались безнадежно чуждыми действительности, – и впрямь последствиями интеллигентского "мелкобуржуазного" воспитания. Ведь и в детстве и в юности на меня влияли мои учители-словесники Лидия Войдеславер, Владимир Александрович Бурчак, Николай Михайлович Баженов, – и с ними, благодаря им, и сами по себе влияли Пушкин, Шевченко, Лермонтов, Некрасов, Диккенс, Шиллер, Лессинг, Никитин, Надсон, Бичер Стоу, Иван Франко, Леся Украинка, Лев Толстой, Короленко, Горький, Куприн, Андреев, Микола Кулиш, Тычина... Позднее, уже в студенческую пору, в мою жизнь вошли Достоевский, Гете, Томас Манн, Пастернак, Гумилев, Киплинг. Противоречивыми были влияния Маяковского, Есенина, Всев. Иванова, Пильняка, Багрицкого, Светлова, Хвыльового, Паустовского, Юрия Яновского, Ильфа и Петрова. Я их тоже почитал и любил, но они были для меня еще и живыми подтверждениями благодатности, праведности того мира, в котором и для которого я жил.

И теперь я убежден, что именно благодаря всем этим воспитателям я так и не стал достойным товарищем Забаштанского, Беляева, Мулина и им подобных.

Теперь я понимаю, что моя судьба, казавшаяся мне тогда нелепо несчастной, незаслуженно жестокой, в действительности была и справедливой и счастливой.

Справедливой потому, что я действительно заслуживал кары, – ведь я много лет не только послушно, но и ревностно участвовал в преступлениях – грабил крестьян, раболепно славил Сталина, сознательно лгал, обманывал во имя исторической необходимости, учил верить лжи и поклоняться злодеям.

А счастьем было то, что годы заключения избавили меня от неизбежного участия в новых злодеяниях и обманах. И счастливым был живой опыт арестантского бытия, ибо то, что я узнал, передумал, перечувствовал в тюрьмах и лагерях, помогло мне потом. Вопреки рецидивам комсомольских порывов, вопреки новым иллюзиям и новым самообманам 50-х и 60-х годов, пусть годы спустя, но я все же постепенно освободился от липкой паутины изощренных диалектических умозрений и от глубоко заложенного фундамента прагматических революционных силлогизмов, от всего, что и самого доброго человека может превратить в злодея, в палача, от поклонения идеям, которые "овладевая массами", становятся губительными для целых народов.

Но тогда в мае 1947-го года я верил в историческую необходимость и справедливость этих идей и хотел доказать судьям и прокурору, что я с ними одной породы, что я "свой".)

– Так где же тот мост, о котором говорил прокурор? Может быть, в моих статьях, в научных работах? Ведь речь идет об идеологическом мосте. Все эти годы я занимался идеологической работой. Где, когда, хоть кто-нибудь обнаружил в моих работах идеологические ошибки?.. Была одна попытка весной 41-го года: член комитета комсомола ИФЛИ был недоволен, что в диссертации о Шиллере несколько страниц заняла полемика с нацистскими литературоведами. Он говорил, что у меня "примитивный антифашизм", который не соответствует поли-

тике дружбы с Германией. Иных политических, идеологических упреков не было. Так где же опоры моста? Не в том ли, что я пошел добровольцем на фронт, когда мог получить броню, или в том, что все годы войны упорно сопротивлялся любым попыткам перевести меня на более высокие должности в тыл? На фронте я вел политическую, идеологическую работу. Меня приняли в партию, награждали. Все это факты. И этим фактам противостоят только враки двух лжецов, многократно изобличенных...

Так где же опоры того моста, о котором прокурор говорил так красноречиво и так голословно, хотя в этой же речи сам же справедливо осуждал злоупотребление красноречием?

Нет и не было таких мостов, нет и не было у меня никакой системы антисоветской идеологии. Это доказано всей моей жизнью, это доказано письменными и устными свидетельствами людей, чьи партийные и гражданские достоинства бесспорны и для вас. Почему же прокурор считает возможным игнорировать их правдивые свидетельства и строит некий фантастический мост на показаниях явных лжецов?

Я внимательно слушал речь прокурора. Из того, как она построена, как произносилась, совершенно очевидно, что говорил умный и образованный человек. Но это значит, что он не может верить тому, что утверждает. И я просто не могу понять — и это столько же огорчает, сколько и поражает меня, — почему прокурор считает нужным говорить то, чему сам не может верить? Почему он требует такой расправы со мной, которую сам не может считать ни справедливой, ни полезной для партии, для государства?!

Потом я возражал адвокату. Я сказал, что решительно не принимаю такой защиты, что я не нуждаюсь в снисхождении, что не может быть и речи о каких-то частичных признаниях вины, ибо никакой вины не было. Я возражал против неправильного термина "германофильство". Это буржуазное понятие, — а я верен принципам пролетарского интернационализма, ясно выраженным в словах товарища Сталина: "Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается..." Мои взгляды, мои слова, мои действия определялись не сентиментальными чувствами, а именно этими принципами, которые выразил великий вождь нашего народа и всего прогрессивного человечества.

О взглядах моих обвинителей не может быть и речи: у них нет собственных взглядов, а их речи и поступки противоречили основам ленинско-сталинского интернационализма.

Меня ободряла внимательная тишина, глаза друзей, пристальный взгляд прокурора. Он сидел неподвижно, уперев подбородок в прочно сложенные белые руки.

– Предоставленное мне последнее слово я хочу использовать не для защиты. На прошлом суде я просил не милости, а справедливости. И тогда решение было справедливым. И оно ничем не было опровергнуто. Поэтому я хочу не защищаться, а обвинять. Я обвиняю присутствующих здесь Забаштанского и Беляева.

Они сидели слева, отделенные от меня одним конвоиром и одним пустым стулом и оба смотрели в сторону или в пол, а когда я начал говорить о них, то с удовлетворением увидел, как Забаштанский стал набухать бурячным румянцем, а Беляев дернулся и метнул испуганный взгляд.

– Я обвиняю их в двойном преступлении, – против личности и против государства, – эту часть речи я вытвердил давно, отобрав, отполировав каждое предложение. – Они совершили и совершают преступление против государства, потому что на два года вывели из строя политработника, который и в последние дни войны и потом на оккупированной территории в повседневной работе мог за одну неделю, за один день принести стране и партии больше конкретной пользы, чем оба они вместе взятые за всю свою жизнь – жизнь шкурников, клеветников, карьеристов. – Они совершили и совершают преступление против личности тем, что сознательно и злонамеренно клевещут, выдвигая заведомо ложные тяжкие политические обвинения против честного гражданина, беззаветно преданного родине и партии, тем, что обрекли меня на незаслуженные, постыдные и мучительные испытания, а мою семью на горе...

Все же я переоценил свои силы. Внезапно горло перехватило спазмой, одеревянел затылок. И я услышал свой голос. Он сипло слабел. Я испугался, что упаду, сорвусь на крик, не удержу слез. Это покажется нарочной истерикой и я рывком кончил: "Это все. Прошу не милости, а справедливости, не защищаюсь, а обвиняю".

Суд остался на совещание. Все вышли. Меня опять отвели

в тупичок в конце коридора. Потом подошел адвокат несколько смущенный:

— Вы напрасно так волновались. Вы должны понимать, что я партийный человек... Прокурор сказал, что ему очень понравилось ваше последнее слово. Он говорил о вас прямо-таки хорошо: толковый, грамотный. Вы должны понимать, — у него тоже свои обязанности.

Прошло более трех часов. Я несколько раз поел, — хлеб, мясо, печенье, — в мешке были остатки передачи, — видел издали Надю, маму, отца, они кивали, улыбались.

Потом уже к вечеру позвали обратно. Опять собрались все свидетели, они стали, сгрудившись в одном углу ближе к двери.

Председатель читал неторопливо, басовито, я сразу услышал опостылевшие, зловещие слова. И под конец „...три года заключения в исправительно-трудовых лагерях... и два года поражения в правах”.

Поглядев на Ивана, Галину и всех, кто стоял рядом с ними, я громко сказал: ”Прощайте, друзья!” И тут же мне стало очень стыдно дешевого декламационного пафоса. Такие интонации бывали у мамы, когда она хотела вызвать жалость или вообще ”произвести впечатление”.

К рассвету следующего дня я уже был в ”осужденке”, в 106-й камере, рядом с той 105-й, откуда в декабре уходил на первый суд. Встретил несколько бывших сокамерников. Меня расспрашивали очень жадно. Я был совсем недавно с воли, и двух месяцев не прошло, как ходил по Москве, читал газеты, слушал радио, а в этой камере не было никого ”моложе” года. Всего чаще и настойчивее спрашивали, разумеется, о том, что слышно про новую амнистию, про указ или манифест. В тюремно-лагерных слухах — ”парашах” — именно тогда появилось выражение ”манифест” — мол, готовится некий манифест — всех зека, кто до пяти лет — на волю, кто до десяти — на высылку, а в лагерях останутся только самые рецидивисты и настоящие гады, кто убивал, пытал. Мне очень хотелось утешать, говорить приятное. Осведомленные люди, — и мой адвокат и еще кое-кто, — действительно рассказывали, что к 30-летию Октября ждут больших льгот и новой, более широкой амнистии, чем та, что была в 45-м году. Я это подробно пересказывал. И сам факт, что человек вот-вот с воли и необыкновенные обстоя-

тельства моего дела,– по 58-й, а был оправдан и потом только три года получил, – да и мои пропагандистские навыки утешительства придавали сообщениям о предстоящей амнистии дополнительную убедительность.

Два года спустя в марфинской шарашке, когда новоприбывшие зеки рассказывали, что к 70-летию Сталина готовится амнистия и манифест, я тоже хотел верить и надеяться, но уже невесело смеялся, повторяя бутырскую шутку: ”что такое ЖОПА? – Ждущий Освобождения По Амнистии”.

В ”осужденке” я не успел завести друзей, даже толком ни с кем не познакомился.

На третье утро веселое солнце пробивалось сквозь мутные намордники, окна были открыты всю ночь и в духоту битком набитой камеры сочилась приветливая свежесть. Вскоре после подъема внезапно залетел стриженок. Он ошалело метался в радостном галдеже: – Не пугайте его! Не лови! Не махайте, жлобы, он же расшибется! Вот это радость... Это сегодня на волю кому-то... Или письмо будет. Нет, нет, это значит воля отломится!.. Не пугайте птаху, дуроломы!..

Стриженок благополучно выбрался обратно в окно, а в камере еще долго обсуждали этот добрый знак.

Тридцать шестая глава

БОЛЬШАЯ ВОЛГА

В тот же день еще до обеда меня вызвали с вещами. Все уверяли: идешь на волю, ведь даже срок кассации не вышел, значит, прокуратура применила амнистию... Очень хотелось верить, но меня смущало время: я уже знал, что днем не освобождают, а только к рассвету. Я запрещал себе надеяться и все-таки надеялся. Повели вниз "на вокзал" одного, но привели в большое помещение "шмональной", где на скамьях вдоль стен сидело человек двадцать. Я подсел к молодому, угрюмому в военном:

– На каком фронте был?

– На волховском.

– Осужден?

– Ага. Два года. 163-я статья "б", пропил казенное барахло, пришили кражу. А ты?

Общество вокруг было пестрое: несколько пожилых мужиков, но большинство явно городские – по виду рабочие, технари, мелкие служащие. В стороне сидел голый паренек, едва прикрытый куском грязной мешковины. Он тупо смотрел в одну точку. Мой сосед пояснил:

– Проигрался. Сопляк, играть не умеет, а лезет.

Не понимая, что значит это странное сборище среди дня, я был растерян. Об освобождении не могло быть и речи. Но ведь по закону я должен был оставаться в тюрьме до решения кассационных инстанций.

Вокруг говорили, что ждут "покупателя", то есть представителя лагеря, который набирает работяг.

Вошли тюремные офицеры с пачками "дел" и невысокий вольный, по виду кладовщик или завхоз небольшого учреждения.

Он заговорил деловито, приглашающе:

–Новый лагерь. Хороший. Недалеко от Москвы. Поживете на чистом воздухе, лучше, чем в тюрьме.

Весь наш этап, не больше тридцати человек, уместился в одном большом грузовике, покрытом фанерной будкой. Ехали

несколько часов; в щели и в полуоткрытые двери сзади, за которыми сидели конвоиры с овчаркой, виднелись то лесная дорога, то деревни. Тянуло душистым теплым воздухом.

Остановились посреди леса – песчаные дороги, высокие сосны. В стороне за просеками угадывались красно-кирпичные, серо-бетонные остовы больших зданий и желтые бревенчато-дощатые ребра – там строительная зона. В жилой зоне новехонькие бараки пахли смолой, везде лежали штабеля бревен, досок, виднелись едва начатые и почти законченные срубы. Мы с Николаем – так звали вояку – попали сперва в бригаду разнорабочих, копали рвы и канавы в жилой зоне, сгружали с платформ доски и бревна, убирали строительный мусор. Через несколько дней новоприбывших стали по одному вызывать к начальнику лагеря.

Капитан Порхов сидел в кабинете, не снимая фуражки, сдвинутой на лоб, так, что лаковый козырек закрывал брови и затемнял тяжелые, неподвижно угрюмые глаза. Лицо у него было бледное, пригожее, но красный толстогубый рот кривился зло. Небрежно листая тюремные дела, он спрашивал отрывисто скучным голосом:

– Кандидат наук? Ученый, значит? А чего делать умеешь? Ну, все науки здесь на-хер! Понимаешь? А топор держать умеешь? Не очень, так научишься, а не научишься – пайки не заработаешь. А не заработаешь – дойдешь и подохнешь. Тут не санатория. Так вот, будешь теперь кандидат плотницких наук. Давай, топай!

Таким же образом в плотники были определены еще несколько десятков новых зека.

Бригада, в которую попали мы с Николаем, строила бараки в жилой зоне. Бригадир, пожилой, щуплый мужичонка из бытовых назначал нам простые уроки – пилить по его разметкам бревна и доски, таскать, подавать.

– Ты с пилой поучись... Когда пилу поймешь, я тебе дам топорик. У настоящего плотника он за все – и за пилу, и за стамеску, и за рубанок. Я вот могу топориком доску вытесать, ложку сработать, могу наличник уголками насечь или карниз... А вот мой отец одним топориком такие узоры выводил, другой бы и лобзиком и шильцем не управился...

В нашей бригаде сразу же обнаружились "законные воры", которые считали, что им работать "не положено". Мой

приятель Николай оказался Николой Питерским, – "родичем" или "родским", – то есть взрослым, заслуженным вором. Кроме него, были еще Леха Лысый, – он же Леха Харьков, – уже немолодой, тощий, яйцеголовый, глянцево плешивый, носатый, и Леха-Борода или "Поп", улыбчатый, говорливый с окладистой русой бородой. Он с настоящим артистизмом изображал митинговых ораторов, руководящих товарищей, живописно жестикулируя, картинно опирался на "трибуну" и очень выразительно лопотал:

– Товарищи! На сегодняшний день, в этот решающий момент кажный должон как один... Я категорицки заявляю и обратно призываю... Как сказано в установке, чтоб никаких там уклонов, ни туды, ни сюды... Сомкнемте ряды по рабочему дружно, и только вперед, как мы есть передовые. И ни в коем случае не позволим... И чтоб наш интузиязм горел ясным огнем...

С "бородой" был неразлучен Сашок Блокада – самый молодой из воров. Он был сыном и внуком ленинградских воров. Отца и деда расстреляли в тридцать седьмом, когда "чистили рецидив". Он тогда еще в школу не ходил. Мать умерла в блокаду, а его взяли в детдом. От блокады осталась памятка – шрамы на бедре и голени от осколков немецкого снаряда. Сашок был неразговорчив, угрюм. Я жалел его, 17-18-летний он выглядел не старше 13. Развеселый "Борода" мне даже стал симпатичен именно тем, что покровительствовал "малолетке".

Но однажды в бараке вечером здоровенный верзила из хулиганов пристал к "Бороде", который казался незлобивым весельчаком. Маленький Сашок бросился на верзилу молча, стремительно, – ударил носком ботинка в лодыжку, головою в подбородок, двумя кулаками в живот – тот грохнулся навзничь.

Тогда неторопливо подошли старшие.

– Ты, что, падло, малолетку обижаешь? Думаешь, раз ты лоб, так тебе все можно? А ну, ползи под юрцы, пока живой... Хулиган в рот долбанный... Привык людей убивать!

Верзила послушно полез под нары. Воры деловито распотрошили его мешок. Сашку досталась "лепеха" – пиджак, который он вскоре проиграл.

Никола, оба Лехи, малолетка и еще несколько их приятелей не работали, они находили убежище в недостроенных бара-

ках и там курили, играли в карты, толковали о своих делах. У них были сигнальщики и если подходил кто-нибудь из начальства, они оказывались на рабочих местах, с "понтом" пилили, тянули бревно или покуривали:

– С утра вкалываем, гражданин начальник, всю норму перевыполнили, теперь законный перекур.

Бригадир и не пытался добиваться от них работы. На первых порах он даже удивлялся тому, что я работаю, несмотря на то, что воры ко мне благоволили, величали майором, угощали табаком, чем обычно не удостаивали чужаков. У меня уже было достаточно опыта и здравого смысла, чтоб не пытаться их перевоспитывать. Но я и не хотел подделываться к ним. Никола поначалу соблазнял:

– Да брось ты, майор, рогами упираться... От работы кони дохнут. Пускай мужики вкалывают. Сидоры Поликарповичи, им так положено, они кроме пилы и топора ни хрена не знают. А ты ж, вояка, заслуженный ученый человек, посиди с нами, покури, тисни ро́ман... Бригадир сам сообразит, как нужно и процент и норму; он мужик битый, знает, как надо жить с людьми...

"Люди" – значило воры. В их языке слово "настоящий человек" означало только настоящего вора, – он же "голубая кровь", "чистый босяк", "честный жулик", в отличие от "сора", "малолеток", "сталинских воров", – низших рангов того же сословия, а также от вояк, фраеров, барыг, мужиков и сук.

Но я возражал, что не привык и не хочу привыкать, чтоб за меня в артели работали другие.

– Ну, что ж, живи, как хотишь. Я тебя, конечно, уважаю, как я сам фронтовик. Ты мне, конечно, друг, я никогда не забуду, как ты со мной кусок поделил, – честный вор такое не забывает. Но я тебе скажу как друг, ты не обижайся, майор, ты–олень. Ну, прямо как фрей небитый, наводишь мораль – "работать", "артель". Да ведь эти Сидоры Поликарповичи тебя и продадут и купят за полпайки. Это они сейчас добрые, потому как видят, что люди тебя уважают, что ты с нами кушаешь. Они нас боятся, а покажи ты слабину, они тебя без соли схавают.

Плотником я работал месяц, потом меня вызвали в санчасть;

в тюремном деле нашлась справка, что в Унжлаге я был медбратом. Я получил назначение лекпома в штрафную колонну, которую заново создавали где-то на берегу Волги в гравийном карьере. Больше сотни зека погрузили в трюм открытой баржи. У бортов были крытые ниши, а над серединой только несколько распорных балок и небо. Тянулась наша баржа долго, – больше суток, – шлюзовалась, отстаивалась у безлюдного берега.

(Двадцать лет спустя пассажирский теплоход прошел то же расстояние за три или четыре часа.)

Выгружались мы вечером к закату. Надя еще накануне приехала в лагерь с передачей. Ей объяснили, куда нас повезли. Она добиралась на попутных машинах, ночевала у колхозников и целый день до вечера ждала нашего прибытия. Свидания нам сперва не давали. Капитан говорил: "Ничего не устроено, ничего нет, ишшо вахты нет, понимаете, ну, игде я возьму конвой? игде надзиратели? совсем нет кадров. Разгрузка идет, понимаете?"

Но потом он все же уступил и самолично конвоировал меня на какой-то пригорок, где позволил нам посидеть с полчаса: "пока солнышко не будет совсем уходить, понимаете, пока еще светло... Так положено, понимаете. Я сочувствую, но вы тоже должны понимать. Так положено."

Он тактично сидел в сторонке. Потом, на обратном пути я без особого труда упросил его принять в подарок четвертинку водки, – Надя привезла мне две, – и пачку хороших папирос.

– Это, понимете, совсем не положено... Могут даже дело пришить, сами понимаете. Но если вы так по-человечески просите... я, конечно, тоже понимаю...

Первую ночь мы спали в песчаном овраге вповалку на брезенте будущих палаток, при свете двух прожекторов, – мертвенно-лиловатый, слепящий, злой свет, – под клокотанье и стук движка, питавшего прожектора. Среди ночи пошел дождь. Одни с кряхтеньем и бранью пытались пролезть под брезент, другие продолжали спать, где-то подрались, галдели, матерились. Часовые орали – они тоже мокли и злились. Овчарки нервно лаяли, возбужденные непривычным беспорядком... На утро у меня было десятка два пациентов – жар, озноб. Накануне отправки всем делали прививку поливакцины – очень болезненные уколы в спину. Почти все старшие воры увильнули. Я

тоже отказался, помня по фронту, что эта прививка может вызвать трех-четырехдневное заболевание, а мне предстояло быть единственным "медиком" на полтораста человек. Уже на барже у многих начался жар, на местах уколов набухали красноватые опухоли. Я кормил больных аспирином и стрептоцидом, и благословлял завхоза санчасти. Бывший морской лейтенант, осужденный за хищения выпросил у меня почти все папиросы, — "тебе там с махоркой сподручнее будет", – и еще что-то, но зато взамен выдал без счету из аптечного склада все, что я заказывал, и даже еще больше: коробку пенициллина в таблетках, витамины, множество ампул тогда еще нового кордиамина, и какие-то американские и английские лекарства.

Новый лагпункт соорудили за полдня, благо дождь к утру прошел. В узкой лощине, отделенной высокой косой от берега Волги, под крутым песчаным откосом огородили двумя рядами колючей проволоки квадрат примерно сто на сто шагов. Внутри поставили на дощатых основах две длинных палатки, каждая могла вместить человек семьдесят. В палатках сбили сплошные нары по обе стороны, а посередине длинные столы из неструганых досок. В левой палатке выгородили брезентом и фанерой две кабины:для санчасти и для канцелярии. В санчасти стояли белый шкафчик, белый столик с лекарствами, белая лежанка для больных, — специальная мебель, привезенная из лагеря. Кроме того, под прямым углом вкопали две лежанки для меня и для бухгалтера. Он жил в санчасти, а работал в соседней кабинке – "канцелярии", где жили нарядчик-нормировщик и учетчик, он же культработник.

В углу зоны вырыли яму и сбили из досок уборную, в другом углу, ближе к входным воротам сложили большой очаг на два котла, вкопали кухонный стол с навесом, соорудили дровяной склад и нечто вроде шкафа. Палатки для охраны и дощатый домик для начальства поставили наверху, на откосе. Над углами обкопали площадки для часовых – "попок" и установили дощатые "грибки".

Пост над уборной был расположен так, что его почти не могли видеть сверху. Здесь велся "товарообмен" через худой навес. Между двумя рядами колючей проволоки проходила за-

претная зона. Но из-за крутизны склона в наружном ряду у поста был разрыв – щель, и часовой мог, зайдя в "запретку" получать из уборной товар: "заигранные" пиджаки, сапоги, белье, – в том числе и недавно полученное казенное, – или даже деньги, которые у воров никогда не переводились. Сменившись, часовой через два часа опять приходил на пост и приносил огурцы, помидоры, хлеб, картошку, а главное водку. Тарой служили грелки, которые выпрашивались у меня и всякий раз честно возвращались, причем и мне, и соседу-бухгалтеру подносили по сто-сто пятьдесят грамм и толику закуски. Бухгалтер, Андрей Васильевич, пожилой, неразговорчивый москвич, оказался очень спокойным доброжелательным соседом. Он уже давно был зека, часто болел, – гастритами, холециститом, воспалением легких, – и вместо инвалидного лагпункта его отправили бухгалтером на штрафной: работы немного, лежи, загорай.

Нарядчик – дядя Вася был директором обувного магазина в Москве. Он сидел уже третий раз и все по "хозяйственным делам". В этот раз он получил десять лет по указу от 7 августа 1932 года, который предусматривал очень суровые кары "за хищения социалистической собственности". Он носил опрятное военное обмундирование, – офицерскую гимнастерку, бриджи, хромовые сапоги, – но все его повадки и ухватки выдавали сугубо штатского и притом именно торгового человека.

– Нет, на фронте я не бывал, не довелось. По правде сказать, я никогда и не старался... Геройство я, конечно, уважаю и сознаю вполне, защита родины – святое дело. Если бы пришлось, я, конечно, свой долг исполнил бы как следует. Но самому лезть черту в зубы, это, по-моему, извините, просто глупость или, может быть, рисковая отчаянность. У молодых это, конечно, бывает и это даже очень хорошо, в смысле патриотизма. Но я-то уже дедушка. Вы не смотрите, что пока что ни сединки и все зубы при мне. Это у меня здоровье от дедов и прадедов, ярославских волгарей. Они, конечно, старой веры были и крепкой породы, ни водки не пили, ни табаку не курили. Вот и жили до ста лет и уж, конечно, извините, без докторов... А с какого вы думаете, я года?.. Вот, и не угадали, – с 94-го я, еще

перед войной двух сыновей оженил и дочку замуж отдал. Трое внуков у меня уже в 41-м было. А детей шестеро, от первой жены четыре и двое от второй. Старший сын с пятнадцатого года, меня тогда папаша оженили, как та война началась, конечно, чтобы от призыва уберечь, но все же не удалось. На второй год потянули. Правда, близко к фронту не попадал. Работал сапожником, шорником, ротным писарем. Первую жену я схоронил в тридцать третьем году, от грудной жабы умерла в одночасье. Вторую взял тоже ярославскую, не какую там с улицы, родственники приглядели тихую добрую девушку из хорошей семьи. Не в красоте, конечно, счастье, мне хозяйка нужна была в дом для детей... Сыновья и дочки тогда еще в школу ходили, старшего я потом направил в институт, на инженера. Сам-то я, ведь конечно, самоучка. У папаши до революции было обувное дело. А я в солдатском совете был, в партию вошел. Но работал всегда по хозяйственной линии, как имел еще от папаши квалификацию по сапожной части, в смысле обуви и, конечно, вообще в кожном деле. Если бы мне полное образование, я, может быть, и в директора большого треста вышел... Но где там было учиться — ведь семья, и папаше помогал. Их как разорили в революции, так они и при НЭПе уже не могли обратно подняться. Года не те. Здоровы, конечно, еще работали в артелях, в кооперации, значит, — но как началась пятилетка, пошли, конечно, трудности с питанием и вообще... А я как партийный, — то одна мобилизация, то другая, — на коллективизацию, на хлебозаготовки, или где прорыв по линии снабжения. А у меня характер такой: сам никуда не лезу, но если что поручают, то, конечно, стараюсь добросовестно. После первой судимости меня еще в партии восстановили. Потом я опять был на ответственных должностях, тоже, конечно, по новой — "недостача". Как это в торговом деле бывает: заведется такая стерва и ненасытная и подлая: ему все мало, он, как говорится, у нищего копейку отнимет и, конечно, пропьет и еще куражиться будет. Он сам, дурак, нахальный такой, что его любой юный пионер уже за версту понимает, как жулика. А потом он еще и других людей топит. Вот через таких

негодяев и я получил срок по Указу; хотя правду скажу, — дело ведь уже давнее — я, конечно, там допускал, ведь нельзя у воды жить и пальцев не замочить; но что мне тогда навешали целые миллионы, так это была чистая клевета. Отправили меня тогда в ближний лагерь, в производственную колонию от Бутырской тюрьмы. Но вскорости сактировали, язва — этой — двенадцатиперстной и, конечно, общий упадок сил. И вот опять взяли. В третий раз. Опять Указ: десять и пять. А язва, как была при мне, так и осталась, конечно. Опять одна надежда на медицину...

В нашей штрафной колонне было несколько "законных" воров. Старший у них — по старой "фене" это называлось "паханом", считался Леха Лысый. Его ближайшее окружение составляли Никола Питерский, Леха Борода, Никола Зацепа, Сеня Нога и др. Никола напоминал скорее матроса, чем профессионального вора; Сеня был фронтовиком, инвалидом, — на голени гноился незаживающий свищ от осколочной раны. Его я с первого же дня освободил от всех работ, кормил витаминами, старательно перевязывал, пытался лечить. Он говорил высоким, почти писклявым голосом, жаловался на тяжелую воровскую долю и, славя благородство честных жуликов, рассказывал фантастические истории об их подвигах, уделяя себе скромную роль очевидца. Предупреждая сомнения, он клялся, "чтоб мне сгнить в тюрьме, если свистну.. Век мне свободы не видать, — чистая правда".

Леня Генерал пришел на прием в один из первых дней после открытия санчасти перед утренним разводом. У входа в кабину, где я накануне вколотил две скамьи для ожидающих приема, сидели несколько явно больных и "косящих" на хворь, зябко кутавшиеся в мешки и "куфайки". Внезапно они загалдели: "Чего лезешь без очереди? Тут все больные!.. Тебе что больше всех надо?" Потом крики внезапно стихли. Брезентовый полог кабинки резко отмахнулся и вошел рослый белоку-

рый парень с ярко голубыми глазами и еще по-ребячьи мягким красивым ртом.

– Доктор, я сильно больной, работать не могу!

На лежанке уже сидели двое с термометрами, – каждый держал по два, чтоб обе руки были заняты и не удавалось "настучать" повышенную температуру.

– Чем ты болен? Что болит?

– А это ты должен мне сказать. На то ты и доктор. На, смотри!

Он картинно распахнул вольный пиджак, надетый на голое тело. Белая юношеская грудь "расписана" синими наколками. Из-за пояса торчал топор.

– Ну, что ж, давай послушаю.

Я понимал, что это испытание на "слабинку". Уступить было бы не только постыдно само по себе, но вело бы ко все новым унижениям, к порабощению. В животе мерзкий холодок страха, но отступать некуда, и выбора не было. Не спеша я взял стетоскоп, вставил оба конца в уши и с ухваткой заправского лекаря наклонился к пациенту.

– Дыши глубже!

Левой рукой я приставил стетоскоп к его груди почти у горла, а правой схватил топор, выдернул рывком и сразу же ткнул топорищем ему в живот под ложечку, не слишком сильно, но достаточно, чтобы он согнулся, задохнувшись. Тогда я повернул его, вытолкал за полог и наорал вдогонку по всем регистрам "оттяжки": в рот, в нос и так далее. Он отдышался и откликнулся довольно миролюбиво:

– Ну, и хрен с тобой, если ты такой жлоб... А я все равно работать не буду, у меня сифилис.

И он действительно ни разу не вышел на работу. Получал штрафную пайку 300 граммов, но получал и передачи и подкармливался у дружков. Несколько раз он просил:

– Доктор, ну, поимей жалость, запиши больным, а то дойду на трехстах граммах. Не положено? Хочешь на лапу? Тельняшку новую или прохаря хромовые, тут у одного фрея сорок пятый номер, тебе как раз будут. Я с него честно заиграю, бля буду. Не хочешь? Честняга, значит? Вам, доктор, значит, не жалко, что вот так, рядом с вами будет помирать от истощения молодой человек, юноша, который возможно тоже хотел быть честным советским гражданином, патриотом родины,

но коварная судьба закинула его в преступный мир. Ведь мой папа генерал, Герой Советского Союза, а мама — заслуженная артистка, но мою молодость погубили мое доброе сердце и такая любовь, что если про нее хорошие стихи написать или кинофильм накрутить — миллионы людей плакать будут...

Мой рабочий день начинался в четыре утра. Приходил повар, немолодой армянин и говорил:

— Доктор, иди смотри закладку на завтрак. Эти биляди опять, наверное, зажали жиры...

Каптер конвойного взвода, белобрысый старшина, привозил на тачке мешок пшена, консервные банки — бобы и тушеное мясо, буханки хлеба, белесые комья комбижира, похожие на мыло, кусковой сахар, насыпанный в оберточную бумагу.

Несомненно, он воровал. Но ни я, ни меланхоличный повар ни разу не могли его уличить. Он бойко частил цыфрами: — сиводни имеешь гарантийных паек столько-то, премиальных столько-то, штрафных столько-то. — Пересчитывать и перевешивать было невозможно, к шести утра должен был поспеть завтрак, к этому же времени повар и его помощник должны были нарезать и развесить больше сотни хлебных паек.

С половины шестого я начинал утренний прием: до развода, то есть до семи, принимал тех, кто еще не имел освобождения, или у кого освобождение кончалось. С семи до девяти у входа толклись "ходячие" больные, после десяти я навещал лежачих.

Командир взвода охраны, он же начальник "колонны", курносый лейтенант, горластый матершинник, сменивший благодушного капитана-киргиза, уже на второй день сказал:

— Вы, доктор, что такое допускаете? Ты охреновел, что ли? На пятнадцать человек освобождение написал. — А тут еще сколько отказчиков без всяких... Это ж кто работать будет? Я не посмотрю, что вы доктор, профессор, самого пошлю в карьер, иди, катай тачку, давай про́цент.

— Гражданин начальник, я освободил только явно увечных инвалидов и тех, у кого высокая температура. Можете поглядеть, что у них от прививки получилось, как спины раздуло. Они не то что работать, ходить не могут... Если я такому не дам освобождения, а он помрет в карьере, что тогда? Мне-то, навер-

ное, новый срок дадут. Но и вам не весело будет, похуже, чем за малый процент.

— Это вы правду говорите. Нет, ты только подумай, какое блядство... надавали мне доходяг и калек, и чтоб я с ими каждый день сотню тонн гравия давал... Ты уж, доктор, старайся, лечи тех поносников, в рот их долбать и сушить вешать...

Вскоре после полудня закладывался обед, потом надо было снимать пробу.

В первый раз повар принес мне и бухгалтеру по большому котелку супа, заплывшего оранжевым жиром, с кусками тушеного мяса из банок. Произошло резкое и решительное объяснение. Бухгалтер и я были единодушны: объедать работяг — подлость. Сам повар может жрать от пуза, так уж заведено, а нам давай, как всем.

— Как всем? Так ведь никто же не поверит. Если вы, — простите за выражение, но так все говорят, — "придурки", значит, вы имеете и питание лучше... Так все думают, и все равно будут думать, хотя вы даже совсем не будете кушать с котла, а только свои передачи.

Мы запретили повару носить еду в кабинку. Четыре придурка: дядя Вася, учетчик-культработник, бухгалтер и я — должны были сами получать свои порции на кухне, на виду у всех, кто оставался в зоне, т.е. больных и временно прикомандированных к поварам дровоколов.

Весь час обеденного перерыва шел прием работяг: перевязки ранений, ушибов, раздача лекарств постоянным пациентам — желудочникам, малярикам. Выдавать лекарства впрок не полагалось, больной должен был принимать все в моем присутствии.

Потом начинался очередной "амбулаторный" прием, за ним второй "обход", закладка и проба ужина, а вечером приходили внеочередные пациенты с сердечными приступами, с поносами и рвотой, либо те, кому я назначал перед сном банки и клизмы.

Все же в течение дня выдавались и свободные часы; я мог даже полежать с книгой на траве перед кабиной, отвернувшись от уборной так, чтобы ветер с Волги перешибал хлорный смрад. В такие часы ко мне подсаживались дядя Вася, или Сеня Нога, Леня Генерал или учетчик-культработник Миша. Это был молодой адвокат-москвич, не по летам рано располневший, пе-

чально глядевший выпуклыми глазами в мохнатых ресницах. Он недавно закончил университет и получил направление в адвокатуру во Львов. Его отца, тоже адвоката и юрисконсульта, арестовали по крупному делу вместе с множеством разнокалиберных хозяйственников. Миша ходил к следователю, просил передать отцу, страдавшему диабетом, лекарства, а следователь написал рапорт, что Миша предлагал ему взятку. Его осудили на два года. Но тем временем его отец был оправдан и хлопотал о сыне. Миша учился в одной школе, в одном классе со Светланой Сталиной и говорил о ней с неподдельной симпатией. Так именно благодаря ей, он впервые прочитал Есенина: она принесла в школу книгу его стихов. Одноклассники читали по-очереди. У одного из ребят учительница отняла "вредную книгу", началось расследование, все, разумеется, молчали, но Светлана сама пошла к ней: – это моя книга, я у папы взяла. – Тут сразу все тише воды стали.

В штрафной "колонне" законные воры вели себя иначе, чем в основном лагере. После бурного "толковища", на время которого всех, кто не в "законе", загнали в другую палатку, – и малолетки следили, чтоб никто не приближался к месту, где шло тайное совещание, – они, вопреки обычаям, образовали свою отдельную бригаду и Леху Лысого выбрали бригадиром. Все они, – за исключением одного-двух действительно больных и упрямого Лени Генерала, – выходили с утра в карьер. В пасмурные дни после обеда большинство бригады оставалось в зоне, к тому времени дневная норма считалась уже выполненной или перевыполненной. Но в хорошую погоду они предпочитали загорать в карьере.

Дядя Вася и Миша объясняли, что тут, конечно, не без "туфты", но все же и некоторые воры и специально отобранные в бригаду работяги действительно "вкалывали" на совесть. С первых же дней прославился рекордами – огромным количеством тачек гравия, вывезенных из карьера на баржу – законный вор Карапет Аракелян, прозванный Бомбовозом. Невысокий, плечистый, он почти всегда блаженно улыбался и ничем не походил на вора. Он был приветлив, добродушно услужлив, без угодливости, и, что уж совсем не вязалось с блатными нравами, любил работать. Полуголый, медно-красный, руки и

грудь бугрились мышцами, лоснились потом, – он катил тяжеленные тачки гравия бегом, весело покрикивая: "Давай дарога, бамбовоз!"... И в зоне он тоже находил обычно работу у кухни. Ел он много, но честно отрабатывал дополнительные порции, на которые не скупился повар-земляк. Бомбовоз колол и пилил дрова, чинил очаг, пристраивал полки, выносил очистки и мусор. И тем не менее, он считался законным вором. А его рекордами гордилась вся воровская бригада. Но добродушного здоровяка возненавидел Гога-Шкилет, долговязый, тощий, чернявый мальчишка из малолеток. Играя с Бомбовозом в "буру", он передернул и тот отказался играть.

– Так не хочу, вор с вором должен честно играть, я не фрей какой...

Гога ощерился и обругал его, что не полагалось по воровским законам и, к тому же, обозвал толстожопым ишаком, что Бомбовоз воспринял как оскорбление национального достоинства и смазал его тяжелой лапой.

– Закрой грязный рот, сука ты малинька!

Гога завизжал, размазывая кровавые сопли:

– Он вора вдарил... Сука... Падло... Землить его...

Взрослые воры окружили их. Хриплым тенором надрывался Никола Питерский:

– Кончай свару, вы забыли, кто вы есть! Разве вы не честные воры, не законные жулики?

Толковищ гудел до полуночи. Старшие отказались "землить" Бомбовоза, т.е. признать его нарушителем закона, и, тем самым, лишить прав и привилегий, положенных ворам, в частности, права „курочить" фраеров и требовать любой помощи от любого вора. Гога не успокаивался, его ободряла поддержка молодых, роптавших на "взросляков", которые образовали свой кружок избранных и пошли на соглашение с "гадами", т.е. с начальством, создав рабочую бригаду во главе с вором. Молодые видели в этом нарушение закона, а добродушного Бомбовоза, который резво таскал тачки, вырабатывая премиальные пайки не только братьям ворам, но и мужикам и фреям, Гога и его сторонники считали чуть ли не штрейкбрехером, ронявшим достоинство блатной "голубой крови". Но в открытую спорить с вожаками никто не решался, хотя недовольных было много.

Больше всех больных меня тревожил Леня Генерал. Он пришел томный — ”опять сифилис наружу полез” — и показал красные язвочки на члене. Я перетрусил до тошноты; в моем скудном медицинском опыте и не менее скудных познаниях вовсе не было раздела венерологии. В инструкции для санчасти значилось только, что больных сифилисом и гонореей надо по возможности изолировать, но от работы не освобождать. Я давал ему цинковую и стрептоцидную мазь, порошковый белый стрептоцид, чтоб присыпать и бинт, чтоб перевязывать язвы, кормил таблетками белого стрептоцида, но прикасаться к нему не решался:

— Ты должен понимать, я других могу заразить.

Старшему по палатке, Лехе Лысому, я сказал, чтобы Лене отделили особое место на нарах в углу, подальше ото всех остальных, чтоб его миска и кружка, — упаси Боже, — не смешивались с другими, чтобы у него никто не брал покурить и не играл с ним в карты. Леха слушал словно бы внимательно, и даже поддакивал, но скорее так, как взрослый слушает болтовню ребенка.

— Лады, лады, доктор, будь спок... Ясно-понятно, мы этого гумозника со всей бдительностью отшивать будем... Я его еще по воле знаю, молодой хороший босяк, чистый жулик... но уже гниет через любовь... Жаль человека, но свое здоровье тоже надо пожалеть. Только ты не переживай, доктор, я тебя понимаю, я сам имею образование, еще в двадцать восьмом году кончил техникум по железнодорожной линии, служба путей. Я понимаю, что это такое, все эти микробы, фузории и прочие, как говорится, бациллы. От них вся зараза, в рот их долбать. Но ты не переживай, доктор, когда кто тебя не слушает. Ты ж сам видишь, какой здесь народ— людей раз, два и нет, а все другие—так, мусор, дешевый полуцвет, косят на блатных, а сами обыкновенная шобла, хулиганы и сталинские воры. Он там от голода воровал или от нечего делать, а здесь, хоть сейчас наседкой и гадом станет, так что их жалеть, перевязывать? Ты скажи им, что надо и как надо, и хрен с ними... Не хотят понимать, хай гниют... А то, если ты через каждого переживать будешь, так ведь сам поплывешь, нервы же не железные. Ты лю-

дям помогаешь, но должен свое здоровье беречь.

Почти ежедневно я посылал панические рапорты начальнику санчасти о сифилитике с "открытыми язвами", о нескольких тяжело больных, у которых все нарастали опухоли на спинах, температура то снижалась от аспирина и стрептоцида и таблеток драгоценного пенициллина, то снова угрожающе росла. Одна опухоль прорвалась, густо шел зловонный зеленоватый гной, я орудовал борной кислотой, стрептоцидовой мазью, порошковым стрептоцидом, боялся пачкать ихтиолом открытую рану, наклеивал и набинтовывал огромные компрессы, кормил пенициллином.

Наконец, прибыл сам начальник санчасти, вольный доктор Александр Иванович. У него было длинное тело на коротких ногах с короткой шеей горбуна, но горб был маленький и казался скорее сильной сутулостью.

Ему было под сорок; сын священника из Куйбышевской области, он сразу после окончания института был направлен в санчасть Гулага, уже лет десять работал в лагерях. Врач он был опытный, уверенно владел скальпелем, очень внимательно выслушивал больных, точно диагностировал, но разговаривал с больными чаще всего брезгливо равнодушно или начальственно грубо, мог и по фене оттянуть ...

На меня он поглядывал с ироническим любопытством. Диковинным было уже соотношение статьи и срока. При первом знакомстве он убедился, что у меня есть кое-какие старательно зазубренные медицинские знания и даже некоторый опыт. Он экзаменовал меня коротко, но целесообразно, остался доволен тем, что я быстро, уверенно пересказал приметы пеллагры, цынги, дистрофии, дизентерии, воспаления легких, грамотно выписывал рецепты. Когда я начал работать, мое рвение для него было естественным, – кому не хочется с общих работ в санчасть, чтобы вместо кайла и лопаты, термометры и порошки. Но с другой стороны, все это не вязалось с моими назойливо-откровенными признаниями в невежестве: со штрафного я посылал рапорты, полные вопросов, умоляющих просьб, напоминал о еще неотвеченных вопросах; потом в основном лагере я также приставал к нему и, разумеется, сообщал о всех своих ошибках и упущениях, которые нужно было срочно исправлять. Ничего подобного не делал бы настоящий лагерный

"лепила", которому всего дороже его авторитет и прочность завоеванного места, поскольку "день кантовки – месяц жизни".

Вместе с Александром Ивановичем приехал на штрафной главный прораб лагеря. Он сипло орал на местное начальство, а войдя в санчасть, стал орать на меня.

– Санаторий тут развели, ваш рот долбать, курорт! Только сегодня восемнадцать освобождений надавал, тоже мне лекарь! Видно, дрейфит здорово, в штаны наклал, его тут любой шкодник оттянет, он и пишет освобождение! Или, может, на лапу берет? За это самого в карьер или новый срок...

Я не выдержал и тоже стал орать, что-то вроде:

– Гражданин начальник, вы не смеете оскорблять и шить дела. Я требую расследования!.. Немедленного расследования! Пусть начальник санчасти посмотрит, есть ли хоть одно липовое освобождение. Я сюда назначен лечить, а не выгонять на работу. Здесь советский лагерь, а не Майданек. И я себя оскорблять никому не позволю!..

Александр Иванович сухо, резко прервал меня:

– Хватит! Без истерик! Я сам разберусь. Никто вам дела не шьет.

Прораб только ухмылялся:

– Какой я вам "гражданин", я, правда, начальник, но такой же зека и не психуйте, я сам приличный псих...

Это был инженер Презент, родной брат главного подручного Лысенко. Осужденный еще в тридцать седьмом году на 25 лет, он к сорок седьмому году стал уже настолько бесконвойным, что ездил в командировки в Москву и в Куйбышев, а конвоиры в штатском таскали за ним чемоданы. Он был груб, нагл и бесстыдно циничен. Когда я вернулся в основной лагерь, он заходил ко мне иногда за пирамидоном, за витаминами. Однажды он взялся передать от меня письмо домой и действительно передал, но у моей матери он прямо потребовал денег: – "Поиздержался в дороге, не дадите ли сотню-полтораста?" Об этом я узнал на свидании. Привезя мне из дому небольшую посылку, он сказал: "Ну-ка, вскройте сейчас, я не стал проверять как порядочный человек..." Увидев две плитки шоколаду и несколько пачек "Казбека", он просто взял одну плитку и две пачки – "на той неделе опять поеду, готовьте ксиву".

Начальник санчасти стал "комиссовать" моих больных и вообще всех штрафников. В комиссию он включил Презента и меня. Александр Иванович тут же ловко вскрывал опухоли, я ассистировал, поливал замораживающим анальгетиком, делал уколы.

Он утвердил все мои освобождения, отобрал еще несколько дистрофиков и цинготных для этапирования в стационар. Осрамил меня только Леня Генерал со своим сифилисом. Когда он скорбно охая, разбинтовал и продемонстрировал язвочки, багровевшие сквозь мазь, Презент сплюнул: – "вот падло, гумозник, как его на этап пустили". Но Александр Иванович усмехнулся:

– А, ну-ка дайте йоду или зеленки!

– Ой, доктор, жгет!

– Я тебе еще не так прижгу! Меня хрен огребешь! Чем замастырил, марганцовкой? Стрептоцидом? – И ко мне: – Вы ему давали марганцовку или красный стрептоцид?

– Н-н-нет.

Все же я соврал, так как я давал красный стрептоцид его дружку "Седому". Этого шуплого пацана я лечил от жестоких поносов. Каждого поносника полагалось провожать в сортир, чтобы убедиться, что он не "косит", не притворяется. "Седой" болел по-настоящему, он был истощен – ребра тонкие, рыбьи, вместо ягодиц – вмятины. Я давал ему бесалол, поил марганцем, ставил ромашковые клизмы, велел повару сушить сухари и готовить ему и еще двум-трем постоянным поносникам "диетические" каши из разваренного пшена или перловки. Несколько раз давал им освобождение, но и Седой и его приятели предпочитали выходить с воровской бригадой за зону, чтобы там, нарушая диету, "дойти" так, чтобы их "сактировали". Не помогали никакие увещевания, никакие грозные предупреждения: – "Подохнете фитили, дерьмом изойдете, сактируетесь в деревянные бушлаты, ногами вперед за вахту понесут..."

Седой был к тому же болезненным онанистом.

– Доктор, не могу я не трюхать... Сколько раз? А я не считаю. Ясно, что кажный день, ну, не сто, а десять раз, может, и бывает. Но скорее меньше. Я же с мала-мала трюхаю. Бабу я ни в жисть и не пробовал, бабы – они все гумозные суки. И жопошников я ненавижу. Меня один бандит угреб в камере, еще в первый срок, я тогда совсем малолетка был, я же с тринать

первого года. Так я его кусал, веришь, как собака в кровь. А он, сука, мне рот заткнул и гребет, аж все кости трещат, все кишки рвутся. Я потом больной был. Может, и теперь у меня с того понос, что он мне кишки порвал... здоровый был, жлоб. А трюхать, — это же никакого вреда. На воле я меньше трюхаю, на воле и погулять можно и в кино. На воле я работаю, — щипач, знаешь какой, высший класс, легче мухи и с руки и с лепехи часики возьму, — не услышишь. На воле интерес есть, а тут делать ни хрена, только и трюхать... Говоришь, так скорее дойду? Никогда ни одну бабу гребать не смогу? Ну, и хрен с ними, с бабами и со всей этой жизнью... А если ты меня жалеешь, так дай газетку, красного стрептоцида и черный карандаш, — я "бой" замастырю (игральные карты). Мы играть станем, я трюхать забуду...

Это было убедительно, и я дал ему все, что он просил. Так возникли и колода карт и язвы у Лени Генерала. От начальника я тогда впервые узнал, что крупинка стрептоциду или марганцовки, прибинтованная к чувствительной ткани, вызывает изъязвления.

Леню разоблачение не смутило. Он кряхтел от иода и частил:

— Виноват, граждане медицинские начальники, но только сифилис во мне все-таки сидит, — это я точно знаю и хотел, чтоб и другие люди видели и остерегались, и чтоб медицина помогла по силе возможности молодому человеку, чтоб он мог иметь здоровье и перековаться на пользу родине.

Александр Иванович сказал мне:

— Вероятно, он врет, но потом в лагере возьмем у него кровь на Вассермана, — проверим: все может быть. Однако, на работу он ходить должен.

Комиссия отбыла, увозя тяжело больных. Начальник обещал в ближайшее время отозвать меня в основной лагерь.

На некоторое время стало полегче, днем можно было дольше почитать в тени палатки.

Леня Генерал присаживался на траву у моего лежбища.

— Не боись, доктор, я так сяду, чтоб ветер не от меня, совсем наоборот... Я ведь сознаю — инфекция есть угроза. Если я такой несчастный, в своей молодой жизни, зачем от меня дру-

гим страдать. Вот смотрите, доктор, я курю аккуратно и бычки только в запретку кидаю. Чтоб никакой заразы... А в ночь опять толковищ был, слыхали, как галдели? Там ваш кореш Никола даже слезу пускал, кричал про воровскую совесть. А какая у них совесть? Вот я скажу вам, как я вам доверяю, у меня на людей глаз – алмаз. Раз глянул и все насквозь вижу. Это в нашей профессии главное дело, понимать, кто чем дышит.

Вы, дорогой товарищ доктор, можете, конечно, презирать наш преступный мир или даже опасаться, но каждый душевный и понимающий человек должен пожалеть и понять не такая это легкая и веселая жизнь, где вечно пляшут и поют. И не от глупости, не от подлости идет на эту жизнь настоящий человек, а совсем наоборот, от судьбы, от того, что обожает свободу, имеет хороший ум и храброе сердце, но еще имеет такую психологию, что он в других условиях и в другие времена был бы, наверное, геройский атаман, партизан, подпольный большевик, граф Монте-Кристо или мастер спорта. А вышли такие условия, что он стал уголки отворачивать и гниет в лагере, и напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает... Вот ты, обратно лыбишься, доктор, думаешь: свистит Ленька, держит меня за фрея, темнит и фалует... Я ж все насквозь вижу. Нет, вы так не думайте, на хрена мне свистеть, если ж я точно знаю, что освобождения все равно не дашь и еще как заразного презираешь... Нет, нет, вы не говорите, доктор, я все вижу: по-человечески вы меня жалеете, а все-таки не уважаете, презираете... Но я на вас сердца не имею, а наоборот, уважаю, как образованный медицинский персонал... Дай покурить, доктор, своего табачку, обожаю трубочный... Оторви газетки, сыпани столько, сколько не жалко... Вот спасибо, очень аромат прекрасный, но махорочка все же сильнее. В трубке твой табак, конечно, слаще, но тухнет часто, сколько ты спичек переведешь... возьми коробок, у меня еще есть... Ах, извиняюсь, забыл, что вы брезгуете... А не брезгуете, так боитесь инфекции... Эх, доктор, ты боишься заразиться от меня потому, что я тебе честно признался... Вот ты умный-умный, а дурак! Не думаешь, сколько тут есть таких гумозных, которые

не раскалываются и хавают со всеми, и ходят до тебя, чтобы ты им клизмы ставил, поносникам, долбанным в рот... Кто такие? А хрен их знает... Если б я точно знал, я б тебе, может, и сказал по дружбе, но я точно никого не знаю, а так, вообще, соображаю, потому что я в лагерной жизни больше вас понимаю, товарищ доктор, хоть ты и книжки читаешь на разных языках и газету "Правда", боевой орган нашей партии... Зато я знаю такое, про что ни в каких книжках, ни в газетах не пишут, и никогда не напишут... Почему никогда? А потому, что те, кто в книжки и в газеты пишет, этого никогда не узнает, а кто знает, тот писать не умеет, а если когда заумеет, все равно не напишет, потому бояться будет: или его блатные пришьют за измену, или по 58-й расстреляют за злостную клевету на счастливый советский народ, который еще в первую пятилетку окончательно ликвидировал всякую преступность, как это было показано в кино и в театре и написано в газетах...

Нет, без шуток, доктор, вам я могу сказать, конечно, строго между нами, вы ж уже понимаете нашу жизнь, и если кто, Никола или Леха узнает, что я с вами такой откровенный разговор имел, – вы же простите, все-таки фраер, – ну, конечно, вояка, доктор, это сорт повыше, не какой-нибудь фрей небитый или барыга, но все-таки вы не блатной, – и за то, что я вам про наши дела рассказываю – мне земля и тогда любой малолетка может меня просто зарезать...

Так что вся моя жизнь есть в ваших благородных руках... Но за друга готов я хоть в воду, и скажу только вам: в нашей колонне здесь настоящих честных воров нет... Уже нет!.. Гад я буду, это без шуток – вот, чтоб мне завтра подохнуть, чтоб мне сгнить в самой поганой тюрьме, чтоб мне до смерти свободы не понюхать, если вру... Ты думаешь, твой Никола или Борода и Зацепа, – законные родичи?.. Были, может, когда-то. Леха Лысый, тот раньше и вправду был, это я точно знаю. Но теперь они все скурвились, ссучились. Ты ведь знаешь: я с ними не кушаю, на толковищах молчу... Потому что я закон держу строго,

потому за зону и не иду. Ты не думай, что я так филоню, – дойти хочу... В другую бригаду я пошел бы, но если все воры в одной бригаде – не могу и не хочу, потому что если вор – бригадир, так он уже для меня – не вор, а сука позорная... И все вокруг него такие же; свистят: "мы с понтом", "мы туфту заложили, всех начальников на чернуху обгребли"... А Бомбовоз – это, разве чернуха? Он же как олень рогами упирается, рекорды выдает. Он себя понимает, что он – вор, но ты же видишь, он лоб здоровый,а ум у него, как у дитенка. Он такой же вор, как я инженер; но они все ему темнят: "ах, Бомбовоз, кирюха, ты ж человек – чистый цвет", а сами у него на горбу едут, как последние суки. Эксплуататоры! Начальству проценты а им – премиальные... Конечно, этот Гога затрюханный и все его шкеты – тоже никакие не воры, они ж дрейфят перед этими суками, они по углам скулят, а на толковищах еле вякают. Зато на Бомбовоза они шипят, землить его хотят. Гога ведь нарочно с ним загребся, а на Лысого он хвост поднимать не осмелится... Трусливые, но хитрожопые, думают через Бомбовоза Лехину бражку уесть, чтоб там склока пошла... Разве ж это воровской закон? Нет, тут только и есть, что Сенька Нога и я, кто честно закон понимает. Но сил у нас нет. Один против шоблы не пойдешь, – пропадать ни за хрен... Но я так понимаю: без топоров эта свара не кончится... Если они уж закон в задницу послали, значит, будет кровь... Вот попомни, что тебе Леня Генерал сказал – это вернее, чем карты. Сука я буду, если кровь не прольется, если не начнут головы рубить.

Через день или два после этого разговора я, как обычно, вел обеденный прием, смазывал вазелином солнечные ожоги, менял повязки, совал термометры.

Внезапно снаружи раздались крики: – "Убил! Убил! Держи его!"

Тарарахнула короткая автоматная очередь.

Я выскочил. Вблизи кухни у поленницы стоял Бомбовоз – полуголый, с лицом, залитым кровью; правой рукой он зажимал рану на левой, и выкрикивал негромко, едва ли не ве-

селым тоном.

— Ни хрена, я живой... ни хрена, я живой... я его сам убью сучку...

В нескольких шагах от него дядя Вася, обхватив Гогу сзади, тащил его в сторону, а тот извивался, стараясь вырваться, и сжимал в правой руке топор. Он был бледен, таращил темные, без белков глаза, скалил мелкие черноватые зубы, пытался кусаться и брыкаться.

Часовой у грибка орал, размахивая автоматом, с откоса бежали солдаты с овчарками. Толпа зевак стояла в стороне. Только маленький повар метался с криком: — "Помогите! Убили!" — то к дяде Васе, то к Бомбовозу, которого пытался перевязать полотенцем. Дядя Вася кричал: "Возьмите топор у психа! Чего стоите, бляди, трусы, он же людей убивает!"

Я подскочил справа, рывком выдернул топор у Гоги, выбросил его за проволоку и побежал к Бомбовозу. Тот продолжал повторять: "ни хрена, я живой". У него была прорублена левая щека и левое предплечье. Гога ударил его топором, когда он спал после обеда у поленницы, лежа на спине и закрыв лицо рукой. Бомбовоз проснулся и выхватил у Гоги топор, который лежал теперь у него под ногами, залитый кровью... Тогда Гога метнулся к поленнице, где был запасен второй топор, там его перехватил дядя Вася.

Я стал накладывать жгут на мощное плечо, повар дал мне свой ремень, он был солдатом и помогал толково. Миша и бухгалтер, прибежавшие из канцелярии, принесли бинты и иод. Я поднял топор и мы повели Бомбовоза в санчасть.

Он шел, бубня свое: "ни хрена, я живой... ни хрена, доктор дарагой, я буду живой..."

Внезапно сзади опять раздались крики. В толпе зеков у кухни клубилось суматошное движение. Снова автоматная очередь. Часовой стрелял в воздух. Оказывается, Гога достал из заначки третий топор, и еще лом, но теперь уже, чтобы обороняться от охранников, которые собирались войти в зону. Размахивая топором и ломом, он забежал в палатку и оттуда визжал: "Кто подойдет, зарублю!.."

Я перевязал Бомбовоза, бинты сразу же побагровели, я умолял его молчать:

– Инкер, джан, молчи, чтоб щека была спокойна.

У меня были металлические скобки для ран, но я ни разу их не накладывал на живое тело, а тут еще чувствовал, как дрожат руки и поглядывал на топор. Что, если придется отражать новый наскок, ведь Гога был в двух-трех метрах от нас, отделенный только двумя слоями брезента. Дяде Васе и Мише я сказал: "Возьмите ломы и колья и станьте у входа – топором я буду отбиваться, если он брезент начнет рубить". Бомбовоз жаловался – "Плечо очень болит". Жгут резал, я наложил на руку две скобки, густо полил иодом, но едва я чуть отпустил жгут, повязка стала набрякать кровью.

Издали кричали: "Доктора на ворота, доктора на ворота!"

Я побежал к воротам. Там снаружи толпились конвоиры, изнутри зеки. Стоял дикий галдеж. Лейтенант спросил:

– Ну, чего там? Он живой?

– Жив, но рана тяжелая, нужно немедленно, срочно в больницу... Нужно зашивать, а у меня ничего нет. Давайте машину и в лагерь. Не то истечет кровью.

– Где я тебе машину возьму? Нет, и до вечера не будет. А когда б и была, тут же машиной три-четыре часа ехать по такой дороге, что здоровому печенки отбивает.

–Тогда везите в гражданскую больницу, должна тут быть где-нибудь. Без помощи он за два часа умереть может.

Зеки вокруг притихли, слушая наш разговор.

Лейтенант супился:

– Не помрет! Он еще нас всех переживет, здоровый, как медведь. А сперва этого убивца взять надо, а то он его добьет. Давай, доктор, вы и нарядчик, и кто сознательные, давайте его скрутите, бандита, а то он вас всех поубивает.

В толпе зека загудели сердито.

– А ну, давай, сполняй приказание! А то могу считать злостное коллективное сопротивление и прикажу огонь по всей зоне.

Я отвечал возможно спокойнее, громко и внятно:

– Гражданин начальник, такое ваше приказание противозаконно. Мой долг здесь лечить, долг нарядчика наряжать на работы... А крутить бандитов – это ваш долг, и никто вам не разрешал перекладывать его на зека. Никакого коллективного сопротивления тут не оказывают. И угроза ваша противозакон-

ная; вы сами знаете, советский закон никому нельзя нарушать безнаказанно. А я исполняю долг и поэтому повторяю: зека Аракелян тяжело ранен, требуется срочная помощь хирурга. Иначе наступит смерть. Я сейчас же напишу рапорт и укажу точно время, когда сказал устно. И все здесь, и зека и конвой будут свидетели. Я не хочу, чтобы человек умер из-за невнимания и халатности. И не хочу отвечать за его смерть.

В толпе зека зашумели одобрительно:

– Правильно, доктор... Им, гадам, человек хуже пса.

Выделялся пронзительный плаксивый голос Сеньки-Нога:

– Это что же такое... Это мы где же, на русской, советской земле или в фашистской Германии?.. Один человек зазря помирает, а начальство грозит еще и других убивать... Это кто ж так может делать? Только гады, палачи проклятые... только псы кровожадные, а не советские люди...

Нога кричал все визгливее, истошнее, взахлеб:

– Я на фронте кровь проливал. Я на всю жизнь инвалид за родину, за Сталина. А теперь меня русский солдат стрелять будет?! За что?.. за что? Гады!

Он рванулся, упал, забил руками и ногами.

Я заорал: "держите голову, держите голову". Несколько человек прижимали его к земле. Никола Питерский и еще кто-то из воров кричали с нарочитым надрывом, "психуя".

– Довели человека... Есть закон или нет закона?.. Прокурору писать. Начальнику всех лагерей...

За воротами толпились охранники. Лаяли собаки. Лейтенант стоял красный, растерянный. Потом отрывисто приказал:

– Давай сюда ранетого. Доктор с нарядчиком ведите. Но, если обратно тот с топором, прикажу открыть огонь без предупреждения.

Я подозвал Лысого и Питерского:

– Бомбовоз ваш товарищ. Вы можете мне помочь, чтобы его не убили. Вы же хвастались, что у вас закон... честь... А тут вашего товарища убивают...

Леха отвечал угрюмо:

– Лады, лады, доктор. Не боись, Гога с палатки не выйдет. Это наше дело. Ты нас не учи. Ты гадам правильно сказал и все. А теперь давай, чтоб ни ты, ни нарядчик в наши дела не путались. Лечи Бомбовоза. И не тушуйся: Гога-Шкет сам по себе.

Но мы не суки, и гадам не помощники.

Дядя Вася, Миша, повар и я вывели Бомбовоза к воротам. Дядя Вася и Миша были вооружены колами, повар – все тем же кровавым топором, я нес бинты, ампулу с новокаином.

Лейтенант сказал: ранетого повезем на катере в Кимры в больницу. Это скоро, с полчаса. Оттедова уже в лагерь. Надо, чтобы с ним кто поехал, вам нельзя, вы, хоть и доктор, – тут он вдруг подмигнул, – такой доктор, как я генерал, а все же лекпом, значит, медик, однако у вас 58-я и за зону выпускать не положено. И нарядчику не положено, срок неподходящий. Поедет учетчик. Вы ему дайте лекарства, объясните, как что.

Раны Бомбовоза продолжали кровить. Миша зелено-бледный, – его мутило от запаха крови и пота, – казался куда более слабым, чем его окровавленный подопечный, послушно молчавший, но громко сопевший.

Через несколько дней меня увезли со штрафного. Прибыло пополнение работяг, этап человек тридцать и с ними новый фельдшер.

В этапе был один с ямой во лбу – старый пролом черепа; у другого – выпадение прямой кишки.

Мы с новым фельдшером признали их негодными к работе, их увезли вместе со мной. Александр Иванович, выслушав мой доклад, сказал:

– Вы формуляры видели? Видели там мою подпись? Значит, не должны были актировать. Раз я разрешил отправить их на работу, значит, я знал, что делаю. У меня стационар забит больными, которых можно лечить. Можно, значит нужно... А этого с дыркой в голове и того, с выпадением я лечить не могу, и держать в стационаре не хочу. Там должны были их время от времени освобождать от работы и пусть бы они лежали на траве. Их болезни всем видны, их бы не заставляли вкалывать; харчи там лучше и теснота не такая. А вы полезли со своими принципами. И только им же хуже сделали. Это значит, быть очень добрым за чужой счет. Я мог бы вас наказать за самоуправство, и вас и того, кто вас сменил, но для первого раза не стану. Пусть вас наказывает ваше сознание. Здесь их на работу погонят. По инструкции с такими увечьями дают не инвалидность, а третью категорию. И тут у самоохранников они уже не

посачкуют. Вот вы и поймёте, как вы им помогли.

Примерно через месяц судили Гогу-Шкета. В лагерной столовой на дощатой эстраде поставили стол, накрытый кумачом, сидели судьи, заседатели и секретарь. У самой эстрады внизу столики прокурора и защитника, у стены — скамья подсудимого. По требованию следователя дядя Вася и я еще раньше написали объяснительные записки . Миши к тому времени уже в лагере не было. Его освободили. Мы оба написали скупо, только то, что каждый видел. Следователь нас не вызывал.

Бомбовоз на все вопросы прокурора и судьи говорил только:

— Нэ знаю... нэ видел... спал... сонны был.

Прокурор нервничал:

— Послушайте, Аракелян, вот вас едва не убили, покалечили на всю жизнь. А вы покрываете кого? Именно своего убийцу! Но ведь, если вчера он хотел убить вас, то завтра может захотеть убить еще другого, потом третьего. Почему же вы так упорно не хотите говорить правду, вы ведь знаете, кто вас ударил топором.

Бомбовоз отвечал, улыбаясь, как всегда бесхитростно и добродушно:

— Гражданин прокурор, пожалста, не сердись... это, понимаешь, простое дело... Он, Гога, кто? Вор... Я тоже вор... У нас один закон... А ты, гражданин прокурор, кто? Гад. И гражданка судья тоже гад...

В зале захихикали, загоготали.

Прокурор насупился. Судья застучала карандашом.

— Аракелян, вы слышите, что вы говорите? Я вас накажу за ругань, за оскорбление суда.

— Пачиму ругаюсь? Я не ругаюсь, я по правде говорю, я объяснять хочу. У вора свой закон, у гада свой закон. Не может вор стучать гадам на другого вора, тогда он сука будет.

Гога крикнул с места:

— Правильно, Бомбовоз! Правильно закон держишь! В рот их долбать, всех гадов!

Судья сказала:

— Подсудимый, за хулиганство пять суток строго карце-

ра.

Защитник говорил долго и запальчиво о тяжелом детстве подсудимого, вспомнил войну, обратил внимание на явную недоразвитость и к тому же несовершеннолетие, толковал о влиянии преступной среды, о слабости морально-политического воспитания, просил суд учесть состояние здоровья, необходимость не только карать, но и исправлять. Просил применить 17-ю статью УПК, расценить, как несовершенное намерение в состоянии чрезвычайного возбуждения.

Последнее слово Гоги было очень коротким:

– Граждане судьи... Посмотрите на мою молодую жизнь... Я же признался со всей откровенностью, ну, я ударил, только я не хотел убивать. Вот, чтоб мне сдохнуть на месте. Я только пугануть хотел. И сам спугался от крови и тогда психанул. Я что прошу... Я прошу посмотреть, какая моя молодая жизнь. Отец у меня погиб за родину. Мама умерла от внутренних болезней. От чужих людей видел только обиду. У меня все нервы перекрученные. Прошу иметь сожаление.

Суд приговорил его к семи годам; ему предстояло сидеть еще шесть лет и одиннадцать месяцев.

Тридцать седьмая глава

СМЕРТНОСТЬ НОРМАЛЬНАЯ

В августе было свидание с Надей. Она осторожно рассказывала: Верховный Суд опять отменил приговор Трибунала "за мягкостью". Дело направлено на новое рассмотрение. Отмечена еще и процессуальная ошибка – трехлетний срок подлежал амнистии, а приговор трибунала этого не учел.

Оставалось только надеяться, что новое судоговорение принесет мне четыре года, – чтоб не применять амнистии, – или пять, как требовал прокурор. Это значило бы еще два или три года лагеря.

Надя сказала со слов адвоката, – надо быть готовым к тому, что прокуратура будет ссылаться на дело Сучкова, о нем уже говорят "шпион", "враг народа", и его письмо к Руденко обо мне упомянуто в решении Верховного Суда. На оправдание теперь уже никак нельзя рассчитывать.

Мысли обо всем этом наваливались непролазно тягучей тоской, – минутами отчаяние затягивало удавкой. Но вокруг меня были больные, умирающие. Вокруг было столько бедствий, несчастий, неисцелимых страданий, что моя беда казалась несравнимо легче.

В лагере за лето набралось шесть-семь тысяч зека. Больше двухсот больных лежало в трех юртах и бараке стационара и ежедневно больше ста приходили в амбулаторию. Всю санчасть составляли два вольных врача – начальник Александр Иванович и его помощница, крикливая, бестолково суетливая, добрая, но вздорная, ленивая тетка, которая постоянно жаловалась на нервное истощение, нестерпимую усталость, боялась бандитов – "еще зарежут, проиграют и зарежут" – и норовила уйти пораньше.

Молоденькая и очень пригожая зубная врачиха приходила через день, две вольных медсестры обслуживали только амбулаторию и юрту самых тяжелых, примыкавшую к санчасти. Оба заключенных фельдшера жили в бараке, далеко от санчасти. Когда Александр Иванович уходил, – он иногда задерживался

после пяти, но тоже старался не оставаться в лагере дотемна, я становился единственным "медиком" на весь стационар.

Александр Иванович говорил: "У нас смертность в общем нормальная. За прошлую неделю только пятеро, это, в среднем, меньше единицы в сутки. А ведь положение трудное. Лагерь новый; гонят этапы из других лагерей. Оттуда кого отдают? На тебе небоже, то что мне не гоже. Разгружаются. Шлют балласт, отрицаловку, доходяг, неизлечимых. Наш начальник протестует, жалуется. Но там ведь знают, что обратно к ним уже не пошлют. А нам пока вообше не дают нарядов на отправку. Вот мы с вами и должны крутиться-выкручиваться. Я писал в управление и еще буду писать. Начальство тоже по своим инстанциям пишет. Не положено, чтоб в рабочем лагпункте больница-стационар на сотни коек. Нужен отдельный лагпункт, особые штаты. Но мы все же пока справляемся. Смертность, конечно, еще будет расти. Питание хреновое. Инфекции. С дизентерией управимся, собьем, но вот, дистрофия, цынга, пеллагра, сердечные болезни, – это потруднее. Начнутся морозы, доходяги, как мухи дохнуть будут... Нужно бы добиться этапирования хроников, либо организации отдельного инвалидного больничного лагпункта. Но здесь, ведь особая стройка, – особого оборонного значения. Верьте, я тоже не знаю, что именно здесь строят – спецобъект высшей катергории, вот и все. Поэтому инвалиды здесь не нужны и ничего не предусмотрено. Так что радуйтесь еще, что мало умирают...

На фронте я видел много смертей; возможно, и сам убил кого-то, – ведь случалось несколько раз стрелять в едва различимых или только предполагаемых вдали противников и артиллерийские команды передавал по нашей звуковке; видел несметное множество мертвых, своих и чужих. Хоронил товарищей на лесных просеках у Старой Руссы, на кладбищах у белорусских и польских деревень. Зимой 41-42 года я видел, как солдаты отдыхали, ели и курили, сидя на едва припорошенных снегом замерзших немцах, видел уродливую аллею из их мерзлых трупов, которых кого стоймя, раскорякой, кого вверх ногами воткнули в снег какие-то обозные хулиганы. Летом 44 года на полях и дорогах Белоруссии видел жутко разбухших на жаре мертвецов в синевато-серых мундирах; видел повешенных на придорожных столбах – в гимнастерках или в воль-

ном' рванье, босых с большими щитами на груди "изменник Родины", "Пособник фашизма, убийца женщин и детей", а позднее видел повешенных немецких солдат в серых кителях с оборванными орлами и погонами, на груди стандартные плакаты: "Я струсил перед врагом", "Я впустил большевиков в Германию", "Я – предатель". Видел тела изнасилованных женщин в Восточной Пруссии и обугленные трупы наших солдат в доме, разваленном фаустпатроном; видел в Унжлаге, как несли хоронить заключенного и на вахте дежурный старшина ткнул шилом в накрытый дерюгой труп, – по инструкции проверяя, не притворяется ли он мертвым, чтобы выбраться за зону.

Но запомнил я резче и больнее тех, кто умирал в лагере "Большая Волга", кому я мерил температуру, приносил лекарства, делал уколы, тщетно пытаясь отдалить смерть.

Вскоре после того, как я стал лекпомом стационара, не успев еще ни с кем толком познакомиться, в юрте тяжелых умер немолодой человек, числившийся больным цынгой. Умер он поздно вечером. Тело внесли в прихожую амбулатории. Я побежал в барак управления звонить начальнику санчасти, – он жил в коттедже, неподалеку от лагеря. В трубке гундосил сонный или хмельной голос.

– Умер?! Ну и что? Чего вы трезвоните?.. Воскрешать я не умею. Могли бы и до завтра подождать с приятным известием. Ну и пусть чепе... В больнице такие чапе не в диковину. Вы же медик, лекпом, а не барышня, которая боится покойников. Может, вы тоже боитесь? Ну так чего же вы трезвоните? Вызывать врача надо к живым, а не к мертвым. Это еще Гиппократ знал. Что с ним делать? Н-да, в коридоре больные спотыкаться будут... В амбулатории с утра прием до развода. На улицу – не положено. На вахту не примут. Н-да, это, конечно, проблема, хотя и не медицинская, не лечебная, но, все-таки, проблема... А вы значит сами решить не можете? Трезвоните начальнику?.. А, что если бы я в отъезде был или в гостях? Ну, вот, что бы вы делали, если б не дозвонились? Не знаете? А голова у вас зачем? Вы же образованный человек, вы же не просто лагерный лепила, вы кандидат наук. Почему же вы не можете ничего придумать? Какие у нас еще есть помещения? Нет, в каптерку нельзя. В баню, – или, пожалуй, лучше в котельную. Но там,

ведь, жарко, а сейчас и без того лето. Банщики еще и вас убьют, что я тогда буду делать с двумя трупами? И без лекпома? Д-да.. вот что: несите его в зубоврачебный, там завтра нет приема. Носилки не станут? Так сажайте в кресло! Ни хрена, уместится. И еще вот что: надо причину смерти уточнить, надо биопсию. Вырежьте у него кусочек слизистой изо рта... Не умеете? Что значит не умеете, вы же не живого резать будете, не пожалуется. Только это надо официально, чтоб порядок. Идите сейчас в барак к Алексею, передайте, что я приказал ему вместе с вами взять для исследования ткань из ротовой полости, из нескольких точек. Он, наверно, лучше вас умеет. Давайте, действуйте, и не трезвоньте больше!

Заспанный Алексей подрагивал.

– Холодно что-то и не люблю я мертвяков... А, может, у него еще зараза какая... Только не порезаться бы, а то трупный яд, знаешь? Сразу скрутит.

Мы с ним и с санитаром – втроем – с трудом уместили в зубоврачебном кресле тело, завернутое в две простыни. Оно еще не совсем окоченело и было пугающе подвижным. Потом, надев резиновые перчатки, Алексей раздвигал зубоврачебными щипцами челюсти, а я вырезал скальпелем клочки человеческой плоти изнутри щек и клал их пинцетом в баночку.

Ночь была прохладная, дождливая, но мы с Алексеем вспотели, как кочегары.

В середине юрты тяжелых стоял деревянный топчан с очень высоким изголовьем. На нем лежал, вернее сидел, откинувшись, лезгин Муса. Взяли его в стационар с диагнозом: плеврит.

Он тяжело дышал. Мы пристроили ему высокое изголовье, сколоченное из обрезков досок. Он поглядел долгим, удивленным, добрым взглядом:

– Пасиба, доктор, ба-альшой пасиба.

Он был тихий и никогда не участвовал в перебранках, то и дело возникавших в юрте: санитар принес остывшую баланду; у малярика, метавшегося в жару, кто-то украл пайку; один закурил, а его соседи стали задыхаться от дыма...

У Мусы начала увеличиваться правая сторона груди. Она вздувалась с каждым днем; ему все труднее было дышать. Александр Иванович сделал пункцию. Толстая игла с трудом проходила между ребрами. Муса в испарине тихо постанывал. Александр Иванович супился.

– Терпи, кацо, терпи дорогой!... – Спайки! Тащите новокаин, давайте шприц...

Вытекло почти полведра серой жидкости. Муса дышал осторожно, старался улыбнуться.

–Луччи... теперь луччи дыхать. Пасиба доктор. Ба-алшой пасиба.

Еще несколько раз из его груди отсасывали жидкость. С каждым разом все меньше. Спайки становились прочней. А грудь увеличивалась...

Александр Иванович сказал: – Проживет еше несколько дней. Надо будет вскрыть, посмотреть. Такого рака я еще не видел. И нам повезло – вчера с этапом пригнали опытного прозектора. Я уже сказал начальнику. У нас, ведь, по штату не полагается; его назначат банщиком, будет совместительствовать.

Я слушал молча, но, видимо, глядел необычно и рот передернуло судорогой. Он ухмыльнулся невесело:

– Да... Погано, конечно; он еще дышит, а мы, вроде, уже похоронили... Вот что, вы ему три раза в день пантапон колите или морфий.

Он достал горсть ампул из особого железного ящика под замком, в котором хранились наркотики и наиболее ценные лекарства.

– Нате, вот новое сердечное – кордиамин, – колите вместе с кофеином. Но, только не очень нажимайте на количество... нужно будет еще и другим, не безнадежным. Нам нельзя быть

чересчур добренькими, чересчур жалостливыми. Одного пожалеешь и оставишь без помощи двоих, троих, а то и больше... Понятно?

Муса задыхался. После укола наступало недолгое облегчение, он тихо благодарил, засыпал. В последние два вечера оживился, стал говорить:

– Доктур, я умирать буду... Пошли письмо в мой дом... там отец, мама, жена... Адрес тут есть. Писать русски надо. Наш язык начальник не понимает...

– Да что ты, дорогой, не говори так. Зачем умирать, ты жить будешь, долго жить будешь... Срок тебе сократят, сактируют по тяжелой болезни. Сам домой поедешь.

Он был осужден на десять лет за бандитизм. Из косноязычных рассказов я понял, что он был шофером грузовика, ездил в Махачкалу и Орджоникидзе, там был некий инспектор милиции "очин пылахой чиловек... на все шоферы придирался, а если наш человек, если нацмен очин-очин придирался". И Муса ударил этого инспектора. "Очин придрался... на мать ругал... наш чилавек-лезгин не может слушать, когда на мать ругают... убить может, кто на мать ругал..."

Он очень удивился, узнав, что я никогда не был на Кавказе.

– Надо Кавказ ехать, доктур... приедишь мой аул – очин хороший место... Ба-альшой гора... Не одни гора, мыного, очин мыного баальшой гора... Высоко-высоко снег лежит... Воздух очин хароший, на гора лес есть... поле есть на гора... очин-очин ха-арошний ба-альшой воздух. Барашки много. Очин хорошо кушать можно.

Он закрывал глаза и тихо улыбался; должно быть,видел свои горы, лес и поля, и дом, где хорошо едят.

Разговаривая с ним, я невольно впадал в лад его речи:

– Ты спи, Муса, поспишь и здоровье скорее придет. Поедешь домой... Увидишь горы... Наверху снег белый-белый, а еще выше небо синее, синее.

– Правильно, ба-альшой неба.

– Спи, дорогой, спи... Когда я кончу срок, обязательно приеду к тебе в гости. Будем ходить в горы, будем шашлык есть, вино пить, песни петь...

В юрте лежало больше двух десятков больных. Некоторые с высокой температурой, вовсе без сознания или в полуза-

бытьи. Но были и оживленно деятельные, разговорчивые, или нагло самоуверенные. Среди них законные воры: весь растатуированный рыжий малярик Акула. В приступах бреда то он жалобно звал маму, то неистово, многоэтажно матерился . Были тихие запутанные бытовики, развязные барыги, угрюмо недоверчивые работяги "из глубинки"...

Но никто не жаловался, не злился на то, что о Мусе заботились явно больше, чем о других, и доктор, и я, и санитары.

Санитар Сева, лениво небрежный красавец, – матово бледное юношеское лицо, но маленькие усталые глаза, – был осужден за хулиганство. Он заболел ангиной, потом воспалением легких, а когда выздоровел, его оставили санитаром из-за сердечной слабости и потому что он был опрятен, грамотен, добросовестно выполнял просьбы больных и мои поручения, хотя двигался медленно и словно бы сонно, – руки в карманах, кепочка с крохотным козырьком косо сдвинута на ухо.

Сева приходил за мной и по ночам: я жил в кабине – маленьком секторе второй юрты, стоявшей напротив санчасти и юрты тяжелых.

– Давай, скорее, кацо опять еле дышит, глаза закатывает.

В палате всю ночь горела тусклая лампочка. На некоторых койках просыпались:

– Чего там? Чего? Да не галди... твою мать, это ж обратно кацо колють... Тише, падлы, спать не даете... Ни хрена, тебе завтра не развод не выходить; днем припухать будешь, поспишь...

Только один раз помню, как скуластый, плечистый дядька, которого называли Хрипуном, огрызнулся:

– Колють, колють... а то его колоть, добро переводить... все равно копыта откинет.

Лежавший рядом с ним Акула, еще слабый после приступа, только повернул голову и шепотом:

– Заткни хахальник, сука позорная, а то не доживешь до света. Удавлю, падло...

В последний час Мусы я сидел у его койки. Два-три укола подряд уже не действовали. Он дышал все труднее, со свистом, с водянистым бульканием. Глаза стали более выпуклыми, тоненькие веки с густыми ресницами не закрывали их до конца,

оставались белые полоски... Взгляд смерти. Но веки изредка подрагивали, открывая темные, страдальческие зрачки.

– Гавари, доктур, пожалста, гавари. Скоро умирать?

– Не будешь умирать. Потерпи еще немного... Ну, еще денек-два, потом будет легче... Потом еще легче. Потом здоров будешь... Поедешь домой в горы. Там воздух, лес, поле. Там совсем окрепнешь...

– Гавари, доктур, гавари...

Руки тонкие-тонкие. Под редкими черными волосами просвечивали все неровности лучевой кости, все суставы кисти и длинных пальцев.

Снова и снова я колол под сухую, бумажно прозрачную кожу у плеча. Ладони были влажные, липко влажные и пульс едва-едва ощутим.

– Пасиба... гавари... домой... горы...

И я говорил и не заметил, как он умер, как в последний раз шевельнулись пальцы. Глаза оставались открытыми. Сева тронул меня за плечи и кивнул, ничего не сказав.

Мы закрыли голову простыней и потащили топчан из юрты. Встали трое больных помочь.Тощие, ссутуленные, в грязно-сером белье, они тяжело дыша, волокли тяжелый топчан. Кто-то ругнулся: "носилок нет, что ли?" На него цыкнули. Проснулись еще несколько, перешептывались, переругивались. Стариковский голос бормотал:

– Господи помилуй... Господи помилуй!..

Мертвецкой у нас еще не было, топчан оставили в коридоре между юртами. Мусу перенесли в кабинет начальника в амбулаторию.

Там уже на следующий вечер его вскрывали. Опытный пожилой прозектор работал азартно, старался показать, что он все умеет, все знает. В мясниковском клеенчатом фартуке, в прозрачных окровавленных перчатках, он ловко, едва ли не с улыбкой вспарывал бледное костлявое тело.

– Открываем грудную полость... подставляйте ведро, тут юшки на бочку...

Александр Иванович сперва только командовал, а затем и сам стал орудовать скальпелем, объясняя нам, – трем фельдшерам и двум санитарам, – что такое рак легких

– Правого легкого вовсе нет, одна черная сукровица, от левого тряпочка осталась... – Как он мог жить – не понимаю.

Да, такое надо бы ученым исследовать, как он жил с этим ошметком легких. И за сколько времени они превратились в такое. Зато сердце, вот, великолепное, глядите... Он увлеченно говорил, показывая, кромсая сердце Мусы:

— Вот аорта, предсердье... — Я старался внимательно слушать, видеть, боясь тошноты, дымил махоркой, смотрел на лицо Мусы. Оно было спокойным, усталым, и словно бы даже менее худым, менее изможденным, чем накануне живое.

Когда я сказал Александру Ивановичу, что хочу написать родным Мусы и показал адрес, он рассердился:

— Вы, что не в своем уме?.. У вас 58-я за агитацию, а вы собираетесь вести переписку с семьей умершего зека и к тому же отсюда, со спецобъекта... Это вам верный новый срок, да и мне достанется. Понятно? Им сообщат, как положено. А ваши письма им нужны, как рыбке зонтик.

В истории болезни Хрипуна значилось: стрептококовая ангина и нарывы в горле. У него росли опухоли под челюстями, выпирая двойным, потом тройным подбородком. Александр Иванович решил взрезать. Санитары держали Хрипуна, прижимая к стулу, я поливал опухоли из пульверизатора замораживающей жидкостью; из широких разрезов туго выползал густой, зеленоватый гной. Хрипун сучил ногами и сипло матерился:

— Живорезы... вам, что живого резать, что мертвого.

Операция не помогла. Через несколько дней мы узнали, что у Хрипуна рак горла. Александр Иванович сказал, что ничего уже нельзя сделать, если бы обнаружили раньше, может быть удалось бы, вырезав гортань, замедлить, отсрочить. Но теперь уже опухли все лимфатические узлы. Диагноз опоздал всего на несколько месяцев, но раннюю стадию такого рака вообще нелегко диагностировать, а этого привезли из какого-то захудалого лагеря, там врачи в простейших болезнях едва разбираются...

Через неделю Хрипун уже не мог есть ни хлеба, ни картошки, с трудом глотал жидкие каши, чай, говорил свистящим

шепотом. Но еще злее ссорился с санитарами, требуя свои харчи.

— Ты все давай, что положено... я сдохну, а свое возьму.

Хлеб, сосиски, селедку он менял на табак или продавал за наличные. Пайка в 400 гр. стоила три рубля, потом стала дешеветь. Он торговался, уходил из юрты в кальсонах к хлеборезке. Там, в обеденный перерыв и вечером до самого отбоя, "случайно" приходившие зека меняли хлеб на табак, торговали консервами и продуктами из посылок; там можно было купить или выменять кой-какое барахло, в том числе и казенное. Крупные сделки на майдане только предварительно обсуждались, а сами товары, — нередко ворованные, иногда украденные уже после сделки, — передавались в укромном месте. На этот "барыжий майдан" по вечерам удирали некоторые из больных. Их ловили "пастухи" — самоохранники. Если у пойманного находилось чем поживиться, — а "пастухи" из малосрочных, осужденных за хулиганство, мелкую спекуляцию или служебные грехи, были слишком сыты, чтобы соблазниться пайкой, — его "штрафовали" и отпускали с миром. В иных случаях пойманного волокли в стационар, вызывали меня, грозили рапортом, и я должен был "принимать меры". Основной мерой была обычная "оттяжка" — т.е. громогласная, нарочито яростная ругань. Рецидивистов полагалось раздевать, отнимать кальсоны, — с голой задницей не побежит по лагерю.

Хрипуна дважды приводили с майдана и я велел раздеть его. Он шипел проклятья, ненавидяще поблескивали маленькие зеленовато-серые глаза из-под выцветших белесых редких бровей. На майдан он ходил продавать свою хлебную пайку, сардельки, куски селедки. А через посредников он вел торговлю иного рода. У себя на койке и на тумбочке он оборудовал целую мастерскую — плел из соломы корзинки, шкатулки, портсигары. Раскрашивая соломинки марганцовкой, чернилами, синькой, тушью, он сплетал из них замысловатые орнаменты, сочетания разноцветных крестов, ромбов, многоугольных звезд, зигзагов. Эти изделия он продавал богатым придуркам и вольным за зоной через бесконвойных. Поражало, какие тонкие изящные узоры создают эти грубые жиловатые пальцы, короткие, словно расплющенные на концах с большими грязными ногтями. Рассматривая нарядно пеструю шкатулку с трехслойной соломенно-фанерной крышкой, в соломенные узоры

были вплетены еще разноцветные провода, я восхищался его фантазией и умением. Он ухмыльнулся:

– Хотишь такую? Ей цена двадцать пять. Но тебе сделаю за пятерку... по блату... А ты мне давай рыбьего жиру. А то одним доходягам даешь. И розовых давай побольше... А то с одного-двух хрен оздоровеешь.

Розовые шарики – витамины ПП особенно привлекали всех наших пациентов. У того, кто проглатывал сразу несколько этих кисловато терпких пилюль, возникало ощущение жара, горели уши и шея, пахи и промежность. Значит, сильное лекарство! Мне проходилось их прятать, как яды или наркотики.

– Давать лекарства без назначения не полагается.

Он подмигнул–мол, понимаю, при людях стесняешься, но я-то соображаю, и просипел:

– На той неделе исделаю, еще лучше этой будет.

Но при очередной раздаче лекарств я не налил ему рыбьего жира и витамины он получил, как все: два шарика. Он поглядел зло:

– Не хотишь, значит?! Зажимаешь?

На рассвете во время раздачи лекарств и термометров, Хрипун не проснулся на оклик, лежал ничком, уткнувшись в подушку. Его сосед Акула сплюнул:

– У, падло, опять набздел. Удавлю!.. – Ткнул кулаком и сразу же порывисто сел.

– Да он подох.

Посиневший с выпяченными глазами, закусивший подушку труп, лежал в испражнениях. Унесли его на матраце. Вдогонку разноголосица:

–А живучий был... От злости крепкий... Теперь сактировался, барыга. Эй, доктор, там у него в заначке гроши; на всех дуванить надо, там большие куски... Хрена тебе дадут, начальство приберет... В фонд обороны и индустриализации... А евонная пайка сегодня полученная, – Севка, не зажимай, пусть доктор поделит...

И только один старческий голос, подрагивая:

– Да тише, вы, тише, ведь человек преставился... Господи, помилуй. Господи, упокой и помилуй.

Когда Хрипуна вскрывали и Александр Иванович показывал нам метастазы, я, склоняясь над распоротым, освежеванным телом, пожалел, что не дал ему ни разу ни рыбьего жира,

ни "розовых". Хоть бы так скрасил последние дни; пусть бы он верил, что добился этого сделкой, подкупом.

Кабинка, в которой я жил, была выгорожена в юрте "хроников" и выздоравливающих. Старшим, дневным санитаром там работал Гоша – рабочий паренек из Тулы. Призванный в последний год войны, он служил в тыловых гарнизонах, до фронта не добрался и демобилизовали его раньше срока из-за язвы двенадцатиперстной и туберкулеза легких. Выйдя из казармы, он на радостях выпил с компанией случайных дружков, тоже демобилизованных, смутно помнил, что была драка. Проснулся в милиции. Потом оказалось, что его собутыльники отняли у кого-то деньги, часы и пропили вместе с ним. Гошу осудили на год. В больницу он попал уже в конце срока с приступом язвы. Подлечив, его оставили санитаром, и он стал моим корешем, приносил наши харчи в мою кабинку и мы "вместе кушали". Гоша работал весело, не отшатывался брезгливо ни от гнойных ран, ни от больничных нечистот, быстро научился без излишних грубостей справляться и с трудными, склочными пациентами; ему уже можно было доверить и раздачу стандартных порций рыбьего жира, витаминов. Когда я заваливался на час-другой отдохнуть, он запирал меня в кабинке снаружи висячим замком, правдоподобно врал:

– Пошел в барак, там чего-то паникуют санитары... а потом должон в Кавече за посылкой сходить...

Нашей дружбой он гордился и по любому поводу хвастал моей ученостью.

– Наш доктор все иностранные языки знает – и немецкий, и польский, и американский, какие хотишь... У него книжки на всех языках. А читает, как орешки щелкает... От-такущую книгу за час-полтора рраз и всю насквозь... а тискает не хуже артиста, какой хотишь роман.

Гоша уверял, что обязательно пойдет учиться на доктора.
– Хорошая работа, чистая и людям польза и тебе уважение...

Лобастый, курносый, быстроглазый говорун, он всегда приветливо улыбался. Самые мрачные события гасили его

улыбку лишь ненадолго. Насупясь, он выглядел обиженным или больным мальчонкой. После освобождения, он прежде, чем ехать к себе в Тулу, зашел в Москве к моим, услаждал маму, восторженно расхваливая меня; не обошел и себя, рассказывал, как помогал, выручал, защищал, спасал от всяческих лагерных бед рассеянного, доверчивого, не знающего жизни ученого.

Толстый, рыхлый старик, осужденный за растрату, был астматиком, а в истории болезни значилась еще и сердечная недостаточность. Он надеялся на ”актирование”, очень боялся общих работ и не хотел, чтобы его выписали из больницы. Александр Иванович объяснял ему, что нужно поменьше есть жидкой пищи, лучше вовсе не пить, только полоскать рот, отказаться от соли... Но санитары и больные видели, как он густо солил и каши и баланду, хлебал чай целыми котелками. Один раз его застигли, когда он пил посоленный кипяток. Александр Иванович уговаривал:

– Поймите, вы же взрослый, образованный человек, вы себя убиваете... Вы и так уже еле ходите, ноги, как тумбы, ваше сердце не выдержит дополнительной нагрузки.

На следующую ночь Гоша застиг старика у бачка, когда тот насыпал в кружку щепоть соли, и ”легонько смазал его по дурной башке”. Старик закричал:

– Хулиган! Мерзавец! Ты кого бьешь? Я тебе в деды гожусь! Я тяжело больной, у меня сердце опасно больное... А ты – бандит! Это называется медицина: санитары избивают больных. Я пожалуюсь прокурору... В советском лагере не положено так издеваться...

Проснувшиеся больные ругали крикуна. Его называли ”хитрожопым водяным”. Однако, нашлись и защитники.

– Молодой лоб, придурок, больного старика бьет...

Гошу я отругал – не смей рукам волю давать. Но у ”Водяного” отнял кружку и мешочек соли. Он брюзжал, ныл:

– Не имеете права... Кто вам позволил обыскивать, забирать последнюю кружку. Вы такие же заключенные... И это медицина называется. Вас тут даже доктором величают, а вы издеваетесь... Все нервы издергали. Вы же обязаны знать, начальник говорил, что у меня сердце очень больное... Порошки суе-

те, капельки... а потом издеваетесь.

Сколько я ни доказывал, что именно мы заботимся о его больном сердце, ведь пить воду с солью для него – смертельно опасно, он только сердито сопел и возражал, подмигивая:

– Вы еще молодой человек, ”доктор”! Вот именно, против меня вы еще очень молоды и годами и как зека. Вы в белом халате ходите, вся ваша работа ящик с порошками, бутылочками потаскать, клистиры ставить, укольчики делать... А я на лесоповале здоровье надорвал, а потом меня – старика – землекопом определили. Я тачку катал, пока не свалился... Я все знаю. Вам начальство приказывает: лечить, чтобы здоровым записать и давай, вкалывай, гони проценты... Ведь так?! Да не возражайте, все равно не поверю. Начальству нужны работяги. А вы против начальства не посмеете. Я все ваши хитрости понимаю. Поверьте, я вашу нацию уважаю и это совсем не в укор говорю... Если бы у меня был белый халатик и жилье в отдельной кабинке, я б, может, еще лучше старался поскорее вылечивать доходяг-работяг, чтоб начальник доволен был...

Некоторые больные соглашались с ним. ”Водяного” не любили, но считали его умным, опытным ”битым фреем”, который ловко обводит начальство. Трижды в день я поил его дигиталисом, ландышевыми каплями, давал витамины, советовал выходить на воздух, не лежать весь день в душной юрте. Он хитро щурил заплывшие глаза, поддакивал. Его кружку санитар должен был выдавать ему только утром и вечером к чаю. Но иногда он забывал забрать и на утро кто-нибудь говорил:”А Водяной опять полбачка выцедил.”

...Вечер после очень жаркого душного дня медленно остывал. Весь день, казалось, собирается гроза, но тучи отваливали и влажная духота только густела, застаивалась. Гоша прибежал за мной в юрту тяжелых:

– Давай скорее, Водяной помирает.

Он лежал на спине, прерывисто хрипло дыша открытым ртом с посиневшими губами, обеими руками тискал грудь. – Укол камфары и кофеина. Горчичники на грудь, на левый бок, на спину. Свернутый тюфяк под подушку...

Он отдышался, бледный, потный, заговорил тихо:

– Спасибо вам, миленькие... Спасибо, Гошенька, сынок, спасибо вам, дорогой... Простите глупого старика, если что обидное сказал когда. Миленькие вы мои спасители... Я уже думал, кончаюсь... Ох, и страшно было, ох, и тяжко и страшно... Спасибо от всей души... никогда не забуду.

После отбоя я принес ему дополнительную порцию зеленинских и ландышевых капель, говорил, что жестокий приступ должен быть ему уроком; снова и снова убеждал: не доверяя врачу и нам, он попросту убивает себя... Его болезнь неизлечима, его уже никогда никто не пошлет на общие работы, начальник включил его в список на актирование; скоро будет комиссия... У него очень больное сердце, но жить он может еще долго, если будет строго соблюдать диету, подлечит астму, избавится от отеков... А ради этого нужно пить поменьше, лучше вовсе не пить...

– Не буду, миленький, не буду. Ведь я же не враг себе. Я еще пожить хочу. У меня дети, внуки. Спасибо, миленький, что жалеете старого дурака.

На следующий день Александр Иванович, выслушав его, запретил вставать. – Строжайший постельный режим! Санитары.должны подавать ему утку и судно.

Водяной стал кроток. Ласково здоровался, благодарил за все... Но уже на второй день Гоша сказал, что старик сам поднялся, чтобы идти в уборную – метров за 50 от юрты, жалуется, что не может лежа оправляться и другие больные недовольны. Гоша провожал его. А на утро больные рассказывали, что Водяной опять полбачка выпил и опять в кружку соль сыпал: испугался, что ноги у него вроде потоньшели, комиссия не сактирует. На мои укоряющие вопросы он отвечал, хныкая и клянясь: все неправда, чистая напраслина, ведь он теперь сам осознал, сам понимает, он свято верит доктору и мне и Гоше, своим миленьким спасителям, ведь он же себе не враг, сам жить хочет...

Дня через три он умер. Вечером, выходя из уборной, упал и минут десять лежал никем не замеченный. Гоша прибежал за мной в дальний барак, где только началась вечерняя раздача лекарств. Мы мчались изо всех сил. Но санитары уже взвалили его на носилки и накрыли с головой. К тому времени у нас наконец оборудовали морг и анатомичку – в помещении бывшего карцера – в коротком бараке с холодным

подвалом, обложенным кирпичом. А для нового карцера выстроили целый кирпичный дом со светлой "конторой", четырьмя большими камерами, которые освещались маленькими зарешеченными окошками и двумя или тремя одиночными темными боксами – тюрьма в тюрьме.

Тридцать восьмая глава

КАКУЮ ЖИЗНЬ ОТСТАИВАТЬ?

День нашей "больнички" начинался около шести утра. Я раздавал утренние порции в своей юрте и в бараке. Температуру измеряли только тем, кому было особо назначено. К девяти утра нужно было закончить с утренними процедурами — уколы, вливания физиологического раствора, — доложить Александру Ивановичу,как прошла ночь,рассказать о больных,которых ему нужно осмотреть. С полудня начинался осмотр этапов, прием новых больных и выписка выздоровевших или переводимых на амбулаторное лечение хроников. После обеда и до конца рабочего дня нужно было успеть получить очередную партию лекарств — главная аптека находилась за зоной, вольные сестры передавали туда мои заявки, составленные по назначениям Александра Ивановича, им же подписанные. Заказывали мы всегда "с походом". В маленьком железном шкафу ядов, наркотиков и особо дефицитных медикаментов, который находился в "кабинете" Александра Ивановича, — узком секторе юрты амбулатории, — и запирался особым замочком, и в моем деревянном белом большой шкафу были созданы некоторые запасы. Но тем не менее, каждая выписка и получение лекарств оказывались очень хлопотными событиями — недоставало то одного, то другого. Бесконвойные, помогавшие сестрам нести аптечные ящики, "теряли" бутылку рыбьего жира или нечаянно "рассыпали"коробку розовых витаминов. После ухода вольных сестер, которые иногда помогали мне в расфасовке и в раздаче лекарств, начинались вечерние процедуры — банки, горчичники, уколы, клизмы... Внутривенные вливания я так и не научился делать — боялся. В Унжлаге, когда я только начал учиться на курсах больнички, я видел, как опытная медсестра латышка Эльза делала внутривенно вливание молодой горластой блатнячке. Весело скалившаяся, лихая румяная девка, внезапно откинулась, икнула и, бледная, застыла. Врачебное заключение объяснило смерть непредвидимой эмболией, тромбом аорты, вызванным основной болезнью — запущенным сифи-

лисом. Лечивший меня и учивший нас – курсантов добрейший доктор дядя Боря, говорил:

– Такие тромбозы бывают и при сифилисе и при других заболеваниях. Но, тут скорее всего другое... Эльза отличная сестра, грубовата, конечно, уже девять лет в лагерях, но умелая, добросовестная, решительная. Так вот, решительность имеет и обратную сторону – может иметь, – если слишком, если излишняя самоуверенность. Привыкла, что лучше всех делает любые уколы, хвасталась, что с закрытыми глазами может наощупь найти вены... А тут если не досмотреть и в шприце крохотный пузырек воздуха, вот вам и эмболия – мгновенная смерть. Конечно, полагалось бы расследование более тщательное. Но ведь мертвую не воскресишь, а с Эльзой видите, что делается, ночей не спит, за два дня постарела на пять лет; она сама себя наказывает, впредь осторожней будет. Если же ее сейчас под следствие, под суд – наши больные останутся без лучшей сестры...

Это воспоминание усиливалось другим: осенью 43 года после контузии в полевом госпитале мне назначили внутривенные вливания никотиновой кислоты. Уколы делала сестра Таня, высокая, волоокая, грудастая дивчина из Полтавы. Она была добродушна, приветлива, но внутривенные делала плохо, робея, краснела и потела. „Боюсь впустить воздух". Но однажды от большого старания промахнулась и впустила мне толику никотиновой кислоты под кожу – боль была адская. Я корчился, едва удерживая стон. И потом еще долго на сгибе руки оставалось жгуче болезненное темное пятно...

Помня об этой боли, о страшной ошибке сестры Эльзы, я так ни разу и не решился сделать внутривенное вливание. Александр Иванович говорил:

– Это у вас обыкновенная трусость, недостаток дисциплины нервов. Впрочем, еще большей трусостью было бы, если бы вы не решились признаться в этом. Тогда

могли бы со страху и угробить больного...

Тем более лихо я колол под кожу и в ягодицы, ставил банки, промывал кишки сифонными клизмами. Но и в таких нехитрых процедурах излишняя самоуверенность, да еще замотанного, ошалело усталого лепилы, могла быть опасна.

Тихому доходяге, едва оправившемуся после дизентерии, я поторопился вогнать под кожу побольше физиологического раствора и впустил воздух. У него на бедре образовалась плоская воздушная опухоль, шершавая, потрескивавшая, как пергамент. Он испугался, а я и того больше, хотя старался не подавать виду: прикладывал грелку, мазал стрептоцидовой мазью, вкалывал новокаин и тем же шприцем пытался "отсасывать" воздух. Случилось это вечером и до самого утра я то и дело подходил к нему, проверял, как спит.

Но Александр Иванович даже не пошел осматривать жертву моего "чепе", дал назначение заочно.

— Через несколько дней все пройдет, а вы зарубите себе на носу покрепче: спешить нужно только, когда блох ловишь, да и то с оглядкой...

В другой раз я напугался еще больше. Выздоравливавший цынготник мучился от запоров. Доктор назначил клизмы с физиологическим раствором. Неполная полулитровая бутылка с наклейкой "физраствор" стояла на аптечном шкафу. Я долил поллитра теплой воды. Больной полежал, как полагалось, кряхтя, несколько минут, и заспешил из юрты, а я поставил еще несколько клизм — ромашковую, масляную и т.д. Затем перешел к банкам, но не мог найти на обычном месте бутылки бензина. Гоша сказал, что перелил бензин из грязной бутылки в чистую из-под "физраствора".

Желание убить санитара было подавлено сознанием — нельзя, чтобы пострадавший и другие больные заметили, что произошло нечто страшное. Играя строго по системе Станиславского роль уверенно деловитого медика, я подошел, как ни в чем не бывало, к тому, чей кишечник так страшно заправил, и спросил, как он себя чувствует теперь, после клизмы, был ли стул, достаточно ли? Не слушая толком, что он отвечал, я этак спокойно, однако недолго поразмышляв, распорядился:

— А ну, давай, ко мне в кабинку, тут, оказывается, доктор тебе еще и сифон назначил, это уж верняк будет, а потом получишь добавочно подрубать — особую спецдиету.

Пропустив через него "сифоном" почти ведро тепловатого слабого раствора марганцовки, я незаметно принюхивался и злополучного Гошу заставил нюхать: не пахнет ли бензином, потом мы кормили его рисовой кашей на рыбьем жиру, поили сладким чаем со сгущенным молоком и заставили проглотить лошадиную дозу салола. В ту ночь я тоже почти не спал, вскакивал на каждый шорох, на рассвете, обходя юрту, с трудом старался не слишком спешить. Пострадавший чувствовал себя неплохо, но хитрил, жаловался на слабость, на боли в ногах, спрашивая, получит ли еще спецдиету...

Александр Иванович не был потрясен моим сообщением.

— Сифонили?.. Салолом кормили?.. И все? Ну да, конечно, рыбий жир. Может, напишете диссертацию о бензино-терапии?.. Ни хрена с ним не будет, вы спохватились вовремя. Но и без того ничего серьезного, пожалуй, не было бы, ведь большую часть бензина вымыло... Опасно было бы только светить ему в задницу спичками. Но из этого я вижу, какой порядок у вас в аптеке. Пожар в бардаке во время наводнения. Набейте санитару морду и скажите, что в другой раз, если полезет в аптеку, пойдет в карцер суток на пять, а то и больше.

Раз в неделю Александр Иванович или его заместительница инспектировали карцер. И после каждой такой инспекции в больницу доставляли оттуда истощенных доходяг. Однажды, привели мальчика на вид лет двенадцати-тринадцати, скелетик, из тонких, словно бы не человеческих, а рыбьих костей, обтянутый серовато-бледной грязной кожей; маленький узкий лоб, глаза темные без белков, притиснутые к острому носу, большой вялый рот. Вокруг шеи нарывы, на руках и ногах и по низу живота — гнойники и расчесы, явственные приметы пеллагры: — "ошейник, перчатки, чулки, пояс"; вместо ягодиц выемки.

Оказалось, ему шестнадцать; сельский парень из-под Ровно, осужден "за хищение колхозного имущества", несколько раз носил домой — и едва ли не с разрешения бригадира, — в карманах непровеянную пшеницу и горох, а за пазухой свеклу.

— Вдома вси голодни булы, и мама, и братыки, и сестрычка, вси мали, я найстарши. Тата немае: герман убыв. Мама дуже хвори... вси голодни...

Его осудили на три года. Половину срока он уже отбыл. Но в лагере украл ботинки у другого зека. Украл неуклюже, просто взял стоявшие у нар новые только что полученные ботинки и понес на "майдан" к хлеборезке.

Когда спросили, не запирался.

– Взяв, бо йисты хочу... Голодный... хлиба хочу.

Обокраденный отлупил его, но ботинок вернуть не удалось; он не помнил, кому отдал, не мог опознать. Бригадиру пришлось писать акт. Иванка судили показательно в лагерной столовой и как рецидивиста приговорили к пяти годам. После суда полагалось отправлять в другой лагерь. Подследственные и осужденные содержались в карцере, куда сажали и обычных лагерников, "спущенных в трюм" на несколько суток (не более двадцати), за отлынивание от работы, хулиганство и т.п. Воры и там заводили свои порядки, отнимали у сокамерников хлеб – жалкие карцерные пайки в 300 гр. – и даже баланду. Иванко пробыл там почти месяц.

– А ни крыхточки хлиба... день в день... тильки той суп – баланда трохи.

Александр Иванович сказал:

– Еще неделя и он дошел бы окончательно... Кормить его надо осторожно. Хлеб сушите и не давайте съедать сразу, делите, чтобы по несколько раз в день... Ему нельзя переедаться.

Иванко ел истово, почти исступленно; жевал, уставясь в одну точку погасшими невидящими глазами: слизывал крошки с ладоней, кашу из миски выбирал до зернышка. Он получал двойную порцию рыбьего жира, белые сухари, сахар и конфеты из моих передач. Он не благодарил, торопливо жевал, судорожно глотал. Ни с кем в юрте он не общался; не ссорился и вообще не разговаривал. Первые дни Иванко все время лежал, укрывшись с головой дерюжным одеялом; садился, только чтобы поесть или, почуяв запах табачного дыма, – тогда его тусклые глаза оживлялись:

– Дай покурыть... дуже прошу!.. дай хоч раз потянуть!

За неделю он окреп; нарывы подсыхали, рассасывались,

оставляя коричневые пятна. Он стал выходить с теми, кому разрешалось посидеть на солнце. Пытался даже помогать санитарам разносить баланду и кашу, но его вскоре отогнали, надавав подзатыльников: — с чужих мисок сосет, шакал! Тогда он взялся собирать посуду, вылизывал пустые миски. Его прозвали "шакаленок". Однажды вечером его привели "пастухи" — захватили у помойных баков за кухней: он выбирал очистки, отбросы и ел. Старший самоохранник произнес в больничной юрте речь.

— Это уже самые последние шакалы — кусошники, кто в помойки лезут. Туда хорошая собака не полезет... А есть же такие в зоне доходяги чокнутые... Начальник приказал теперь все помойки хлоркой заливать, чтоб поносники не совались. Они, дурогребы, не верят, что там отрава от грязи. Так теперь будут знать — от хлорки все потроха горят...

Иванка я уговаривал и ласково и матерно, грозил, пугал, велел отнять кальсоны. Однако, его опять застигли у помойки в одной сорочке. На этот раз его привел надзиратель — сержант.

— Етот заключенный есть осужденный по новой, значит, должон этапироваться, как положено, в другую местность заключения. Его пожалели, как доходного и малолетку, — дають возможность лечиться, припухать в больничке, а ен-сука, нарушает, бегает по зоне с голой жопой... Вот я доложу об этим начальнику режима и, значит, его обратно в карцер до этапа...

Я упросил сержанта помилосердствовать, сунул ему пачку папирос, угостил розовыми шариками, обещал, что шакаленка разденут до гола, будут привязывать к нарам. Орал я на Иванка до хрипа:

— Ты дурне теля... Ты же если от помоев, от смиття не подохнешь, так снова в кандей пойдешь... Совсем без хлеба будешь. Опять ни крыхточки не будет. Ты что, забыл?

Он смотрел вниз; шмыгал носом; тер грязными руками грязные острые колени и бормотал мальчишеским хриплым баском.

— Не буду... Йий Боже... не буду бильше... Йисты хочу... Дуже хочу...

Санитар снял с него и рубаху и кальсоны. Отдавал только после отбоя. Днем он лежал голым под одеялом.

Ночью меня разбудил шум. Из юрты слышались то ли

смех, то ли плач, ругань и возня.

– Он еще смеется, шакал!.. Спать не дает, говноед долбанный в рот... танцы строит... А ну заткнись, падло!.. раз-раз... Не дрыгай, сука!

Иванка били его соседи по нарам. А он лежал навзничь, хрипло, клохчуще смеялся и судорожно подергивал ногами и руками.

Кто-то сказал:

– Да он припадочный... Он опять на помойку бегал... Сказал санитару, что оправиться идет и смылся... а потом пришел, жует какую-то падаль вонючую...

– Когда это было? Давно?

– Да, может, полчаса или час.

Отравление хлоркой! Я пытался вспомнить, что нужно делать. В кабине на полке стоял справочник для медсестер... Промывать желудок и кишечник... поить горячим молоком... сода, марганцовка...

Я разбудил Гошу, – ночной санитар метался в панике, то пытался держать дергающегося Иванка, то яростно материл его и всех проснувшихся, которые ругали и жлоба-санитара и шакаленка, давали советы, требовали, чтобы его убрали подыхать в другое место.

Мы перетащили его на отдельный топчан, дергающиеся руки и ноги были деревянно тверды. Я сделал укол атропина, камфоры – судороги стали слабее. Гоша грел воду, готовил растворы соды и марганцовки и сифонную клизму. Иванко уже не "смеялся", а стонал и скрежетал зубами. Мы с трудом разжали челюсти, влили ему соды, потом марганцовки. Он захлебывался – я испугался: зальем в легкие. Его вырвало зловонной черной кашицей с комьями, внятно ощущался смрад хлорки... Я сифонил его теплой марганцовкой, потом содой, вымывало черные зловонные хлопья. От ватки с нашатырем, притиснутой к носу, он едва поморщился, чихнул, но не очнулся. Однако дыхание стало ровней, стоны и судороги прекратились. Пульс был слабый, но ровный. До рассвета я еще несколько раз колол его – и с помощью Гоши влил чашку теплого раствора соды. К утру послал ночного санитара в барак бесконвойных с запиской фельдшеру Алексею, чтобы вышел пораньше, встретил вольную сестру и попросил ее купить молока.

Сестра Маруся, маленькая тощенькая девушка, жила недалеко от зоны. Ей было немногим больше двадцати, но в узком остроскулом смуглом лице, в маленьких темных печальных глазах, в узелке жиденьких серовато-русых прямых волос проступали явственные черты будущей старости – такой же тихой, незлобивой, добросовестно кропотливой. Она принесла бутылку молока, разогрела его и мы уже втроем, разжимая редкие темные зубы, вливали белую жарко душистую струйку в рот, praванивавший тухло, почти мертвенно. Иванко давился, опять вырвал, но все же проглотил несколько ложек.

Александр Иванович выслушал его, ощупал, подробно опросил нас.

– Умрет, конечно. Не сегодня, так завтра. Сам себя убил, кретин. Вы действовали, в общем, правильно. Промывать и сифонить больше незачем. Видимо, прошло не меньше часа после того, что он нажрался хлорки. Судороги означают, что яд проник в кровь. Можно еще некоторое время поддерживать сердце. Но это уже никому не нужно. Оставьте его в покое.

– Меня учили: пока больной жив, надо всеми средствами бороться, отстаивать жизнь...

– Не вас одного так учили. Это само собой разумеется. Закон медицины! Врачебная этика! Но все это хорошо там... – Он расслабленно махнул длинной рукой в сторону. – ... Там в нормальном, ну, относительно нормальном мире. А здесь другие законы. Совсем другие. Вам пора бы уже понять...

– Меня учили не там, а здесь. Тоже в лагере. И моими учителями были врачи – заключенные. Но они соблюдали законы врачебной этики. Хотя им это бывало труднее, чем их свободным коллегам... Решать, кого стоит лечить, а кого нет? И, значит, приговаривать к смерти ”неполноценных”? Это ведь та самая евгеника, на которую и фашисты ссылались... Нет, этого я не понимаю, в принципе не понимаю. И никогда не пойму.

– Бывает такая принципиальность, которая становится глупостью, самоубийственно тупой глупостью... Ваше счастье, что мне вас некем сейчас заменить и что я вас все-таки жалею.

Он смотрел на меня с презрительным любопытством, косо поворачивая большую длинную голову между остро приподнятыми плечами. – ...Эх, и обломают вам еще рога, хорошо, если позвонки не переломают... Ладно, уж, хрен с вами. Идемте!

Дам еще ампул. Ставьте эксперимент. Назовем его: воскрешение из мертвых шакала-Лазаря чудотворцем-лепилой.

Он дал мне две горсти разноцветных разнокалиберных ампул: американских, английских, трофейных немецких.

— Это вот сердечные, это антиспастические... восстанавливать дыхание. Колите каждые два часа сегодня, потом каждые три, если возобновятся судороги — чаще. Посмотрим, сколько он проживет... Может быть, этот опыт и пригодится когда-нибудь, кому-нибудь. Хотя скорее всего это бессмыслица, абсурд, искусство для искусства... Вы принципиальный псих, а ваш начальник беспринципный добряк...

Трое суток я колол Иванка днем и ночью. Он не приходил в себя. Несколько раз ему вливали молоко. Делали питательные микроклизмы. Александр Иванович сам с сестрами приготовил витаминизированный бульон. Вогнали мы в тощее мальчишечье бедро почти два литра физиологического раствора. Обкладывали его грелками. Тело стало мягче. Пульс все явственнее, полнее. Казалось, он просто спал. Гоша очень старательно помогал мне и наблюдал за нашим "подшефным". Не доверяя другим санитарам, — в этой роли сменялись выздоравливающие, — он по ночам сам поднимался будить меня. — "Пора колоть!" — Он неотступно наблюдал за ходом лечения, помогал делать уколы, ставить клизмы, добывать молоко. И он же разбудил меня в четвертую ночь, радостно ухмыляющийся:

— Ванька-Шакаленок покуривает!..

Один из больных, затянувшись цыгаркой, услышал тихий голос: — Дай покурыть! — и растолкал Гошу.

...Иванко лежал на боку с полуоткрытыми глазами, посасывая махорочную самокрутку.

Несколько минут счастья. Настоящего счастья. Я готов был расцеловать грязную губатую мордочку. Вокруг радостные голоса:

— Здорово, шакаленок! Оживел?!

Мы дали ему рыбьего жира, подогрели остатки молока. Он пил не жадно, медленными трудными глотками. — В горли болыть... — Я сделал укол и он сразу уснул. Утром Гоша кормил его молочной тюрей из белых сухарей, поил сладким чаем. Он ел медленно и, не дожевав, засыпал.

Александр Иванович долго выслушивал его, ощупывал,

пытался расспрашивать. Но тот не помнил, что ходил к помойным бакам, не мог объяснить, что чувствует.

— Болыть... и туточки болыть... и тамочки болыть.

—Ну, что ж, ваш Лазарь воистину воскрес. Хоть и воняет хуже мертвого, но жить будет. Колоть больше не нужно. Кормите осторожно. Следите. Он и раньше не был светочем разума а теперь стал совершенным дебилом и это уже навсегда. Можете радоваться: осчастливили человечество.

— Теперь его должны сактировать.

— Вполне вероятно. Я написал все, что нужно. Приложат к делу. Но и на воле, кому он такой нужен. Ни родне, ни отечеству...

Через несколько дней Иванко садился, пытался вставать. Он был еще слаб, но есть начал с прежней жадностью. Его хлебную пайку мы сушили, делили на три-четыре порции, дополняли их белыми сухарями из передачных булок, варили ему рисовые и геркулесовые каши из передачных круп и кисели из ягодных концентратов, давали их взамен баланды. Но он стал требовать "свое... что положено", — и — чего раньше не бывало — требовал раздраженно, зло.

— Дай мий хлиб... весь хлиб дай... Дай мий обид, весь обид... дай суп!.. твою мать... дай ще каши!.. дай!.. оддай ми-ий хлиб!.. твою бога мать.

Гоша сердился.

— Шакал и есть шакал. Ни хрена не тямит. Только зубы скалит: вот-вот укусит...

Во время раздачи обеда он опять угрюмо заскулил. — Оддай хлиб... дай суп.

Я пытался объяснить, что он получит весь свой хлеб, но только не сразу... вечером будет еще и получит больше пайки, больше всех, а вместо супа — баланды ему дают особую кашу... Он смотрел не мигая, маленькими тускло темными глазами и внезапно я заметил: смотрит ненавидяще.

— Оддай мий хлиб!.. оддай весь обид!

— Тебе дают весь обед. — Твой обед лучше, чем у всех, на ужин получишь еще хлеба. Ешь сухари и кашу. Довольно скулить!

Он принялся грызть сухарь; я отошел к другим нарам. Он опять заныл:

— Хлиб забралы... гады. — И вдруг нагнулся, схватил ботинок и бросил в меня. — Уу-у жид... оддай хлиб, ж-жид, твою бога мать!..

Бросок был слабый; ботинок едва толкнул в плечо.

Вокруг стали кричать: — На кого кидаешь, псих?! Он же тебя с могилы вытащил... Он тебе, шакалу, свои передачи отдает... Ты ж подыхал, дурак!..

Гошу я успел удержать, он хотел кулаками полечить шакала.

Шум испугал Иванка, он притих, молча поел. Гоше и соседям Иванка я объяснял, что мальчишка ненормальный, чокнутый, отравление подействовало на мозг — его жалеть надо. Потом ушел в свою кабинку. Гоша дал ему добавочно каши и произнес длинный патетический панегирик немыслимым добродетелям доктора. Ему зычно поддакивали доходяги, из тех, кто всегда норовит возможно приметней обожать любое начальство...

— Ты, шакаленок, должен прощения просить... спасибо сказать, что они тебя жалеют. — Столь же громогласно толковали они, что евреи не такая уж плохая нация и приводили примеры, рассказывали о некоторых весьма положительных евреях.

За дощатой стенкой звучали нарочито утешительные речи и нечленораздельное бормотание Иванка, видимо, умиротворенного добавкой. Я сидел на койке, курил и пытался читать, а в носоглотке набухало, давило горькое влажное тепло, одолевали стыд, отчаяние от бессилия, обиды, злости, и мутная жалость — жалость к себе и к несчастному шакаленку.

На следующий день он опять было заныл: — Оддай хлиб, — но Гоша ответил полнозвучной оттяжкой, пригрозил закатать в лоб, отнять сухари — и он притих.

К тому времени, когда вызвали на этап, он уже достаточно окреп; опять приходилось раздевать его днем и ночным санитарам провожать в уборную. Александр Иванович продиктовал мне подробную выписку из истории болезни и заключение, утверждавшее психическую неполноценность и необходимость досрочного освобождения.

Он ушел, ни с кем не простившись. Гоша дал ему в дорогу сверток — сухари, печенье, сахар — он взял, даже не кивнув,

быстро сунул за пазуху.

Когда я увидел, как он ковыляет вслед за надзирателем, – маленькая стриженая голова на тонкой шее торчала из грязно-серого рваного ватника (в жаркий августовский день), нетвердо ступали разбитые рыжие ботинки, – я ощутил острое до боли сострадание и облегчение: – избавился, наконец...

Все же воспоминание о ”воскрешении” Иванка оставалось добрым, светлым. Им я как бы старался уравновесить другие воспоминания – постыдные, мучительные для совести.

Власть ”предержащую” в лагере олицетворяли прежде всего начальствующие офицеры: капитан Порхов – начальник лагеря, майор –оперуполномоченный, капитан – зам. начальника ”по режиму” и капитан – начальник КВЧ. Появлялись время от времени какие-то лейтенанты; на вахте хозяйничали и по лагерю похаживали – гуще всего в часы поверок – мордатые старшины и сержанты, ефрейторы и рядовые вертухи в синих погонах. Однако, на стройплощадках в рабочих зонах распоряжались прорабы, бригадиры, десятники в большинстве заключенные. Были среди них и осужденные по 58-й: лучшей бригадой плотников уверенно, спокойно, по-офицерски, верховодил бывший саперный майор, получивший по ОСО пять лет ”за восхваление вражеской техники” – объяснял кому-то, что немецкие паровозы и немецкие автомобили пока еще лучше наших. Одну из ведущих инженерных должностей исполнял Василий С., коренастый, быстроглазый москвич. Он попал в плен с ополченцами в октябре 41-го, стал адъютантом Гиля-Родионова, командира первой конной бригады по борьбе против большевизма, которая сразу же после формирования превратилась в ”первую конную антифашистскую бригаду” (весна 1942), громила немецкие тылы в Белоруссии, вызывая панический страх и ярость оккупационных властей, против нее бросили едва ли не армию. За год бригаду размозжили и окончательно добивали летом 43-го в болотах. Немецкое командование сообщало особой листовкой: за живого или за мертвого Гиля награда 50 000 марок.

Весной 43-го года он был награжден орденом "Красная звезда". Указ об этом тогда бросился в глаза и запомнился как необычный: даже самые высокие награждения в ту пору оглашались в длинных списках, а тут особый, с подписью Калинина, Указ на одну скромную "Звездочку". Тяжело раненого Гиля доставили самолетом в Москву. Летом 46-го его видели в Бутырках в больничной камере. Что с ним стало потом, неизвестно. Видимо, умер; но где и как?

Василия немцы захватили в плен тяжело больным еще до разгрома бригады и отправили в Майданек; освобожденный в 44 году, он подлечился, подкормился в воинских госпиталях, получил погоны старшего техника-лейтенанта, участвовал в боях за Берлин, получил медали, но вскоре после победы был арестован и осужден ОСО на 10 лет.

Внутри лагеря – в бараках, юртах, в столовой, в бане, на лагерных улицах повседневным бытом зека управляли непосредственно самоохранники из заключенных, "малосрочники", осужденные за хулиганство, за прогулы, за служебные грехи, – в том числе и бывшие милиционеры, – за мелкие кражи. Начальником самоохранников был Семен Зубатый: его толстогубый рот, по-обезьяньи вспученный на серо-бледном и всегда уныло раздраженном лице, распирали большие, как клавиши, зубы, и стальные коронки торчали, как машинные резцы. Он не носил арестантской робы, расхаживал в кепке, в вольном пиджаке, синих бриджах и добротных яловых сапогах. Бывший милицейский оперативник из Ровно был осужден за "незаконное хранение оружия".

Семен приходил ко мне редко; расспрашивал с недоверчивым, настороженным любопытством; заглядывал в книги, журналы, иногда, словно невзначай, заводил разговор о международном положении, об атомной бомбе. Видимо, выполнял поручение "кума". Чаще бывал у меня его заместитель Саша Капитан. Москвич, техник-строитель, осужденный на год за хулиганство, за пьяную драку в ресторане, – он собирался после освобождения работать на этом же строительстве.

– Зарплата подходящая, от дома недалеко, дисциплинка правильная – баловаться больше не буду...

Арестантскую гимнастерку он носил с щегольским подворотничком и перехватывал матросским ремнем. Отсюда и прозвище, хотя на флоте он служил матросом.

— За старшинскими лычками не гонялся, сачковал, домой хотелось. Трудная береговая служба в мирных камчатских базах опостылела, даже в Корею попасть не пофартило, а кой-кто из наших там правильно прибарахлился и японочек греб и кореек, у них там бабы высший класс. А меня все только солило и морозило. Тело, может и закалилось, но характер испортился.

Саша иногда заходил ко мне выпить рыбьего жиру, получить порцию витаминов. Когда он пришел в первый раз и показал назначение Александра Ивановича, то, видимо, заметил в моем взгляде недоверие. Он молча сел, стянул наваксенный яловый сапог, задрал штанину. На белой с синеватыми жилками мускулистой икре темно-коричневые пятна.

— Ясно?!

— Цынга! Лук, чеснок у тебя есть? Хвою пьешь?

Во всех бараках были установлены бачки с хвойным настоем — главное противоцынготное средство тех лет.

— Лук, чеснок бывают; хвою пью кружками, пока блевать не потянет. Но от камчатской цынги рыбий жир лучше помогает. Не возражаешь?

Мы посмеялись и с этой встречи установились у нас приятельские, свойские отношения. Он заходил иногда и после отбоя, просто в гости, рассказывал о лагерных событиях.

...Вернувшись после вечернего обхода в кабинку, я обнаружил, что исчезли мой вольный костюм, висевший на гвозде в глубине — из окошка не достать, — кое-что из белья и харчей. Кабинка была заперта, замок цел; Гоша уверял, что не отлучался из юрты, никому не передавал ключ. Небольшое квадратное окошко казалось нетронутым, занавеска цела. На дощатом столике, по вагонному приколоченном под самым окном, лежали книги, тетради, папки с моей "канцелярией" — и на них не было заметно никаких следов. Гоша был растерян и рассержен. Он требовал свидетельств от больных, орал на всю юрту, что ничего не пожалеет, все отдаст тому, кто поможет найти шкодника. Так называли тех, кто воровал в лагере, к ним не полагалось применять почетное звание вора. Потом он побежал за самоохранниками. Пришел Саша Капитан с двумя пастухами. Он повел следствие, как заправский детектив: с Гошей разговаривал особенно строго, хотя, я сразу же сказал, что не допускаю мысли о какой-либо причастности моего кореша.

Ведь помимо всего иного, он же не дурак, ему через неделю на волю идти, а в этой краже должны заподозрить прежде всего именно его – у него ключ от кабины.

Саша, закончив расспросы, уверенно сказал:

– Крали опытные шкодники, но из малолеток, только пацан мог пролезть в окошко, и только опытный ворюга сработать так, чтоб и занавеска цела и на столике все аккуратно. У тебя есть знакомые воры – поговори с ними по-хорошему, пусть пощупают малолеток. Если схотят – сразу найдут. А ты – он строго уставился на Гошу – давай, пошуруй вокруг майдана; на случай, если уже толкнули. Кто мог вольную лепеху покупать? Придурок, который побогаче, или бесконвойный барыга, чтоб за зону пульнуть. Давай, не тяни резину, если уйдет из лагеря, хрен догоним...

Уже на следующий день соединенными усилиями Гоши и моих блатных приятелей было установлено: какие-то малолетки продавали "вольные вантажи" поварам. Вечером в час ужина Саша с двумя подручными, Гоша и я пришли в барак придурков – просторный, без вагонок. Железные койки аккуратно застелены, на каждой по две-три подушки, – большие тумбочки с висячими замками. Дневальный и несколько жильцов, лежавшие на койках, не выразили удивления при виде длинных пастушьих палок и моего белого халата. Саша сразу же пошел к койкам поваров; поднял матрац на одной, на другой... на досках лежали мой пиджак и брюки, тщательно распластанные и прикрытые моим же полотенцем. Он подозвал дневального:

– Чья койка?

– Семена – повара...

– Это видишь?

– Ну, вижу, только я ни хрена не знаю, я к ним без касательства...

– Ладно, ладно, только ты теперь видел, что это не мы положили?

– Ну, видел.

– Никому с барака не выходить, пока Семен не придет.

Один из Сашиных спутников остался у койки, второй стал у дверей; мы вышли наружу.

– Знаю я этого Семена. Сытый лоб. Бога с себя строит. Доходяг только так мордует. Если кто лишнюю миску баланды закосит – полжизни отнимает. Ну, теперь мы его сделаем.

Гоше и мне передавался его охотничий азарт. Ждать при-

шлось недолго. Повар – плечистый круглоголовый румяный парень лет тридцати, поздоровался с Сашей покровительственным баском.

– Приветик, пастуший капитан. Ты что, теперь уже и докторов пасешь?

Саша отвечал в том же тоне; спросил, как прошел ужин и еще что-то о кухонных делах. Тот отвечал уверенно, спокойно.

– Ну, бывай, пойду спать. Мне в ночь вставать на закладку...

– Приятных снов... Да, минуточку, хочу еще тебя спросить, вот у лекпома в стационаре позавчера пиджак украли и брюки. Говорят, кто-то из вашего барака покупал или сменял похожие вантажи... Ты не слыхал?

– Нет, мне это без интересу...

– Да, ты постой, постой. Может, все-таки припомнишь, а? Может, подскажешь, где спросить?

– А чего я тебе буду подсказывать, если ни хрена не знаю. В голосе к басовитой уверенности подмешивалось раздражение.

– А если мы найдем краденое в вашем бараке? Что тогда скажешь?

– Ни хрена не скажу. Я вкалываю, бля, по восемнадцать часов у плиты. У меня нет времени, бля, слушать, кто что купил, махнул, толкнул...

– Ну что ж, пошли, пошмонаем вместе. Пиджак мы все признаем, я сам его у доктора видел, интересная лепеха, заграничная. Такой один в зоне.

– А кто нам, бля, шмонать позволит? Ты кто? Опер? Или ордер имеешь? Я, бля, таких правов не имею.

Он пытался говорить уверенно, однако, раздражение сменялось растерянностью, звучавшей и в том, как он зачастил блатной приговорочкой "бля". Мы вошли в барак. Увидев обоих охранников, повар заметно сник. Саша сказал жестко:

– В последний раз вот при людях спрашиваю: ты знаешь, кто здесь покупал краденые вещи? Не знаешь, значит, будем шмонать! Это чья койка?

– Это не положено. Это, бля, против закона! Без начальства, без надзора шмонать, не положено... Не буду.

– Не будешь?! Лады, мы сами управимся. Только, стой, куда срываешься? Ты же спать хотел.

Повар двинулся было к двери, но самоохранники и Гоша, едва не дрожавший от яростного нетерпения, обступили его.

— Чего хватаешься? Какие у тебя права, бля? Вы кто, охрана, бля, или кто?

— Твоя койка?

— Ну моя...

— Тут все вещи твои?

— Мои.

— А это что? Тоже твое?

— Этта что?.. Не знаю! Тут мой костюм лежал... А теперь, бля, чужие тряпки положили. Узнаю, кто, шкодник, кто, сука, мое взял, а чужое, бля, сунул, удавлю гада!.. Так это может ваше? (ко мне).

— Да, украдено позавчера из мой кабины.

— Ну так ты, капитан, теперь у них пошмонай, может там мой костюмчик, бля, подложенный. Мне чужого не надо, а мое, бля, отдай. Мой костюмчик новенький, получше этой лепехи и шкарят, бля, заношенных. На хрена мне такие вшивые шмотки, я б их и даром, бля, не взял.

Он старался восстановить самоуверенность, нагличал, даже ухмылялся. И я не удержался и ткнул кулаком в его ухмылочку... Он едва шатнулся, но потом картинно упал на разворошенную койку и надрывно взвыл.

— За что бьешь?.. За что-оо?

Саша кивнул. Оба пастуха подхватили его с койки.

— Заткнись. Пошли, погуляем.

Они привели его ко мне в кабинку и там начали допрашивать. Саша бил кулаком в живот, в бока, ребром ладони по затылку, его подручные колотили палками по икрам, по заду. Спрашивали, у кого купил.

Сперва он сказал, что какой-то доходяга принес на кухню и он взял не глядя, дал хлеба, каши, махорки... Сразу не говорил правды, потому что испугался, никогда в такие дела раньше не путался...

Саша бил его, брезгливо кривя красивые губы.

— Не стони, падло! Не кричи, сука. За один крик два лишних раза дам. — Говори, кто продал, точно говори, бля, не придуривайся!..

Он бил короткими ударами. Закурил и опять бил, не выпуская изо рта папиросы. Гоша тоже норовил ударить. Его оттерли.

– По морде не надо, следов чтоб не было...

Повар падал. Его поднимали. Ставили к стенке или сажали на койку. Он закрывал глаза, будто терял сознание, сипло, тяжело дышал... Я сунул ему под нос флакончик нашатыря. Прочихавшись, он поглядел на меня.

– А ты еще доктор называешься... Собаки, за что убиваете?..

Саша ткнул его под ложечку. Он захлебнулся, посинел.

Но я не возражал против избиения. Не помешал, хотя били в моей кабинке, у моей койки. Я не призывал к жалости, к человечности и не испытывал жалости. Было мерзостно до тошноты, как при вскрытии грязного трупа, и вместе с тем чудовищно любопытно: – Так вот, как это бывает! Вот он допрос "третьей степени".

Наглый придурок, ежедневно колотивший и кухонную прислугу и беззащитных доходяг, был отвратителен. Однако, с каждым ударом нарастало и недоброе чувство к Саше, к его нарочито бесстрастному, почти веселому палачеству. Он и его помощники били расчетливо, хладнокровно и только напускали на себя злость, чтоб распалиться. И они, и мой добряк Гоша, суетливо ликовавший от удачи сыска, искренне возненавидевший повара, вызывали во мне страх и неприязнь. Неприязнь была тем более острой, что я сам себе становился мерзок – участвую в пытке, и не могу и, пожалуй, не хочу мешать. Все же я несколько раз остановил Сашу: – Дай-ка я спрошу, объясню сукиному сыну... – И я пугал избитого, сулил ему страшные муки, угрожал такими уколами, после которых он сам будет смерти просить. А Саша "подсказывал" ему, называл имена и клички малолеток-воров: – Может, Седой? Фиксатый?..или Блокада?.. Шип?.. Казак?.. Рыжий?..

...Он мотал головой.

– Не знаю... не вспомню... убивайте, не знаю.

Сашин кулак и палочные удары подействовали сильнее моих красноречивых угроз. Утирая слезы и пот, он, наконец, признался, что купил все у вора-малолетки по кличке Шип и заплатил триста рублей наличными.

Побои прекратились. Он сидел на полу, прислонясь к стене. Тяжело дышал, как бегун на финише. Гоша протянул ему воды.

– Дай каких порошков или капель от боли... Все потроха, бля, отбили. Здоровые лбы.

Две таблетки пирамидона я дал ему запить рюмкой брома.

— Лечишь, бля?.. Убиваешь, калечишь, а потом лечишь?

— Заткнись, Каин-сука... Тебе сразу за все дела досталось. И за шкодничество и за доходяг мордованых.

Самоохранники приволокли мальчишку — тоненького, верткого, прыщавого. Он скулил бесслезно пронзительно на одной ноте.

— Не брал я...не брал... век свободы не видать, ни хрена не брал! Чтоб я сдох в тюрьме! О-ой-ой, не бейте, я ж не брал и не знаю... Я весь больной.

Увидев повара, он заорал в голос:

— Не бе-э-э-эйти!!!

Саша ткнул его коротко под ребра, он зашелся икотой и заплакал совсем по-детски.

Мальчишку мы с Гошей узнали. Еще и двух недель не прошло, как его выписали из больницы, вылечив от цынги и поноса, лежал он в нашей юрте. Гоша кричал торжествующе:

— Ты шкодник, паразит, падло бессовестное... Он же тебя вылечил. А ты красть долбанный в рот, говноед, вша, глиста, сука гумозная... Убить мало.

— Я не крал! Чтоб мне сгнить...

— Не крал? Ну, значит, партнер крал, а ты толкал. Вот... И три куска взял. Кто партнер? Кто сюда лез? Скажи, а то кровью срать будешь, живым не уйдешь...

— Не знаю, гад буду, не знаю! Ничего не толкал. Врет он, свистит придурок, сука позорная... Думает на малолетку можно... Я людям пожалюсь, его, суку придавят.

Повар вскочил и стал бить мальчишку кулаками по голове, по груди. Он таращился исступленно.

— Пожалишься?! Паскуда, шкодник! Ты ж божился, в рот тебя долбать, что вантажи с воли заигранные (т.е. выигранные в карты). Отдавай гроши, падло! Три сотни давай, гадюка, через тебя человека убивают.

Повара оттащили и велели убираться вон. Он требовал свои деньги. Шип кричал.

— Свистит сука: он только два куска чистых дал.

Но повар не отставал. За несколько минут он уже словно бы оправился, только изредка постанывал, хватаясь то за плечо, то за бок. Он хотел теперь одного: получить обратно деньги.

Его выталкивали, а он упирался, ругаясь.

– Еще увидим, кто крепче бьет... С ворьем снюхались, гады. И вантажи отмели и гроши зажимаете. Одна шобла – жулье приблатненное и пастухи, и доктора, долбанные...

Саша лихо по-футболистски ударил его ногой в зад и вышиб за дверь.

– Вот гад, за копейку и пацана убьет и себя не пожалеет.

Мальчишку били меньше. Тут уже и я не мог смотреть, оттягивал Гошу, который совсем разъярился.

– Из-за такой погани, меня за шкодника могли посчитать.

Удерживал я и самоохранников, которые лупили пацана, хотя и не так жестоко, как повара, спрашивая.

– Кто партнер?.. Кто лез в окошко?.. Кто стоял на зексе?

Он выл истошно. Из юрты уже раздавались сердитые голоса:

– За что пацана мордуют?.. Пастухи, долбанные в рот! Гошка-сука, ты еще не на воле, а уже в мусорах?! Доктор, ты чего там смотришь, здесь больничка или кандей?!

Гоша выскочил и навел порядок.

– Учат шкодника, скоро кончат.

Зареванный Шип назвал, наконец, партнера, которого, однако, нельзя было доставить, так как его накануне отправили в карцер на десять суток. Шип даже показал, как влезал в окошко, пока партнер стоял на зексе, как потом аккуратно поправил все на столе. Он клялся, что деньги повара уже проиграл взрослякам, что он еще раньше "полетел на большие куски" – т.е. проиграл в долг несколько сот рублей, – и шкодничать стал только из-за карт.

– Ведь человеку полетел (т.е. задолжал вору), нельзя не отдать... я ж малолетка, только на ноги становлюсь, а меня уже землить хотели. (Карточные долги у воров, как некогда в светском обществе, считались делом чести, необходимо было отдавать любой ценой, в противном случае полагалась "земля", т.е. лишение звания вора.)

Из дальнейшего уже мирного разговора стало ясно, почему так упирался повар, у кого купил краденое. Он был некогда вором, но ссучился, а Шип числился при "законных родичах". Сделка с ним казалась не только непосредственно выгодной, но сулила еще и возможности деловых отношений с бывшими коллегами, надежду, что они признают повара обычным придурком из фраеров и не будут считать ренегатом. Побои, не-

сомненная осведомленность Саши, страх перед враждою пастухов и обидное сознание, что впустую потратился, заставили его признаться. Хлипкий Шип оказался упрямей и хитрей. Он не назвал никого, кроме недоступного расправе пацана, который, возможно, и вовсе не был причастен.

Саша решил на этом закончить дело. Повар жаловаться не станет.

— Ему ж никакой выгоды не получится, а только еще хуже будет, если заведут следствие... А те родичи, которые дали нам "наколку" не станут мстить за то, что Шипа "отметелили" — это дело обычное. Шкет сам шел на риск, действуя, как шкодник; законный вор в лагере не крадет, а курочит фраеров, отнимает все, что хочет и может, — ему так положено. — Но если бы вмешалось начальство, следователи, то возникла бы опасность новых лагерных дел, кое-кто из малолеток мог бы и расколоться в карцере; потянули бы и взросляков — ведь без них не обошлось... Мы, конечно, хотим, чтоб полный порядок был в лагере. Значит, нужно давить ворье. И будем давить беспощадно. Однако, у них пока есть сила; всю шоблу сразу не ухватишь. Значит, надо иметь хитрость и себя поберечь.

В этот вечер наши приятельские отношения с Сашей Капитаном достигли наивысшей и вместе с тем переломной точки. Он оказался неприятен и даже страшен. В красивом свойском парне обнаружилась бездушно жестокая сила. Такой мог быть и хорошим воякой и надежным артельным товарищем, словно бы и вовсе беспечно разудалый, смышленый добряк, с первого взгляда возбуждая приязнь и парней и уж, конечно, девушек, вызывая восхищенную почтительную зависть друзей и собутыльников, благосклонность начальства... Зато если ему понадобится, он, спокойно рассудив, предаст, ограбит, убьет, станет палачом, не утруждая себя ни нравственными догмами, ни предрассудками благодарности, семейного или дружеского долга...

Он был умен и почувствовал, что я стал отстраняться, но все же не настолько умен и сведущ, чтобы понять причины. несколько раз пытался выяснять отношения .

— Давай поговорим по душам... ты, чего-то вроде как меня опасаешься?.. А ведь я к тебе, как друг, насамделе... Мне это по-хрен, что ты пятьдесят восьмая; я людей понимаю лучше всякого опера, — и тебе верю. Ты вот веришь кому попало, — например, ворью... Я знаю, ты с них калыма не имеешь, ты на

лапу не берешь, как твой начальник... Да ты не махай на меня. Ты ни хрена не видишь, потому что глаза на книжках испортил. У вас в той юрте, где с понтом самые тяжелые больные, уже трое главных родичей паханов припухают: Акула и Кремль давно, а вчера Леху Лысого положили. А санитарами там кто? Бомбовоз и Севка полуцвет приблатненный. Ну, скажи по совести: они и вправду очень тяжело больные? Уже доходят фитили?

— Акула тяжелый малярик. Его через два дня на третий в такой жар бросает, что он полдня без сознания, бредит. Его уже акрихин не берет. Сегодня начали новое средство применять, он весь синий стал, как покрашеный, идем покажу... У Кремля язва желудка, кровью ходит и цынга началась. Это любому, кто цынгу видел, заметно. И Лысый тяжелый цынготник, я с ним еще на штрафном, на карьере возился.

Все это было правдой и возражал я Саше уверенно, безоговорочно. Однако, я знал, что многих язвенников и цынготников не менее тяжелых, чем эти знатные воры, у нас лечили амбулаторно или в моей "легкой" юрте. Об этом заговаривал со мной уже и Гоша, удивляясь и укоряя.

— Ты вот свое даешь доходягам, а они тебе не всегда простое спасибо скажут, думают, так и надо. А начальник умеет жить. Ему блатные такой заигранный костюмчик пульнули, на воле хрен достанешь, трофейный...

Гошу я пытался воспитывать. Вразумлял его и прагматически — мол, не слушай трепни и не повторяй, пользы не будет, а врагов наживешь, но для себя знай, что жульничество, блат, лишь на первый взгляд выгодны, а на поверку вредны, гибельны: — рано или поздно ведут в тюрьму, да и самому с нечистой совестью жить погано. Старался я объяснить ему, что такое настоящая коммунистическая нравственность, которая вырастает из лучших свойств христианства и старинных добрых народных обычаев — рассказывал о докторе Газе и Короленко, напоминал о песне бродяги "хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой".

Но Капитану я мог противопоставить только деловитые медицинские справки. Он смотрел насмешливо пристальным следовательским взглядом.

— Темнишь, керя... Ох, темнишь! А ведь я с тобой от чистой души. Я тебя не раскалывать хочу. На хрена мне это. Я не стукач-наседка. У меня с кумом дела открытые. Мое начальст-

во другое — режим, лагнадзор. А по правде, так я сам себе начальник. У меня свои стукачи есть. Везде есть — можешь поверить. И про тебя знаю такое, чего ты и сам, может, не знаешь. И на твоего начальника я зла не имею. Он умный мужик, доктор, что надо — его весь начсостав уважает. Но он свой интерес понимает, знает, как жить, не такой олень, как некоторые сильно грамотные... Но только и он прогадать может. Он блатных в больничку пристраивает, а ворье у нас теперь прижимать будут. В новых этапах все больше суки едут. Они с законными уже резаться начинают, головы рубать... Объясни начальнику. Блатным скоро хана. Понимайте! Когда двое дерутся, третий не мешайся. А если никак не можешь или не хотишь в сторонке, так уж держись того, кто сильней.

Эту "ноту" я пересказал Александру Ивановичу, несколько смягчив прямые намеки на предполагаемые "материальные" причины его благосклонности к ворам. Он сердито хмурился.

— Херня все это. У нас лежат больные без чернухи... Но вы будьте осторожней. Ворью, разумеется, доверять нельзя. Даже самый простодушный с виду, как этот наш Бомбовоз, способен на все, если прикажет его брашка. У них ведь ни у кого нет совести. Просто нет, ну вот, как у людей не бывает музыкального слуха. Но и другим доверять нельзя. Суки — это те же воры, только еще хуже. И красавчику Капитану верить не вздумайте, — он сучьей породы. Впрочем, и мне можете не доверять — не обижусь. А я вообще не должен вам доверять, обязан быть бдительным, учитывая статью... Но в общем и целом, все это — херня. Показывайте больных!..

Тридцать девятая глава

МЕЖДУ ФРОНТАМИ

Новые этапы прибывали почти ежедневно из других лагерей, из московских тюрем, по 20-30 человек, иногда и больше. В санчасти ежедневные приемы становились все более многолюдными. Кроме амбулаторных больных необходимо было обследовать всех новоприбывающих поголовно. И после каждого осмотра нескольких отправляли в стационар – в "больничку". Поэтому Александр Иванович то и дело вызывал меня, требовал, чтобы я присутствовал, когда он осматривал новые этапы и тут же записывал его назначения. Я уставал все больше, все тупее; постоянно болела голова, приходилось по нескольку раз в день глотать анальгин, пирамидон, кофеин. Иногда наплывало, наваливалось унылое равнодушие – равнодушие отчаяния, бессилия: ведь что ни делай, все напрасно, ничего не изменить, не исправить, не улучшить по-настоящему... Сегодня поможешь несчастному доходяге, он подлечится, а завтра его погонят на работу и через день-другой он опять свалится...

В лагере все явственнее сгущалась тревожная напряженность. После нескольких побегов поверки стали продолжительней, суетливей. Надзиратели и "пастухи" злились, опаздывающих на поверку подгоняли пинками и палками. Не прошло и недели, как новый побег. Да еще из карцера. Малолетка, сидевший в одиночке, ночью разобрал дощатый пол, спустился в пустой подпол, там в кирпичной стене были отдушины. Он выковырял неведомо как добытым куском железа еще несколько кирпичей, незаметно пролез под проволочной оградой карцера и полез под основную лагерную ограду у самой вышки.

В ту ночь я задержался в юрте тяжелых и выбежал, услышав автоматные очереди и крики... С вышки прерывистое татакание, чиркали красные, оранжевые полоски трассирующих косо вверх в темную синеву, в густые белые россыпи звезд.

Визгливый бабий голос надрывался: – Бегит... вот-вот ен бегит!.. На Волгу побег!.. (В наружной охране служили и женщины-стрелки).

Метались бледно-лиловые лучи прожекторов и выла сире-

на. Трещали автоматы на других вышках Снаружи вдоль проволоки бежали, топоча, солдаты, лаяли собаки...

Зычный начальнический баритон материл дуру-бабу.

— Куда пуляешь в небо?! Огонь без предупреждений... Хоть в упор стреляй гада, раз он полез, раз бегит... мать его...

С вышек из-за проволоки орали:

— Всем зайтить в бараки... Все расходись!..

Несколько разбуженных выстрелами зека вышли поглазеть на происходящее.

— Заходи, стрелять будем... Эй, ты в белом халате, иди в юрту... твой рот долбать!.. Стреляю без предупреждения!..

Бежавшего не поймали. На утренней поверке объявили, что его подстрелили в реке и он должно быть утонул. Начальнику карцера был вынесен выговор, самоохраннику-дневальному, дежурившему по карцеру, досталось десять суток ”без вывода на работу” — это значило голод. Через неделю один из наших больных — молодой вор получил открытку с штемпелем Орла, писал убежавший: ”...еду отдыхать, хотя здоровье хорошее, привет друзьям. Скажи дяде Пете, что никогда не забуду его внимания и ласки...” Цензура, видимо, не обратила внимания на короткую открытку. Адресат не числился в списках тех, чью почту подлежало просматривать особенно тщательно.

Дядя Петя — начальник карцера — был тоже заключенным, но привилегированным. Раньше он служил в милиции, осужденный за какие-то служебные грехи, он стал настолько бесконвойным, что так же, как прорабы, жил за зоной. Серолицый, тихий, — такого десять раз встретишь, а на одиннадцатый не узнаешь, — он соблюдал в карцере ”порядочек и аккуратность”. За малейшие проступки и ”нарушения”он беспощадно наказывал своих квартирантов: ”лишал довольствием”, т.е. отнимал и тот жалкий корм, который им полагался, бил собственноручно куском резиновой трубки, завернутым в мокрую тряпку, чтоб ”чисто и без вреда для здоровья, чтоб воспитывать, а не калечить” — бил бесстрастно, метко и неумолимо; удары были очень болезненны, однако не оставляли видимых следов, — а наиболее серьезных грешников ”завязывал в смирилку”. Смирительная рубашка — кусок брезента с клапанами и запистоненными дырками для шнура. Наказываемого клали на брезент животом, руки и ноги загибали назад, привязывали

кисти к ступням и при этом накрепко увязывали в брезентовую "рубашечку". Высшая мера – четыре часа "на брюхе", низшая – час "на боку".

Дядя Петя наводил порядок хитро, никогда не наказывал слишком сурово тех, о ком знал, что имеют влиятельных или мстительных друзей, не трогал серьезных воров – "взросляков", зато отводил душу на одиночках, "полуцветных", малолетках. Поэтому он считался "строгим, но справедливым", и от законных воров получал мзду за то, что не мешал карцерным надзирателям и дневальным из заключенных передавать им харчи и курево.

Еще в начале лета один из наказанных смирилкой умер. После этого начальник лагеря восстановил некую давнюю забытую инструкцию: "назначая" смирительную рубашку, составлять особый акт в присутствии врача, который должен, предварительно осмотрев наказуемого, подписать акт. Александр Иванович и его помощница несколько раз участвовали в таких "экспертизах". Она один раз позволила "на два часа на животе"...

– Такой здоровенный бандит, убийца, насильник... И в карцер его за избиение посадили, а он и там бил кого-то, хлеб отнимал. Но все-таки это ужасно, когда человека так увязывают, знаете, как узел вещей... Он сразу весь покраснел, вспотел, пульс резко участился, дыхание прерывистое...

После этого случая она стала уменьшать сроки, назначенные дядей Петей, разрешала "только на боку... И не так туго".

– И все равно, знаете ли, это ужасно... Один даже непроизвольно испражнялся...

Потом она и вовсе отказывалась идти в карцер "актировать смирилку".

– Не могу, я нездорова. У меня, знаете ли, нервы не выдерживают.

Александр Иванович раза два отменил наказание. О тех случаях, когда разрешал, он не рассказывал.

Однажды вечером меня вызвали в карцер "составлять акт". Я отказался: пусть ждут до следующего дня, когда будут врачи, мне не положено, я только фельдшер и сам заключенный Час спустя пришел надзиратель – начальник лагеря приказал, это он лично велел наказать шкодника, тот психанул, когда начальник осматривал карцер...

В конторе дяди Пети на столе уже лежал заполненный акт: "грубейшее нарушение режима... насильственное физическое сопротивление лагнадзору... игнорировал, нецензурно выражаясь". Дядя Петя был мастак по части протокольной стилистики. На скамье у стены сидел бледный пацан, стриженная угловатая голова в больших лишайных плешинах, бегающие диковатые глаза. Перед ним на полу брезент с мутными коричневатыми буро-желтыми пятнами – следы "непроизвольных испражнений". Я оглядел пацана угрюмо-палачески – сунул ему под каждую руку по термометру, оттянул одно веко, потом другое.

– Открой рот, высунь язык. – Прикасался я к нему грубо и брезгливо, командовал так же. Осматривая, хмурился все угрюмее. Когда вынул оба термометра, дядя Петя спросил:

– Ну, чего там рассматривать? Жара нет, это ж и так видно.

Я поглядел снисходительно, строго.

– Температура ниже нормы!

Потом я внимательно выслушивал, выстукивал грудь, спину, бока, щупал живот. Истощенное мальчишеское тело, грязная, дряблая кожа густо разрисована синими наколками. На ногах надпись "Хрен догонишь!", на груди могила с крестом и девиз "не забуду мать родную". На спине, плечах, бедрах синяки, кровоподтеки, ссадины. Он кряхтел, бормотал – "...Убивайте... мучайте... суки позорные... кровососы!.. Давите молодую жизнь, гады...". Я вертел его все более грубо и раздраженно – мол, возись тут с дрянью, но старался не спешить, пусть не думают, что вывод заранее решен.

Дядя Петя ерзал у стола:

– Ну чего там резину тянешь?! Здесь не больничка.

Закончив осмотр, я подошел к столу и, пристукнув стетоскопом по акту, сказал:

– Подписывать не буду. Полное истощение. Доходной! И еще похоже, что печень и почки больные; возможно, отбитые... За такое падло получать второй срок я не согласен.

Сзади усиленно засопел и хлипнул пацан. Дядя Петя лукаво прищурился.

– Опасаетесь, значит. Или, может, жалеете паразита? Или

дрейфишь, что его корешки мстить будут? Или совсем наоборот – надеетесь, что хорошее спасибо скажут?.. Значит, несогласные?.. Ну, твое счастье, выблядок. На сегодня повезло.

Когда на следующий день я рассказывал об этом Александру Ивановичу, он недовольно морщился.

– Знаю, знаю... Это Плешивый, зловредная тварь. Симулирует психоз... Начальника лагеря материл вроде в припадке. Начальник мне уже выдал за вас, он убежден, что вы темнили, выручали. Я заступался – не поверил. Теперь ходите с оглядкой.

Вскоре после этого произошел побег из карцера. Бежавший был из корешей Плешивого. И уже на следующий день за мной пришел начальник самоохраны Семен.

Он выглядел еще более кисло раздраженным, чем обычно.

– Вот что. Приказ начальника лагеря: вам десять суток карцера. За нарушение режима и помехи надзору... Ты там в карцере склоку завел. Блатного бандита жалеть стал. Так вот теперь, между прочим, сам попробуешь, как с ними жить.

Я сказал, что должен сначала сдать дела. Кому-то нужно будет вместо меня раздавать лекарства, делать уколы, выполнять процедуры. –Пойдем доложим моему начальнику Александру Ивановичу.

Тот рассердился:

– Приказ о карцере должен быть согласован со мной. Сейчас мне его некем заменить. Подождите!

Он пошел к начальнику лагеря. Вернулся злой.

– Выторговал вам пять суток и чтоб с выводом на работу. Допрыгались! Вы хоть там не заводитесь с этим, как его, дядей Петей – он хитрая мстительная сволочь. Дайте ему на лапу чего-нибудь: папирос, конфет, рыбьего жиру, денег рублей десять... Не скупитесь на мерзавца.

Вечером за мной пришел сам дядя Петя с одним самоохранником, который ожидал за дверьми юрты.

– Ну что ж, собирайся, доктор, на новое местожительство. Отель кандей для веселых людей. Одеялку возьми с собой, а вещички надевай похуже: публика у нас там разная – не отдашь сам, так по злобе на тебе порвут и тебя еще попортят.

Питания брать с собой не положено. На курево обратно же полный запрет. Одно слово: тюрьма в тюрьме; кто не был – побудет, кто был – ни в жисть не забудет.

Две пачки "Беломора" и пачку бычков в томате он принял без околичностей, рассовал по карманам и подмигнул:

– Выпьем рыбьего жирку на дорогу.

Я вызвал санитаров – Гошу и новенького ночного недавно подлеченного Вахтанга – и стал им подробно объяснять, кому из больных что давать на ночь и в случае обострения. А если тот или тот начнут помирать, чтоб бежали на вахту, звонили Александру Ивановичу.

Дядя Петя слушал внимательно, смотрел, как я расставлял в переносных дощато-фанерных аптечных лотках пузырьки и коробочки, писал записки... Гоша играл бестолкового увальня, снова и снова переспрашивал, путался. А Вахтанг выразительно приговаривал-причитал:

– Ой, Гоша, пропадешь, кацо! Зачем берешь на себя такое дело?! Тебе завтра-послезавтра на волю идти, генацвали, а ты такое берешь. Напутаешь порошки-пилюли, дашь кому не тому, умрет доходяга. Кто отвечать будет, кацо?! Начальник-доктор далеко за зоной, наш доктор в трюме... Тебя, генацвали, судить будут. Не бери, Гоша, не бери, кацо, я даже смотреть не хочу, я ничего не знаю, не понимаю... Пусть отвечает, кто приказ давал, чтоб больных без помощи оставлять на всю ночь, кто нашего доктора в кандей волокет...

Дядя Петя улыбался все шире и щурился так, что глаза в ниточку.

– Ох, и хитрый кацо. Ох, и хитрые у тебя корешки... Жалеют своего доктóра. Не боись, кацо, не боись, парень: никто не помрет, никто отвечать не будет. И звонить в телефон ни к чему. Начальство отдыхает: и ему польза и людям спокой. А ты курносый – главный помощник старшего подручного – дурочку с себя не строй, дядя Петя с такого театра только смеется. А если зашиваться будешь, давай на полусогнутых, аллюр три креста, прямо в кандей... До отбоя я сам буду, а на потом дежурному скажу. Объяснишь чин чинарем: требуется лекпом срочно, ввиду чепе, откачивать, колоть, спасать доходную жизню... Дядя Петя ведь не зверь какой – мы тоже медицину уважаем – понимаем, кто чем дышит, какой ноздрей сопит. Давай, пошли... А что это за бобочка такая интересная? Тро-

фейная? Не мала тебе? Может, толкнешь или махнемся?

Он охотно принял предложение примерить рубашку, висевшую после стирки над моей койкой, – пришлась впору.

– Ладно, заплатишь потом, цены не знаю, не торгую вантажами. Сам спроси у понимающих. Можешь не спешить: ведь мы свои люди.

В карцере он поместил меня по "высшему классу" в узенькую одиночку с дощатыми нарами.

– Запирать не буду. Парашу выставили на улицу Захочешь на двор, дежурняк пустит.

Вскоре после полуночи прибежал запыхавшийся Гоша.

– Где тут лекпом? Где наш доктор? Там двое больных помирают, а он кантуется. Начальник велел уколы делать. Срочно!!

В карцере я провел за три ночи не больше двенадцати часов. Потом дядя Петя "забыл", не пришел и не прислал за мной. Но в течение пяти суток Гоша получал на меня, как положено, карцерную пайку – 300 грамм хлеба и через день полпорции баланды. Вахтанг многословно сетовал, потешая больных.

– Вай, мужики, дойдет наш доктор с голоду. Смотри, Гоша, генацвали, он уже шатается – совсем тонкий, звонкий и прозрачный.

Вахтанга положили в мою юрту с тяжелой цынгой: одна нога была судорожно деревянно полусогнута, другая уже тоже покрытая темными пятнами, болела и подергивалась судорогами; десны кровоточили... Рыжеватый и голубоглазый – по облику совсем не похожий на кавказца – он еще меньше походил на "законного вора". В открытом веселом взгляде ни тени той пристальной настороженности, которую я привык наблюдать в глазах даже самых нахально-развязных или доверительно благодушествующих блатных. Но принесли его в юрту Никола Питерский с дружками, знакомыми мне по штрафному карьеру.

– Слышь, доктор, это наш кореш Вася Грузин – чистый цвет. Его все люди уважают. Он и на фронте был – герой без понта... Так ты лечи его, как друга.

В первый же день, когда я стал массировать ему больную ногу, он покряхтывал, скрипел зубами, но старался улыбаться, потом, отдышавшись, заговорил:

— Доктор, генацвали, я вас еще раньше где-то видел... Нет, нет, не в лагере... вот, чтоб мне сгнить от этой цынги, кацо, но я вас видел где-то на воле.

Обычный нехитрый прием, чтоб "обнюхаться", как принято у незнакомых между собой воров.

— Ладно, ладно, может, во сне видел или в кино. Только это, наверное, был не я.

— Да нет, доктор, не думай, дорогой, что я темню. Ты же не дамочка, кацо, и обратно, я не жопошник, чтоб тебя фаловать, генацвали... Где ты на воле жил? Где воевал?

Через несколько минут выяснилось, что мы действительно встречались на фронте. Вахтанг был шофером командира 37 гвардейской генерала Рахимова, видел меня в Грауденце несколько раз, вспомнил, как я привез немецкого генерала, как Рахимов хвалил нашу группу перед строем штаба...

Лагерь, душная больничная юрта. Скоро мне опять в тюрьму, опять в трибунал. И вдруг нежданно, негаданно солдат из Грауденца, живой привет из тех самых последних и самых радостных дней безвозвратно утраченного, — словно бы недавнего, ведь всего два года с небольшим, а такого бесконечно далекого, потустороннего прошлого...

Вахтанг не был профессиональным вором. Его осудили в начале войны за хулиганство и отправили в штрафбат. Там он подружился с несколькими "законными". Потом после ранения стал водителем генеральского виллиса, был ранен тем же снарядом, который убил Рахимова, в госпитале встретил штрафбатовских дружков. Они уговорили его помочь "работнуть" трофейные склады. Он угнал студебеккер, его нагрузили всяческим барахлом, продуктами, ящиками водки; больше двух месяцев лихая шайка колесила по всей Польше — пили, гуляли, грабили.

— Но мокрых дел не было, чтоб я дома родного не увидел, генацвали, чтоб я ослеп, чтоб всю жизнь скрюченный ползал, ни одной капли крови не пролили. У нас там все настоящие люди были, кацо, честные воры. Я тогда их уважать начал. Закон держат, генацвали, дружбу понимают, как надо. Нет, это не бандиты, они вещи берут, деньги берут, жизни не отнимают. А вещи и деньги не зажимают, и не так чтоб только себе, а чтоб всем весело жить, всем друзьям, генацвали. Если кто понравится, никому ничего не жалко. Что у меня, что у тебя, — все наше.

Фраер сто лет живет; — вчера, сегодня, завтра все одно и то же, как свинья, живет, как ишак — его в рот долбают, он спасибо говорит и еще жопу подставляет. Он за свою зарплату и жену продаст и сына и друга... А человек один день живет, как князь, другой день в тюрьме доходит, третий день, может быть, совсем помер, кацо, в могилу несут, или, может, опять лучше генерала живет, с друзьями кутит, красивых девочек любит... Нет, доктор, генацвали, шеничериме, лучше я один день, как человек буду жить, чем сто лет, как фрей рогатый...

На второй день он приковылял ко мне в кабину и заговорил серьезно:

— Скажи, генацвали, у тебя мама есть? И папа есть? И жена, дети есть? Хорошо! Ну так я прошу тебя, очень прошу, дорогой, шеничериме, как солдат солдата прошу, кацо: забожись! Забожись, чтоб мама-папа были живы и здоровы, чтоб жена-дети были живы и здоровы, генацвали, что скажешь мне правду и только правду, шеничериме. Забожись!.. А теперь скажи: можно меня вылечить?.. И здесь в этой больничке можно?.. Верно говоришь? Точно? Ну, тогда спасибо.

Позднее, когда он уже подлечился, окреп, и мы были корешами — после отъезда Гоши он стал моим главным помощником — я спросил его, почему он тогда так добивался от меня клятвенного ответа. Он приподнял рубаху и достал из-за самодельного кушака под кальсонами тонкий нож-стилет с рукояткой, обмотанной проволокой и изоляционный лентой в матерчато фанерных ножнах.

— Вот, кацо, видишь — хороший кинжал, как бритва острый, я сам им броюсь. А когда заболел, сказал себе: ты, Вахтанг, можешь жить, если будешь настоящий мужчина, кацо, будешь иметь красивая жена, хорошие дети. А если ты будешь калека, — ноги кривые, спина кривая, зубов нет, — тогда ты, кацо, жить не можешь. Вешаться-душиться — поганая смерть. Порошки глотать это женское дело, и еще надо знать, какие порошки, как их достать — образование нужно... А хороший кинжал сюда — он показал себе на шею слева — рраз — и умирай, как мужчина, как солдат.

Его появление в больнице оказалось полезным для всех тяжелых цынготников. Александр Иванович, осмотрев его, го-

ворил сердито:

— Тут хвоей уже не поможешь. И таблеток недостаточно. Чеснок, лук хороши, но тоже мало. Его несколько недель откармливать витаминами придется и все же в запущенных случаях гарантии нет. Вот если бы десятипроцентный раствор аскорбиновой кислоты... По десять кубиков в ягодицу два раза в день... За неделю подняли бы на ноги. Потом еще недели две уменьшенный курс плюс витамины и рыбий жир, — и мог бы полностью выздороветь. Но ведь сколько я ни добиваюсь аскорбинки, не могу получить. Ее всю в дальние лагеря отправляют: все по плановым разнарядкам на север, на Дальний восток. У нас тут, видите ли, цынга не запланирована... А подыхать будут без плана, с меня первого спросят.

И тогда меня осенило. Ведь моя жена Надя работала на витаминном заводе, они там производили синтезированную аскорбиновую кислоту.

Александр Иванович оживился.

— Вот это дело! Какой номер телефона? Я сам ей позвоню. Сегодня же. Если привезет хоть двести грамм аскорбинки, предоставим вам двухсуточное свидание.

В ближайшую субботу Надя привезла банку белого кислого порошка. Нам позволили два вечера и две ночи провести вместе в особой кабинке для "суточных свиданок". В бараке вахты было четыре таких кабинки, запиравшихся изнутри на крючок, в каждой окно с занавеской, широкие нары, стол и табурет. Заключенный, удостоенный суточного свидания, приносил, матрац, подушку и одеяло, провожаемый завистливыми похабными подначками.

Александр Иванович сам приготовил раствор, дистиллировал воду, отвешивал на аптекарских весах порошок, прокипятил бутылки. В тот же день мы начали колоть, и начали с Вахтанга. Не прошло и недели, как все тяжелые цынготники — не меньше десяти человек, скрюченных, обезноженных, плюющих кровью, — уже похаживали прямоногие, взбодренные. Число уколов сократили. Надя еще раз привозила пополнение. Потом Александр Иванович получил по наряду малую толику. С тяжелой явственной цынгой управились. И однажды во время утреннего приема я увидел, как Александр Иванович — красно-

глазый, похмельный, — развел в стакане воды щепотку аскорбиновой, добавил пол-ложечки соды — шипенье, парок, — и стал пить, причмокивая. Он заметил, как я смотрю на него... Усмехнулся криво.

— Шипучка!.. Приятно и полезно. Попробуйте.

— Не буду... У меня цынги нет.

— Возможно... А от глупости это не помогает. Какого хрена у вас аскорбиновая кислота в открытом шкафу стоит. И хранить надо в банке с притирающейся крышкой. Рассуждать о принципах умеете, а в аптечном хозяйстве — бардак. Ладно, нечего на меня таращиться, пошли к больным.

Вахтанга я подкармливал из передач, добывал ему через вольных сестер лук и чеснок. Гоша тоже подружился с ним. Однажды у бесконвойных приятелей он приобрел свежей рыбы, и сам же взялся пожарить. Но забыл выпотрошить — мы втроем ели жареную рыбу с отвратительным горьким желчным привкусом. Гоша был в отчаянии и наказывая себя, обреченно съедал все отбрасываемые нами самые горькие куски. А Вахтанг спрашивал, зачем он столько сахару в рыбу насыпал и просил добыть горчицы...

Прошло недели две. Вечером после обхода Вахтанг пришел в кабину, когда мы с Гошей уже поужинали. Он тащил мешок и, улыбаясь еще шире, чем обычно, вывернул прямо на койку благоуханную гору яблок, мандарин, сухого компота, чурчхел.

— Посылка от мамы. Это все тебе и Гоше; там соседям я уже дал. Не возьмете, лучше мне кинжал в грудь, генацвали, шеничериме.

Вахтанг стал ночным санитаром в нашей юрте. В этой должности он остался и после отъезда Гоши; днем работать он не хотел и вообще поставил мне решительное условие: не называть его санитаром.

— Понимаешь, генацвали, я ведь считаюсь в законе, а санитар это все-таки, не обижайся, шеничериме, немножко сучья должность. Правда, у нас тут больничка особенная... Начальник Александр Иванович справедливый доктор. Ты мне, как брат родной, генацвали. Люди вас уважают. Вот Бомбовоз — честный босяк, а санитарит, и ему никто с людей ничего не говорит. Пускай все так, все хорошо, кацо, но я очень прошу: буду делать, что скажешь, генацвали, что нужно. Но чтобы все знали: я

просто больной, стал немного здоровей, тебе помогаю, как друг – мы ж с одного фронта, ты меня лечил, кормил, генацвали, мы вместе кушаем... И чтоб никакого бюрократизма...

На том и порешили. Дневными санитарами и в моей юрте стали женщины.

В августе привезли несколько больных женщин, – им отвели кабину в длинном переходе между юртой амбулатории и юртой тяжелых. Широкобедрая, веснущатая, грудастая Аня оказалась медсестрой; она быстро оправилась от приступа малярии, стала моей помощницей по стационару и любовницей завхоза-морячка. Еще некоторые согласились быть санитарками.

Лупоглазая Зина, тихая, застенчивая, доверчиво приветливая, – ее привезли с ангиной, – в первый же день стала убирать юрты, мыть пол. Но Александр Иванович после осмотра сказал мне:

– Отделить ее от всех. Люэс. Вторая стадия. Это вам не тот "марганцовый" сифилитик, а настоящая зараза. Ее надо будет поскорее отправить.

Тихая Зина была профессиональной проституткой – хипесницей. Ей отвели отдельную койку, – остальные спали на нарах или на "вагонках".

Маленькая толстушка, курносая, очень синеглазая Аня Калининская, – так ее называли в отличие от Ани Московской, – рассказывала:

– У меня гонорея... Муж заразил – такой паразит. Ну, он агент по снабжению, все время по командировкам эва-эвона, туды-сюды, набрался тех гонококков и сволочь такая затаил. Приехал пьяный и лезет: – Давай, жена, что положено, – ну я уже потом, через сколько дней поняла, что больная, доктор мне все объяснили. Так муж, паразит еще, стал эвона права качать: – Это ты сама нагуляла, – ну и матом при детях... Ни стыда, ни совести... И в тюрьму я через него попала. Их там эва-эвона была целая шайка-лейка: агенты, проводники поездные, шоферня – такие же паразиты колотырные. Ну, чего-то там покупали, продавали, эва-эвона, с Москвы и с Ленинграда, и с Кавказа возили. А я в буфете работала при ресторане. Ну, когда-никогда, случалось, доставала продукты дефицитные без карто-

чек. Вперед, конечно, для детей, а потом эва-эвона и для мужа и для его дружков. Ну, когда знакомый там придет в буфет, тоже, ведь нельзя не поднести, эвона там чего-ничего выпить и закусить. А они, паразиты, как сами погорели, так и на меня понесли, – эва-эвона – и чего было и чего не было. Им всем дали Указ седьмого августа, и моему благоверному, – заразе такой, – тоже; всем по десятке отвесили. Ну, а меня суд как никак пожалел, двое детей, ведь и мамаша у меня старенькие; эвона и посчитали, как простую спекуляцию, дали пять лет... Теперь бы мне эту гонорею вылечить, я бы вскорости сактировалась... Ну как актируются?! Я ведь еще женщина эвона не старая, а по моей статье беременных на шестом-седьмом месяце актируют... Если бы мне сейчас только здоровье, я бы гулять не стала, я не такая-какая, я самостоятельная женщина, я бы нашла себе мужчину, чтоб эва-эвона тоже самостоятельный, и, конечно, здоровый, чистый. Ну, вот, с тобой, например, можно. И тебе удовольствие, – верь, не пожалился бы, я ласковая девочка, а мне – актировка, на волю, эва-эвона домой, а что, третье дите, так, ведь, где двое ртов, эва и на третий найдется... Ну и мужчина, если хороший и с малым сроком и с чувствами, может когда-никогда эва-эвона подкинет своему ребенку... Но только вперед я вылечиться должна. А то, если он от меня триппер заимеет, так он же эвона и побить и убить вполне может, а тогда уже не пожалишься, и до шести месяцев, до актировки не доживешь...

Аню Калининскую вскоре Александр Иванович разрешил взять санитаркой в палату дизентерийных. Узкая дощатая пристройка к юрте тяжелых вмещала десяток коек, столик и стеллаж для мисок. Дизентерийным полагалась диета, которую мы с Александром Ивановичем и Аней-Московской "сочиняли" из очень скудных припасов, – главное были жидко разваренные каши, переваренные из обычных, чай и сухари. Лечили их огромными дозами бактериофага, уколами, витаминами и слабо разведенной марганцовкой. Наиболее истощенным вгоняли под кожу бедра до литра физиологического раствора, медленно сочившегося из особого аппарата.

Но хлеборезка и кухня доставляли все, что полагалось по числу обитателей юрты. Санитары из выздоравливающих приносили завтраки: сахар, чай, каша, – обед – баланда, каша с селедкой, с камсой или с сарделькой, – ужин: каша, чай. Некую

часть от хлебных паек, баланды и положенных всем селедок или сарделек они, разумеется, отслаивали себе, но все же оставалось еще достаточно такого, чего истощенные дезинтерики не могли и не должны были есть. Все это принимала Аня и ее сменщица, тощая, сварливая старуха с грыжей.

Но их обильный корм никто не назвал бы легким. В дизентерийном отсеке кислое зловоние смешивалось с пронзительным запахом хлорки. Входя туда, я предварительно свертывал козью ножку покруче из самой забористой махорки или самосада. И все же каждый раз мутило до тошноты.

На первых койках, ближе к дверям лежали выздоравливающие или "легкие", – такие, кто сами ходили в особую парашу, густо обмазанную хлоркой. У них были матрасы с простынями. Дальше располагались тяжелые, – скелеты, обтянутые дряблой кожей – они лежали на клеенчатых подстилках, едва прикрытые грязными рваными простынями. Они ходили под себя.

Аня убирала за ними, выносила жестяные шайки, служившие суднами, обмывала их, бегала за мной, когда кому-нибудь становилось совсем худо, чтобы я сделал укол. Страшно было делать внутримышечные уколы, когда вместо мышц узловатые кости, и под бледной грязнопористой кожей только жидкий слой плоти, уже едва живой.

За неделю-другую Аня, – и раньше выглядевшая вполне упитанной, – растолстела, щеки налились клюквеннным румянцем, глаза словно бы уменьшились, потускнела синева зрачков. Ей выдали клеенчатый фартук и рукавицы. Фартук всегда блестел влажно и вонял хлоркой.

– Ну, я его мою, ведь раз сто на день, не меньше... Я ж этой заразы боюся.

И лицо под низко повязанной белой косынкой, казалось, тоже блестело, жирно лоснилось.

Несколько раз, когда я заходил в ее "палату", густо дымя махоркой, я видел, как Аня ела. Не снимая мокрого зловонного фартука, она неторопливо хлебала из котелка, отламывала хлеб, лежавший на столе на газете в полуметре от рукавиц, кусала маленькими белыми зубками.

С дальней койки стон:

– Ой, сестрица, опять!

– Ладно, ладно, потерпи... Вот и покушать не дадут... Ну,

обосрался уже, эва-эвона, так полежи тихо... Ведь я же кушаю. Ну, дай кончить, тогда уберу.

Иногда она мне казалась похожей на жирную крысу.

Некоторые больные жаловались:

– Анька, сука, все только жрет, зажимает наши пайки и меняет на шмотки. У нее уже целый сундук натасканный. Барыга она, а тут хоть подохни, она кружки кипятку не подаст.

Когда я попытался говорить с ней о жалобах. она обиженно причитала:

– Ну, как тебе не совестно! Я же целый день, эвона, в говне сижу... Ты на минутку зайдешь и как паровоз дымишь: а я ведь не курящая, мне тут от ихней вони ни вздоху, ни продыху, только и знаю, что эва-эвона подмываю, подтираю ихние шкелеты... Ну, если съела лишний кусок, так ему ж и так пропадать. Кто еще, скажи с нашей доходиловки хлебушко возьмет? Я ж вижу, как ты нос воротишь, когда я кушаю...

В другой раз она зло, по-крысиному ощерилась:

– Ну, что ты слушаешь этих поносников? У них же все мозги эва- эвона вместе с говном вытекли, а они на мене еще мораль наводят. Вот сниму сейчас на хрен фартук вонючий, не стану тут мучиться. Ну, посмотрю, кого ты на мое место найдешь... Старуха-то уже сколько разов сачковала, косила эва на сильно больную, я тогда целые сутки, тут спала на табуретке, эвона, к стенке приткнувшись. На воле за такую работу эва-эвона две пайки дают... А ты мне лишней миской баланды глаза колешь.

Возражать было нечего, я старался только не показать, что испуган. Если бы она и впрямь забастовала, то найти замену было бы неимоверно трудно, а то и вовсе невозможно.

Аня становилась все толще, самоуверенней, грубее. Однако многие дизентерийные выздоравливали. И умирали в ее палате не чаще, чем рядом, у тяжелых. Каждый раз она прибегала, встревоженная:

– Кончился тот, что воколе окна, седой дяденька. Ты ему давеча от сердца колол. Ну, давай, скажи мужикам, чтоб забрали. А то мои поносники эва-эвона сильно боятся мертвяков.

Двух женщин Александр Иванович назначил санитарками взамен уехавшего на волю Гоши; позади моей кабинки отгородили еще один узкий сегмент, – и туда втиснули одну "полувагонку", т.е. двухэтажный топчан, тумбочку и табуретку.

Валя – круглолицая, веснущатая, курносая, с косичками цвета старой соломы и круглыми серыми, словно бы полусонными глазами, работала где-то в ближнем Подмосковье на швейной фабрике. Все ее товарки обычно ежедневно уносили "шабашки" – обрезки тканей, тесьмы, клочья ватина – все, что в цеху выбрасывалось, а дома вполне могло пригодиться. Валю застигла на проходной внезапная проверка; в кармане ее рабочего халатика нашли две катушки ниток. Она клялась, что просто забыла вынуть после работы, нитки были копеечные... Но в это время как на грех шла "кампания за честность", – на собраниях произносились грозные речи, в стенгазетах клеймили "расхитителей народного добра". Валю и еще нескольких девушек судили "показательно" в фабричном клубе и ее приговорили "за похищение 200 метров пошивочной ткани" (в каждой катушке ведь 100 метров ниток), к семи годам лагерей.

Милу подруги называли Людка-артистка. Худенькая, но ладно крепко сбитая, она казалась моложе своих двадцати шести. Темные глаза широко расставлены и распахнуты, бледно-смуглое узкое лицо подростка и яркий крупный рот, – нижняя губа темно-пунцовая, полная, чуть выпячена по-ребячьи капризно, а верхняя тоньше, светлей, с крутой выемкой, нос прямой, вровень со лбом, почти без переносья, как на старых греческих вазах. Темно-каштановые волосы большим тяжелым пучком сзади, а когда распускала, нависали на глаза, укрывая плечи.

Ее привезли в лагерь из Крыма.

– Папа – моряк потомственный. А мама – дочка рыбака из Балаклавы, бабушка – мамина мама гречанка была. Я родилась в Севастополе. Когда папа еще капитаном служил торгового флота. Но он потом очень болел – грудная жаба – и работал уже на берегу в управлении. А когда война началась, он в первую зиму умер. И мама скоро умерла от бомбежки; я круглая сирота осталась, мне еще двадцати не было, только первый год, как замужем...

Милочка закончила театральное училище перед войной и вышла замуж за режиссера эстрадной труппы, разъезжавшей по курортам Крыма и Кавказа.

– Мой Анатолий очень талантливый. Ему только опыта еще не хватало, ну и, конечно, образования, – ведь он тоже только училище кончил... Но талант у него признавали очень

большой. На всех инструментах играет и на рояле и на скрипке, и на гитаре, и на мандалине, и на аккордеоне, и даже на разных духовых... И любые роли исполняет – и героическо-романтические, и комедийные, каскадные; и фокусы показывает, и двойное сальто умеет. А когда немцы нас оккупировали, – мы как раз в Ялте были, а тут их десант – такой ужас, так все боялись, – потом Анатолий как музыкальный эксцентрик выступал, на гребенке играл и на струнах, натянутых между ножками стула... Огромный успех был, все немцы кричали "кляссе!!"

Милочка стала певицей: пела романсы, народные и "жанровые" песни – ну, знаете, из кинофильмов, из репертуара Клавдии Шульженко, – втихомолку мечтала об оперетте, разумеется, о лирической героине, каскадные ей не по душе. В оккупированном Крыму они с мужем продолжали заниматься своим веселым ремеслом; давали концерты и в немецких госпиталях, санаториях, офицерских "казино". За это их и осудили по 58-й статье, пункты 1-а и 3, Анатолия на десять лет, а ее на пять, из которых прошло уже почти три года.

Мы быстро сблизились. Только у нас двоих из всех больных и работников санчасти была 58-я, – разве не перст судьбы? К тому же я знал некоторые из песен и романсов, которые она раньше пела, – даже немецкие солдатские песни – "Лили Марлен", "Все проходит, за декабрем опять приходит май". Она вызубрила по одной-две строфы, – а я знал все насквозь и с "произношением". Быстрое духовное сближение приятно дополняли конфеты, печенье, настоящие булки – лакомства, давно невиданные. Ей не от кого было получать передачи и посылки.

После отбоя санитары иногда задерживались в моей кабинке – Вахтанг рассказывал что-нибудь смешное. Но рядом за переборкой спали больные. Нельзя было шуметь. Он уводил Валю, и мы с Милой оставались вдвоем.

– Это вы всем девушкам так говорите?.. Не смотрите так, что вы такое там видите? Глаза, как глаза... Не надо! Ну, пожалуйста, не надо!.. Как вам не стыдно так целоваться? Ой, нельзя так, ну, пожалуйста, ну я ведь не такая. Нет, нет, я не такая, как вы думаете... Ну, хватит, ну больше не надо так. Ведь я же тоже не каменная, ну, пожалуйста... Нет, нет, не сейчас... А вдруг войдут. Ведь ты же меня не любишь. Нет, не ве-

рю, не верю. Тебе просто захотелось... Ой, милый!..

...А теперь ты будешь меня презирать?! Да? Будешь думать, что я, как все – шалашовка лагерная... Правда, любишь? И сейчас еще любишь?.. А ты ведь с Анькой Московской тоже так? Правда, нет? Ни разу, ни разочка?.. А как ты на Шурку смотришь, я ведь все вижу, давно замечаю... Когда ты к нам в палату приходишь, ты и мне и всем девочкам, быстро-быстро: нате термометр! Берите порошок! Глотайте-запивайте! А Шурку всегда обязательно осматривал и этак и этак, где у нее там железки под животиком. Даже смотреть противно было, как ты ее щупал.

...Шура действительно была самой хорошенькой из наших женщин. Трофическая язва на голени вызвала у нее воспаление паховых лимфатических желез и я несколько раз тщательно проверял ее состояние. Но иных отношений у нас не было, она с первых же дней стала подружкой санитара Севы, и Мила это знала.

– Не говори, все равно не поверю, ведь она красивая. Она куда красивее меня... Не возражай, пожалуйста, а то вообще никогда ничему верить не буду. Она настоящая бубновая дама и глаза у нее васильковые... А ты черный,король крестей, значит она должна быть именно в твоем вкусе... Но ты только ей не верь. Она, знаешь, какая бытовая. Она ведь завстоловой была или вроде, воровала без стыда и совести, а теперь хочет забеременеть, чтобы сактироваться. Она каждую ночь бегает. И не к одному Севке, а к любому, кто позовет. У нее никакой брезгливости нет, лишь бы только венерического не поймать... А потом еще рассказывает про мужиков такое... и такими последними словами, как настоящие воровайки – проститутки. Слушать противно, ну прямо тошнит. А она смеется... Ты на нее не должен даже смотреть. Дай слово! Дай самое честное слово... И пожалуйста, не думай, что я ревнивая. Я ведь тебя не ревную к твоей жене, я ведь понимаю, что ты ей обязанный на всю жизнь, за то, что она к тебе сюда ездит. А вот, кто эта дамочка, которая к тебе уже два раза на свиданку приезжала? Откуда знаю? А у нас все про всех знают. Ах, она тебе друг по работе?! Скажите пожалуйста, а ведь ты с ней в суточную кабинку ходил. Это я точно знаю: дал вертуху на лапу и целый час с ней в кабинке запертый был. Это что же для дружбы на работе?.. Ой, ну не сердись на меня... Ну я дура... Но ведь это от любви. Я же

тебя давно полюбила. А ты меня, когда? Не ври только: я сама знаю, тогда, когда целоваться стал, а может уже только потом. Ведь ты меня раньше даже не замечал по-настоящему. А я тебя очень скоро полюбила. Честное слово! Святая правда, как в школе говорили — честное пионерское, под салютом! Когда ты в первый раз к нам пришел и со всеми говорил, так вежливо. А мне сказал — "У вас 58-я, значит мы с вами одного профсоюза." И шутил так без нахальства и никаких грубостей, вроде как настоящий доктор... Все девочки потом говорили, что ты, хотя еврей, но честный, самостоятельный и справедливый. Только Анька Калининская шипела — она ведь ни о ком хорошего слова сама не скажет и слушать не любит, а про тебя говорит: "Он хитрый, они все такие — мягко стелют, а потом свое берут, и он возьмет..." Но я с ней всегда спорилась. И другие девочки, правда, тоже, но я больше всех. И они говорили, что я в тебя влюбленная... А ты не замечал даже. А еще считаешься образованный. Не замечал потому, что я для тебя без интереса была — одна кожа да кости и лохматая, как ведьмина метла. А Шурке животик поглаживал. И Томку большую тискал вечером в коридорчике возле зубного кабинета. Если б у нас тогда не зашумели, не стали Томку звать, ты бы с ней там и стоя подженился. Я знаю все, я за тобой, как сыщик следила. А все от любви. А теперь ты меня любишь?.. Правда? Ну скажи только медленно — так тихо, медленно и раздельно: я — те — бя — о — чень — люблю!.. А я тебе вообще нравлюсь? Правда, я теперь как поправилась, вроде ничего стала. Ребра уже не торчат, только живот большой от баланды... Но я тебе все-таки нравлюсь? А что тебе больше всего нравится?.. Глаза у меня, правда, красивые и со значением; это еще в школе говорили. А рот какой-то ненормальный. Иногда вроде ничего, даже оригинально, а иногда как будто недоделанный или, как у куклы... Не говори, не говори, я сама знаю. И улыбка у меня неинтересная, и смех вроде, как детский, или будто я ломаюсь. Поэтому я тренировалась, чтоб не очень улыбаться и чтоб все без смеха. А серьезность мне к лицу.

Я не скрывал от Милы, что меня должны скоро "выдернуть на пересуд", что ничего хорошего не жду, но все же храбрился, уверял и себя и ее, что больше пяти лет не дадут и, значит, она всего на полгода раньше освободится и если захочет, если постарается, найдет меня. Она обещала. Мы оба этому не

слишком верили. Лагерная любовь почти как фронтовая – хоть час да наш.

Вахтанг и Валя тоже стали парой.

После истории с карцером Семен Железняк перестал заходить в санчасть. Но Саша Капитан приходил неизменно после поверки или после ужина. Если с ним был вольный надзиратель, то визит продолжался всего несколько минут: он спрашивал о больничных новостях, выпивал свой рыбий жир и – "желал приятных сновидений". Патрульных самоохранников он оставлял за дверьми – "дай им розовых, или конфеток, пусть покантуются малость" – и садился, рассказывал о лагерных событиях.

– В БУРе* опять мокрое дело. Отрубили голову и насадили на кол на ограде. Совсем как в старину... И надо же, гады, как словчили: у них ведь барак ночью запертый, когда они только эту голову вынесли? Должно у них там лаз есть или в окно кинули, а кто-то снаружи подхватил. Надзор голову снял, но идти в барак ночью дураков нет. Раз рубали или резали, значит и топоры есть и ножи. Дежурный звонил начальнику: может поднять взвод по тревоге, прошмонать, как положено, с оружием, с псами; там же еще тот безголовый в бараке валяется. А начальник велел только наружные посты усилить у БУРа и на ближних вышках. И ждать до утра. Пусть они, гады, спят с мертвяком...

Однажды вечером все же пришлось поднимать по тревоге взвод наружной охраны. Днем прибыл новый этап, в котором оказалось несколько "сук", а с одним из предшествующих этапов приехали воры, недавно воевавшие именно с этими суками в другом лагере. После вечерней поверки между двумя бараками начался бой. И с вышек застрекотали тревожные очереди автоматов. В лагерь ворвался бегом конвойный взвод, вкатился грузовик с прожектором. Над крышами бараков,

---

*БУР – бригада усиленного режима – штрафная команда, которая размещалась в особой внутренней зоне в бараке, запиравшемся на ночь, и выводилась на работу с усиленным конвоем.

зловеще черными на фоне ослепительного лиловато-белого луча, зачиркали красные, оранжевые, зеленые прерывистые линии автоматных очередей, стреляли в воздух. С полчаса тарахтели выстрелы, лаяли собаки, надрывные крики прорывались сквозь нерасчленимый гомон.

На следующий день Саша рассказывал с увлечением, подробно, как сражавшиеся проваливали друг другу черепа кирпичами, крушили кости ломами, лопатами, рубились топорами, резались ножами и кусками оконного стекла... Троих убили на месте, раненых не меньше десятка тяжелых. Их всех навалом в машину и в Москву в тюремную больницу. На вахте фельдшера — Алеха бесконвойный и тот старик,—их перевязывали, тяп-ляп, лишь бы скорее. По дороге верняк, подохнут еще сколько-то. Но сюда в больничку их нельзя. Теперь у нас не разбери-поймешь, кто на кого кидается, месть держит. Тут в зоне они бы всю дорогу резались.

После двух побегов, нескольких убийств и ночного сражения вечерние поверки стали очень длительными и нервозными. Всех зека строили колоннами по пять в ряд на "центральной улице" лагеря. К нам в больничные юрты и барак приходили надзиратели с пастухами и считали, пересчитывали всех лежачих, остальным приказывали оставаться снаружи. Раньше поверки проводили мы сами — лекпомы и санитары — и потом только называли надзирателям общее число.Почти в каждом из рабочих бараков были амбулаторные больные, освобожденные от работы. Обычно их пересчитывал дневальный. Теперь их тоже стали выгонять в общий строй. Надзиратели орали, самоохранники погоняли палками и пинками доходяг, недостаточно быстро выбиравшихся из бараков.

Вечером сразу же после поверки за мной прибежали двое пастухов.

— Давай, давай, скорее, там один старик с катушек свалился.

В бараке работяг зоны посреди прохода между вагонками лежал грузный старик с седым ежиком. Самоохранники и надзиратели оттесняли глазевших в глубь барака.

— Давай, лечи, он с перепугу обеспамятел... в омморок.

Из дальнего угла злые голоса:

— С перепугу?.. Забили насмерть, гады... Убили суки, а теперь лечить хочут!

Старика я узнал – москвич, инженер, осужденный за какую-то аварию; декомпенсированный порок сердца. Александр Иванович полагал, что таких незачем класть в больничку.

– Пусть лежит в бараке, там хоть днем воздуха больше и чище чем у нас; лекарства ему можно давать на руки, ведь интеллигентный человек. Пусть сам пьет в назначенные часы дигиталис, ландышевые, а вообще актировать надо...

Он был мертв. Из угла рта натекла тоненькая струйка крови.

– Почему на полу? Почему кровь? Что здесь произошло?

–Да ничего не было. Мы забегли звать на поверку, а он тут лежит и вроде стонет.

Коренастый белобрысый пастух смотрит нагло, но тревожно.

Из-за вагонок шум.

– Врет, падло, они его палками гнали... Забили насмерть.

– Тихо, шобла! Кто там галдит?.. Ты видел, как били?.. А ты видел?.. Не видел, так не тявкай, а то в рот выдолбаем и сушить повесим!.. А ты, доктор или следователь? Лечи и не разводи тут паники, за волынку отвечать будешь!

– Лечить некого. Он мертв. Ему полагалось лежать на койке. Постельный режим, строгий. Те, кто выгоняли – убили его.

– Никто его не трогал. И вы, доктор, не шейте дело!.. Какой он доктор, – лепила, долбанный в рот. Живого от мертвого не разбирает. Ты укол исделай, а не трепись, а то распустил язык, шоблу подстрекает, а сам мышей не ловит. Если он подохнет через тебя, мы тут все свидетели.

– Он умер задолго до того, как я пришел. Это покажет вскрытие. И отчего умер тоже покажет. Несите в мертвецкую.

В тот же вечер пришел Саша; он жаловался: в лагере стало хуже, чем на фронте.

– На передовой солдат хоть знает, где враг, где свой; а тут везде шпана. Откуда чего ждать – не угадаешь. Ночью в бараке перекинутся в буру, и какой-нибудь малолетка, – гнилой, задроченный, – проиграет все гроши, все шмотки и уже играет на чужую кровь... Полетел, – значит проиграл в долг – и должен убивать, на кого играли, или кого потом скажут, а то и по слепому условию – кого первого встретит, как утром с барака выйдет... И вот такой плюгавый поносник, – ты его от

земли не увидишь, ничего не ждешь, – а он за тобой сзади с топором, втихаря... р-раз и жизни нет. И все ни за хрен... Нам приказывают охранять порядок, вот палки разрешили. А у них топоры, ломы, ножи!.. Их разве палками испугаешь?! Их давить надо, гадов. Они разговоров не понимают. Им положить с прибором и на кандей, и на прокуроров, и на смирилку. Уже ко всему привыкли. Ведь они же не люди, хуже всякого зверя, хуже змей ядовитых. Гадюка первая не бросится, укусит, только если ты на нее наступишь. А эти... Вот хотя бы ты их лечишь, поишь, кормишь, в задницы им смотреть не брезгуешь, уколы там всякие, клизмы, себя не жалеешь для их здоровья... А ты уверенный, что они тебя уже не заиграли? Что за тобой уже сейчас топор не ходит? Может и за так, а может и для интересу – ведь у тебя вантажи приличные, – прохаря офицерские, бриджи и, конечно, считается, что полно чистых грошей... Они ж никакого добра не понимают. Вот как тот шкет-шкодник: ты его лечил, а он твой костюмчик отвернул... В другой раз он тебя из-за угла кирпичом долбанет или пиской по глазам. И никто не заступится... Начальство у нас мышей не ловит. Главный капитан еще молодой, красюк; много о себе понимает, а сам, как нервная девка: – сегодня ха-ха, даешь-берешь, всех в рот долбаю. – А завтра ему самому начальник стройки – генерал в рот и в нос насовал: выход за зону еле-еле сорокпроцентов. А кто вышли? Хорошо, если половина работает, вкалывает, зато другие все туфтят, чернуху раскладывают. Все планы на хрен. И он уже скис: что делать, куда податься, все пропало, не лагерь – помойка; что ни этап – одни доходяги, поносники, гумозники, блатная шобла – отрицаловка... Он сразу и запсихует: пьет прямо в кабинете, на всех кидается. Кум больной, всю дорогу за сердце держится, капли сосет. Его сюда с Москвы, вроде как на дачу послали, сосновый лес, Волга – климат высший класс. Он день выйдет, а потом неделю в коттедже припухает. Прежний начальник КВЧ, тот капитан черножопый, киргиз или башкир, в общем, не русского Бога черт, каждый день с утра пьяный на бровях ползал, а новый –

глиста канцелярская, ни хрена кроме бумажек не видит, не сображает, ему бы только показуха, чтоб плакаты висели, стенгазету тяп-ляп слепили и, конечно, почту проверить, чтоб ему с каждой посылочки отломилось. Он пьет не просыхая. Один только наш начальник режима за всех крутится – хоть ремень надевай чтоб динаму вертел... Вот он и нас гоняет. И Семена и меня, чтоб все на полусогнутых... Сколько раз уже нам кандей обещал. Ну и мы со своих парней стружку дерем, аж скрипит. А что от этого имеем? Только нервы на хрен рвутся... Вот и сегодня опять чепе. А мне говорят, уже и ты тоже на наших ребят насобачился: "убили", "насмерть забили!!!" Нельзя же так. Ты же должен понимать, что делается: мы все на голых нервах, за нами топоры ходят...

Он хотел убедить меня, а через меня и Александра Ивановича замять дело , не производить вскрытия, составить обычный акт о смерти "от сердца", ведь старик по всем документам числился тяжело больным.

Александр Иванович сначала было заколебался. – Чего нам добиваться? Мертвого не поднимешь. Да и жить ведь ему оставалось недолго, еще, может быть, несколько дней или недель. И как жить!.. Акт мы подпишем с амбулаторным фельдшером Куликовым, который наблюдал его, и ваша чувствительная совесть может быть спокойна.

Заместительница начальника смятенно кудахтала.

– Ужас!.. Просто ужас!.. Нет-нет, все-таки надо вскрытие. Нельзя покрывать убийц!.. Есть же, наконец, законы! Мы сами будем отвечать, если это потом выплывет... А, может быть, всетаки лучше не надо?.. Ведь случай простой: ангина пекторис, давняя декомпенсация, в общем, естественный экзитус... Может быть, лучше так, а то будут мстить? И начальнику лагеря неприятности.

Куликов отказывался подписывать акт, пусть больной был амбулаторный, но ведь смерть установил не он, пусть подписывает, кто первый увидел...

– А то, что же такое получается. Вдруг кто стукнет, что его били, что значит насильственно умерщвлен... А я что? Подписал, значит, ложный акт... Нет, это, уже извините, это мне, зна-

чит, новый срок... Нет, уже лучше вскрывать и, может, ничего такого не обнаружится и тогда, значит, все честь по чести...

Я сказал, что акта без вскрытия не подпишу, а если убийцы останутся безнаказанными, то они снова и снова будут избивать до смерти, до увечий таких же больных, старых, истощенных зека. Разговоры о том, что блатные озлобляют самоохранников – нелепы. – Ведь старик не был ни блатным, ни отказчиком. И все это знали. Они избивали заведомо беззащитного.

Александр Иванович оглядел нас угрюмо тоскливыми глазами, едва просвечивавшими из-за припухших красных век, приказал всем быть при вскрытии и вызвал представителя лагерного надзора.

У прозекторского стола плечистый красномордый сержант уже через несколько минут стал землисто бледен, вспотел, жалостно попросил разрешения закурить и выйти.

У входа в морг стояли несколько самоохранников.

Вскрытие установило: переломы трех ребер и левой плечевой кости; на голове, на плечах, на спине и на бедрах кровоподтеки и ссадины от ударов, нанесенных "тупыми орудиями". Александр Иванович записал в акте, что ни одно из телесных повреждений не было непосредственной причиной смерти, которая наступила вследствие острой декомпенсации сердца – болезни, развивавшейся, как явствует из больничной карточки в течение нескольких лет.

Когда мы уходили из морга, сержант, который, не глядя, безоговорочно подписал акт, спросил Александра Ивановича громко, чтоб слышали и стоявшие поодаль:

– Выходит , значит, он помер от сердца, а не от чего другого...

– Помер от сердца. Но перед этим был сильно избит: ребра переломаны. Значит, помогли умереть. Насколько помогли, должна решать судебная экспертиза. А кто помог – это дело следствия.

Вечером Саша, зайдя ко мне в кабину, не сел и не попросил рыбьего жира.

– Вы думаете, что хорошее дело сделали, что потрошили того старика, а теперь ваш акт на следствие пойдет?!

– Мы ничего не думаем. А вскрывать полагается по зако-

ну. Никому под суд не охота. Если бы Александр Иванович не вскрывал, на него бы самого завели дело. У старика переломаны кости. Это видно и через год и через десять лет на скелете. Не раз уже бывало, что могилы разрывали и устанавливали, что было убийство...

— Знаю! Читал... в кино видел. А ты все по книжкам хотишь жить и по кино... Ни хрена хорошего из этого не будет. Вот теперь из-за вас, медиков долбаных, заведут дело на наших парней. Кому с этого польза? Начальник лагеря злой, как тигра. Он твоего Александра Ивановича без хлеба схавает. А у наших парней есть друзья — кореши. Они хоть и не блатные-цветные, но дружбу, может быть, лучше понимают. До начальника санчасти далеко, а лепила поближе... Тот щербатый старик-лепила уже всем божится, что он непричем, ничего не знает, не хотел ни потрошить, и ничего писать, что это все только ты, всегда на принцип лезешь, что ты больше всех галдел, чтоб потрошить и акты писать... А ведь я тебя за друга держал!.. Ведь ни я и никто с моих парней тебе ничего плохого не делал, никогда тебе поперек дороги не становился... Ты помнишь, как за твои шмотки себе кулаки отбивали?.. Может, ты на Железняка обижаешься за кандей? Так ведь это же не он тебе назначал. Наоборот, мы все молчали, когда ты вместо кандея тут на коечке кантовался... И про твою губатенькую мы знаем, какие ты с ней романы крутишь. Тебе ж никто не мешал. А ты, значит, на принцип хотишь? Ну что ж, теперь увидишь, какие принципы есть. Увидишь, и пожалеешь. Да только, боюсь, поздно будет...

Вечером после отбоя в мою юрту вошли трое пастухов — угрюмые насупленные парни. Старший черно-смуглый, высокий глядел высокомерно и подозрительно.

— Па-ачему после отбоя шалман?.. Па-ачему не спять все, как положено?

Я отвечал шепотом.

— Тиихо! Здесь больные... Им завтра на работу не выходить. А вы не орите...

— Порядок везде один! А тут не больничка, а бардак. Филоны припухают. Запиши, кто нарушает. Завтра доложим, а счас, чтоб все по местам, а то мы покажем порядок! — Палки

выразительно встряхиваются.

Я отвечаю все так же шепотом.

— Ладно. Завтра доложите. Но сейчас не орать! А то и я напишу рапорт, что ночью ворвались в больничку и из-за двух бессонных курящих переполошили всю юрту.

— Ты напишешь, лепила долбаный... Ты писать умеешь, пока руки не отбили.

Из дальнего угла приковылял, картинно хромая, Вахтанг: захромал он ради костыля, на который опирался — тяжелый, подбитый железом. Он тоже зашептал, передразнивая:

— Па-ачиму шум?.. па-ачиму, генацвали, нам больным, не дают спать? Па-ачиму, дорогой доктор, пускаешь посторонних?

— А ты больной, падло?.. Так лежи! А то положим так, что не скоро встанешь.

Вахтанг заговорил полным голосом:

— Кто меня положит? Ты, сука позорная?! Так ты раньше меня ляжешь. В могилу ляжешь, падло, придурок, кровосос... Я таких в рот долбаю и сушить вешаю, пусть я в тюрьме сгнию, но ты подохнешь.

С вагонок, с нар поднимались, вскакивали. Я вытащил из-за косяка припасенную на случай железную кочергу. Но против троих "пастухов" уже стояли несколько пациентов — двое держали доски, выдернутые из нар. С разных сторон шумели:

— Что такое? Чего шухер?.. Пастухи-гады, суки и здесь жить не дают... в рот, в душу!.. Уже к больным придолбываются, паразиты!.. Давить их! Ты, чернявый лоб, морда сучья, не тряси палкой! За тобой давно топор ходит.

Сзади кто-то уже выразительно шарил под нарами, приговаривая: — "Счас... счас... счас... вам будет".

Застучав кочергой по двери, я заорал командно:

— Тихо! Всем тихо!.. Не психовать!.. Все по койкам! А вы уматывайте! Вот он ваш порядок. Три здоровых лба не даете спать больным... нервы расстраиваете. Тут лежат с больным сердцем. Кому теперь хуже станет — ваша вина! Тут все свидетели. Вы не охраняете порядок, а сами нарушаете.

— Правильно!.. Гони их, гадов на хрен. Они думают — их сила, никто ни хрена не скажет. Судить их, сук беззаконных...
— Не судить — давить! Они слов не понимают...

Самоохранники ушли, отругиваясь. Чернявый блеснул на прощанье ненавидящим глазом и вполголоса:

— А тебе, лепила, недолго жить. Пиши письма!..

На следующий день, когда я рассказал о ночном происшествии Александру Ивановичу, он поморщился, как от зубной боли.

— Ну вот!.. Я ведь предупреждал. Теперь думайте, как свою голову спасать... Принципы тут не помогут. Не пишите никаких рапортов. Я сам поговорю с начальником режима и с опером... От начальника лагеря ничего хорошего ждать нельзя. Он теперь с полоборота заводится. В лагере черт-те что делается. Война сук с ворами. Настоящая война. Этой ночью опять двое убитых. Одного самоохранника в уборной задушили и засунули головой в очко. И одного доходягу у помойки забили на смерть палками. Охранники озверели, а начальник лагеря им покровительствует. Не воров же ему защищать, от которых никакого проку и не вас — пятьдесят восьмую. Обещают скоро наряды на отправку. Уберут главных заводил, авось, потише станет. Но пока — война и вот вы в нее влезли. Сколько у нас в стационаре воров? У тяжелых — Акула, Кремль, Бомбовоз, и этот Лысый и еще, кажется, два. В вашей юрте — Грузин, Фиксатый, среди новых цынготников двое или трое, кажется, в законе и кто-то из язвенников... Поставьте у тяжелых два топчана отдельно, — там сейчас можно выгородить угол, — и переведите из барака двух сифилитиков Рыжего и Онегина — они тоже "законные"; оперу уже донесли, что их собираются убить в первую очередь. Возьмем их сюда — это не надолго, отправим еще до конца недели. На ночь запирайтесь. Открывайте только лагнадзору. Хоть бы вас уже скорее забирали — Александр Иванович знал, что мне предстоит новый суд.

Днем, когда я был в юрте тяжелых, а в амбулатории шел обычный прием, прибежала Мила — глаза испуганные, губы подрагивают.

— Тебя зовет Саша Капитан... Я его не пустила в кабинку. Он ждет на улице. И там еще двое.

Саша, как всегда щеголеватый, большая кепка набекрень, стоял у юрты, опираясь обеими руками на белую, свежеобструганную палку.

— Поговорить надо... Ты чего написал?

– Про вчерашний шухер? Ничего не писал... Пока.

– А кому говорил?

– Александру Ивановичу рассказал... В общем и целом.

– А он что?

– Говорит, подумать надо. Он с кумом советоваться будет. Ведь тут вроде война идет.

– Именно война. Ворье, блатная сволочь, бандиты! Они сегодня опять нашего парня убили... Слышал?

– Слышал? А кто сегодня забил доходягу на помойке?..

– Уже знаешь? В этом деле мы разберемся. И накажем. Хотя я точно знаю, никто убивать не хотел, только пугануть думали, но вгорячах стукнули шакала, не туда попали, а тот – видно, совсем доходной, – и откинул копыта. Но разве это можно равнять, если когда человека в буру проигрывают, если топоры заначивают специально, чтобы убить... стерегут, а потом всей шоблой на одного... Есть тут разница или нет?

– Есть, конечно. Только, ведь, вчера и твои парни грозили мне, что убьют. Значит, тоже специально убивать собираются. А я ведь им ничего не сделал. И в вашей войне не участвую.

– Нет, участвуешь. Это через тебя того старика потрошили и дело завели. И ты воров здесь прячешь. Помогаешь падлам косить на хворых.

– Неправда. Я никого не прячу. И ты это сам знаешь, не можешь не знать, ты не жлоб неграмотный. Я, если бы хотел, никого в больницу принять не могу. Все решает начальник, он – доктор, я лекпом. Он мне приказывает, а не я ему. И вскрывали старика, потому что так положено. Мы обязаны вскрывать всех, умерших внезапно. И дело завели не через меня, а потому что больного старика убили. Ребра переломали... А теперь меня убивать хотите. Но только не думай, что я голову подставлю: режьте, дорогие охранители порядка, режьте на здоровье... Нет, уж если подыхать, так в компании, и я не одну глотку перерву, пока меня кончат. Найду чем отмахнуться. И ни от чьей помощи не откажусь, – будь то хоть вор, хоть бандит, хоть черт с рогами... Кто мне поможет, тому и я помогу, а кто меня убивать хочет, того уж я постараюсь убить, хоть сам, хоть с помощниками.

– Ты не психуй! Не галди! Я к тебе пришел по-свойски, а ты орешь на весь лагерь... Если б тебя убивать хотели, никто не

пришел бы. Давай обнюхаемся. Ты скажи откровенно: будешь писать на моих ребят?

– Пока не собирался. И вообще не хочу писать начальству про других зека. Это мой закон. Но если вы собираетесь воевать в больнице, убивать больных, убивать меня...

– Да кто собирается? Ты, что охреновел? Ты выпей чего-нибудь от нервов.

Он опять сел на койку, ухмылялся, прикрыв глаза тяжелыми веками в густых ресницах, стиснул палку руками и коленками. И заговорил спокойно, с грудными интонациями нарочитой задушевности.

– Давай по-хорошему. У тебя же голова на плечах есть. Должен понять. Лично я на тебя зла не имею. Хоть ты и не схотел со мной дружить, на принцип пошел. А для ворья у тебя принципу не хватает! Да, ты не мешай, дай сказать... Ты пятьдесят восьмая, ты против начальства, а нас так понимаешь, что мы помогаем начальству. Значит, ты думаешь, тебе воры лучше, чем пастухи. Они ведь тоже против. Ну, так я тебе скажу: ни хрена ты в жизни не понимаешь. Начальник, хоть самый дерьмовый, тебе не такой враг, как шобла блатная. Начальник тебя в крайнем случае в трюм спустит, свиданием лишит, ну еще как накажет. А они тебя сегодня в задницу поцелуют, – ах, доктор, керя по гроб, – а завтра зарежут ни за хрен, – за кусок сахару, или за то, что заиграют. Мои ребята – хотя у нас тоже есть и суки, и гады, тут же лагерь, а не гвардейская дивизия, не благородный институт, – но мои парни за порядок, чтоб шпана не садилась всем на головы, чтобы людей не грабили, не проигрывали. А ты нам поперек дороги, палки в колеса. Ты же сам говоришь – война, а на войне кто поперек стал, того бьют не глядя. Ты писать будешь и на тебя напишут. Найдутся и писаки, найдутся и такие, что голову отвернут. Не махай, не махай, сам знаешь, что тогда твой доктор не поможет. На него ведь тоже обижаются. Он у воров на лапу берет, и в больничке заначки замастыривает. Но я хочу по-хорошему упредить, я на тебя зла не имею. Совсем наоборот. А к тебе с открытым сердцем пришел, все начистоту...

Он хотел выяснить, не собираюсь ли я жаловаться на его пастухов, разведать – не стала ли больница опорным пунктом воров, и заодно припугнуть не только меня и тех, кто мог бы меня поддержать, но и Александра Ивановича, а я делал вид,

что доверяю его добрым намерениям, снова и снова объяснял, что отношусь к ворам никак не лучше, чем к его ребятам, доказывал, что Александр Иванович вовсе не прячет воров, а лечит лишь таких, кто болен всерьез. Возможно, что в отдельных случаях он изолирует тех, на кого указывает начальство, кто в бараке и даже в карцере может стать зачинщиком кровавых волынок, и, разумеется, изолирует заразных,например, сифилитиков...

– Знаю, тех гумозников, их кончать надо, а не лечить... На них, знаешь, какая кровь. Им человека убить, как тебе муху или вшу придавить.

Мы беседовали вполне мирно. Я угостил его, как бывало, рыбьим жиром и розовыми шариками. На прощанье он зашептал:

– Ты слушай, но чтоб только тебе. После поверки не ходи далеко. Сторожись. У нас теперь набрали новых – сук этих. Я их ненавижу, как самих воров. Той же своры псы, хоть и грызут друг друга. С них есть такие, что и на меня кинулись бы хоть сейчас, а тебя так без соли схавают... Там корешки повара. Помнишь? И еще кое-кто другие, кто на тебя злость имеет, что ты права качаешь, и выходит только ворам в руку. А теперь война, кто кого рубанул, кто кому кирпичом башку развалил, хрен докажешь... Так что поимей в виду. Сторожись. И никому ни полслова.

К концу дня пришел Вахтанг, необычайно серьезный.

– Суки хотят ночью напасть на больницу. Толковищ был. Наши люди знают. Они, гады, хотят резать Акулу, Кремля, и еще родычей. Наши люди будут оборону делать. Ты, генацвали, закрой окошко, хорошо закрой, свет не зажигай. А еще лучше, генацвали, иди спать к Милке, там окошко совсем маленький. И в барак сам не ходи, – тебя тоже резать хотят. Пойдешь, генацвали, лекарства давать и мы с тобой пойдем. Я пойду, и Сева, и Бомбовоз.

Вечернюю раздачу лекарства я начал пораньше с барака. Тяжелый короб с бутылками и коробочками, как всегда, тащил Бомбовоз, в этот вечер за поясом у него торчал железный прут. Вахтанг, Сева и я вооружились кочергой и палками.

Мы шли по неширокой улочке между бараками. Был час ужина; всем работягам полагалось сидеть в столовой или топ-

таться у входа, ожидая очереди. Поэтому каждый из редких встречных казался подозрительным. Но нас никто не задел. В бараке я начал обычную раздачу рыбьего жира, витаминов, капель, пилюль. Сева и Вахтанг помогали мне; они уже умели разбираться в списках назначений, которые я составлял, применяясь к "географии" барака, т.е. в порядке расположения больных на нарах, вагонках и койках. В бараке было шесть санитаров, двое из них опекали трех сумасшедших. Но при раздаче пищи работали все.

В этот вечер мы хотели управиться поскорее. Я старался не показывать, что тороплюсь, и как на зло, то и дело возникали заминки: кто-то жаловался, что ему не додали рыбьего жиру, другой кричал, что ему надоели порошки, не помогают, пусть укол делают или банки ставят. Из дальнего угла, где, отгороженные пустыми вагонками, помещались трое сумасшедших, доносились крики, визг, брань. Побежав туда, я убедился, что забуянившего уже скрутили санитары, а двое других мирно плачут. Но едва я спросил, что произошло, в другом месте послышались возбужденные голоса.

— Так он же подох... Ты пощупай, — он уже захолол... Уноси его отседова... Нам тут йисть надо — нельзя йисть воколе мертвого... Мы же люди.

Мертвый лежал на койке вагонки, скрючившись на боку. Несколько больных стояли в проходе, а сверху, свесив желтоплешивую, большеухую голову бойкий доходяга непонятного возраста, — беззубый то ли от старости, то ли от цынги, — частил быстрыми словами,— быстрыми и едва ли не веселыми, — словно радовался своей осведомленности, свой причастности к событиям.

— Иета ен сам виноватый. — От жадности помер — от одной жадности. Иета ен, три дни как сюда пришодци, и все скулил, канючил, на всех жалился, чтоб яму посылку яво дали с каптерки. Ен все говорил энти доктора — санитары-каптеры — одно жулье, — йиийибо так и говорил, — в маей посылке — чистый продухт, а они не дають брать; говорять: вред будеть. И ета одна брехня йихая, что вред — у мине чистый продухт... Жана прислала и теща — они женщины чистые, аккуратные, а тут иета одно жулье — хотять посылку отмести. Потом скажут "спортилось", ищи-свищи.

В потемневшем лице с опухшими закушенными губами

можно было с трудом узнать широколицего моложавого старика; прошло меньше недели с тех пор, как он вылечился от дизентерии и его перевели в барак из палаты Ани Калининской. К тому времени в лагерной кухне уже существовал диетический котел. Ему полагалась строгая диета, но он еще там, в юрте упрашивал разрешить ему забрать свою посылку. Продуктовые посылки лежачим больным приносили к их койкам, вскрывали при них; тем, кто был на диете, выдавали на руки лишь крупы, сухари, печенье и т.п., с тем, чтобы санитары варили им кашу. А консервы, сало, колбасы, копченье сдавались на хранение в каптерку, по акту, подписанному владельцем, каптером и санитаром или медбратом.

Этот старик постоянно заводил ссоры с Аней, кричал, что она обокрала его, отсыпает себе крупу, а его кашей кормит своих хахалей... Он добился, чтобы ему еще раз принесли его посылку из каптерки, дал санитарам за это немного пирогов и горсть табаку, все перетрогал, перепаковал, проверил по своей копии акта. Когда его переводили из юрты тяжелых в барак, он раздобыл в своей бригаде у плотников сундучок с замочком и, показывая его, говорил, что сюда запрет, запрячет свою посылочку, и ему спокойней будет на душе – знать, что его добро с ним, все, что жена и теща-матушка своими руками собрали.

Ушастый сосед частил упоенно:

– Ието значит сиводня тут начальник приходил –надзор или режим, солидные такие – френчик на них с погонами золоченными – так ен и начальнику жалился и так просил и так лестил... Тот и позволил – иета перед обедом – ен сам пошел в каптерку, принес, в сундук положил. А как в обед стали мы бульон ийсть, гляжу ен сала туду суеть... топленого. А потом в кашу ието знаешь цельное сало грамм триста не меньше... Я ему говорю – "ты што делаешь, Петрович, ты ж себе обратно в болезню загонишь. Мы ж еще слабые. Нам такая пища тяжелая. Тебе ж доктор иета говорил, толковал. И ты ж сам божился – не понюхаешь. А он меня послал. Иета, говорит, чистый продухт, от него только польза и здоровье.

И так мне это обидно стало, как он жует и колбасой пахнет, я одеялкой закрылся и спать – только я потом слышал, он вроде зубами скрыпел и вроде стонал... Я тогда спросил: ну что, Петрович, схватило брюхо от чистого продухта? А он только рыгает, сытый, значит, сердитый... Я думал болить ему, иета, сам виноватый... Сам жрал, никому и понюхать не дал, а ему

диета положена, сам и мучайся. А ен скрыгтит, рычит, а ни словечка не скажет, – характерный мужик. А как тихо стало, я думаю, ието заснул, значить, нажрался от пуза, намучился, перемогся, и спить сытый. А ен, значить, иета, кончился...

Мы отнесли тело к выходу. Теперь уже не надо было скрывать, что спешим. Раздали лекарства и ужин, двое санитаров и двое добровольцев из больных понесли покойника на дощатом щите от нар. Еще двое пошли, чтобы сменять на ходу, – не останавливаться же с такой ношей отдыхать среди лагеря. Теперь мы шли целой толпой – путь в мертвецкую вел мимо наших юрт.

Вахтанг рассуждал вслух:

– Сам мужик себе смерть сделал. От жадности подох и от своей тупости. Никакая животная так не подохнет. Собака знает, кацо, что можно есть, что нет, и кошка знает, самый глупый баран знает, самый глупый ишак знает... Не будет есть, когда больной. А такой мужик, такой Сидор Поликарпович ни хрена знать не хочет... Он за свое сало человека убьет, десять человек убьет, и жену продаст и родину продаст за свое сало... И сам подохнет. Не понимаю, зачем такой человек живет.

Другие поддакивали Вахтангу..

Я молчал. Уже темнело, зажглись фонари вокруг зоны, в бледном свете густели черные тени.

Покойник возбуждал злость, – Вахтанг прав, и его лихая бесшабашная воровская судьба все же лучше, чем исступленная мужицкая скупость – и вот скрюченный труп под рваной простыней. Он вызывал во мне такую же бессильную злость, как раньше Хрипун или Водяной. Но вместе со злостью саднила жалость, неотвязная, как зубная боль: ведь все это от голода, от уродливой страшной жизни... Хуже скотов! Но скотов так не мучают, и скоты друг к другу не так жестоки, как мы, –так бессмысленно, безжалостно жестоки.

...От черных теней, – кто-то пробежал между бараками, – холодок страха... И все же повезло, что эта смерть именно сейчас. Нас добрый десяток. Не рискнут.

Уже к концу вечера в обеих юртах, – у тяжелых и в моей появились новые постояльцы. Некоторых я знал: мой старый кореш Никола Питерский, Леха Борода, Никола Зацепа. Другие были незнакомые, но все повадки – походка, интонации, ухмылки, – не оставляли сомнений: "чистый цвет" – "закон-

ные воры".

— Мы тут до подъема посидим, покемарим, покурим... тихо будет, не сомневайся... У нас — воинский порядочек. Часовые караульные на зексе чин-чинарем. Твоих доходяг никто не обидит. И суки не полезут. Они, падлы, уже верняк знают, что мы тут в обороне. Не дадим наших корешей давить. И тебя тронуть не дадим.

Прогонять их я не мог бы, да и не хотел. Они стали моей единственной защитой. Дико было сознавать, что оказался участником чужой войны, страшной войны сук с ворами. Я слышал немало рассказов о таких войнах. Хорошо, если сразу убьют, а то ведь есть любители изощренно пытать, топить в сортирах. Нелепая смерть! Чудовищно нелепая! Ни за что, ни про что. Из-за вскрытия того несчастного старика. Из-за того, что обозлил пастухов. А ведь я не обличал их, только отстранился...

Ночь была теплая, двери в юрты открыты. Вахтанг и Никола успокаивали меня — все будет в порядке, мы дежурим, если какой больной попросит, мы тебя позовем, иди отдыхай. Я пустил их в мою кабинку, угостил папиросами, сказал, что если что — буду рядом, стучать в стенку. Взял свое оружие, кочергу и скальпель, и ушел в отсек санитарок.

Валя мирно храпела на верхней койке, а Милка не спала, ее знобило от страха. Она знала об утреннем разговоре с Сашей; она испугалась, когда в юрте появились незнакомцы, слышала, что мы перешептываемся, не могла понять о чем... Она прижалась ко мне, всхлипывая "не пущу, не пущу, убьют", мы ласкались прерывисто, — то шаги за стеной, то голоса у двери юрты. Вахтанг распоряжался в моей кабинке, там рассказывали были и небылицы о прошлом, особенно подробно и смачно о любовных похождениях. Милка шептала: "Ой, бесстыжие, ты не слушай!", накрывала одеялом и мою и свою голову, горячо дышала в ухо: "Ой, не слушай гадости... такая гадость", и дышала все чаще, все жарче, прижималась все ласковей...

Уснули мы только к рассвету. На утро болела голова. Ночные гости ушли к разводу.

Александр Иванович был пасмурный, похмельный. Хмуро выслушал сообщение об умершем.

— Вот и лечите их... Переживайте, не спите ночей. Все ваши принципы, все гуманизмы — одна херня. Спирт у нас есть?

— Только денатурат.

— Давайте денатурат. И не смотрите на меня, как поп на еврея. Принесите карболену и марлю. Вы, конечно, очень ученый, но я еще могу вас кое-чему научить.

Он растолок карболен в порошок, насыпал в марлю, процедил сквозь этот угольный фильтр стакан денарутата, процедил еще два раза, меняя фильтры. В очищенный спирт бросил несколько крупинок марганцовки, внизу образовался мутный осадок. Он осторожно слил, разбавил физиологическим раствором. Разлил по мензуркам.

— Пейте... Закусите пектусином. И выпейте ложку валерианки. Чтоб не пахло. Усвоили науку? Ин вино веритас!.. Это истинная правда, а все остальное — херня. Вы как думаете, — почему это я пью с вами в рабочее время? Как это объяснить с точки зрения ваших принципов?.. Не знаете? Многого вы еще не знаете. Но это я вам объясню. Прощаюсь! Посошок поднес. Вас этапируют завтра сразу после развода. Объявят сегодня на поверке. Но вы уже сейчас начинайте сдавать Ане и Куликову. Она будет вместо вас старшей по стационару, а он вместо нее помощником. Только к тяжелым его подпускать нельзя. Он, ведь, убежден, что пульса нет, а вши от мыслей заводятся. Выпейте еще, повторить не скоро придется. Желаю вам... Ну, что можно пожелать, чтоб не пустые слова, не сантименты, — этого не терплю. Желаю остаться в живых, не доходить, не впадать в отчаяние и помнить, — пока жив, все еще может быть поправимо. А вы мне пожелайте, чтоб тоже не пустые слова. Пожелайте не спиться, не стать алкоголиком и вообще...

— Вообще, спасибо, Александр Иванович, большое спасибо. Желаю вам здоровья, — это не обычная формула, — в самом точном смысле слова говорю: здоровья телесного и душевного и тоже верю, что в жизни все еще поправимо.

Днем пришел Саша. Я сидел в кабинке с Аней и Куликовым, над кучей тетрадей, списков больных и коробок с карточками ”истории болезней”.

— Ревизия у тебя?

— Да, вроде. Доверяют и проверяют.

— Выйдем на минутку.

Мы отошли от юрты. Вахтанг и пара его приятелей вышли вслед за нами.

Саша улыбнулся, оттягивая губы книзу.

– Телохранители твои на зексе. И все законные. А ты говоришь, – ты нейтральный.

– Говорю и буду говорить. Они мои больные, я их лечу и вылечиваю, и они не хотят, чтобы их и меня убили.

– Это я что ли тебя убивать буду? На хрен мне это нужно?

– Я знаю, что не нужно. Но они, видимо, сомневаются. И ты ж не один с палкой ходишь.

– Ну и хрен с ними! Ты, что дела сдаешь? Про этап уже знаешь?

– С чего ты взял? Какой этап?

– Ты не темни, я ведь знаю. Тебя завтра выдернут. Как думаешь, на волю? На пересуд? Ну, все равно. Тебе все лучше, чем здесь. Этой ночью здесь воры оборону держали. Я все знаю. Эта ночь тихая была. А час назад нашему парню от такой кирпичиной засадили. Если б в голову – сразу конец. А то в плечо. Похоже – сломали кость. Но его за зону взяли, в вольную больницу. А то у вас здесь добили бы... Да ты не махай на меня. Я лучше тебя знаю, кто здесь есть и кто чем дышит. И я к тебе обратно по-хорошему с чистым сердцем. Вот в эту ночь ведь не тронули никого, ни тебя, ни твоих шестерок... А почему? Ты думаешь, потому, что вся шобла здесь ночевала? Ни хрена! Это я и мои парни придержали сук, чтоб не лезли. Те уже и топоры и ломы позаначивали. Они бы все юрты в щепы разнесли. И всех вас на мясо бы порубали. Только и на сук есть свои суки. Мне дунули. Я тебя вчера упредил. И своим парням накачку. Мы цельную ночь не спали. Это мы не дали им ходу. Откровенно скажу, не от того, что пожалели шоблу. Но если б тут начали резать и рубать, так это и нам был бы минус. Понимаешь? Ну, так вот, эту ночь не боись – можешь припухать, а завтра пойдешь на этап. Ночью по зоне будет надзор тройной и лагсостав и мои ребята, но только такие, конечно, кто самостоятельные, кого я точно знаю, что не сучьего племени. Зайду вечером, поставишь чего на прощание. Спиртик не держишь? Темнишь, доктор. Ну, ставь чифирю, или хоть рыбьего жиру.

Вахтанг рассказал, что некоторых из наших ночных гостей днем забрали в карцер, объявили, что на сутки, а завтра в этап. В то же время он сам видел усиленную охрану из надзирателей перед бараком, где жили придурки, – повара, учетчики, банщики, самоохранники, кладовщики, и те, кто прислуживали за зоной, – "шестерили" в домах начальства; среди них то и

были главные заводилы сук. Видимо, начальство решило предотвратить новые кровавые столкновения. Все же Вахтанг опять привел вечером нескольких корешей. В барак мы перевели трех выздоровевших цынготников, а ночных гостей пристроили на освободившиеся места. Я знал, что и в юрте тяжелых есть такие гости. А когда собирал вещи, то у себя под койкой обнаружил топор и лом.

Вахтанг сказал:

— Ничего, доктор, ничего, генацвали, сегодня полежит, завтра полежит. Ты поедешь, тебе не мешает. Мы остаемся, нам помогает.

Сразу же после отбоя пришел Саша с двумя пастухами и в сопровождении двух надзирателей.

— Ну, как? Порядок в танковых войсках? Чего выпьем на прощание, доктор.

Они обошли юрту, посмотрели под койки... Саша и один из его парней, насупленный, туповато молчаливый, еще посидели со мной в кабинке, выпили по мензурке рыбьего жиру, закусили розовыми витаминками и конфетами, оставшимися от последней посылки. Покурили. Саша говорил о том, что начальство решительно покончит с войной. Когда собаки грызутся, их надо водой разлить или палками разогнать. Завтра отправят по другим лагерям заводил, пусть на пересылках голыми руками душатся. А тех, кто убивал, по новой судить будут.

Я слушал его, слушал напряженную тишину за боковой перегородкой, в юрте, а сзади тихие шорохи, — там возилась Милка.

Едва Саша ушел, в кабинку втиснулись Вахтанг, Бомбовоз, а за ними Сева и Аня Московская. Мила привела заспанную Валю. Вахтанг поставил на пол бутылку, на столике разложил газету — хлеб, куски рыбы, орехи и чурчхелы, открыл банку бычков в томате. Он распоряжался уверенно, весело.

— Мой папа — самый лучший тамада на весь район. Его зовут обязательно, где свадьба, где юбилей, где именинник. Я буду тамада. Мы сегодня провожаем нашего дорогого...

Он говорил вполголоса, в юрте спали, на зексе стояли поочередно ночные дежурные, — им тоже поднесли по маленькой, — окошко завесили впритык, чтобы наружу ни пятнышка света. Вахтанг произносил пышные тосты, славил прекрасных де-

вушек, наших боевых подруг, славил меня, славил своих друзей. – Главное, что есть и в тюрьме и на воле – главное – это дружба. Это когда ты имеешь друзей или, как мы говорим – корешей, и как поется в одной иностранной, но все-таки народной песне ”за друга готов я хоть в воду”, но лучше выпьем вино или даже водку...

Каждому из нас досталось примерно по сто грамм водки, – девушки отказались, Мила пригубила из моей кружки. Мы сидели на двух койках, некоторые – на полу. Сидели тесно, дружно. А во мне смешивались, путались распутывались, и снова переплетались все впечатления последних дней, угрозы, тревоги, разговоры, страхи, воспоминания – горькие, постыдные, тоскливые, умильные, клочья недодуманных мыслей, полуосознанных ощущений. Хорошо, что уезжаю от этих зловонных юрт, начиненных чужими несчастьями, больными, которым не могу помочь, завтрашними трупами... Хорошо, что избавляюсь от воров, от сук, от гнусного подленького страха смерти.

Но что будет с Милой? Она рядом, прижалась к плечу, теплая, печальная, пальцы тонкие, но сильные, тискают мне локоть. Что будет с ней, кому достанется? Ведь придется ей не с одним, так с другим так же прижиматься, так же целоваться влажно, горячо, так же распахиваться... А что будет со мной? Куда загонят после нового суда? Не вспомнится ли все вчерашнее, как недостижимое благополучие?

Вахтанг произносил все более многословные тосты, на каждый глоток и даже над уже пустыми кружками. Он расчувствовался, называл меня лучшим другом, спасителем жизни.

С Милой удалось побыть вдвоем совсем немного. Она плакала. А я не мог забыться, не мог избавиться от путаницы мыслей. То ласкал ее нарочито жадно, а, может, это в последний раз в жизни, и я никогда уже больше не прикоснусь к женщине, дойду в каторжных лагерях... Но с ней-то уж, конечно, в последний раз... То говорил нежную чепуху, обещал помнить, писать, найти потом, говорил, зная, что вру, но, ведь, в утешение, требовал, чтобы не изменяла.

Перед самым подъемом я вздремнул на полчаса, она еще что-то зашивала, штопала. Когда я проснулся, – Вахтанг стучал в перегородку, – Мила писала, низко склонившись над лист-

ком из тетради. Это было прощальное письмо. Она сама принесла его потом на вахту, сунула мне вместе со свертком хлеба. Красивые, книжные, песенные слова о любви, разлуке, сердечном страдании, просьбы не забывать, обещания вечно помнить. Слова искусственные, но слезы были настоящие.

За вахтой стояла открытая трехтонка. Нас, – десятка два зеков, – погрузили. Были знакомые, – Гога Шкет, рубивший Бомбовоза, лупоглазая Зина, и оба сифилитика, которые тискали ее, запускали руки под юбку, а она только посмеивалась. На окрики конвоиров, они возражали, – у нас с ней одна болезня, одна гумозная доля, мы только с ней и можем без вреда.

Несколько старших воров, – Леха Лысый, Никола Зацепа, Леха Борода, веселивший всех прибаутками и анекдотами, приветствовали меня, как своего "керю". Несколько сумрачных парней, которых Борода подначивал, величая "Господа граждане, суки... ваши сучьи благородия...", жались особняком у самой кабинки шофера. Четверо конвоиров с автоматами сидели по углам на бортах, пятый с собакой у задней стенки.

Мы ехали по лесной дороге. На березах просвечивала сентябрьская желтизна. Утро было пасмурным, прохладным.

Приехали на Красную Пресню. Там, в тюремном дворе, стояли часа два, выгрузили сперва больных, потом сук, потом осужденных, – Гогу и еще нескольких доходяг-оборванцев, – последними увели воров-родичей. Нас осталось трое – двух молоденьких парней везли на переследствие. И уже только два конвоира без собаки.

Подъехали к тюрьме на улице Матросская тишина, во двор не въезжали. Один конвоир увел моих попутчиков. Увидев поблизости почтовый ящик, я упросил пожилого флегматичного стражника и написал открытку: "Еду, видимо, туда же, где бывал раньше, принесите, пожалуйста, луку, чесноку, махорки". Тот дал ее женщине, проходившей мимо: выбрал изо всех прохожих немолодую, в платке, в затрапезной кофте. Она мгновенно все сообразила – тюрьма напротив – быстро-быстро отнесла мою открытку к ящику.

Когда мы подкатили к Бутыркам, было еще светло.

Знакомые зеленые ворота тихо задвинулись сзади. Тот же портал. Те же обыденно спокойные слова: "Пройдите. Руки назад!" То же позвякивание ключей.

И снова я входил в Бутырки, так же как в первый раз после душегубки – вагонной пересылки – и так же как во второй раз после ночи в подвале СМЕРШа и поездки по Москве в наручниках, – испытывая облегчение... Санаторий Бутюр!

Сороковая глава

ВЕЧНОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Снова маленькая опрятная камера спецкорпуса. Три койки.

Унылый штатский невысок, желтолиц; тоскливо-раздраженный взгляд; большой печальный нос; серовато-седая щетина на складчатых, вислых щеках; узкая плешь. Московский говорок с книжными узорами.

Второй – в застиранной армейской гимнастерке; немецкие бриджи, американские солдатские ботинки; рыжевато рус, тощ, скуласт; водянисто сизые глаза; говорит с южной распевкой; быстрые жесты долгопалых рук, изгибы толстогубого рта – явно еврейские.

Оба курящие, оба давно без табака. У меня с собой – и папиросы и трубочный. Они дымят блаженно; неторопливо рассказывают.

Пожилой москвич – мастер художественной фотографии. Работал техническим руководителем большого фотоателье. Арестовали его весной "за порнографию".

– Я, батеньки мои, коллекционер эротического искусства. В Москве нас – настоящих любителей и ценителей немного. Больше, разумеется, случайный элемент: мальчишки, старички – мышиные жеребчики и просто спекулянты-маклаки. Таким неважно художественное качество, им давай что позабористей. Но серьезному собирателю приходится общаться со всеми, – ведь в любой дыре, батеньки мои, у любого невежды можно обнаружить негаданное сокровище. Я собирал главным образом французскую графику XVII-XVIII веков, гравюры и книжные иллюстрации, Буше, Фрагонара, Ватто, Греза. Были у меня и итальянские, немецкие, русские издания, но прежде всего французы! Вот где прелесть! Тонкость! Изящество! Вкус! Это, батеньки мои, не порнография, не похабная клубничка, а высокое искусство! Но как это объяснишь гражданам следователям, если все их эстетическое образование "Иван Грозный убивает своего сына", раскрашенные фотографии и портреты вождей. Я тщетно им напоминал о музеях, о государственных кар-

тинных галереях, там, ведь, немало изображений нагих женщин, нередко и фривольные ситуации... Как можно говорить о распространении порнографии, – так это именуется в уголовном кодексе, когда, батеньки мои, я ничегошеньки не распространял, а, напротив, собирал, коллекционировал и притом прятал.

Да, да, именно прятал, скрывал, потому что жена моя, дама глубоко религиозная, можно сказать даже аскетически, истово религиозная. После того, что наш сын пропал уже в начале войны без вести где-то, как тогда значилось на Витебском направлении, – и после смерти внука, – у дочери нашей единственный ребенок, очаровательный малыш, просто ангелочек, умер от менингита, – жена впала в этакий мистический аскетизм. Она у меня тоже собирательница, – это, батеньки мои, видно, какие-то флюиды в семье, – только она собирает различные Библии и отечественные и иностранные. Образование у нее отличное, три языка – французский, немецкий, итальянский. Она дает уроки небольшим группам детей дошкольного возраста. Впрочем, есть и несколько великовозрастных учеников – артисты, артистки, им ведь приходится петь по-итальянски... Мои коллекции я, естественно, скрывал от жены, она в мою комнату заходила только, чтобы убирать. Ей не по душе были даже те, что на стенах у меня висели, – отличные копии Ватто и Фрагонара. Не раз, бывало, говорила: "Серж, вы коснеете в греховных соблазнах", – мы в семье по старинке друг другу "Вы" говорим, и дети к нам тоже на "Вы" обращаются. Я, батеньки мои, полагаю, что фамильярность, развязность, когда сын или дочь этак, знаете ли: "ты, папка", "ты, мамка", – ни к чему хорошему привести не может. Это означает с малолетства отсутствие твердых нравственных основ. Я не разделяю религиозных взглядов моей жены, я не то, чтобы атеист. Но, так сказать, вольнодумец. Однако, батеньки мои, никакая наука ведь не всеведуща, многое в мире никак не объяснишь только с научной точки зрения... И, разумеется, я чту убеждения моей жены – верного друга. Мы прожили душа в душу почти тридцать лет. Венчались как раз в первое воскресенье после октябрьского переворота, когда в Москве перестрелка кончилась. Я в том же году гимназию кончил, а вокруг революция, манифестации, митинги, собрания. Все про свободу говорят, кричат, поют. А у меня, мальчишки безусого, какие понятия могли быть,

– свобода, ну, значит, могу свободно жениться, без отцовского соизволения. Отец мой был, нечего греха таить, самостоятельным человеком, не капиталист какой-нибудь, однако имел свою граверную мастерскую, кабинет по фотографии, дом в Садовниках, лошадей держал... Но всего добился сам, своим трудом, батеньки мои. Пришел из деревни мальчишкой из-под Ярославля в лаптях, как Ломоносов, пришел к дяде, тот банщиком работал в Сандунах. Пришел, что называется, Христа ради, помоги племяннику-сироте. Дядя сдал его, как тогда полагалось, в учение – в ремесло к граверу. У того в мастерской визитные карточки изготовляли, разные этикетки, афиши и тому подобное. И мой батюшка стал первоклассным мастером, на все руки, – резчиком, гравером, печатником, цинкографом. Тут как раз фотография начала в моду входить. Он и это искусство освоил. Необыкновенных способностей был человек. Нигде ведь, кроме церковно-приходской школы не учился, все самоучкой, все дни работал, а ночи над учебниками, над книжками просиживал. У нас в доме книжные шкафы ломились. Все приложения к "Ниве" и роскошные, подарочные издания... Он и немецкий язык выучил. Хозяин его полюбил, в Германию на полгода послал, он в Берлине и в Лейпциге немецкую технику изучил. А потом женился на хозяйской дочери. Так что по матери я действительно буржуазного происхождения, ее отец был купеческого звания. Но мы, батеньки мои, Советскую власть признали с первых дней.

Не скажу, чтоб мы в большевики записались. Нам не по сердцу были все эти митинги, лозунги, "грабь награбленное!", братишки, мат, семячки, реквизиции, и, уж конечно, воинственное безбожие. Покойный отец и маменька были весьма верующими, они и женитьбу мою революционную без позволения на бесприданнице за то лишь простили, что Оленька их своей религиозностью восхитила. Отец очень переживал когда духовенство преследовали, ценности отнимали, священников арестовывали. Он от этого просто болел, и душой и телом, батеньки мои, буквально таял как свечка. Можно сказать, угас безвременно в 22-м году, ему и шестидесяти пяти не исполнилось. Но он всегда говорил: несть власти аще не от Бога... А мой старший брат даже служил в Красной армии – военный специалист. Он в германскую войну стал офицером артиллерии,

а в гражданскую состоял в штабе армии. Потом так и остался военным, хоть и беспартийный. Но три ромба носил, это, ведь, батеньки мои, генеральское звание. Но в 37-м его взяли. Тогда после Тухачевского, Уборевича многих военных забрали.

Но я, батеньки мои, твердо знаю, что мой брат был честнейший человек, кристально чистый патриот, уважал власть, был чрезвычайно скромен. Не верил, никогда не поверю, что он совершил что-либо дурное, да еще против Родины. Но раньше я и не подозревал, как из абсурда можно состряпать уголовные обвинения. Зато теперь знаю, на собственном горьком опыте убедился. Меня вот обвинили в "распространении порнографии", потому что некоторые гравюры я фотографировал. Хорошо снять и хорошо отпечатать, так сказать репродуцировать художественное произведение – это, батеньки мои, тоже искусство. Снимки я иногда печатал в нескольких экземплярах, это был мой обменный фонд.

И вот, извольте, обвинение, – размножал порнографию...

Следователи пугали меня, что покажут жене. И я действительно пугался, батеньки мои, ведь она, голубушка моя, ни о чем таком и не подозревала. Мы жили всегда мирно, дружно, однако, раздельно. Она никогда не навязывала мне ни своей воли, ни своих взглядов. Она у меня истинная христианка. Теперь мало кто знает, что это значит. А, между тем, батеньки мои, смею сказать, – это прекрасно и в семейной жизни, и в быту и вообще... Это значит доброта, бескорыстие, вежливость, уважение к личности, к каждому человеку, и симпатия даже к личным врагам. Сказано, ведь "любите ненавидящих вас". Вот она моя голубушка такая – сама кротость и чистое смирение... Я ведь боялся чего? Не скандалов! Нет, батеньки мои, такого у нас и в молодости никогда не бывало. И от набожности, и от благовоспитанности. Я никогда не слышал, чтоб она не то что кричала, голос повысила, или злое слово сказала. А ведь я, случалось, бывал грешен, батеньки мои, и в картишки играл, и выпивал с друзьями, и на хорошеньких заглядывался. Даже интрижки были... Она, разумеется, всего не знала, но кое о чем не могла не слышать... И верьте мне, батеньки мои, в такие дни только печалится, глаза красненькие от слез, но при мне ни разу не заплакала... Вот этого-то я и боялся пуще всего, – причинить ей душевную печаль.

Когда у меня обыск производили, ее благо дома не было. К невестке, к вдове нашего старшего, уехала в Электросталь. Я этим обыскивавшим доказывал, что с женой фактически раздельно живу, – врал, батеньки мои, что не разводимся только из-за ее религиозных убеждений, которые не допускают развода... И я умолял, ну просто умолял сотрудников, производивших обыск, чтоб моей жене, – я даже говорил бывшей жене, – не стало известно, потому что, батеньки мои, опасаюсь за ее психику, возможно острое нервное потрясение... Вот на этом они меня потом и подловили. На моем страхе за жену, за ее невинную прекрасную душу... Следователь все добивался имен и адресов, кто, дескать, соучастники. Им хотелось покрупнее дело состряпать, чтобы организация, подполье, трест, комбинат по спекуляции порнографией. У нас ведь во всем размах любят. Но не могу же я, батеньки мои, потому что сам увяз, врать, чего не было, и других людей топить, да еще напраслину громоздить и на них и на себя. Я все объяснял следователям, что коллекционирование, собирательство – это же бескорыстная страсть, батеньки мои, а не спекуляция, не торгашество, пытался им растолковать, какие бывают виды искусства, как относительны понятия приличия и неприличия, на Пушкина ссылался, на Алексея Толстого, – на Константиновича,разумеется,– на Есенина, на Маяковского... Ничего слушать не хотели и все грозили привлечь жену как соучастницу. Я этим угрозам поверить не мог, думал, – ведь есть же все-таки законы. В 37 году были перегибы, но этого, как его, Ежова – садиста, самого расстреляли и в НКВД многих почистили, так что теперь уже только по закону. И, вдруг приводят меня на допрос, а мой следователь, наглый такой, развязный, полуграмотный субъект – когда я ему про искусство говорил, он мне открыточки с репродукциями из Третьяковки показывал, – вот, мол, наше патриотицкое, а у вас антипатриотицкая, – так и говорил "патриотицкая", "антипатриотицкая", – идеология. И с ним еще один, вовсе незнакомый молодой человек, такой подтянутый, с пробором и маникюром. И они выкладывают на стол книжки, – батеньки мои, я сразу их узнал, старопечатная Библия, и роскошное издание с иллюстрациями Доре, и карманные Евангелия, – все книги из собрания моей Ольги Николаевны, ее ручками перелистанные, ее слезками политые. А они увидели мой ужас и ухмыляются, – вот к чему

ваше упорство приводит, вы скрываете сообщников, и мы вынуждены были обыскать и арестовать вашу законную супругу и нашли у нее сплошь религиозную пропаганду. Оказывается, у вас организация широкого антисоветского профиля. И похабными картинками с голыми дамочками торгуете и церковной литературой. Интересный получается винегрет. Как раз для фельетона.

Тут я, батеньки мои, прямо скажу, забыл про себя; в глазах красный туман, сердце стучит у самого горла, будь помоложе, с кулаками бы кинулся. А тут кричать стал, — все высказал, что за много лет накипело. Значит, не кончилась ежовщина, говорю, не перестали мучить людей. Значит, вся ваша власть — бесконечная ежовщина, сплошное беззаконие, сплошное хамство и невежество. Раньше братишки были с клешами, семечками, с маузерами, так они хоть не лицемерили, батеньки мои, не кричали про любовь к родине, про социалистическую законность, про "патриотицкое искусство"... Они кричали: "грабь награбленное!", "Даешь!", "К стенке!". Так они же лучше вас были — честнее, не скрывали своего хамства, гордились неграмотностью. А вы бумажки пишете, юриспруденцию разводите, вы с проборами, маникюрами, а как издеваетесь, как палачествуете... Ну, что ж, говорю, батеньки мои, убивайте, расстреливайте меня. Она смиренная христианка, кроткая, и сейчас, наверное, вас прощает, молится за вас, за врагов, за убийц своих, а я вас ненавижу и проклинаю, трижды и четырежды проклинаю! Пусть вам отольются невинные слезы, чтоб вам еще хуже страдать, чтоб и вас разлучали с женами, с детьми, чтоб и вам в тюрьмах томиться, голодать, холодать, локти себе грызть, подыхать в отчаянии...

...Говорю, говорю, а они слушают и только переглядываются, а потом, этот новенький незнакомый франт вежливо так и с улыбочкой:

— Ну, что ж, пожалуй, хватит, Сергей Федорович, мы вас поняли. Нам теперь все ясно и дело ваше мы переквалифицируем. Товарищ младший советник юстиции — это мой прежний следователь — будет теперь уже в качестве свидетеля. И мы пока составим первый протокол нового следствия по статье 58 пункт 10 "антисоветская агитация и пропаганда". Вы напрасно так волновались, ваша жена пока дома, на свободе, но зато вы,

наконец откровенно высказались, раскрыли свое контрреволюционное нутро. И теперь уж действительно только от вас зависит – будет ли ваша жена вам передачи носить или мы арестуем ее, как вашу подельницу.

...Вот так я сам на себя и донес, батеньки мои. Теперь следствие закончено по новой статье. Жена две недели тому назад еще приносила передачу. Значит, ее не тронули и то слава Богу, а мое дело за ОСО, значит, уж милости не жди. Одно преимущество, батеньки мои, заочно осудят, не будут больше душу мотать. Я покаялся, конечно, – мол, всердцах, батеньки мои, невесть что наговорил. Но кому говорил? Им же самим, гражданам следователям. Какая тут может быть агитация и пропаганда в тюрьме? Какой подследственный следователю агитатор?.. Прокурор такой вальяжный, обходительный, – он присутствовал при окончании следствия, – сказал, что все это учтут, но он думает, что мне полагается лет пять лагерей, не меньше.

...Ну что ж, мне сейчас сорок восемь, – так сказать ровесник века. – Если даже десять лет дадут, я думаю, мог бы выжить, а пять и подавно. Ведь в лагере должно быть нужны фотографы: а я мастер высшего класса, батеньки мои, гроссмейстер... Но как подумаю о моей бедной Оленьке, что она пережила и переживает из-за меня, из-за моих увлечений, так в пору бы руки на себя наложить и, верьте, батеньки мои, я убил бы себя, не моргнув глазом, просто разбил бы голову о стенку, не промахнулся бы, если б о ней не думал. Ведь ей от моей смерти еще хуже станет. Ведь все же легче так, как сейчас горевать, но, ожидая меня, грешного, чем вдовье горе, вовсе безысходное...

Ему приятно было, когда мы соглашались с ним и находили все новые утешающие доводы. Всем нашим родным худо, все горюют. Но его жене все же полегче, – она верующая, может молиться и должна верить, что он, страдая, искупает грехи... Да и сам он, ведь тоже не атеист. И если на свидании скажет жене, что начал молиться, вернулся к религии, то ей будет настоящая радость, а для этого и приврать не зазорно...

Наш третий сокамерник говорил быстро, то размахивая длинными руками, то взволнованно потирая угловатую стриженую голову.

– Хорошо тем, кто верит. Кто хоть что-то понимает в этом. А то как нас учили: "Бога нет и не предвидится"... "Долой, долой монахов, раввинов и попов, мы на небо залезем,

разгоним всех богов!", "Религия – опиум – даешь науку!" А на правде выходит не совсем так. Наука наукой, но сколько я видел малограмотных безбожников. И знаю нескольких даже очень образованных интеллигентов, которые верующие. И у нас и за границей встречал таких. Мне один военинженер высшей квалификации объяснил, – мы с ним еще до войны знакомые были, выпивали иногда. Так он по душам, как говорится, так прямо и высказывался, – наука себе наукой, она тебе объясняет, отчего мотор работает, какая сталь лучше, как хуже... Но вот отчего человек живет, думает, говорит, этого никакая наука не понимает. Ученый доктор может тебе в легкие заглянуть рентгеном, или в кишках чего-нибудь там резать, чинить, лечить. Но в душу, как говорится, никто не залезет... Так ведь правда же?! Я не знаю там за библию, за молитвы, но знаю, что на свете есть такое, чего никакие науки не объяснят. Ну, как говорится, чудеса. Именно чудеса. И вот, например, моя жизнь – это просто кусок чуда. Я сам урожденный с Ворошиловграда, объездил весь Донбасс вдоль и впоперек и еще пол-Украины, – где учился, где работал, где по комсомольским мобилизациям, где в командировке. Профессия у меня самый высший сорт – автомеханик; в армии срочную службу служил в танковой части, потом в МТСах работал старшим механиком, в 39 году меня обратно мобилизовали, – техник-лейтенант в танковой бригаде на новой границе... И в плен попал в самые первые часы войны. Мы ж ничего не знали, у меня даже оружия не было, – не выдали. Мы как раз в лагеря пошли за двадцать километров от границы, в лесу оборудовали ремонтную базу. Порядок у нас был, палатки чистенькие, дорожки песком посыпанные, души теплые, – воду солнцем грели. За день намажешься коло тех машин. У нас в бригаде БТ -7 была роскошная машина, быстрая как огонь. Но только потом нам другие пленные рассказывали, они и горели, как спички, с одного попадания. В ту субботу мы поработали ударно, штурм, – ремонтировали машину одного майора. Свойский парень. Он принес нам канистру бимбера,– польская самогонка, жуткая крепость, – они туда карбид или махорку добавляют, с двух-трех стопок одуреть можно, а мы ж танкисты – фасон давили. Так мы войну, – верьте, проспали... Я еле проснулся. Меня товарищи водой поливают.

– Вставай, лейтенант, мы пленные.

Я не верю, ругаюсь, а потом смотрю: стоят в серых мундирах. Темные каски. Гимнастерки расстегнуты. Рукава закатаны Автоматы выставили.

– Шнель, шнель, марш, марш...

Так я войны и не видел. В первом же лагере, еще в Польше, стали записывать специальности. И меня сразу же забрали в ихний автобат, в рембригаду. Там оберлейтенант был такой худенький, в очках, очень приличный парень. Он мне сказал: ”Ты молчи, что ты юде, а то тебе сразу капут будет, говори, что рус. Ты ж блонд и шванц у тебя необрезанный”. За это я ему сам объяснил. Мой папа, между прочим, в партии был с двенадцатого года. Шорник был в Луганске, потом в Сибири на каторге. Он меня обрезать не давал – ”предрассудки”. – Ну, вот видите, разве это не чудо? Если бы мы в субботу не напились того бимбера, мы бы, конечно, воевали. И тогда или бы я погиб сразу или попал в плен позже, когда уж строго отбирали, – кто юде – налево... рра-аз... и ваших нет. И что я на такого приличного оберлейтенанта нарвался, разве не чудо? И что не обрезанный был...

Наш автобат с Польши перебросили аж во Францию, сперва коло Парижа стояли, а через год на юг пересунули к Лиону... Я за это время по-немецки насобачился. А в том автобате отношение к нам было хорошее, нас четверо было пленных автомехаников, один с Ленинграда и мы трое с Украины. Все были дружные. И работали хорошо. Немцы хвалили: рус гут арбейтен. Тот оберлейтенант, что мне можно сказать, жизнь спас, уже во Франции заболел. Вместо него другого назначили, горластого такого, красномордого. Но так ничего, справедливый. Он пил сильно, баб водил. Но и всем солдатам и нам давал увольнительные в ”пуф”, – в бордель значит. Это, говорил, гезунд, – для здоровья надо. Прямо скажу, в том автобате нас не обижали. Конечно, были фашисты, которые носы перед нами задирали или дразнили – Русслянд капут, Москва капут, Сталин капут, дойче зольдатен нах Вольга, нах Кауказус. Но другие нам тогда подмигивали, – не обращай внимания, русский камрад... Нет, в общем жилось нам, если взять материально, очень даже не плохо. Питания такого мы раньше никогда не имели. Всегда мясное и разные шпроты, сардины, и мармелад и шоколад. А по воскресеньям, – девочки. Один с наших ребят, молодой пацан харьковский, первый год в армии, сказал, что он оттуда те-

перь ни за что обратно не уедет. Останется жить во Франции; тут никакой агитации, но зато все сытые, все одеты, как у нас только начальство или крупная интеллигенция одевается... Но мы же все-таки были патриоты и комсомольцы. И хотя немцы нам и говорили и специальные газеты давали, которые по-русски и по-украински печатались, мы им все равно не верили. Мы знали, что Советский Союз должен победить. И я верил именно так. А это ведь обратно вроде чуда. Мы же сами все-таки знали наши недостатки и разные перегибы в коллективизации. В голодовку 33-го года мы ж такое видели, что другим и не снилось, когда люди на улицах помирали. А в 37-м году что было, когда сажали и кого надо и кого не надо.

Но перегибы перегибами,а родина–это ж родина. Я так понимаю: если у человека мать – воровка, или сифилис заимела, она же все-таки мать и он все равно обязанный заботиться, помогать, ничего не жалеть. А Родина это не просто личная твоя мама, она же мать для всех. И если какие-то вредители или перегибщики, уклонисты чего-то испортили или поломали тебе личную жизнь, так не можешь ты через это отрекаться от родины. Это уже было бы подлостью... Ну, короче говоря, так мы думали и я и тот другой с Донбасса, и ленинградец был с нами в общем и целом согласный... Мы там с французами познакомились. Один работал продавцом в пивной, безногий, по-немецки говорил. Так он был связан с партизанами. У них они назывались макизары.

Мы тогда сперва передавали макизарам патроны, гранаты; у немцев никакой настоящей бдительности не было, особенно от своих. Только уже когда мы совсем нахально два пулемета унесли, начался скандал, следствие. Тогда мы трое удрали, ушли в горы. Там была целая рота из советских ребят. Я был сперва рядовой боец, мы ходили на аксион подальше от нашего леса на железную дорогу и на шоссе, подрывали мосты, обстреливали автоколонны. Потом в штабе узнали, что я по-немецки умею. И перевели меня в разведку. Уже наоборот на Север, в Бретань. Там жители на таком языке говорят, что их другие французы не понимают. И стал я опять механиком в гараже, но только в частном, у бретонца, который был тайным партизаном. Он работал на немцев, чинил им машины, пил с офицерами. А его сын, – ему еще 16 лет не было, – учился в гимназии в городке километров за десять, ездил на велосипеде и возил туда все наши данные, какие немецкие части, куда

шли, все, что мы на дорогах видели, что в разговорах услышали. А когда в июне высадка началась, тут уже пошла горячка. Мы получили приказ: "озарм!" – в ружье – значит. Из города подъехали ребята, там тоже русские были – целый отряд набрался. Мы сразу же эшелон с танками сожгли, на другой станции склад взорвали, зенитную батарею захватили. Потери у нас были, трое убитых и семь раненых, меня вот сюда в бедро садануло. Но обратно чудо – неделю пролежал у крестьян, и они подлечили меня и еще одного нашего раненого.

Потом наш отряд пришел за нами. Немцев погнали, и мы все поехали на трофейных грузовиках. В городах всюду французские флаги, и американские и английские. Мы тоже свой красный флаг сделали, как положено, со звездочкой, с серпом и молотом. И французы кричали нам: "Вив Люрс" "Вив лярме руж!" А потом меня сам де Голль наградил. Да, да, именно лично де Голль награждал, хозяина гаража и меня и еще нескольких наших ребят. Кому "Лежьон донер", – это у них высший орден, кому крест Жанны Д'Арк, кому медаль. Мне Жанна Д'Арк досталась. Нас всех построили на площади. Пришел де Голль, высокий такой, выше меня на голову, или даже на две, носатый. Подходил к каждому, кто в строю стоял, один адъютант за ним ящик со знаками нес, другой по списку вызывал, а он лично нацепит награду и тут же обнимет и вроде поцелует, – так щекой прижимался. В общем, это красивый у них обычай. Ну, что скажете, разве не чудо? Меня – Яшку, комсомольца с Ворошиловграда, обнимал французский маршал, аристократ и такой, говорят, католик, что больше, чем папа римский.

Во Франции я оставался до самого конца войны. Лечиться надо было, рана сильно гноилась. Вон видите, какой шрам остался, и сейчас еще хромаю. Там какая-то жила задетая... Приехал к нашим сперва в фильтрационный лагерь, в Тюрингии, два месяца держали, спрашивали, допрашивали, но потом пустили, дали обратно звание даже с повышением – старший техник-лейтенант. В Германии в гарнизонах еще полгода служил на ремонтной базе. И носил французский орден. Командир подполковник все обещал к нашей медали представить. Хоть я начало войны и проспал, но в конце все-таки повоевал, с де Голлем обнимался. Маму я разыскал через свердловских родственников, она и жена брата с детьми эвакуировались аж в Сталина-

бад. Старший брат у меня – инженер, его под Москвой убили. А потом я и свою девушку нашел, мы перед войной вроде как поженились, только записаться не успели. Она тоже эвакуировалась, – в Чкалов, – переписку имела с мамой, про меня спрашивала. А как я нашелся – вроде воскрес – прислала мне письмо, вот такое толстое, прямо целый роман, и пятна чернилом навела, где слезы капали. Я читал, так поверьте, тоже плакал. Ведь через четыре года, через войну, через тысячи километров нашлись! Скажите не чудо? Хотел я, чтобы она ко мне в Германию приехала, писал заявление, но тут вдруг демобилизация, а я не знаю даже куда бумаги выправлять: мама с невесткой хотели оставаться в Таджикистане, в Киеве сплошное разорение, ехать некуда, а моя Шурочка мечтает обратно на Владимирскую горку, где мы с ней гуляли. Ну, пока там письма туда-сюда, мне литер в зубы, езжай с победою домой, куда сам хочешь.

Поехал я через Берлин, а там на вокзале патруль – что за орденский знак – это на мою Жанну д'Арк, значит. Проверка документов. Потом в КПЗ объявляют: задержанный. Я – психовать. – "Я ж уже профильтрованный, проверенный, демобилизовался, еду к маме, к жене". А мне:

– Пожалуйте на допрос – какое задание получил от французской разведки? Тебя де Голль за что наградил, за измену родине? И уже ордер на арест, 58 пункт 1 б – измена, и еще пункт 3, – сотрудничество с международной буржуазией, и еще пункт 6 – шпионаж. Держали два месяца, ну там все, что полагается, и в карцер сажали, и даже били. Верите ли, один следователь, такой франт в роговых очках, вроде интеллигентный, а бил кулаками в лицо и ногами, как в футбол по ногам. "Признавайся, сволочь! Почему тебя немцы не убили, ты ведь жид?" Верите, так и говорил, как самые старорежимные черносотенцы – "жид", "жидовская морда", "ты Россию продавал сперва немцам, потом французам". Я тогда стал кричать, что он фашист, хуже немца, меня в плену так не мучали. Прибежали другие следователи. Я так кричал, что на всю их тюрьму слышно было. Они меня водой с ведра, как пьяного. Но потом дали закурить. И того франта, что жидом ругал, я больше не видел, другой следователь сказал, что его наказали за политическую ошибку, но что он нервный от сильной контузии, и у него немцы всю семью убили... Я говорю, – это, конечно, большое горе, это я понимаю, но только не понимаю, причем же тут я, и почему

он от этого стал антисемитом.

Там меня подержали еще месяц и перевезли сюда в Москву, тут уже не били, но в карцер сажали два раза и все жилы тянули, – за что у де Голля орден получил, почему немцы не убили, с каким заданием забросили... Я им правду, вот как вам, одну правду, и всю правду, а они не верят. Московский следователь – капитан, вежливый, никогда не ругался, но страшно серьезный. Так он говорил: "Я вам не имею права верить, это была бы с моей стороны грубая ошибка, если бы я вам поверил: раз вы с первых дней войны служили врагу, и, значит, полностью изменник родины, а потом обратно награждены кем? Пусть он формально вроде союзник, но по сути – наш классовый враг и, значит, наградить вас мог только за измену. Кто же вам может верить? – И он все так убедительно говорил, что я уже и сам почти согласился, что я вроде преступник. Ну не по злобе, не нарочно. Ну, как бывает, например, шофер нечаянно задавил человека или попал в аварию. Не хотел, не думал, а так получилось. Но все равно он считается виноватый, ему никто не верит, раз видят факты – лежит на дороге мертвый человек – жертва от его машины, или обломки валяются, а он стоит живой, значит, виноватый. Тоже выходит вроде чуда, но только уже дурное... Я подписал протокол: признаю себя виновным, что попал в плен без сопротивления, и еще подписал, что работал в немецком военном автобате без саботажа, и тоже, значит, признаю вроде как измену родине. А насчет шпионажа стал на принцип. Это ж абсурд! Я наоборот искупал свою вину, воевал против фашизма... Вот уж месяц, как меня оставили в покое. На что мне теперь надеяться? Обратно только на чудо? Или, может быть, как жена Сергея Федоровича, на Бога? Но ведь недаром говорят: Бог правду видит, да не скоро скажет.

В передаче принесли пятнадцать луковиц и десять чесночин: значит, суд будет пятнадцатого октября. В день рождения Лены. В этот же день в прошлом году меня впервые повезли в трибунал. Что может означать совпадение? К добру или к беде?

Опять повели под руки, опять в коридоре трибунала – Надя и мама – вымученные улыбки, страдальческие глаза. Знакомый зал, судейский стол на трибуне, скамья на помосте с загородкой.

Прокурор Мильцын –высокий, полный розовощекий, светлоглазый. В ликующе блестящих лакированных сапогах. Председатель, подполковник Веревкин – болезненно желчное кувшинное рыло, скучает, сдерживает раздражение, – раздржен то ли от скуки, то ли от хворей; ко мне словно бы и вовсе безучастен. Два безликих заседателя в погонах, секретарь – очень молоденький, узенький карандашик. Мой адвокат – поникший, унылый, едва поздоровался, отводил глаза, суетливо перебирал бумаги. Из свидетелей вызвали только Ивана Дмитриевича Рожанского. В большом зале сидели двое, комендант суда – смуглый, поджарый, седеющий капитан, на гимнастерке – гвардейский значок, лесенка желтых и красных ленточек – за ранения, трехрядная колодка наград. Он привез меня в трибунал на эмке, объяснил – конвоя не хватило. В речи внятен кавказский акцент.

Началось обычной процедурой: секретарь читал решение военной коллегии об отмене прежнего приговора. Я заявил ходатайство о вызове свидетелей. Адвокат вяло поддержал. Прокурор громогласно объявил, что считает излишним, – материала по делу достаточно. – Суд согласился с прокурором. – Тогда я заявил ходатайство о приобщении к протоколу нового судебного следствия письменных заявлений моих товарищей по фронту, по довоенной работе, поданных после отмены оправдательного приговора. – Адвокат вяло поддержал. – Прокурор говорил долго и невразумительно, любуясь переливами своего голоса, округлостью бессмысленных фраз.

– В известном смысле юридическая практика допускает совмещение, так сказать, устных прямых показаний, а с другой стороны также и письменных и, тем самым, в известном смысле, так сказать не прямых, но могущих пролить свет, если в этом имеется необходимость или, так сказать, процессуальная потребность в смысле прояснения отдельных моментов и в известном смысле деталей, рассматриваемых деяний, о чем в данном случае могут быть однако определенные сомнения и даже в известном смысле уверенность противоположного характера.

Он говорил, закидывая голову, то понижая, то повышая голос, плавно поводя большими холеными руками, старательно интонируя, – как актер любитель, – подчеркивая мнимо значимые слова и словосочетания, переключаясь без запинки с иронии на укоризну, переходя от поучительной деловитости к

скорбному пафосу...

Что именно он хотел сказать, я просто не понял. Но судья согласился с прокурором. Ходатайство отклонили.

Зато и мне никто не мешал говорить, что и сколько захочу.

Судья и прокурор задавали вопросы.

— Как вы могли себе позволить утверждать будто... осуждать героические... дискредитировать... клеветать...

Адвокат спрашивал:

— За что вас наградили?.. Чем вы объясняете свои плохие отношения со свидетелем таким-то?

Я отвечал подробно, вежливо, убедительно, страстно... Но видел перед собой блаженно безмятежные глаза прокурора; иногда он, спохватившись, вдруг хмурился, что-то чиркал на листе бумаги; видел тусклые равнодушные, скучающие лица за судейским столом — иногда они, все же, казалось, прислушивались, даже секретарь оборачивался и тогда я говорил еще убедительнее, еще страстней; — видел седой затылок, сутулый пиджак адвоката...

Но капитан-комендант и лейтенант смотрели и слушали внимательно, словно бы даже участливо. И я говорил для них, пусть хоть эти два — фронтовик и молоденький новичок — узнают, поймут мою правду.

Начали допрашивать Ивана. Он повторил все, что сказал на первом и втором суде. Супясь, глядел вниз, запинался, дольше обычного тянул — э-э, чаще чем обычно вставлял "ну так вот, значит..." Но уверенно подтвердил все, что говорил раньше о лживости Забаштанского и Беляева, о том, как целеустремленно было состряпано обвинение.

Заседание прервали. Наступил вечер. Комендант повез меня в Бутырки все в той же эмке.

— Так ты, майор, где воевал?.. На Северо-Западе? А потом в Белоруссии? А я начинал на Днестре, рядовой был стрелок-первогодник: первый номер на станкаче... Потом в Сталинграде лейтенантом стал. Потом на Четвертом Украинском в Румынию пришел старшим, когда Вену брали, батальоном командовал, там получил капитана. Если бы мне образование, я бы лучше успел. Но у меня же только восемь классов, и не где-нибудь в Ереване, а сельская школа в горах за Кировоканом. Чабаном

я был, ударником; барашки пас. Хотел на ветеринара учиться. По комсомольской линии в колхозе работал, пионервожатым был; вообще, интерес имел к науке, книжки читал, радио слушал. Правда, война – это, конечно, тоже университет. Вот я и есть гвардии капитан. Жена у меня — доктор, москвичка. Она меня в госпитале лечила, десять осколков вынула. А я за это ей сына сделал. Иван,- по-нашему Ованес,–глаза черешенки, нос большой, как у меня, а волосы белые и рот маленький, как у нее. Три года, а говорит лучше, чем твой прокурор... Давай, давай, поезжай еще немного. Человеку в тюрьму ехать, пусть еще воздухом подышит... А ты хорошо говорил, майор, и все правду... Я всегда понимаю, кто врет, кто правду говорит... В глаза смотрю, сразу вижу. Твой друг капитан тихо говорит, больше думает; пока одно слово скажет, десять барашков пройти могут. Но хорошо говорит, и сразу видно, правда. А прокурор – говорит красиво, быстро, как по радио, как газету читает. Но сразу вижу, говорит много, ничего не думает. Ты как считаешь, лейтенант?

– Это называется ораторское искусство.

– Искусство! А на хрена оно нужно, такое искусство, чтоб человека в тюрьму сажать. Ты, майор, в плену не был? Не был. С фронта не бегал? Не бегал. Самострел себе не делал? Нет. Ранения имеешь? Имеешь. Боевые награды имеешь? Тоже имеешь. На фронте сколько? Почти все четыре года. Так за что же они тебя судят? Что ты мародера мародером назвал, что не хотел, чтоб немок насильничали?.. За это спасибо надо сказать, а не судить. Ну, если ты начальника обругал, это, конечно, могут придраться. Твой начальник был сволочь. Но трибунал тоже начальство. Ну, пусть они выговор дают; ну, пусть разжалуют; ну, даже демобилизуют. Но в тюрьму? Нет, не может такого быть...

Он не верил моим возражениям. И его говорливое, шумно-добродушное участие ободряло, и даже подогрело остывшую надежду: а что, если все же осудят лишь так, чтобы не применять амнистию.

В Бутырках меня в камеру не повели – суд не кончился; оставили в боксе, благо просторном; я улегся на полу и выспался до подъема и поверки, и потом дремал еще с полдня в одиночестве. Получил передачу; ел, курил, готовил последнее слово. Вспоминал все новые аргументы, нумеровал, чтобы не

забыть, горелой спичкой записывал на папиросном коробке.

Вызвали уже после обеда. Тот же капитан с лейтенантом и та же эмка. Он поздоровался, как со старым приятелем. Нади и мамы в коридоре не было. (Им сказали, что заседание не состоится.)

Начали с допроса Ивана. Секретарь читал выдержки из показаний Беляева и Забаштанского, из протоколов следствия. Мне позволяли возражать на них, но потом снова и снова вызывали Ивана.

Прокурор спрашивал велеречиво, играя голосом:

– Позвольте... как же это у вас получается? С одной стороны, вы, как офицер, член коммунистической партии, фронтовой политработник, занимаете в известном смысле боевые идеологические позиции... Но в то же время с другой стороны вы позволяете себе, так сказать, не обращать внимания, игнорировать, в известном смысле даже примиренчески недооценивать, защищать...

Председатель суда впервые по-настоящему оживился. Он нагнулся над столом, словно для прыжка, и, уже не говорил, а злобно кричал на Ивана.

– Так что же это у вас получается? Вы отвечайте прямо на вопрос. Вы на закрытом собрании не возражали против его исключения из партии? Отвечайте, да или нет! Не выкручивайтесь.

– Нет. Не голосовал "за", но... Вот, значит, не голосовал против.

– Никаких "но". Отвечайте на вопрос! Не забывайте, что вы даете показания суду военного трибунала. Не забывайте, что вы несете партийную и судебную ответственность за каждое слово. Понятно? Так отвечайте прямо. Вы написали генеральному прокурору письмо в защиту человека, против исключения которого из партии вы сами не голосовали. Вы писали такое письмо?

– Да. Писал.

Несколько минут по-индючьи курлычет прокурор. Я вижу, как Иван внимательно, напряженно вслушивается, тщетно пытаясь уловить смысл... Потом снова рычаще тявкающий голос председателя:

– Так как же все-таки вас понимать, товарищ капитан Рожанский, и как вы сами себя понимаете? Вы коммунист, грамотный офицер, научный работник... Итак, с одной стороны вы

не возражаете против исключения из партии – и не за что-нибудь, не за пьянку, не за бытовые проступки, а за серьезнейшие политически враждебные выступления, в условиях фронта Великой Отечественной войны, равносильные преступлениям. А потом вы же сами пишете письмо в защиту исключенного и даете на следствии и на суде показания, которые только дезинформируют... Как это называется, я вас спрашиваю? Отвечайте конкретно и прямо.

Я холодею от злости, не могу удержаться и громко говорю адвокату:

– Почему вы не протестуете? Ведь это противозаконно. Это нажим на свидетеля. Это не судебное следствие, а выжимание обвинения.

Адвокат испуганно оглядывается:

– Сейчас же замолчите. Вы только вредите и себе и ему... Вы очень вредите.

Председатель суда даже не поворачивается ко мне. Он почти лег на стол, не отрываясь, смотрит на Ивана, и лает все хриповатее, все злее.

– Так отвечайте же! Почему вы не отвечаете? Как назвать такое ваше поведение?

Иван стоит. Один. За ним пустой полутемный зал. Перед ним на освещенной трибуне над суконным столом яростно ощеренное рыло – председатель военного трибунала. Иван стоит потупясь, но не смиренно, а задумчиво. Стиснув рот, оттянув книзу губы, он потирает руки – спокойно, как на лекции у доски, отложив мелок...

Прокурор, слева от него, перекатным баритоном, выручая, подсказывая, заговорил почти осмысленно:

– Не кажется ли вам, свидетель, что такое ваше поведение можно квалифицировать в известном смысле как двурушничество, поскольку мы с вами ведь члены партии...

Председатель криком:

– Двурушничество в партийном смысле и ложные показания в защиту преступника в уголовном смысле. Отвечайте, что вас привело к этому? Как вы объясняете свои действия?

Иван поднимает голову. Он смотрит спокойно. В глазах – ни тени испуга.

– Я не согласен... э-э- с такой формулировкой... Нет... Ну вот, значит, не согласен... Я действительно не голосовал на

собрании... э-э. Но почему я не голосовал, э-э, это я уже объяснил в прошлый раз. Ну – вот, я тогда считал, что обязан... значит выполнять приказание... А потом... когда я узнал об аресте, ну вот, значит, я... тогда написал генеральному прокурору. Ну... вот... значит...написал правду...

– А тогда на собрании, вы, что же, правды не знали?

Председатель заговорил тише, видимо, и на него действует медлительное спокойствие Ивана.

– Знал... но...

– Так почему же вы не голосовали против? Как вы объясняете это здесь?

– Потому что я ошибся... ну вот значит... – Тогда допустил ошибку... э-э, а потом исправил. Ну вот...

– А кто вас просил об этом? Кто вам советовал? Или быть может, опять приказывали?

– Кто? Я сам, конечно... э-э, – ну вот, значит, моральный долг... совесть... партийная совесть...

– Итак, вы подтверждаете свои показания в защиту подсудимого? Подтверждаете, несмотря на решение военной коллегии Верховного Суда, которая дважды отменила мягкие приговоры?

Председатель уже не орал, но чеканил слова с теми скрежетными угрожающими гортанными призвуками, которые должны пугать сильнее самого яростного крика.

Иван смотрел на него все так же спокойно, размышляюще.

– Конечно, подтверждаю... ну, вот, я писал и потом говорил суду правду... Только правду...

– Вы можете быть свободны.

Иван сел в дальнем ряду пустого зала. Один.

Прокурор говорил больше часа, он читал из толстой папки показания, читал, надев большие роговые очки, сбиваясь, пропуская слова, с бессмысленным пафосом выделяя одни фразы, и столь же бессмысленно быстро проговаривая другие. И часто безо всякой связи заканчивал длиннейший период громогласно, уверенно:

– Из чего совершенно очевидно следует, что подсудимый напрасно пытается уговорить нас в своей невиновности, полагая, видимо, что может в известном смысле повлиять на суд военного трибунала, вопреки таким очевидным и конкретным

обвинительным данным, полностью изобличающим и не только подтверждающим, но в известном смысле даже усиливающим квалификацию, данную в обвинительном заключении...

Он говорил — говорил, читал и вновь говорил... Однажды вдруг встал, — должно быть, отсидел ногу, — стал рядом со столиком, картинно выпрямившись, щелкнув каблуками ослепительных сапог, не умолкая ни на миг, продолжая какую-то бесконечную фразу, задекламировал, жестикулируя почти гимнастически...

— Вот, например, я стою здесь, помощник прокурора МВО, полковник юстиции Мильцын, стою перед вами, товарищи судьи, с открытой душой, по долгу службы, а подсудимый хотел бы доказать, что я это вовсе не прокурор, не полковник, не товарищ Мильцын, а некто в известном смысле совершенно другой, кого он, то есть подсудимый, оказывается, видит и знает и понимает лучше, чем вы, товарищи судьи, лучше, чем партия, чем весь советский народ. Но можем ли мы согласиться с подсудимым в таких его претензиях, можем ли мы ради этих, пусть даже в известном смысле оригинальных претензий, отказаться от нашей партийной точки зрения, от наших марксистско-ленинских и патриотических принципов, от преданности нашему советскому героическому народу?.. Я осмелюсь думать, что мы не можем отказываться ни от нашей точки зрения, ни от наших принципов, ибо это есть точка зрения и принципы великой партии Ленина-Сталина, которая есть разум и совесть нашего времени, нашего народа и мы не можем позволить никому попирать наши святыни.

Он говорил, говорил и было очевидно, что он уже совершенно не помнит, в чем именно меня обвиняют, какие преступления я совершил, а, может быть, и не знал этого вовсе, не успел прочитать дело. Он забыл даже только что закончившийся допрос Ивана, и сказал:

— Очевидная всем вина подсудимого полностью доказана показаниями многочисленных свидетелей, как например... — И вслед за именами Забаштанского, Беляева, он назвал Храмушину, Белкина, Рожанского.

Я вскрикнул: — Да, ведь это свидетели защиты!

Председатель только постучал сухими пальцами, а прокурор на секунду замолк и улыбнулся почти игриво:

— Вот именно, свидетели защиты... И это убеждает нас в

известном смысле даже больше, чем показания свидетелей обвинения. В данном процессе мы видели, что свидетели защиты изобличают подсудимого в том, что он именно старается отрицать. В этом его, конечно, можно понять, так сказать по-человечески, ведь в тюрьме никому сидеть не хочется. Тут я вижу даже в известном смысле последовательность. Наш суд — самый великодушный суд в мире, наша прокуратура — самая гуманная в мире... Однако,мы не можем оставлять безнаказанными...

Он говорил, говорил, пока я не почувствовал, что слипаются веки, сводит челюсти зевотой... Я уже слышал только отдельные слова и словосочетания,бархатистые перекаты голоса, однообразную мелодию безудержного самолюбования, этакого акустического нарциссизма.

Наконец, прозвучали заключительные аккорды. Негромко, словно бы утомленно, но внятно:

— ...Итак, исходя из всего, что мы узнали из этого весьма обширного, сложного и несомненно остро политического дела, из всего, что мы слышали здесь, считаю необходимым просить у суда применить высшую санкцию по данной статье, то есть в условиях мирного времени десять лет заключения, пять лет поражения в гражданских правах, лишение звания и ходатайство перед Верховным Советом о лишении правительственных наград...

Адвокат начал сладчайшими похвалами блестящей речи товарища полковника Мильцына, глубоко партийной, принципиальной, отлично аргументированной... Но исходя из замечательной мысли прокурора о великодушии, о гуманности советского суда, он просил трибунал учесть большое количество авторитетных положительных характеристик на подсудимого, просил принять во внимание боевые заслуги, ранения, состояние здоровья, а также смягчающие обстоятельства: понесенная вина относится к периоду войны; в мирных условиях возможно смягчить санкции. Поэтому он — адвокат, коммунист с 1920 года, сознавая свою отвественность, все же решается просить великодушный суд уменьшить срок наказания, учитывая возможность исправления...

Когда мне предоставили слово, я прежде всего решительно отвел защиту, сказал, что не признаю ни одного из обвинений, выдвинутых прокурором, так как они вообще не относятся к этому делу, прокурор даже не помнит, что говорили сви-

детели. Я просил суд просто сопоставить тексты, которые лежат вот в этих папках, с тем, что говорил прокурор...

Он глядел на меня едва ли не с ласковой снисходительной улыбкой, покачивая розовой головой, поднимая покатыми жирными плечами серебристые погоны, – мол, не в себе, бедняга.

Я сказал, что требование прокурора чудовищно, абсолютно противоречит духу и букве закона, интересам партии и государства... Потом я повторил все то, что говорил на первом и на втором суде, только более сжато, коротко, не отвлекаясь.

Суд удалился на совещание.

Капитан подошел ко мне; он был уже менее оптимистичен.

– Ну и судья... Не думал я, что такие бывают. Как на твоего друга кричал. А он молодец – капитан. Настоящий молодец. Тот кричит, как укусить хочет, а он стоит, как скала. Очень хороший человек. А прокурор, как в игрушки играет, тары-бары, десять лет. Не понимаю, он что пьяный, что ли? Или в голову контуженный? Адвокат – слабый старик, боится. А чего боится? Говорит "старый коммунист", значит не должен бояться. А ты опять хорошо говорил. Правильно им врезал – и прокурору и защитнику... По-бойцовски сказал. Ну, должны же они хоть теперь понять. Ведь мне же все ясно, понятно, а я простой человек, солдат. А он судья, юрист, подполковник... Нет, должны все-таки понять.

Совещание продолжалось недолго. Председатель прочитал короткое введение со зловещим началом "будучи в прошлом кадровым троцкистом...", дальше все шло по Забаштанскому, а в заключение – по прокурору: десять и пять, лишение звания и орденов.

– Подсудимый, вам понятно?

– Нет, не понятно.

Тем же скрипучим, ровным голосом он снова прочитал концовку:

– "Десять и пять". Теперь, надеюсь, понятно?

– Не понятно, где справедливость...

Весной, когда присудили к трем годам, я едва удержался от слез, задыхался в отчаянии. Теперь испытывал только

странную усталость – злую, но бодрую. Нет, такой приговор не может быть реальным.

Судьи и прокурор ушли сразу. Адвокат на прощание, торопливо, шепотом сказал, не глядя в глаза:

– Я подам кассационную жалобу... Будем надеяться... Возможно сокращение срока. Будьте сдержаны...

Капитан подвел ко мне Ивана.

– Попрощайтесь, друзья. Может, надолго теперь. Нет, не думал, что такое возможно. Десять лет ни за что... Осудить человека, как два пальца обоссать...

Он повторил это еще несколько раз. – Почему именно два пальца?

В прошлом году, после оправдательного приговора конвой отгородил меня от родных и друзей, не позволял им поздравить. А теперь комендант суда открыто сочувствовал. Мы с Ваней поговорили несколько минут, обнялись. Никогда, – ни до, ни после этого, – я не видел у него такого печального взгляда.

Шоферу капитан приказал:

– Давай покатай по Москве как следует. Когда он теперь Москву увидит... Нет, действительно, им человека погубить, как два пальца обоссать...

Лейтенант, сидевший рядом со мной, участливо спрашивал:

– Но вы еще можете жалобу подавать, – эту, как ее касса-цийную?.. Можете? Ну, тогда значит могут, еще изменить... Вы не опускайте руки. Не должно быть, чтоб так осталось...

– Конечно, нет. Фронтовика за какие-то слова тары-бары на десять лет!..

...Капитан останавливал машину у площади Маяковского, на Горького, на Манежной:

– Смотри на город. Ты же москвич? Любишь Москву?

Он зашел в магазин, принес бутылку пива, яблок и конфет.

– Пиво здесь пей, в машине, а это бери с собой в карманы.

Приехали в Бутырки. Надзиратели, принимавшие арестантов, глядели удивленно: капитан размашисто протянул мне руку.

– Будь здоров, майор, до свидания. Не вешай нос, на

фронте не пропал, нигде не пропадешь.

– Спасибо, капитан, большое спасибо! Будь счастлив!

Пощелкивали ключи о пряжки. – Скрежетали ключи в замках. – Приливали и отливали разноголосые шумы тюремной ночи...

Вечность продолжалась.

Москва – Жуковка.
1961 – 1973 г.г.

Оглавление

Шестая часть. МОСКВА МОЯ

Седьмая часть. ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ